

Николай
КАРАМЗИН

Бедная Лиза



Annotation

Николай Михайлович Карамзин (1766–1826) – писатель, историк и просветитель, создатель одного из наиболее значительных трудов в российской историографии – «История государства Российского» основоположник русского сентиментализма.

В книгу вошли повести «Бедная Лиза», «Остров Борнгольм» и «Сиерра-Морена», а также сборник очерков «Письма русского путешественника».

- [Николай Михайлович Карамзин](#)
 - [НИКОЛАЙ КАРАМЗИН – ПИСАТЕЛЬ, КРИТИК, ИСТОРИК](#)
 - [Автобиография {1}](#)
 - [Повести](#)
 - [БЕДНАЯ ЛИЗА {2}](#)
 - [ОСТРОВ БОРНГОЛЬМ\[33\]](#)
 - [СИЕРРА-МОРЕНА\[37\]](#)
 - [Письма русского путешественника {3}](#)
- [notes](#)
 - [Примечания](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)
 - [10](#)
 - [11](#)
 - [12](#)
 - [13](#)
 - [14](#)
 - [15](#)
 - [16](#)

- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)
- [38](#)
- [39](#)
- [40](#)
- [41](#)
- [42](#)
- [43](#)
- [44](#)
- [45](#)
- [46](#)
- [47](#)
- [48](#)
- [49](#)
- [50](#)
- [51](#)
- [52](#)
- [53](#)
- [54](#)
- [55](#)

- [56](#)
- [57](#)
- [58](#)
- [59](#)
- [60](#)
- [61](#)
- [62](#)
- [63](#)
- [64](#)
- [65](#)
- [66](#)
- [67](#)
- [68](#)
- [69](#)
- [70](#)
- [71](#)
- [72](#)
- [73](#)
- [74](#)
- [75](#)
- [76](#)
- [77](#)
- [78](#)
- [79](#)
- [80](#)
- [81](#)
- [82](#)
- [83](#)
- [84](#)
- [85](#)
- [86](#)
- [87](#)
- [88](#)
- [89](#)
- [90](#)
- [91](#)
- [92](#)
- [93](#)
- [94](#)

- [95](#)
- [96](#)
- [97](#)
- [98](#)
- [99](#)
- [100](#)
- [101](#)
- [102](#)
- [103](#)
- [104](#)
- [105](#)
- [106](#)
- [107](#)
- [108](#)
- [109](#)
- [110](#)
- [111](#)
- [112](#)
- [113](#)
- [114](#)
- [115](#)
- [116](#)
- [117](#)
- [118](#)
- [119](#)
- [120](#)
- [121](#)
- [122](#)
- [123](#)
- [124](#)
- [125](#)
- [126](#)
- [127](#)
- [128](#)
- [129](#)
- [130](#)
- [131](#)
- [132](#)
- [133](#)

- [134](#)
- [135](#)
- [136](#)
- [137](#)
- [138](#)
- [139](#)
- [140](#)
- [141](#)
- [142](#)
- [143](#)
- [144](#)
- [145](#)
- [146](#)
- [147](#)
- [148](#)
- [149](#)
- [150](#)
- [151](#)
- [152](#)
- [153](#)
- [154](#)
- [155](#)
- [156](#)
- [157](#)
- [158](#)
- [159](#)
- [160](#)
- [161](#)
- [162](#)
- [163](#)
- [164](#)
- [165](#)
- [166](#)
- [167](#)
- [168](#)
- [169](#)
- [170](#)
- [171](#)
- [172](#)

- [173](#)
- [174](#)
- [175](#)
- [176](#)
- [177](#)
- [178](#)
- [179](#)
- [180](#)
- [181](#)
- [182](#)
- [183](#)
- [184](#)
- [185](#)
- [186](#)
- [187](#)
- [188](#)
- [189](#)
- [190](#)
- [191](#)
- [192](#)
- [193](#)
- [194](#)
- [195](#)
- [196](#)
- [197](#)
- [198](#)
- [199](#)
- [200](#)
- [201](#)
- [202](#)
- [203](#)
- [204](#)
- [205](#)
- [206](#)
- [207](#)
- [208](#)
- [209](#)
- [210](#)
- [211](#)

- [212](#)
- [213](#)
- [214](#)
- [215](#)
- [216](#)
- [217](#)
- [218](#)
- [219](#)
- [220](#)
- [221](#)
- [222](#)
- [223](#)
- [224](#)
- [225](#)
- [226](#)
- [227](#)
- [228](#)
- [229](#)
- [230](#)
- [231](#)
- [232](#)
- [233](#)
- [234](#)
- [235](#)
- [236](#)
- [237](#)
- [238](#)
- [239](#)
- [240](#)
- [241](#)
- [242](#)
- [243](#)
- [244](#)
- [245](#)
- [246](#)
- [247](#)
- [248](#)
- [249](#)
- [250](#)

- [251](#)
- [252](#)
- [253](#)
- [254](#)
- [255](#)
- [256](#)
- [257](#)
- [258](#)
- [259](#)
- [260](#)
- [261](#)
- [262](#)
- [263](#)
- [264](#)
- [265](#)
- [266](#)
- [267](#)
- [268](#)
- [269](#)
- [270](#)
- [271](#)
- [272](#)
- [273](#)
- [274](#)
- [275](#)
- [276](#)
- [277](#)
- [278](#)
- [279](#)
- [280](#)
- [281](#)
- [282](#)
- [283](#)
- [284](#)
- [285](#)
- [286](#)
- [287](#)
- [288](#)
- [289](#)

- [290](#)
- [291](#)
- [292](#)
- [293](#)
- [294](#)
- [295](#)
- [296](#)
- [297](#)
- [298](#)
- [299](#)
- [300](#)
- [301](#)
- [302](#)
- [303](#)
- [304](#)
- [305](#)
- [306](#)
- [307](#)
- [308](#)
- [309](#)
- [310](#)
- [311](#)
- [312](#)
- [313](#)
- [314](#)
- [315](#)
- [316](#)
- [317](#)
- [318](#)
- [319](#)
- [320](#)
- [321](#)
- [322](#)
- [323](#)
- [324](#)
- [325](#)
- [326](#)
- [327](#)
- [328](#)

- [329](#)
- [330](#)
- [331](#)
- [332](#)
- [333](#)
- [334](#)
- [335](#)
- [336](#)
- [337](#)
- [338](#)
- [339](#)
- [340](#)
- [341](#)
- [342](#)
- [343](#)
- [344](#)
- [345](#)
- [346](#)
- [347](#)
- [348](#)
- [349](#)
- [350](#)
- [351](#)
- [352](#)
- [353](#)
- [354](#)
- [355](#)
- [356](#)
- [357](#)
- [358](#)
- [359](#)
- [360](#)
- [361](#)
- [362](#)
- [363](#)
- [364](#)
- [365](#)
- [366](#)
- [367](#)

- [368](#)
- [369](#)
- [370](#)
- [371](#)
- [372](#)
- [373](#)
- [374](#)
- [375](#)
- [376](#)
- [377](#)
- [378](#)
- [379](#)
- [380](#)
- [381](#)
- [382](#)
- [383](#)
- [384](#)
- [385](#)
- [386](#)
- [387](#)
- [388](#)
- [389](#)
- [390](#)
- [391](#)
- [392](#)
- [393](#)
- [394](#)
- [395](#)
- [396](#)
- [397](#)
- [398](#)
- [399](#)
- [400](#)
- [401](#)
- [402](#)
- [403](#)
- [404](#)
- [405](#)
- [406](#)

- [407](#)
- [408](#)
- [409](#)
- [410](#)
- [411](#)
- [412](#)
- [413](#)
- [414](#)
- [415](#)
- [416](#)
- [417](#)
- [418](#)
- [419](#)
- [420](#)
- [421](#)
- [422](#)
- [423](#)
- [424](#)
- [425](#)
- [426](#)
- [427](#)
- [428](#)
- [429](#)
- [430](#)
- [431](#)
- [432](#)
- [433](#)
- [434](#)
- [435](#)
- [436](#)
- [437](#)
- [438](#)
- [439](#)
- [440](#)
- [441](#)
- [442](#)
- [443](#)
- [444](#)
- [445](#)

- [446](#)
- [447](#)
- [448](#)
- [449](#)
- [450](#)
- [451](#)
- [452](#)
- [453](#)
- [454](#)
- [455](#)
- [456](#)
- [457](#)
- [458](#)
- [459](#)
- [460](#)
- [461](#)
- [462](#)
- [463](#)
- [464](#)
- [465](#)
- [466](#)
- [467](#)
- [468](#)
- [469](#)
- [470](#)
- [471](#)
- [472](#)
- [473](#)
- [474](#)
- [475](#)
- [476](#)
- [477](#)
- [478](#)
- [479](#)
- [480](#)
- [481](#)
- [482](#)
- [483](#)
- [484](#)

- [485](#)
- [486](#)
- [487](#)
- [488](#)
- [489](#)
- [490](#)
- [491](#)
- [492](#)
- [493](#)
- [494](#)
- [495](#)
- [496](#)
- [497](#)
- [498](#)
- [499](#)
- [500](#)
- [501](#)
- [502](#)
- [503](#)
- [504](#)
- [505](#)
- [506](#)
- [507](#)
- [508](#)
- [509](#)
- [510](#)
- [511](#)
- [512](#)
- [513](#)
- [514](#)
- [515](#)
- [516](#)
- [517](#)
- [518](#)
- [519](#)
- [520](#)
- [521](#)
- [522](#)
- [523](#)

- [524](#)
- [525](#)
- [526](#)
- [527](#)
- [528](#)
- [529](#)
- [530](#)
- [531](#)
- [532](#)
- [533](#)
- [534](#)
- [535](#)
- [536](#)
- [537](#)
- [538](#)
- [539](#)
- [540](#)
- [541](#)
- [542](#)
- [543](#)
- [544](#)
- [545](#)
- [546](#)
- [547](#)
- [548](#)
- [549](#)
- [550](#)
- [551](#)
- [552](#)
- [553](#)
- [554](#)
- [555](#)
- [556](#)
- [557](#)
- [558](#)
- [559](#)
- [560](#)
- [561](#)
- [562](#)

- [563](#)
- [564](#)
- [565](#)
- [566](#)
- [567](#)
- [568](#)
- [569](#)
- [570](#)
- [571](#)
- [572](#)
- [573](#)
- [574](#)
- [575](#)
- [576](#)
- [577](#)
- [578](#)
- [579](#)
- [580](#)
- [581](#)
- [582](#)
- [583](#)
- [584](#)
- [585](#)
- [586](#)
- [587](#)
- [588](#)
- [589](#)
- [590](#)
- [591](#)
- [592](#)
- [593](#)
- [594](#)
- [595](#)
- [596](#)
- [597](#)
- [598](#)
- [599](#)
- [600](#)
- [601](#)

- [602](#)
- [603](#)
- [604](#)
- [605](#)
- [606](#)
- [607](#)

- [Комментарии](#)

- [1](#)
- [2](#)
- [3](#)
- [4](#)
- [5](#)
- [6](#)
- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)

- [33](#)
 - [34](#)
 - [35](#)
 - [36](#)
 - [37](#)
 - [38](#)
 - [39](#)
 - [40](#)
 - [41](#)
 - [42](#)
 - [43](#)
 - [44](#)
 - [45](#)
 - [46](#)
 - [47](#)
 - [48](#)
 - [49](#)
 - [50](#)
 - [51](#)
 - [52](#)
-

Николай Михайлович Карамзин
Бедная Лиза

НИКОЛАЙ КАРАМЗИН – ПИСАТЕЛЬ, КРИТИК, ИСТОРИК

«Чистая, высокая слава Карамзина принадлежит России» – это окончательное, твердо и решительно высказанное мнение Пушкина. Оно сложилось после многолетних жарких споров и полемических сражений по поводу новых произведений Карамзина (главным образом «Истории государства Российского», тома которой выходили с 1818 г.), художественной прозы и публицистики 1790–1800 гг. В этих сражениях участвовал и Пушкин, выступая с разных позиций, – в пору юности резко критиковал Карамзина, а в тридцатые годы серьезно и настойчиво его защищал.

Карамзин умер шестидесяти лет. Из них почти сорок отдано служению родной литературе. Начинал он свою деятельность в канун Великой французской революции 1789 г., а закончил – в эпоху восстания декабристов. Время и события накладывали свою печать на убеждения Карамзина, определяя его общественную и литературную позицию, его успехи и заблуждения.

Творчество Карамзина оригинально потому, что он мыслил глубоко и независимо. Его мысль рождалась в напряженном и трудном обобщении опыта бурных событий европейской и русской жизни. История и современность выдвигали перед человечеством, вступившим с начала французской революции в новую эру, невиданные ранее конфликты. Грозным представало и настоящее, и будущее. Путешествие двадцатитрехлетнего Карамзина по Европе, во время которого он оказался свидетелем революции во Франции, явилось своеобразным университетом, определившим всю его дальнейшую жизнь. Он не только возмужал и обогатился знаниями и опытом – впечатления сформировали его личность и, главное, разбудили мысль Карамзина, обусловили его страстное желание понять происходившее не только в отечестве, но и в мире. Именно потому произведения, писавшиеся и печатавшиеся после возвращения на родину, ярко освещены пытливым мышлением. Молодой писатель уже с этого времени будет стараться давать свои ответы на вставшие перед человечеством – а следовательно, и перед ним – вопросы. Естественно, размышления и предлагаемые решения носили субъективный характер.

Художественный мир, созданный Карамзиным, был нов,

противоречив, непривычно сложен, нравственно масштабен; он открывал духовно деятельную жизнь отдельной личности, а потом и целого народа, жизнь современную и историческую. В этот мир нельзя входить с предубеждением и готовыми идеями, он требует понимания и объяснения. Оттого Карамзин на протяжении полутора веков воспринимался активно; история изучения его творчества характеризуется отливами и приливами: его или превозносили, или отвергали.

Вот почему пушкинская оценка Карамзина актуальна и сегодня. Карамзин – это прошлое русской литературы, шире – русской культуры. Прошлое должно уважать. Но чтобы уважать, его надо знать. Сегодня мы еще очень плохо знаем Карамзина. До сих пор нет полного, комментированного собрания сочинений писателя. Около ста лет в полном объеме не переиздавалась «История государства Российского». Систематически перепечатывалась только повесть «Бедная Лиза», по которой и происходит знакомство с Карамзиным. Это все равно, если бы о Пушкине мы судили лишь по его повести «Станционный смотритель»...

В последние десятилетия положение стало меняться. В 1964 г. вышли избранные сочинения Карамзина в двух томах, куда вошли стихотворения, повести, «Письма русского путешественника», критические и публицистические произведения, отрывки из десятого и одиннадцатого томов «Истории государства Российского» (об Иване Грозном и Борисе Годунове). В 1966 г. в серии «Библиотека поэта» выпущено полное собрание стихотворений Карамзина. В 1980 и 1982 гг. (в издательстве «Правда») напечатаны «Письма русского путешественника». В серии «Литературные памятники» готовятся впервые тщательно комментированные «Письма русского путешественника». Появилось несколько интересных работ о жизни и творчестве Карамзина.

И все же мы по-прежнему в долгу перед большим русским писателем, критиком, публицистом, историком.

Николай Михайлович Карамзин родился 1 декабря 1766 г. в имении отца недалеко от Симбирска. Детство будущего писателя проходило на берегах Волги – здесь он научился грамоте, рано стал читать, пользуясь отцовской библиотекой. Семейный врач – немец – был и воспитателем, и учителем мальчика, он же обучил его немецкому языку.

Для продолжения образования четырнадцатилетнего отрока отвезли в

Москву и отдали в частный пансион университетского профессора Шадена. Учил Шаден по университетской гуманитарной программе, главное место в ней занимали языки. В последний год пребывания в пансионе Карамзин слушал лекции в университете, о котором сохранил добрую память. Годы учения отмечены напряженным самообразованием – Карамзин по-прежнему много читал, был в курсе современной немецкой, французской и английской литературы.

Закончив занятия в пансионе, Карамзин прибыл в Петербург. Здесь он встретился со своим родственником И. И. Дмитриевым.

По заведенному порядку дворянские дети поступали на военную службу – и Карамзин поступил в один из лучших гвардейских полков. Но военная служба не привлекала юношу – он еще в пансионе проявил склонность к литературным занятиям и в Петербурге их продолжил. В 1783 г. появился в печати первый карамзинский перевод идиллии швейцарского поэта Геснера – «Деревянная нога».^[1]

Смерть отца неожиданно изменила его судьбу: 1 января 1784 г. он подал в отставку и в чине поручика был выпущен из армии. Больше Карамзин не служил и всю жизнь занимался только литературным трудом.

После устройства своих дел в Симбирске Карамзин в 1784 г. приезжает в Москву. Земляк Карамзина – масон и переводчик И. П. Тургенев – принял его в масонскую ложу, познакомил со своим приятелем, крупным русским просветителем и книгоиздателем Николаем Новиковым, сближение с которым оказало благотворное влияние на начинающего литератора.

В 1780-е гг. Новиков последовательно издавал ряд журналов: «Утренний свет», «Московское издание», «Прибавление к „Московским ведомостям“», «Детское чтение» и др., редактировал газету «Московские ведомости». Но главным делом его было издание художественной литературы – русской и иностранной в переводах, сочинений по философии, истории, социологии, учебных пособий, книг, посвященных домоводству и хозяйственным делам, различных медицинских «лечебников» и руководств.

Увлечение Новикова масонским учением «о братстве всех людей» привело его в масонский орден. Разделяя нравственные концепции масонов, их идеи самовоспитания, он, однако, отстранялся от мистических

исканий «братьев», презирал нелепую обрядность масонов и стремился использовать орден и его денежные средства для своих просветительских и филантропических целей. Так, в частности, и была создана Типографическая компания. Оказавшись в книгоиздательском и масонском кругу Новикова, Карамзин увлекся литературным делом и вопросами нравственного воспитания. Вступая в жизнь, он стремился понять, каково назначение человека, что должно определять его поступки и цель жизни. С масонами Карамзин был связан с 1785 по 1789 г. В тот же период он сблизился с А. Петровым. И. И. Дмитриев так характеризует Петрова и его дружбу с Карамзиным: «Он знаком был с древними и новыми языками при глубоком знании отечественного слова, одарен был и глубоким умом, и необыкновенною способностью к здоровой критике... Карамзин любил Петрова, хотя они были не во всем сходны между собою: один пылок, откровенен и без малейшей желчи; другой угрюм, молчалив и подчас насмешлив. Но оба питали равную страсть к познаниям, к изящному; имели одинаковую силу в уме, одинаковую доброту в сердце; и это заставило их прожить долгое время в тесном согласии под одной кровлей...» Карамзин оплакал раннюю смерть своего товарища в сочинении «Цветы над гробом Агатона».^[2]

Интерес к человеку, его разуму и страстям, к проблемам воспитания, определение цели жизни и роли в обществе – характерны для того времени. Они занимали умы богословов и масонов, писателей – сентименталистов и просветителей, находились в центре внимания философов-просветителей – Дидро, Гельвеция и Гольбаха, сочинения которых о человеке, о природе, об уме переводили и печатали в России.

Огромен был писательский и нравственный авторитет Новикова. С глубоким уважением относился к нему и Карамзин. Стоит напомнить, что в сознании современников деятельность Новикова – просветителя и масона, издателя журналов, писателя, «типографщика» – соотносилась с деятельностью Франклина – просветителя и масона, ученого и писателя, «типографщика» и политического деятеля. В одном из сочинений, посвященных Новикову, сказано: «Два человека, действовавших в одно время на обоих полушариях земли, для одной цели – Франклин и Новиков».^[3]

Свою близость к Новикову Карамзин подчеркивал в письмах (1786) к известному швейцарскому философу, богослову, поэту, автору нравоучительных сочинений Лафатеру.

В одном из них говорится, что Новиков теперь ничего «больше не

хочет писать; может быть, потому, что он нашел другое и более надежное средство быть полезным своей родине».^[4]

«Более надежные средства» Новикова – это издательская деятельность, выпуск сотен книг с целью просвещения соотечественников. Новиков приучал к этим «надежным средствам» и любознательного, трудолюбивого юношу Карамзина. В 1786 г. он поручает ему перевод сочинения немецкого писателя-богослова Штурма «Беседы с богом, или Размышления в утренние часы на каждый день года».

Книга Штурма нравственно-религиозная, но ее своеобразие в том, что она как бы моделировала сочинения XVIII в., ставившие своей задачей приучать человека «размышлять» о себе, о своей природе, своих обязанностях, своем долге.

Судьба близко свела Карамзина с русским «типографщиком» Новиковым. Выполняя новиковские поручения, живя в большом новиковском доме (там помещалась и типография Типографической компании), Карамзин, естественно, знакомился и с теми журналами и книгами, которые издавал просветитель. Новиков, подчинивший всю свою жизнь служению отечеству, человек, делавший бесконечно много добра людям, служил Карамзину примером, каким должен быть настоящий человек. Деятельность юноши в просветительском центре не только позволила ему овладеть журналистским опытом, но и приучила постоянно следить за европейской литературой.

Новиков поверил в способности Карамзина, ему импонировало серьезное отношение молодого человека к литературе, нравственные искания, его желания принести пользу людям. В 1787 г. он привлек Карамзина и его друга, талантливого молодого «любослова» Александра Петрова, для редактирования, а точнее – для подготовки номеров журнала «Детское чтение». Оба редактора разрабатывали программу каждого номера в соответствии с указаниями издателя, распределяли между собой работу. Большая часть журнала состояла из переводов. Карамзин, в частности, перевел пятнадцать небольших повестей французской писательницы Жанлис под общим названием «Деревенские вечера», часть поэмы английского поэта Томсона «Времена года». В «Детском чтении» Карамзин опубликовал и первые свои стихотворения, и прозаические опыты: сюжетную «истинно русскую» повесть «Евгений и Юлия» и лирическую миниатюру «Прогулка». Последнее произведение уже предвещало будущую манеру писателя – автобиографизм, интерес к духовной жизни, любовь к природе, эмоциональный стиль рассказа.

В том же году Карамзин закончил перевод трагедии Шекспира «Юлий

Цезарь» (работа была начата в 1786 г.) и передал его Новикову, который немедленно издал книгу.

Издание «Юлия Цезаря» примечательно и предисловием переводчика. В самое последнее время установлено, что Карамзин переводил трагедию не с французского перевода Летурнера, а с немецкого, осуществленного профессором Эшенбургом (другом Лессинга). В предисловии Карамзин использовал некоторые существенные замечания Виланда из его статьи «Дух Шекспира» (1773).^[5] Объясняя русскому читателю смысл художественного новаторства Шекспира, Карамзин выражал и свое личное восхищение могучим талантом этого писателя. Шекспир, по Карамзину, всем своим творчеством отвергал «правила», навязанные искусству классицизмом, и в этом его величие. Шекспир формировал карамзинский идеал свободного художника-гения, отрицающего всякие предписания. Верность натуре, правда жизни во всем ее многообразии, демократизм и широта интересов; умение видеть поэзию в обыкновенном, в человеке любого общественного положения. И самое главное у Шекспира – его философия человека и мастерство в создании характеров. В каждом действующем лице – короле и башмачнике, полководце и шуте – он раскрывает прежде всего человека, позволяя зрителю и читателю увидеть сокровенную жизнь сердца, живые страсти, одушевляющие личность или терзающие ее душу. «Немногие из писателей, – писал Карамзин, – столь глубоко проникли в человеческое естество, как Шекспир; немногие столь хорошо знали все тайнейшие человека пружины, сокровеннейшие его побуждения, отличительность каждой страсти, каждого темперамента и каждого рода жизни, как удивительный сей живописец».

Перевод «Юлия Цезаря» и предисловие к нему – яркое свидетельство быстрого формирования дарования Карамзина. Широкая образованность, глубокие и серьезные знания способствовали проявлению таланта, помогали выработать самостоятельность. Это сказалось в выборе другого перевода – трагедии Лессинга «Эмилия Галотти», который Карамзин сделал для московского театра. Трагедию Лессинга много лет играли московские артисты. Новиков издал ее в 1788 г.

В 1787 г. Карамзин написал первое большое программное стихотворение – «Поэзия», которое напечатал в «Детском чтении» (1789). В нем раскрывается карамзинское понимание роли поэзии в истории человечества. Общая концепция двадцатилетнего поэта, вычитанная из книг философов-богословов, утверждала божественное происхождение поэзии. Но главное в стихотворении – это вера в общественное призвание поэзии. «Во всех, во всех странах Поэзия святая Наставницей людей, их

счастьем была». Она делала людей лучше, воодушевляла на подвиги:

Омир в стихах своих описывал героев —
И пылкий юный грек, вникая в песнь его,
В восторге восклицал: «Я буду Ахиллесом!
Я кровь свою пролью, за Грецию умру!»

История подтверждала высокую общественную, нравственную и патриотическую миссию поэзии. Вот почему Карамзин приходит к убеждению, что его призвание – служить русской литературе. Россия только начала создавать свою литературу. В письме Лафатеру Карамзин жаловался на бедность русской литературы: «Я не могу доставить себе удовольствия читать много на своем родном языке. Мы еще бедны писателями-прозаиками. У нас есть несколько поэтов, которых стоит читать. Первый и лучший из них Херасков».^[6] Прозаиков действительно почти не было. Но поэты талантливые (и покрупнее Хераскова) были. Был уже великий Державин – его еще, видимо, Карамзин не знает, – лишь через три года он будет его величать «первым нашим поэтом». Мнение Карамзина субъективно. Он не заметил не только Державина, но и Фонвизина, слава которого особенно была шумной после постановки в Петербурге и Москве комедии «Недоросль».^[7]

Пребывание в Дружеском обществе, работа в новиковском просветительском центре способствовали самоопределению Карамзина. По свидетельству его друга, поэта И. И. Дмитриева, именно здесь «началось образование Карамзина, не только авторское, но и нравственное. В доме Новикова он имел случай обращаться в кругу людей степенных, соединенных дружбою и просвещением».^[8]

Карамзин чувствовал себя готовым к самостоятельной литературной и журнальной работе. Но перед этим он твердо решил совершить путешествие. Оно было необходимо и для завершения образования, и для проверки тех идей и истин, о которых Карамзин узнал из сочинений писателей и философов. Русский путешественник надеялся, что получит ответы на свои вопросы лично от тех, чьи сочинения читал, смело предполагая встретиться с Лафатером и Гердером, Гёте и Бартолеми, Кантом и Виландом. Предположения и надежды оправдались...

Отъезд означал и разрыв с масонским обществом. Уважая людей, искренне делавших добро людям и занимавшихся нравственным усовершенствованием, он решительно не принимал «нелепой обрядности»

масонской ложи. Карамзин предупредил московских друзей, что «принимать далее участие в их собраниях» не будет. Ответ их, вспоминал позже Карамзин, «был благосклонный: сожалели, но не удерживали, а на прощание дали мне обед».

В середине мая 1789 г. через Тверь, Петербург и Ригу выехал в дальнейшее путешествие по Европе двадцатитрехлетний русский писатель Николай Карамзин.

3

Посетив Пруссию, Саксонию, Швейцарию, Францию и Англию, Карамзин вернулся на родину в сентябре 1790 г. Возвращался он с твердо принятым решением издавать с нового года собственный журнал. Во время краткого пребывания в Петербурге он познакомился с Державиным. Начинаящий журналист (издатель журнала), щеголевато одетый путешественник привлек внимание знаменитого поэта, ему понравились умные рассказы об увиденном в Европе; он пообещал посылать в его журнал свои новые стихотворения.

Местом своей деятельности Карамзин избрал знакомую ему Москву. Несомненно, этому способствовали не только дружеские связи, но и деловые, завязанные еще до путешествия.

Решение стать издателем журнала с определенным литературно-философским направлением было значительным общественным поступком начинающего писателя. Следуя примеру (единственному!) Новикова, Карамзин отказывается от какой-либо государственной службы – он не хочет быть чиновником. Ему – журналисту и писателю – дорога независимость. Он разделял мнение своего современника С. Глинки, видевшего главную заслугу Новикова, «опередившего свой век», в том, что он «двигал вслед за собою общество и приучал мыслить».^[9]

По этому пути собирался идти и Карамзин. Он писал, что «в России литература может быть еще полезнее, нежели в других землях: чувство в нас новее и свежее; изящное тем сильнее действует на сердце и тем более плодов приносит. Сколь благородно, сколь утешительно помогать нравственному образованию такого великого и сильного народа, как российский».

Непосредственное влияние на выбор Карамзиным своей деятельности оказало время – время широкого распространения идей Просвещения и, как казалось в 1790–1792 гг., воплощения в жизни великих истин,

провозглашенных философами; время, когда «законы разума всенародно возглашаются». Время требовало активного общественного служения: «... блажен тот из смертных, кто в краткое время жизни своей успел рассеять хотя одно мрачное заблуждение ума человеческого, успел хотя одним шагом приблизить людей к источнику всех истин, успел хотя единое плодоносное зерно добродетели вложить рукою любви в сердце чувствительных и таким образом ускорил ход всемирного совершеня!»

Карамзин искренне стремился подчинить свою деятельность этой благородной цели. Издание «Московского журнала» и должно было помогать ускорению хода «всемирного совершеня». Тем самым определялась и программа журнала – он включал и русский, и западноевропейский материал: русского читателя должно было держать в курсе идейной жизни эпохи.

Решение Карамзина издавать литературный журнал, задачей которого явилось бы распространение просвещения и «рассеивание заблуждений», было, несомненно, отважным. После жестокого подавления крестьянского восстания под руководством Пугачева (1775) Екатерина II круто изменила свою политику. Она объявила себя «казанской помещицей», подчеркнув тем самым общность интересов помещиков и самодержицы. В 1780-е гг. она уже не заигрывала с просветителями, не стремилась внушать подданным, что в России правит просвещенный монарх. Начавшаяся в 1789 г. французская революция перепугала Екатерину II – ее правительство стало преследовать передовых деятелей (Фонвизина, Княжнина), запрещать издание «подозрительных» книг, закрывать журналы. В условиях, когда началось гонение на Новикова, когда у него отняли типографию, когда готовился его арест, Карамзин и решил занять на общественном поприще место журналиста, издателя.

В ноябре 1790 г. в «Московских ведомостях» Карамзин опубликовал объявление об издании с января ежемесячного «Московского журнала», в котором кратко изложил его будущую программу, предупреждая читателей о принципиально антимасонском характере своего издания. Бывшие друзья-масоны резко осудили «брата Рамзая» за это. Карамзин не дрогнул, остался верен своим планам и продолжал готовить очередные номера «Московского журнала». Важное место в них заняли сочинения русских писателей. Карамзин сумел привлечь многих талантливых поэтов. Это и авторитетнейший старый поэт М. М. Херасков, и прославленный Державин. Откликнулись и молодые даровитые литераторы И. И. Дмитриев, Ю. А. Нелединский-Мелецкий, Н. А. Львов, С. С. Бобров и др.

Но большинство произведений, напечатанных в «Московском журнале», принадлежали самому Карамзину. Он опубликовал значительную часть «Писем русского путешественника», несколько повестей («Бедная Лиза», «Лиодор», «Наталья, боярская дочь»), лирические прозаические миниатюры («Деревня», «Фрол Силин, благодетельный человек» и др.), печатал свои стихи, выступал рецензентом русских и иностранных книг и спектаклей, переводчиком. Именно «Московский журнал» принес известность и славу Карамзину-прозаику. Его приветствовал и благословлял сам Державин.

В 1794 г. Карамзин, собрав свои прозаические и поэтические произведения из журнала, выпустил их отдельной книгой, которая была встречена с энтузиазмом читающей публикой.

Читатели журнала знакомились и с иностранной литературой: с отрывками из сочинений Стерна («Сентиментальное путешествие» и «Жизнь Тристрама Шенди»), повестью Мармонтеля, переводом поэм Оссиана, отдельных сцен из поэмы «Саконтала» («Шакунтала») индийского поэта Калидасы и др. Печатались в разделе «Смесь» «анекдоты» – интересные факты и события из биографий различных деятелей – прошлого и настоящего, «особливо из жизни славных новых писателей», познавательные статьи («Нечто о мифологии», «Соломон Геснер» и др.), антимасонское по своему содержанию подробное повествование о жизни и похождениях известного авантюриста XVIII в. Калиостро и т. д.

Но, пожалуй, главным источником сведений об идейной жизни европейских стран и прежде всего революционной Франции являлись постоянные разделы в журнале – «О иностранных книгах» и «Парижские спектакли». Именно здесь с наибольшей отчетливостью проявлялась общественная позиция Карамзина, его отношение к французской революции. Карамзин рекомендовал русскому читателю сочинение активного участника революции Вольнея «Развалины, или Размышления о революциях империи», книгу Мерсье «О Жан-Жаке Руссо».^[10] Остерегаясь цензуры, Карамзин кратко, но выразительно характеризовал их как «важнейшие произведения французской литературы в прошедшем году».

Рецензии о парижских спектаклях переносили русского читателя в идейную атмосферу города, в котором бурно протекали события революции. Подробно рассматривается пьеса Монвеля «Заключенные в монастырь жертвы», рассказывавшая о гнусных действиях монахов. Сообщалось, что «на италиянском театре играли „Тень графа Мирабо“». Один из вождей революции стал героем спектакля, в нем „сей славный

оратор беседует с великими мужами древности“».

Пропаганда острополитических сочинений в годы, когда во Франция разворачивались бурные события, свидетельствует о глубоком внимании Карамзина к этим событиям. Важно и то, что он ни разу не осудил революцию на страницах своего журнала.

Карамзин не боялся касаться и русских дел. Прежде всего должно сказать о позиции молодого писателя в связи с политическими репрессиями, которые начала проводить Екатерина II: в 1790 г. был арестован Радищев за его книгу «Путешествие из Петербурга в Москву», которая была разрешена цензурой. В 1792 г. по ее указу арестовали Новикова. В этих обстоятельствах Карамзин и напечатал в «Московском журнале» стихотворение «К милости», в котором призывал императрицу не осуждать Новикова. В стихотворении Карамзин излагает свою концепцию самодержавного правления. Стихотворение построено как перечень условий, обеспечивающих спокойствие в стране и любовь к монарху: «Доколе гражданин довольный Без страха может засыпать», «Доколе всем даешь свободу И света не темнишь в умах; Пока доверенность к народу Видна во всех твоих делах...».

Публикация стихотворения в период русской реакции, в годы французской революции была, несомненно, смелым гражданским поступком. Карамзин это понимал. Знал, что надо проявить осторожность: чтобы стихотворение не было запрещено, он вынужден был снять два стиха – «Доколе права не забудешь, С которым человек рожден», заменив их другими: «Доколе пользоваться будешь Ты правом матери одной...».

Содержание «Московского журнала» за 1791 и 1792 гг. с наибольшей отчетливостью выявило основы мировоззрения Карамзина, как оно сложилось с начала его литературной деятельности до 1793 г. Убеждения Карамзина с юности формировались под влиянием философских и эстетических идей французского, немецкого и русского Просвещения. Просветители разбудили интерес к человеку как духовно богатой и неповторимой личности, чье нравственное достоинство не зависит от имущественного положения и сословной принадлежности. Идея личности стала центральной и в творчестве Карамзина, в его эстетической концепции.

«Человек велик духом своим, – говорил Карамзин. – Божество обитает

в его сердце». История подтверждала его убеждение, что «род человеческий возвышается и хотя медленно, хотя неровными шагами, но всегда приближается к духовному совершенству». XVIII век в беспрецедентных масштабах продемонстрировал духовную мощь движения просветителей, показал преобразующую силу идей свободы и справедливости. Карамзин считал, что только Просвещение способно воспитать человека. «Просвещение есть палладиум благонравия», – писал Карамзин. Оно формирует добродетель. Науки и искусства нужны всем людям; как «золотое солнце сияет для всех на голубом своде и все живущие согреваются его лучами», так и просвещение – науки и искусства – нужны и целительны всем: «и властителю и невольнику».

Карамзин был свидетелем и участником всеевропейского просветительского движения, и—помересилсвоих—как переводчик, автор и издатель журнала, он распространял идеи Просвещения и надеялся, что тем способствует делу нравственного воспитания соотечественников.

Социальные убеждения Карамзина были иными. Он не принял идеи социального равенства людей – центральной в просветительской идеологии. С юношеских лет до конца дней своих Карамзин оставался верен убеждению, что неравенство необходимо и неизбежно. В то же время Карамзин признает моральное равенство людей. На этой основе и складывалась в эту пору у писателя отвлеченная, исполненная мечтательности утопия о будущем братстве людей, о торжестве социального мира и счастья в обществе.

Важнейшей особенностью мировоззрения Карамзина конца 1780-х – начала 1790-х гг. является просветительский оптимизм, вера в скорое торжество «законов чистого разума». Наиболее отчетливо эти убеждения выражены в стихотворении «Песня мира», написанном в связи с заключением в декабре 1791 г. Ясского мира, положившего конец Русскотурецкой войне (1787–1791). Но содержание стихотворения и богаче, и шире прославления заключенного мира. Окончание войны явилось для Карамзина прекрасным поводом для поэтического раскрытия своего идеала человеческого общежития. Поэт сознательно подчеркивал общность своего идеала с идеалами просветителей о братстве всех людей и равенстве всех народов («Священный союз всемирного дружества»), о неприятии истребительных войн (идеи «вечного мира» Сен-Пьера и Ж.-Ж. Руссо). Выявление данной общности осуществлялось путем использования стихотворения Шиллера «К радости» (1785), в котором были сфокусированы дорогие обоим поэтам идеи.

Карамзина у Шиллера привлекал сам характер трактовки абстрактно-

утопической надежды на неминуемое торжество идей справедливости и воцарения в обществе мира и благоденствия, когда все люди будут братьями. Карамзин, следуя за Шиллером, утверждал, что в этом обществе «агнец тигра не боится и гуляет с ним в лугах» и потому

Миллионы, веселитесь.
Миллионы, обнимитесь.
Как объемлет брата брат!
Лобызайтесь все стократ!

Эти стихи – довольно точный перевод Шиллеровых. Но, опираясь на Шиллера, Карамзин самостоятельно детализирует свое представление о желаемом будущем: «Цепь составьте миллионы, дети одного отца! Вам даны одни законы, вам даны одни сердца!» В этих стихах просветительский идеализм сказался со всей откровенностью – будущее завоевывается воспитанием. Смысл воспитания – в возвращении человека к вечным законам природы, согласно которым все люди братья. Пожалуй, нигде раньше Карамзин не высказывался с такой определенностью, что спасение человечества достигается воспитанием людей. Эта мысль подчеркнута в многократно повторенном рефрене:

Век Астреин, оживи!
С целым миром вы в любви!

Век Астреи, согласно греческой мифологии, – золотой век справедливого общественного устройства. Астрея – богиня справедливости. Такого мотива у Шиллера нет. Для Карамзина эпохи издания «Московского журнала» (1792 г., то есть третий год французской революции) все еще характерна вера в неминуемое торжество идей Просвещения, в возрождение века Астреи.

Идеи, выраженные в «Песне мира», были настолько программно важны для Карамзина, что через несколько месяцев он решил еще раз напомнить читателям журнала о своем идеале. Так была напечатана небольшая статья «Из записок одного молодого россиянина». Записки состоят из одиннадцати миниатюрных фрагментов, посвященных вопросам счастья, воспитания людей, бессмертия души и братства людей. Последней темой и завершаются этюды.

Религиозно-нравственное учение о братстве людей слилось у Карамзина с абстрактно понятыми представлениями просветителей о счастье свободного человека. Рисуя наивные картины возможного «блаженства» «братьев», писатель все же не теряет чувства реальности и потому настойчиво повторяет, что все это «мечта воображения». Подобное мечтательное свободолобие противостояло воззрениям русских просветителей, которые самоотверженно боролись за осуществление своих идеалов, противостояло революционным убеждениям Радищева. Но в условиях екатерининской реакции 1790-х гг. эти прекраснодушные мечтания и постоянно высказываемая вера в благодетельность просвещения для всех сословий отделяли Карамзина от лагеря реакции, определяли его общественную независимость. Эта независимость прежде всего проявлялась в отношении к французской революции. Естественно, Карамзин не мог приветствовать революцию – он по-просветительски отвергал насильственное изменение общественного устройства. Но он не спешил и с ее осуждением, предпочитая внимательно наблюдать за событиями, стремясь понять их действительный смысл.

Эстетические воззрения Карамзина получили свое теоретическое (в статьях и рецензиях) и образно-творческое воплощение в стихах и прозаических произведениях, напечатанных в «Московском журнале». Было ясно, что в русскую литературу пришел талантливый писатель-сентименталист, творчески близкий прославленным авторам века – Руссо и Стерну, – но сохранивший самобытность русского художника.

Сентиментализм, передовое, вдохновленное просветительской идеологией искусство, утверждался и побеждал в Англии, Франции и Германии во второй половине XVIII в. Просвещение как идеология, выражающая не только буржуазные интересы и идеалы, но в конечном счете отстаивающая интересы широких народных масс, принесло новый взгляд на человека и обстоятельства его жизни, на место личности в обществе. Сентиментализм, превознося человека, сосредоточивал главное внимание на изображении душевных движений, раскрывал мир нравственной жизни. Это не значит, что писателей-сентименталистов не интересует внешний мир, что они не видят зависимости человека от нравов и обычаев общества, в котором он живет. Просветительская идеология открыла новому направлению не только идею личности, но и зависимость

ее от обстоятельств.

Человек сентиментализма, противопоставляя имущественному богатству богатство индивидуальности и внутреннего мира, богатству кармана – богатство чувства, был в то же время лишен боевого духа. Это связано с двойственностью идеологии Просвещения. Просветители, выдвигая революционные идеи, борясь с феодализмом, оставались сторонниками мирных реформ. В этом проявилась буржуазная ограниченность западного Просвещения: герой европейского сентиментализма – не просто свободный человек и духовно богатая личность, но это еще и частный человек, бегущий из враждебного ему мира, не желающий бороться за свою действительную свободу в обществе, пребывающий в своем уединении и наслаждающийся своим неповторимым «я».

Русским просветителям была близка и дорога философия свободного человека, созданная французским Просвещением. Но в своем учении о человеке они были оригинальны и самобытны, выразив те черты идеала, которые складывались на основе живой исторической деятельности русского народа.

Герой фонвизинского «Недоросля» Стародум, выражая суть своего нравственного кодекса, говорит: «Я друг честных людей». Путешественник Радищев в вступлении к книге «Путешествие из Петербурга в Москву» пишет о себе: «Я взглянул окрест меня – душа моя страданиями человечества уязвлена стала». Вот эта способность «уязвляться» страданиями человечества, активно действовать на благо людей и отечества и была объявлена русскими писателями-просветителями основой нравственного кодекса личности.

Карамзин в 1790-е гг. становится вождем русских сентименталистов. Вокруг его изданий (начиная с «Московского журнала») объединялись его литературные друзья – старые и молодые, ученики и последователи. После многолетней плодотворной деятельности французских и русских писателей-просветителей, после художественных открытий, изменивших облик искусства, с одной стороны, и после французской революции – с другой, нельзя было писать, не опираясь на опыт передовой литературы, не учитывать и не продолжать, в частности, традиций сентиментализма Стерна и Руссо. Но при этом следует помнить, что Карамзину европейский сентиментализм был ближе, чем художественный опыт русских просветителей. (Не случайно, например, он замолчал Фонвизина, этого, по выражению Пушкина, «друга свободы».)

В конкретно-исторических условиях русской жизни 1790-х гг., в пору,

когда время требовало от литературы глубокого раскрытия внутреннего мира личности, понимания «языка сердца», умения говорить на этом языке, деятельность Карамзина-художника оказала серьезное и глубокое влияние на развитие русской литературы. Как политический консерватизм ни ослаблял общественное воздействие художественного метода нового искусства, все же Карамзин и некоторые талантливые его последователи обновили литературу, принесли новые темы, создали новые жанры, выработали особый слог, реформировали литературный язык.

Несомненно, выяснению особенностей художественной системы сентиментализма Карамзина помогает его типологическое изучение в рамках западноевропейской литературы XVIII в. Но при таком изучении не должно игнорировать национального своеобразия литературного процесса разных стран, в противном случае оно приведет к созданию некоей абстрактной модели общеевропейского сентиментализма. Именно такое положение и сложилось в нашей науке, выдвинувшей две модели сентиментализма – стерновского и руссоистского типа. Задача конкретно-исторического рассмотрения творчества Карамзина оказалась подмененной установлением сходства со стерновской моделью.

Сентиментализм Карамзина, типологически связанный с общеевропейским литературным направлением, – во многом совершенно новое явление. Не только национальные условия жизни, но и время определяло это различие. Сентиментализм на Западе формировался в пору подъема и *наивысшего* расцвета Просвещения, философия которого питала эстетические идеалы нового направления. Сентиментализм Карамзина, также обусловленный Просвещением, сложился окончательно в художественную систему в годы *проверки теорий просветителей практикой французской революции*, в эпоху начавшейся драмы передовых идей и обнаружившейся катастрофичности бытия человека нового времени. Революция показала, что обещанное просветителями «царство разума», справедливости и свободы не наступило. Начиналась эпоха разочарования в идеалах Просвещения, факелы свободы и надежды гасли – оттого-то современная жизнь и казалась трагически-безысходной. Все это определило особый, национально неповторимый облик сентиментализма Карамзина.

Сентиментализм Карамзина типологически связан с европейским сентиментализмом, но исторически является его новым этапом.

Критические работы Карамзина в «Московском журнале» расчищали дорогу новому направлению. Рецензий на русские книги в журнале мало. Но характерно, что, оценивая произведения своего времени, Карамзин

прежде всего отмечает как их существенный недостаток отсутствие точности в изображении поведения героев, обстоятельств их жизни.

Разбирая перевод романа Ричардсона «Достопамятная жизнь девицы Клариссы Гарлов», Карамзин подчеркивал – его главное достоинство «в описании обыкновенных сцен жизни», автора отличает «отменное искусство в описании подробностей и характеров».

С наибольшей откровенностью свое отношение к нормативной поэтике классицизма Карамзин высказал в рецензии на трагедию Корнеля «Сид». Признавая поэтические достоинства трагедии, рецензент решительно не принимает эстетического кодекса Корнеля, отдавая предпочтение Шекспиру в прошлом, Лессингу – в настоящем.

Уже говорилось, что в 1788 г. вышла из печати трагедия Лессинга «Эмилия Галотти» в переводе Карамзина. Через четыре года он выступил с большой статьей, посвященной постановке трагедии на русской сцене. «Эмилия Галотти» привлекла критика тем, как драматург, раскрывая интимную жизнь своих героев, показал, что человек не может отделиться от общества, от социальных и политических обстоятельств, его окружающих, что счастье человека часто зависит от внешних причин, от законов, от действия монарха. Анализируя трагедию, Карамзин пишет, что упования ее героя Одоардо на справедливость монарха иллюзорно: «Какие же средства оставались ему спасти ее (дочь свою Эмилию. – Г. М.)? К законам прибегнуть там, где законы говорили устами того, на кого бы ему просить надлежало?» Ценя Лессинга за глубокое «знание сердца человеческого», Карамзин подводит читателя к мысли о праве личности на сопротивление, правда, на пассивное, но все же сопротивление тирану и вообще всякому, кто «другого человека приневолить хочет». С одобрением критик приводит слова Одоардо: «Кажется, что я уже слышу тирана, идущего похитить у меня дочь мою. Нет, нет! Он не похитит, не обесчестит ее!» Спасаясь от насилия тирана, Одоардо закалывает свою дочь. Именно за это хвалит Карамзин трагедию, считая ее «венцом Лессинговых драматических творений».

К критическим работам Карамзина в «Московском журнале» примыкают и две статьи, написанные им зимой и весной 1793 г.: «Что нужно автору?» и «Нечто о науках, искусствах и просвещении». Статья «Нечто о науках...» – это гимн человеку, его успехам в искусствах, науках и просвещении. Карамзин глубоко убежден, что человечество идет по пути прогресса, что именно XVIII в. благодаря деятельности великих просветителей – ученых, философов и писателей – приблизил людей к истине. Заблуждения бывают, но они, как «чуждые наросты, рано или

поздно исчезнут», ибо человек обязательно придет «к приятной богини-истине». Усвоив просветительскую философию своего времени, Карамзин считает, что «просвещение есть палладиум благонравия». Просвещение благотельно для людей всех состояний.

Публикация Карамзиным своих повестей явилась крупным событием литературной жизни последнего десятилетия XVIII в. Глубоко лирические по стилю, они открывали поэзию душевной жизни обыкновенных людей, запечатлев тонкие переживания героев, сложность и противоречивость их чувств. Действие в повестях развивается стремительно, но не сюжет увлекает читателя, а психологический драматизм рассказа, обнажение «тайное тайных» душевного мира личности, «жизнь сердца» героев и самого автора, который доверительно беседовал с читателем, делясь с ним думами, не скрывая своих чувств и своего отношения к героям.

Все в повестях было ново для читателя, но это новое, неожиданное не оттолкнуло его, потому что было высказано вовремя. Читатель уже знал – в оригинале или в переводах – многие произведения европейского сентиментализма. Стерн и Руссо, Гёте и Ричардсон и многие другие английские, французские и немецкие писатели сосредоточили свое внимание на психологическом анализе личности: раскрывая духовное богатство человека, они учили ценить его за сложность переживаний, реабилитировали его страсти.

Романы этих писателей были известны в России до Карамзина, а сам Карамзин был их восторженным почитателем. Теперь читатель обрел в Карамзине русского писателя, который писал о русской жизни, о русских людях, писал современным языком, наделенным способностью передавать «невыразимое» состояние души, глубоко эмоциональный пафос жизни человека.

Оттого читатель горячо, с небывалым энтузиазмом принял повести молодого писателя. Такого успеха, такой популярности не получало еще ни одно произведение русской литературы. Славу писателю принесла повесть «Бедная Лиза» (1792). Повести Карамзина пользовались успехом и в первом десятилетии XIX в.

Оценивая достижения Карамзина в развитии русской прозы, Белинский писал: «Карамзин первый на Руси начал писать повести, которые заинтересовали общество... повести, в которых действовали люди,

изображалась жизнь сердца и страстей посреди обыкновенного повседневного быта». Справедливо указал критик и на их слабость: в них нет «творческого воспроизведения действительности», но изображается лишь нравственный мир его современников, «как в зеркале, верно отражается жизнь сердца... как она существовала для людей того времени». Итоговая оценка критика звучала суровым приговором: повести Карамзина сохранили только «интерес исторический».^[11]

Время и обстоятельства литературной борьбы за реалистическое искусство определили такой приговор критика. Повести Карамзина принадлежат к лучшим художественным достижениям русского сентиментализма. Они сыграли значительную роль в развитии русской литературы своего времени. Интерес исторический они действительно сохранили надолго. Но только ли исторический?

Канули в вечность увлечения, вкусы, представления дворянского читателя конца XVIII в., любившего повести Карамзина. Давно забыты литературные споры, которые они вызывали, «преданьем старины глубокой» звучат мемуарные свидетельства о шумном успехе «Бедной Лизы» – девушки-поклонницы, такие же несчастные, как Лиза, топились в том же пруду у Симонова монастыря.

Современный читатель свободен от прежних традиций. Что же откроется ему в наивном и старомодном, подчеркнуто эмоциональном рассказе о нравственной жизни русских людей прошлого, что скажут повести его уму и сердцу, что привлечет его внимание и, главное, привлечет ли, когда он будет сегодня читать повести Карамзина?

Чувствительность – так на языке конца XVIII в. определяли главное достоинство повестей Карамзина. Писатель учил сострадать людям, обнаруживал в «изгибах сердца» «нежнейшие чувства», погружал читателя в напряженную эмоциональную атмосферу «нежных страстей». «Чувствительным», «нежным» и называли Карамзина.

Трагизм жизни человека – вот что прежде всего обнаружит современный читатель в повестях Карамзина, вот что привлечет его внимание.

Повести «Бедная Лиза» и «Остров Борнгольм» посвящены традиционной любовной теме, истории двух любящих существ. Но при решении этой темы Карамзин разрушил каноны любовной повести. Его герои ищут счастья в любви, но, странное дело, чувства их лишены камерности, они живут даже не в привычных домашних условиях, а в большом и жестоком мире, оказавшись втянутыми в какой-то непостижимый для них конфликт с действительностью. Бесчеловечный,

фатальный закон этой жизни лишает их счастья, делает жертвами, обрекает на гибель или постоянные страдания. Герои Карамзина – словно люди, потерпевшие кораблекрушение, выброшенные на суровый и дикий берег, одинокие на безлюдной земле.

С еще большей обнаженностью, чем в «Бедной Лизе», этот фатальный закон, обрекающий человека на страдание и гибель, раскрыт в повестях «Остров Борнгольм» и «СиерраМорена». «Остров Борнгольм» – одна из лучших повестей Карамзина, она написана в стиле раннего романтизма, ^[12] – отсюда таинственность места действия: заброшенный в море остров с экзотическим названием, средневековый замок, подземелье, где томится за неизвестную вину молодая женщина, недосказанность в развитии сюжета, намеки повествователя как стилистический принцип рассказа.

В чем же суть того фатального закона, который управляет судьбами героев повестей Карамзина? Герой повести «Остров Борнгольм» – несчастный юноша, насильственно разлученный со своей возлюбленной, поет печальную песню, в которой рассказывает историю своей любви к Лиле. В ней откровеннее всего говорится о трагическом противоречии между законами природы и законами иными – бесчеловечными, неумолимо действующими в обществе. Юноша пытается отстоять свое право на счастье, ссылаясь на природу: «Природа! Ты хотела, чтоб Лилу я любил!» Но «законы», люди осуждают их страсть, объявляют ее преступной.

Что же это за «власть», которая «сильнее» любви? Какие законы могущественнее велений природы? Кто создает эти законы и управляет, следуя им? Карамзин не отвечает на эти вопросы, отказывается дать оценку этим законам – он лишь констатирует их неодолимое действие.

Сюжетно «Бедная Лиза» оказывалась близкой любовному романсу. Вывод Карамзина: «и крестьянки любить умеют» – был обобщением этического кодекса песни. Но оптимизм песни был ему чужд. Он показывает гибель Лизы, отказываясь от исследования причин ее несчастья, уходя от вопроса, кто виноват. Страдание есть – виновных нет, констатирует писатель. «Эраст был до конца жизни своей несчастлив. Узнав о судьбе Лизиной, он не мог утешиться и почитал себя убийцей». Скоро горюющий Эраст умирает.

Но Карамзин-художник не мог не видеть реальных контуров того закона, который погубил его героев. И как ни убегал он от реальной действительности с ее социальными противоречиями, она вторгалась в повесть. В момент зарождения любви к Эрасту Лиза признается: «Если бы тот, кто занимает теперь мысли мои, рожден был простым крестьянином...»

Понимание, что социальное неравенство (дворянин не мог жениться на крестьянке) погубит любовь, не помогло преодолеть влечение сердца – Лиза полюбила и тем обрекла себя на гибель. В минуту искренности и сердечных признаний Эраст обещал Лизе никогда не расставаться с нею. Трепеща, Лиза говорит ему: «Однако ж тебе нельзя быть моим мужем... Я крестьянка». Охваченный страстью Эраст уверяет, что закон неравенства не властен над ним: «Для твоего друга важнее всего душа, чувствительная, невинная душа, – и Лиза будет всегда ближайшая к моему сердцу».

Предчувствие не обмануло Лизу – Эраст бросил ее, ту, которую любил, и женился без любви, но на равне, дворянке, «пожилой богатой вдове». И читатель не может не понять, что причиной несчастий героев является не отвлеченный моральный закон, а закон, созданный людьми, закон социального неравенства.

В конце 1792 г. было завершено издание «Московского журнала». Карамзин с воодушевлением отдался новым планам и замыслам. Он готовил издание альманаха «Аглая», писал повести, стихи, работал над продолжением «Писем русского путешественника». И в это время неожиданные политические события породили идейный кризис, который стал рубежом творческой жизни писателя.

Случилось это летом 1793 г. В июле Карамзин уехал в орловское имение на отдых. В августе новые известия о французских событиях смутили душу писателя. В письме к Дмитриеву он сообщал: «...ужасные происшествия Европы волнуют всю душу мою». С горечью и болью думал он «о разрушаемых городах и гибели людей». Тогда же написанный очерк «Афинская жизнь» оканчивался автобиографическим признанием: «Я сижу один в сельском кабинете своем, в худом шлафроке, и не вижу перед собою ничего, кроме догорающей свечи, измаранного листа бумаги и гамбургских газет, которые... известят меня об ужасном безумстве наших просвещенных современников».

Что же произошло во Франции? Борьба правых депутатов конвента (жирондистов), выражавших интересы буржуазии, испугавшейся размаха народной революции, и якобинцев, представителей истинно демократических сил страны, достигла апогея. Весной в Лионе вспыхнул поднятый контрреволюционерами мятеж. Его поддержали жирондисты. Началось грандиозное восстание против революции в Вандее. Спасая

революцию, опираясь на восстание парижских секций (31 мая – 2 июня), якобинцы во главе с Робеспьером, Маратом и Дантоном установили диктатуру. Вот эти события, развернувшиеся в июне – июле 1793 г., о которых Карамзин узнал в августе, и повергли его в смятение, испугали, оттолкнули от революции. Рухнула прежняя система взглядов, закралось сомнение в возможности человечества достичь счастья и благоденствия, стала складываться система откровенно консервативных убеждений. Выражением этого смятенного сознания Карамзина и крушения прежних просветительских идеалов, мучивших противоречий стали статьи-письма «Мелодор к Филалету. Филалет к Мелодору».

Мелодор и Филалет – это не разные люди, это «голоса души» самого Карамзина, это смущенный и растерянный Карамзин старый и Карамзин новый, ищущий иных, отличных от прежних, идеалов жизни, стремящийся найти выход из событий, потрясших всю Европу.

Крушение веры в гуманистические идеалы Просвещения было трагедией Карамзина. Герцен, остро переживавший свою духовную драму после подавления французской революции 1848 г., называл эти выстраданные признания Карамзина «огненными и полными слез». В той же статье и в связи с Карамзиным Герцен так определил важнейшую особенность русских людей и русских писателей в первую очередь – их отзывчивость к общечеловеческим делам и судьбам: «...Странная судьба русских – видеть дальше соседей, видеть мрачнее и смело высказывать свое мнение...»^[13]

Мелодору, разочаровавшемуся в веке Просвещения, отвечает Филалет. Он тяжело переживает события французской революции, но не теряет оптимизма и продолжает верить в поступательный ход истории, верит в прогресс, верит в человека, в доброе начало человеческой природы.

Противоречия мировоззрения Карамзина, запечатленные в драматическом диалоге Мелодора и Филалета, не были решены ни в конце 1793 г., ни в следующие два года. Оттого с осени 1793 г. начинается новый период творчества Карамзина – разочарование в идеологии Просвещения, неверие в возможность освободить людей от пороков, поскольку страсти неистребимы, убеждение, что следует жить вдали от общества, от исполненной зла жизни, находя счастье в наслаждении самим собой.

В центре творчества стала теперь личность автора; автобиографизм находит выражение в раскрытии внутреннего мира тоскующей души человека, бегущего от общественной жизни, пытающегося найти успокоение в эгоистическом счастье. С наибольшей полнотой новые взгляды выразились в поэзии.

Если в первый период (конец 1780-х – начало 1790-х гг.) поэзия Карамзина была исполнена просветительского оптимизма и веры в общественные связи человека, в его интерес к объективному, реальному миру, то в годы мировоззренческого кризиса позицию Карамзина-поэта определял субъективизм.

Манифестом Карамзина начального периода творчества явилось стихотворение «Поэзия», написанное еще в 1787 г., но полностью напечатанное в «Московском журнале». Там же были напечатаны политические и гражданственно-патриотические стихотворения – «К милости», «Военная песнь». Следуя за патриотическими одами Державина, Карамзин обращается с призывом к «россам», «в чьих жилах льется кровь героев»: «Туда спеши, о сын России! Разить бесчисленных врагов».

Когда формировалось дарование Карамзина (1780-е гг.), самым крупным и ярким поэтом был Державин, теснейшими узами связанный со своим временем. Поэзия Державина именно своим настойчивым интересом к человеку была близка Карамзину. Только герой большинства карамзинских стихов жил тише, скромнее, он лишен был гражданской активности державинских героев. Карамзин не способен был гневно возмущаться, грозно напоминать «властителям и судиям» об их высоком долге перед своими подданными, громко и шумно радоваться. Он как бы прислушивается к тому, что происходит в его сердце, улавливает никому не ведомую, но по-своему большую жизнь. Общий тон стихотворений этих лет светлый, не замутненный страхом, мистикой, отчаянием. «Да светлеет сердце наше, да сияет в нем покой», – провозглашает поэт.

Вера в жизнь, несмотря на все страдания и скорби, которые обрушиваются на человека, дух оптимизма пронизывают и замечательную балладу «Граф Гвариног».

Разочарование в возможности перестроить общественную жизнь на основе разумных просветительских идеалов обусловило новый характер лирики Карамзина. В 1794 г. он написал два дружеских послания – И. И. Дмитриеву и А. Плещееву, в которых с публицистической остротой изложил новые, глубоко пессимистические воззрения на проблемы общественного развития. Некогда он «мечтами обольщался», «любил с горячностью людей», «желал добра им всей душою». Но последние события во Франции показали, как безумны были мечтания философов. «И вижу ясно, что с Платоном республик нам не учредить».

Погрузив человека в мир чувств, поэт заставляет его жить только жизнью сердца, поскольку счастье только в любви, дружбе и наслаждениях природой. Так появились стихотворения, раскрывающие внутренний мир

замкнутой в себе личности («К самому себе», «К бедному поэту», «Соловей», «К неверной», «К верной» и др.). Поэт проповедует философию «мучительной радости», называет сладостным чувством меланхолию, которая есть «нежнейший перелив от скорби и тоски к утехам наслаждения». Гимном этому чувству явилось стихотворение «Меланхолия».

В стихотворении «Соловей» Карамзин, может быть впервые с такой смелостью и решительностью, противопоставил миру реальному мир, творимый воображением человека. Поэтому долг поэта – «вымышлять», и истинный поэт – «это искусный лжец». Он признавался: «Мой друг! существование бедно: играй в душе своей мечтами». Подготовленный сборник своих произведений Карамзин называет «Мои безделки» (1794); он демонстративно декларирует свое намерение писать для женщин, быть приятным «красавицам» («Послание к женщинам»).

Создавая новую лирику, Карамзин обновил русскую поэзию. Он внес новые жанры, которые в последующем мы встретим у Жуковского, Батюшкова и Пушкина-лицеиста: балладу, дружеское послание, поэтические «мелочи», остроумные безделушки, мадригалы и т. д. Недовольный, как и некоторые другие поэты (например, А. Радищев), засильем ямба, он использует хорей, широко вводит безрифменный стих, пишет трехсложными размерами. В элегической, любовной лирике Карамзиным был создан особый поэтический язык – для раскрытия жизни сердца. Фразеология Карамзина, его образы, поэтические словосочетания (типа: «люблю – умру любя», «слава – звук пустой», «голос сердца сердцу внятен», «любовь питается слезами, от горести растет», «дружба – дар бесценный», «беспечной юности утеха», «зима печали», «сладкая власть сердца» и т. д.) были усвоены последующими поколениями поэтов, их можно встретить и в ранней лирике Пушкина.

Значение Карамзина-поэта отчетливо и лаконично определено П. А. Вяземским: «С ним родилась у нас поэзия чувства, любви к природе, нежных отливов мысли и впечатлений, словом сказать, поэзия внутренняя, задушевная... Если в Карамзине можно заметить некоторый недостаток в блестящих свойствах счастливого стихотворца, то он имел чувство и сознание новых поэтических форм».

Бегство Карамзина от насущных вопросов общественнополитической жизни тяготило писателя. Но годы кризиса были и годами исканий. Вне учета этого обстоятельства нельзя понять истинный смысл творчества конца 1790-х гг. Традиционно одностороннее и в конечном счете субъективистское толкование произведений Карамзина этих лет не

позволяет понять драматизм не только кризиса мировоззрения писателя, но и настойчивых поисков выхода из создавшегося положения. Причем поиски эти обуславливались временем, и открытия, сделанные в конце концов Карамзиным, были достижением не только личности писателя, но и русской исторической мысли конца XVIII в.

Главным произведением 1790-х гг., несомненно, были «Письма русского путешественника». Они должны были составлять ядро задуманного писателем «Московского журнала». В объявлении об его издании читателям были обещаны «записки» путешественника. Обещание издатель выполнил – с первого же номера нового журнала (1791) он публиковал «Письма». Судя по объявлению в «Московских ведомостях», «Письма», видимо, должны были быть полностью опубликованы в журнале.

Но европейские политические обстоятельства, идейный кризис Карамзина, а также активизация в России сил реакции помешали закончить «Письма» в намеченный срок. Работа над ними несколько раз прерывалась и вновь возобновлялась.

Только в 1801 г. «Письма» вышли в законченном виде отдельной книгой. Время и обстоятельства наложили свою печать на характер повествования, на оценки событий. Особенно это сказалось на тексте последних двух частей, многие страницы которых были посвящены событиям французской революции.

Просветительство обусловило оптимистический характер убеждений Карамзина. С этой верой молодой писатель и отправился в путешествие по странам Западной Европы. В пути он вел записи увиденного, услышанного, фиксировал свои впечатления, размышления, разговоры с писателями и философами, делал зарисовки беспрестанно менявшихся ландшафтов, отмечал для памяти то, что требовало подробного объяснения (сведения об истории посещаемых стран, общественном устройстве, искусстве народов и т. д.). Но поскольку своему сочинению Карамзин придал форму дорожных писем, адресованных друзьям, он имитировал их частный, так сказать практический, а не художественный характер, подчеркивал непосредственность записей своих впечатлений в пути. Оттого, начиная с первого письма, выдерживается этот тон: «Расстался я с вами, милые, расстался!»; «Вчера, любезнейшие мои, приехал я в Ригу» и т. д.

С той же целью было написано предисловие, в котором читатель предупреждался, что в своих письмах путешественник «сказывал друзьям своим, что ему приключилось, что он видел, слышал, чувствовал, думал, – и описывал свои впечатления не на досуге, не в тишине кабинета, а где и как случалось, дорогою, на лоскутках, карандашом». Рекомендую свое произведение как собрание бытовых писем путешественника друзьям, Карамзин стремился сосредоточить внимание читателя на их документальности. «Письма» представляли как исповедальный дневник русского человека, попавшего в огромный, неизвестный им мир духовной и общественной жизни европейских стран, в круговорот европейских событий.

В действительности «Письма» писались в Москве на протяжении многих лет.^[14]

На избрание жанра оказала влияние уже сложившаяся в европейской литературе традиция. Структуру жанра «путешествия» отличает динамизм, ей чужда нормативность. В Англии первой половины XVIII в. были созданы различные «путешествия» (Дефо, Свифт, Смоллет), которые объединяла общность авторской позиции – писатели стремились точно изображать увиденное, реальную действительность, общественную жизнь с ее противоречиями, чтобы не только осуждать ее бесчеловечность, но и открыть в ней, в живой жизни, источник будущего ее обновления.

Лоренс Стерн, используя уже сложившуюся традицию, относится к ней полемически, решительно преобразует структуру жанра и создает новый тип его – «Сентиментальное путешествие» (1768). Писателя интересует не реальный мир, в котором находится его герой, путешественник Йорик, но его отношение к увиденному, не реальные факты, а субъективное отношение к ним путешественника. Жанр путешествия Стерн подчиняет задаче обнаружения сложной, постоянно изменчивой, противоречивой духовной жизни человека. Сентиментальное путешествие оказалось путешествием в тайный, от всех скрытый, неисчерпаемо богатый нравственный мир личности.

Стерн – скептик, уже увидевший у себя на родине крушение возрожденческих и просветительских идеалов и учений. На оселке беспощадной иронии проверяет он «прочность» идеалов, нравственных норм, традиционных верований и убеждений. Психологизм оказывался высокоэффективным методом раскрытия противоречивости сознания Йорика, лишённого пиетета перед высокими обязанностями человека, бравирующего своим правом все брать под сомнение, над всем в меру издеваться, в меру горько смеяться...

Достерновская традиция английского «путешествия» продолжена была современником Карамзина – французским писателем Дюпати, издавшим в 1785 г. «Путешествие в Италию». В книге читатель находил массу интересных и полезных сведений о гражданских учреждениях городов Италии и образе жизни населения, о музеях и храмах, дворцах и библиотеках, о картинах и особенностях итальянского языка и т. д. Автор в описаниях точен, его интересуют факты, реальная жизнь, он стремится вооружить читателя знаниями.

Карамзин читал и высоко оценивал и «Сентиментальное путешествие» Стерна, и «Путешествие в Италию» Дюпати. Он учитывал их достижения, овладевал опытом использования жанра «путешествия» для своих целей. Оттого его «Письма русского путешественника» оригинальное сочинение – оно рождено на русской почве, определено потребностями русской жизни, оно решало задачи, вставшие перед русской литературой.

С петровского времени перед обществом остро и на каждом историческом этапе злободневно стоял вопрос о взаимоотношении России и Запада. Вопрос этот решался и на государственном, и на экономическом и идеологическом уровнях. Из года в год росло число переводов книг из статей по разным отраслям знаний с различных европейских языков. Опыт Запада – политический, общественный, культурный – все время осваивался и учитывался, при этом осваивался и учитывался и примитивно, подражательно, и критически, самостоятельно.

И все же о Западе русские люди знали очень мало. Запад о России знал и того меньше. Карамзин хорошо понимал сложившееся положение и осознавал свой долг писателя преодолеть это взаимное незнание. Он писал: «Наши соотечественники давно путешествуют по чужим странам, но до сих пор никто из них не делал этого с пером в руке». Карамзин и принял на себя ответственность путешествовать «с пером в руке». Его «Письма» открывали Запад широкому русскому читателю и знакомили Запад с Россией. Это своеобразная энциклопедия, запечатлевшая жизнь Запада накануне и во время величайшего события конца XVIII в. – Великой французской революции.

Читатель узнавал о политическом устройстве, социальных условиях, государственных учреждениях Германии, Швейцарии, Франции и Англии. Ему сообщались результаты изучения истории больших городов Европы и особенно подробно излагались собственные впечатления о Лейпциге и Берлине, Париже и Лондоне. При этом история городов раскрывалась часто через материальные памятники культуры – музеи, дворцы, соборы и библиотеки, университеты; история стран оказывалась запечатленной в

литературе, науке, искусстве.

Бесконечно богат круг интересов русского путешественника: он посещает лекции знаменитых профессоров Лейпцигского университета и участвует в народных уличных гуляниях, дни проводит в знаменитой Дрезденской галерее, внимательно изучая картины великих европейских художников, и заглядывает в кабачки, беседует с их завсегдатаями, знакомится с купцами и офицерами, учеными и писателями, серьезно исследует жизнь крестьян в Швейцарии, стремясь понять, что определяет их благополучие, их процветание.

Но русский путешественник не только наблюдает и записывает подробности увиденного и услышанного – он обобщает, высказывает свое мнение, делится с читателем своими мыслями, своими сомнениями. Он отмечает вредное влияние полицейской государственности Германии на свободу и жизнь нации, с глубоким уважением относится к немецким философам, чьи идеи и учения получили широкое распространение в Европе (Кант, Гердер). Путешественник подчеркивает, что именно конституционный строй Швейцарии и Англии является основой благополучия этих наций. При этом он с особой симпатией относится к Швейцарской республике. В ее государственном и социальном устройстве он видит воплощение социального идеала Руссо. Ему кажется, что в этой маленькой республике просвещение нации дало благие результаты – под его воздействием все люди стали добродетельными. Тем самым утверждалась мысль, что не революция, а просвещение нужно народам для их благополучия.

Все сообщенное русским путешественником – и наблюдения, и факты, и размышления – заставляло русского читателя сопоставлять с известными ему порядками, образом жизни у себя на родине, сопоставлять и думать о русских делах, о судьбе своего отечества.

Особое место в «Письмах русского путешественника» занимает Франция. На страницах, посвященных этой стране, также рассказывалось о жизни разных слоев населения Франции, об истории Парижа, описывался облик столицы – ее дворцы, театры, памятники, знаменитые люди...

Но, конечно, главным во Франции было грандиозное событие, проходившее на глазах путешественника, – революция. Оно вызывало интерес и пугало, привлекало внимание и ужасало. Как писать о революции, Карамзин еще не знал. Но, с другой стороны, он понимал, что в русских условиях 1790-х гг., в пору екатерининских гонений и преследований всех передовых деятелей, писать о революции было и опасно, и безнадежно – цензура бы не пропустила... Оттого-то печатание

«Писем» в «Московском журнале» было прекращено на известии о въезде путешественника в Париж... Свое мнение о французской революции писатель выскажет позже, когда определится его позиция.

Другой особенностью «Писем», соседствующей с информативностью, – была лирическая стихия «Писем русского путешественника». В них отразилось личное, эмоциональное отношение путешественника ко всему увиденному на Западе. Читатель узнавал, что радовало путешественника, что огорчало и печалило, что вызывало симпатии и что пугало и отталкивало. Это личное отношение запечатлелось в стиле – он иногда ироничен, иногда чувствителен, иногда строго деловит. Стиль раскрывал духовный мир путешественника.

Не только органическое слияние информативного и лирического начал обуславливает оригинальность «Писем русского путешественника», но прежде всего создание образа путешественника. В этом плане принципиально уже само заглавие произведения, каждое слово которого значимо и существенно важно для понимания жанра. «Письма» – это указание на традицию, которая сложилась в западной и русской литературе: письмо – это исповедь, признание, даже информация, но не справочного, не научного типа, это рассказ о пережитом конкретной личностью.

Второе слово заглавия существенно уточняло понимание и восприятие читателем данной личности – это русский, представитель русской культуры, посланец русской литературы в европейских странах.

Третье слово заглавия – путешественник – мотивирует и оправдывает место действия героя в произведении – европейские страны, его передвижение в пространстве, динамически меняющиеся впечатления.

Путешественник живет напряженной духовной жизнью, его волнуют встречи и события, он постоянно задумывается об узнанном новом, ищет сам и заставляет своего читателя искать ответов на многие важные вопросы жизни. Читатель «Писем» видит и понимает проходящий у него на глазах процесс духовного развития русского Путешественника в пору великой европейской революции. Оттого драматизм переживаний и мысли – главная особенность образа Путешественника.

Оригинальность «Писем» до сих пор недостаточно раскрыта и показана. Чаще всего это произведение рассматривается в абстрактном ряду сентиментальных путешествий, не замечается и недооценивается объективный образ Путешественника. «Письма» рассматриваются как «зеркало души» самого Карамзина, как его своеобразный дневник.

Между тем Карамзин считал себя обязанным специально предупредить будущих читателей «Писем русского путешественника», что

этим путешественником является не он сам, а его приятель, который во время странствования по Европе вел записки. В «Объявлении» об издании «Московского журнала» Карамзин, сообщая его программу, в частности, писал: «Один приятель мой, который из любопытства путешествовал по разным землям Европы, – который внимание свое посвящал натуре и человеку, преимущественно пред всем прочим, и записывал то, что видел, слышал, чувствовал, думал и мечтал, – намерен записки свои предложить почтенной публике в моем журнале, надеясь, что в них найдется что-нибудь занимательное для читателей».^[15] Не считаться с этим предупреждением нельзя: Карамзину важно было, чтобы читатель воспринял его сочинение как реальный документ, принадлежащий конкретному человеку («приятелю» издателя журнала), содержание «записок» которого в письмах к семейству друзей своих объективно и может представлять интерес для других, быть «занимательным» для читателей журнала.

Более того: Карамзин при печатании «Писем» в журнале все время подчеркивал, что он публикует чужой текст. Особенно наглядно это проявлялось в «примечаниях издателя», которые документировали работу Карамзина с «Письмами» как с чужим текстом. В ряде случаев Карамзин делал примечания, оговаривая, что они принадлежат издателю. В тексте «Писем» употреблено слово «промышленность» («Везде знаки трудолюбия, промышленности, изобилия»). Карамзин-издатель делает примечание: «Не может ли сие слово означать латинского *industria* или французского *Industrie*?»^[16] Любопытно, что в позднейшем, отдельном издании «Писем» это примечание снято и заменено другим – идущим от автора-Карамзина: «Это слово сделалось ныне обыкновенным: автор употребил его первый».

Конечно, читатель и XVIII в., и современный знают, что путешествие совершил Карамзин, что он автор «Писем». Но нельзя забывать, что он создал художественное произведение и все в нем написанное, в том числе и образ Путешественника, должно воспринимать по законам художественного изображения и познания жизни.

Герой «Сентиментального путешествия» – Йорик, а не Стерн, хотя многое во взглядах Йорика близко и дорого Стерну. Путешественнику Карамзин много дал своего, в нем запечатлены многие черты личности самого автора, и все же образ Путешественника не адекватен Карамзину. Между Автором и Путешественником существует дистанция, порожденная искусством, Карамзин в «Письмах» един в двух ипостасях.

Следует учитывать и то, что эта «раздвоенность» порождалась не только художественной природой произведения, но и конкретной исторической ситуацией. Кризисное состояние мировоззрения Карамзина в 1794 г. и определило в конечном счете идейную позицию Путешественника, позволило писателю сформулировать свое отношение к революции вообще. «Переписка» Мелодора и Филалета является важным комментарием к «Письмам русского путешественника». Путешественник как бы соглашался с Филалетом, отрицавшим революционный путь к счастью человечества.

Путешественник, несомненно, выражал и точку зрения автора, что любые насильственные потрясения губительны для нации и народа. В данном случае Путешественник и Автор находят общий язык, поскольку исповедуют идеалы просветителей, утверждавших, что путь к справедливому общественному устройству лежит через просвещение, а не через революцию, через воспитание добродетельных граждан. Но за этим просветительским щитом стоит и убеждение дворянина. Автор – принципиальный противник революции, он не приемлет насильственного изменения существующего социального строя.

И все же позиция Карамзина и сложнее, и, главное, историчнее взгляда Путешественника. Потому-то писатель испытывал необходимость свободно высказаться, печатно изложить свое мнение не о якобинском этапе французской революции, но о революции вообще, о месте революции в движении народа по пути прогресса. Свое намерение он осуществил в 1797 г., когда его понимание революции более или менее определилось, но не в русской печати, а за рубежом – в журнале «Spectateur du Nord» («Северный зритель»), выходившем на французском языке в Гамбурге. Карамзин опубликовал в «Зрителе» статью «Несколько слов о русской литературе», центральное место в которой занял своеобразный (скорректированный) пересказ «Писем русского путешественника». В этом пересказе и нашло свое выражение истинное мнение писателя, отсутствующее в русском издании «Писем».

Карамзинский подход к революции принципиально отличается от оценок Путешественника, который осуждает революцию. Карамзин пытается объяснить ее исторически. Путешественник убежден, что революция во Франции не является народной, что «нация» в ней «не участвует»: «едва ли сотая часть действует», и эти «действующие» – «бунтовщики», «дерзкие», которые «подняли секиру на священное дерево», говоря: «мы лучше сделаем». «Республиканцы с порочными сердцами» «готовят себе эшафот». Карамзин же утверждает, что французская

революция является закономерным этапом исторического развития Франции.

И это не случайно. Именно в оценке французской революции, сформулированной свободно, без оглядки на царскую цензуру, сказалась самостоятельность Карамзина, а эта самостоятельность понимания великого европейского события была обусловлена историзмом мышления писателя. Вот почему необходимо остановиться на этой проблеме.

1770-е и 1780-е гг. ознаменовались важнейшими достижениями в понимании истории: началось формирование исторического мышления, человечество стало освобождаться от механистического взгляда на прошлое. Просветители решительно и бесповоротно ниспровергли господствовавшее несколько столетий теологическое объяснение истории и выдвинули идею прогресса. На этой-то основе и стал вырабатываться историзм – новая философия истории, утверждавшая идею развития, открывшая поступательный ход человечества по пути совершенствования, пытавшаяся понять закономерности этого развития, этого прогресса.

Выработка историзма, продолжавшаяся около полувека, захватила многие страны Европы – Англию, Францию, Германию. Оказалась втянутой в этот процесс и Россия.^[17] Пониманию закономерностей исторического развития способствовали и революции XVIII в. – американская, а позже французская. Книга Рейналя «Революция в Америке», «приобучавшая, – по словам одного современника, – народы размышлять о своих важнейших интересах», была важным звеном в становлении историзма; она сразу же была оценена и Радищевым, и Новиковым. Фундаментальный вклад в формирование историзма вносили труды крупного немецкого ученого, историка и филолога Гердера. В 1780-е годы с ними в России познакомились – сначала Радищев, а затем Карамзин. Еще до путешествия он прочел главные сочинения Гердера. Прибыв в Германию, Карамзин поспешил на свидание с Гердером. Личная беседа молодого русского писателя с прославленным европейским ученым, который вошел в историю науки под именем «отца историзма», помогла Карамзину усвоить новый взгляд на историю. Именно эти новые убеждения позволили ему лучше понять русскую историю и, главное, преодолеть отчаяние и скепсис, возникшие в 1793 г.

В статье «Мелодор к Филалету. Филалет к Мелодору» Филалет решительно опровергает скепсис друга, склонившегося под влиянием последних событий французской революции к пессимистической теории круговорота в истории итальянского мыслителя Вико. Вооруженный оптимистической философией истории Гердера, Карамзин заставляет

Филалета опровергать концепцию Вико, выражать свои убеждения о том, что и после грозных событий французской революции действует объективный закон развития, закон совершенствования разума, культуры, государства: «веки служат разуму лестницею, по которой возвышается он к своему совершенству, иногда быстро, иногда медленно».

Идея развития, прогресса положена Карамзиным в основание оценки французской революции, данной в статье «Несколько слов о русской литературе». Революция, утверждал он, есть закономерный этап в историческом развитии Франции. «Итак, французская нация прошла все стадии цивилизации, чтобы достигнуть нынешнего состояния». Революция не есть бунт кучки «дерзких» и «хищных, как волки» республиканцев, как думает Путешественник, – она закономерное звено в цепи непрерывного развития нации. Оттого с революцией наступает новый этап в истории не только Франции, но и всего человечества. Карамзин писал: «Французская революция относится к таким явлениям, которые определяют судьбы человечества на долгий ряд веков. Начинается новая эпоха. Я это вижу, а Руссо предвидел».

Карамзин решительно выступает против бездумного отношения к величайшему событию современности, не соглашаясь с теми, кто ее восхваляет и кто спешит с ее осуждением. «Я слышу пышные речи за и против; но я не собираюсь подражать этим крикунам. Признаюсь, мои взгляды на сей предмет недостаточны зрелы. Одно событие сменяется другим, как волны в бурном море; а люди уже хотят рассматривать революцию как завершённую. Нет. Нет. Мы еще увидим множество поразительных явлений. Крайнее возбуждение умов говорит за то. Я опускаю занавес».

Подобное понимание французской революции наглядно и убедительно демонстрирует формировавшийся в эти годы просветительский историзм – его характер, уровень, способности познавать закономерности исторического развития.

Национальное своеобразие «Писем русского путешественника» проявляется прежде всего в историческом подходе автора к изображаемым событиям, в исторической оценке политики и культуры разных европейских стран, в принципе создания характера самого Путешественника. Произведения новой русской литературы XIX в. отличает именно историзм. Вот почему между ними и «Письмами» существует преемственная связь. Это отлично понимал Чернышевский: «Новая русская литература, – писал он, – началась „Письмами русского путешественника“». ^[18]

В последние пять лет XVIII столетия Карамзин с поразительной активностью, выступая как прозаик и поэт, как критик и переводчик, как организатор новых литературных изданий, объединявших молодых поэтов, оказывал огромное влияние не только на русскую литературу, но и на русское общество.

После издания в 1794–1795 гг. двух томов альманаха «Аглая» Карамзин, видимо неожиданно для многих, согласился участвовать в газете «Московские ведомости». В объявлении о подписке на газету на 1795 г. сообщалось, что «принял на себя труд обрабатывания» нового отдела «Смесь» «почтенный и любезный издатель „Московского журнала“».

В первом же номере «Московских ведомостей» Карамзин сообщил программу «Смеси». Она поражает своей энциклопедичностью: тут заметки по истории, философии и литературе – прошлых веков и современной («О новых английских и немецких книгах для любителей иностранных литератур»), интересные эпизоды из жизни великих философов и писателей, «примечания достойные мысли древних и новых философов, цветы разума и чувства», небольшие художественные пьесы и отрывки, подбор пословиц разных народов.

Большая часть опубликованных заметок – переводы, взятые из европейских газет, журналов и книг. Печатал Карамзин и собственные небольшие художественные этюды и серьезные статьи. В целом весь отдел, несомненно, отмечен печатью оригинальности. Личное начало проявляется и в отборе заметок и статей, и в стиле переводов (а чаще – пересказов, или, как говорили в XVIII в., «сокращений»), и в первую очередь, естественно, в собственных статьях и в тех примечаниях, которые он делал к некоторым переводам.

Весь обширный материал «Смеси» не только блистательно характеризует глубокую образованность Карамзина, но прежде всего аналитический ум писателя, его пытливую, ищущую мысль, самостоятельность суждений по проблемам философии, нравственности, истории и литературы. Русская мысль конца XVIII в. представлена здесь с завидной полнотой и ясностью.

В настоящей вступительной статье нет возможности подробно проанализировать весь обширный, идейно богатый материал «Смеси». Это предмет особого исследования. Оно необходимо тем более, что «Смесь»

никогда не подвергалась специальному изучению. Обращу внимание на некоторые темы, важные для понимания позиции Карамзина в эти годы.

Об интересе писателя к Шиллеру. Карамзин и Шиллер решали важнейшие общественные и нравственные проблемы, встававшие перед человечеством после французской революции. Европейский масштаб идейных исканий и художественного творчества русского писателя при решении темы – Карамзин и Шиллер – предстает в своей исторической конкретности.

Искания Карамзина во всей сложности запечатлелись, в частности, в статье «Рассуждение философа, историка и гражданина». Она написана как диалог – излюбленная форма Карамзина. Избрание ее продиктовано стремлением не утверждать новые апофеги (в мудрости истин, провозглашенных философами, он разочаровался), но выразить, запечатлеть ищущую, тревожную мысль. В диалоге сталкивались разные мнения: в их единоборстве, в тенденции утверждать правоту читатель найдет богатую пищу для размышлений, для собственных выводов. Карамзин не поучал, а приучал мыслить, задумываться над важнейшими вопросами общественной и исторической жизни, он приобщал читателя к собственным исканиям, убеждал его не доверяться скороспелым решениям, не спешить принимать модные концепции. Карамзин был уверен, что искомый ответ не может быть однозначным, в нем должна запечатлеться реальная сложность современной жизни и современной мысли.

В беседе три участника. Позиция каждого индивидуальна, в ней есть своя правда – к ней и призывает Карамзин прислушаться. Поражает объективность подхода писателя к разным точкам зрения.

Убеждения философа умозрительны. Субъективные выводы предлагаются человечеству как своеобразные рецепты, призванные его осчастливить. Историк отвергает суждения философа: «Гордые мудрецы! вы хотите в самом себе найти путь к истине? Нет, нет! не там его искать должно!» В то же время в воззрениях философа есть мудрость – он высоко ценит разум, верит в его способность помогать человеку находить пути к счастью.

Убеждения историка принципиально противостоят взглядам философа. И это не случайно – они выражают новый этап развития человеческой мысли. До французской революции общественное мнение и программу общественных преобразований определяли философы, мыслители, чьи воззрения и выразили идеологию Просвещения, подготовившую революцию. Проверки революцией философские концепции не выдержали. Наступившая эпоха разочарования не повергла

человечество в отчаяние, потому что на общественную арену выступила новая философия истории – историзм. Карамзин оказался в числе тех, кто усвоил эту философию. Вот почему в диалоге точка зрения историка наиболее ему близка. Историк категорически заявляет, что истину может открыть только история.

Карамзин, как и историк, верит в опыт истории. Не умозрительные построения философов, но опыт истории есть истинный поводирь человечества. Этот опыт надо изучать. Занятая Карамзиным в этой статье позиция объясняет органическое его движение к изучению истории России.

У гражданина свое понимание обязанностей. Ему чужда философия, его не волнует история – он практик, твердо верующий, что призван в своем земном существовании исполнять возложенный на него долг: «Служить отечеству любезному: быть нежным сыном, супругом, отцом; хранить, приумножать старанием и трудами наследие родительское есть священный долг моего сердца, есть слава моя и добродетель». Дело философов и историков угадывать и объяснять пути развития человечества и отечества. Долг гражданина – «быть полезным», работать, служить отечеству и быть хорошим семьянином.

Позиция гражданина – эмпирична, но она есть реальность, подтвержденная опытом истории, она обуславливает поведение миллионов, на работе, труде которых зиждется вся жизнь общества, могущество державы. И в этом ее сила, ее правота.

В 1796 г. Карамзин отказался от сотрудничества в «Московских ведомостях». Он решил издавать свой альманах «Аониды», в котором собирался печатать новые лучшие стихи русских поэтов. Тем самым Карамзин – редактор альманаха вмешивался в литературный процесс: он объединял усилия поэтов-единомышленников, своим отбором стихотворений не только воспитывал вкус, но утверждал и определенные эстетические нормы быстро развивавшегося русского сентиментализма. Этому способствовали и некоторые его критические статьи. Всего с 1796 по 1799 г. вышло три тома «Аонид». Параллельно Карамзин продолжал заниматься переводами, которые публиковал в специальном издании «Пантеон иностранной словесности» (три тома вышли в 1798 г.).

Преодоление идейного кризиса закономерно привело к изменению эстетических убеждений. Карамзин преодолевает субъективизм. Но это преодоление не означало возвращения на старые позиции времени «Московского журнала». Теперь он смело развивает эстетику сентиментализма, расширяет его возможности в познании и воспроизведении жизни, придает ему черты, обусловленные новой эпохой,

опираясь на собственный десятилетний творческий опыт.

Русский сентиментализм, формируемый Карамзиным, утверждал историческую обусловленность человека. Ему свойственно понимание глубокой связи человека с окружающим его миром. В программном предисловии ко второму тому альманаха «Аониды» Карамзин не только дал критическую оценку поэтическим произведениям, тяготеющим к классицизму, но и показал, как отсутствие естественности, верности натуре делает их «надутыми» и холодными. Карамзин писал: «...истинный поэт находит в самых обыкновенных вещах поэтическую сторону». Поэт должен уметь показывать «оттенки, которые укрываются от глаз других людей», помня, что «один бомбаст, один гром слов только что оглушает нас и до сердца не доходит», – напротив, «умный стих врезывается в память».

Карамзин уже не ограничивается критикой классицизма, как это было раньше, но подвергает осуждению и писателей-сентименталистов, то есть своих неопытных последователей, настойчиво насаждавших в литературе чувствительность. Для него чувствительность, подчеркнутая сентиментальность так же неестественны и далеки от природы, как и риторика и «бомбаст» поэзии классицизма. «Не надобно также беспрерывно говорить о слезах, – пишет он, – прибирая к ним разные эпитеты, называя их блестящими и бриллиантовыми, – сей способ трогать очень ненадежен». Уточняя свою позицию, Карамзин формулирует требование психологической правды изображения – поэт должен уметь писать не о чувствах человека вообще, но о чувствах данной личности, о ее конкретных переживаниях, вызванных определенными обстоятельствами. Опыт Шекспира помогал Карамзину в его стремлении правдиво раскрыть психологию человека.

Сентиментализм Карамзина активно способствовал сближению литературы с действительностью. Карамзин опирался на опыт европейского сентиментализма и обогащал его историзмом, он осваивал художественные открытия Шекспира и своих современников – Руссо, Стерна и Лессинга, – но никогда не был подражателем. Творческая независимость, художественная самостоятельность и оригинальность отличали Карамзина. Именно потому, при всем его европеизме, он был глубоко русским писателем. Карамзин выразил и трагизм жизни русского человека, и его исторический оптимизм. Он закономерно пришел к теме художественного воплощения истории России; он способствовал развитию русской литературы не только как художник, но и как критик, издатель нескольких журналов и альманахов, выступая организатором литературного процесса, наконец, как реформатор русского литературного

языка. Причем в своей реформе он опирался на национальную традицию, на опыт и достижения Н. И. Новикова, Д. И. Фонвизина, Г. Р. Державина.

В повестях и «Письмах русского путешественника» он отказался от тяжелой книжной конструкции предложения с глаголом в конце. Используя нормы разговорной речи, Карамзин создал легкую, изящную фразу, передающую эмоциональную выразительность слова. В поэзии он создал особый слог, помогая тем самым рождению новых художественных взглядов. Переводя «все темное в сердцах на ясный нам язык», найдя «слова для тонких чувств», Карамзин создавал лирику глубоко интимного характера, пробивал дорогу в будущее, на которую еще при его жизни встанут Жуковский, Батюшков, юный Пушкин.

Карамзин открывал новые семантические оттенки в старых, часто книжно-славянских словах, обогащая, по существу, русский язык новыми идеями и практической возможностью их выразить («потребность», «развитие», «образ» – применительно к искусству и т. п.), широко применял лексические и фразеологические кальки (с французского), большинство из которых прочно были усвоены русским языком. Новые понятия и представления получили обозначение в новых словосочетаниях; создавал писатель и новые слова, которые навсегда вошли в русский язык («промышленность», «общественность», «общепользительный», «человечный» и многие другие).

Одновременно Карамзин вел борьбу с употреблением устаревших церковнославянизмов, слов и оборотов старой книжности. «Новый слог», создание которого современники ставили в заслугу Карамзину, широко применялся им в «средних» жанрах – повестях, письмах (частных и литературных), критических статьях и в лирике. Белинский, отмечая заслуги Карамзина, писал, что он «преобразовал русский язык, совлекши его с ходуль латинской конструкции и тяжелой славящины и приблизив к живой, естественной, разговорной русской речи».^[19] Историческая ограниченность реформы сказалась в том, что Карамзин вводил в литературный язык преимущественно слова образованного дворянского общества. Отсюда – известное засорение речи иностранными словами и лексикой аристократических кругов, деление слов на «благородные» и «низкие» (типа «мужики», «парень» и т. д.), изгонявшиеся из литературного обращения, создание по западноевропейскому образцу оборотов речи и выражений, которые вели к вычурности слога. При переиздании «Писем русского путешественника» в начале XIX в. Карамзин отказался от многочисленных галлицизмов и заменил иностранные слова русскими. Позже Пушкин эту «манерность, робость и бледность» стиля

Карамзина называл «вредными последствиями» подражательности и боязни обогащать русский язык за счет народных источников.

Новый расцвет литературной деятельности Карамзина начинается с 1802 г., когда он приступил к изданию журнала «Вестник Европы». Карамзин был уже известным и авторитетным писателем. За протекшее десятилетие он вырос как мыслитель и как художник. Правительственный либерализм первых лет царствования Александра I, цензурные послабления позволили ему высказываться в новом журнале более свободно и по более широкому кругу вопросов. К сотрудничеству он привлек Державина, Дмитриева и своих молодых последователей – Жуковского (он опубликовал в журнале элегию «Сельское кладбище») и В. Измайлова.

Журнал, составленный из трех отделов – литературы, критики и политики, быстро завоевал широкую популярность. Выдвигаемые Карамзиным вопросы политики, создаваемые художественные образы, широкая программа развития национально-самобытной литературы, изложенная в критических статьях, оказывали активное и плодотворное влияние на новое поколение молодых писателей. Своей литературной и журнальной деятельностью Карамзин энергично вмешивался в литературный процесс начала XIX в.

Карамзин-публицист по-прежнему считал, что «дворянство есть душа и благородный образ всего народа». Но Карамзин-художник видел, как в действительности дворяне далеки от созданного им идеала. В новых повестях его появились сатирические краски («Моя исповедь»), ирония (неоконченный роман «Рыцарь нашего времени») – писатель с одобрением относился теперь к сатирическому направлению русской литературы XVIII в., осваивал ее опыт. «Рыцарь нашего времени» интересен и как первая в русской литературе попытка запечатлеть характер героя своего времени.

Наибольший успех выпал на долю самого крупного последнего прозаического произведения писателя – повести «Марфа-посадница», в которой, обращаясь к русской истории, он создал сильный характер русской женщины, не желавшей покориться деспотизму московского царя Ивана III, уничтожившего вольность Новгорода. Карамзин считал исторически неизбежным уничтожение Новгородской республики и

подчинение ее русскому самодержавию. В то же время женщина, готовая умереть за свободу, вызывает у писателя восхищение.

В «Вестнике Европы» Карамзин отказался от рецензий, которые занимали большое место в «Московском журнале», и стал писать серьезные статьи, посвященные насущным задачам литературы, – о роли и месте литературы в общественной жизни, о причинах, замедляющих ее успехи и появление новых авторов, о том, что определяет ее развитие по пути национальной самобытности. Литература, утверждал теперь Карамзин, «должна иметь влияние на нравы и счастье», каждый писатель обязан «помогать нравственному образованию такого великого и сильного народа, как российский; развивать идеи, указывать новые красоты в жизни, питать душу моральными удовольствиями и сливать ее в сладких чувствах со благом других людей».

В этом нравственном образовании главная роль принадлежит патриотическому воспитанию. «Патриотизм есть любовь ко благу и славе отечества и желание способствовать им во всех отношениях». Патриотов немало на Руси, но патриотизм свойствен не всем; поскольку он «требуется рассуждения», постольку «не все люди имеют его». Задача литературы и состоит в том, чтобы воспитать чувство патриотической любви к отечеству у всех граждан. Нельзя забывать, что в понятие патриотизма Карамзин включал и любовь к монарху. Но в то же время к проповеди монархизма патриотизм Карамзина не сводился. Писатель требовал, чтобы литература воспитывала патриотизм, ибо русские люди еще плохо знают себя, свой национальный характер. «Мне кажется, – продолжал Карамзин, – что мы излишне смиренны в мыслях о народном своем достоинстве, – а смирение в политике вредно. Кто самого себя не уважает, того, без сомнения, и другие уважать не будут». Чем сильнее любовь к отечеству, тем яснее путь гражданина к собственному счастью. Отвергнув культ эгоистической уединенной жизни, Карамзин показывает, что только на пути исполнения общественных должностей человек приобретает истинное счастье. «Мы должны любить пользу отечества... любовь к собственному благу производит в нас любовь к отечеству, а личное самолюбие – гордость народную, которая служит опорой патриотизма». Вот почему и «таланту русскому всего ближе и любезнее прославлять русское». «Должно приучать россиян к уважению собственного» – такую задачу может выполнить только национально-самобытная литература.

Как же обрести эту самобытность? Карамзин пишет статью «О случаях и характерах в российской истории, которые могут быть предметом художества». Эта статья – своеобразный манифест нового Карамзина. Она

открывает последний, самый плодотворный период творчества писателя, она определяет содержание и стиль его главной книги – «История государства Российского». Естественно поэтому, что в ней писатель и историк решительно пересматривает прежние свои убеждения. Патриотическое воспитание лучше всего может быть осуществлено на конкретных примерах, история России дает великолепный и бесценный материал художнику и писателю. Предметом изображения станут реальная, объективная, исторически понятая действительность, а не «китайские тени собственного воображения», героями – исторически конкретные русские люди, причем их характеры должны раскрываться в патриотических деяниях. Писатель обязан изображать «героические характеры», которые он найдет в русской истории. Наряду с описанием героических мужских характеров Карамзин высказывает пожелание создать «галерею россиянок, знаменитых в истории». Одну из таких россиянок – Марфу-посадницу – он сделал героиней одноименной повести.

Теперь принципиально по-новому определяется понимание общественной роли писателя. Писатель – это уже не «лжец», умеющий «вымышлять приятно», заставляющий читателя забываться в «чародействе красных вымыслов». Художник, ваятель или писатель, провозглашает теперь Карамзин, – это «орган патриотизма». Основой деятельности писателя должно быть убеждение, что «труд его не бесполезен для отечества», что он как автор помогает согражданам «лучше мыслить и говорить».

Новые задачи и новые темы, которые выдвигал перед писателями Карамзин, требовали и нового языка. Он призывает авторов писать «простыми русскими словами», утверждая, что русский язык по природе своей обладает богатейшими возможностями, которые позволяют автору выразить любые мысли, идеи, чувства: «Оставим нашим любезным светским дамам утверждать, что русский язык груб и неприятен». «Язык наш выразителен не только для высокого красноречия, для громкой, живописной поэзии, но и для нежной простоты, для звуков сердца и чувствительности». В 1818 г. Карамзин в связи с принятием его в члены Российской Академии произнес речь на торжественном ее заседании; эта речь явилась его последним большим критическим выступлением. В речи много официального, обязательного, даже парадного. Но есть в ней и собственно карамзинские мысли о задачах критики в новых условиях и о некоторых итогах развития литературы. В заключение Карамзин говорил об особенных чертах русского национального характера, который складывался в течение веков, и о необходимости изображения этого характера

писателями.

Оценивая русскую литературу за полтора десятилетия XIX в., Карамзин оптимистически смотрит на ее дальнейшее движение по пути народности. «Великий Петр, изменив многое, не изменил всего коренного русского». Русская словесность, «будучи зеркалом ума и чувства народного», также должна иметь в себе «нечто особенное, незаметное в одном авторе, но явное во многих... Есть звуки сердца русского, есть игра ума русского в произведениях нашей словесности, которая еще более отличится ими в своих дальнейших успехах».

В политических статьях, написанных в первые два десятилетия XIX в., Карамзин обращался с рекомендациями правительству, пропагандировал идею всеобщего, хотя и не одинакового для разных сословий, просвещения. В работе «Историческое похвальное слово Екатерине II» (1802) он изложил как бы программу царствования Александра I. Опираясь на книгу Монтескье «Дух законов», которую использовала Екатерина II в своем «Наказе», Карамзин настаивал на осуществлении политики просвещенного абсолютизма.

Так появилась записка «О древней и новой России» (вручена императору в марте 1811 г.) – сложный, противоречивый, острополитический документ. В записке две главные темы: доказательство (в который уже раз!), что «самодержавие есть палладиум России», что «для твердости бытия государственного» лучше сохранять крепостное право, пока нравственное воспитание и просвещение не подготовит крепостных к свободе. Новым в записке было критическое отношение к правлению Александра! – впервые гнев сделал перо Карамзина злым и беспощадным. Опираясь на факты, он рисует безрадостную картину внешнего политического положения России; подробно анализирует беспомощные попытки правительства решить важные экономические проблемы. Карамзин резко осуждает те реформы, «коих благотворность остается доселе сомнительною».

Записка – документ, рассчитанный на одного читателя – Александра I. Именно ему Карамзин и сказал, что правление его не принесло обещанного блага России, но еще более укоренило страшное зло, породило безнаказанность действия чиновников-казнокрадов. Эти страницы нельзя читать без волнения. Записка произвела большое впечатление на Пушкина

(он познакомился с нею в конце 1830-х гг.). Сохранился его отзыв: «Карамзин написал свои мысли о *Древней и Новой России*, со всею искренностью прекрасной души, со всею смелостию убеждения сильного и глубокого»; «Когда-нибудь потомство оценит... благородство патриота»...

В записке зло охарактеризованы министры, сказана правда о самом царе, который оказывается, по Карамзину, неопытным, мало смыслящим во внешней и внутренней политике человеком, любителем внешних форм учреждений и занятым не благом России, а желанием «пускать пыль в глаза». Бедой Карамзина было то, что он не мог извлечь из реального политического опыта нужный урок для себя. Верный своей политической концепции просвещенного абсолютизма, он вновь обращался к Александру, желая внушить ему мысль, что тот должен стать самодержцем по образцу и подобию монарха, начертанному Монтескье в «Духе законов». Дворянская ограниченность удерживала Карамзина на этих позициях и жестоко мстила ему, отбрасывая его все дальше в сторону от громко заявлявшей о себе дворянской революционности.

Карамзинская «Записка» – это острополитический публицистический документ додекабристской эпохи, начала 10-х годов XIX в. Резкая и жесткая критика александровского правления в нем причудливо сочеталась с рекомендациями укрепления самодержавной власти. В то же время должно признать, что это, пожалуй, одно из самых неизученных произведений русской литературы. Оттого Карамзина часто обвиняют в разных грехах. Среди них находим мы и обвинение писателя в том, что он критически относится к Петру I и его реформам. В этом стоит разобраться.

Карамзин был историком и потому отлично понимал историческую закономерность важнейших реформ и действий царя-преобразователя. Понимал и приветствовал их: Петр I «исправил, умножил войско, одержал блестящую победу над врагами искусными и мужественными; завоевал Ливонию, сотворил флот, основал гавани, издал многие законы мудрые, привел в лучшее состояние торговлю, рудокопни, завел мануфактуры, училища, Академию, наконец, поставил Россию на знаменитую степень в политической системе Европы. Говоря о превосходных дарованиях, забудем ли почти важнейшее для самодержцев дарование: употреблять людей по способностям?» Именно этому качеству Петра I Россия обязана появлению на политической арене талантливых полководцев, министров, заводчиков, деятелей культуры, чьи таланты и дарования были «угаданы» царем.

Но самое главное в этой оценке деятельности Петра I – глубоко историческое понимание закономерности появления Петра I, его реформ,

его преобразований. Карамзин, пожалуй, впервые формулирует мысль о преемственности исторического развития России. Он писал: Петр сделал много для величия России, он есть «творец нашего величия», но это оказалось возможным оттого, что прошлые эпохи подготовили его преобразования. «Петр нашел средства делать великое, – князья московские приготавливали оное. И, славя славное в сем монархе, оставим ли без замечания вредную сторону его блестящего царствования?»

Карамзин писал не панегирик, но исторически обусловленные советы Александру. Это первый и беспрецедентный случай – писатель, исповедующий просветительскую концепцию абсолютизма, советы дает, исходя не из посылок разума, но опираясь на опыт истории. Вот почему записку «О древней и новой России» должно рассматривать как первый политический документ, написанный с позиций историзма.

В чем же Карамзин видел «вредную сторону его (Петра I. – Г. М.) блестящего царствования»? Главный вред – игнорирование опыта истории России, неуважение к нравам и обычаям русского народа. Он писал: «Пусть сии обычаи естественно изменяются, но предписывать им (россиянам. – Г. М.) уставы есть насилие, незаконное и для монарха самодержавного». Игнорирование объясняется самовластием – его-то и не принимает Карамзин. Результаты самовластия печальны для отечества: «Мы стали гражданами мира, но перестали быть, в некоторых случаях, гражданами России. Виною Петр».

Записка вызвала раздражение царя. Пять лет своей холодностью Александр подчеркивал, что он не доволен образом мыслей историка. Только после завершения Карамзиным работы над первыми восемью томами «Истории государства Российского» в 1816 г. Александр сделал вид, что забыл недовольство запиской. Карамзин же с поразительной настойчивостью использовал свое положение для того, чтобы учить царствовать Александра I. В 1819 г. он написал новую записку – «Мнение русского гражданина», – в которой писатель обвиняет Александра I в нарушении долга перед отечеством и народом, указывая, что его действия начинают носить характер «самовластного произвола». «Мнение» было прочитано Александру самим Карамзиным. Завязался долгий и трудный разговор. Александр, видимо, был крайне возмущен историком, а тот, уже более не сдерживая себя, с гордостью заявил ему: «Государь! У вас много самолюбия.

Я не боюсь ничего. Мы все равны перед богом. Что говорю я вам, то сказал бы я вашему отцу, государь! Я презираю либералов нынешних, я люблю только ту свободу, которую никакой тиран не может у меня

отнять... Я не прошу более вашего благоволения, я говорю с вами, может быть, в последний раз».^[20]

Придя домой из дворца, Карамзин сделал приписку к «Мнению» – «Для потомства», где рассказал об этой встрече, готовясь, видимо, к любым неожиданностям.

18 декабря 1825 г., через четыре дня после восстания на Сенатской площади, Карамзин написал «Новое прибавление» к «Мнению», где сообщал, что после беседы с Александром в 1819 г. он «не лишился его благоволения», чем снова счел нужным воспользоваться. Перед лицом потомства Карамзин свидетельствовал: «Я не безмолвствовал о налогах в мирное время, о нелепой Г(урьевской) системе финансов, о грозных военных поселениях, о странном выборе некоторых важнейших сановников, о министерстве просвещения, или затмения, о необходимости уменьшить войско, воюющее только Россию, о мнимом исправлении дорог, столь тягостном для народа, наконец, о необходимости иметь твердые законы, гражданские и государственные».^[21]

До конца дней своих Карамзин мужественно учил царя, давал советы, выступал ходатаем за дела отечества – и все безрезультатно! Александр, заявляет Карамзин, слушал его советы, «хотя им большею частию и не следовал». Писатель-историк и гражданин, Карамзин добивался доверия и милости царя, одушевляемый «любовью к человечеству», но «эта милость и доверенность остались бесплодны для любезного отечества».

Исторически справедливая оценка места и роли Карамзина в литературном движении первой четверти XIX в. возможна только при понимании сложности его идеологической позиции, противоречий между субъективными намерениями писателя и объективным звучанием его произведений. Во многом поучительно для нас в этом отношении восприятие Карамзина Герценом. Карамзин для него – писатель, который «сделал литературу гуманною», в его облике он чувствовал «нечто независимое и чистое». Его «История государства Российского» – «великое творение», она «весьма содействовала обращению умов к изучению отечества».

Но, с другой стороны, «можно было заранее предсказать, что из-за своей сентиментальности Карамзин попадет в императорские сети, как попался позже поэт Жуковский». Возмущаясь деспотизмом, стремясь облегчить тяготы народа, постоянно поучая царя, он осудил декабристов, оставаясь верным идее, что только самодержавная власть принесет благо России. А «идея великого самодержавия, – с гневом писал Герцен, – это

идея великого порабощения».^[22]

Несомненно, в первую четверть XIX в. самым крупным и программным документом формировавшегося в России историзма явилась «История государства Российского» Карамзина.

Работа над «Историей» длилась более двух десятилетий (1804–1826). Усвоенные и выработанные в 1790-е гг. принципы историзма получили при написании «Истории» дальнейшее развитие. В 1818 г. русский читатель получил первые восемь томов «Истории». К тому же времени вышли из печати шесть романов В. Скотта. В этом, в сущности случайном совпадении, проявлялась некая закономерность. Оба писателя обратились к истории, уже опираясь на выработанные их предшественниками идеи новой философии истории, и сами в процессе художественного исследования прошлого своей страны сумели двинуть вперед науку истории. Отсюда огромное влияние В. Скотта и Н. Карамзина на современную им литературу и науку – их сочинения отвечали требованиям времени. В частности, на опыт В. Скотта опирались французские историки, выступившие со своими трудами в конце 1820-х гг.; на опыт Н. Карамзина опирался Пушкин уже в период южной ссылки и особенно при написании трагедии «Борис Годунов» в 1825 г.^[23]

«История» построена на огромном фактическом материале, собиравшемся писателем в течение многих лет. Среди первоклассных по своей значимости документов на первое место должно поставить летописи. В тексте «Истории» использованы не только ценнейшие сведения и факты летописей – Карамзин включил в свое сочинение и обширные цитаты или пересказы входивших в летописи повестей, преданий, легенд. Для Карамзина летопись ценна прежде всего тем, что она открывала отношение к фактам, событиям и легендам современника их – летописца.

Потому важнейшим принципом «Истории» и стало стремление ее автора «смотреть в тусклое зеркало древней летописи», следуя за ней в изложении и оценке событий, не украшая вымыслом или произвольной догадкой свой рассказ. Постигание точки зрения летописца, его «простодушия» и суда над современниками, в которых запечатлелся «дух времени», было задачей Карамзина-художника. Карамзин-историк выступал с комментарием этой летописной версии событий.

Монархическая концепция «Истории» (хотя писатель опирался при этом на точку зрения Монтескье и Руссо, согласно которой монархическое правление «наиболее пригодно» «для больших государств», а республиканское – «для малых») закономерно вызвала возражение декабристов. В годы, когда дворянские революционеры развертывали борьбу с самодержавием, всякая его защита, хотя бы и на материале истории, объективно укрепляла реакцию. В то же время видеть в «Истории» только защиту самодержавия и осуждать ее на этом основании было бы неисторично. В сочинении Карамзина заложено глубокое противоречие – умозрительной концепции писателя противопоставлены многочисленные факты, которые опровергали идею благодетельности самодержавия для России и ее народа. И Карамзин не скрывал этих фактов, но честно приводил и объективно оценивал их. Привнесенная в сочинение идея не подтверждалась материалом истории.

Противоречие это обернулось трагедией Карамзина, политическая идея заводила в тупик. И несмотря на это, Карамзин не изменил своему методу выяснения истины, открывавшейся в процессе художественного исследования прошлого, оставался верен ей, даже если она противоречила его политическому идеалу. Это было победой Карамзинахудожника. Именно потому Пушкин и назвал «Историю» подвигом честного человека.

Пушкин отлично понимал противоречивость сочинения Карамзина. Отвечая декабристам на их критику «Истории», он писал: «Молодые якобинцы негодовали; несколько отдельных размышлений в пользу самодержавия, красноречиво опровергнутые верным рассказом событий, казались им верхом варварства и унижения».^[24] Слова Пушкина следует понимать еще и в том смысле, что суждения Карамзина о самодержавии не покрывают всего огромного содержания «Истории», что многотомный труд нельзя сводить к доказательству тощего политического тезиса, что было в этом труде нечто такое, за что можно было ее автора назвать «великим писателем», за что следовало ему сказать спасибо.

В 1821 г. вышел из печати девятый том, посвященный царствованию Ивана Грозного, в 1824-м – десятый и одиннадцатый тома, рассказывавшие о Федоре Иоанновиче и Борисе Годунове. Смерть Карамзина в 1826 г. оборвала работу над двенадцатым томом «Истории», в котором ему предстояло описать борьбу русского народа под руководством Минина и Пожарского за освобождение Русского государства от польско-шляхетской интервенции. Рукопись обрывалась на фразе: «Орешек не сдавался...»

Сохраняя свои идейные позиции, историк не остался глух к общественным событиям, предшествовавшим восстанию декабристов, и

изменил акценты в последних томах «Истории» – в центре внимания оказались самодержцы, ставшие на путь деспотизма. Девятый том, где резко осуждалась тирания Грозного, имел особенно большой успех. К. Рылеев использовал его материал в своих «Думах».

Историзм карамзинского сочинения проявлялся прежде всего в рассмотрении истории Русской земли как процесса становления, хотя и осложненного тягчайшими, длительными испытаниями и бедствиями, единого мощного государства, занявшего свое место в ряду других государств мира. Эта идея красной нитью проходит через все летописи, и ее воспринял Карамзин, она пронизывает все его повествование. Но летописи открыли ему еще одну «тайну» истории – меняющийся из века в век тип сознания русских людей, то, что было названо в «Истории» «духом времени».

Историзм проявил себя и в раскрытии сознания летописцев. И хотя у Карамзина нет ни одного характера летописца, все же Пушкин, создавший в трагедии «Борис Годунов» тип летописца – Пимена, счел нужным указать, что этим он обязан Карамзину.

Художественное начало «Истории» позволило раскрыть процесс формирования национального характера. Главная тема летописей – судьба Русской земли и непрерывная борьба за единство – сосредоточила внимание летописца на роли национального фактора, таких самобытных черт русского самосознания, как патриотическая гражданственность, понимание героического, забота о благе родной земли, способность выходить «из домашней неизвестности», из сферы частных, семейных интересов «на театр народный». Однако так же, как и в летописях, в сочинении Карамзина оказался обойденным социальный фактор вообще и его влияние на выработку национального самосознания в частности.

Проблема социальности и социальной обусловленности человека и его сознания встанет в порядок дня позже – в 1830-е гг. Но, не сосредоточиваясь на выяснении социальных отношений Древней Руси, не понимая их роли, Карамзин все же счел необходимым проследить влияние на национальную жизнь политических режимов прошлого, как они складывались в формы княжеского и царского государственного правления. Проблема взаимоотношений народа и власти, встававшая перед Карамзиным в связи с его монархической концепцией, оборачивалась новым аспектом: что отличает русский народ – любовь к установленному князем или царем порядку или склонность к мятежам?

Еще до написания «Истории» Карамзин эту проблему решал с позиций не истины, но «вымысла», догадки, которые оказывались подчиненными

идее «благодетельности самодержавия» для России и ее народа. И, опираясь на вымысел, Карамзин отметил, что русский народ, «кажется, всегда чувствовал необходимость повиновения и ту истину, что своевольная управа граждан есть во всяком случае великое бедствие для государства».^[25]

Изучение истории по документам, по летописям опрокинуло этот «вымысел». Истина оказалась иной – не «чувствовал всегда» народ русский необходимость повиновения, мятежи народные оказались важным фактором русской национальной жизни на протяжении веков.

Столкнувшись с мятежами как реальным фактом, Карамзин принужден был выяснить их причину. Знаменателен принципиальный вывод, сделанный Карамзиным, – русский бунт не есть проявление дикости «непросвещенного» народа или результат происков плутов и мошенников, как то постоянно утверждала дворянская историография. Мятежи, по Карамзину, были следствием антинародной политики князей, народ всегда был вынуждаем на бунт несправедливыми действиями властей.

Вот характерная для Карамзина констатация фактов: «Народ стенал», «Сильные утесняли слабых, наместники и тиуны грабили Россию, как половцы». Опираясь на мнение летописца, Карамзин писал: «Народ за хищность судей и чиновников ненавидит и царя самого добродушного и милосерднейшего». Спасая свою любимую идею, отступая от истины, Карамзин объясняет, что в возникновении мятежей виновато не самодержавие, а те монархи, которые отступали от принципов самодержавия. («Предмет самодержавия есть не то, чтобы отнять у людей естественную свободу, но чтобы действия их направить к величайшему благу».^[26]) Вина с плеч самодержавия перекладывалась на плечи отдельных личностей – тиранов, оказавшихся на царском престоле: такие монархи, как Грозный, Годунов – тираны и преступники, – подлежат суду историка, но не народа. Карамзин лишает народ права на бунт. Как же тогда объяснить действительно происходившие бунты против самодержцев?

Карамзин предлагает свое толкование фактов истории. Народный бунт, мятеж объявляется проявлением суда небесного – это кара божественная за совершенные царями-тиранами преступления. Тем самым с народа снимается «вина» за мятеж – он оказывается всего лишь орудием Провидения. В других случаях, когда народ не восстает против самодержца, но терпит бедствия, чинимые властью, Карамзин заставляет его «безмолвствовать». Эти грозные и многозначительные слова, исполненные не только укоризны, но и немой угрозы, довольно часто

появляются на страницах последних томов «Истории».

По Карамзину, добродетель народа вовсе не противоречит народной «любви к мятежам». Он мог «безмолвствовать» во время правления тиранов, он мог поднять восстание и «ниспровергнуть» государя, а в минуту испытаний спасти отечество. Свой вывод Карамзин сформулировал довольно откровенно: «Сей народ, безмолвный в грозах самодержавия наследственного, уже играл царями, узнав, что они могут быть избираемы и низвергаемы его властью».^[27]

Так Карамзин оказывался способным художественно показать, что коренные черты народного характера раскрываются даже в «неистовстве бунта», отвергая тем самым концепцию русского национального характера, выдвинутую Екатериной II («образцовое послушание»).

Карамзин в своей «Истории» открыл громадный художественный мир древних летописей. Писатель прорубил окно в прошлое, он действительно, как Колумб, нашел древнюю Россию, связав прошлое с настоящим. Прошлое, удаленное от современности на много веков, представало не как раскрашенная вымыслом старина, но как действительный мир, многие тайны которого раскрыты как истины, помогавшие не только пониманию отечества, но и служившие современности. Понятие русского национального самосознания наполнилось конкретным содержанием.

Несмотря на необычность жанра, «История государства Российского» есть выдающееся произведение по русской истории, высшее художественное достижение Карамзина, его главная книга. Она на историческом материале учила понимать, видеть и глубоко ценить поэзию действительной жизни. Героями Карамзина стали родина, нация, ее гордая, исполненная славы и великих испытаний судьба, нравственный мир русского человека. Карамзин с воодушевлением прославлял русское, «приучал россиян к уважению собственного», но ему был чужд национализм: «я не всегда мог скрыть любовь к отечеству... Но не обращал пороков в добродетели; не говорил, что русские лучше французов, немцев, но люблю их более: один язык, одни обыкновения, одна участь...»^[28]

Политические убеждения писателя обусловили его сосредоточенность на изображении князей, царей, государства. Но исследование истины с нарастающей силой приковывало его внимание к народу. При описании некоторых эпох под пером Карамзина главным героем становился простой люд. Именно поэтому он обращает особое внимание на такие события, как «восстание россиян при Донском, падение Новгорода, взятие Казани, торжество народных добродетелей во время междуцарствия».

Громадный успех «Истории», ее долгое влияние на русских писателей объясняется еще и глубоким патриотизмом Карамзина, проявлением личного лирического отношения автора к описываемым им событиям. Заслуживает внимания высказанное в 1824 г. на обеде у графа Румянцева суждение о том, как должно писать историю и чем должен руководствоваться автор труда по национальной истории. На обеде присутствовал немецкий путешественник и сочинитель Буссе, который и записал это мнение Карамзина. Л. Н. Майков опубликовал его в русском переводе:

«Мой способ писать возник из того представления, которое я имею о приемах историка. Из всех литературных произведений народа изложение истории его судьбы более всего должно вызывать его интерес и менее всего может иметь общий, не строго национальный характер. Историк должен ликовать и горевать со своим народом. Он не должен, руководимый пристрастием, искажать факты, преувеличивать счастье или умалять в своем изложении бедствия; он должен быть прежде всего правдив; но может, даже должен все неприятное, все позорное в истории своего народа передавать с грустью, а о том, что приносит честь, о победах, о цветущем состоянии, говорить с радостью и энтузиазмом. Только таким образом может он сделаться национальным бытописателем, чем, прежде всего, должен быть историк».^[29] Карамзин был таким бытописателем.

При работе над трагедией «Борис Годунов» (1825) Пушкин, понявший глубокий и мудрый смысл «Истории», смог использовать открытия Карамзина. Еще не зная трудов французских историков, Пушкин, опираясь на национальную традицию, вырабатывает историзм на базе реализма как метод познания и объяснения прошлого и настоящего. Следуя за Карамзиным в раскрытии русского национального характера, он создает образ Пимена. Еще более примечательно отношение Пушкина к открытой Карамзиным «истине» о характере отношений народа и самодержавия. Отбросив монархическую концепцию автора «Истории», отвергнув его апофеогмы в пользу самодержавия, Пушкин увидел и понял как закономерность эмпирически установленный факт постоянных мятежей народа против князей и царей. Историзм помог Пушкину открыть другую, более важную истину – ненависть народа к самодержавию, враждебность народу этой формы правления, непримиримый их антагонизм. Оттого Пушкин и подчеркивал, что Карамзину он обязан «мыслию» своей «трагедии», что ему он следовал «в светлом развитии происшествий».

События французской революции и последующая реакция на них в известной мере обуславливали преемственную связь между периодом,

когда началось формирование историзма в эпоху Просвещения, и его последующим развитием в 1820-е гг. Энгельс указывал, что именно в первые десятилетия XIX в. шел бурный процесс выработки новой философии истории. «...История человечества уже перестала казаться диким хаосом бессмысленных насилий... она, напротив, предстала как процесс развития самого человечества, и задача мышления свелась теперь к тому, чтобы проследить последовательные ступени этого процесса среди всех его блужданий и доказать внутреннюю закономерность среди всех кажущихся случайностей».^[30] «История государства Российского» – частный пример процесса философского осмысления исторического прошлого на материале истории России.

Г. П. Макогоненко

Автобиография {1}



Надворный советник Николай Михайлов сын Карамзин родился 1-го декабря 1766 года в Симбирской губернии; учился дома и, наконец, в пансионе у московского профессора Шадена, от которого ходил также и в разные классы Московского университета. Служил в гвардии. Первыми трудами его в словесности были переводы, напечатанные в «Детском чтении». По возвращении своем из чужих краев издавал два года «Московский журнал», после – «Аглаю», «Аониды» и «Вестник Европы».

Полные сочинения его напечатаны в восьми томах. Он перевел еще Мармонтелевы повести и многие мелкие сочинения, изданные под именем «Пантеон иностранной словесности». В 1803 году сделан российским историографом и с того времени занимается сочинением «Российской истории».

Повести



БЕДНАЯ ЛИЗА {2}

Может быть, никто из живущих в Москве не знает так хорошо окрестностей города сего, как я, потому что никто чаще моего не бывает в поле, никто более моего не бродит пешком, без плана, без цели – куда глаза глядят – по лугам и рощам, по холмам и равнинам. Всякое лето нахожу новые приятные места или в старых новые красоты.

Но всего приятнее для меня то место, на котором возвышаются мрачные, готические башни Си...нова^[31] монастыря. Стоя на сей горе, видишь на правой стороне почти всю Москву, сию ужасную громаду домов и церквей, которая представляется глазам в образе величественного *амфитеатра*: великолепная картина, особенно когда светит на нее солнце, когда вечерние лучи его пылают на бесчисленных золотых куполах, на бесчисленных крестах, к небу возносящихся! Внизу расстилаются тучные, густо-зеленые цветущие луга, а за ними, по желтым пескам, течет светлая река, волнуемая легкими веслами рыбачьих лодок или шумящая под рулем грузных стругов, которые плывут от плодоноснейших стран Российской империи и наделяют алчную Москву хлебом. На другой стороне реки видна дубовая роща, подле которой пасутся многочисленные стада; там молодые пастухи, сидя под тению деревьев, поют простые, унылые песни и сокращают тем летние дни, столь для них единообразные. Подалее, в густой зелени древних вязов, блистает златоглавый Данилов монастырь; еще далее, почти на краю горизонта, синеются Воробьевы горы. На левой же стороне видны обширные, хлебом покрытые поля, лесочки, три или четыре деревеньки и вдали село Коломенское с высоким дворцом своим.

Часто прихожу на сие место и почти всегда встречаю там весну; туда же прихожу и в мрачные дни осени горевать вместе с природою. Страшно воют ветры в стенах опустевшего монастыря, между гробов, заросших высокою травою, и в темных переходах келий. Там, опершись на развалины гробных камней, внимаю глухому стону времен, бездною минувшего поглощенных, – стону, от которого сердце мое содрогается и трепещет. Иногда вхожу в келии и представляю себе тех, которые в них жили, – печальные картины! Здесь вижу седого старца, преклонившего колена перед распятием и молящегося о скором разрешении земных оков своих, ибо все удовольствия исчезли для него в жизни, все чувства его умерли, кроме чувства болезни и слабости. Там юный монах – с бледным лицом, с томным взором – смотрит в поле сквозь решетку окна, видит веселых

птичек, свободно плавающих в море воздуха, видит – и проливает горькие слезы из глаз своих. Он томится, вянет, сохнет – и унылый звон колокола возвещает мне безвременную смерть его. Иногда на воротах храма рассматриваю изображение чудес, в сем монастыре случившихся, там рыбы падают с неба для насыщения жителей монастыря, осажденного многочисленными врагами; тут образ богоматери обращает неприятелей в бегство. Все сие обновляет в моей памяти историю нашего отечества – печальную историю тех времен, когда свирепые татары и литовцы огнем и мечом опустошали окрестности российской столицы и когда несчастная Москва, как беззащитная вдовица, от одного бога ожидала помощи в лютых своих бедствиях.

Но всего чаще привлекает меня к стенам Си...нова монастыря – воспоминание о плачевной судьбе Лизы, бедной Лизы. Ах! Я люблю те предметы, которые трогают мое сердце и заставляют меня проливать слезы нежной скорби!

Саженья в семидесяти от монастырской стены, подле березовой рощицы, среди зеленого луга, стоит пустая хижина, без дверей, без окончин, без полу; кровля давно сгнила и обвалилась. В этой хижине лет за тридцать перед сим жила прекрасная, любезная Лиза с старушкою, матерью своею.

Отец Лизин был довольно зажиточный поселянин, потому что он любил работу, пахал хорошо землю и вел всегда трезвую жизнь. Но скоро по смерти его жена и дочь обедняли. Ленивая рука наемника худо обрабатывала поле, и хлеб перестал хорошо родиться. Они принуждены были отдать свою землю внаем, и за весьма небольшие деньги. К тому же бедная вдова, почти беспрестанно проливая слезы о смерти мужа своего – ибо и крестьянки любить умеют! – день ото дня становилась слабее и совсем не могла работать. Одна Лиза, – которая осталась после отца пятнадцати лет, – одна Лиза, не щадя своей нежной молодости, не щадя редкой красоты своей, трудилась день и ночь – ткала холсты, вязала чулки, весною рвала цветы, а летом брала ягоды – и продавала их в Москве. Чувствительная, добрая старушка, видя неутомимость дочери, часто прижимала ее к слабо биющемуся сердцу, называла божескою милостию, кормилицею, отрадою старости своей и молила бога, чтобы он наградил ее за все то, что она делает для матери. «Бог дал мне руки, чтобы работать, – говорила Лиза, – ты кормила меня своею грудью и ходила за мною, когда я была ребенком; теперь пришла моя очередь ходить за тобою. Перестань только крушиться, перестань плакать; слезы наши не оживят батюшки». Но часто нежная Лиза не могла удержать собственных слез своих – ах! она

помнила, что у нее был отец и что его не стало, но для успокоения матери старалась таить печаль сердца своего и казаться покойною и веселою. – «На том свете, любезная Лиза, – отвечала горестная старушка, – на том свете перестану я плакать. Там, сказывают, будут все веселы; я, верно, весела буду, когда увижу отца твоего. Только теперь не хочу умереть – что с тобою без меня будет? На кого тебя покинуть? Нет, дай бог прежде пристроить тебя к месту! Может быть, скоро сыщется добрый человек. Тогда, благословя вас, милых детей моих, перекрещусь и спокойно лягу в сырую землю».

Прошло два года после смерти отца Лизина. Луга покрылись цветами, и Лиза пришла в Москву с ландышами. Молодой, хорошо одетый человек, приятного вида, встретился ей на улице. Она показала ему цветы – и покраснелась. «Ты продаешь их, девушка?» – спросил он с улыбкою. – «Продаю», – отвечала она. – «А что тебе надобно?» – «Пять копеек». – «Это слишком дешево. Вот тебе рубль». – Лиза удивилась, осмелилась взглянуть на молодого человека, – еще более покраснелась и, потупив глаза в землю, сказала ему, что она не возьмет рубля. – «Для чего же?» – «Мне не надобно лишнего». – «Я думаю, что прекрасные ландыши, сорванные руками прекрасной девушки, стоят рубля. Когда же ты не берешь его, вот тебе пять копеек. Я хотел бы всегда покупать у тебя цветы; хотел бы, чтоб ты рвала их только для меня». – Лиза отдала цветы, взяла пять копеек, поклонилась и хотела идти, но незнакомец остановил ее за руку. – «Куда же ты пойдешь, девушка?» – «Домой». – «А где дом твой?» – Лиза сказала, где она живет, сказала и пошла. Молодой человек не хотел удерживать ее, может быть, для того, что мимоходящие начали останавливаться и, смотря на них, коварно усмехались.

Лиза, пришедши домой, рассказала матери, что с нею случилось. «Ты хорошо сделала, что не взяла рубля. Может быть, это был какой-нибудь дурной человек...» – «Ах нет, матушка! Я этого не думаю. У него такое доброе лицо, такой голос...» – «Однако ж, Лиза, лучше кормиться трудами своими и ничего не брать даром. Ты еще не знаешь, друг мой, как злые люди могут обидеть бедную девушку! У меня всегда сердце бывает не на своем месте, когда ты ходишь в город; я всегда ставлю свечу перед образ и молю господа бога, чтобы он сохранил тебя от всякой беды и напасти». – У Лизы навернулись на глазах слезы; она поцеловала мать свою.

На другой день нарвала Лиза самых лучших ландышей и опять пошла с ними в город. Глаза ее тихонько чего-то искали. Многие хотели у нее купить цветы, но она отвечала, что они непродажные, и смотрела то в ту, то в другую сторону. Наступил вечер, надлежало возвратиться домой, и цветы

были брошены в Москву-реку. «Никто не владей вами!» – сказала Лиза, чувствуя какую-то грусть в сердце своем. – На другой день ввечеру сидела она под окном, прядла и тихим голосом пела жалобные песни, но вдруг вскочила и закричала: «Ах!..» Молодой незнакомец стоял под окном.

«Что с тобой сделалось?» – спросила испугавшаяся мать, которая подле нее сидела. – «Ничего, матушка, – отвечала Лиза робким голосом, – я только его увидела». – «Кого?» – «Того господина, который купил у меня цветы». Старуха выглянула в окно. Молодой человек поклонился ей так учтиво, с таким приятным видом, что она не могла подумать об нем ничего, кроме хорошего. «Здравствуй, добрая старушка! – сказал он. – Я очень устал; нет ли у тебя свежего молока?» Услужливая Лиза, не дождавшись ответа от матери своей – может быть, для того, что она его знала наперед, – побежала на погреб – принесла чистую кринку, покрытую чистым деревянным кружком, – схватила стакан, вымыла, вытерла его белым полотенцем, налила и подала в окно, но сама смотрела в землю. Незнакомец выпил – и нектар из рук Гебы не мог бы показаться ему вкуснее. Всякий догадается, что он после того благодарил Лизу, и благодарил не столько словами, сколько взорами. Между тем добродушная старушка успела рассказать ему о своем горе и утешении—осмерти мужа и о милых свойствах дочери своей, об ее трудолюбии и нежности, и проч., и проч. Он слушал ее со вниманием, но глаза его были – нужно ли сказывать где? И Лиза, робкая Лиза посматривала изредка на молодого человека; но не так скоро молния блеснит и в облаке исчезает, как быстро голубые глаза ее обращались к земле, встречаясь с его взором. – «Мне хотелось бы, – сказал он матери, – чтобы дочь твоя никому, кроме меня, не продавала своей работы. Таким образом, ей незачем будет часто ходить в город, и ты не принуждена будешь с нею расставаться. Я сам по временам могу заходить к вам». – Тут в глазах Лизиных блеснула радость, которую она тщетно сокрыть хотела; щеки ее пылали, как заря в ясный летний вечер; она смотрела на левый рукав свой и щипала его правою рукою. Старушка с охотою приняла сие предложение, не подозревая в нем никакого худого намерения, и уверяла незнакомца, что полотно, вытканное Лизой, и чулки, вывязанные Лизой, бывают отменно хороши и носятся долее всяких других. – Становилось темно, и молодой человек хотел уже идти. «Да как же нам называть тебя, добрый, ласковый барин?» – спросила старуха. – «Меня зовут Эрастом», – отвечал он. – «Эрастом, – сказала тихонько Лиза, – Эрастом!» Она раз пять повторила сие имя, как будто бы стараясь затвердить его. – Эраст простился с ними до свидания и пошел. Лиза провожала его глазами, а мать сидела в задумчивости и, взяв за руку дочь

свою, сказала ей: «Ах, Лиза! Как он хорош и добр! Если бы жених твой был таков!» Все Лизино сердце затрепетало. «Матушка! Матушка! Как этому стать? Он барин, а между крестьянами...» – Лиза не договорила речи своей.

Теперь читатель должен знать, что сей молодой человек, сей Эраст был довольно богатый дворянин, с изрядным разумом и добрым сердцем, добрым от природы, но слабым и ветреным. Он вел рассеянную жизнь, думал только о своем удовольствии, искал его в светских забавах, но часто не находил: скучал и жаловался на судьбу свою. Красота Лизы при первой встрече сделала впечатление в его сердце. Он читывал романы, идиллии, имел довольно живое воображение и часто переселялся мысленно в те времена (бывшие или не бывшие), в которые, если верить стихотворцам, все люди беспечно гуляли по лугам, купались в чистых источниках, целовались, как горлицы, отдыхали под розами и миртами и в счастливой праздности все дни свои провождали. Ему казалось, что он нашел в Лизе то, чего сердце его давно искало. «Натура призывает меня в свои объятия, к чистым своим радостям», – думал он и решился – по крайней мере на время – оставить большой свет.

Обратимся к Лизе. Наступила ночь – мать благословила дочь свою и пожелала ей кроткого сна, но на сей раз желание ее не исполнилось: Лиза спала очень худо. Новый гость души ее, образ Эрастов, столь живо ей представлялся, что она почти всякую минуту просыпалась, просыпалась и вздыхала. Еще до восхождения солнечного Лиза встала, сошла на берег Москвы-реки, села на траве и, подгорюнившись, смотрела на белые туманы, которые волновались в воздухе и, подымаясь вверх, оставляли блестящие капли на зеленом покрове природы. Везде царствовала тишина. Но скоро восходящее светило дня пробудило все творение: рощи, кусточки оживились, птички вспорхнули и запели, цветы подняли свои головки, чтобы напитаться животворными лучами света. Но Лиза все еще сидела подгорюнившись. Ах, Лиза, Лиза! Что с тобою сделалось? До сего времени, просыпаясь вместе с птичками, ты вместе с ними веселилась утром, и чистая, радостная душа светилась в глазах твоих, подобно как солнце светится в каплях росы небесной; но теперь ты задумчива, и общая радость природы чужда твоему сердцу. – Между тем молодой пастух по берегу реки гнал стадо, играя на свирели. Лиза устремила на него взор свой и думала: «Если бы тот, кто занимает теперь мысли мои, рожден был простым крестьянином, пастухом, – и если бы он теперь мимо меня гнал стадо свое: ах! я поклонилась бы ему с улыбкою и сказала бы приветливо: „Здравствуй, любезный пастушок! Куда гонишь ты стадо свое? И здесь растет зеленая

трава для овец твоих, и здесь алеют цветы, из которых можно сплести венок для шляпы твоей“. Он взглянул бы на меня с видом ласковым – взял бы, может быть, руку мою... Мечта!» Пастух, играя на свирели, прошел мимо и с пестрым стадом своим скрылся за ближним холмом.

Вдруг Лиза услышала шум весел – взглянула на реку и увидела лодку, а в лодке – Эраста.

Все жилки в ней забились, и, конечно, не от страха. Она встала, хотела идти, но не могла. Эраст выскочил на берег, подошел к Лизе и – мечта ее отчасти исполнилась: ибо он *взглянул на нее с видом ласковым, взял ее за руку...* А Лиза, Лиза стояла с потупленным взором, с огненными щеками, с трепещущим сердцем – не могла отнять у него руки – не могла отворотиться, когда он приблизился к ней с розовыми губами своими... Ах! Он поцеловал ее, поцеловал с таким жаром, что вся вселенная показалась ей в огне горящею! «Милая Лиза! – сказал Эраст. – Милая Лиза! Я люблю тебя», и сии слова отозвались во глубине души ее, как небесная, восхитительная музыка; она едва смела верить ушам своим и... Но я бросаю кисть. Скажу только, что в сию минуту восторга исчезла Лизина робость – Эраст узнал, что он любим, любим страстно новым, чистым, открытым сердцем.

Они сидели на траве, и так, что между ими оставалось не много места, – смотрели друг другу в глаза, говорили друг другу: «Люби меня!», и два часа показались им мигом. Наконец Лиза вспомнила, что мать ее может об ней беспокоиться. Надлежало расстаться. «Ах, Эраст! – сказала она. – Всегда ли ты будешь любить меня?» – «Всегда, милая Лиза, всегда!» – отвечал он. – «И ты можешь мне дать в этом клятву?» – «Могу, любезная Лиза, могу!» – «Нет! мне не надобно клятвы. Я верю тебе, Эраст, верю. Ужели ты обманешь бедную Лизу? Ведь этому нельзя быть?» – «Нельзя, нельзя, милая Лиза!» – «Как я счастлива, и как обрадуется матушка, когда узнает, что ты меня любишь!» – «Ах нет, Лиза! Ей не надобно ничего сказывать». – «Для чего же?» – «Старые люди бывают подозрительны. Она вообразит себе что-нибудь худое». – «Нельзя статься». – «Однако ж прошу тебя не говорить ей об этом ни слова». – «Хорошо: надобно тебя послушаться, хотя мне не хотелось бы ничего таить от нее». – Они простились, поцеловались в последний раз и обещались всякий день ввечеру видаться или на берегу реки, или в березовой роще, или где-нибудь близ Лизиной хижины, только верно, непременно видаться. Лиза пошла, но глаза ее сто раз обращались на Эраста, который все еще стоял на берегу и смотрел вслед за нею.

Лиза возвратилась в хижину свою совсем не в таком расположении, в

каком из нее вышла. На лице и во всех ее движениях обнаруживалась сердечная радость. «Он меня любит!» – думала она и восхищалась сею мыслию. «Ах, матушка! – сказала Лиза матери своей, которая лишь только проснулась. – Ах, матушка! Какое прекрасное утро! Как все весело в поле! Никогда жаворонки так хорошо не певали, никогда солнце так светло не сияло, никогда цветы так приятно не пахли!» – Старушка, подпираясь клюкою, вышла на луг, чтобы насладиться утром, которое Лиза такими прелестными красками описывала. Оно, в самом деле, показалось ей отменно приятным; любезная дочь весельем своим развеселяла для нее всю натуру. «Ах, Лиза! – говорила она. – Как все хорошо у господа бога! Шестой десяток доживаю на свете, а все еще не могу наглядеться на дела господни, не могу наглядеться на чистое небо, похожее на высокий шатер, и на землю, которая всякий год новою травой и новыми цветами покрывается. Надобно, чтобы царь небесный очень любил человека, когда он так хорошо убрал для него здешний свет. Ах, Лиза! Кто бы захотел умереть, если бы иногда не было нам горя?.. Видно, так надобно. Может быть, мы забыли бы душу свою, если бы из глаз наших никогда слезы не капали». А Лиза думала: «Ах! Я скорее забуду душу свою, нежели милого моего друга!»

После сего Эраст и Лиза, боясь не сдержать слова своего, всякий вечер виделись (тогда, как Лизина мать ложилась спать) или на берегу реки, или в березовой роще, но всего чаще под тению столетних дубов (саженях в осьмидесяти от хижины) – дубов, осеняющих глубокий чистый пруд, еще в древние времена ископанный. Там часто тихая луна, сквозь зеленые ветви, посребряла лучами своими светлые Лизины волосы, которыми играли зефиры и рука милого друга; часто лучи сии освещали в глазах нежной Лизы блестящую слезу любви, осушаемую всегда Эрастовым поцелуем. Они обнимались – но целомудренная, стыдливая Цинтия не скрывалась от них за облако: чисты и непорочны были их объятия.^[32] «Когда ты, – говорила Лиза Эрасту, – когда ты скажешь мне: „Люблю тебя, друг мой!“, когда прижмешь меня к своему сердцу и взглянешь на меня умильными своими глазами, ах! тогда бывает мне так хорошо, так хорошо, что я себя забываю, забываю все, кроме – Эраста. Чудно! Чудно, мой друг, что я, не зная тебя, могла жить спокойно и весело! Теперь мне это непонятно, теперь думаю, что без тебя жизнь не жизнь, а грусть и скука. Без глаз твоих темен светлый месяц; без твоего голоса скучен соловей поющий; без твоего дыхания ветерок мне неприятен». – Эраст восхищался своей пастушкой – так называл Лизу – и, видя, сколь она любит его, казался сам себе любезнее. Все блестящие забавы большого света представлялись ему

ничтожными в сравнении с теми удовольствиями, которыми *страстная дружба* невинной души питала сердце его. С отвращением помышлял он о презрительном сладострастии, которым прежде упивались его чувства. «Я буду жить с Лизою, как брат с сестрою, – думал он, – не употреблю во зло любви ее и буду всегда счастлив!» – Безрассудный молодой человек! Знаешь ли ты свое сердце? Всегда ли можешь отвечать за свои движения? Всегда ли рассудок есть царь чувств твоих?

Лиза требовала, чтобы Эраст часто посещал мать ее. «Я люблю ее, – говорила она, – и хочу ей добра, а мне кажется, что видеть тебя есть великое благополучие для всякого». – Старушка в самом деле всегда радовалась, когда его видела. Она любила говорить с ним о покойном муже и рассказывать ему о днях своей молодости, о том, как она в первый раз встретилась с милым своим Иваном, как он полюбил ее и в какой любви, в каком согласии жил с нею. «Ах! Мы никогда не могли друг на друга наглядеться – до самого того часа, как лютая смерть подкосила ноги его. Он умер на руках моих!» – Эраст слушал ее с непритворным удовольствием. Он покупал у нее Лизину работу и хотел всегда платить в десять раз дороже назначаемой ею цены, но старушка никогда не брала лишнего.

Таким образом прошло несколько недель. Однажды ввечеру Эраст долго ждал своей Лизы. Наконец пришла она, но так невесела, что он испугался; глаза ее от слез покраснели. «Лиза, Лиза! Что с тобою случилось?» – «Ах, Эраст! Я плакала!» – «О чем? Что такое?» – «Я должна сказать тебе все. За меня сватается жених, сын богатого крестьянина из соседней деревни; матушка хочет, чтобы я за него вышла». – «И ты соглашаешься?» – «Жестокий! Можешь ли об этом спрашивать? Да, мне жаль матушки; она плачет и говорит, что я не хочу ее спокойствия, что она будет мучиться при смерти, если не выдаст меня при себе замуж. Ах! Матушка не знает, что у меня есть такой милый друг!» – Эраст целовал Лизу, говорил, что ее счастье дороже ему всего на свете, что по смерти матери ее он возьмет ее к себе и будет жить с нею неразлучно, в деревне и в дремучих лесах, как в раю. – «Однако ж тебе нельзя быть моим мужем!» – сказала Лиза с тихим вздохом. – «Почему же?» – «Я крестьянка». – «Ты обижаешь меня. Для твоего друга важнее всего душа, чувствительная, невинная душа, – и Лиза будет всегда ближайшая к моему сердцу».

Она бросилась в его объятия—ивсейчаснадлежало погибнуть непорочности! – Эраст чувствовал необыкновенное волнение в крови своей – никогда Лиза не казалась ему столь прелестною – никогда ласки ее не трогали его так сильно – никогда ее поцелуи не были столь пламенны – она ничего не знала, ничего не подозревала, ничего не боялась – мрак вечера

питал желания – ни одной звездочки не сияло на небе – никакой луч не мог осветить заблуждения. – Эраст чувствует в себе трепет – Лиза также, не зная отчего – не зная, что с нею делается... Ах, Лиза, Лиза! Где ангел-хранитель твой? Где – твоя невинность?

Заблуждение прошло в одну минуту. Лиза не понимала чувств своих, удивлялась и спрашивала. Эраст молчал – искал слов и не находил их. «Ах, я боюсь, – говорила Лиза, – боюсь того, что случилось с нами! Мне казалось, что я умираю, что душа моя... Нет, не умею сказать этого!.. Ты молчишь, Эраст? Вздыхаешь?.. Боже мой! Что такое?» – Между тем блеснула молния и грянул гром. Лиза вся задрожала. «Эраст, Эраст! – сказала она. – Мне страшно! Я боюсь, чтобы гром не убил меня, как преступницу!» Грозно шумела буря, дождь лился из черных облаков – казалось, что натура сетовала о потерянной Лизиной невинности. – Эраст старался успокоить Лизу и проводил ее до хижины. Слезы катились из глаз ее, когда она прощалась с ним. «Ах, Эраст! Уверь меня, что мы будем по-прежнему счастливы!» – «Будем, Лиза, будем!» – отвечал он. – «Дай бог! Мне нельзя не верить словам твоим: ведь я люблю тебя! Только в сердце моем... Но полно! Прости! Завтра, завтра увидимся».

Свидания их продолжались; но как все переменилось! Эраст не мог уже доволен быть одними невинными ласками своей Лизы – одними ее любви исполненными взорами – одним прикосновением руки, одним поцелуем, одними чистыми объятиями. Он желал больше, больше и, наконец, ничего желать не мог, – а кто знает сердце свое, кто размышлял о свойстве нежнейших его удовольствий, тот, конечно, согласится со мною, что исполнение *всех* желаний есть самое опасное искушение любви. Лиза не была уже для Эраста сим ангелом непорочности, который прежде восплалял его воображение и восхищал душу. Платоническая любовь уступила место таким чувствам, которыми он не мог *гордиться* и которые были для него уже не новы. Что принадлежит до Лизы, то она, совершенно ему отдавшись, им только жила и дышала, во всем, как агнец, повиновалась его воле и в удовольствии его полагала свое счастье. Она видала в нем перемену и часто говорила ему: «Прежде бывал ты веселее, прежде бывали мы покойнее и счастливее, и прежде я не так боялась потерять любовь твою!» – Иногда, прощаясь с ней, он говорил ей: «Завтра, Лиза, не могу с тобою видеться: мне встретилось важное дело», – и всякий раз при сих словах Лиза вздыхала.

Наконец пять дней сряду она не видала его и была в величайшем беспокойстве; в шестой пришел он с печальным лицом и сказал ей: «Любезная Лиза! Мне должно на несколько времени с тобою проститься.

Ты знаешь, что у нас война, я в службе, полк мой идет в поход». – Лиза побледнела и едва не упала в обморок.

Эраст ласкал ее, говорил, что он всегда будет любить милую Лизу и надеется по возвращении своем уже никогда с нею не расставаться. Долго она молчала, потом залилась горькими слезами, схватила руку его и, взглянув на него со всею нежностью любви, спросила: «Тебе нельзя остаться?» – «Могу, – отвечал он, – но только с величайшим бесславием, с величайшим пятном для моей чести. Все будут презирать меня; все будут гнушаться мною, как трусом, как недостойным сыном отечества». – «Ах, когда так, – сказала Лиза, – то поезжай, поезжай, куда бог велит! Но тебя могут убить». – «Смерть за отечество не страшна, любезная Лиза». – «Я умру, как скоро тебя не будет на свете». – «Но зачем это думать? Я надеюсь остаться жив, надеюсь возвратиться к тебе, моему другу». – «Дай бог! Дай бог! Всякий день, всякий час буду о том молиться. Ах, для чего не умею ни читать, ни писать! Ты бы уведомлял меня обо всем, что с тобою случится, а я писала бы к тебе—о слезах своих!» – «Нет, береги себя, Лиза, береги для друга твоего. Я не хочу, чтобы ты без меня плакала». – «Жестокий человек! Ты думаешь лишить меня и этой отрады! Нет! Расставшись с тобою, разве тогда перестану плакать, когда высохнет сердце мое». – «Думай о приятной минуте, в которую опять мы увидимся». – «Буду, буду думать об ней! Ах, если бы она пришла скорее! Любезный, милый Эраст! Помни, помни свою бедную Лизу, которая любит тебя более, нежели самое себя!»

Но я не могу описать всего, что они при сем случае говорили. На другой день надлежало быть последнему свиданию.

Эраст хотел проститься и с Лизиной матерью, которая не могла от слез удержаться, слыша, что *ласковый, пригожий барин* ее должен ехать на войну. Он принудил ее взять у него несколько денег, сказав: «Я не хочу, чтобы Лиза в мое отсутствие продавала работу свою, которая, по уговору, принадлежит мне». – Старушка осыпала его благословениями. «Дай господи, – говорила она, – чтобы ты к нам благополучно возвратился и чтобы я тебя еще раз увидела в здешней жизни! Авось-либо моя Лиза к тому времени найдет себе жениха по мыслям. Как бы я благодарила бога, если б ты приехал к нашей свадьбе! Когда же у Лизы будут дети, знай, барин, что ты должен крестить их! Ах! Мне бы очень хотелось дожить до этого!» – Лиза стояла подле матери и не смела взглянуть на нее. Читатель легко может вообразить себе, что она чувствовала в сию минуту.

Но что же чувствовала она тогда, когда Эраст, обняв ее в последний раз, в последний раз прижав к своему сердцу, сказал: «Прости, Лиза!» Какая трогательная картина! Утренняя заря, как алое море, разливалась по

восточному небу. Эраст стоял под ветвями высокого дуба, держа в объятиях свою бледную, томную, горестную подругу, которая, прощаясь с ним, прощалась с душою своею. Вся натура пребывала в молчании.

Лиза рыдала – Эраст плакал – оставил ее – она упала – стала на колени, подняла руки к небу и смотрела на Эраста, который удалялся – далее – далее – и наконец скрылся – воссияло солнце, и Лиза, оставленная, бедная, лишилась чувств и памяти.

Она пришла в себя – и свет показался ей уныл и печален. Все приятности природы сокрылись для нее вместе с любезным ее сердцу. «Ах! – думала она. – Для чего я осталась в этой пустыне? Что удерживает меня лететь вслед за милым Эрастом? Война не страшна для меня; страшно там, где нет моего друга. С ним жить, с ним умереть хочу или смертью своею спасти его драгоценную жизнь. Постой, постой, любезный! Я лечу к тебе!» – Уже хотела она бежать за Эрастом, но мысль: «У меня есть мать!» – остановила ее. Лиза вздохнула и, преклонив голову, тихими шагами пошла к своей хижине. – С сего часа дни ее были днями тоски и горести, которую надлежало скрывать от нежной матери: тем более страдало сердце ее! Тогда только облегчалось оно, когда Лиза, уединясь в густоту леса, могла свободно проливать слезы и стенать о разлуке с милым. Часто печальная горлица соединяла жалобный голос свой с ее стенанием. Но иногда – хотя весьма редко – золотой луч надежды, луч утешения освещал мрак ее скорби. «Когда он возвратится ко мне, как я буду счастлива! Как все переменится!» – от сей мысли прояснялся взор ее, розы на щеках освежались, и Лиза улыбалась, как майское утро после бурной ночи. – Таким образом прошло около двух месяцев.

В один день Лиза должна была идти в Москву, затем чтобы купить розовой воды, которою мать ее лечила глаза свои. На одной из больших улиц встретила ей великолепная карета, и в сей карете увидела она – Эраста. «Ах!» – закричала Лиза и бросилась к нему, но карета проехала мимо и поворотила на двор. Эраст вышел и хотел уже идти на крыльцо огромного дому, как вдруг почувствовал себя – в Лизиных объятиях. Он побледнел – потом, не отвечая ни слова на ее восклицания, взял ее за руку, привел в свой кабинет, запер дверь и сказал ей: «Лиза! Обстоятельства переменились; я помолвил жениться; ты должна оставить меня в покое и для собственного своего спокойствия забыть меня. Я любил тебя и теперь люблю, то есть желаю тебе всякого добра. Вот сто рублей – возьми их, – он положил ей деньги в карман, – позволь мне поцеловать тебя в последний раз – и поди домой». – Прежде нежели Лиза могла опомниться, он вывел ее из кабинета и сказал слуге: «Проводи эту девушку со двора».

Сердце мое обливается кровью в сию минуту. Я забываю человека в Эрасте – готов проклинать его – но язык мой не движется – смотрю на небо, и слеза катится по лицу моему. Ах! Для чего пишу не роман, а печальную бль?

Итак, Эраст обманул Лизу, сказав ей, что он едет в армию? – Нет, он в самом деле был в армии, но, вместо того чтобы сражаться с неприятелем, играл в карты и проиграл почти все свое имение. Скоро заключили мир, и Эраст возвратился в Москву, отягченный долгами. Ему оставался один способ поправить свои обстоятельства – жениться на пожилой богатой вдове, которая давно была влюблена в него. Он решился на то и переехал жить к ней в дом, посвятив искренний вздох Лизе своей. Но все сие может ли оправдать его?

Лиза очутилась на улице и в таком положении, которого никакое перо описать не может. «Он, он выгнал меня? Он любит другую? Я погибла!» – вот ее мысли, ее чувства! Жестокий обморок перервал их на время. Одна добрая женщина, которая шла по улице, остановилась над Лизою, лежавшею на земле, и старалась привести ее в память. Несчастливая открыла глаза – встала с помощью сей доброй женщины, – благодарила ее и пошла, сама не зная куда. «Мне нельзя жить, – думала Лиза, – нельзя!.. О, если бы упало на меня небо! Если бы земля поглотила бедную!.. Нет! небо не падает; земля не колеблется! Горе мне!» – Она вышла из города и вдруг увидела себя на берегу глубокого пруда, под тению древних дубов, которые за несколько недель перед тем были безмолвными свидетелями ее восторгов. Сие воспоминание потрясло ее душу; страшнейшее сердечное мучение изобразилось на лице ее. Но через несколько минут погрузилась она в некоторую задумчивость – осмотрелась вокруг себя, увидела дочь своего соседа (пятнадцатилетнюю девушку), идущую по дороге, – кликнула ее, вынула из кармана десять империалов и, подавая ей, сказала: «Любезная Анюта, любезная подружка! Отнеси эти деньги к матушке – они не краденые – скажи ей, что Лиза против нее виновата, что я таила от нее любовь свою к одному жестокому человеку, – к Э... На что знать его имя? – Скажи, что он изменил мне, – попроси, чтобы она меня простила, – бог будет ее помощником, – поцелуй у нее руку так, как я теперь твою целую, – скажи, что бедная Лиза велела поцеловать ее, – скажи, что я...» Тут она бросилась в воду. Анюта закричала, заплакала, но не могла спасти ее, побежала в деревню – собрались люди и вытащили Лизу, но она была уже мертвая.

Таким образом скончала жизнь свою прекрасная душою и телом. Когда мы там, в новой жизни, увидимся, я узнаю тебя, нежная Лиза!

Ее погребли близ пруда, под мрачным дубом, и поставили деревянный крест на ее могиле. Тут часто сижу в задумчивости, опершись на вместилище Лизина праха; в глазах моих струится пруд; надо мною шумят листья.

Лизина мать услышала о страшной смерти дочери своей, и кровь ее от ужаса охладела – глаза навек закрылись. – Хижина опустела. В ней воет ветер, и суеверные поселяне, слыша по ночам сей шум, говорят: «Там стонет мертвец; там стонет бедная Лиза!»

Эраст был до конца жизни своей несчастлив. Узнав о судьбе Лизиной, он не мог утешиться и почитал себя убийцею. Я познакомился с ним за год до его смерти. Он сам рассказал мне сию историю и привел меня к Лизиной могилке. – Теперь, может быть, они уже примирились!

ОСТРОВ БОРНГОЛЬМ^[33]

Друзья! прошло красное лето, золотая осень побледнела, зелень увяла, деревья стоят без плодов и без листьев, туманное небо волнуется, как мрачное море, зимний пух сыплется на холодную землю – простимся с природою до радостного весеннего свидания, укроемся от вьюг и метелей – укроемся в тихом кабинете своем! Время не должно тяготить нас: мы знаем лекарство от скуки. Друзья! Дуб и береза пылают в камине нашем – пусть свирепствует ветер и засыпает окна белом снегом! Сядем вокруг алого огня и будем рассказывать друг другу сказки и повести, и всякие были.

Вы знаете, что я странствовал в чужих землях, далеко, далеко от моего отечества, далеко от вас, любезных моему сердцу, видел много чудного, слышал много удивительного, многое вам рассказывал, но не мог рассказать всего, что случилось со мною. Слушайте – я повествую – повествую истину, не выдумку.

Англия была крайним пределом моего путешествия. Там сказал я самому себе: «Отечество и друзья ожидают тебя; время успокоиться в их объятиях, время посвятить страннический жезл твой сыну Ману,^[34] время повесить его на густейшую ветвь того дерева, под которым играл ты в юных летах своих», – сказал и сел в Лондоне на корабль «Британию», чтобы плыть к любезным странам России.

Быстро катились мы на белых парусах вдоль цветущих берегов величественной Темзы. Уже беспредельное море засинелось перед нами, уже слышали мы шум его волнения – но вдруг переменялся ветер, и корабль наш, в ожидании благоприятнейшего времени, должен был остановиться против местечка Гревзенда.

Вместе с капитаном вышел я на берег, гулял с покойным сердцем по зеленым лугам, украшенным природою и трудолюбием, – местам редким и живописным; наконец, утомленный жаром солнечным, лег на траву, под столетним вязом, близ морского берега, и смотрел на влажное пространство, на пенные валы, которые в бесчисленных рядах из мрачной отдаленности неслись к острову с глухим ревом. Сей унылый шум и вид необозримых вод начинали склонять меня к той дремоте, к тому сладостному бездействию души, в котором все идеи и все чувства останавливаются и цепенеют, подобно вдруг замерзающим ключевым струям, и которое есть самый разительнейший и самый пиитический образ смерти; но вдруг ветви потряслись над моею головою... Я взглянул и

увидел – молодого человека, худого, бледного, томного, – более привидение, нежели человека. В одной руке держал он гитару, другою срывал листочки с дерева и смотрел на синее море неподвижными черными глазами своими, в которых сиял последний луч угасающей жизни. Взор мой не мог встретиться с его взором: чувства его были мертвы для внешних предметов; он стоял в двух шагах от меня, но не видал ничего, не слышал ничего. – «Несчастный молодой человек! – думал я. – Ты убит роком. Не знаю ни имени, ни рода твоего; но знаю, что ты несчастлив!»

Он вздохнул, поднял глаза к небу, опустил их опять на волны морские – отошел от дерева, сел на траву, заиграл на своей гитаре печальную прелюдию, смотря беспрестанно на море, и запел тихим голосом следующую песню (на датском языке, которому учил меня в Женеве приятель мой доктор NN)^[35]:

Законы осуждают
Предмет моей любви;
Но кто, о сердце! может
Противиться тебе?

Какой закон святее
Твоих врожденных чувств?
Какая власть сильнее
Любви и красоты?

Люблю – любить ввек буду.
Кляните страсть мою,
Безжалостные души,
Жестокие сердца!

Священная природа!
Твой нежный друг и сын
Невинен пред тобою.
Ты сердце мне дала;

Твои дары благие
Украсили ее —
Природа! Ты хотела,
Чтоб Лилу я любил!

Твой гром гремел над нами,
Но нас не поражал,
Когда мы наслаждались
В объятиях любви. —

О Борнгольм, милый Борнгольм!
К тебе душа моя
Стремится беспрестанно;
Но тщетно слезы лью,

Томлюся и вздыхаю!
Навек я удален
Родительскою клятвой
От берегов твоих!

Еще ли ты, о Лила!
Живешь в тоске своей?
Или в волнах шумящих
Скончала злую жизнь?

Явися мне, явися,
Любезнейшая тень!
Я сам в волнах шумящих
С тобою погребусь.

Тут, по невольному внутреннему движению, хотел я броситься к незнакомцу и прижать его к сердцу своему, но капитан мой в самую сию минуту взял меня за руку и сказал, что благоприятный ветер развеивает наши парусы и что нам не должно терять времени. — Мы поплыли. Молодой человек, бросив гитару и сложив руки, смотрел вслед за нами — смотрел на синее море. —

Волны пенились под рулем корабля нашего, берег гревзендский скрылся в отдалении, северные провинции Англии чернелись на другом краю горизонта — наконец все исчезло, и птицы, которые долго вились над нами, полетели назад к берегу, как будто бы устрешенные необозримостью моря. Волнение шумных вод и туманное небо остались единственным предметом глаз наших, предметом величественным и страшным. — Друзья мои! Чтобы живо чувствовать всю дерзость человеческого духа, надобно

быть на открытом море, где *одна тонкая дощечка*, как говорит Виланд, *отделяет нас от влажной смерти*, но где искусный пловец, распуская парусы, летит и в мыслях своих видит уже блеск золота, которым в другой части мира наградится смелая его предприимчивость. «Nil mortalibus arduum est» – «Нет для смертных невозможного», – думал я с Горацием, теряясь взором в бесконечности Нептунова царства.

Но скоро жестокий припадок морской болезни лишил меня чувства. Шесть дней глаза мои не открывались, и томное сердце, орошаемое пеною бурных волн,^[36] едва билось в груди моей. В седьмой день я ожил и хотя с бледным, но радостным лицом вышел на палубу. Солнце по чистому лазоревому своду катилось уже к западу, море, освещаемое златыми его лучами, шумело, корабль летел на всех парусах по грядкам рассекаемых валов, которые тщетно силились опередить его. Вокруг нас, в разном отдалении, развевались белые, голубые и розовые флаги, а на правой стороне чернелось нечто подобное земле.

«Где мы?» – спросил я у капитана. – «Плавание наше благополучно, – сказал он, – мы прошли Зунд; берега Швеции скрылись от глаз наших. На правой стороне видите вы датский остров Борнгольм, место опасное для кораблей; там мели и камни таятся на дне морском. Когда наступит ночь, мы бросим якорь».

«Остров Борнгольм, остров Борнгольм!» – повторил я в мыслях, и образ молодого гревзендского незнакомца оживился в душе моей. Печальные звуки и слова песни его отозвались в моем слухе. «Они заключают в себе тайну сердца его, – думал я, – но кто он? Какие законы осуждают любовь несчастного? Какая клятва удалила его от берегов Борнгольма, столь ему милого? Узнаю ли когда-нибудь его историю?»

Между тем сильный ветер нес нас прямо к острову. Уже открылись грозные скалы его, откуда с шумом и пеною свергались кипящие ручьи во глубину морскую. Он казался со всех сторон неприступным, со всех сторон огражденным рукою величественной природы; ничего, кроме страшного, не представлялось на седых утесах. С ужасом видел я там образ хладной, безмолвной вечности, образ неумолимой смерти и того неопisanного творческого могущества, перед которым все смертное трепетать должно.

Солнце погрузилось в волны – и мы бросили якорь. Ветер утих, и море едва-едва колебалось. Я смотрел на остров, который неизъяснимою силою влек меня к берегам своим; темное предчувствие говорило мне: «Там можешь удовлетворить своему любопытству, и Борнгольм останется навеки в твоей памяти!» – Наконец, узнав, что недалеко от берега есть рыбацьи хижины, решил я просить у капитана шлюпки и ехать на остров с двумя

или тремя матрозами. Он говорил об опасности, о подводных камнях, но, видя непреклонность своего пассажира, согласился исполнить мое требование с тем условием, чтобы я на другой день рано поутру на корабль возвратился.

Мы поплыли и благополучно пристали к берегу в небольшом тихом заливе. Тут встретили нас рыбаки, люди грубые и дикие, выросшие на холодной стихии, под шум валов морских и незнакомые с улыбкою дружелюбного приветствия; впрочем, не хитрые и не злые люди. Услышав, что мы желаем посмотреть острова и ночевать в их хижинах, они привязали нашу лодку и повели нас, сквозь распавшуюся кремнистую гору, к своим жилищам. Через полчаса вышли мы на просторную зеленую равнину, где, подобно как на долинах альпийских, рассеяны были низенькие деревянные домики, рощицы и громады камней. Тут оставил я своих матрозов, а сам пошел далее, чтобы наслаждаться еще несколько времени приятностями вечера; мальчик лет тринадцати был проводником моим.

Алая заря не угасла еще на светлом небе, розовый свет ее сыпался на белые граниты и вдали, за высоким холмом, освещал острые башни древнего замка. Мальчик не мог сказать мне, кому принадлежал сей замок. «Мы туда не ходим, – говорил он, – и бог знает, что там делается!» – Я удвоил шаги свои и скоро приблизился к большому готическому зданию, окруженному глубоким рвом и высокою стеною. Везде царствовала тишина, вдали шумело море, последний луч вечернего света угасал на медных шпицах башен.

Я обошел вокруг замка – ворота были заперты, мосты подняты. Проводник мой боялся, сам не зная чего, и просил меня идти назад к хижинам, но мог ли любопытный человек уважить такую просьбу?

Наступила ночь, и вдруг раздался голос – эхо повторило его, и опять все умолкло. Мальчик от страха схватил меня обеими руками и дрожал, как преступник в час казни. Через минуту снова раздался голос – спрашивали: «Кто там?» – «Чужеземец, – сказал я, – приведенный любопытством на сей остров, и если гостеприимство почитается добродетелию в стенах вашего замка, то вы укроете странника на темное время ночи». – Ответа не было, но через несколько минут загремел и опустился с верху башни подъемный мост, с шумом отворились ворота – высокий человек, в длинном, черном платье, встретил меня, взял за руку и повел в замок. Я оборотился назад, но мальчик, провожатый мой, скрылся.

Ворота хлопнули за нами, мост загремел и поднялся. Через обширный двор, заросший кустарником, крапивою и полынью, пришли мы к

огромному дому, в котором светился огонь. Высокий перистиль в древнем вкусе вел к железному крыльцу, которого ступени звучали под ногами нашими. Везде было мрачно и пусто. В первой зале, окруженной внутри готической колоннадой, висела лампада и едва-едва изливала бледный свет на ряды позлащенных столпов, которые от древности начинали разрушаться; в одном месте лежали части карниза, в другом отломки пиластров, в третьем целые упавшие колонны. Путеводитель мой несколько раз взглядывал на меня пронизательными глазами, но не говорил ни слова.

Все сие сделало в сердце моем странное впечатление, смешанное отчасти с ужасом, отчасти с тайным неизъяснимым удовольствием или, лучше сказать, с приятным ожиданием чего-то чрезвычайного.

Мы прошли еще через две или три залы, подобные первой и освещенные такими же лампадами. Потом отворилась дверь направо – в углу небольшой комнаты сидел почтенный седовласый старец, облокотившись на стол, где горели две белые восковые свечи. Он поднял голову, взглянул на меня с какою-то печальною ласкою, подал мне слабую свою руку и сказал тихим, приятным голосом:

«Хотя вечная горесть обитает в стенах здешнего замка, но странник, требующий гостеприимства, всегда найдет в нем мирное пристанище. Чужеземец! Я не знаю тебя, но ты человек – в умирающем сердце моем жива еще любовь к людям – мой дом, мои объятия тебе отверсты». – Он обнял, посадил меня и, стараясь развеселить мрачный вид свой, уподоблялся хотя ясному, но хладному осеннему дню, который напоминает более горестную зиму, нежели радостное лето. Ему хотелось быть приветливым – хотелось улыбкою вселить в меня доверенность; печали, углубившиеся на лице его, не могли исчезнуть в одну минуту.

«Ты должен, молодой человек, – сказал он, – ты должен известить меня о происшествиях света, мною оставленного, но еще не совсем забытого. Давно живу я в уединении, давно не слышу ничего о судьбе людей. Скажи мне, царствует ли любовь на земном шаре? Курится ли фимиам на олтарях добродетели? Благоденствуют ли народы в странах, тобою виденных?» – «Свет наук, – отвечал я, – распространяется более и более, но еще струится на земле кровь человеческая – льются слезы несчастных – хвалят имя добродетели и спорят о существовании ее». – Старец вздохнул и пожал плечами.

Узнав, что я россиянин, сказал он: «Мы приходим от одного народа с вашим. Древние жители островов Рюгена и Борнгольма были славяне. Но вы прежде нас озарились светом христианства. Уже великолепные храмы,

единому богу посвященные, возносились к облакам в странах ваших, но мы, во мраке идолопоклонства, приносили кровавые жертвы бесчувственным истуканам. Уже в торжественных гимнах славили вы великого творца вселенной, но мы, ослепленные заблуждением, хвалили в нестройных песнях идолов баснословия». – Старец говорил со мною об истории северных народов, о происшествиях древности и новых времен, говорил так, что я должен был удивляться уму его, знаниям и даже красноречию.

Через полчаса он встал и пожелал мне доброй ночи. Слуга в черном платье, взяв со стола одну свечу, повел меня через длинные узкие переходы —имывошли в большую комнату, обвешанную древним оружием, мечами, копьями, латами и шишаками. В углу, под золотым балдахином, стояла высокая кровать, украшенная резьбою и древними барельефами.

Мне хотелось предложить множество вопросов сему человеку, но он, не дожидаясь их, поклонился и ушел; железная дверь хлопнула – звук страшно раздался в пустых стенах – и все утихло. Я лег на постелю – смотрел на древнее оружие, освещаемое сквозь маленькое окно слабым лучом месяца, – думал о своем хозяине, о первых словах его: «Здесь обитает вечная горесть», – мечтал о временах прошедших, о тех приключениях, которым сей древний замок бывал свидетелем, – мечтал, подобно такому человеку, который между гробов и могил взирает на прах умерших и оживляет его в своем воображении. – Наконец образ печального гревзендского незнакомца представился душе моей, и я заснул.

Но сон мой не был покоен. Мне казалось, что все латы, висевшие на стене, превратились в рыцарей, что сии рыцари приближались ко мне с обнаженными мечами и с гневным лицом говорили: «Несчастный! Как дерзнул ты пристать к нашему острову? Разве не бледнеют плователи при виде гранитных берегов его? Как дерзнул ты войти в страшное святилище замка? Разве ужас его не гремит во всех окрестностях? Разве странник не удаляется от грозных его башен? Дерзкий! Умри за сие пагубное любопытство!» – Мечи застучали надо мною, удары сыпались на грудь мою, – но вдруг все скрылось, – я пробудился и через минуту опять заснул. Тут новая мечта возмутила дух мой. Мне казалось, что страшный гром раздавался в замке, железные двери стучали, окна тряслися, пол колебался, и ужасное крылатое чудовище, которое описать не умею, с ревом и свистом летело к моей постели. Сновидение исчезло, но я не мог уже спать, чувствовал нужду в свежем воздухе, приблизился к окну, увидел подле него маленькую дверь, отворил ее и по крутой лестнице сошел в сад.

Ночь была ясная, свет полной луны осребрял темную зелень на

древних дубах и вязах, которые составляли густую, длинную аллею. Шум морских волн соединялся с шумом листьев, потрясаемых ветром. Вдали белелись каменные горы, которые, подобно зубчатой стене, окружают остров Борнгольм; между ими и стенами замка виден был с одной стороны большой лес, а с другой – открытая равнина и маленькие рощицы.

Сердце все еще билось у меня от страшных сновидений, и кровь моя не переставала волноваться. Я вступил в темную аллею, под кров шумящих дубов и с некоторым благоговением углублялся во мрак ее. Мысль о друидах возбудилась в душе моей – и мне казалось, что я приближаюсь к тому святилищу, где хранятся все таинства и все ужасы их богослужения. Наконец сия длинная аллея привела меня к розмаринным кустам, за коими возвышался песчаный холм. Мне хотелось взойти на вершину его, чтобы оттуда при свете ясной луны взглянуть на картину моря и острова, но тут представилось глазам моим отверстие во внутренность холма; человек с трудом мог войти в него. Непреодолимое любопытство влекло меня в сию пещеру, которая походила более на дело рук человеческих, нежели на произведение дикой природы. Я вошел – почувствовал сырость и холод, но решился идти далее и, сделав шагов десять вперед, рассмотрел несколько ступеней вниз и широкую железную дверь; она, к моему удивлению, была не заперта. Как будто бы невольным образом рука моя отворила ее – тут, за железную решетку, на которой висел большой замок, горела лампада, привязанная ко своду, а в углу, на соломенной постеле, лежала молодая бледная женщина в черном платье. Она спала; русые волосы, с которыми переплелись желтые соломинки, закрывали высокую грудь ее, едва-едва дышащую; одна рука, белая, но иссохшая, лежала на земле, а на другой покоилась голова спящей. Если бы живописец хотел изобразить томную, бесконечную, всегдашнюю скорбь, осыпанную маковыми цветами Морфея, то сия женщина могла бы служить прекрасным образцом для кисти его.

Друзья мои! Кого не трогает вид несчастного! Но вид молодой женщины, страдающей в подземной темнице, – вид слабейшего и любезнейшего из всех существ, угнетенного судьбою, – мог бы влить чувство в самый камень. Я смотрел на нее с горестию и думал сам в себе: «Какая варварская рука лишила тебя дневного света? Неужели за какое-нибудь тяжкое преступление? Но миловидное лицо твое, но тихое движение груди твоей, но собственное сердце мое уверяют меня в твоей невинности!»

В самую сию минуту она проснулась – взглянула на решетку – увидела меня – изумилась – подняла голову – встала – приблизилась, – потупила глаза в землю, как будто бы собираясь с мыслями, – снова устремила их на

меня, хотела говорить и – не начинала.

«Если чувствительность странника, – сказал я через несколько минут молчания, – рукою судьбы приведенного в здешний замок и в эту пещеру, может облегчить твою участь, если искреннее его сострадание заслуживает твою доверенность, требуй его помощи!» – Она смотрела на меня неподвижными глазами, в которых видно было удивление, некоторое любопытство, нерешимость и сомнение. Наконец, после сильного внутреннего движения, которое как будто бы электрическим ударом потрясло грудь ее, отвечала твердым голосом: «Кто бы ты ни был, каким бы случаем ни зашел сюда, – чужеземец, я не могу требовать от тебя ничего, кроме сожаления. Не в твоих силах переменить долю мою. Я лобызаю руку, которая меня наказывает». – «Но сердце твое невинно? – сказал я, – оно, конечно, не заслуживает такого жестокого наказания?» – «Сердце мое, – отвечала она, – могло быть в заблуждении. Бог простит слабую. Надеюсь, что жизнь моя скоро кончится. Оставь меня, незнакомец!» – Тут приблизилась она к решетке, взглянула на меня с ласкою и тихим голосом повторила: «Ради бога, оставь меня!.. Если он сам послал тебя – тот, которого страшное проклятие гремит всегда в моем слухе, – скажи ему, что я страдаю, страдаю день и ночь, что сердце мое высохло от горести, что слезы не облегчают уже тоски моей. Скажи, что я без ропота, без жалоб сношу заключение, что я умру его нежною, несчастною...» – Она вдруг замолчала, задумалась, удалилась от решетки, стала на колени и закрыла руками лицо свое, через минуту посмотрела на меня, снова потупила глаза в землю и сказала с нежною робостию: «Ты, может быть, знаешь мою историю, но если не знаешь, то не спрашивай меня – ради бога, не спрашивай!.. Чужеземец, прости!» – Я хотел идти, сказав ей несколько слов, излившихся прямо из души моей, но взор мой еще встретился с ее взором – и мне показалось, что она хочет узнать от меня нечто важное для своего сердца. Я остановился – ждал вопроса, но он, после глубокого вздоха, умер на бледных устах ее. Мы расстались.

Вышедши из пещеры, не хотел я затворить железной двери, чтобы свежий, чистый воздух сквозь решетку проник в темницу и облегчил дыхание несчастной. Заря алела на небе, птички пробудились, ветерок свевал росу с кустов и цветочков, которые росли вокруг песчаного холма. – «Боже мой! – думал я. – Боже мой! Как горестно быть исключенным из общества живых, вольных, радостных тварей, которыми везде населены необозримые пространства природы! В самом севере, среди высоких мшистых скал, ужасных для взора, творение руки твоей прекрасно – творение руки твоей восхищает дух и сердце. И здесь, где пенистые волны

от начала мира сражаются с гранитными утесами, – и здесь десница твоя напечатлела живые знаки творческой любви и благодати, и здесь в час утра розы цветут на лазоревом небе, и здесь нежные зефиры дышат ароматами, и здесь зеленые ковры расстилаются, как мягкий бархат, под ногами человека, и здесь поют птички – поют весело для веселого, печально для печального, приятно для всякого, и здесь скорбящее сердце в объятиях чувствительной природы может облегчиться от бремени своих горестей! Но – бедная, заключенная в темнице, не имеет сего утешения: роса утренняя не окропляет ее томного сердца, ветерок не освежает истлевшей груди, лучи солнечные не озаряют помраченных глаз ее, тихие бальзамические излияния луны не питают души ее кроткими сновидениями и приятными мечтами. Творец! Почто даровал ты людям гибельную власть делать несчастными друг друга и самих себя?» – Силы мои ослабели, и глаза закрылись, под ветвями высокого дуба, на мягкой зелени.

Сон мой продолжался около двух часов.

«Дверь была отворена; чужестранец входил в пещеру» – вот что услышал я, проснувшись, – открыл глаза и увидел старца, хозяина своего; он сидел в задумчивости на дерновой лавке, шагах в пяти от меня; подле него стоял тот человек, который ввел меня в замок. Я подошел к ним. Старец взглянул на меня с некоторою суровостью, встал, пожал мою руку – и вид его сделался ласковее. Мы вошли вместе в густую аллею, не говоря ни слова. Казалось, что он в душе своей колебался и был в нерешимости, но вдруг остановился и, устремив на меня пронизательный, огненный взор, спросил твердым голосом: «Ты видел ее?» – «Видел, – отвечал я, – видел, не узнав, кто она и за что она страдает в темнице». – «Узнаешь, – сказал он, – узнаешь, молодой человек, и сердце твое обольется кровию. Тогда спросишь у самого себя: за что небо излило всю чашу гнева своего на сего слабого, седого старца, старца, который любил добродетель, который чтит святые законы его?» – Мы сели под деревом, и старец рассказал мне ужаснейшую историю – историю, которой вы теперь не услышите, друзья мои; она остается до другого времени. На сей раз скажу вам одно то, что я узнал тайну гревзендского незнакомца – тайну страшную! —

Матрозы дожидались меня у ворот замка. Мы возвратились на корабль, подняли парусы, и Борнгольм скрылся от глаз наших.

Море шумело. В горестной задумчивости стоял я на палубе, взявшись рукою за мачту. Вздохи теснили грудь мою – наконец я взглянул на небо – и ветер свеял в море слезу мою.

СИЕРРА-МОРЕНА ^[37]

В цветущей Андалузии – там, где шумят гордые пальмы, где благоухают миртовые рощи, где величественный Гвадальквивир катит медленно свои воды, где возвышается розмарином увенчанная Сиерра-Морена, ^[38] – там увидел я прекрасную, когда она в унынии, в горести стояла подле Алонзова памятника, опершись на него лилейною рукою своею; луч утреннего солнца позлащал белую урну и возвышал трогательные прелести нежной Эльвиры; ее русые волосы, рассыпаясь по плечам, падали на черный мрамор.

Эльвира любила юного Алонза, Алонзо любил Эльвиру и скоро надеялся быть супругом ее, но корабль, на котором плыл он из Майорки (где жил отец его), погиб в волнах моря. Сия ужасная весть сразила Эльвиру. Жизнь ее была в опасности... Наконец отчаяние превратилось в тихую скорбь и томность. Она соорудила мраморный памятник любимцу души своей и каждый день орошала его жаркими слезами.

Я смешал слезы мои с ее слезами. Она увидела в глазах моих изображение своей горести, в чувствах сердца моего узнала собственные свои чувства и назвала меня другом. Другом!.. Как сладостно было имя сие в устах любезной! – Я в первый раз поцеловал тогда руку ее.

Эльвира говорила мне о своем незабвенном Алонзе, описывала красоту души его, свою любовь, свои восторги, свое блаженство, потом отчаяние, тоску, горесть и, наконец, – утешение, отраду, находимую сердцем ее в милом дружестве. Тут взор Эльвирина блистал светлее, розы на лице ее оживлялись и пылали, рука ее с горячностью пожимала мою руку.

Увы! В груди моей свирепствовало пламя любви: сердце мое сгорало от чувств своих, кровь кипела – и мне надлежало таить страсть свою!

Я таил оную, таил долго. Язык мой не дерзал именовать того, что питала в себе душа моя: ибо Эльвира клялась не любить никого, кроме своего Алонза, клялась не любить в другой раз. Ужасная клятва! Она заграждала уста мои.

Мы были неразлучны, гуляли вместе на зланных берегах величественного Гвадальквивира, сидели над журчащими его водами, подле горестного Алонзова памятника, в тишине и безмолвии; одни сердца наши говорили. Взор Эльвирина, встречаясь с моим, опускался к земле или обращался на небо. Два вдоха вылетали, соединялись и, мешаясь с зефиром, исчезали в пространствах воздуха. Жар дружеских моих объятий

возбуждал иногда трепет в нежной Эльвириной груди – быстрый огонь разливался по лицу прекрасной—ячувствовал скорое биение пульса ее – чувствовал, как она хотела успокоиться, хотела удержать стремление крови своей, хотела говорить... Но слова на устах замирали. – Я мучился и наслаждался.

Часто темная ночь застигала нас в отдаленном уединении. Звучное эхо повторяло шум водопадов, который раздавался между высоких утесов Сиерры-Морены, в ее глубоких расселинах и долинах. Сильные ветры волновали и крутили воздух, багряные молнии вились на черном небе или бледная луна над седыми облаками восходила. – Эльвира любила ужасы природы: они возвеличивали, восхищали, питали ее душу.

Я был с нею!.. И радовался сгущению ночных мраков. Они сближали сердца наши, они скрывали Эльвиру от всей природы – и я тем живее, тем нераздельнее наслаждался ее присутствием.

Ах! Можно сражаться с сердцем долго и упорно, но кто победит его? – Бурное стремление яростных вод разрывает все оплоты, и каменные горы распадаются от силы огненного вещества, в их недрах заключенного.

Сила чувств моих все преодолела, и долго таимая страсть излилась в нежном признании!

Я стоял на коленях, и слезы мои текли рекою. Эльвира бледнела – и снова уподоблялась розе. Знаки страха, сомнения, скорби, нежной томности менялись на лице ее!..

Она подала мне руку с умильным взором. «Жестокий! – сказала Эльвира – но сладкий голос ее смягчил всю жестокость сего упрека. – Жестокий! Ты недоволен кроткими чувствами дружбы, ты принуждаешь меня нарушить обет священный и торжественный!.. Пусть же громы небесные поразят клятвопреступницу!.. Я люблю тебя!..» – Огненные поцелуи мои запечатлели уста ее.

Боже мой!.. Сия минута была счастливейшею в моей жизни!

Эльвира пошла к Алонзову памятнику, стала перед ним на колени и, обнимая белую урну, сказала трогательным голосом: «Тень любезного Алонза! Простишь ли свою Эльвиру?.. Я клялась вечно любить тебя и вечно любить не перестану, образ твой сохранится в моем сердце, всякий день буду украшать цветами твой памятник, слезы мои будут всегда мешаться с утреннею и вечернею росой на сем хладном мраморе! – Но я клялась еще не любить никого, кроме тебя... и люблю!.. Увы! Я надеялась на сердце свое и поздно увидела опасность. Оно тосковало – было одно в пространным мире – искало утешения, – дружба явилась ему в венце невинности и добродетели... Ах!.. Любезная тень! простишь ли свою

Эльвиру?»

Любовь моя была красноречива: я успокоил милую, и все облака исчезли в ангельских очах ее.

Эльвира назначила день для нашего вечного соединения, предалась нежным чувствам своим, и я наслаждался небом! – Но гром собирался над нами... Рука моя трепещет!

Все радовалось в Эльвирином замке, все готовилось к брачному торжеству. Ее родственники любили меня – Андалузия должна была быть вторым моим отечеством!

Уже розы и лилии на олтаре благоухали, и я приблизился к оному с прелестною Эльвиною, с восторгом в душе, с сладким трепетом в сердце, уже священник готовился утвердить союз наш своим благословением – как вдруг явился незнакомец, в черной одежде, с бледным лицом, с мрачным видом: кинжал блистал в руке его. «Вероломная! – сказал он Эльвире. – Ты клялась быть вечно моею и забыла свою клятву! Я клялся любить тебя до гроба: умираю... и люблю!..»

Уже кровь лилась из его сердца, он вонзил кинжал в грудь свою и пал мертвый на помост храма.

Эльвира, как громом пораженная, в исступлении, в ужасе воскликнула: «Алонзо! Алонзо!..» – и лишилась памяти. – Все стояли неподвижно. Внезапность страшного явления изумила присутствующих.

Сей бледный незнакомец, сей грозный самоубийца был Алонзо. Корабль, на котором он плыл из Майорки, погиб, но алжирцы извлекли юношу из волн, чтобы оковать его цепями тяжелой неволи. Через год он получил свободу – летел к предмету любви своей, – услышал о замужестве Эльвирином и решил наказать ее... своею смертью.

Я вынес Эльвиру из храма. Она пришла в себя, – но пламя любви навек угасло в очах и сердце ее. «Небо страшно наказало клятвопреступницу, – сказала мне Эльвира, – я убийца Алонзова! Кровь его палит меня. Удались от несчастной! Земля расступилась между нами, и тщетно будешь простирать ко мне руки свои! Бездна разделила нас навеки. Можешь только взорами своими растревлять неизлечимую рану моего сердца. Удались от несчастной!»

Моя горечь, мое отчаяние не могли тронуть ее – Эльвира погребла несчастного Алонза на том месте, где оплакивала некогда мнимую смерть его, и заключилась в строжайшем из женских монастырей. Увы! Она не хотела проститься со мною!.. Не хотела, чтобы я в последний раз обнял ее со всею горячностью любви и видел в глазах ее хотя одно сожаление о моей участи!

Я был в исступлении – искал в себе чувствительного сердца, но сердце, подобно камню, лежало в груди моей – искал слез и не находил их – мертвое, страшное уединение окружало меня.

День и ночь слились для глаз моих в вечный сумрак. Долго не знал я ни сна, ни отдохновения, скитался по тем местам, где бывал вместе – с жестокою и несчастною; хотел найти следы, остатки, части *моей* Эльвиры, напечатления души ее... Но хлад и тьма везде меня встречали!

Иногда приближался я к уединенным стенам того монастыря, где заключилась неумолимая Эльвира: там грозные башни возвышались, железные запоры на вратах чернелись, вечное безмолвие обитало, и какой-то унылый голос вещал мне: «Для тебя уже нет Эльвиры!»

Наконец я удалился от Сиерры-Морены – оставил Андалузию, Гишпанию, Европу – видел печальные остатки древней Пальмиры, некогда славной и великолепной, – итам, опершись на развалины, внимал глубокой, красноречивой тишине, царствующей в сем запустении и одними громами прерываемой. Там, в объятиях меланхолии, сердце мое размягчилось – там слеза моя оросила сухое тление – там, помышляя о жизни и смерти народов, живо восчувствовал я суету всего подлунного и сказал самому себе: «Что есть жизнь человеческая? Что бытие наше? Один миг, и все исчезнет! Улыбка счастья и слезы бедствия покроются единою горстию черной земли!» – Сии мысли чудесным образом успокоили мою душу.

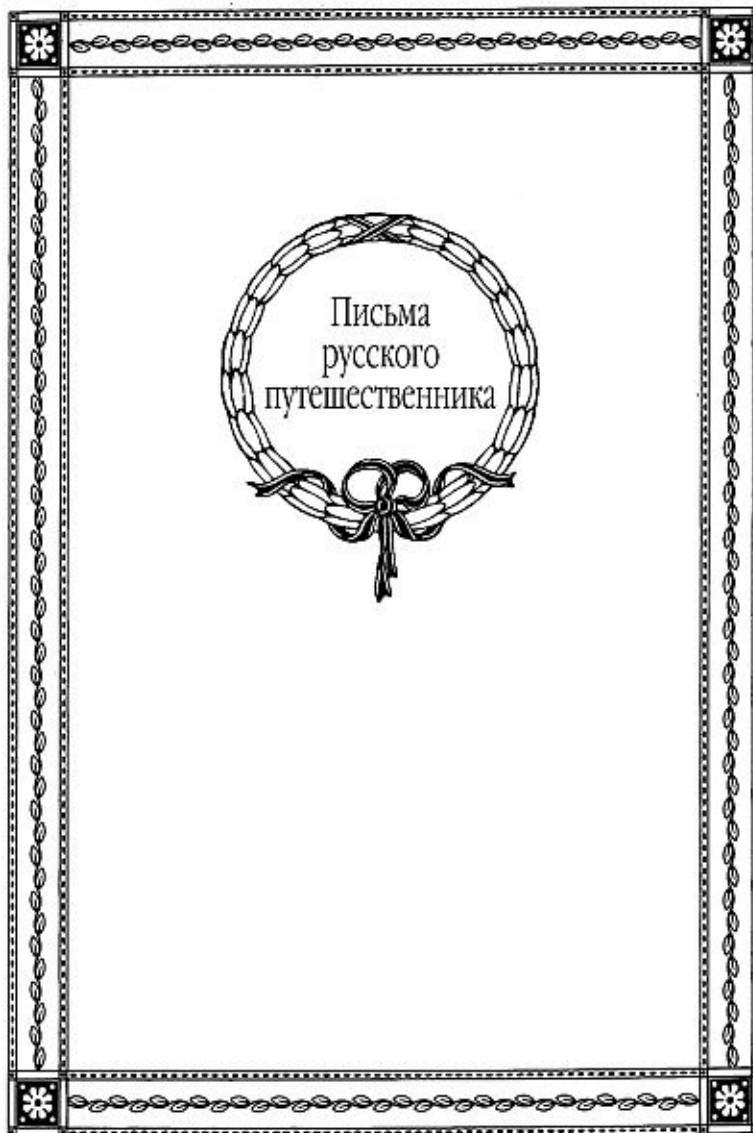
Я возвратился в Европу и был некоторое время игралищем злобы людей, некогда мною любимых; хотел еще видеть Андалузию, Сиерру-Морену и узнал, что Эльвира переселилась уже в обители небесные; пролил слезы на ее могиле и обтер их навеки.

Хладный мир! Я тебя оставил! – Безумные существа, человеками именуемые! Я вас оставил! Свирепствуйте в лютых своих исступлениях, терзайте, умерщвляйте друг друга! Сердце мое для вас мертво, и судьба ваша его не трогает.

Живу теперь в стране печального севера, где глаза мои в первый раз озарились лучом солнечным, где величественная натура из недр бесчувствия приняла меня в свои объятия и включила в систему *эфмерного бытия*, – живу в уединении и внимаю бурям.

Тихая ночь – вечный покой – святое безмолвие! К вам, к вам простираю мои объятия!

Письма русского путешественника {3}



Я хотел при новом издании многое переменить в сих «Письмах», и... не переменял почти ничего.^[39] Как они были писаны, как удостоились лестного благоволения публики, пусть так и остаются. Пестрота, неровность в слогe есть следствие различных предметов, которые действовали на душу молодого, неопытного русского путешественника: он сказывал друзьям своим, что ему приключалось, что он видел, слышал, чувствовал, думал, – и описывал свои впечатления не на досуге, не в

тишине кабинета, а где и как случалось, дорогою, на лоскутках, карандашом. Много неважного, мелочи – соглашаюсь; но если в Ричардсоновых, Фильдинговых романах без скуки читаем мы, например, что Грандисон всякий день пил два раза чай с любезною мисс Бирон; что Том Джонес спал ровно семь часов в таком-то сельском трактире, то для чего же и путешественнику не простить некоторых бездельных подробностей? Человек в дорожном платье, с посохом в руке, с котомкою за плечами не обязан говорить с осторожною разборчивостью какого-нибудь придворного, окруженного такими же придворными, или профессора в шпанском парике, сидящего на больших, ученых креслах.^[40] – А кто в описании путешествий ищет одних статистических и географических сведений, тому, вместо сих «Писем», советую читать Бишингову «Географию».^[41]

1793

Тверь, 18 мая 1789^[42]

Расстался я с вами, милые, расстался! Сердце мое привязано к вам всеми нежнейшими своими чувствами, аябеспрестанно от вас удаляюсь и буду удаляться!

О сердце, сердце! Кто знает: чего ты хочешь? – Сколько лет путешествие было приятнейшею мечтою моего воображения? Не в восторге ли сказал я самому себе: наконец ты поедешь? Не в радости ли просыпался всякое утро? Не с удовольствием ли засыпал, думая: ты поедешь? Сколько времени не мог ни о чем думать, ничем заниматься, кроме путешествия? Не считал ли дней и часов? Но – когда пришел желаемый день, я стал грустить, вообразив в первый раз живо, что мне надлежало расстаться с любезнейшими для меня людьми в свете и со всем, что, так сказать, входило в состав нравственного бытия моего. На что ни смотрел – на стол, где несколько лет изливались на бумагу незрелые мысли и чувства мои, на окно, под которым сживал я подгорюнившись в припадках своей меланхолии и где так часто заставляло меня восходящее солнце, на готический дом,^[43] любезный предмет глаз моих в часы ночные, – одним словом, все, что попадалось мне в глаза, было для меня драгоценным памятником прошедших лет моей жизни, не обильной делами, но зато мыслями и чувствами обильной. С вещами бездушными прощался я, как с друзьями; и в самое то время, как был размягчен, растроган, пришли люди мои, начали плакать и просить меня, чтобы я не забыл их и взял опять к себе, когда возвращуся. Слезы заразительны, мои

милые, а особенно в таком случае.

Но вы мне всегда любезнее, и с вами надлежало расстаться. Сердце мое так много чувствовало, что я говорить забывал. Но что вам сказывать! – Минута, в которую мы прощались, была такова, что тысячи приятных минут в будущем едва ли мне за нее заплатят.

Милый Птрв.^[44] провожал меня до заставы. Там обнялись мы с ним, и еще в первый раз видел я слезы его; там сел я в кибитку, взглянул на Москву, где оставалось для меня столько любезного, и сказал: *прости!* Колокольчик зазвенел, лошади помчались... и друг ваш осиротел в мире, осиротел в душе своей!

Все прошедшее есть сон и тень: ах! где, где часы, в которые так хорошо бывало сердцу моему посреди вас, милые? – Если бы человеку, самому благополучному, вдруг открылось будущее, то замерло бы сердце его от ужаса и язык его онемел бы в самую ту минуту, в которую он думал назвать себя счастливейшим из смертных!..

Во всю дорогу не приходило мне в голову ни одной радостной мысли; а на последней станции к Твери грусть моя так усилилась, что я в деревенском трактире, стоя перед карикатурами королевы французской и римского императора, ^[4] хотел бы, как говорит Шекспир, выплакать сердце свое.^[45] Тамто все оставленное мною явилось мне в таком трогательном виде. – Но полно, полно! Мне опять становится чрезмерно грустно. – Простите! Дай бог вам утешений. – Помните друга, но без всякого горестного чувства!

С.-Петербург, 26 мая 1789

Прожив здесь пять дней, друзья мои, через час поеду в Ригу.

В Петербурге я не веселился. Приехав к своему Д*,^[46] нашел его в крайнем унынии. Сей достойный, любезный человек^[47] открыл мне свое сердце: оно чувствительно – он несчастлив!.. «Состояние мое совсем твоему противоположно, – сказал он со вздохом, – главное твое желание исполняется: ты едешь наслаждаться, веселиться; а я поеду искать смерти,^[48] которая одна может окончить мое страдание». Я не смел утешать его и довольствовался одним сердечным участием в его горести. «Но не думай, мой друг, – сказал я ему, – чтобы ты видел перед собою человека, довольного своею судьбою; приобретая одно, лишаюсь другого и жалею». – Оба мы вместе от всего сердца жаловались на несчастный жребий человечества или молчали. По вечерам прохаживались в Летнем саду и всегда больше думали, нежели говорили; каждый о своем думал. До обеда

бывал я на бирже, чтобы видетсья с знакомым своим англичанином, через которого надлежало мне получить вексели. Там, смотря на корабли, я вздумал было ехать водою, в Данциг, в Штетин или в Любек, чтобы скорее быть в Германии. Англичанин мне то же советовал и сыскал капитана, который через несколько дней хотел плыть в Штетин. Дело, казалось, было с концом; однако ж вышло не так. Надлежало объявить мой паспорт в адмиралтействе; но там не хотели надписать его, потому что он дан из московского, а не из петербургского губернского правления и что в нем не сказано, как я поеду; то есть не сказано, что поеду морем. Возражения мои не имели успеха – я не знал порядка, и мне оставалось ехать сухим путем или взять другой паспорт в Петербурге. Я решился на первое; взял подорожную – и лошади готовы. Итак, простите, любезные друзья! Когда-то будет мне веселее! А до сей минуты все грустно. Простите!

Рига, 31 мая 1789

Вчера, любезнейшие друзья мои, приехал я в Ригу и остановился в «Hôtel de Pétersbourg». Дорога меня измучила. Не довольно было сердечной грусти, которой причина вам известна: надлежало еще идти сильным дождем; надлежало, чтобы я вздумал, к несчастью, ехать из Петербурга *на перекладных* и нигде не находил хороших кибиток. Все меня сердило. Везде, казалось, брали с меня лишнее; на каждой перемене держали слишком долго. Но нигде не было мне так горько, как в Нарве. Я приехал туда весь мокрый, весь в грязи; насилу мог найти купить две рогожи, чтобы сколько-нибудь закрыться от дождя, и заплатил за них по крайней мере как за две кожи. Кибитку дали мне негодную, лошадей скверных. Лишь только отъехали с полверсты, переломилась ось: кибитка упала в грязь, и я с нею. Илья мой поехал с ямщиком назад за осью, а бедный ваш друг остался на сильном дожде. Этого еще мало: пришел какой-то полицейский и начал шуметь, что кибитка моя стояла среди дороги. «Спрячь ее в карман!» – сказал я с притворным равнодушием и завернулся в плащ. Бог знает, каково мне было в эту минуту! Все приятные мысли о путешествии затмились в душе моей. О, если бы мне можно было тогда перенестись к вам, друзья мои! Внутренно проклинал я то беспокойство сердца человеческого, которое влечет нас от предмета к предмету, от верных удовольствий к неверным, как скоро первые уже не новы, – которое настроивает к мечтам наше воображение и заставляет нас искать радостей в неизвестности будущего!

Есть всему предел; волна, ударившись о берег, назад возвращается или, поднявшись высоко, опять вниз упадает – и в самый тот миг, как

сердце мое стало полно, явился хорошо одетый мальчик, лет тринадцати, и с милою, сердечною улыбкою сказал мне по-немецки: «У вас изломалась кибитка? Жаль, очень жаль! Пожалуйте к нам – вот наш дом – батюшка и матушка приказали вас просить к себе». – «Благодарю вас, государь мой! Только мне нельзя отойти от своей кибитки; к тому же я одет слишком по-дорожному и весь мокр». – «К кибитке приставим мы человека; а на платье дорожных кто смотрит? Пожалуйте, сударь, пожалуйста!» Тут улыбнулся он так убедительно, что я должен был стряхнуть воду с шляпы своей – разумеется, для того, чтобы с ним идти. Мы взялись за руки и побежали бегом в большой каменный дом, где в зале первого этажа нашел я многочисленную семью, сидящую вокруг стола; хозяйка разливала чай и кофе. Меня приняли так ласково, потчевали так сердечно, что я забыл все свое горе. Хозяин, пожилой человек, у которого добродушие на лице написано, с видом искреннего участия расспрашивал меня о моем путешествии. Молодой человек, племянник его, недавно возвратившийся из Германии, сказывал мне, как удобнее ехать из Риги в Кенигсберг. Я пробыл у них около часа. Между тем привезли ось, и все было готово. «Нет, еще постоит!» – сказали мне, и хозяйка принесла на блюде три хлеба. «Наш хлеб, говорят, хорош: возьмите его». – «Бог с вами! – примолвил хозяин, пожав мою руку, – бог с вами!» Я сквозь слезы благодарил его и желал, чтобы он и впредь своим гостеприимством утешал печальных странников, расставшихся с милыми друзьями. – Гостеприимство, священная добродетель, обыкновенная во дни юности рода человеческого и столь редкая во дни наши! Если я когда-нибудь тебя забуду, то пусть забудут меня друзья мои! Пусть вечно буду на земле странником и нигде не найду второго Крамера!^[49] Простился со всею любезною семьей, сел в кибитку и поскакал, обрадованный находкой добрых людей! —

Почта от Нарвы до Риги называется немецкою, для того что комиссары на станциях немцы. Почтовые дома везде одинакие – низенькие, деревянные, разделенные на две половины: одна для проезжих, а в другой живет сам комиссар, у которого можно найти все нужное для утоления голода и жажды. Станции маленькие; есть по двенадцати и десяти верст. Вместо ямщиков ездят отставные солдаты, из которых иные помнят Миниха; рассказывая сказки, забывают они погонять лошадей, и для того приехал я сюда из Петербурга не прежде как в пятый день. На одной станции за Дерптом надлежало мне ночевать: г. З., ^[5] едущий из Италии, забрал всех лошадей. Я с полчаса говорил с ним и нашел в нем любезного

человека. Он настрадал меня песчаными прусскими дорогами и советовал лучше ехать через Польшу и Вену; однако ж мне не хочется переменить своего плана. Пожелав ему счастливого пути, бросился я на постелю; но не мог заснуть до самого того времени, как чухонец пришел мне сказать, что кибитка для меня впряжена.

Я не заметил никакой разницы между эстляндцами и лифляндцами, кроме языка и кафтанов: одни носят черные, а другие серые. Языки их сходны; ^[50] имеют в себе мало собственного, много немецких и даже несколько славянских слов. Я заметил, что они все немецкие слова смягчают в произношении: ^[51] из чего можно заключить, что слух их нежен; но, видя их непрворство, неловкость и недогадливость, всякий должен думать, что они, просто сказать, глуповаты. Господа, с которыми удалось мне говорить, жалуются на их леность и называют их сонливыми людьми, которые по воле ничего не сделают: и так надобно, чтобы их очень неволили, потому что они очень много работают, и мужик в Лифляндии или в Эстляндии приносит господину вчетверо более нашего казанского или симбирского.

Сии бедные люди, *работающие господам со страхом и трепетом* ^[52] во все будничные дни, зато уже без памяти веселятся в праздники, которых, правда, весьма немного по их календарю. Дорога усеяна корчмами, и все они в проезд мой были наполнены гуляющим народом – праздновали троицу.

Мужики и господа лютеранского исповедания. Церкви их подобны нашим, кроме того, что наверху стоит не крест, а петух, который должен напоминать о падении апостола Петра. ^[53] Проповеди говорятся на их языке; ^[54] однако ж пасторы все знают по-немецки.

Что принадлежит до местоположений, то в этой стороне смотреть не на что. Леса, песок, болота; нет ни больших гор, ни пространных долин. – Напрасно будешь искать и таких деревень, как у нас. В одном месте видишь два двора, в другом три, четыре и церковь. Избы больше наших и разделены обыкновенно на две половины: в одной живут люди, а другая служит хлевом. – Те, которые едут не на почтовых, должны останавливаться в корчмах. Впрочем, я почти совсем не видал проезжих: так пуста эта дорога в нынешнее время.

О городах говорить много нечего, потому что я в них не останавливался. В Ямбурге, маленьком городке, известном по своим суконным фабрикам, есть изрядное каменное строение. Немецкая часть Нарвы, или, собственно, так называемая Нарва, состоит по большей части

из каменных домов; другая, отделяемая рекою, называется Иван-город. В первой всё на немецкую статью, а в другой всё на русскую. Тут была прежде наша граница – о, Петр, Петр!

Когда открылся мне Дерпт, я сказал: прекрасный городок! Там все праздновало и веселилось. Мужчины и женщины ходили по городу обнявшись, и в окрестных рощах мелькали гуляющие четы. *Что город, то норы; что деревня, то обычай.* – Здесь-то живет брат несчастного Л*.^[55] Он главный пастор, всеми любим и доход имеет очень хороший. Помнит ли он брата? Я говорил об нем с одним лифляндским дворянином, любезным, пылким человеком. «Ах, государь мой! – сказал он мне, – самое то, что одного прославляет и счастливит, делает другого злополучным. Кто, читая поэму шестнадцатилетнего Л*^[56] и все то, что он писал до двадцати пяти лет, не увидит *утренней зари великого духа?* Кто не подумает: вот юный Клопшток, юный Шекспир? Но тучи помрачили эту прекрасную зарю и солнце никогда не воссияло. *Глубокая* чувствительность, без которой Клопшток не был бы Клопштоком и Шекспир Шекспиром, погубила его. Другие обстоятельства, и Л* бессмертен!» —

Лишь только въедешь в Ригу, увидишь, что это торговый город, – много лавок, много народа – река покрыта кораблями и судами разных наций – биржа полна. Везде слышишь немецкий язык – где-где русский, – и везде требуют не рублей, а талеров. Город не очень красив; улицы узки – но много каменного строения, и есть хорошие дома.

В трактире, где я остановился, хозяин очень услужлив: сам носил паспорт мой в правление и в благочиние^[57] и сыскал мне извозчика, который за тринадцать червонцев нанялся довести меня до Кенигсберга, вместе с одним французским купцом, который нанял у него в свою коляску четырех лошадей; а я поеду в кибитке. – Илью отправлю^[58] отсюда прямо в Москву.

Милые друзья! Всегда, всегда о вас думаю, когда могу думать. Я еще не выехал из России, но давно уже в чужих краях, потому что давно с вами расстался.

Курляндская корчма, 1 июня 1789

Еще не успел я окончить письма к вам, любезнейшие друзья, как лошади были впряжены и трактирщик пришел сказать мне, что через полчаса запрут городские ворота. Надобно было дописать письмо, расплатиться, укласть чемодан и приказать кое-что Илье. Хозяин воспользовался моим недосугом и подал мне самый аптекарский счет;^[59] то

есть за одне сутки он взял с меня около девяти рублей!

Удивляюсь еще, как я в таких торопях ничего не забыл в трактире. Наконец все было готово и мы выехали из ворот. Тут простился я с добродушным Ильею – он к вам поехал, милые! – Начало смеркаться. Вечер был тих и прохладен. Я заснул крепким сном молодого путешественника и не чувствовал, как прошла ночь. Восходящее солнце разбудило меня лучами своими; мы приближались к заставе, маленькому домику с рогаткою. Парижский купец пошел со мною к майору, который принял меня учтиво и после осмотра велел нас пропустить. Мы въехали в Курляндию – и мысль, что я уже вне отечества,^[60] производила в душе моей удивительное действие. На все, что попадалось мне в глаза, смотрел я с отменным вниманием, хотя предметы сами по себе были весьма обыкновенны. Я чувствовал такую радость, какой со времени нашей разлуки, милые! еще не чувствовал. Скоро открылась Митава. Вид сего города некрасив, но для меня привлекателен! «Вот первый иностранный город», – думал я, и глаза мои искали чего-нибудь отменного, нового. На берегу реки Аа, через которую мы переехали на плоту, стоит дворец герцога курляндского, не малый дом, впрочем, по своей наружности весьма не великолепный. Стекла почти везде выбиты или вынуты; и видно, что внутри комнат переделывают. Герцог живет в летнем замке, недалеко от Митавы. Берег реки покрыт лесом, которым сам герцог исключительно торгует и который составляет для него немалый доход. Стоявшие на карауле солдаты казались инвалидами. Что принадлежит до города, то он велик, но нехорош. Дома почти все маленькие и довольно неопрятны; улицы узки и худо вымощены; садов и пустырей много.

Мы остановились в трактире, который считается лучшим в городе. Тотчас окружили нас жида с разными безделками. Один предлагал трубку, другой – старый лютеранский молитвенник и Готшедову «Грамматику»,^[61] третий – зрительное стекло, и каждый хотел продать товар свой таким добрым господам за самую сходную цену. Француженка, едущая с парижским купцом, женщина лет в сорок пять, стала оправлять свои седые волосы перед зеркалом, и мы с купцом, заказав обед, пошли ходить по городу – видели, как молодой офицер учил старых солдат, и слышали, как пожилая курносая немка в чепчике бранилась с пьяным мужем своим, сапожником!

Возвратясь, обедали мы с добрым аппетитом и после обеда имели время выпить кофе, чаю и поговорить довольно. Я узнал от спутника своего, что он родом италиянец, но в самых молодых годах оставил свое

отечество и торгует в Париже; много путешествовал и в Россию приезжал отчасти по своим делам, а отчасти для того, чтобы узнать всю жестокость зимы; и теперь возвращается опять в Париж, где намерен навсегда остаться. – За все вместе заплатили мы в трактире по рублю с человека.

Выехав из Митавы, увидел я приятнейшие места. Сия земля гораздо лучше Лифляндии, которую не жаль проехать зажмурясь. Нам попались немецкие извозчики из Либав и Пруссии. Странные экипажи! Длинные фуры цугом; лошади пребольшие, и висящие на них погремушки производят несносный для ушей шум.

Отъехав пять миль, остановились мы ночевать в корчме.

Двор хорошо покрыт; комнаты довольно чисты, и в каждой готова постель для путешественников.

Вечер приятен. В нескольких шагах от корчмы течет чистая река. Берег покрыт мягкой зеленою травою и осенен в иных местах густыми деревьями. Я отказался от ужина, вышел на берег и вспомнил один московский вечер, в который, гуляя с Пт.^[62] под Андроньевым монастырем, с отменным удовольствием смотрели мы на заходящее солнце. Думал ли я тогда, что ровно через год буду наслаждаться приятностями вечера в курляндской корчме? Еще другая мысль пришла мне в голову. Некогда начал было я писать роман^[63] и хотел в воображении объездить точно те земли, в которые теперь еду. В мысленном путешествии, выехав из России, остановился я ночевать в корчме: и в действительном то же случилось. Но в романе писал я, что вечер был самый ненастный, что дождь не оставил на мне сухой нитки и что в корчме надлежало мне сушиться перед камином; а на деле вечер выдался самый тихий и ясный. Сей первый ночлег был несчастлив для романа; боясь, чтобы ненастное время не продолжилось и не обеспокоило меня в моем путешествии, сжег я его в печи, в благословенном своем жилище на Чистых Прудах. – Я лег на траве под деревом, вынул из кармана записную книжку, чернилицу и перо и написал то, что вы теперь читали.

Между тем вышли на берег два немца, которые в особливой кибитке едут с нами до Кенигсберга; легли подле меня на траве, закурили трубки и от скуки начали бранить русский народ. Я, перестав писать, хладнокровно спросил у них, были ли они в России далее Риги? «Нет», – отвечали они. «А когда так, государи мои, – сказал я, – то вы не можете судить о русских, побывав только в пограничном городе». Они не рассудили за благо спорить, но долго не хотели признать меня русским, воображая, что мы не умеем говорить иностранными языками. Разговор продолжался. Один из них

сказал мне, что он имел счастье быть в Голландии и скопил там много полезных знаний. «Кто хочет узнать свет, – говорил он, – тому надобно ехать в Роттердам. Там-то живут славно, и все гуляют на шлюпках! Нигде не увидишь того, что там увидишь. Поверьте мне, государь мой, в Роттердаме я сделался человеком!» – «Хорош гусь!» – думал я – и пожелал им доброго вечера.

Поланга, 3/14 июня 1789

Наконец, проехав Курляндию более двухсот верст, въехали мы в польские границы и остановились ночевать в богатой корчме. В день переезда обыкновенно десять миль, или верст семьдесят. В корчмах находили мы по сие время, что пить и есть: суп, жареное с салатом, яйца; и за это платили не более как копеек по двадцати с человека. Есть везде кофе и чай; правда, что все не очень хорошо. – Дорога довольно пуста. Кроме извозчиков, которые нам раза три попадались, и старомодных берлинов, в которых дворяне курляндские ездят друг к другу в гости, не встречались никакие проезжие. Впрочем, дорога не скучна: везде видишь плодоносную землю, луга, рощи; там и сям маленькие деревеньки или врозь рассеянные крестьянские домики.

С французским италиянцем мы ладим. К французенке у меня не лежит сердце, для того что ее физиономия и ухватки мне не нравятся. Впрочем, можно ее похвалить за опрятность. Лишь только остановимся, извозчик наш Гаврила, которого она зовет Габриелем, должен нести за нею в горницу уборный ларчик ее, и по крайней мере час она помадится, пудрится, притирается, так что всегда надобно ее дожидаться к обеду. Долго советовались мы, сажать ли с собою за стол немцев. Мне поручено было узнать их состояние. Открылось, что они купцы. Все сомнения исчезли, и с того времени они с нами обедают; а как италиянец с французенкой не понимают по-немецки, а они – по-французски, то я должен служить им переводчиком. Немец, который в Роттердаме стал человеком, уверял меня, что он прежде совершенно знал французский язык и забыл его весьма недавно; а чтобы еще более уверить в этом меня и товарища своего, то при всяком поклоне французенке говорит он: «Оплише, матам! Obligé, Madame!»^[64]

На польской границе осмотр был не строгий. Я дал приставам копеек сорок: после чего они только заглянули в мой чемодан, веря, что у меня нет ничего нового.

Море от корчмы не далее двухсот сажен. Я около часа сидел на берегу и смотрел на пространство волнующихся вод. Вид величественный и

унылый! Напрасно глаза мои искали корабля или лодки! Рыбак не смел показаться на море; порывистый ветер опрокинул бы челн его. – Завтра будем обедать в Мемеле, откуда отправлю к вам это письмо, друзья мои!

Мемель, 15 июня 1789

Я ожидал, что при въезде в Пруссию на самой границе нас остановят; однако ж этого не случилось. Мы приехали в Мемель в одиннадцатом часу, остановились в трактире – и дали несколько грошей осмотрщикам, чтобы они не перерывали наших вещей.

Город невелик; есть каменные строения, но мало порядочных. Цитадель очень крепка; однако ж наши русские умели взять ее в 57 году.^[65]

Мемель можно назвать хорошим торговым городом. Курляндский гаф, на котором он лежит, очень глубок. Пристань наполнена разными судами, которые грузят по большей части пенькою и лесом для отправления в Англию и Голландию.

Из Мемеля в Кенигсберг три пути; по берегу гафа считается до Кенигсберга 18 миль, а через Тильзит – 30: большая розница! Но извозчики всегда почти избирают сей последний путь, жалея своих лошадей, которых весьма утомляют ужасные пески набережной дороги. Все они берут здесь билеты, платя за каждую лошадь и за каждую милю до Кенигсберга. Наш Габриель заплатил три талера, сказав, что он поедет берегом. Мы же в самом деле едем через Тильзит; но русский человек смекнул, что за 30 миль взяли бы с него более, нежели за 18! Третий путь водою через гаф самый кратчайший в хорошую погоду, так что в семь часов можно быть в Кенигсберге. Немцы наши, которые наняли извозчика только до Мемеля, едут водою, что им обоим будет стоить только два червонца. Габриель уговаривал и нас с италиянцем – с которым обыкновенно говорит он или знаками, или через меня – ехать с ними же, что было бы для него весьма выгодно, но мы предпочли покойное и верное беспокойному и неверному, а в случае бури и опасному.

За обедом ели мы живую, вкусную рыбу, которою Мемель изобилует; а как нам сказали, что прусские корчмы очень бедны, то мы запаслись здесь хорошим хлебом и вином.

Теперь, милые друзья, время отнести письмо на почту; у нас лошадей впрягают.

Что принадлежит до моего сердца... благодаря судьбе! оно стало повеселее. То думаю о вас, моих милых, – но не с такою уже горестию, как прежде, – то даю волю глазам своим бродить по лугам и полям, ничего не думая; то воображаю себе будущее, и почти всегда в приятных видах. –

Простите! Будьте здоровы, спокойны и воображайте себе странствующего друга вашего рыцарем веселого образа!^[66] —

Корчма в миле за Тильзитом, 17 июня 1789, 11 часов ночи

Все вокруг меня спит. Я и сам было лег на постелю; но, около часа напрасно ожидав сна, решился встать, засветить свечу и написать несколько строк к вам, друзья мои!

Я рад, что из Мемеля не согласился ехать водою. Места, через которые мы проезжали, очень приятны. То обширные поля с прекрасным хлебом, то зеленые луга, то маленькие рощицы и кусты, как будто бы в искусственной симметрии расположенные, представлялись глазам нашим. Маленькие деревеньки вдали составляли также приятный вид. «Qu'il est beau, se paus-ci»,^[67] – твердили мы с италиянцем.

Вообще, кажется, земля в Пруссии еще лучше обработана, нежели в Курляндии, и в хорошие годы во всей здешней стороне хлеб бывает очень дешев; но в прошедший год урожай был так худ, что правительству надлежало довольствоваться народ хлебом из заведенных магазинов. Пять, шесть лет хлеб родится хорошо; в седьмой год – худо, и поселянину есть нечего – оттого, что он всегда излишно надеется на будущее лето, не представляя себе ни засухи, ни града, и продает все сверх необходимого. – Тильзит есть весьма изрядно выстроенный городок и лежит среди самых плодоноснейших долин на реке Мемеле. Он производит знатный торг хлебом и лесом, отправляя все водою в Кенигсберг.

Нас остановили у городских ворот, где стояли на карауле не солдаты, а граждане, для того что полки, составляющие здешний гарнизон, не возвратились еще со смотру. Толстый часовой, у которого под брюхом моталась маленькая шпажонка, подняв на плечо изломанное и веревками связанное ружье, с гордым видом сделал три шага вперед и пристрашным голосом закричал мне: «Wer sind Sie? Кто вы?» Будучи занят рассматриванием его необыкновенной физиогномии и фигуры, не мог я тотчас отвечать ему. Он надулся, искривил глаза и закричал еще страшнейшим голосом: «Wer seid ihr?»^[68] – гораздо уже неучтивее!^[69] Несколько раз надлежало мне сказывать свою фамилию, и при всяком разе шатал он головою, дивясь чудному русскому имени. С италиянцем история была еще длиннее. Напрасно отзывался он незнанием немецкого языка: толстобрюхий часовой непременно хотел, чтоб он отвечал на все его вопросы, вероятно с великим трудом наизусть вытверженные. Наконец я был призван в помощь, и насилу добились мы до того, чтобы нас

пропустили. – В городе показывали мне башню, в разных местах простреленную русскими ядрами.

В прусских корчмах не находим мы ни мяса, ни хорошего хлеба. Француженка делает нам *des oeufs au lait*, или русскую яичницу, которая с молочным супом и салатом составляет наш обед и ужин. Зато мы с италианцем пьем в день чашек по десяти кофе, которое везде находили.

Лишь только расположились мы в корчме, где теперь ночуем, услышали лошадиный топот, и через полминуты вошел человек в темном фраке, в пребольшой шляпе и с длинным хлыстом; подошел к столу, взглянул на нас, – на француженку, занятую вечерним туалетом; на италианца, рассматривавшего мою дорожную ландкарту, и на меня, пившего чай, – скинул шляпу, пожелал нам доброго вечера и, оборотясь к хозяйке, которая лишь только показала лоб из другой горницы, сказал: «Здравствуй, Лиза! Как поживаешь?»

Лиза (сухая женщина лет в тридцать). А, господин поручик! Добро пожаловать! Откуда? Откуда?

Поручик. Из города, Лиза. Барон фон М* писал ко мне, что у них комедианты. «Приезжай, брат, приезжай! Шалуны повеселят нас за наши гроши!» Черт меня возьми!

Если бы я знал, что за твари эти комедианты, ни из чего бы не поехал.

Лиза. И, ваше благородие! Разве вы не жалуete комедии?

Поручик. О! Ялюблю все, что забавно, и переплатил в жизнь свою довольно полновесных талеров за доктора Фауста с Гансом Вурстом. ^{6}

Лиза. Ганс Вурст очень смешон, сказывают. – А что играли комедианты, господин поручик?

Поручик. Комедию, в которой не было ничего смешного. Иной кричал, другой кривлялся, третий таращил глаза, а путного ничего не вышло.

Лиза. Много было в комедии, господин поручик?

Поручик. Разве мало дураков в Тильзите?

Лиза. Господин бургомистр с сожительницею изволил ли быть там?

Поручик. Разве он из последних? Толстобрюхий дурак зевал, а чванная супруга его беспрестанно терла глаза платком, как будто бы попал в них табак, и толкала его под бок, чтобы он не заснул и перестал пялить рот.

Лиза. То-то насмешник!

Поручик (садясь и кладя свою шляпу на стол подле моего чайника). Um Vergebung, mein Herr! Простите, государь мой! – Я устал, Лиза. Дай мне кружку пива. Слышишь ли?

Лиза. Тотчас, господин поручик.

Поручик (вошедшему слуге своему). Каспар! Набей мне трубку.

(Оборотясь к французженке.) Осмелюсь спросить с моим почтением, жалуете ли вы табак?

Французженка. Monsieur! – Qu'est ce qu'il demande, Mr. Nicolas?^[70] (Так она меня называет.)

Я. S'il peut fumer.^[71] – Курите, курите, господин поручик. Я вам за нее отвечаю.

Французженка. Dites qu'oui.^[72]

Поручик. А! Мадам не говорит по-немецки. Жалею, весьма жалею, мадам. – Откуда едете, если смею спросить, государь мой?

Я. Из Петербурга, господин поручик.

Поручик. Радуюсь, радуюсь, государь мой. Что слышно о шведах, о турках?^[73]

Я. Старая песня, господин поручик; и те и другие бегают от русских.

Поручик. Черт меня возьми! Русские стоят крепко. – Скажу вам по приятни, государь мой, что если бы король мой не отговорил мне, то давно бы я был не последним штаб-офицером в русской службе. У меня везде не без друзей. Например, племянник мой служит старшим адъютантом у князя Потемкина. Он ко мне обо всем пишет. Пойдите – я покажу вам письмо его. Черт меня возьми! Я забыл его дома. Он описывает мне взятие Очакова. Пятнадцать тысяч легло на месте, государь мой, пятнадцать тысяч!

Я. Неправда, господин поручик.

Поручик. Неправда? (С насмешкою.) Вы, конечно, сами там были?

Я. Хотя и не был, однако ж знаю, что турков убито около 8000, а русских 1500.

Поручик. О! Я не люблю спорить, государь мой; а что знаю, то знаю. (Принимаясь за кружку, которую между тем принесла ему хозяйка.) Разумеете ли, государь мой?

Я. Как вам угодно, господин поручик.

Поручик. Ваше здоровье, государь мой! – Ваше здоровье, мадам! – (Итальянцу.) Ваше здоровье! – Пиво изрядно, Лиза. – Послушайте, государь мой! – Теперь вы называете меня господином поручиком: для чего?

Я. Для того, что хозяйка вас так называет.

Поручик. Скажите: оттого, что я (надев шляпу) поклонился моему королю – и безвременно пошел в отставку. А то теперь говорили бы вы мне (приподняв шляпу): «Господин майор, здравствуйте!» (Допивая кружку.) Разумеете ли? Черт меня возьми, если я не по уши влюбился в свою

Анюту! Правда, что она была как розовая пышка. И теперь еще не худа, государь мой, даром что уже четверых принесла мне. – Лиза! скажи, какова моя Анюта?

Лиза. И, господин поручик! Как будто вы сами этого не знаете! Чего говорить, что пригожа! – Скажу вам смех, господин поручик. Как вы на святой неделе вечером проехали в город, ночевал у меня молодой господин из Кенигсберга – правду сказать, барин добрый и заплатил мне честно за всякую безделку. Кушать он много не спрашивал.

Поручик. Нугде же смех, Лиза?

Лиза. Так этот добрый господин стоял на крыльце и увидел госпожу поручицу, которая сидела в коляске на правой стороне, – так ли, господин поручик.

Поручик. Ну что же он сказал?

Лиза. «То-то баба!» – сказал он. Ха! ха! ха!

Поручик. Видно, он неглуп был. Ха! ха! ха!

Я. Итак, любовь заставила вас идти в отставку, господин поручик?

Поручик. Проклятая любовь, государь мой. – Каспар, трубку! – Правда, я надеялся на хорошее приданое. Мне сказали, что у старика фон Т* золотые горы. «Девка добра, – думал я, – дай, женимся!» Старик рад был выдать за меня дочь свою: только она никак не хотела идти за служивого. «Мамзель Анюта! – сказал я. – Люблю тебя как душу; только люблю и службу королевскую». На миленьких ее глазенках навернулись слезы. Я топнул ногою и – пошел в отставку. Что же вышло! На другой день после свадьбы любезный мой тестюшка вместо золотых гор наградил меня тремя сотнями талеров. Вот тебе приданое! – Делать было нечего, государь мой. Я поговорил с ним крупно, а после за бутылкою старого рейнского вина заключил вечный мир. Правду сказать, старик был добросердечен – помяни бог его душу! Мы жили дружно. Он умер на руках моих и оставил нам в наследство дворянский дом.

Но перервем разговор, который занял уже с лишком две страницы и начинает утомлять серебряное перо мое.^[74] Словоохотный поручик до десяти часов наговорил с три короба, которых я, жалея Габриелевых лошадей, не возьму с собою. Между прочим, услышав, что я из Кенигсберга поеду в публичной коляске, советовал мне: 1) занять место в середине и 2) если будут со мной дамы, потчевать их всю дорогу чаем и кофе. В заключение желал, чтобы я путешествовал с пользою, так, как известный барон Тренк, с которым он будто бы очень дружен. – Господин поручик, всунув свою трубку в сапог, сел на коня и пустился во всю прыть, закричав мне: «Счастливого путь, государь мой!»

Чего не напишешь в минуты бессонницы! – Простите до Кенигсберга!

Кенигсберг, июня 19, 1789

Вчера в семь часов утра приехал я сюда, любезные друзья мои, и стал вместе с своим спутником в трактире у Шенка.

Кенигсберг, столица Пруссии, есть один из больших городов в Европе, будучи в окружности около пятнадцати верст. Некогда был он в числе славных ганзейских городов. И ныне коммерция его довольно важна. Река Прегель, на которой он лежит, хотя не шире 150 или 160 футов, однако ж так глубока, что большие купеческие суда могут ходить по ней. Домов считается около 4000, а жителей 40 000 – как мало по величине города! Но теперь он кажется многолюдным потому что множество людей собралось сюда на ярманку, которая начнется с завтрашнего дня. Я видел довольно хороших домов, но не видал таких огромных, как в Москве или в Петербурге, хотя вообще Кенигсберг выстроен едва ли не лучше Москвы.

Здесьний гарнизон так многочислен, что везде попадаются в глаза мундиры. Не скажу, чтобы прусские солдаты были одеты лучше наших; а особливо не нравятся мне их двуугольные шляпы. Что принадлежит до офицеров, то они очень опрятны, а жалованья получают, выключая капитанов, малым чем более наших. Я слышал, будто в прусской службе нет таких молодых офицеров, как у нас; однако ж видел здесь по крайней мере десять пятнадцатилетних. Мундиры синие, голубые и зеленые с красными, белыми и оранжевыми отворотами.

Вчера обедал я за общим столом, где было старых майоров, толстых капитанов, осанистых поручиков, безбородых подпоручиков и прапорщиков человек с тридцать. Содержанием громких разговоров был прошедший смотр. Офицерские шутки также со всех сторон сыпались. Например: «Что за причина, господин ритмейстер, что у вас ныне и днем окна закрыты? Конечно, вы не письмом занимаетесь? Ха! ха! ха!» – «То-то, фон Кребс! Все знает, что у меня делается!» – и проч. и проч. Однако ж они учтивы. Лишь только наша француженка показалась, все встали и за обедом служили ей с великим усердием. – Как бы то ни было, только в другой раз рассудил я за благо обедать один в своей комнате, растворив окна в сад, откуда лились в мой немецкий суп ароматические испарения сочной зелени.

Вчера же после обеда был я у славного Канта, глубокомысленного, тонкого метафизика, который опровергает и Малебранша и Лейбница, и Юма и Боннета, – Канта, которого иудейский Сократ, покойный

Мендельзон, иначе не называл, как *der alles zermalmende Kant*, то есть все сокрушающий Кант. Я не имел к нему писем, но смелость города берет, – и мне отворились двери в кабинет его. Меня встретил маленький, худенький старичок, отменно белый и нежный. Первые слова мои были: «Я русский дворянин, люблю великих мужей и желаю изъявить мое почтение Канту». Он тотчас попросил меня сесть, говоря: «Я писал такое, что не может нравиться всем; не многие любят метафизические тонкости». С полчаса говорили мы о разных вещах: о путешествиях, о Китае, об открытии новых земель. Надобно было удивляться его историческим и географическим знаниям, которые, казалось, могли бы одни загромоздить магазин человеческой памяти; но это у него, как немцы говорят, *дело постороннее*. [75] Потом я, не без скачка, обратил разговор на природу и нравственность человека; [7] и вот что мог удержать в памяти из его рассуждений:

«Деятельность есть наше определение. Человек не может быть никогда совершенно доволен обладаемым и стремится всегда к приобретениям. Смерть застает нас на пути к чему-нибудь, что мы еще иметь хотим. Дай человеку все, чего желает, но он в ту же минуту почувствует, что это все не есть все. Не видя цели или конца стремления нашего в здешней жизни, полагаем мы будущую, где узлу надобно развязаться. Сия мысль тем приятнее для человека, что здесь нет никакой соразмерности между радостями и горестями, между наслаждением и страданием. Я утешаюсь тем, что мне уже шестьдесят лет и что скоро придет конец жизни моей, ибо надеюсь вступить в другую, лучшую. Помышляя о тех услаждениях, которые имел я в жизни, не чувствую теперь удовольствия, но, представляя себе те случаи, где действовал сообразно с *законом нравственным*, начертанным у меня в сердце, радуюсь. Говорю о *нравственном законе*: назовем его совестью, чувством добра и зла – но они есть. Я солгал, никто не знает лжи моей, но мне стыдно. – Вероятность не есть очевидность, когда мы говорим о будущей жизни; но, сообразив все, рассудок велит нам верить ей. Да и что бы с нами было, когда бы мы, так сказать, *глазами увидели ее*? Если бы она нам очень полюбилась, мы бы не могли уже заниматься нынешнею жизнью и были в беспрестанном томлении; а в противном случае не имели бы утешения сказать себе в горестях здешней жизни: *авось там будет лучше!* – Но, говоря о нашем определении, о жизни будущей и проч., предполагаем уже бытие Всевечного Творческого разума, все для чего-нибудь, и все благо творящего. Что? Как?.. Но здесь первый мудрец признается в своем невежестве. Здесь разум погашает светильник свой, и мы во тьме остаемся; одна фантазия может носиться во

тьме сей и творить несобытное». – Почтенный муж! Прости, если в сих строках обезобразил я мысли твои!

Он знает Лафатера^[76] и переписывался с ним. «Лафатер весьма любезен по доброте своего сердца, – говорит он, – но, имея чрезмерно живое воображение, часто ослепляется мечтами, верит магнетизму ^{8} и проч.» – Коснулись до его неприятелей. «Вы их узнаете, – сказал он, – и увидите, что они все добрые люди».

Он записал мне титулы двух своих сочинений, которых я не читал: «Kritik der praktischen Vernunft» и «Metaphysik der Sitten»,^[77] – и сию записку буду хранить как священный памятник.

Вписав в свою карманную книжку мое имя, пожелал он, чтобы решились все мои сомнения; потом мы с ним расстались.

Вот вам, друзья мои, краткое описание весьма любопытной для меня беседы, которая продолжалась около трех часов. – Кант говорит скоро, весьма тихо и невразумительно; и потому надлежало мне слушать его с напряжением всех нерв слуха. Домик у него маленький, и внутри приборов немного. Все просто, кроме... его метафизики.

Здесьняя кафедральная церковь огромна. С великим примечанием рассматривал я там древнее оружие, латы и шишак благочестивейшего из маркграфов бранденбургских и храбрейшего из рыцарей своего времени. «Где вы, – думал я, – где вы, мрачные веки, веки варварства и героизма? Бледные тени ваши ужасают робкое просвещение наших дней. Одни сыны вдохновения дерзают вызывать их из бездны минувшего – подобно Улиссе, зовущему тени друзей из мрачных жилищ смерти, – чтобы в унылых песнях своих сохранять память чудесного изменения народов». – Я мечтал около часа, прислонясь к столбу. – На стене изображена маркграфова беременная супруга, которая, забывая свое состояние, бросается на колени и с сердечным усердием молит небо о сохранении жизни героя, идущего побеждать врагов. Жаль, что здесь искусство не соответствует трогательности предмета! – Там же видно множество разноцветных знамен, трофеев маркграфовых.

Француз, наемный лакей, провожавший меня, уверял, что оттуда есть подземный ход за город, в старую церковь, до которой будет около двух миль, и показывал мне маленькую дверь с лестницею, которая ведет под землю. Правда ли это или нет, не знаю: но знаю то, что в средние века на всякий случай прокапывали такие ходы, чтобы сохранять богатство и жизнь от руки сильного.

Вчера ввечеру простился я с своим товарищем, господином Ф*, которого приязни не забуду никогда. Не знаю, как ему, а мне грустно было с ним расставаться. Он с француженкой поехал в Берлин, где, может быть, еще увижу его.

Ныне был я у нашего консула, господина И*,^[78] который принял меня ласково. Он рассказывал мне много кое-чего, что я с удовольствием слушал; и хотя уже давно живет в немецком городе и весьма хорошо говорит по-немецки, однако же нимало не *обгерманился* и сохранил в целости русский характер. Он дал мне письмо к почтмейстеру, в котором просил его отвести мне лучшее место в почтовой коляске.

Вчера судьба познакомила меня с одним молодым французом, который называет себя искусным зубным лекарем. Узнав, что в трактир к Шенку приехали иностранцы, ему сказали – французы, – явился он к господину Ф* с ношею комплиментов. Я тут был – и так мы познакомились. «В Париже есть мне равные в искусстве, – сказал он, – для того не хотел я там остаться, поехал в Берлин, перелечил, перечистил немецкие зубы; но я имел дело с великими скрягами, и для того – уехал из Берлина. Теперь еду в Варшаву. Польские господа, слышно, умеют ценить достоинства и таланты: попробуем, полечим, почистим! А там отправлюсь в Москву – в ваше отечество, государь мой, где, конечно, найду умных людей более нежели где-нибудь». – Ныне, когда я только что управился с своим обедом, пришел он ко мне с бумагами и, сказав, что узнает людей с первого взгляду и что имеет уже ко мне полную доверенность, начал читать мне... трактат о зубной болезни.

Между тем как он читал, наемный лакей пришел сказать мне, что в другом трактире, обо двор, остановился русский курьер, капитан гвардии. «Allons le voir!»^[79] – сказал француз, спрятав в кармане свой трактат. Мы пошли вместе—и вместо капитана нашел я вахмистра конной гвардии, господина ***, молодого любезного человека, который едет в Копенгаген. Он еще в первый раз послан курьером и не знает по-немецки, чему прусские офицеры, окружившие нас на крыльце, весьма дивились. В самом деле, неудобно ездить по чужим землям, зная только один французский язык, которым не все говорят. – В то время как мы разговаривали, один из стоявших на крыльце получил письмо из Берлина, в котором пишут к нему, что близ сей столицы разбили почту, зарезали постиллиона и отняли несколько тысяч талеров: неприятная весть для тех, которые туда едут! – Я пожелал земляку своему счастливого пути.

В старинном замке, или во дворце, построенном на возвышении, осматривают путешественники цейхгауз и библиотеку, в которой вы найдете несколько фолиантов и кварталов, окованных серебром. Там же есть так называемая *Московская зала*, длиною во 166 шагов, а шириною в 30, которой свод сведен без столбов и где показывают старинный осьмиугольный стол, ценою в 40 000 талеров. Для чего сия зала называется *Московскою*, не мог узнать. Один сказал, будто для того, что тут некогда сидели русские пленники; но это не очень вероятно.

Здесь есть изрядные сады, где можно с удовольствием прогуливаться. В больших городах весьма нужны народные гульбища. Ремесленник, художник, ученый отдыхает на чистом воздухе по окончании своей работы, не имея нужды идти за город. К тому же испарения садов освежают и чистят воздух, который в больших городах всегда бывает наполнен гнилыми частицами.

Ярманка начинается. Все наряжаются в лучшее свое платье, и толпа за толпою встречается на улицах. Гостей принимают на крыльце, где подают чай и кофе.

Я уже отправил свой чемодан на почту. Едущие в публичной коляске могут иметь шестьдесят фунтов без платы; у меня менее шестидесяти.

Adieu!^[80] Земляк мой Габриель, который, говоря его словами, не нашел еще работы, пришел сказать мне, что почтовая коляска скоро будет готова.

Я вас люблю так же, друзья мои, как и прежде; но разлука не так уже для меня горестна. Начинаю наслаждаться путешествием. Иногда, думая о вас, вздохну; но легкий ветерок струит воду, не возмущая светлости ее. Таково сердце человеческое; в сию минуту благодарю судьбу за то, что оно таково. – Будьте только благополучны, друзья мои, и никогда обо мне не беспокойтесь! В Берлине надеюсь получить от вас письмо.

Мариенбург, 21 июня ночью

Прусская так называемая почтовая коляска совсем не похожа на коляску. Она есть не что иное, как длинная покрытая фура с двумя лавками, без ремней^[81] и без рессор. Я выбрал себе место на передней лавке. У меня было двое товарищей, капитан и подпоручик, которые сели назади на чемоданах. Я думал, что мое место выгоднее; но последствие доказало, что выбор их был лучше моего. Слуга капитанский и так называемый ширмейстер, или проводник, сели к нам же в коляску на другой лавке.

Печальные мысли, которыми голова моя наполнилась при готическом виде нашего экипажа, скоро рассеялись. В городе видел я везде приятную картину праздника – везде веселящихся людей; офицеры мои были весьма учтивы, и разговор, начавшийся между нами, довольно занимал меня. Мы говорили о турецкой и шведской войне, и капитан от доброго сердца хвалил храбрость наших солдат, которые, по его мнению, *едва ли хуже прусских*. Он рассказывал анекдоты последней войны, которые все относились к чести прусских воинов. Ему крайне хотелось, чтобы королю мир наскучил. «Пора снова драться, – говорил он, – солдаты наши пролежали бока; нам нужна экзерциция, экзерциция!» Миротлюбивое мое сердце оскорбилось. Я вооружился против войны всем своим красноречием, описывая ужасы ее: стон, вопль несчастных жертв, кровавою рекою на тот свет уносимых; опустошение земель, тоску отцов и матерей, жен и детей, друзей и сродников; сиротство муз, которые скрываются во мрак, подобно как в бурное время бедные малиновки и синички по кустам прячутся, и проч. Немилостивый мой капитан смеялся и кричал: «Нам нужна экзерциция, экзерциция!» Наконец я заметил, что взялся за работу Данаид; замолчал и обратил все свое внимание на приятные окрестности дороги. Постиллион наш не жалел лошадей; и таким образом неприметно доехали мы до перемены, где только что имели время отужинать на скорую руку.

Ночь была приятна. Я несколько раз засыпал, но ненадолго, и почувствовал выгоду, которую имели мои товарищи. Они могли лежать на чемоданах, а мне надлежало дремать сидя. На рассвете приехали мы на другую станцию. Чтобы сколько-нибудь ободриться после беспокойной ночи, выпили мы с капитаном чашек по пяти кофе – что в самом деле меня оживило.

Места пошли совсем не приятные, а дорога худая. Гейлигенбейль, маленький городок в семи милях от Кенигсберга, приводит на мысль времена язычества. Тут возвышался некогда величественный дуб, безмолвный свидетель рождения и смерти многих веков, – дуб, священный для древних обитателей сей земли. Под мрачною его тенью обожали они идола Курхо, приносили ему жертвы и славили его в диких своих гимнах. Вечное мерцание сего естественного храма и шум листьев наполняли сердце ужасом, в который жрецы язычества облакали богопочитание. Так друиды в густоте лесов скрывали свою религию; так глас греческих оракулов исходил из глубины мрака! – Немецкие рыцари в третьемнадцатом веке, покорив мечом Пруссию, разрушили олтари язычества и на их развалинах воздвигнули храм христианства. Гордый дуб, почтенный старец в царстве растений, претыкание бурь и вихрей, пал под

сокрушительною рукою победителей, уничтожавших все памятники идолопоклонства: жертва невинная! – Суеверное предание говорит, что долгое время не могли срубить дуба; что все топоры отскакивали от толстой коры его, как от жесткого алмаза; но что наконец сыскался один топор, который разрушил очарование, отделив дерево от корня; и что в память победительной секиры назвали сие место Heiligenbeil, то есть *секира святых*. Ныне эта *секира святых* славится каким-то отменным пивом и белым хлебом.

Браунсберг, где мы обедали и третий раз переменили лошадей, есть довольно многолюдный городок.

«Здесь жил и умер Коперник», – сказал мне капитан, когда мы проезжали через одно маленькое местечко. – «Итак, это Фрауенберг?» – «Точно».

Как же досадно было мне, что я не мог видеть тех комнат, в которых жил сей славный математик и астроном и где он, по своим наблюдениям и вычислениям, определил движение Земли вокруг ее оси и Солнца – Земли, которая, по мнению его предшественников, стояла неподвижно в центре планет и которую после Тихо де Браге хотел было опять остановить, но тщетно! – И таким образом Пифагоровы идеи, над которыми смеялись греки, верившие своим чувствам более, нежели философу, воскресли в системе Николая Коперника! – Сей астроном был счастливее Галилея: суеверие – хотя он жил еще под его скипетром – не заставило его клятвенно отрицаться от учения истины. Коперник умер спокойно в своем мирном жилище, но Тихо де Браге должен был оставить свой философский замок и отечество. Науки, подобно религии, имели своих страдальцев. —

Перед вечером приехали мы в Эльбинг, небольшой, но торговый город, и весьма изрядно выстроенный, где стоят два или три полка. Почте надлежало тут пробыть более часа. Мы пошли в трактир, где, кроме хозяина и гостей, все было довольно чисто. Выехав из Кенигсберга, еще не видал я порядочно одетого человека. Двое играли в бильярд: один – в зеленом кафтане, диком камзоле и в сальном парике, человек лет за сорок, а другой – молодой человек в пестром кургузом фраке; первый играл очень худо и сердился; а другой хотел над ним шутить, смеялся во все горло при каждом его промахе, поглядывал на нас и в зеркало и оправлял беспрестанно свой толстый запачканный галстук. Карикатура за карикатурою приходила в трактир, и всякая карикатура требовала пива и трубки. Мне было очень скучно. К тому же я чувствовал сильное волнение в крови от кофе и от тряского движения почтовой коляски.

Вышедши садиться, нашли мы у коляски молодого офицера и старую

женщину, которые рекомендовались в нашу благосклонность и объявили, что едут с нами. Таким образом, стало нам гораздо теснее. Офицеры мои рады были новому товарищу, с которым могли они говорить о прошедшем смотре. Женщина, родом из Шведской Померании, услышав, что я русский, подняла руки к небу и закричала: «Ах, злодеи! Вы губите нашего бедного короля!» Офицеры смеялись, и я смеялся, хотя не совсем от доброго сердца.

Между тем прекрасный вечер настроил душу мою к приятным впечатлениям. На обеих сторонах дороги расстилались богатые луга; воздух был свеж и чист; многочисленные стада блеянием и ревом своим праздновали захождение солнца. Крестьянки доили коров, вдыхая в себя целебный пар молока, которое составляет богатство всех тамошних деревень. Жители принадлежат, если не ошибаюсь, к секте перекрестителей,^[82] Wiedertäufer. Хвалят их нравы, миролюбие и честность. Рука их не подымается на ближнего. «Кровь человеческая, – говорят они, – вопиет на небо». – Тишина наступившей ночи сомкнула глаза мои.

Теперь мы в Мариенбурге, где я имел время написать к вам столько страниц. Сей город достоин примечания только тем, что древний его замок был некогда столицею великих мастеров Немецкого ордена. – От старой женщины, моей неприятельницы, мы здесь освободились; но место ее займет высокий офицер, который теперь сидит подле меня, дожидаясь отправления почты. – Рассветало. Простите! Из Данцига надеюсь еще что-нибудь приписать.

Данциг, 22 июня 1789

Проехав через предместье Данцига, остановились мы в прусском местечке Штоценберге, лежащем на высокой горе сего имени. Данциг у нас под ногами, как на блюдечке, так что можно считать кровли. Сей прекрасно выстроенный город, море, гавань, корабли в пристани и другие, рассеянные по волнующемуся, необозримому пространству вод, – все сие вместе образует такую картину, любезнейшие друзья мои, какой я еще не видывал в жизни своей и на которую смотрел два часа в безмолвии, в глубокой тишине, в сладостном забвении самого себя.

Но блеск сего города померк с некоторого времени. Торговля, любящая свободу, более и более сжимается и упадает от теснящей руки сильного. Подобно как монахи строжайшего ордена, встретясь друг с другом в унылой мрачности своих жилищ, вместо всякого приветствия умирающим голосом произносят: «Помни смерть!», так жители сего города в глубоком

унынии взывают друг ко другу: «Данциг! Данциг! Где твоя слава?» – Король прусский наложил чрезмерную пошлину на все товары, отправляемые отсюда в море, от которого Данциг лежит верстах в пяти или шести.

Шотландцы, которые присылают сюда сельди свои, пользовались в Данциге всеми правами гражданства, для того что некогда шотландец Доглас оказал городу важную услугу. Те из жителей, с которыми я говорил, не могли мне сказать, в чем именно состояла услуга Догласова. Такой знак благодарности делает честь сему городу.

Я не знал, что почта пробудет здесь так долго, а то бы успел осмотреть в Данциге некоторые примечания достойные вещи. Теперь уже поздно: хотят впрягать лошадей. Более всего хотелось бы мне видеть славную Эйхелеву картину^[83] в главной лютеранской церкви, представляющую Страшный суд. Король французский – не знаю который – давал за нее сто тысяч гульденов. – Хотелось бы мне видеть и профессора Тренделенбурга, чтобы поблагодарить его за греческую грамматику, им сочиненную, которую я пользовался и впредь надеюсь пользоваться.^[84] – Огромнейшее здание в городе есть ратуша. Вообще все дома в пять этажей. Отменная чистота стекол украшает вид их.

Данциг имеет собственные деньги, которые, однако ж, вне города не ходят; и в самом городе прусские предпочитают.

На западе от Данцига возвышаются три песчаные горы, которых верхи гораздо выше городских башен; одна из сих гор есть Штоценберг. В случае осады неприятельские батареи могут оттуда разрушить город. На горе Гагелсберге был некогда разбойничий замок; эхо ужаса его далеко отзывалось в окрестностях. Там показывают могилу русских, убитых в 1734 году, когда граф Миних штурмовал город. Осажденные знали, с которой стороны будет приступ, почему гарнизон и жители обратили туда все силы свои и дрались как отчаянные. Известно, что город держал сторону Станислава Лещинского против Августа III, за которого вступилась Россия. Наконец Данциг покорился.

Товарищи мои офицеры хотели осмотреть городские укрепления, но часовые не пустили их и грозили выстрелом. Они посмеялись над излишнею строгостью и возвратились назад. Солдаты по большей части старые и одеты неопрятно. Магистрат поручает комендантское место обыкновенно какому-нибудь иностранному генералу с большим жалованьем.

Первая станция от Данцига

В Данциге присоединились к нам офицер, молодой французский купец и магистер. Для них и для капитанского слуги ширмейстер взял там открытую фуру. Офицер сел к нам в коляску, где оставалось еще одно место, которое хотел занять магистер; но француз поднял крик, доказывая свое старшинство, и ширмейстер решил дело в его пользу, узнав, что он в самом деле записался на почте ранее. Магистер крайне упрашивал нас, чтобы мы как-нибудь потеснились и дали ему место в коляске, представляя ученым образом, что ему с ширмейстером и слугою будет скучно; но он *проповедовал глухим ушам*, как говорят немцы. Француз, по-дорожному очень хорошо одетый, в торжестве сел на лавке между двух офицеров, с насмешкою жалея, что бедного магистера вымочит дождь, который накрапывал. Новый наш товарищ, офицер, желая сидеть просторнее, взглядывал на него очень косо и начал его жать. Француз весьма учтиво объявил, что ему становится *тесновато*. «Тем хуже для вас», – отвечал ему офицер с сердцем; закурил трубку и начал пускать ему в нос и в рот дымные облака. Француз чихал, кашлял и наконец спросил, *что бы это значило?* – «То, чтобы вы убрались в фуру к магистеру». – «Государь мой!» – сказал француз с гордым видом. – «Государь мой! – отвечал офицер с досадою. – Вам говорят, чтобы вы убрались от нас». – Француз с важностью уверял, что имеет равное с ним право сидеть в коляске; но офицер, худой юрист, начал сыпать на него пепел с огнем, говоря, что Везувий за дымом выбрасывает пламя. Еще мало: он уткнул ему в бок эфес своей сабли. Бедный француз, видя, что терпением не отделаться, сквозь слезы просил офицера оставить его в покое до первой перемены, обещаясь пересесть там в фуру. Старые мои товарищи, насмеявшись досыта, сжалились над мучеником и уговорили своего собрата, чтобы он удовольствовался его обещанием. И я смеялся, однако ж искренно жалел о французе, хотя он тотчас забыл все и стал весел.

Теперь переменяют лошадей и готовят нам легкий ужин.

Выехав из Данцига, смотрел я на море, которое синелось на правой стороне. Более не попадалось в глаза ничего занимательного, кроме пространного данцигского гульбища, где было очень мало людей, для того что небо покрывалось со всех сторон тучами. В середине идет большая дорога, а по сторонам в аллеях прогуливаются.

Офицеры сговорились было атаковать магистера; но он довольно искусно отразил первые приступы, так что они наконец оставили его. Он едет в Италию рассматривать древности. Многие восточные языки, по его словам, ему известны. Он показывал мне письмо графа ***, который

прислал ему экземпляр Аль-Корана,^[85] напечатанного в Петербурге. Мы друг с другом гораздо согласнее, нежели с офицерами.^[86]

Штолпе, 24 июня

Путешественники говорят всегда с великим неудовольствием о грубости прусских постиллионов. Нынешний король издал указ, по которому все почтмейстеры обязаны иметь более уважения к проезжим и не держать никого более часа на переменах, а постиллионам запрещаются все самовольные остановки на дороге. Нахальство сих последних было несносно. У всякой корчмы они останавливались пить пиво, и несчастные путешественники должны были терпеть или выманивать их деньгами. Указ имел хорошие следствия, однако ж не во всей точности исполняется. Например, не доезжая за милю до Штолпе, мы принуждены были с час дожидаться постиллионов, которые спокойно пили и ели в корчме, несмотря на позывы с нашей стороны. Приехав в город, все мои товарищи грудью приступили к почтмейстеру и требовали, чтобы он наказал их. – «Выговором?» – спросил почтмейстер. – «Палкою», – отвечали офицеры. – «Я не имею права бить их». – «Вздор! вздор! – сказал капитан. – Или я сам со всеми управлюсь!» – Тут он страшным образом стукнул в пол своею тростью. «Насилие! насилие! – закричал почтмейстер. – Хотят драться, бить меня!» – Капитан вдруг переменял тон и сказал тихо: «Я не хочу драться, а в Берлине поговорю о вас с министром». Сказал и вышел вон, а за ним и все. Постиллионы, как будто бы ничего не зная, пришли к нам просить на вино. Их выгнали – дверь затворилась и опять потихоньку стала отворяться – все туда оборотили глаза и увидели почтмейстерову голову. «Что вам угодно?» – спросил капитан суровым голосом. Тут почтмейстер всунул к нам в горницу все свое туловище, начал шаркать и кланяться капитану, и называть его господином капитаном, и уверять его, что он имеет к нему почтение, и знает майора его полка, и знает его фамилию, и знает, что он прав, и отдает ему в полную власть тех постиллионов, которые повезут нас из Штолпе, и проч., и проч. – Капитан смягчился, улыбнулся и отвечал на все: «Хорошо, хорошо, господин почтмейстер!» – Мы с магистером также улыбались, а офицеры говорили тихонько: «Дурак! Трус!» —

Теперь не могу вам сказать ничего примечания достойного, кроме того, что в местечке Лупове, где мы обедали, есть прекрасные форели и прекрасный бишоф. Итак, если вы, друзья мои, будете когда в Лупове, то вспомните, что друг ваш там обедал, – вспомните и велите подать себе

форелей и бишофу.

Здесь остается тот офицер, который мучил француза; итак, сей последний сядет с нами. – Adieu!

Штаргард, 26 июня

О Штаргарде, куда мы приехали ужинать, могу вам сказать единственно то, что он есть изрядный город и что здешняя церковь Марии считается высочайшею в Германии.

Мы проехали через Кеслин и Керлин, два маленькие городка. В первом бросается в глаза большое четверугольное место^[87] со статуею Фридриха Вильгельма. «Ты достоин сей почести!» – думал я, читая надпись. Не знаю, кого справедливее можно назвать великим, отца или сына, хотя последнего все без разбора величают. Здесь должно смотреть только на дела их, полезные для государства, – не на ученость, не на острые слова, не на авторство. Кто привлек в свое государство множество чужестранцев? Кто обогатил его мануфактурами, фабриками, искусствами? Кто населил Пруссию? Кто всегда отходил от войны? Кто отказывался от всех излишностей, для того чтобы его подданные не терпели недостатка в нужном? Фридрих Вильгельм! – Но Кеслин будет для меня памятен не только по его монументу: там миловидная трактирщица угостила нас хорошим обедом! Неблагодарен путешественник, забывающий такие обеды, таких добрых, ласковых трактирщиц! По крайней мере я не забуду тебя, миловидная немка! Вспомнив статую Фридриха Вильгельма, вспомню и любезное твое угощение, приятные взоры, приятные слова твои!..

«Что, будет ли у нас война, господа офицеры?» – спросил у моих товарищей старик, трактирщик в Керлине. «Не думаю», – отвечал капитан. «Дай бог, чтобы и не было! – сказал трактирщик. – Я боюсь не австрийских гусаров, а русских казаков. О! Что это за люди!» – «А почему ты их знаешь?» – спросил капитан. «Почему? Разве они не были в Керлине? Ничто не уйдет от их пики. К тому же у них такие страшные лица, что меня по коже подирает, когда вообразу их!» – «Да вот русский казак!» – сказал капитан, указав на меня. «Русский казак!» – закричал трактирщик и ударился затылком в стену. Мы все смеялись, а трактирщик заохал. «За эту шутку вы заплатите мне дороже, господа!» – сказал он, взяв кофейник из рук служанки.

Я видел один из древних разбойничьих замков. Он лежит на возвышении и обведен со всех сторон широкими рвами, которые прежде были наполнены водою. Тут в высоком тереме сидели мать и дочь за пальцами и поглядывали в окно, когда муж и отец, как голодный лев,

рыскал по лесам и полям, ища добычи. «Едет! Едет!» – кричали они, и мосты гремели и опускались – гремели и опять подымались – и грабитель был безопасен в объятиях своей жены и дочери. Тут раскладывались похищенные богатства, и женщины от радости ахали. Тут несчастные путешественники, которые в тот день попались в руки злодею, заключались в подземную темницу, в двадцать семь сажен глубиною, где густой воздух спирался и тяготил дыхание и где гром цепей был им первым приветствием. Иногда бедный отец прибегал к сим широким рвам и, смотря на сии острые башни, восклицал: «Отдайте мне сына и возьмите все, что имею! Несчастливая мать день и ночь крушится; печальная невеста всякий час слезами обливается. Отдайте матери сына и невесте жениха!»

«Стой, воображение!» – сказал я сам себе и – заплатил два гроша сухой старухе и уродливому мальчику, которые показывали мне замок. Он издавна стоит пустой и начинает уже разваливаться.

Теперь накрывают нам стол. Ужин будет прощальный. Все мои товарищи, кроме капитана, едут отсюда в Штетин, куда мне не дорога. Вероятно, что нам уже никогда не видать друг друга. Правда, что эта мысль для меня не очень горестна. Я не поблагодарил бы судьбы, если бы она велела мне всегда жить с такими людьми. С ними можно говорить только о смотрах, маршах и тому подобном. Самый язык их странен. Не зная по-французски, употребляют они в разговоре множество французских слов, произнося их по-своему. Например: «Da ist eine Precipice – ich habe eine Ture gemacht – ich schanschire es»,^[88] и проч.

К нам пристал еще молодой человек, почтмейстерской сын, который едет учиться в университет. Слыша, что офицеры в шутку называли меня доктором, вздумал он показать мне свою ученость и спросил, как, *по моему мнению*, можно перевести на немецкий латинское слово ratio? Потом начал говорить о *духе языков* и проч. Надобно знать, что магистер уже от нас отстал; а то бы он не дал ему много говорить. Офицеры не полюбили сего ученого почтмейстерского сына и старались его дурачить. Приехав сюда, вынул он из кармана превеликие шпоры и положил на стол. Офицеры, находя странным, что человек, едущий учиться в университет, вместо книг везет в кармане такую вещь, стали смеяться. Француз подскочил с лорнетом и начал рассматривать шпоры с великим вниманием. Смех умножился. «Что вы находите в них?» – спросил капитан. – «Знакомые черты, – сважностью отвечал француз, – кажется, как будто бы я видал их прежде; однако ж нет – я видел только их изображение на эстампах в Дон-Кихоте!» Тут офицеры во все горло захохотали, а студент осердился. Насмеявшись досыта, капитан сказал мне: «Если когда-нибудь издадите вы

журнал своего путешествия, то прошу вас не забыть шпор». – «Не забудьте шпор!» – закричали все офицеры. «Ваше желание исполню», – отвечал я.

Надобно сказать нечто о прусских допросах. Во всяком городке и местечке останавливают проезжих при въезде и выезде и спрашивают, кто, откуда и куда едет? Иные в шутку сказываются смешными и разными именами, то есть при въезде одним, а при выезде другим, из чего выходят чудные донесения начальникам. Иной называется Люцифером, другой Мамоном; третий в город въедет Авраамом, а выедет Исааком. Я не хотел шутить, и для того офицеры просили меня в таких случаях притворяться спящим, чтобы им за меня отвечать. Иногда был я какой-нибудь Баракоменеврус и ехал от горы Араратской; иногда Аристид, выгнанный из Афин; иногда Альцибиад, едущий в Персию; иногда доктор Панглос, и проч., и проч.

Кушанье поставили. Простите!

Берлин, 30 июня 1789

Вчера приехал я в Берлин, друзья мои; а ныне, к великому своему удовольствию, получил от вас письмо, которого ждал с таким нетерпением. Известие, что вы остались здоровы, меня утешило, успокоило. Но на что вы иногда грустите? Этого не было в уговоре. А если вы и впредь будете так немилостивы к себе и к другу своему, который за несколько тысяч верст берет участие даже в минутной вашей неприятности, то он, в отмщение вам, сам будет грустить с утра до вечера.

Последнее письмо отправил я к вам из Штаргарда. Мы выехали оттуда в полночь. Кроме капитана, было у меня двое новых товарищей: офицер, едущий в Империю^[89] для набора рекрут, и купец штаргардский. Я сел в коляске назади, на своем чемодане; мог протянуть ноги, мог прилечь на подушку; спина моя распрямилась, и движение крови стало ровнее; тряская коляска казалась мне усыпительной колыбелью – и я, почитая себя блаженнейшим человеком в свете, заснул крепким сном и спал до первой перемены, где разбудили меня пить кофе.

Не доезжая за десять миль до Берлина, капитан нас оставил. Мы прощались друг с другом как приятели, и я дал ему слово сыскать его в Кенигсберге, когда поеду обратно через сей город. «Ведь нам еще надобно хоть один раз в жизни видеться, – сказал он, пожимая руку мою, – заезжайте ко мне и расскажите, что увидите в свете». – «Хорошо, хорошо, господин капитан! Будьте между тем здоровы!»—Итакмы расстались.

В последнюю ночь нашего путешествия, приближаясь к Берлину,

начинал я думать, что там делать буду и кого увижу. Ночью всякие мечты воображения бывают живее, итак ясно представил себе любезного А*, ^[9] идущего ко мне навстречу с трубкой и кричащего: «Кого вижу? Брат Рамзей^[90] в Берлине?», что руки мои протянулись обнять его; но вместо моего дражайшего приятеля, который в сию минуту был от меня так далеко, чуть не обнял я мокрой женщины, сидевшей с нами в коляске. «Но как зашла к вам мокрая женщина?» Вот как. Солнце село, пошел дождь, и вечер превратился в глубокую ночь. Вдруг коляска наша остановилась; ширмейстер, сидевший с нами, выглянул и начал с кем-то бормотать; потом, оборотившись к нам, сказал: «Господа! Позвольте ли сесть в коляску одной честной женщине и доехать с нами до первого местечка, куда она идет с своим мужем? Дождь промочил ее насквозь, и она боится занемочь». – «А хороша ли она?» – спросил офицер, едущий в Империю. «Теперь темно», – отвечал ширмейстер. – «Пускай ее садится», – сказал офицер. Я то же сказал, и купец то же. Женщина влезла к нам в коляску и была подлинно очень мокра, так что мы пятились от нее как можно далее, боясь воды, которая текла с нее ручьями. Офицер вступил с нею в разговор и узнал от нее, что она жена портного мастера, очень любит своего мужа и с ним никогда не расстается; что они ужинали в гостях у своего дяди, зажиточного купца, который торгует заморскими товарами, и пошли домой пешком для того, чтобы наслаждаться приятностями вечера, никак не ожидав дождя; что она взяла у дяди книжку «Жизнь барона Тренка», в которой описываются самые чудные приключения и всё справедливые; что дочь дяди их, которой минуло уже девятнадцать лет, однажды не спала целую ночь, читая эту книгу, а на другую ночь во сне увидела Тренка в цепях и так закричала, что отец пришел к ней со свечою посмотреть, что с нею сделалось, – и проч., и проч. Вот все дело!

«Но если я не найду его в Берлине!» – пришло мне вдруг на мысль – и в самую ту минуту встретилась нам коляска. Насилу мог я удержаться, чтобы не закричать: «Стой!» – «Это, верно, он, – думал я, – это, верно, он! Прости! Приезжай благополучно в наше отечество, к своим друзьям! Ты увидишь моих любезных; увидишь и не скажешь им ничего обо мне!» – Между тем мы приехали на станцию. Я тотчас пошел к почтмейстеру спросить, кто проехал в коляске. «Русский – купец из Риги», – отвечал он. Тут я готов был вспрыгнуть от радости, что это был не наш А*.

В некотором расстоянии от Берлина начинается прекрасная аллея из каштановых деревьев, и дорога становится лучше и веселее. О виде Берлина нельзя было мне судить потому, что беспрестанный дождь мешал

видеть далеко вперед. У ворот мы остановились. Сержант вышел из караульни нас допрашивать: «Кто вы? Откуда едете? Зачем приехали в Берлин? Где будете жить? Долго ли здесь пробудете? Куда поедете из Берлина?» Судите о любопытстве здешнего правительства! – Наконец мы въехали в улицу прекрасного Берлина, где я надеялся отдохнуть в объятиях сердечной приязни, рассказывать русскому о России и другу о друзьях, говорить о наших веселых московских вечерах и философских спорах!.. Но судьба смеялась надо мною!

Коляска наша остановилась у почтового дома. Там прежде всего спросил я у секретаря, где живет А*? И что же? С хладнокровием, совсем противным моему нетерпению, отвечал он: «Его уже здесь нет!» – «Его здесь нет?» – «Нет, сударь», – повторил он и начал перебирать письма. – «Где же он?» – «Во Франкфурте-на-Майне. Подите к своему священнику; там лучше все узнаете». Я бросился на стул и готов был заплакать. Секретарь взглянул на меня с улыбкою. «Вы думали его здесь найти?» – спросил он. «Думал, государь мой, думал!»—Иссими словами я хотел идти вон. «Постойте, – сказал секретарь, – надобно осмотреть ваш чемодан». То есть надобно было взять с меня несколько грошей. – Вообразите друга вашего, идущего в самых горестных размышлениях по берлинским улицам вслед за инвалидом, который нес чемодан мой! Ни огромные дома, ни многолюдство, ни стук карет не могли вывести меня из меланхолической задумчивости. Я сам себе казался жалким сиротою, бедным, несчастным, и единственно оттого, что А* не хотел меня дожидаться в Берлине! ^[10]

«Жаль, жаль, государь мой, – сказал мне г. Блум, трактирщик *английского короля в Братской улице*, – жаль, что у меня нет теперь для вас места. В доме моем заняты все комнаты. Вы, думаю, знаете, что к нашему королю пожаловала гостья, его сестрица.^[91] В Берлине будут праздники, и многие господа приехали сюда на это время. Поверите ли, что я ныне отказал уже десяти человекам?» – «Итак, господин Блум...» – «Вы из России приехали?» – «Из России. Итак...» – «У вас все войною занимаются?» – «Да, господин Блум, у нас война. Итак, мне остается...» – «Послушайте; теперь только опросталась у меня одна комната, и вы можете занять ее. Что же у вас с турками делается?» – «Прикажите мне указать комнату; а после, если угодно...» – «Очень хорошо! Очень хорошо! Пойдемте, пойдемте!» Он привел меня в маленькую горенку с одним окном. «Не правда ли, что она очень хороша и очень уютна?» – «Я доволен, господин Блум». Тут пришел ко мне фельдшер, парикмахер. Господин Блум от меня не выходил, беспрестанно говорил, и наконец мне же вздумал

рассказывать, что у нас в России делается. «Послушайте, господин Блум, – сказал я, – это все писано к вам от первого числа апреля по старому или по новому стилю». – «Как, государь мой?» – «Как вам угодно», – отвечал я, – взял трость и пошел со двора.

Человек рожден к общежитию и дружбе – сию истину живо чувствовало мое сердце, когда я шел к Д*, желая найти в нем хотя часть любезных свойств нашего А*, желая полюбить его и говорить с ним со всею дружескою искренностью, свойственною моему сердцу! – Благодарю судьбу! Я нашел, чего желал – нашел в Д* любезного, добродушного, искреннего человека. Он любит свое отечество, и я люблю его; он любит А*, и я люблю его; он сроден к откровенности, иятоже: итак, долго ли было нам познакомиться? Мы проговорили с ним до вечера, и он захотел еще проводить меня.

Лишь только вышли мы на улицу, я должен был зажать себе нос от дурного запаха: здешние каналы наполнены всякою нечистотою. Для чего бы их не чистить? Неужели нет у берлинцев обоняния? – Д* повел меня через славную *Липовую улицу*, которая в самом деле прекрасна. В середине посажены аллеи для пешех, а по сторонам мостовая. Чище ли здесь живут, или испарения лип истребляют нечистоту в воздухе, – только в сей улице не чувствовал я никакого неприятного запаха. Дома не так высоки, как некоторые в Петербурге, но очень красивы. В аллеях, которые простираются в длину шагов на тысячу или более, прогуливалось много людей.

Лишь только я в своей комнате расположился пить чай, пожаловал ко мне г. Блум с бумажкою в руках. «Вам надобно на это отвечать», – сказал он. Я увидел на бумаге те вопросы, которые делали мне при въезде в город, с прибавлением одного: «В какие ворота вы въехали?» Они напечатаны, и мне надлежало под каждым писать ответ. «Боже мой! Какая осторожность! Разве Берлин в осаде?» – Господин Блум объявил мне с важным видом, что завтра берлинская публика узнает через газеты о моем приезде!

Ныне поутру ходил я с Д* осматривать город. Его по справедливости можно назвать прекрасным; улицы и дома очень хороши. К украшению города служат также большие площади: *Вильгельмова*, *Жандармская*, *Денгофская* и проч. На первой стоят четыре большие мраморные статуи славных прусских генералов: Шверина, Кейта, Винтерфельда и Зейдлица. Шверин держит в руке знамя, с которым он в жарком сражении под Прагою бросился на неприятеля, закричав своему полку: «Дети! за мной!» Тут умер он смертью героя, и король сожалел о сем искусном и храбром генерале более, нежели о потере двадцати тысяч воинов. – Фридрих, приняв Кейта в

свою службу, сказал: «Я много выиграл». Фридрих знал людей, и Кейт оказал ему важные услуги. – Говорят, что граф Петр Александрович Румянцев похож на Винтерфельда. Я не имел счастья видеть нашего Задунайского героя и потому не мог искать сего сходства в хладном мраморе, изображающем Винтерфельда. – Зейдлиц был любимец королевский, пылкий, отважный воин. Отдавая справедливость его достоинствам, осуждают в нем некоторые слабости и говорят, что они были причиною безвременной смерти его. Он умер не на поле чести, а на одре мучительной болезни. Король тужил о нем, как о своем любимце. – Таким образом, Фридрих хотел во мраморе предать векам память своих полководцев. Юный воин, смотря на их изображения, чувствует желание подражать героям и жить в памяти потомства. Я сам люблю рассматривать памятники славных людей и представлять себе дела их. – На так называемом *Длинном мосту* через реку Шпре стоит из меди вылитый монумент Фридриха Вильгельма Великого. Когда русские войска пришли сюда, то некоторые из солдат в забаву рубили его тесаками. Мне показывали сии знаки, которые возбуждают в берлинцах неприятное воспоминание.

Мы прошли в Королевскую библиотеку. Она огромна – и вот все, что могу сказать о ней! Более всего занимало меня богатое анатомическое сочинение с изображениями всех частей человеческого тела. Покойный король заплатил за него семьсот талеров. Есть довольно восточных рукописей, на которые я только взглянул. Показывали мне еще Лютеров немецкий манускрипт, но я почти совсем не мог разобрать его, не читав никогда рукописей того века. – Книги давать на дом запрещено, однако ж известный человек, задоблив деньгами помощника библиотекарского, может иметь некоторые. Таким образом Д* взял для меня Николаево описание Берлина,^[92] которое хотелось мне просмотреть. Библиотекою управляет ныне г. доктор Бистер, который и живет в сем большом доме.

За столом у господина Блума сидело человек тридцать: офицеров, купцов и важных саксонских баронов, приехавших в Берлин на праздники. Теперь все готовится ко встрече штатгальтерши, которая послезавтра будет сюда из Потсдама вместе с королем. Об этом только и говорят; да о разбойниках, которые близ Ораниенбурга^[93] разбили почту. – Вечеру Д* водил меня в зверинец.^[94] Он простирается от Берлина до Шарлотенбурга и состоит из разных аллей: одни идут во всю длину его, другие поперек, иные вкось и перепутываются: славное гульбище! Долго искал я того места, о котором некогда наш А* писал ко мне следующее: «Я нашел в

зверинце длинную аллею, состоящую из древних сосн; мрачность и непременяющаяся зелень деревьев производят в душе некоторое священное благоговение. Не забуду я одного утра, когда, гуляя в зверинце один и предавшись стремлению своего воображения, которое, как известно тебе, склонно к пасмурным представлениям, вступил я нечаянно в сию аллею. До того места освещало меня лучезарное солнце, но вдруг исчез весь свет. Я поднял глаза и увидел перед собою сей путь мрачности. Только вдали при выходе виден был свет. Я остановился и долго глядел. Наконец одна мысль пробудила меня... „Не есть ли, – думал я, – не есть ли тьма сия изображение твоего состояния, когда ты, разлучившись с телом, вступишь в неизвестный тебе путь?“ Мысль сия так во мне усилилась, что я уже представил себя облегченного от земного бремени, идущего к оному вдали светящемуся свету, и... с того времени всякий раз, когда бываю в зверинце, захожу туда и часто поминаю тебя». Любезный меланхолик!

Я сам думал о тебе, вступая в сию аллею, и стоял, может быть, точно на том месте, где ты обо мне думал. Может быть, ты опять здесь стоять будешь, но я буду далеко, далеко от тебя! —

В зверинце много кофейных домов. Мы заходили в один из них, чтобы утолить жажду белым пивом, которое мне очень не понравилось. – Сад принца Фердинанда, в который мы прошли из зверинца, отворен для всех порядочно одетых людей. Я не взял бы тысячи таких садов за зверинец. Тут прогуливался сам принц и с угрюмым видом отплатил нам поклон. – Бьет час.

Июля 1

Ныне поутру, побывав у господина М*, к которому было у меня письмо от князя Д*, я виделся с известным Николаем, автором и книгопродавцем, живущим в той же улице, где я живу, то есть в Brüderstrasse. Он встретил меня с такою ловкостью, с такою учтивостью, какой бы нельзя было ожидать от немецкого ученого и книгопродавца. «Вас знают и в России, – сказал я ему, – знают, что немецкая литература обязана вам частью своих успехов. Приехав в Берлин, спешил я видеть друга Лессингова и Мендельсонова». – «Благодарю вас», – отвечал он с улыбкою и посадил меня на софе. С путешественником всего ближе говорить о путешествиях: итак, услышав, что я еду в Швейцарию, начал он говорить со мною о тех удовольствиях, которые можно иметь в этой примечания достойной земле, где он сам был за несколько лет перед сим. Но скоро обратил я разговор на берлинский иезуитизм. Надобно знать, что с некоторого времени начали писать в Германии – или, лучше сказать, в

Берлине, и Николаи первый подал к тому мысль, – будто есть тайные иезуиты,^[95] которые всеми силами стараются снова овладеть Европою; будто Калиостро и подобные суть их миссионеры, которые, обольщая легковверных людей пышными обещаниями, порабощают их власти тайных иезуитских начальников и проч., и проч. С сего времени стали везде искать скрытых иезуитов: между учеными и неучеными, между пасторами и солдатами. В сочинениях некоторых писателей нашли что-то иезуитское. Началась ужасная война, и «Берлинский журнал»,^[96] издаваемый Бистером и Гедике, избран был в театр сей войны. С иезуитизмом слили в одно католицизм; доказывали, что *тот* и *тот* из известных протестантских ученых тайно приняли католическую религию; что они опасные люди, и проч. Те, которых наименовали, рассердились и начали браниться или отбраниваться, доказывая, что берлинцы бредят. Все это еще и ныне продолжается. Вот что сказал мне Николаи:

«Известно, что иезуиты имели везде связи; что у них были свои банки, свои банкиры. Общество их хотя и называло папу своим покровителем, но цель его была тайная и сокрывалась во внутренности ордена. Папа, лишив орден своего покровительства, мог ли уничтожить существо его? Мог ли заставить внутренних начальников, или хранителей тайны, отказаться от их цели? Неужели закрылись все тайные каналы, через которые они действовали? Неужели исчезли все банки их? – Я предложил свои чаяния и хотел только возбудить внимание к сему предмету. Гипотеза моя, казалось, могла изъяснить некоторые явления наших времен. – Что принадлежит до католицизма, то всякий протестант имеет причину не желать его распространения. Мы, слава богу, можем обо всем рассуждать, можем пользоваться своим разумом; но дух католицизма не терпит никакой свободы в умствованиях и налагает цепи на разум. Если вы читаете книги, выходящие в Германии, то, конечно, заметили великую розницу между теми, которые печатаются в протестантских и католических землях: где более просвещения?» – «Все это очень хорошо, – сказал я, – но зачем с такою жестокостию писать против некоторых почтеннейших мужей Германии, для того единственно, что они сомневаются в существовании тайных иезуитов и в том, чтобы католики могли ныне быть опасны протестантам? Признаться вам, я не мог без досады читать колкого ответа доктора Бистера господину Гарве, одному из первых ваших философов, который с такой скромностию предложил свои сомнения». – «Однако ж Гарве, – отвечал Николаи, – переменял свои мысли; мы с ним нарочно для этого виделись. Не надобно думать, чтобы католики совсем перестали ныне

стараться обращать протестантов в свое исповедание. Известно учение их церкви, что вне ее нет спасения; и так они, по некоторому человеколюбию, хотят распространить ее область. Одним словом, осторожность была нужна. – Впрочем, всякий отвечает за себя. Если некоторые зашли слишком далеко, я не виноват. Только во многом нас *хотят* криво толковать, к чему Штарк^[97] и подобные имеют свои причины. Правда, что дело, делаемое с добрым намерением, может иметь некоторые худые следствия; но если оно имеет несравненно более добрых, то нельзя не назвать его хорошим делом». – Завтра едет Николаи к водам. «Путешествие есть для меня лекарство», – сказал он. Я записал ему на карточке свое имя и пожелал счастливого пути. Потом он так же учтиво проводил меня, как встретил. – Жаль, что он едет. Я хотел бы еще поговорить с ним о некоторых вещах в досужные для него часы. Признаться, сердце мое не может одобрить тона, в котором господа берлинцы пишут. Где искать терпимости, если самые философы, самые просветители – а они так себя называют – оказывают столько ненависти к тем, которые думают не так, как они? Тот есть для меня истинный философ, кто со всеми может ужиться в мире; кто любит и несогласных с его образом мыслей. Должно показывать заблуждения разума человеческого с благородным жаром, но без злобы. Скажи человеку, что он ошибается и почему; но не поноси сердца его и не называй его безумцем. Люди, люди! Под каким предлогом вы себя не мучите! – Лафатер есть один из тех, которых берлинцы бранят при всяком случае; и если он у них не совершенный иезуит, то по крайней мере великий мечтатель. Я к Лафатеру не пристрастен и обо многом думаю совсем не так, как он думает; однако ж уверен, что его «Физиогномические фрагменты» будут читаемы и тогда, когда забудут, что жил на свете почтенный доктор Бистер. Но оставим их. Что принадлежит до Николаевой наружности, то в ней хотя и нет ничего особенного, привлекательного, однако ж есть что-то почтенное. Он высок, худощав, смугл. Лафатер в «Физиогномике» своей говорит, что высокий лоб его показывает весьма рассудительного человека.

У г. Блума живет один молодой шведский купец. Ныне, когда мы сидели за столом, пришел к нему секретарь их посольства и вызвал его. Минут через пять возвратился наш швед с веселою улыбкою и объявил всему столу, что шведы в одном деле одержали верх над русскими. Секретарь датского посольства, который тут же обедал, начал смеяться над его патриотическою ревностью. Прусские офицеры хотели знать подробности дела, но швед сам не знал их. «Да еще верить ли вашей победе? – сказал датчанин. – Мы будем ждать подтверждения». – «Какого подтверждения! – закричал швед. – Я вам ручаюсь». Датчанин смеялся, а

швед горячился. Между тем г. Блум, подошедши ко мне, крайне упрашивал меня не входить в разговор. «Зачем вам тут мешаться? Вы видите, что швед очень горяч. Сохрани боже, если бы что-нибудь вышло у вас с ним в моем доме!» Я уверял его, что ссоры у нас не будет; но после стола не мог утерпеть, чтобы не подойти к шведу и не вступить с ним в разговор. Господин Блум тотчас подлетел к нам и посматривал то на меня, то на него, будучи готов затушить огонь при первом его воспылении. Однако ж мы довольно спокойно разговаривали. Швед был в России и по мундиру моему тотчас узнал, что я русский. «При начале войны меня выслали из Петербурга, – сказал он, – хотя мне очень хотелось пожить там». – «Жалуйтесь на своего короля, – отвечал я, – который объявил нам войну без всякой справедливой причины». Тут Блум дернул меня за полу, боясь, чтобы швед не рассердился; но он с улыбкою сказал: «Короли поступают не по тем правилам, которые для нас, частных людей, должны быть законом». – «Это говорит Фридрих», – сказал сквозь зубы прусский майор, сидевший за столом. Тут пришел ко мне Д*, и г. Блум был очень рад, что я убрался в свою комнату. Он боялся поединка.

После обеда был я в гарнизонной церкви и видел монументы и портреты славных воинов. Там Клейст подле Шверина и Винтерфельда, любезный Клейст, бессмертный певец Весны,^[98] герой и патриот. Знаете ли вы конец его? В 1759 году, в жарком сражении при Куммерсдорфе, командовал он батальоном и взял три батареи. У правой руки отстрелили у него два пальца, он взял шпагу в левую. Пулю прострелили ему левое плечо; он взял шпагу опять в правую руку. В самую ту минуту, как храбрый Клейст уже готов был лезть на четвертую батарею, картеча раздробила ему правую ногу. Он упал и закричал своим солдатам: «Друзья! Не покиньте короля!» Наехали казаки, раздели Клейста и бросили в болото. Кто не подивится тому, что он в сию минуту смеялся от всего сердца над странною физиогномиею и ухватками одного казака, который снимал с него платье? Наконец от слабости заснул он так покойно, как бы в палатке. Ночью нашли его наши гусары, вытащили на сухое место, положили близ огня на солому и закрыли плащом. Один из них хотел всунуть ему в руку несколько талеров, но как он не принял сего подарка, то гусар с досадою бросил деньги на плащ и ускакал с своими товарищами. Поутру увидел Клейст нашего офицера, барона Бульдберга, и сказал ему свое имя. Барон тотчас отправил его во Франкфурт. Там перевязали ему раны, и он спокойно разговаривал с философом Баумгартеном, некоторыми учеными и нашими офицерами, которые посещали его. Через несколько дней умер Клейст с твердостью стоического философа. Все наши офицеры присутствовали на

его погребении. Один из них, видя, что на гробе у него не было шпаги, положил свою, сказав: «У такого храброго офицера должна быть шпага и в могиле». – Клейст есть один из любезных моих поэтов. Весна не была бы для меня так прекрасна, если бы Томсон и Клейст не описали мне всех красот ее.

Июля 2

Ныне приехал сюда король с своею гостью штатгальтершею. Не можете вообразить, что за пышная была ей встреча! Все граждане стояли в ружье, и никакая сорочья стая не может так пестриться, как пестрился этот фрунт. Офицеры отличались от рядовых только тем, что у них косы привиты были гораздо круче. В ожидании штатгальтерши тянули они всем фрунтом водку, и так неосторожно, что некоторые стукались лбами. Капитаны ходили и увещевали своих сограждан отмахнуть на караул мастерски. «И конечно, конечно! – кричали они. – Мы не ударим себя лицом в грязь». Нельзя было не смеяться этому фарсу. – Купцы, все в красных кафтанах, под начальством одного банкира, выезжали встречать штатгальтершу за город. – И за то, что я посмеялся над берлинскими гражданами и взглянул на штатгальтершу и прусского короля, вымочил меня дождь. Теперь начнутся здесь пиры. – Иду в театр.

В 10 часов ночи. Давно уже не был я так приятно растроган, как ныне в театре. Представляли драму «Ненависть к людям и раскаяние», сочиненную господином Коцебу, ревельским жителем.^[99] Автор осмелился вывести на сцену жену неверную, которая, забыв мужа и детей, ушла с любовником; но она мила, несчастлива – и я плакал, как ребенок, не думая осуждать сочинителя. Сколько бывает в свете подобных историй!.. Коцебу знает сердце. Жаль только, что он в одно время заставляет зрителей и плакать, и смеяться! Жаль, что не имеет вкуса или не хочет его слушаться! Последняя сцена в пиесе несравненна. – Господин Флек играет ролю мужа с таким чувством, что каждое слово его доходит до сердца. По крайней мере я еще не видывал такого актера. В нем соединены великие природные дарования с великим искусством. Г-жа Унцельман представляет жену очень трогательно. В игре ее обнаруживается какая-то нежная томность, которая делает ее любезною для зрителя. – Я думаю, что у немцев не было бы таких актеров, если бы не было у них Лессинга, Гете, Шиллера и других драматических авторов, которые с такою живостию представляют в драмах своих человека, каков он есть, отвергая все излишние украшения, или французские румяна, которые человеку с естественным вкусом не могут быть приятны. Читая Шекспира, читая лучшие немецкие драмы, я живо

воображаю себе, как надобно играть актеру и как что произнести; но при чтении французских трагедий редко могу представить себе, как можно в них играть актеру хорошо или так, чтобы меня тронуть. – Вышедши из театра, обтер я на крыльце последнюю сладкую слезу. Поверите ли, друзья мои, что нынешний вечер причисляю я к счастливейшим вечерам моей жизни? И пусть теперь доказывают мне, что изящные искусства не имеют влияния на счастье наше! Нет, я буду всегда благословлять их действие, пока сердце будет биться в груди моей – пока будет оно чувствительно!

Июля 4

Вчера в шесть часов утра поехали мы с Д* верхом в Потсдам. Ничего нет скучнее этой дороги: везде глубокий песок, и никаких занимательных предметов в глаза не попадается. Но вид Потсдама, а особливо Сан-Суси, очень хорош. Мы остановились в трактире, не доезжая до городских ворот, и, заказав обед, пошли в город. У ворот записали наши имена; однако ж в рассуждении допросов ныне нет уже такой строгости, как прежде. Покойный король, живучи в Потсдаме, хотел знать обо всех приезжих. – На парадном месте против дворца, украшенном колоннадами, училась гвардия: прекрасные люди, прекрасные мундиры! Вид дворца со стороны сада очень хорош. Город вообще прекрасно выстроен; в большой, так называемой Римской, улице много великолепных домов, строенных отчасти по образцу огромнейших римских палат и на собственные деньги покойного короля: он дарил их кому хотел. Теперь сии огромные здания пусты или занимаются солдатами. Жителей очень мало: причиною то, что нынешний король совсем оставил сей город, предпочитая ему Шарлотенбург. Не для того ли противен ему Потсдам, что он, будучи принцем, имел там много неудовольствий и досад? Вообразите, что целый дом в два этажа можно нанять там за пятьдесят рублей в год; да и то нанимать некому. На дверях больших домов висят солдатские сумы, камзолы и проч. Коротко сказать, Потсдам кажется таким городом, из которого жители удалились, слыша о приближении неприятеля, и в котором остался только гарнизон для его защиты. Не можете вообразить, как печален сей вид пустоты!

В Потсдаме есть русская церковь под надзиранием старого русского солдата, который живет там со времен царствования императрицы Анны. Мы насилу могли сыскать его. Дряхлый старик сидел на больших креслах и, слыша, что мы русские, протянул к нам руки и дрожащим голосом сказал: «Слава богу! Слава богу!» Он хотел сперва говорить с нами по-русски, но мы с трудом могли разуметь друг друга. Нам надлежало

повторять почти каждое слово, а что мы с товарищем между собою говорили, того он никак не понимал и даже не хотел верить, чтобы мы говорили по-русски. «Видно, что у нас на Руси язык очень переменялся, – сказал он, – или я, может быть, забываю его». – «И то и другое правда», – отвечали мы. – «Пойдемте в церковь божию, – сказал он, – и помолимся вместе, хотя ныне и нет праздника». Старик насилу мог передвигать ноги. Сердце мое наполнилось благоговением, когда отворилась дверь в церковь, где столько времени царствует глубокое молчание, едва прерываемое слабыми вздохами и тихим голосом молящегося старца, который по воскресеньям приходит туда читать святейшую из книг, приготовляющую его к блаженной вечности. В церкви все чисто. Церковная утварь и книги хранятся в сундуке. От времени до времени старик перебирает их с молитвою. «Часто от всего сердца, – сказал он, – сокрушаюсь я о том, что по смерти моей, которая от меня, конечно, уже недалеко, некому будет смотреть за церковью». – Сполчасы пробыли мы в сем священном месте; простились с почтенным стариком и пожелали ему – тихой смерти.

После обеда были мы в Сан-Суси. Сей увеселительный замок лежит на горе, откуда можно видеть город со всеми окрестностями, что составляет весьма приятную картину. Здесь жил не король, а философ Фридрих – не стоический и не циник, но философ, любивший удовольствия и находивший их в изящных искусствах и науках. Он хотел соединить здесь простоту с великолепием. Дом низок и мал, но, взглянув на него, всякий назовет его прекрасным. Внутри комнаты отделаны со вкусом и богато. В круглой мраморной зале надобно удивляться колоннам, живописи и прекрасно набранному полу. Комната, где король беседовал с мертвыми и живыми философами, убрана вся кедровым деревом. С горы, скрытой уступами (которые один другой закрывают, так что, взглянув снизу вверх, видишь только одну зеленую гладкую гору), сошли мы в приятный сад, украшенный мраморными фигурами и группами. Здесь гулял Фридрих с своими Вольтерами и Даланбертами. «Где ты теперь? – думал я. – Сажень земли вместила прах твой. Любезные места твои, для украшения которых призывал ты лучших художников, теперь осиротели и пусты». – Из сада прошли мы в парк, где встречается глазам японский домик на левой стороне главной аллеи; а далее, перешедши через каменный мост, видишь на обеих сторонах прекрасные храмики. Мы прошли к новому дворцу, построенному покойным королем со всею царскою пышностью. Внутренность еще великолепнее внешности; и, дивясь богатству, дивишься и вкусу, который виден в уборе комнат. Более шести миллионов талеров стоил королю сей дворец. – Правда, я был тут не в таком расположении, в

каком надобно рассматривать пышные произведения искусств. Кровь моя волновалась, голова болела, и я насилу мог ходить. Оставив дворец, поехали мы назад в город, чтобы отдохнуть несколько в том трактире, где обедали.

День склонялся к вечеру, и надобно было думать о возвращении. Вода с вином освежила меня, и мы поехали назад в Берлин по Шарлотенбургской дороге. Мне хотелось видеть сей городок. Товарищ мой тут не ездил; но все уверяли нас, что нам нельзя сбиться с дороги. Чем далее ехали мы, тем хуже мне становилось. Раз шесть сходил я с лошади и отдыхал на траве. Ночь застала нас в большом лесу. Наконец я так ослабел, что не мог ни ехать, ни идти пешком и, как полумертвый, лежал под деревом с закрытыми глазами. В лесу царствовала глубокая тишина. Товарищ мой стоял подле меня, держа обеих лошадей, и горевал, не зная, как мне помочь. Одним словом, нас можно было в эту минуту изобразить на одном из тех эстампов, которыми украшаются модные романы! Д* вздумал было искать поблизости какого-нибудь селения, нанять телегу и везти меня в Берлин: но как же было остаться мне одному ночью, в лесу и в такой слабости? Пруссия не Аркадия, и наш век не золотой: меня могли ограбить, а со мною было все мое богатство. Наконец через час я встал и, пожав руку у моего любезного товарища, сказал ему, что мне лучше. С версту прошли мы пешком и сели на лошадей. Смертельная жажда томила меня, и за стакан воды отдал бы я половину своих червонцев. Шарлотенбург был от нас еще не близко. Несколько раз надеялись мы видеть его, подъезжали и видели – лес и мрак. Наконец приехали в город; и с жадностью, какой еще никогда в жизни своей не чувствовал, лил я в себя холодную воду. До Берлина оставалась одна миля. Мне хотелось как-нибудь добраться до места, и мы въехали в аллею зверинца. Луна вошла над нами; ясный свет ее разливался по зелени листьев; тихий и чистый воздух упитан был благовонными испарениями лип. И я мог жаловаться в сии минуты – тогда как мать природа дышала ароматами вокруг меня? Эта ночь оставила во мне какие-то романические, приятные впечатления. – Городские ворота были уже затворены; однако ж нас впустили.

Ныне поутру встал я совершенно здоров, оделся и поехал к господину М*. Он повез меня к Формею, секретарю Берлинской академии, который принял нас ласково. Сей старик все еще бодр и весел. Он читал нам письмо, полученное им из П* от своего родственника, который всякую неделю пишет к нему, и не щадя бумаги. «Не поверите, с каким удовольствием я все это читаю!» – сказал он. Господин Формей был знаком с Вольтером и рассказывал нам некоторые анекдоты касательно до его

пребывания в Берлине. – В следующий четверг будет собрание в Берлинской академии, в которое угодно было господину Формею пригласить меня. Мы поехали к зятю его, господину М*, профессору, содержателю большого пансиона и также члену Академии. Он показывал нам минеральный кабинет и библиотеку сестры покойного короля, состоящую из французских, английских, италийских и немецких книг – философов, историков и поэтов. – После обеда я был у графа Н*: о нем ни слова! Говорят, что он в старину имел имя остроумного человека в свете. Австрийский посол, князь Р*, бывший у него в гостях, казался мне ласковее хозяина.

Я поехал в оперу. Оперный дом велик и очень хорош. Тут видел я всю королевскую фамилию и штатгальтершу с дочерью. Играли оперу «Медео»,^[100] в которой пела Тоди. Я слышал эту славную певицу^[101] еще в Москве, и скажу – может быть, к стыду своему, – что ее пение мало трогает мое сердце. Для меня неприятно видеть напряжение, с которым она поет. Впрочем, будучи только любителем музыки, не могу ценить искусства ее. Что принадлежит до декораций, то они были великолепны. —

Июля 5

Ныне был я у старика Рамлера, ^[11] немецкого Горация. Самый почтенный немец! «Ваши сочинения, – сказал я ему, – почитаются у нас классическими». Ему приятно было слышать, что и в России читают его стихи и знают их цену. Рамлер напитался духом древних, а особливо латинских поэтов. В одах его есть истинные восторги, высокое парение мыслей и язык вдохновения. Только иногда присвоивает он себе и чужие восторги и заимствует огонь у Горация или других древних поэтов – правда, всегда искусным образом. Теперь он уже прожил век поэзии. В новых его пьесах надобно удивляться круглости, чистоте и гармонии, то есть искусству его в механизме стихотворства; но в них нет уже пиитического жара, который всегда с годами проходит. Кажется, что он сам это чувствует и потому ныне мало сочиняет. Главное его упражнение с некоторого времени состоит в переводах римских поэтов, в которых почти всегда соблюдает меру оригинала. Сии пьесы, печатаемые в «Берлинском журнале», могут служить примером в искусстве переводить. «Теперь, – сказал он мне, – принялся я за Марциала. Только немногие из его эпиграмм были до сего времени известны на немецком языке. Сам Лессинг перевел некоторые, не упоминая Марциалова имени». – Еще при жизни Геснеровой начал он перекладывать в стихи его идиллии. «Я подражаю Сократу, –

писал он к автору, своему другу, – который в старости своей перелагал в стихи Езоповы басни». Искусные критики недовольны трудом его. «Легкость и простота Геснерова языка, – говорят они, – пропадает в экзаметрах». К тому же в идиллиях швейцарского Теокрита есть какая-то гармония, которая не уступает гармонии стихов. Но Рамлер думает и мне сказал, что Геснеровы идиллии были единственно потому несовершенны, что автор писал их не экзаметрами. – Стихи свои, еще в рукописи, читает он одной приятельнице, которая, не будучи ученою, имеет природное нежное чувство изящного. «Иногда, – сказал он мне, – я спорю с нею, когда она находит что-нибудь противное в моих сочинениях. „Говорите что хотите, – отвечает она, – яне могу опровергать вас, но остаюсь при своем чувстве“. Наконец, подумав хорошенько, нахожу, что она права, и винюсь перед нею». – Мне пришла на мысль Аспазия, которой афинские певцы отдавали на суд свои творения; ушам ее верили они более, нежели своим, – и я думаю, что женщины вообще могут чувствовать некоторые красоты поэзии живее мужчин. – Рамлер восстает против греческих митологических имен, которые граф Штолберг, Фос и другие удерживали в своих переводах. «Мы уже привыкли к латинским, – говорит он, – на что переучивать нас без всякой нужды?» – Он очень любит театр, и все, что я слышал от него об искусстве представления, мне очень понравилось. Славный Экгоф утверждал, что актеру не надобно чувствовать для того, чтобы хорошо играть; если не ошибаюсь, то и Энгель в своей «Мимике» то же говорит: но Рамлер думает противное, и, кажется, справедливее их. В разговоре о лейпцигских ученых упомянул я о Вейсе. «Вейсе – лучший друг мой», – сказал он и указал мне на стене портрет его. – Наконец я простился с ним, и он на память подарил мне оду,^[102] сочиненную им нынешнему королю, или, лучше сказать, кантат, выбранный из псалмов. – Рамлер высок, худощав, долгонос; говорит отборно и протяжно.

Ныне представляли «Дон-Карлоса», Шиллерову трагедию. Несчастливая любовь принца к его мачехе Елисавете, которая прежде была его невестою, есть содержание сей трагедии. Характер короля Филиппа II, о котором история говорит столько худого и доброго; который, для истребления ереси, проливал кровь человеческую, но, услышав о погибели флота своего, рассеянного ветром и разбитого англичанами, равнодушно сказал: «Я послал его против англичан, а не против ветров: буди воля божия!» и сие несчастье перенес с твердостью героя, – сей характер изображен с великим искусством. Благородный и пылкий в страстях своих Дон-Карлос трогает зрителя до глубины сердца. Великодушный маркиз Поза, друг принцев, пробуждающий в нем ревность к добродетели и к героическим делам,

которую усыпила несчастная страсть, представлен автором в пример истинно великого мужа. Есть трогательные и ужасные сцены. – Короля играл Флек, и я еще более уверился в том, что он великий актер. Маттауш, молодой человек, представлявший Дон-Карлоса, довольно хорошо выражал живость и пылкость принцева характера. К тому же он очень недурен собою. Что принадлежит до роли маркиза Позы, то Унцельман играл ее как-то очень бездушно. Ему гораздо свойственнее представлять в «Ненависти к людям» старого генерала, который от скуки бьет мух, нежели важного маркиза Позу. Роль королевы играла очень слабо какая-то молодая актриса. Г-жа Унцельман трогательно представляла молодую принцессу, влюбленную в принца. – Сия трагедия есть одна из лучших немецких драматических пьес и вообще прекрасна. Автор пишет в Шекспировом духе. Есть только слишком фигурные выражения (так, как и у самого Шекспира), которые хотя и показывают остроумие автора, однако ж в драме не у места.

Берлин, июля 6

«Веди меня к Морицу», – сказал я ныне поутру наемному своему лакею. – «А кто этот Мориц?» – «Кто? Филипп Мориц, автор, философ, педагог, психолог». – «Постойте, постойте! Вы мне много рассказали; надобно поискать его в календаре под каким-нибудь одним именем. Итак (*вынув из кармана книгу*), итак, он философ, говорите вы? Посмотрим». – Простодушие сего доброго человека, который с важностью переворачивал листы в своем всезаключающем календаре и непременно хотел найти в нем роспись философов, заставило меня смеяться. «Посмотри его лучше между профессорами, – сказал я, – пока еще число любителей мудрости неизвестно в Берлине». – «Карл Филипп Мориц, живет в ***». – «Пойдем же к нему».

Я имел великое почтение к Морицу, прочитав его «Anton Reiser»,^[103] весьма любопытную психологическую книгу, в которой описывает он собственные свои приключения, мысли, чувства и развитие душевных своих способностей. «Confessions de J.-J. Rousseau»,^[104] «Stillings Jugendgeschichte»^[105] и «Anton Reiser» предпочитаю я всем систематическим психологиям в свете.

Человеку с живым чувством и с любопытным духом трудно ужитья на одном месте; неограниченная деятельность души его требует всегда новых предметов, новой пищи. Таким образом, Мориц, накопив от профессорского дохода своего несколько луидоров, ездил в Англию, а

потом в Италию собирать новые идеи и новые чувства. Подробное и, можно сказать, оригинальное описание первого путешествия его, которое издал он под титулом «Reisen eines Deutschen in England»^[106] читал я с великим удовольствием. О путешествии его по Италии, откуда он недавно возвратился, немецкая публика еще ничего не знает.

Я представлял себе Морица – не знаю почему – стариком; но как же удивился, нашедши в нем еще молодого человека лет в тридцать, с румяным и свежим лицом! – «Вы еще так молоды, – сказал я, – а успели уже написать столько прекрасного!» Он улыбнулся. – Я пробыл у него час, в который мы перебрали довольно разных материй.

«Ничего нет приятнее, как путешествовать, – говорит Мориц. – Все идеи, которые мы получаем из книг, можно назвать мертвыми в сравнении с идеями очевидца. – Кто хочет видеть просвещенный народ, который посредством своего трудолюбия дошел до высочайшей степени утончения в жизни, тому надобно ехать в Англию; кто хочет иметь надлежащее понятие о древних, тот должен видеть Италию». – Он спрашивал меня о нашем языке, о нашей литературе. Я должен был прочесть ему несколько стихов разной меры, которых гармония казалась ему довольно приятною. «Может быть, придет такое время, – сказал он, – в которое мы будем учиться и русскому языку; но для этого надобно вам написать что-нибудь превосходное». Тут невольный вздох вылетел у меня из сердца. Всем новым языкам предпочитает он немецкий, говоря, что ни в котором из них нет столько *значительных* слов, как в сем последнем. Надобно сказать, что Мориц есть один из первых знатоков немецкого языка и что, может быть, никто еще не разбирал его так философически, как он. Весьма любопытны небольшие его пиесы «Über die Sprache in psychologischer Rücksicht»,^[107] которые сообщает он в своем «Психологическом магазине». – «Нам должно всегда *соединенными силами* искать истины, твори: он, – она укрывается от *уединенного* искателя, и *утомленному* философу часто призрак истины кажется истинною». Мориц в ссоре с Кампе, славным немецким педагогом, который в «Ведомостях» разбил его за то, что он вышел из связи с ним и не захотел более печатать своих сочинений в его типографии. «Я хотел отвечать ему в таком же тоне, – сказал Мориц, – и написал было уже листа два; однако ж одумался, бросил в огонь написанное и хладнокровно предложил публике свое оправдание». – «Странные вы люди! – думал я, – вам нельзя ужиться в мире. Нет почти ни одного известного автора в Германии, который бы с кем-нибудь не имел публичной ссоры; и публика читает с удовольствием бранные их сочинения!» – «Adieu, г. профессор!» –

Я хотел было видеть Энгеля, сочинителя «Светского философа» и «Мимики»; но, к сожалению, не застал его дома. После обеда был на фарфоровой фабрике, которая по чистоте и твердости фарфора есть одна из первых в Европе. Мне показывали множество прекрасных вещей, в которых надобно удивляться искусству рук человеческих.

В театре представляли ныне Шредерову «Familiengemählde»^[108] – пиесу, которая не сделала во мне никакого приятного впечатления, может быть, оттого, что ее худо играли, – и оперу «Два охотника». В последней ролю девки-молочницы играла та актриса, которая в «Дон-Карлосе» представляла королеву: какое превращение! Однако ж девку-молочницу играет она лучше, нежели королеву.

Берлин, июля 7

Нравственность здешних жителей прославлена отчасти с худой стороны. Господин Ц* называет Берлин Содомом и Гомором; однако ж Берлин еще не провалился, и небесный гнев не обращает его в пепел. В самом деле, г. Ц*, писав это, забыл, что во всех семьях бывают уроды и что по сим уродам нельзя заключать о всей семье. Мудрено и людям считаться между собою в добродетелях или пороках, а городам еще мудренее. – Одним словом, если бы г. лейб-медик и кавалер был непристрастен; если бы *некоторые* люди в Берлине не зацепили его за живое, то бы он, конечно, не заговорил таким нефилософским для космополита и филантропа оскорбительным языком.

Говорят, что в Берлине много распутных женщин; но если бы правительство не терпело их, то оказалось бы, может быть, более распутства в семействах – или надлежало бы выслать из Берлина тысячи солдат, множество холостых, праздных людей, которые, конечно, не по Руссовой системе воспитаны и которые по своему состоянию не могут жениться.

Мне сказывали, что однажды ввечеру в зверинце развращенные берлинские вакханты, как фурии, бросились на одного несчастного Орфея, который уединенно гулял в темноте аллеи; отняли у него деньги, часы и сорвали бы с него самое платье, если бы подошедшие люди не принудили их разбежаться. Но когда бы рассказали мне и тысячу таких анекдотов, то я все не предал бы анафеме такого прекрасного города, как Берлин.

В похвалу берлинских граждан говорят, что они трудолюбивы и что самые богатые и знатные люди не расточают денег на суетную роскошь и соблюдают строгую экономию в столе, платье, экипаже и проч. Я видел старика Ф*, едущего верхом на такой лошади, на которой бы, может быть,

ияпостыдился ехать по городу, и в таком кафтане, который сшит, конечно, в первой половине текущего столетия. Нынешний король живет пышнее своего предшественника; однако ж окружающие его держатся по большей части старины. – В публичных собраниях бывает много хорошо одетых молодых людей: в уборе дам виден вкус.

Берлин, июля 8

Если бы из народной брани можно было заключать о народном характере, то бы из schwer Noth,^[109] любимого немецкого слова, путешественник заключил, что в немцах много желчи, но что бы тогда должно было заключить из любимой брани нашего народа?

Здесь стоят на улицах наемные кареты так, как у нас извозчицы дрожки или сани. За восемь грошей – что по нынешнему курсу составит сорок копеек – можно ехать в город куда угодно, только в одно место. Карета и лошади очень изрядны.

Справедливо говорят, что путешественнику надобно всегда останавливаться в первых трактирах, не только для лучшей услуги, но и для самой экономии. Там есть всему определенная цена, и лишнего ни с кого не потребуют; а в худых трактирах стараются взять с вас как можно более, если приметят, что в кошельке вашем есть золото. У г. Блума плачу я за обед, который состоит из четырех блюд, 80 коп., за порцию кофе 15 коп., а за комнату в день 50 коп. Наемный лакей всегда благодарил меня, когда я давал ему в день полтину.

Ныне счел я, что дорога от Кенигсберга стоит мне не более пятнадцати червонных. На ординарной почте платят за милю 6 грошей, или 30 копеек; сверх того, надобно давать постиллионам на вино.

За две мили от Дрездена, 10 июля 1789

Итак, ваш друг уже в Саксонии! – Осьмого числа отправил я к вам свой пакет из Берлина и думал еще пробыть там по крайней мере неделю; но l'homme propose, Dieu dispose.^[110] В тот же вечер стало мне так грустно, что я не знал, куда деваться. Бродил по городу, нахлобучив себе на глаза шляпу, и тростью своею считал на мостовой камни; но грусть в сердце моем не утихала. Прошел в зверинец, переходил из аллеи в аллею, но мне все было грустно. «Что же делать?» – спросил я сам у себя, остановясь в конце длинной липовой аллеи, приподняв шляпу и взглянув на солнце, которое в тихом великолепии сияло на западе. Минуты две искал я ответа на лазоревом небе и в душе своей; в третью нашел его – сказал: «Поедем

далее!» – и тростью своею провел на песке длинную змейку,^[111] подобную той, которую в «Тристраме Шанди» начертил капрал Трим (vol. VI., chap. XXIV), говоря о приятностях свободы. Чувства наши были, конечно, сходны. «Так, добродушный Трим! Nothing can be so sweet as liberty!^[112] — думал я, возвращаясь скорыми шагами в город, – и кто еще не заперт в клетку, кто может, подобно птичкам небесным, быть здесь и там, и там и здесь, тот может еще наслаждаться бытием своим, и может быть счастлив, и должен быть счастлив».

Итак не дожидаясь торжественного собрания Берлинской академии, решил я на другой день ехать. Мне надлежало бы еще побывать у гр. К*, которая звала меня к себе через господина М*, однако ж и это не могло меня остановить. – Вечер провел я очень приятно с любезным Д*, а на другой день поутру, уклад свой чемодан и расплатясь с господином Блумом, отправился в Саксонию – на ординарной почте, в открытой коляске, с двумя студентами и одним молодым лейпцигским купцом.

С другой перемены поехал я на так называемой экстренной почте. В проклятой немецкой фуре так растрясло меня, что и теперь чувствую боль в груди. Сверх того, остался у меня на щеке рубец, и я должен еще благодарить судьбу, что глаза мои целы. Надобно знать, что дорога к саксонским границам идет по большей части лесом; а как почтовая коляска открыта и очень высока, то сидящие в ней беспрестанно должны нагибаться, чтобы не удариться головою об дерево. Ввечеру я задремал и схватил от какого-то ветвистого дерева такую пощечину, что у меня искры из глаз посыпались. Все это вместе заставило меня проститься с веселыми студентами.

Экстренная почта стоит почти вчетверо дороже ординарной. Мне дают пару лошадей с коляскою и берут с меня за милю по талеру (120 коп.).

Саксонские постиллионы отменны от прусских только цветом своих кафтанов (на последних синие с красным воротником, а на первых – желтые с голубым), впрочем, они так же жалеют своих лошадей, так же любят пить в корчмах и так же грубы.

Дороги в Саксонии очень дурны, и от Берлина до сего места не встречалось глазам моим ни одного приятного вида; только земля здесь, кажется, лучше обработана, нежели в Бранденбурге. По крайней мере известно то, что саксонские земледельцы вообще гораздо богаче прусских.

Я должен описать вам одну встречу, которая оставила во мне приятные впечатления.

В местечке или в маленьком городке, где я ныне в полдень переменял

лошадей, почтмейстер не отправлял меня очень долго. Я прохаживался по двору и думал – не знаю о чем. Знаю только, что стук коляски, подъехавшей к крыльцу почтового дома, перервал нить моих мыслей. Я взошел на крыльцо и увидел молодую, прекрасную, нежную, белокурую женщину – в маленькой черной шляпке, в амазонском зеленом платье, с белым платком в руках, – вышедшую из коляски с пожилым горбатым, долгоносим мужчиною, которого изображение было бы не последнею пиесою между гогардскими карикатурами.^[113] Он подал ей руку, и, когда они проходили мимо меня, я снял шляпу и поклонился красавице – правда, не очень низко, для того чтобы ни на секунду не выпустить из глаз прелестей лица ее. Надобно думать, что взор мой стоил комплимента: на меня взглянули умильно и даже ласково! Почтмейстер встретил гостей в сенях, отвел им комнату и сам побежал за ключевою водою, в которой имела нужду красавица для освежения своих прелестей. Дверь затворилась, и я остался один в сенях. «Но разве эта дверь не отворяется?» – вздумалаятихонько отворил ее. Красавица стояла перед зеркалом и белым платком отирала пыль с белого лица своего; а спутник ее сидел на креслах и зевал. «Извините, – сказал я, – у меня здесь осталась книга». Горбатый кавалер кивнул головою и указал мне книгу мою, которая лежала на столе. Красавица отворотилась от зеркала и взглянула на меня такими быстрыми, пронизательными глазами, что я, верно, бы покраснелся, если бы у меня что-нибудь дурное было на мысли; но я с спокойствием невинности смотрел на ее прекрасные голубые глаза, на ее правильный греческий нос, на ее розовые губы и щеки и любовался прелестями ее так, как молодой ваятель любит Микель-Анджеловою статуею или живописец Рафаэлевою картиною. – Красавица села, а я стоял против нее и все еще не брал своей книги. «День очень жарок», – сказала она приятным голосом, взглянув на своего спутника и на меня. Он зевнул, а я повторил ее слова: «День очень жарок». Тут последовало молчание. Зная, что женщины в *решительных* случаях жизни никогда не говорят первого слова, я спросил наконец: «Не в Дрезден ли вы едете, сударыня?» – «Нет, – отвечала она, – мы едем в деревню к своему приятелю. А вы, конечно, сами в Дрезден едете?» – «Так, сударыня; я надеюсь быть там завтра очень рано». – «Вы, конечно, иностранец, если смею спросить?» – «Так, сударыня». – «Конечно, англичанин? Потому что англичане хорошо говорят по-немецки». – «Извините, сударыня; я москвитянин». – «Москвитянин? Ах, боже мой! Я еще отроду не видывала москвитян». – «А я видал», – сказал горбатый кавалер и начал снова зевать. – «Да скажите, пожалуйста, как вы к нам заехали?» – «Из любопытства, сударыня». – «Надобно, чтобы вы были

очень любопытны. Ведь вы, конечно, оставили в отечестве своем много любезного?» – «Много, сударыня, много: я оставил отечество и друзей». – Не знаю, до чего бы мы с нею договорились, если бы не пришел почтмейстер с водою и не сказал мне, что коляска моя готова. Я низко поклонился красавице, и она пожелала мне счастливого пути. – «И только?» – Что ж делать? Не хочу лгать.

Прекрасный лужок, прекрасная рощица, прекрасная женщина – одним словом, все прекрасное меня радует, где бы и в каком бы виде ни находил его. Образ милой саксонки остался в моих мыслях, к украшению картинной галереи моего воображения. – На сей последней перемене я решился ночевать. Теперь бьет десять часов. В четыре меня разбудят.

Дрезден, 12 июля

Утро было прекрасное; птички пели, и молодые олени играли на дороге. Тут вдруг открылся мне Дрезден на большой долине, по которой течет кроткая Эльба. Зеленые холмы на одной стороне реки, и величественный город, и обширная плодоносная долина составляют великолепный вид. – С приятными чувствами въехал я в Дрезден, и при первом взгляде показался он мне огромнее самого Берлина.

Я остановился в трактире на почтовом дворе и, одевшись, пошел к господину П*, к которому было у меня письмо из Москвы. Он принял меня очень ласково и вызвался было доставить мне приятные знакомства в Дрездене; но как я пробуду здесь не более трех дней и, следовательно, не буду иметь времени пользоваться знакомствами, то мне оставалось только благодарить его за добрую волю. Мы пошли с ним ходить по городу.

Дрезден едва ли уступает Берлину в огромности домов, но только улицы здесь гораздо теснее. Жителей считается в Дрездене около 35 000: очень не много по обширности города и величине домов! Правда, что на улицах и не много людей встречается; и на редком доме не прибито объявления об отдаче внаем комнат. За две или за три порядочно убранные горницы платят здесь в месяц не более семи или восьми талеров. – В некоторых местах города видны еще следы опустошения, произведенного в Дрездене прусскими ядрами в 1760 году. – С час стоял я на мосту, соединяющем так называемый Новый город с Дрезденом, и не мог насытиться рассматриванием приятной картины, которую образуют обе части города и прекрасные берега Эльбы. – Сей мост, длиною в 670 шагов, считается лучшим в Германии; на обеих сторонах сделаны ходы для пеших и места для отдохновения.

Господин П* хотел, чтобы я у него обедал. «Вы увидите мое

семейство», – сказал он. Нас встретила женщина лет в сорок, почтенного вида, и молодая девушка лет в двадцать, не прекрасная, но миловидная и нежная. «Вот все мое семейство!» – сказал мне господин П* – ия поцеловал руку у той и другой. Обед был самый умеренный, однако ж и не голодный. Хозяин и хозяйка расспрашивали меня о России, и вопросы их были так умны, что ответы не приводили меня в затруднение. Господин П* хотя и не есть ученый, однако ж много читал; и за бутылкою старого рейнского вина, которую принесла нам сама хозяйка, говорил с великим жаром о творениях некоторых немецких поэтов. Миловидная Шарлотта по большей части молчала, но взоры и улыбки ее были красноречивы. После обеда она играла на клавесине, хотя в немецком вкусе, однако ж не без приятности. – От них пошел я в славную картинную галерею,^[114] которая почитается одною из первых в Европе. Я был там три часа, но на многие картины не успел и глаз оборотить; не три часа, а несколько месяцев надобно, чтобы хорошенько осмотреть сию галерею. Я рассматривал со вниманием Рафаэлеву ^[112] Марию (которая держит на руках младенца и перед которою стоят на коленях св. Сикстус и Варвара); Корреджиеву ^[113] «Ночь», о которой столько писано и говорено было и в которой наиболее удивляются смеси света с тьмою; Микель-Анджелову ^[114] картину, представляющую осужденного на смерть человека и вдали город; картины Юлия Романа:^[115] Пана, который учит на флейте молодого пастуха; играющую Цецилию, окруженную святыми, и проч. – Веронезовы: ^[115] «Воскресение», «Похищение Европы», и проч. – Караччиевы:^[116] «Гения славы», летящего по воздуху; «Марию с младенцем, Матвеем и Иоанном», и проч. – Тинторетовы:^[117] «Аполлона с музами», «Падение ангелов», и проч. – Бассановы:^[118] «Израильский народ в пустыне», «Ноево семейство», и проч. – Джиордановы:^[119] «Похищение сабинок», «Умиряющего Сократа», «Сусанну в купальне», и проч. – Розовы:^[120] собственный его портрет и ландшафт с деревьями, где сидящий старик говорит с двумя стоящими, – Пуссеневы:^[121] «Ноево жертвоприношение», ландшафт с двумя сидящими нимфами и с Нарциссом, который смотрится в воду, и еще другой, где спит нагая нимфа, которую рассматривают из-за дерева двое мужчин, – Рубенсовы:^[122] сидящую Марию с младенцем, которому ангелы подают плоды; «Страшный суд», «Христа, спящего на корабле во время бури», «Похищение Прозерпины», «Пьяного Силена с нимфами», «Венеру с Адонисом», «Наказываемого Купидона», которого одна женщина держит на руках, а другая сечет лозою; «Нептуна, укрощающего море», и проч. – Фан

Диковы^[123] изображения королей Карла II и Якова II; Иеронима, у ног которого лежит лев, и проч. – и, наконец, Менгсовы, которых очень много. Между прочими картинами есть прекрасные перспективы и такие живые изображения винограда и других плодов, что хочется их взять. – Самые лучшие картины перешли в Дрезденскую галерею из Моденской, например Корреджиева «Ночь». Август III, польский король, был великий любитель живописи и не жалел денег на покупку хороших картин.

Надзиратель сказывал, что за несколько недель перед тем украли из галереи картин десять, и притом самых лучших; но что, к счастью, воров скоро отыскали, и картины возвратились на прежнее свое место. – Выходя, вручил я господину надзирателю голландский червонец.

Надобно было еще видеть так называемую зеленую кладовую (das Grüne Gewölbe), или собрание драгоценных камней, которому в целом свете едва ли есть подобное, и, чтобы взглянуть на этот блестящий кабинет саксонского курфюрста и после сказать: «Я видел редкость!», надобно заплатить голландский червонец. Мне сказывали, что один знатный француз, смотря на камни, сказал курфюрсту: «Хорошо, очень хорошо: а что это стоит вашей светлости?»

После картинной галереи и зеленой кладовой третья примечания достойная вещь в Дрездене есть библиотека, и всякий путешественник, имеющий некоторое требование на ученость, считает за должность видеть ее, то есть взглянуть на ряды переплетенных книг и сказать: «Какая огромная библиотека!» – Между греческими манускриптами показывают весьма древний список одной Эврипидовой трагедии, проданный в библиотеку бывшим московским профессором Маттеем; за сей манускрипт, вместе с некоторыми другими, взял он с курфюрста около 1500 талеров. Спрашивается, где г. Маттей достал сии рукописи?^[124]

Вечеру гулял я в саду, который называется Zwinger Garten^[125] и который хотя невелик, однако ж приятен. Посланника нашего нет в Дрездене. Он поехал в Карлсбад.

Июля 12

Ныне поутру вошел я в придворную католическую церковь во время обедни. Великолепие храма, громкое и приятное пение, сопровождаемое согласными звуками органа; благоговение молящихся, к небу воздетые руки священников – все сие вместе произвело во мне некоторый восхитительный трепет. Мне казалось, что я вступил в мир ангельский и слышу гласы блаженных духов, славословящих неизреченного. Ноги мои

подогнулись; я стал на колени и молился от всего сердца.

Июля 12, в 10 часов вечера

После обеда был я в гостях у нашего молодого священника, где познакомился еще с секретарем нашего министра, [\[126\]](#) а оттуда пошел один гулять за город, в так называемый Большой сад. Длинная аллея вывела меня на обширный зеленый луг. Тут на левой стороне представилась мне Эльба и цепь высоких холмов, покрытых леском, из-за которого выставляются кровли рассеянных домиков и шпицы башен. На правой стороне поля, обогащенные плодами; везде вокруг меня расстились зеленые ковры, усеянные цветами. Вечернее солнце кроткими лучами своими освещало сию прекрасную картину. Я смотрел и наслаждался; смотрел, радовался и – даже плакал, что обыкновенно бывает, когда сердцу моему очень, очень весело! – Вынул бумагу, карандаш; написал: «Любезная природа!» – и более ни слова!! Но едва ли когда-нибудь чувствовал так живо, что мы созданы наслаждаться и быть счастливыми; и едва ли когда-нибудь в сердце своем был так добр и так благодарен против моего творца, как в сии минуты. Мне казалось, что слезы мои льются от живой любви к Самой Любви и что они должны смыть некоторые черные пятна в книге жизни моей.

А вы, цветущие берега Эльбы, зеленые леса и холмы! Вы будете благословляемы мною и тогда, когда, возвратясь в северное отдаленное отечество мое, в часы уединения буду вспоминать прошедшее!

Мейсен, июля 13

Я решился ныне поутру ехать в Лейпциг в публичной почтовой коляске (которая называется желтою, Gelbe Kutsche, для того что обита желтым сукном). В десять часов надлежало нам отправиться. Отдав свой чемодан шафнеру (так называется в Саксонии проводник почты) и сказав ему, что буду дожидаться коляски на дороге, пошел я из Дрездена пешком в девять часов утра. Наемный слуга согласился за несколько грошей быть моим путеводителем.

Скорыми шагами вышел я из города, но, вышедши, почти на каждом шагу останавливался и любовался прекрасною природою и плодами трудолюбия. Дорога идет вдоль по берегу Эльбы. На левой стороне за рекою видны горы, покрытые частым зеленым березником и ольхами; а на правой – плодоносная равнина с полями и деревеньками, которую в отдалении ограничивают виноградные сады.

Как ясно было небо, так ясна была душа моя. Я видел везде

благоденствие, счастье и мир. Птички, которые порхали и плавали по чистому воздуху над головою моею, изображали для меня веселье и беспечность. Они чувствуют бытие свое и наслаждаются им! Каждый поселянин, идущий по лугу, казался мне благополучным смертным, имеющим с избытком все то, что потребно человеку. «Он здоров трудами, – думал я, – весел и счастлив в час отдохновения, будучи окружен мирным семейством, сидя подле верной своей жены и смотря на играющих детей. Все его желания, все его надежды ограничиваются обширностью его полей; цветут поля, цветет душа его». – Молодая крестьянка с посошком была для меня аркадскою пастушкою.^[127] «Она спешит к своему пастуху, – думал я, – который ожидает ее под тенью каштанового дерева, там, на правой стороне, близ виноградных садов. Он чувствует электрическое потрясение в сердце, встает и видит любезную, которая издали грозит ему посошком своим. Как же бежит он навстречу к ней! Пастушка улыбается; идет скорее, скорее – и бросается в открытые объятия милого своего пастуха». – Потом видел я их (разумеется, мысленно) сидящих друг подле друга в сени каштанового дерева. Они целовались, как нежные горлицы.

Я сел на дороге и дождался почтовой коляски. У меня было довольно товарищей; между прочими магистер, или деревенский проповедник, в рыжем парике, и двое молодых студентов, лейпцигский и прагский, который сидел подле меня и тотчас вступил со мною в разговор, – о чем, думаете вы? Непосредственно о Мендельзоновом «Федоне»,^{16} о душе и теле. «„Федон“, – сказал он, – есть, может быть, самое *остроумнейшее* философическое сочинение; однако ж все доказательства бессмертия нашего основывает автор на одной гипотезе. Много вероятности, но нет уверения; и едва ли не тщетно будем искать его в творениях древних и новых философов!» – «Надобно искать его в сердце», – сказал я. – «О государь мой! – возразил студент.^[128] – Сердечное уверение не есть еще философическое уверение: оно ненадежно; теперь чувствуете его, а через минуту оно исчезнет, и вы не найдете его места. Надобно, чтобы уверение основывалось на доказательствах, а доказательства – на тех врожденных понятиях чистого разума, в которых заключаются все вечные, необходимые истины. Сего-то уверения ищет метафизик в уединенных снях, во мраке ночи, при слабом свете лампы, забывая сон и отдохновение. – Ежели бы могли мы узнать точно, что такое есть душа *сама в себе*, то нам все бы открылось; но...» – Тут вынул я из записной книжки своей одно письмо доброго Лафатера и прочитал студенту следующее:

«Глаз, по своему образованию, не может смотреть на себя без зеркала.

Мы созерцаемся только в других предметах. Чувство бытия, личность, душа – все сие существует единственно потому, что вне нас существует, – по феноменам или явлениям, которые до нас касаются». – «Прекрасно! – сказал студент. – Прекрасно! Но если думает он, что...» Тут коляска остановилась: шафнер отворил дверцы и сказал: «Госпожи и господа! Извольте обедать».

Мы вошли в трактир, где уже накрыт был стол. Нам подали пивной суп с лимоном, часть жареной телятины, салат и масло, за что взяли после с каждого копеек по сорок.

Дорога до самого Мейсена очень приятна. Земля везде наилучшим образом обработана. Виноградные сады, которые сперва видны были в отдалении, подходят ближе к Эльбе, и наконец только одна дорога отделяет их от реки. Тут стоят перпендикулярно огромные гранитные скалы. Некоторые из них – чего не делает трудолюбие! – покрыты землею и превращены в сады, в которых родится лучший саксонский виноград. – На другой стороне Эльбы представляются развалины разбойничьих замков. Там гнездятся ныне летучие мыши, свистят и воют ветры.

Один древний поэт сказал:^[129]

Est locus, Albiacis ubi Misna rigatur ab undis,
Fertilis et viridi totus amoenus humo.^[130]

В этом месте теперь я. – Мейсен лежит частию на горе, частию в долине. Окрестности прекрасны; только город сам по себе очень некрасив. Улицы не ровны и не прямые; дома все готические и показывают странный вкус прошедших веков. Главная церковь есть большое здание, почтенное своею древностию. Старый дворец возвышается на горе. Некогда воспитывались там герои от племени Виттекиндова (сего славного саксонского князя, который столь храбро защищал свободу своего отечества и которого Карл Великий победил не оружием, а великодушием своим). Ныне в сем дворце делают славный саксонский фарфор. Чтобы видеть фабрику, надобно выпросить билет у главного надзирателя.

Господин Маттей был несколько лет директором здешней школы; но недель за шесть перед сим оставил Мейсен и уехал в Виттенберг. Ему, конечно, везде дадут место. Он считается в Германии одним из лучших филологов.

Надобно садиться в коляску и проститься с пером до Лейпцига.

Лейпциг, июля 14

Дорога от Мейсена идет сперва по берегу Эльбы. Река, кроткая и величественная в своем течении, журчит на правой стороне, а на левой возвышаются скалы, увенчанные зеленым кустарником, из-за которого в разных местах показываются седые, мшистые камни.

Отъехав от Мейсена с полмили, вышли мы с прагским студентом из коляски, которая ехала очень тихо, и версты две шли пешком. После вопроса: женат ли я? – студент мой начал говорить о женщинах, и притом не в похвалу их. «На гробе друга моего, – сказал он, – друга, который пошел в землю от несчастной любви к одной ветреной, легкомысленной женщине, клялся я удалиться от этого опасного для нас пола и вечно быть холостым. Науки занимают всю мою душу – и, благодаря бога! могу быть счастлив сам собою». – «Тем лучше для вас», – сказал я.

Стали находить облака, и мы сели опять в коляску. Тут магистер шумел с лейпцигским студентом о теологических истинах. Сей последний предлагал разные сомнения. Магистер брался все решить, но, по мнению студента, не решил ничего. Это его очень сердило. «Наконец, я должен вспомнить, – сказал он, потирая рукою свой красный лоб, – что некоторые люди совсем не имеют чувства истины. Головы их можно уподобить бездонному сосуду, в который ничего влить нельзя; или железному шару, в который ничто проникнуть не может и от которого все отпрыгивает...» – «И такие головы, – прервал студент, – часто бывают покрыты рыжими париками и торчат на кафедрах». – «Государь мой! – закричал магистер, поправив свой парик, – о ком вы говорите?» – «О тех людях, о которых вы сами говорить начали», – спокойно отвечал студент. «Лучше замолчать», – сказал магистер. – «Как вам угодно», – отвечал студент.

Между тем наступила ночь. Магистер снял с себя парик, положил его подле себя, надел на голову колпак и начал петь вечерние молитвы нестройным, диким голосом. Лейпцигский студент тотчас пристал к нему, и они, как добрые ослы, затащили такое дуо, что надобно было зажать уши. – К счастью, певцы скоро унялись; в коляске все замолкло, иязаснул.

На рассвете остановились мы переменять лошадей, и, когда стали выходить из коляски, чтобы идти в трактир пить кофе, магистер хватился своего парика, искал его подле себя и на земле и, не могши найти, поднял крик и вопль: «Куда он девался? Как мне быть без него? Как я, бедный, покажусь в городе?» Он приступил к шафнеру и требовал, чтобы парик его непременно был отыскан. Шафнер искал и не находил. Лейпцигский студент тирански смеялся над горестию бедного магистера и наконец, как будто бы сжался над ним, советовал ему поискать у себя в карманах. «Чего

тут искать?» – сказал он, однако ж опустил руку в карман своего кафтана и – вытащил парик. Какая минута для живописца! Магистер от внезапной радости разинул рот, держал парик перед собою и не мог сказать ни одного слова. «Вы ищете за милю того, что у вас под носом», – сказал ему шафнер с сердцем; но душа магистера была в сию минуту так полна, что ничто извне не могло войти в нее, и шафнерова риторическая фигура проскочила если не мимо ушей его, то по крайней мере сквозь их, то есть (сообразно с Боннетовою гипотезою^[131] о происхождении идей) не тронув в его мозгу никакой новой или девственной фибры (*fibre vierge*). Конечно, долее минуты продолжалось его безмолвное восхищение. Наконец он засмеялся и, надевая на себя парик, уверял нас, что он, магистер, не клал его в карман; а как парик зашел туда, о том ведает сатана и... Тут взглянул он на лейпцигского студента и замолчал.

Без всяких дальнейших приключений доехали мы до Лейпцига.

Здесь-то, милые друзья мои, желал я провести свою юность: сюда стремились мысли мои за несколько лет перед сим; здесь хотел я собрать нужное для искания той истины, о которой с самых младенческих лет тоскует мое сердце! – Но судьба не хотела исполнить моего желания.

Воображая, как бы я мог провести те лета, в которые, так сказать, образуется душа наша, и как я провел их, чувствую горечь в сердце и слезы в глазах. – Нельзя возвратить потерянного! —

В 11 часов ночи. Я остановился в трактире у Мемеля, против почтового двора. Комната у меня чиста и светла, а хозяин услужлив и говорлив до крайности. Между тем как я разбираю свой чемодан, рассказывает он мне о порядке, заведенном в его доме, о своем бескорыстии, честности и проч. «Все те, которые жили у меня, – говорил он, – были мною довольны. Я получаю, конечно, не много барыша, да зато идет обо мне добрая слава; зато у меня совесть чиста и покойна, а у кого покойна совесть, тот счастлив в здешней жизни, и ничего не боится, и ни от чего не бледнеет...» В самую сию секунду грянул гром, и г. Мемель испугался и побледнел. «Что с вами сделалось?» – спросил я. «Ничего, – отвечал он, запинаясь, – ничего; только надобно затворить окно, чтобы не было сквозного ветру».

В нынешнее лето я еще не видал и не слышал такой грозы, какая была сегодня. В несколько минут покрылось небо тучами; заблестала молния, загремел гром, буря с градом зашумела, и – через полчаса все прошло; солнце снова осветило небо и землю, и трактирщик мой опять начал говорить о неустрашимости того, кто берет за все умеренную цену и, подобно ему, имеет чистую совесть.

За ужином познакомился я с г. фон Клейстом, который служил

прусскому королю тайным советником, но по некоторым неприятным обстоятельствам должен был оставить Пруссию и который, выгнав из воображения своего все призраки льстящей надежды, живет здесь в философическом спокойствии, наслаждаясь приятностию дружбы и обхождения с просвещеннейшими мужами. – Ночь провел я в коляске беспокойно. Теперь глаза мои смыкаются.

Июля 15

Ныне познакомился я с г. Мелли, молодым женеvцем, к которому было у меня письмо из Петербурга от Ш*, английского купца, и который, приняв меня учтиво, взял на себя продать здесь один из векселей моих, а другой, голландский, променять на французский. – От него зашел я в теологическую аудиторию; видел множество присутствующих, но мало слушающих. Дело шло о некоторых еврейских словах – это не мое дело, и я, постояв у дверей, ушел.

Потом бродил я несколько часов из улицы в улицу и вокруг города, занимаясь местными наблюдениями. Собственно, так называемый город очень невелик, но с предместьями, где много садов, занимает уже довольно пространство. Местоположение Лейпцига не так живописно, как Дрездена; он лежит среди равнин, – но как сии равнины хорошо обработаны и, так сказать, *убраны* полями, садами, рошицами и деревеньками, то взор находит тут довольно разнообразия и не скоро утомляется. Окрестности дрезденские прекрасны, а лейпцигские милы. Первые можно уподобить такой женщине, о которой все при первом взгляде кричат: «Какая красавица!», а последние – такой, которая всем же нравится, но только *тихо*, которую все же хвалят, но только без восторга; о которой с кротким, приятным движением души говорят: «Она миловидна!»

Дома здесь так же высоки, как и в Дрездене, то есть по большей части в четыре этажа; что принадлежит до улиц, то они очень не широки. Хорошо, что здесь по городу не ездят в каретах и пешие не боятся быть раздавлены.

Я не видал еще в Германии такого многолюдного города, как Лейпциг. Торговля и университет привлекают сюда множество иностранцев. —

После обеда был я у г. Бека, молодого, но весьма уважаемого, по его знаниям и талантам, профессора. Я отдал ему письмо к магистру Р*, который у него жил, но которого здесь уже нет. Господин Бек рассказал мне, что Р* за несколько времени перед сим был вызван из Лейпцига одним деревенским дворянином, с тем чтобы быть проповедником в его деревне;

но что, приехав туда, нашел он много препятствий со стороны духовных; что ему надлежало выдержать престокий экзамен, на котором старались его разбить и запутать в словах; что он, вышедши наконец из себя, схватил шляпу, пожелал высокоученым своим испытателям поболее любви к ближнему, ушел и скрылся неизвестно куда.

Профессор Бек есть тихий, скромный человек, осторожный в своих суждениях и говорящий с великою приятностию. От него узнал я о славе «Анахарсиса», сочинения аббата Бартеlemi. Лишь только он вышел в свет, все французские литераторы преклонили колена свои и признали, что древняя Греция, столь для нас любопытная, Греция, которой удивляемся в ее развалинах и в малочисленных до нас дошедших памятниках ее славы, – никогда еще не была описана столь совершенно. Геттингенский профессор Гейне, один из первых знатоков греческой литературы и древностей, рецензировал «Анахарсиса» в «Геттингенских ученых ведомостях» и прославил его в Германии. Господин Бек с великим нетерпением ожидает своего экземпляра.

Никто из лейпцигских ученых так не славен, как доктор Платнер, эклектический философ, который ищет истины во всех системах, не привязываясь особенно ни к одной из них; который, например, в ином согласен с Кантом, в ином – с Лейбницем или противоречит обоим. Он умеет писать ясно, и кто хотя несколько знаком с логикою и метафизикою, тот легко может понимать его. «Афоризмы» Платнеровы весьма уважаются, и человеку, хотящему пуститься в лабиринт философских систем, могут они служить Ариадниною нитью. Мне хотелось его видеть, и от г. Бека пошел я к нему. Он живет за городом, в саду. В аллее встретилась мне молодая жена его, Вейсеева дочь, и сказала, что господин доктор дома. Минуты через две явился он сам – высокий, сухощавый человек лет за сорок, с острыми глазами, с ученою миною и с величавою осанкою. «Я уже слышал о вас от г. Клейста», – сказал он и ввел меня в свой кабинет. «Признаюсь вам, что я теперь занят, – продолжал он, – мне надобно писать письма; завтра, в этот час, прошу вас к себе», – и проч. Я извинялся, что пришел не вовремя, и кланялся, подвигаясь к дверям. «Какой или каким наукам вы особенно себя посвятили?» – спросил он. «*Изыщным*», – отвечал я и покраснелся, – знаю отчего – может быть, и вы, друзья мои, знаете.

Вечеру я бродил по садам и по аллеям. Рихтеров сад велик и хорош. Девушка в белом корсете, лет двенадцати, подала мне при выходе букет цветов. Это мне очень полюбилось. Я изъявил ей свою благодарность двумя грошами!!

В Вендлеровом саду видел я Геллертов монумент, сделанный из белого

мрамора профессором Эзером. Тут, смотря на сей памятник добродетельного мужа, дружбою сооруженный, вспомнил я то счастливое время моего ребячества, когда Геллертовы басни составляли почти всю мою библиотеку, когда, читая его «Инкле и Ярико», обливался я горькими слезами или, читая «Зеленого осла», смеялся от всего сердца; когда профессор ^{***}, ^[132] преподавая нам, маленьким своим ученикам, мораль по Геллертовым лекциям (Moralische Vorlesungen), с жаром говаривал: «Друзья мои! Будьте таковы, какими учит вас быть Геллерт, и вы будете счастливы!» Воспоминания растрогали мое сердце. История жизни моей представилась мне в картине: довольно тени! И что еще в будущем ожидает меня?

Я пошел из сада в церковь св. Иоанна, где поставлен Геллерту учениками и друзьями его иной памятник, представляющий религию, которая из металла вылитый и лаврами увенчанный образ его подает добродетели (прекрасная мысль!). Обе статуи сделаны из белого мрамора. Внизу – имя его и следующая надпись, сочиненная другом его Гейне: «Сему учителю и примеру добродетели и религии посвятило сей памятник общество друзей его и современников, бывших свидетелями его достоинств». – Приятно, восхитительно для всякого чувствительного сердца видеть такие надписи и знать, что не лесть, а истина начертала их. Все, знавшие покойного Геллерта, единогласно называли его мужем добродетельным. Жизнь его была сильнейшим опровержением мнения тех людей, которые, находя порок во всяком уголке сердца человеческого, считают добродетель за одно пустое имя, – и тех, которые утверждают, что религия не делает людей лучшими. «Всем, что есть во мне доброго, – говаривал покойник тысячу раз друзьям своим, – всем обязан я христианству». – Описание его жизни заключается сими словами: «Неверно то удивление и бессмертие, которого ожидать могут произведения творческого духа, ибо вкус народов переменяется со временем; но честь его нравственного характера нетленна и непреходяща, подобно религии и добродетели, которых век есть – вечность!»

Нет, г. Мемель, я не пойду ужинать. Сяду под окном, буду читать Вейсееву «Элегию на смерть Геллерта», ^[133] Крамерову и Денисову оду; буду читать, чувствовать и – может быть, плакать. Нынешний вечер посвящу памяти добродетельного. Он здесь жил и учил добродетели!

Июля 16

Ныне поутру слышал я эстетическую лекцию доктора Платнера.

Эстетика есть *наука вкуса*. Она трактует о чувственном познании

вообще. Баумгартен первый предложил ее как особливую, отделенную от других науку, которая, оставляя логике образование высших способностей души нашей, то есть разума и рассудка, занимается исправлением чувств и всего чувственного, то есть воображения с его действиями. Одним словом, эстетика учит наслаждаться изящным.

Превеликая зала была наполнена слушателями, так что негде было упасть яблоку. Я должен был остановиться в дверях. Платнер говорил уже на кафедре. Все молчало и слушало. Никакой шорох не мешал голосу г. доктора распространяться по зале. Я был далеко от него, однако же не проронил ни одного слова. Он говорил о великом духе или о гении. «Гений, – сказал он, – не может заниматься ничем, кроме важного и великого, – кроме природы и человека в целом. Итак, философия, в высочайшем смысле сего слова, есть его наука. Он может иногда заниматься и другими науками, но только всегда в отношении к сей; имеет особливую способность находить сокровенные сходства, аналогию, тайные согласия в вещах и часто видит связь там, где обыкновенный человек никакой не видит; и потому часто находит важным то, что обыкновенному человеку, которого взор простирается недалеко, кажется безделкою. Лейбниц, великий Лейбниц, проехал всю Германию и Италию, рылся во всех архивах, в пыли и в гнили молью источенных бумаг для того, чтобы собрать материалы для истории Брауншвейгского дому! Но пронизательный Лейбниц видел связь сей истории с иными предметами, важными для человечества вообще. – Наконец, во всех делах такого человека виден особый дух ревности, который, так сказать, оживляет их и отличает от дел людей обыкновенных. Я вам поставлю в пример Франклина, не как ученого, но как политика. Видя оскорбляемые права человечества, с каким жаром берется он быть его ходатаем! С сей минуты перестает жить для себя и в общем благе забывает свое частное. С каким рвением видим его, текущего к своей великой цели, которая есть благо человечества! – Сей же дух ревности оживляет и отличает сочинения великих гениев. Если бы можно было извлечь его, например, из Мендельзоновых „Философических писем“ или Иерусалемовой книги „О религии“, ^[134] то в первых осталось бы одно схоластическое мудрование, а во второй – обыкновенные догматы теологии; но, одушевляемые сим огнем, возвышают они душу читателя». —

Платнер говорит так свободно, как бы в своем кабинете, и очень приятно. Все, сколько я мог видеть, слушали с великим вниманием. Сказывают, что лейпцигские студенты никого из профессоров так не любят и не почитают, как его. – Когда он сошел с кафедры, то ему, как царю, дали

просторную дорогу до самых дверей. «Я никак не думал вас здесь увидеть, – сказал он мне, – а если бы знал, что вы сюда придете, то велел бы приготовить для вас место». Он пригласил меня к себе после обеда и сказал, что хочет ужинать со мною в таком месте, где я увижу некоторых интересных людей.

Июля 16, в 2 часа пополудни

Говорят, что в Лейпциге жить весело, – и я верю. Некоторые из здешних богатых купцов часто дают обеды, ужины, балы. Молодые щеголи из студентов являются с блеском в сих собраниях: играют в карты, танцуют, куртизируют. Сверх того, здесь есть особливые ученые общества, или клубы; там говорят об ученых или политических новостях, судят книги и проч. – Здесь есть и театр; только комедианты уезжают отсюда на целое лето в другие города и возвращаются уже осенью, к так называемой Михайловой ярманке. – Для того, кто любит гулять, много вокруг Лейпцига приятных мест; а для того, кто любит услаждать вкус, есть здесь отменно вкусные жаворонки, славные пироги, славная спаржа и множество плодов, а особливо вишни, которая очень хороша и теперь так дешева, что за целое блюдо надобно заплатить не более десяти копеек. – В Саксонии вообще жить недорого.

За стол без вина плачу здесь 30 коп., за комнату – также 30 коп., то же платил я и в Дрездене.

Почти на всякой улице найдете вы несколько книжных лавок, и все лейпцигские книгопродавцы богатеют, что для меня удивительно. Правда, что здесь много ученых, имеющих нужду в книгах; но сии люди почти все или авторы, или переводчики, и, собирая библиотеки, платят они книгопродавцам не деньгами, а сочинениями или переводами. К тому же во всяком немецком городе есть публичные библиотеки, из которых можно брать для чтения всякие книги, платя за то безделку. – Книгопродавцы из всей Германии съезжаются в Лейпциг на ярманки (которых бывает здесь три в год; одна начинается с первого января, другая – с пасхи, а третья – с Михайлова дня) и меняются между собою новыми книгами. Бесчестными почитаются из них те, которые перепечатывают в своих типографиях чужие книги и делают через то подрыв тем, которые купили манускрипты у авторов. Германия, где книжная торговля есть едва ли не самая важнейшая, имеет нужду в особливом и строгом для сего законе. – Вы пожелаете, может быть, знать, как дорого платят книгопродавцы авторам за их сочинения? Смотря по сочинителю. Если он еще неизвестен публике с хорошей стороны, то едва ли дадут ему за лист и пять талеров; но когда он

прославится, то книгопродавец предлагает ему десять, двадцать и более талеров за лист.

В 11 часов вечера. В назначенный час я пришел к Платнеру. «Вы, конечно, поживете с нами», – сказал он, посадив меня. – «Несколько дней», – отвечал я. – «Только? Аядумал, что вы приехали *пользоваться* Лейпцигом. Здешние ученые сочли бы за удовольствие способствовать вашим успехам в науках. Вы еще молоды и знаете немецкий язык. Вместо того чтобы переезжать из города в город, лучше вам пожить в таком месте, как Лейпциг, где многие из ваших единоплеменников искали просвещения и, надеюсь, не тщетно». – «Я почел бы за особое счастье быть вашим учеником, г. доктор; но обстоятельства...» – «Итак, мне остается жалеть, если они не позволяют вам на сей раз остаться с нами».

Он помнит К*, Р*^[135] и других русских, которые здесь учились. «Все они были моими учениками, – сказал он, – только я был тогда еще не то, что теперь». – «По крайней мере ваши „Афоризмы“ еще не были изданы...»^[136]

И в самую ту минуту, как я, упомянув об «Афоризмах», хотел просить у него объяснения на некоторые места из них, пришли к нему с университетскими делами. Он отправляет должность ректора. «У меня не много свободного времени, – сказал он, – однако ж вы должны ныне со мною ужинать. В восемь часов велите себя проводить в трактир „Голубого ангела“».

Я имел время погулять в Рихтеровом саду (где девушка в белом корсете опять вручила мне букет цветов) и в восемь часов пришел в трактир «Голубого ангела». Меня провели в большую комнату, где накрыт был стол на двадцать кувертов, но где еще никого не было. Через полчаса явился Платнер с ученою братиею. Он каждому представлял меня и сказывал мне имена их; но все они были мне неизвестны, кроме старого профессора Эзера и биргермейстера Миллера, издавшего Сульцерову «Теорию изящных наук» с своими примечаниями. Сели за ужин – самый афинский;^[137] только что вино пили мы не из чаш, цветами оплетенных, а из простых саксонских рюмок. Все были веселы и говорливы; хотели, чтобы и я говорил, и спрашивали меня о нашей литературе. Они очень удивились, слыша от меня, что десять песен «Мессиады» переведены на русский язык.^[138] «Я не думал бы, – сказал молодой профессор поэзии, – чтобы в вашем языке можно было найти выражения для Клопштоковых идей». – «Еще то скажу вам, – промолвил я, – что перевод верен и ясен». – В доказательство, что наш язык не противен ушам, читал я им русские

стихи разных мер, и они чувствовали их *определенную* гармонию. Говоря о наших оригинальных произведениях, прежде всех наименовал я две эпические поэмы, «Россияду» и «Владимира»,^[139] которые должны имя творца своего сделать незабвенным в истории российской поэзии. – Платнер играл за ужином первую роль, то есть он управлял разговором. Если вообще справедливо укоряют немецких ученых некоторою неловкостью в обхождении, то по крайней мере доктор Платнер (и, конечно, вместе со многими другими) должен быть исключен из сего числа. Он самый светский человек: любит и умеет говорить; говорит смело, для того что знает свою цену. – Старик Эзер любезен по своему простосердечию. К нему имеют уважение; слушают его анекдоты и смеются, примечая, что он хочет смешить. Во время царствования императрицы Елисаветы Петровны сбирался он ехать в Россию, но раздумал. Что принадлежит до биргермейстера Миллера, то он, кажется, очень важничает. – В десять часов встали, пожелали друг другу доброго вечера и разошлись. Платнер не позволил мне заплатить за ужин, что для меня не совсем приятно было. – Таким образом избранные лейпцигские ученые ужинают вместе один раз в неделю и проводят вечер в приятных разговорах.

Милые друзья мои! Я вижу людей, достойных моего почтения, умных, знающих, ученых, славных – но все они далеки от моего сердца. Кто из них имеет во мне хотя малейшую нужду? Всякий занят своим делом, и никто не заботится о бедном страннике. Никто не хватится меня завтра, если нынешняя ночь на черных своих крыльях унесет мою душу из здешнего мира; ничей вздох не полетит вслед за мною – и вы бы долго, долго не узнали о преселении вашего друга!

Июля 17

В шестом часу вышел я за город с покойным и веселым духом; бросился на траву бальзамического луга, наслаждался утром – и был счастлив!

Солнце взошло высоко, и жар лучей его дал мне чувствовать, что полдень недалеко. Деревня, в которой живет Вейсе, была у меня в виду. Пожелав доброго утра молодой крестьянке, которая мне встретилась, я спросил у нее, где дом господина Вейсе? – «Там, на правой стороне, большой дом с садом!» —

Вейсе, любимец драматической и лирической музыки, друг добродетели и всех добрых, друг детей, который учением и примером своим распространил в Германии правила хорошего воспитания, – Вейсе

проводит лето в маленькой деревеньке, верстах в двух от Лейпцига, среди честных поселян и семейства своего. Я вошел в горницу и видел в окно, как любезный хозяин, маленький человечек в красном халате и в белой шляпе, спешил к дому по аллее, узнав от служанки, что какой-то москвитянин его дожидается. Он вошел в горницу в том же красном халате, но только уже не в белой шляпе, а в напудренном парике с кошельком.^[140] Я с примечанием смотрел на портрет твой, любезный Вейсе, и узнал бы тебя между тысячами! – Ему уже с лишком шестьдесят лет; но румяное и свежее лицо его не показывает ни пятидесяти – и во всякой черте лица сего видна добрая душа!

Он обошелся со мною ласково, сердечно, просто; жалел, что я пришел к нему, а не он ко мне – и в такой жар; потчевал меня лимонадом, и проч.

Я сказал ему, что разные пиесы из его «Друга детей» переведены на русский, и некоторые мною.^[141] В Германии многие писали и пишут для детей и для молодых людей, но никто не писал и не пишет лучше Вейсе. Он сам отец, и отец нежный, посвятивший себя воспитанию юных сердец. Со всех сторон осыпали его благодарностию, когда он издавал свои еженедельные листы: дети благодарили за удовольствие, а отцы – за видимую пользу, которую сие чтение приносило их детям. – Он издает ныне «Переписку фамилии Друга детей», приятную и полезную молодым людям.

Вейсе с великою скромностию говорит о своих сочинениях; однако ж без всякого притворного смирения, которое для меня так же противно, как и самохвальство. – С каким чувством описывает семейственное свое счастье! «Благодарю бога, – сказал он сквозь слезы, – благодарю бога! Он дал мне вкусить в здешней жизни самые чистейшие удовольствия; и я осмелился бы назвать свое счастье совершенным, если бы небесная благодать возвратила здоровье дочери моей, которая несколько лет больна и которой искусство врачей не помогает». – Одним словом, если я любил Вейсе как автора, то теперь, узнав его лично, еще более полюбил как человека.

У него есть рукописная история нашего театра,^[142] переведенная с русского. Господин Дмитриевский, будучи в Лейпциге, сочинил ее; а некто из русских, которые учились тогда в здешнем университете, перевел на немецкий и подарил господину Вейсе, который хранит сию рукопись как редкость в своей библиотеке.

Наконец я с ним простился. «Путешествуйте счастливо, – сказал он, – и наслаждайтесь всем, что может принести удовольствие чистому сердцу!

Однако ж я постараюсь еще увидаться с вами в Лейпциге». – «А вы наслаждайтесь ясным вечером своей жизни!» – сказал я, вспомнив Лафонтенов стих: «Safin (то есть конец мудрого) est le soir d'un beau jour», [143] – и пошел от него, будучи совершенно доволен в своем сердце. Один взгляд на доброго есть счастье для того, в ком не загрубело чувство добра.

Возвратясь в Лейпциг, зашел я в книжную лавку и купил себе на дорогу Оссианова «Фингала» и «Vicar of Wakefield». [144] — [145]

В полночь. Нынешний вечер провел я очень приятно. В шесть часов пошли мы с г. Мелли в загородный сад. Там было множество людей: и студентов, и филистров. [146] Одни, сидя под тенью деревьев, читали или держали перед собою книги, не удостоивая проходящих взора своего; другие, сидя в кругу, курили трубки и защищались от солнечных лучей густыми табачными облаками, которые извивались и клубились над их головами; иные в темных аллеях гуляли с дамами, и проч. Музыка гремела, и человек, ходя с тарелкою, собирал деньги для музыкантов; всякий давал что хотел.

Господин Мелли удивил меня, начав говорить со мною по-русски. «Я жил четыре года в Москве, – сказал он, – и хотя уже давно выехал из России, однако ж не забыл еще вашего языка». – К нам присоединились гг. Шнейдер и Годи, путешествующие с княгинею Белосельскою, которая теперь в Лейпциге. Первого видал я в Москве, и мы обрадовались друг другу, как старинные знакомые. Господин Мелли угостил нас в трактире хорошим ужином. Мы пробыли тут до полуночи и вместе пошли назад в город. Ворота были заперты, и каждый из нас заплатил по несколько копеек за то, что их отворили. Таков закон в Лейпциге: или возвращайся в город ранее, или плати штраф.

Июля 19

Ныне получил я вдруг два письма от А*, которых содержание для меня очень неприятно. Я не найду его во Франкфурте. Он едет в Париж на несколько недель и хочет, чтобы я дождался его или в Мангейме, или в Стразбурге; но мне никак нельзя исполнить его желания. [17] Таким образом разрушилось то здание приятностей и удовольствий, которое основывал я на свидании с любезным другом! И таким образом во всем своем путешествии не увижу ни одного человека, близкого к моему сердцу! Эта мысль сделала меня печальным, и я пошел без цели бродить по городу и по окрестностям. Мне встретился г. Бр., молодой ученый, с которым я здесь познакомился. Оба вместе пошли мы в Розенталь, большой парк. Я

вспомнил, что известный обманщик Шрепфер^[147] кончил тут жизнь свою pistolетным выстрелом. Кто не хотел бы знать его подлинной таинственной истории? Сей человек долгое время был слугою в одном кофейном доме в Лейпциге, и никто не примечал в нем ничего чрезвычайного. Вдруг он скрылся и через несколько лет опять явился в Лейпциге под именем барона Шрепфера, нанял себе большой дом и множество слуг; объявил себя мудрецом, повелевающим натурою и духами, и в громкую трубу звал к себе всех легковерных людей, обещая им золотые горы. Со всех сторон стекались к нему ученики. Иные подлинно хотели от него научиться тому, чему ни в каких университетах не учат; а другим более всего нравился его хороший стол. С почты приносили ему большие пакеты, надписанные на имя барона Шрепфера, а банкиры, получая вексели, давали ему большие суммы денег. С разительным красноречием говорил он о своих таинствах, будто бы в Италии ему сообщенных, и, разгорячив воображение слушателей, показывал им духов, тени умерших знакомых и проч. «Прииди и виждь!» – кричал он всем, которые сомневались, – приходили и видели тени и разные страхи, от которых у трусливых людей волосы дыбом становились. Надобно заметить, что круг ревностных его почитателей состоял не из ученых, то есть не из тех, которые привыкли рассуждать по логике (сих людей не мог он терпеть, как таких, которые верят разуму более, нежели глазам), а из дворян и купцов, совсем незнакомых с науками. Заметить надобно и то, что он только показывал чудеса, а никого в самом деле не научал делать их; и что он показывал их только у себя дома, в некоторых, особливо на то определенных комнатах. Господин Бр. рассказал мне следующий анекдот. Некто М* пришел к Шрепферу с своим приятелем, для того чтобы видеть его духопризывание. Он нашел у него множество гостей, которым беспрестанно подносили пунш. М* не хотел пить. Шрепфер приступал к нему, чтобы он выпил хоть один стакан; но М* отговорился. Потом ввели всех в большую залу, обитую черным сукном и в которой окна были затворены. Шрепфер поставил всех зрителей вместе, очертил их кругом и не велел никому трогаться с места. Шагах в трех от них на маленьком жертвеннике горел спирт, чем единственно освещалась зала. Перед сим жертвенником Шрепфер, обнажив грудь свою и взяв в руку большой блестящий меч, бросился на колени и громко начал молиться, с таким жаром, с таким рвением, что М*, пришедший видеть обманщика и обман, почувствовал трепет и благоговение в своем сердце. Огонь блистал в глазах молящегося, и грудь его высоко поднималась. Ему надлежало призвать тень одного известного человека, недавно умершего. По окончании молитвы он

начал призывание сими словами: «О ты, блаженный дух, преселившийся в бесплотный и смертным неизвестный мир! Внемли гласу оставленных тобою друзей, желающих тебя видеть; внемли и, оставя на время новую свою обитель, явися очам их!» и проч., и проч. Зрители почувствовали электрическое потрясение в своих нервах, услышали удар, подобный громовому, и увидели над жертвенником легкий пар, который мало-помалу густел и наконец образовал человеческую фигуру; однако ж М* не заметил в ней большого сходства с покойником. Образ носился над жертвенником, а Шрепфер, который сделался бледен, как смерть, махал мечом вокруг головы своей. М* решился выйти из круга и приблизиться к Шрепферу; но сей, заметив его движение, вскочил, бросился на него и, устремив меч к его сердцу, закричал страшным голосом: «Ты умрешь, несчастный, если хотя один шаг вперед ступишь!» У М* подкосились ноги: так он испугался грозного голоса и блестящего меча его! Тень исчезла. Шрепфер от усталости растянулся на полу и велел выйти всем зрителям в другую комнату, где подали им на блюдах свежие плоды. – Многие приходили к Шрепферу, как в спектакль, и хотя знали, что вся тайная мудрость его состояла в шарлатанстве, однако ж с удовольствием смотрели на важные комедии, им играемые. Все это продолжалось несколько времени. Но вдруг Шрепфер задолжал в Лейпциге многим купцам, и притом таким, которые, не имея никакого желания видеть его духов, требовали немедленного платежа. Векселей к нему уже не присылали, банкиры не давали ему ни гроша, и несчастный мудрец, доведенный до крайности, застрелился в Розентале. – По сие время неизвестно, откуда получал Шрепфер деньги и какую имел цель, выдавая себя за духопризывателя. По гипотезе ученых берлинцев, он был орудием тайных иезуитов (вместе с Калиостром, который в самом деле есть второй Шрепфер) – иезуитов, хотящих снова овладеть умами человеческими. Если это правда – в чем, однако ж, я очень, очень сомневаюсь, – то, с дозволения господ тайных иезуитов, можно сказать, что они напрасно льстятся ныне подчинить себе Европу посредством таких шарлатанов, тогда как законы разума всенародно возглашаются и просвещение более и более распространяется – просвещение, которого одна искра может осветить бездну заблуждений. – Вы скажете, может быть, что Шрепфер брал деньги с обольщенных им людей? Но точно не известен ни один человек, с которого бы он брал их.

Сию минуту получил я записку от Платнера, в которой изъявляет он свое желание, чтобы я когда-нибудь пожил в Лейпциге долее и подал ему случай *заслужить мою благодарность*. – Профессор Бек, который очень

обязал меня своею ласкою, взял на себя искать гофмейстера для П *. Он будет писать ко мне в Цирих. – Простите, любезные друзья!

Веймар, июля 20

В путешествии своем от Лейпцига до Веймара не заметил я ничего, кроме прекрасной долины, на которой лежит город Наумбург, и маленькой деревеньки, где ребяташки набросали множество цветов к нам в коляску – к нам, говорю, потому что я ехал до Буттельштета с одним молодым французом, который был чем-то в свите французского посланника в Дрездене. Разумеется, что ребяташки хотели денег; мы бросили несколько грошей, и они громко закричали нам: «Спасибо!» – Француз, который не разумел ни одного слова по-немецки и которому я служил переводчиком, почти заплакал, когда нам пришлось расставаться. Впрочем, он был для меня совсем незанимателен.

На рассвете приехали мы в Буттельштет, где почтмейстер дал мне до Веймара маленькую колясочку. Я подарил постиллиону фарфоровую трубку, купленную мною на берлинской фабрике, а он из благодарности привез меня в Веймар довольно скоро.

Местоположение Веймара изрядно. Окрестные деревеньки с полями и рощицами составляют приятный вид. Город очень невелик, и, кроме герцогского дворца, не найдешь здесь ни одного огромного дома. – У городских ворот меня допрашивали; после чего предложил я караульному сержанту свои вопросы, а именно: «Здесь ли Виланд? Здесь ли Гердер? Здесь ли Гете?» ^{18} – «Здесь, здесь, здесь», – отвечал он, – и я велел постиллиону везти себя в трактир «Слона».

Наемный слуга немедленно был отправлен мною к Виланду, спросить, дома ли он? – «Нет, он во дворце». – «Дома ли Гердер?» – «Нет, он во дворце». – «Дома ли Гете?» – «Нет, он во дворце».

«Во дворце! Во дворце!» – повторил я, передразнивая слугу, взял трость и пошел в сад. Большой зеленый луг, обсаженный деревьями и называемый звездою, мне очень понравился; но еще более понравились мне дикие, мрачные берега стремительно текущего ручья, под шумом которого, сев на мшистом камне, прочитал я первую книгу «Фингала». – Люди, которые встречались мне в саду, глядели на меня с таким любопытством, с каким не смотрят на людей в больших городах, где на всяком шагу встречаются незнакомые лица.

Узнав, что Гердер наконец дома, пошел я к нему. «У него одна мысль, – сказал о нем какой-то немецкий автор, – и сия мысль есть целый мир». Я

читал его «Urkunde des menschlichen Geschlechts»,^[148] читал, многого не понимал; но что понимал, то находил прекрасным. В каких картинах изображает он творение! Какое восточное великолепие! Я читал его «Бога»,^[149] одно из новейших сочинений, в котором он доказывает, что Спиноза был глубокомысленный философ и ревностный читатель божества, от пантеизма и атеизма равно удаленный. Гердер сообщает тут и свои мысли о божестве и творении, прекрасные, утешительные для человека мысли. Чтение сей маленькой книжки усладило несколько часов в моей жизни. Я выписал из нее многие места, которые мне отменно понравились. Постойте – не найду ли чего-нибудь в записной книжке своей?.. Нашел одно место, которое, может быть, и вам понравится, – и для того включу его в свое письмо. Автор говорит о смерти: «Взглянем на лилию в поле; она впивает в себя воздух, свет, все стихии – и соединяет их с существом своим, для того чтобы расти, накопить жизненного соку и расцвести; цветет и потом исчезает. Всю силу, любовь и жизнь свою истощила она на то, чтобы сделаться матерью, оставить по себе образы свои и размножить свое бытие. Теперь исчезло явление лилии; она истлела в неутомимом служении природы; готовилась к разрушению с начала жизни. Но что разрушилось в ней, кроме явления, которое не могло быть долее, которое, – достигнув до высочайшей степени, заключавшей в себе вид и меру красоты ее, – назад обратилось? И не с тем, чтобы, лишась жизни, уступить место юнейшим живым явлениям, – сие было бы для нас весьма печальным символом, – нет! Напротив того, она, как живая, со всею радостью бытия произвела бытие их и в зародыше любезного вида предала его вечноцветущему саду времени, в котором и сама цветет. Ибо лилия не погибла с сим явлением; сила корня ее существует; она вновь пробудится от зимнего сна своего и восстанет в новой весенней красоте, подле милых дочерей бытия своего, которые стали ее подругами и сестрами. Итак, нет смерти в творении; или смерть есть не что иное, как удаление того, что не может быть долее, то есть действие вечно юной, неутомимой силы, которая по своему свойству не может ни минуты быть праздною или покоиться. По изящному закону премудрости и благости, все в быстрейшем течении стремится к новой силе юности и красоты – стремится и всякую минуту превращается». – Всем сочинении все ясно, и понятно, и согласно. Тут не бурнопламенное воображение юноши кружится на высотах и сверкает во мраке, подобно ночному метеору, блестящему и в минуту исчезающему, но мысль мудрого мужа, разумом освещаемая, тихо несется на легких крыльях веющего зефира – несется ко храму вечной истины и светлую струю свой путь

означает. – Я читал еще его «Парамифии»,^[150] нежные произведения цветущей фантазии, которые дышат греческим духом и прекрасны, как утренняя роза.

Он встретил меня еще в сенях и обошелся со мною так ласково, что я забыл в нем великого автора, а видел перед собою только любезного, приветливого человека. – Он расспрашивал меня о политическом состоянии России, но с отменной скромностью. Потом разговор обратился на литературу, и, слыша от меня, что я люблю немецких поэтов, спросил он, кого из них предпочитаю всем другим? Сей вопрос привел меня в затруднение. «Клопштока, – отвечал я запинаясь, – почитаю самым выспренным из певцов германских». – «И справедливо, – сказал Гердер, – только его читают менее, нежели других, и я знаю многих, которые в „Мессиаде“ на десятой песне остановились, с тем чтоб уже никогда не приниматься за эту славную поэму». – Он хвалил Виланда, а особливо Гете – и, велев маленькому своему сыну принести новое издание его сочинений,^[151] читал мне с живостью некоторые из его прекрасных мелких стихотворений. Особливо нравится ему маленькая пиеса, под именем «Meine Göttin»,^[152] которая так начинается:

Welcher Unsterblichen
Soll der höchste Preis seyn?
Mit niemand streit'ich,
Aber ich geb'ihn
Der ewig beweglichen,
Immer neuen
Seltsamsten Tochter Jovis,
Seinem Schooskinde,
Der Phantasie,^[153] и проч.

«Это совершенно по-гречески, – сказал он, – и какой язык! Какая чистота! Какая легкость!» – Гердер, Гете и подобные им, присвоившие себе дух древних греков, умели и язык свой сблизить с греческим и сделать его самым богатым и для поэзии удобнейшим языком; и потому ни французы, ни англичане не имеют таких хороших переводов с греческого, какими обогатили ныне немцы свою литературу. Гомер у них Гомер; та же неискусственная, благородная простота в языке, которая была душою древних времен, когда царевны ходили по воду и цари знали счет своим

баранам. – Гердер – любезный человек, друзья мои. Я простился с ним до завтрашнего дня.

В церковь св. Якова надобно было зайти для того, чтобы видеть там на стене барельеф покойного профессора Музеуса, сочинителя «Физиогномического путешествия» и «Немецких народных сказок». Под барельефом стоит на книге урна с надписью: «Незабвенному Музеусу». – Чувствительная Амалия!^[154] Потомство будет благодарить тебя за то, что ты умела чтить дарования.

Июля 21

Вчера два раза был я у Виланда, и два раза сказали мне, что его нет дома. Ныне пришел к нему в восемь часов утра и увидел его. Вообразите себе человека довольно высокого, тонкого, долголицего, рябоватого, белокурого, почти безволосого, у которого глаза были некогда серые, но от чтения стали красные – таков Виланд. «Желание видеть вас привело меня в Веймар», – сказал я. «Это не стоило труда!» – отвечал он с холодным видом и с такою ужимкою, которой я совсем не ожидал от Виланда. Потом спросил он, как я, живучи в Москве, научился говорить по-немецки? Отвечая, что мне был случай говорить с немцами, и притом с такими, которые хорошо знают свой язык, упомянул я о Л***.^[155] Тут разговор обратился на сего несчастного человека, который некогда был ему очень знаком. Между тем мы всё стояли, из чего и надлежало мне заключить, что он не намерен удерживать меня долго в своем кабинете. «Конечно, я пришел не вовремя?» – спросил я. – «Нет, – отвечал он, – впрочем, поутру мы обыкновенно чем-нибудь занимаемся». – «Итак, позвольте мне прийти в другое время; назначьте только час. Еще повторяю вам, что я приехал в Веймар единственно для того, чтобы вас видеть». *Виланд*. Чего вы от меня хотите? – *Я*. Ваши сочинения заставили меня любить вас и возбудили во мне желание узнать автора лично. Я ничего не хочу от вас, кроме того, чтобы вы позволили мне видеть себя. – *В*. Вы приводите меня в замешательство. Сказать ли вам искренно? – *Я*. Скажите. – *В*. Я не люблю новых знакомств, а особливо с такими людьми, которые мне ни по чему не известны. Я вас не знаю. – *Я*. Правда; но чего вам опасаться? – *В*. Ныне в Германии вошло в моду путешествовать и описывать путешествия. Многие переезжают из города в город и стараются говорить с известными людьми только для того, чтобы после все слышанное от них напечатать. Что сказано было между четырех глаз, то выдается в публику. Я на себя не надежен; иногда могу быть *слишком* откровенен. – *Я*. Вспомните, что я не немец и не

могу писать для немецкой публики. К тому же вы могли бы обязать меня словом честного человека. – В. Но какая польза нам знакомиться? Положим, что мы сойдемся образом мыслей и чувств; да наконец не надобно ли будет нам расстаться? Ведь вы здесь не будете жить? – Я. Для того чтобы иметь удовольствие вас видеть, могу остаться в Веймаре дней десять и, расставшись с вами, радовался бы тому, что узнал Виланда – узнал как отца среди семейства и как друга среди друзей. – В. Вы очень искренны. Теперь мне должно вас остерегаться, чтобы вы с этой стороны не заметили во мне чего-нибудь дурного. – Я. Вы шутите. – В. Нимало. Сверх того, мне бы совестно было, если бы вы точно для меня остались здесь жить. Может быть, в другом немецком городе, например, в Готе, было бы вам веселее. – Я. Вы – поэт, а я люблю поэзию; как бы приятно для меня было, если бы вы позволили мне хотя час провести с вами в разговоре о пленительных красотах ее? – В. Я не знаю, как мне говорить с вами. Может быть, вы учитель мой в поэзии. – Я. О! Много чести. Итак, мне остается проститься с вами в первый и в последний раз. – В. (*посмотрев на меня и с улыбкою*). Я не физиогномист; однако ж вид ваш заставляет меня иметь к вам некоторую доверенность. Мне нравится ваша искренность; иявижу еще первого русского такого, как вы. Я видел вашего Ш*, острого человека, налитанного духом этого старика (*указывая на бюст Вольтеров*). Обыкновенно ваши единоплеменники стараются подражать французам; а вы... – Я. Благодарю. – В. Итак, если вам угодно провести со мною часа два-три, то приходите ко мне ныне после обеда, в половине третьего. – Я. Вы хотите быть только снисходительны! – В. Хочу иметь удовольствие быть с вами, говорю я, и прошу вас не думать, чтобы вы одни на свете были искренны. – Я. Простите. – В. В третьем часу вас ожидаю. – Я. Буду. – Простите!

Вот вам подробное описание нашего разговора, который сперва зацепил заживо мое самолюбие. Окончание успокоило меня несколько; однако ж я все еще в волнении пришел от Виланда к Гердеру и решился на другой день ехать из Веймара.

Гердер принял меня с такой же кроткою ласкою, как вчера, – с такою же приветливою улыбкою и с таким же видом искренности.

Мы говорили об Италии, откуда он недавно возвратился и где остатки древнего искусства были достойным предметом его любопытства. Вдруг пришло мне на мысль: что, если бы я из Швейцарии пробрался в Италию и взглянул на Медицисскую Венеру, Бельведерского Аполлона, Фарнезского Геркулеса, Олимпийского Юпитера – взглянул бы на величественные развалины древнего Рима и вздохнул бы о тленности всего подлунного? А сия мысль сделала то, что я на минуту совсем забылся.

Я признался Гердеру, обратив разговор на его сочинения, что «Die Urkunde des menschlichen Geschlechts» казалась мне по большей части непонятною. «Эту книгу сочинял я в молодости, – отвечал он, – когда воображение мое было во всей своей бурной стремительности и когда оно еще не давало разуму отчета в путях своих». – «Дух ваш, – сказал я, прощаясь с ним, – известен мне по вашим творениям; но мне хотелось иметь ваш образ в душе моей, и для того я пришел к вам – теперь видел вас и доволен».

Гердер невысокого роста, посредственной толщины и лицом очень не бел. Лоб и глаза его показывают необыкновенный ум (но я боюсь, чтобы вы, друзья мои, не почли меня каким-нибудь физиогномическим колдуном). Вид его важен и привлекателен; в мине его нет ничего принужденного, ничего такого, что бы показывало желание *казаться чем-нибудь*. Он говорит тихо и внятно; дает вес словам своим, но не излишний. Едва ли по разговору его можно подозревать в Гердере скромного любимца муз; но великий ученый и глубокомысленный метафизик скрыт в нем весьма искусно.

Приятно, милые друзья мои, видеть наконец того человека, который был нам прежде столько известен и дорог по своим сочинениям; которого мы так часто себе воображали или вообразить старались. Теперь, мне кажется, я еще с большим удовольствием буду читать произведения Гердерова ума, вспоминая вид и голос автора.

В 9 часов вечера. Я пришел к Виланду в назначенное время. Маленькие прекрасные дети его окружили меня на крыльце. «Батюшка вас дожидается», – сказал один. – «Подите к нему», – сказали двое вместе. – «Мы вас проводим», – сказал четвертый. Я их всех перецеловал и пошел к их батюшке.

«Простите, – сказал, вошедши к нему, – простите, если давешнее мое посещение было для вас не совсем приятно. Надеюсь, что вы не сочтете наглостию того, что было действием энтузиазма, произведенного во мне вашими прекрасными сочинениями». – «Вы не имеете нужды извиняться, – отвечал он, – я рад, что этот жар к поэзии так далеко распространяется, тогда как он в Германии пропадает». – Тут сели мы на канапе. Начался разговор, который минута от минуты становился живее и для меня занимательнее. Говоря о любви своей к поэзии, сказал он: «Если бы судьба определила мне жить на пустом острове, то я написал бы все то же и с тем же старанием выработывал бы свои произведения, думая, что музы слушают мои песни». Он желал знать, пишу ли я? И не переведено ли что-нибудь из моих безделок на немецкий? Я сыскал в записной своей книжке

перевод «Печальной весны».^[156] Прочитав его, сказал он: «Жалею, если вы часто бываете в таком расположении, какое здесь описано. Скажите, – потому что теперь вы вселили в меня желание узнать вас короче, – скажите, что у вас в виду?» – «Тихая жизнь, – отвечал я. – Окончив свое путешествие, которое предпринял единственно для того, чтобы собрать некоторые приятные впечатления и обогатить свое воображение новыми идеями, буду жить в мире с натурою и с добрыми, любить изящное и наслаждаться им». – «Кто любит муз и любим ими, – сказал Виланд, – тот в самом уединении не будет празден и всегда найдет для себя *приятное* дело. Он носит в себе источник удовольствия, творческую силу свою, которая делает его счастливым».

Разговор наш касался и до философов. – «Никто из систематиков, – сказал Виланд, – не умеет так *обольщать* своих читателей, как Боннет; а особливо таких читателей, которые имеют живое воображение. Он пишет ясно, приятно и заставляет любить себя и философию свою». – О Канте говорит Виланд с почтением; но, кажется, не ломает головы над его метафизикою. Он показывал мне новое сочинение своего зятя, профессора Реингольда, под титулом «Versuch einer neuen Theorie des menschlichen Vorstellungsvermögens»,^[157] которое только что отпечатано и которое должно объяснить Кантову метафизику. «Прочтите его, – сказал он мне, – если вы читаете книги такого рода». – «Ваш „Агатон“ или „Оберрон“ для меня приятнее, – отвечал я, – однако ж иногда из любопытства заглядываю и в область философии». – «А разве „Агатон“ не есть философическая книга? – сказал он. – В нем решены самые важнейшие вопросы философии». – «Правда, – сказал я, – итак, прошу извинить меня». —

С любезною искренностью открывал мне Виланд мысли свои о некоторых важнейших для человечества предметах. Он ничего не отвергает, но только полагает различие между чаянием и уверением. Его можно назвать скептиком, но только в хорошем значении сего слова.

Ему, казалось, приятно было слышать от меня, что некоторые из важнейших его сочинений переведены на русский. «Но каков перевод?» – спросил он. – «Не может нравиться тем, которые знают оригинал», – отвечал я. – «Такова моя участь, – сказал он, – и французские, и английские переводчики меня обезобразили».

В шесть часов я встал. Он взял мою руку и сказал, что от всего сердца желает мне счастья в жизни. «Вы видели меня таковым, каков я подлинно, – примолвил он. – Простите и хотя изредка уведомляйте меня о себе. Я всегда буду отвечать вам, где бы вы ни были. Простите!» – Тут мы

обнялись. Мне казалось, что он был несколько тронут; а это самого меня тронуло. На крыльце мы в последний раз пожали друг у друга руки и расстались – может быть, навечно. Никогда, никогда не забуду Виланда! Если бы вы видели, друзья мои, с какою откровенностью, с каким жаром говорит сей почти шестидесятилетний человек и как все черты лица его оживляются в разговоре! Душа его еще не состарилась, и силы ее не истощились. «Клелия и Синибальд», последняя из его поэм, писана с такою же полнотою духа, как «Оберрон», как «Музарион» и проч. Кажется еще, что он в последних своих творениях ближе и ближе к совершенству подходит. Тридцать пять лет известен Виланд в Германии как автор. Самые первые его сочинения, например «Нравоучительные повести», «Симпатии» и проч., обратили на него внимание публики. Хотя строгая критика, которая тогда уже начиналась в Германии, и находила в них много недостатков, однако ж отдавала автору справедливость в том, что он имеет изобретательную силу, богатое воображение и живое чувство. Но эпоха славы его началась с «Комических повестей», признанных в своем роде превосходными и на немецком языке тогда единственными. Удивлялись его остроте, вкусу, красоте языка, искусству в повествовании. Потом издавал он поэму за поэмою, и последняя всегда казалась лучшею. Давно уже Германия признала его одним из первых своих певцов; он покоится на лаврах своих, но не засыпает. Если французы оставили наконец свое старое худое мнение о немецкой литературе (которое некогда она в самом деле заслуживала, то есть тогда, как немцы прилежали только к сухой учености), – если знающие и справедливейшие из них соглашаются, что немцы не только во многом сравнялись с ними, но во многом и превзошли их, то, конечно, произвели это отчасти Виландовы сочинения, хотя и нехорошо на французский язык переведенные.

Вчера ввечеру, идучи мимо того дома, где живет Гете, видел я его смотрящего в окно, – остановился и рассматривал его с минуту: важное греческое лицо! Ныне заходил к нему; но мне сказали, что он рано уехал в Йену. – В Веймаре есть еще и другие известные писатели: Бертух, Боде и проч. Бертух перевел с гишпанского «Дон-Кишота» и выдавал «Магазин гишпанской и португальской литературы»;^[158] а Боде славится переводом Стернова «Путешествия» и «Тристрама Шанди». Герцогиня Амалия любила дарования. Она призвала к своему двору Виланда и поручила ему воспитание молодого герцога; она призвала Гете, когда он прославился своим «Вертером»; она же призвала и Гердера в начальники здешнего духовенства.

Простите, друзья мои! Ясная ночь вызывает меня из комнаты. Беру

свой страннический посох – иду смотреть на засыпающую природу и странствовать глазами по звездному небу.

Веймар, июля 22

Мне рассказывали здесь разные анекдоты о нашем Л*. Он приехал сюда для Гете, друга своего, который вместе с ним учился в Стразбурге и был тогда уже при веймарском дворе. Его приняли очень хорошо, как человека с дарованиями; но скоро заметили в нем великие странности. Например, однажды явился он на придворный бал в домине, в маске и в шляпе и в ту минуту, как все обратили на него глаза и ахнули от удивления, спокойно подошел к знатнейшей даме и звал ее танцевать с собою. Молодой герцог любил фарсы и рад был сему забавному явлению, которое доставило ему удовольствие смеяться от всего сердца; но чиновные господа и госпожи, составляющие веймарский двор, думали, что дерзостному Л* надлежало за то по крайней мере отрубить голову. – С самого своего приезда Л* объявил себя влюбленным во всех молодых, хороших женщин и для каждой из них сочинял любовные песни. Молодая герцогиня печалилась тогда о кончине сестры своей; он написал ей на сей случай прекрасные стихи, но не преминул в них уподобить себя Иксиону, дерзнувшему влюбиться в Юпитерову супругу. – Однажды он встретился с герцогинею за городом и, вместо того чтобы поклониться ей, упал на колени, поднял вверх руки и таким образом дал ей мимо себя проехать. На другой день Л* всем знакомым разослал по бумажке, на которой нарисована была герцогиня и он сам, стоящий на коленях с поднятыми вверх руками. – Но ни поэзия, ни любовь не могли занять его совершенно. Он мог еще думать о реформе, которую, по его мнению, надлежало сделать в войске его светлости, и для того подавал герцогу разные планы, писанные на больших листах. – За всем тем его терпели в Веймаре, а дамы находили приятным. Но Гете наконец с ним поссорился и принудил его выехать из Веймара. Одна дама взяла его с собою в деревню, где несколько дней читал он ей Шекспира, и потом отправился странствовать по белу свету. —

Эрфурт, 22 июля

В два часа приехал я сюда из Веймара, остановился в трактире (которого имени, право, не знаю); выпил чашку кофе, пошел на так называемую Петрову гору в бенедиктинский монастырь и просил там первого встретившегося мне отца указать то место, где погребен граф Глейхен. Толстый отец (NB: монастырь очень богат) охриплым голосом сказал мне, чтобы я шел к отцу церковнику. Мне надлежало идти через

длинные сени или коридор, где в печальном сумраке представились глазам моим распятия и лампы угасающие. Вожатый оставил меня в коридоре и пошел искать отца церковника. Трудно описать, что чувствовал я, прохаживаясь один, в глубокой тишине, по сему темному коридору и смотря на лампы и на старые картины, на которых изображены были разные страшные сцены. Мне казалось, что я пришел в мрачное жилище фанатизма. Воображение мое представило мне сие чудовище во всей его гнусности, с поднявшимися от ярости волосами, с клубящеюся у рта пеною, с пламенными, бешеными глазами и с кинжалом в руке, прямо на сердце мое устремленным. Я затрепетал, и холодный ужас разлился по моим жилам. Из глубины прошедших веков загремели в мой слух адские заклинания; но, к счастью, в самую сию минуту пришел мой вожатый, и фантомы моего воображения исчезли. «Отец церковник, – сказал он, – вместе с другими отцами сидит за вечернею трапезою». – «Да не можешь ли ты сам показать мне гроб Глейхена?» – спросил я. «Могу, – отвечал он, – если вы только его хотите видеть». – Вошедши в церковь, поднял он две широкие скованные доски, и я увидел большой камень. – Выслушайте историю.

Когда святая ревность выгнать неверных из земли обетованной заразила всю Европу и благочестивые рыцари, крестом ознаменованные, устремились к Востоку, тогда Глейхен, имперский граф, оставил свое отечество и с верною дружиною направил путь свой к странам азиатским. Не буду описывать вам великих дел его мужества. Скажу только, что самые храбрейшие рыцари христианства удивлялись его подвигам. Но небесам угодно было искусить несчастием веру героя – граф Глейхен попался в плен к неверным и стал невольником знатного магометанца, который велел ему смотреть за своим садом. Граф, несчастный граф поливал цветы и стенал в тяжком рабстве. Но тщетны были бы все его стенания и все обеты, если бы прекрасная сарацинка, милая дочь господина его, не обратила взоров нежной любви на злосчастного героя. Часто в густых тенях вечера внимала она жалобным песням его; часто видела невольника, молящегося со слезами, и сама слезы проливала. Робкая стыдливость долгое время не допускала ее изъясниться и сказать ему, что она берет участие в его печали. Наконец искра воспылала – стыдливость исчезла – любовь не могла уже таиться в сердце и огненною рекою излилась из уст ее в душу изумленного графа. Ангельская невинность ее, цветущая красота и способ разорвать цепь неволи не дали ему вспомнить, что у него была супруга. Он клялся сарацинке вечно любить ее, если она согласится оставить своего отца, отечество и бежать с ним в страны христианские. Но она уже не помнила

ни отца, ни отечества – граф был для нее все. Прекрасная летит, приносит ключ, отпирает дверь в поле – летит с своим возлюбленным, и тихая ночь, одев их мрачным своим покрывалом, благоприятствует их побегу. Счастливо достигают они до отечества графского. Подданные лобызуют своего государя и отца, которого считали они погибшим, и с любопытством смотрят на его статную спутницу, покрытую флером. При входе во дворец графиня бросается в его объятия. «Ты опять меня видишь, любезная супруга! – говорит граф. – Благодарю ее (указывая на свою избавительницу), – она все для меня оставила. Ах! я клялся любить ее!» – Граф хочет рукою закрыть текущие слезы свои. Сарацинка открывает свое лицо, бросается на колени перед графинею и, рыдая, говорит: «Я теперь раба твоя!» – «Ты сестра моя, – отвечает графиня, подымая и целуя сарацинку, – супруг мой будет твоим супругом; разделим сердце его». Граф удивляется великодушию супруги – прижимает ее к своему сердцу – все обнимаются и клянутся любить друг друга до гроба. Небеса благословили сей тройственный союз, и сам папа утвердил его. Мир и счастье обитали в графском доме, и верные супруги были погребены вместе – в Эрфурте, в церкви бенедиктинского монастыря – и покрыты одним большим камнем, на котором рука усердного художника вырезала их изображения. Я видел сей большой камень и благословил память супругов.

Взглянув с Петровой горы на город и окрестности, пошел я в сиротский дом и видел там келью, в которой Мартин Лютер жил от 1505 до 1512 года. На стенах сей маленькой, темной горницы написана его история. На столике лежит немецкая Библия первого издания, которую употреблял сам Лютер и в которой все белые страницы исписаны его рукою. «Можно ли, – думал я, – чтобы простой монах, живший во мраке этой кельи, сделал не только великую реформу в римской церкви, вопреки императору и папе, но и великую нравственную революцию в свете!» ^{19} – Вышедши из кельи, увидел я в коридоре множество странных картин. На одной изображен император, к которому смерть в виде скелета подходит и докладывает с низким поклоном, что ему пора сложить с себя земное величие и отправиться на тот свет. На другой представлена актриса, а позади ее смерть в царском одеянии, поднимающая кинжал с маскою. На третьей изображены содержатель типографии в штофном халате и в большом парике, помощник его и смерть, хотящая подкосить ноги первого; а внизу подписано, что и содержатели типографий умереть должны! И проч., и проч.

Гота, 23 июля в полночь

Я приехал сюда в одиннадцать часов утра и остановился в трактире «Колокольчика». Сильная головная боль заставила меня пролежать весь день. Вечеру я встал, ходил по городу и видел перед дворцом иллюминацию и фейерверк, которым готский герцог веселил маленького веймарского принца, приехавшего к нему в гости.

Франкфурт-на-Майне, июля 28

Вчера, милые друзья мои, приехал я во Франкфурт. Дорога от Готы была для меня очень скучна. Почти на каждой станции надлежало мне ночевать (я ехал на ординарной почте) – или по крайней мере стоять по нескольку часов. Дороги везде прескверные, так что надобно ехать всё шагом, и даже самые улицы в маленьких городках и местечках так дурны, что с трудом проехать можно. Правда, я сидел в коляске очень просторно, то есть почти всё один; но чрезмерно тихая езда и остановки были для меня несносны. К тому же почти ничего любопытного не встречалось глазам моим, иясомневаюсь, чтобы сам Йорик^[159] нашел тут много занимательного для своего сердца.

Только дикие окрестности Эйсенаха произвели во мне некоторые приятные чувства, напомнив мне первобытную дикость всей природы. Еще заметил я замок Вартбург, который лежит на горе, недалеко от Эйсенаха, и в котором после Вормсского сейма содержан был Мартин Лютер. Тут возвышаются два камня, в которых воображение находит нечто похожее на человеческие фигуры и о которых, по старому преданию, рассказывается следующая сказка.

Молодой монах влюбился в молодую монахиню. Тщетно сражался он с своею любовью; напрасно хотел умерщвлять плоть свою постом и трудами! Кровь его кипела и волновалась. Образ нежной монахини всегда присутствовал в душе его. Он хотел молиться; но язык его, послушный сердцу, не мог произнести ничего, кроме: «Люблю! Люблю! Люблю!» Часто ходил он в тот монастырь, где заключена была прекрасная; часто, смотря на нее, лил пламенные слезы и видел огненный румянец на лице своей возлюбленной, видел симпатические слезы в глазах ее. Сердца их разумели друг друга, страшились своих чувств и – питали их. Наконец молодой монах трепещущею рукою вручил своей любезной следующее письмо: «Милая сестра! Недалеко от монастырских ворот, в правую сторону, возвышается крутая гора. Я буду там при наступлении ночи. Или ты, прекрасная, будешь там же, или я свергнусь с высокого утеса и умру временною и вечною смертью». Сердце ее затрепетало. «Мне видеть его, – думает она, – мне видеть его за стеною монастырскою и быть с ним одной в

тишине ночи? Но я должна спасти его от страшного греха самоубийства». – Она находит способ выйти ночью из монастыря – идет во мрак и страшится всякого шороха – всходит на гору и вдруг чувствует себя в объятиях своего страстного обожателя. Они забывают все, трепещут в восторге – но вдруг кровь их хладеет, немеют члены, сердца перестают биться, и небесный гнев превращает их в два камня. «Вы видите их», – сказал мне постиллион, указывая на верх горы. – Из сей народной сказки сочинил Виланд прекрасную поэму, под титулом: «Der Mönch und die Nonne». ^[160]

Проезжая через маленькое местечко близ Гиршфельда, постиллион мой остановился у дверей одного дома. Я счел этот дом трактиром, вошел в него и первому человеку, который встретил меня с низким поклоном, велел принести бутылку воды и рейнвейна, сел на стул и не думал снимать своей шляпы. В комнате было еще человека три, которые с великою учтивостию начинали говорить со мною. Принесли рейнвейн. Я пил, хвалил вино и наконец спросил, что надобно заплатить за него? – «Ничего, – отвечали мне с поклоном, – вы не в трактире, а в гостях у честного мещанина, который очень рад тому, что вам полюбили его рейнвейн». Вообразите мое удивление! Я схватил с себя шляпу и стал извиняться. «Ничего! Ничего! – сказал мне хозяин. – Только прошу вас быть благосклонным к моей дочери, которая поедет с вами в коляске». – «Буду почтителен и все, что вам угодно», – отвечал я. Пришла дочь его, девушка лет в двадцать, изрядная собою, в зеленом суконном сертуке и в черной шляпе. Мы рекомендовались друг другу и сели в коляске рядом. Каролина (так называлась девушка) сказала мне, что она едет в деревню к своей тетке. Я не хотел беспокоить ее никакими дальнейшими вопросами, вынул из кармана своего «Vicar of Wakefield» и начал читать. Спутница моя стала зевать, жмуриться, дремать, и наконец голова ее упала ко мне на плечо. Я не смел тронуться, чтобы не разбудить ее; но вдруг нас так тряхнуло, что она отлетела от меня в другой угол коляски. Я предложил ей большую свою подушку. Она взяла ее, положила себе под голову и опять заснула. Между тем смерклося, и наступила ночь. Каролина спала крепким сном и не просыпалась до самого того места, где надлежало нам с нею расстаться. Что принадлежит до меня, то я вел себя так честно, как целомудренный рыцарь, боящийся одним нескромным взором оскорбить стыдливость вверенной ему невинности. Редки такие примеры в нынешнем свете, друзья мои, редки! Каролина, по своей невинности, не думала благодарить меня за мою воздержность и простилась со мною очень сухо. Бог с нею!

Нигде во всю дорогу не было мне так грустно, как в Гиршфельде. Я приехал туда в пять часов вечера и должен быть пробыть там до полуночи.

Город не представлял мне ничего любопытного, я не знал, что делать. Читать не мог – писать тоже, хотя почтмейстерша, по моему требованию, и принесла мне целую тетрадь бумаги. Сидя подгорюнившись, думал я о друзьях отдаленных, чувствовал сиротство свое и грустил.

Сюда приехал я ночью в дождь и остановился в трактире «Звезды», где отвели мне хорошую комнату.

Франкфурт, 29 июля

Ненастье продолжается. Сажу в своей горнице под растворенным окном, и хотя косо́й дождь мочит меня и разливает дрожь по моей внутренности, однако ж каменная русская грудь не боится простуды, и питомец железного севера смеется над слабым усилием маинских бурь.

Но такой ли погоды ожидал я в здешнем кротком климате? Более и более удаляясь от севера, радовался я мыслию, что оставляю за собою холод и сырость, все сердитое, жестокое и угрюмое в натуре. «Там, где течет Маин и Рейн, – думал я, – там небо чисто, дни красны, и одни зефиры струят воздух; там цветущая природа ликует в ярком свете лучей солнечных». Но – приезжаю и нахожу пасмурную осень среди лета. Только я намерен переупрямить погоду; и клянусь титанами и страшным Стиксом, что не выеду из Франкфурта, не дождавшись ясных дней.

Вчера был я только у Виллемера, богатого здешнего банкира. Мы говорили с ним о новых парижских происшествиях. Что за дела там делаются! Думал ли наш А* (который уехал отсюда недели за две перед сим) видеть в Париже такие сцены?

Не воображайте, чтобы мне скучно было сидеть в своей горнице. Публичная библиотека в трех шагах от трактира. Вчера я брал из нее «Фиеско»,^[161] Шиллерову трагедию, и читал ее с великим удовольствием от первой страницы до последней. Едва ли не всего более тронул меня монолог Фиеска, когда он, уединясь в тихий час утра, размышляет, лучше ли ему остаться простым гражданином и за услуги, оказанные им отечеству, не требовать никакой награды, кроме любви своих сограждан, или воспользоваться обстоятельствами и присвоить себе верховную власть в республике. Я готов был упасть перед ним на колени и воскликнуть: «Избери первое!» Какая сила в чувствах! Какая живопись в языке! Вообще «Фиеско» тронул меня более, нежели «Дон-Карлос», хотя сего последнего видел я на театре и хотя критика отдает ему преимущество. – Ныне читал я также с великим удовольствием Ифландовы драмы,^[162] которые можно назвать прекрасными семейственными картинами и которые, верно,

полюбились бы нашей публике, если бы искусный человек обработал их для русского театра.

В одном трактире со мною живет молодой доктор медицины, который вчера пришел ко мне пить чай и просидел у меня весь вечер. По его мнению, все зло в мире происходит оттого, что люди не берегут своего желудка. «Испорченный желудок, – сказал он, – бывает источником не только всех болезней, но и всех пороков, всех дурных навыков, всех злых дел. Отчего моралисты так мало исправляют людей? Оттого, что они считают их здоровыми и говорят с ними как со здоровыми, тогда как они больны и когда бы, вместо всех словесных убеждений, надлежало им дать несколько приемов очистительного. Беспорядок душевный бывает всегда следствием телесного беспорядка. Когда в машине нашей находится все в совершенном равновесии, когда все сосуды действуют и отделяют исправно разные жидкости, одним словом, когда всякая часть отправляет ту должность, которую поручила ей натура, тогда и душа бывает здорова; тогда человек рассуждает и действует хорошо; тогда бывает он мудр, и добродетелен, и весел, и счастлив». – «Итак, если бы у Калигулы не был испорчен желудок, то он не вздумал бы построить моста на Средиземном море?» – спросил я. «Без сомнения, – отвечал мой доктор, – и если бы лекарь его догадался дать ему несколько очистительных пилюль, то смешное предприятие было бы через час оставлено. Отчего в золотом веке были люди и добры, и счастливы? Конечно, оттого, что они, питаясь только растениями и молоком, никогда не обременяли и не засоряли своего желудка. Наконец, скажу вам, что если бы я был государем, то велел бы всех преступников вместо наказания отсылать в больницы и лечить до того, пока они сделались бы добрыми людьми и полезными гражданами. Со временем предложу публике свои мнения и доказательства, которые, может быть, сделают революцию в философии. Тогда вспомните, государь мой, что вы от меня слышали». – Я удивлялся логике господина доктора.

Июля 30

Наконец франкфуртское небо перестало хмурить брови и прояснилось. Пользуясь хорошим временем, ходил я так много, что теперь чувствую боль в ногах.

Трактирщик мой водил меня по здешним садам. В одном из них встретились мы с хозяином, почтенным стариком и, как сказывают, очень богатым человеком. Узнав от моего жогаго, что я путешествующий иностранец, он взял меня за руку и сказал: «Я сам покажу вам все то, что можно назвать изрядным в моем саду. Какова эта темная аллея?» – «В

жаркое время тут хорошо прохладиться», – отвечал я. – «А эта маленькая беседка под ветвями каштановых деревьев?» – «Тут прекрасно сидеть ввечеру, когда луна покажется на небе и свет свой прольет сквозь развесистые ветви на эту бархатную зелень». – «А этот холмик?» – «Ах! Как бы я желал встретить тут восходящее солнце!» – «А этот маленький лесок?» – «Тут, верно, поют весною соловьи так спокойно и весело, как в самых диких местах природы, нимало не подозревая, чтобы сюда заманивало их искусство». – «Что вы скажете об этом домике?» – «Он построен на то, чтоб быть жилищем философа, любящего простоту, уединение и тишину». – «Теперь вам надобно согласиться выпить у меня чашку кофе». – Мы вошли в домик и сели на деревянных стульях вокруг маленького столика. Нам подали кофе. Я с удовольствием поблагодарил хозяина за его гостеприимство.

В ненастное время казалось мне, что Франкфурт пуст, а теперь кажется, что он очень многолюден, – оттого, что в дурную погоду сидели все дома, кроме тех, которым уже по крайней нужде надлежало корчиться под дождем и топтать ногами грязь на улицах, а теперь, обрадовавшись солнцу, все, как муравьи, ползут из своих нор.

По своей цветущей и обширной коммерции Франкфурт есть один из богатейших городов в Германии. Кроме некоторых дворянских фамилий, здесь поселившихся, всякий житель – купец, то есть производит какой-нибудь торг. На всякой улице множество лавок, наполненных товарами. Везде знаки трудолюбия, промышленности,^[163] изобилия. Ни один нищий не подходил ко мне на улице просить милостыни.

Только нельзя назвать Франкфурта хорошо выстроенным городом. Дома почти все старинные и расписаны разными красками, что для глаз весьма странно.

Еще скажу то, что здесь в трактирах стол очень дешев. Мне приносят всегда пять хорошо приготовленных блюд и еще десерт, на двух или трех тарелках, и за это плачу не более 50 копеек. Вино также очень дешево. Бутылка молодого рейнвейна стоит 10 копеек, а старого – 40. —

После обеда, когда солнце укротило жар лучей своих, вышел я за город. Сады, сельские домики, луга и винограды представились глазам моим. Сколько ландшафтов, достойных кисти Салватора Розы или Пуссеновой!

Уединенный домик с садиком, недалеко от большой дороги, прельстил меня, и я пошел к нему по узенькой тропинке. Два мальчика, игравшие на траве, бросились ко мне навстречу; но, закричав: «Это не он! Это не Каспар!», побежали назад и скрылись в домик. Старое каштановое дерево

призывало меня в свою тень – я сел под его ветвями. Минут через пять мальчики опять выбежали, а за ними вышла женщина лет в тридцать, приятная лицом, в белой кофточке и в соломенной шляпке. Она села на крыльце и смотрела с улыбкою на играющих мальчиков, с такою улыбкою, по которой легко было узнать, что она мать их. Они уговорились бегать взапуски; взявшись за руки, отошли от крыльца шагов тридцать, остановились, выставили вперед грудь и правую ногу и дожидались, чтобы мать подала им знак. Она махнула им платком, и они пустились, как из лука стрела. Большой опередил меньшого, прибежал к матери и, закричав: «Я первый!», бросился целовать ее. Меньшой прибежал и также кинулся к ней на шею. Любезная картина семейственного счастья! Может быть, в городе она бы меньше меня тронула, но среди сельских красот сердце наше живее чувствует все то, что принадлежит к составу истинного счастья, влияющего благодетельным существом в сосуд жизни человеческой. – Прости, уединенный домик! Мир, тишина и покой да будут всегда наследственным добром твоих обитателей! А ты, ветвистое дерево! Долго, долго еще принимай странников в тень свою – и под кровом шумящих листьев твоих да веселятся они веселием невинности и добродетели!

Франкфурт, июля 31

Ныне ездил я в деревню Берген, которой имя очень известно: подле нее было в 1759 году, 13 апреля, кровопролитное сражение между французами и соединенною ганноверскою и гессенскою армиею; последнею командовал брауншвейгский принц Фердинанд, а первыми, которые остались победителями, маршал Брoльи.

В здешней ратуше, называемой Римлянином (Römer), показывают путешественникам ту залу, в которой обедает новоизбранный император и где стоят портреты всех императоров, от Конрада I до Карла VI. Кто не пожалует червонца, тот там же в архиве может видеть и славную «Золотую буллу», или договор императора Карла IV с государственными чинами, написанный на сорока трех пергаментных листах и названный сим именем от золотой печати, висящей на черных и желтых шелковых снурках. На сей печати изображен император, сидящий на троне, а с другой стороны Римская крепость, или так называемый замок св. Ангела (il castello di S. Angelo), с словами aurea Roma (золотой Рим), которые расположены в трех линиях таким образом:

aur ear oma

Я был и в кафедральной церкви католиков, где по уставу майнцский архиепископ коронует избранного императора. Тут бросилась мне в глаза статуя Марии в белом кисейном платье. «Часто ли шьют ей обновы?» – спросил я у моего провожатого. – «Из году в год», – отвечал он. Хотя главная церковь в городе принадлежит католикам, однако господствующая религия во Франкфурте есть лютеранская, и католицкому духовенству запрещено ходить в процессии по улицам. Здесь очень много и реформатов, большею частью французов, выгнанных из отечества Лудовиком XIV, но они не могут иметь участия в правлении города и даже не смеют всенародно отправлять свои богослужения в таком городе, где жида имеют синагогу. Такая нетерпимость, конечно, не служит к чести франкфуртского правительства.

Жидов считается здесь более 7000. Все они должны жить в одной улице, которая так нечиста, что нельзя идти по ней, не зажав носа. Жалко смотреть на сих несчастных людей, столь униженных между человеками! Платье их состоит по большей части из засаленных лоскутков, сквозь которые видно нагое тело. По воскресеньям, в тот час, когда начинается служба в христианских церквях, запирают их улицу, и бедные жида, как невольники, сидят в своей клетке до окончания службы; и на ночь запирают их таким же образом. Сверх сего принуждения, если случится в городе пожар, то они обязаны везти туда воду и тушить огонь.

Между франкфуртскими жидами есть и богатые, но сии богатые живут так же нечисто, как бедные. Я познакомился с одним из них, умным, знающим человеком. Он пригласил меня к себе и принял очень учтиво. Молодая жена его, родом француженка, говорит хорошо и по-французски, и по-немецки. С удовольствием провел я у них около двух часов, но только в сии два часа чего не вытерпело мое обоняние!

Мне хотелось видеть их синагогу. Я вошел в нее, как в мрачную пещеру, думая: «Бог Израилев, бог народа избранного! Здесь ли должно поклоняться тебе?» Слабо горели светильники в обремененном гнилостию воздухе. Уныние, горечь, страх изображались на лице молящихся; нигде не видно было умиления; слеза благодарной любви ничьей ланиты не орошала; ничей взор в благоговейном восхищении не обращался к небу. Я видел каких-то преступников, с трепетом ожидающих приговора к смерти и едва дерзающих молить судьбу своего о помиловании. «Зачем вы пришли сюда? – сказал мне тот умный жид, у которого я был в гостях. – Пощадите нас! Наш храм был в Иерусалиме: там всевышний благоволил являться своим избранным. Но разрушен храм великолепный, и мы, рассеянные по лицу земли, приходим сюда сетовать о бедствии народа нашего. Оставьте

нас; мы представляем для вас печальную картину». – Я немоготвечать ему ни слова, пожал руку его и вышел вон.

Давно уже замечено, что общее бедствие соединяет людей теснейшим союзом. Таким образом, и жи́ды, гонимые роком и угнетенные своими сочеловеками, находятся друг с другом в теснейшей связи, нежели мы, торжествующие христиане. Я хочу сказать, что в них видно более *духа общестственности*, нежели в другом народе. Жид, в раздранном рубище, пришел ко мне ныне поутру с разными безделками. У меня сидел доктор Н *. «Не покупайте ничего у жидов, – сказал он мне, – из них редкий не обманщик». – «Неправда, государь мой! – отвечал с жаром израильтянин. – Мы не бесчестнее христиан». Сказал и с сердцем ушел из горницы. Вчера же зашел я к одному жиду для того, чтобы разменять несколько червонцев на французские талеры. На столе у него лежала развернутая книга: Мендельзонов «Иерусалим». «Мендельзон был великий человек», – сказал я, взяв книгу в руки. – «Вы знаете его? – спросил он у меня с веселою улыбкою. – Знаете и то, что он был одной нации со мной и носил такую же бороду, как я?» – «Знаю, – отвечал я, – знаю». Тут жид мой бросил на стол талеры и начал мне хвалить Мендельзона с жаром и восхищением и заключил свою хвалу повторением, что сей великий муж, сей Сократ и Платон наших времен, был жид, был жид! – Здешние актеры недавно представляли Шекспирову драму, «Венецианского купца». На другой день франкфуртские жи́ды прислали сказать директору комедии, что ни один из них не будет ходить в театр, если сия драма, в которой обругана их нация, будет представлена в другой раз. Директор не захотел лишиться части своего сбора и отвечал, что она будет выключена из списка пьес, играемых на франкфуртском театре.

Августа 1

Отсюда две дороги в Стразбург: через Дармштат, Гейдельберг и Карлсру или через Фальц. И ту и другую мне хвалили; избираю последнюю. Но как мне хотелось видеть Штарка, придворного дармштатского проповедника, то я ныне поутру нанял себе лошадь и поехал в Дармштат верхом. И с этой стороны окрестности франкфуртские очень приятны, но далее к Дармштату (до которого считается от Франкфурта три мили) места уже не так хороши. Дорога инде очень песчана, инде очень выбита – и потому я еще более утвердился в своем намерении ехать через Фальц. Деревни все хорошо выстроены, и везде находил я трактиры под разными, отчасти странными, вывесками. На последней миле к Дармштату начинается очень хорошая мостовая. Тут

открылся мне и город, лежащий близ покрытых лесом гор и представляющий в сем расстоянии очень изрядную картину.

Остановясь в трактире, послал я слугу с письмецом к Штарку, а сам бросился на кресла отдыхать; но через несколько минут позвали меня обедать. В столовой комнате нашел я человек восемь, порядочно одетых. В том числе был один путешествующий француз, для которого надлежало всем говорить по-французски. Молодой человек, приехавший из Стразбурга, подробно рассказывал нам, каким образом за несколько дней пред сим бунтовала тамошняя чернь; но по-французски говорил он так худо, что трудно было от смеха удержаться, – например: ильз-он дешире ла мезон де виль; ильз-он бриле (brulé) ле докиман (les documens); иль вуле бандр (prendre) ле магистра (magistrats).^[164] – Тут слуга принес мне печальную весть, что Штарка нет в Дармштате: он уехал к водам в Швальбах. «Господин проповедник был очень болен, – сказал сидевший подле меня человек, – берлинцы зажгли в нем кровь, и наши медики с трудом могли потушить пожар». От всего сердца жалею о Штарке. Дорога человеку добрая слава – и с каким легкомыслием похищаем мы друг у друга сие сокровище! О Шекспир, Шекспир!^[165] Кто знал так хорошо сердце человеческое, как ты? Кто убедительнее твоего представил все безумства злословия?

Good name in man and woman, dear my Lord,
Is the immediate jewel of their souls.
Who steals my purse, steals trash; 'tis something, nothing;
'Twas mine, 'tis his, and has been slave to thousands;
But he, that filches from me my good name,
Robs me of that, which not enriches him,
And makes me poor indeed.^[166]

Златые Пифагоровы стихи кажутся медными после сих строк, которые всякому человеку, христианину и турку, индейцу и африканцу, надлежало бы вписать незагладимыми буквами в свое сердце.

Я видел в Дармштате так называемый *дом экзерциции*, в котором может учиться целый полк и в котором хранится множество всякого оружия; гулял в большом придворном саду; ходил по городу, в котором считается не более 300 домов; потом сел на своего коня и отправился назад во Франкфурт.

Два раза был я в здешнем театре, но в оба раза, к неудовольствию

моему, играли очень неважные французо-немецкие комедии. Внимание мое занимали более зрители, нежели актеры; а заметил я единственно то, что молодые люди здесь хорошо одеваются и приходят в театр не шуметь, а слушать пиесы или – зевать.

Маинц, 2 августа

Ныне в шесть часов вечера приехал я в Маинц в *дилижансе*, или в почтовой карете, в которой поеду до самого Стразбурга.

Какая гладкая дорога от Франкфурта до Маинца! Какие приятные виды! Какие прекрасные места! Приближаясь к Маинцу, увидел я на левой стороне величественный Рейн и тихий Маин, текущие почти рядом; а на правой – виноградные сады, которых нельзя обнять глазами. Любезные друзья! Как радостно билось мое сердце! «Рейн, Рейн! Наконец вижу тебя, – думал я, – вижу и благословляю царя вод германских в гордом его течении!»

Маинц лежит на западном берегу Рейна, где впадает в него Маин. В городе улицы узки, хороших домов мало, церквей, монастырей и монахов великое множество. – «Угодно ли вам видеть кишки святого Бонифация, которые хранятся в церкви святого Иоанна?» – спросил у меня с важным видом наемный слуга. – «Нет, друг мой! – отвечал я. – Хотя святой Бонифаций был добрый человек и обратил в христианство баварцев, однако ж кишки его не имеют для меня никакой прелести. Поведи меня лучше за город». – Мы вышли с ним за городские ворота. Я сел на берегу Рейна и видел в его водах вечерний луч солнца и картину зеленых берегов.

Возвратясь в трактир, ужинал я за общим столом с путешественниками разных земель. Все пили рейнвейн, как воду. Я потребовал у трактирщика бутылку гохгеймского вина, и притом самого старого, какое только есть у него в погребе. Надобно знать, что гохгеймское считается самым лучшим из всех рейнских вин. «Вы, конечно, поблагодарите меня за этот нектар, – сказал мне услужливый трактирщик, ставя передо мною бутылку, – я получил его в наследство от моего отца, которого уже тридцать лет нет на свете». В самом деле, вино было очень хорошо и равно приятно для вкуса и обоняния. Мысль, что пью рейнвейн на берегу Рейна, веселила меня, как ребенка. Я наливал, пенил, любовался светлостью вина, потчевал сидевших подле меня и был доволен, как царь. Скоро бутылка опорожнилась. Трактирщик уверял меня, что у него есть еще прекрасное костгеймское вино, полученное им также в наследство от отца его, которого уже тридцать лет нет на свете. «Верю, что оно делает честь памяти покойника», – сказал я, встал и пошел в свою комнату.

Мангейм, 3 августа

Ныне рано поутру выехал я из Маинца в большой почтовой карете с пятью товарищами и по западному берегу Рейна, через Оппенгейм и Вормс, приехал в Мангейм в семь часов вечера.

Сию верхнюю часть Германии можно назвать земным раем. Дорога гладка, как стол, – везде прекрасные деревни – везде богатые виноградные сады – везде плодами обремененные деревья – груши, яблоки и грецкие орехи растут на дороге (зрелище, в восторг приводящее северного жителя, привыкшего видеть печальные сосны и потом орошаемые сады, где аргусы с дубинами стоят на карауле!). И между сими-то щедрыми долинами мчится почтенный, винокродный Рейн, неся на волнистом хребте благословенные плоды своих берегов, плоды, веселящие сердце людей в странах отдаленных и не столь облагодетельствованных природою!

Но где бедствие не посещает от жен рожденных? Где небо грозными тучами не покрывается? Где слезы горести не лиются? Здесь лиются они, и я видел их – видел тоску поселян несчастных. Рейн и Неккер, наполнившись от дождей, яростно разлили воды свои и затопили сады, поля и самые деревни. Здесь неслась часть домика, где обитали перед тем покой и довольствие, тут бурная волна мчала запас осторожного, но тщетно осторожного поселянина, там плыла бедная блеющая овца. Мы должны были ехать по воде, которая в иных местах вливалась к нам в карету. Но самое сие наводнение возвышало великолепие вида, открывшегося нам при въезде в длинную аллею версты за три до Мангейма – аллею, которая, будучи облита водою, казалась мостом.

В Оппенгейме, курфальцском городе, мы завтракали и пили славное ниренштейнское вино, которое, однако ж, показалось мне не так хорошо, как гохгеймское. – Против Оппенгейма, на другой стороне Рейна, стоит высокая пирамида, а на ней лев, держащий в правой лапе большой меч. Шведский король Густав Адольф поставил сей памятник в 1631 году, перешедши с своею армиею через Рейн, разбив гишпанцев и взяв Оппенгейм.

В Вормсе достойна примечания старинная ратуша, в которой император Карл V со всеми имперскими князьями судил Лютера в 1521 году. И ныне еще показывают там лавку, на которой лопнул стакан с ядом, для него приготовленным. Путешественники отрезывают по кусочку от того места, где будто бы стояла сия отравка, и почти насквозь продолбили доску.

Мангейм есть прекрасный город. Улицы совершенно регулярны и

перерезывают одна другую прямыми углами, что для глаз – по крайней мере при первом взоре – очень приятно. Ворота Рейнские, Неккерские и Гейдельбергские украшены барельефами, хорошо выработанными. В разных местах города есть площади, окруженные большими домами. Дворец курфюрста построен на том месте, где Неккер сливается с Рейном. Если бы я не торопился в Швейцарию, то остался бы здесь на несколько недель: так полюбился мне Мангейм!

Мангейм, августа 4

В Академии скульптуры видел я собрание статуй и между ними самые вернейшие копии славных бельведерских антиков.^[167] Надобно удивляться древнему искусству, которое умело влагать душу в мрамор, и прекрасную душу. М***^[168] с восхищением говорил нам о «Лаокооне»; я видел эту группу, один из прекраснейших памятников греческого художества и, по мнению некоторых, произведение Фидиасова резца. Утверждают, что она подала Вергилию мысль к описанию несчастного Лаокоонова конца.^[169] Смотри на нее, прочитал я несколько раз сие место в бессмертной «Энеиде», которая была у меня в руках:

«Другое, ужаснейшее происшествие вселяет трепет в сердца наши. Лаокоон, избранный по жребию в жрецы Нептуновы, торжественно приносил в жертву тучного быка – и вдруг на поверхности тихих вод, от страны Тенедоса, являются (страшное воспоминание!)... являются два ужасные змия и рядом плывут к берегу; кровавая глава и грудь их гордо возвышается над волнами; неизмеримый хребет их извивается в кругах бесчисленных; плывут, с шумом рассекают пенистую влагу и достигают берега. Пламя и кровь в очах их. Страшно шипят они, страшно зияют – и народ в ужасе спасается бегством. – Сии чудовища спешат к Лаокоону; бросаются сперва на двух юных сынов его и терзают несчастных. Лаокоон стремится с копьем на помощь к ним, отец злополучный! Змии обвиваются вокруг его тела, вокруг шеи и шипят над его головою. Тщетно хочет он освободиться от чудовищ ужасных; руки старца бессильны. Покрытый их нечистым гноем, их ядом смертоносным, Лаокоон стенает – и вопль его до звезд возносится».

С какою живостью изображена физическая боль в лице терзаемого старца! Как сильно изображена в нем и горесть несчастного родителя, который видит погибель детей своих и не может спасти их! – Фидиас был поэт.

Стразбург, августа 6

Через обширные зеленые равнины – где роскошная природа в садах и в полях изливает весь тук своего плодородия и в пенящейся чаше подает смертному нектар вдохновения и радости – приехал я из Мангейма в Стразбург вчера в семь часов вечера.

Приятно, весело, друзья мои, переезжать из одной земли в другую, видеть новые предметы, с которыми, кажется, самая душа наша обновляется, и чувствовать неоцененную свободу человека, по которой он подлинно может назваться царем земного творения. Все прочие животные, будучи привязаны к некоторым климатам, не могут выйти из пределов, начертанных им натурою, и умирают, где рождаются; но человек, силою могущественной воли своей, шагает из климата в климат – ищет везде наслаждений и находит их – везде бывает любимым гостем природы, повсюду отверзающей для него новые источники удовольствия, везде радуется бытием своим и благословляет свое человечество.

А мудрая связь общественности, по которой нахожу я во всякой земле все возможные удобства жизни, как будто бы нарочно для меня придуманные; по которой жители всех стран предлагают мне плоды своих трудов, своей промышленности и призывают меня участвовать в своих забавах, в своих весельях...

Одним словом, друзья мои, путешествие питательно для духа и сердца нашего. Путешествуй, ипохондрик, чтобы исцелиться от своей ипохондрии! Путешествуй, мизантроп, чтобы полюбить человечество! Путешествуй, кто только может!

На границе наш постиллион остановился. «Vous êtes déjà en France, Messieurs, – сказал нам худо одетый человек, подошедши к нашей карете, – et je vous en félicite».^[170] Это был осмотрщик, который за свое поздравление хотел взять с нас по несколько французских копеек.

Везде в Эльзасе заметно волнение. Целые деревни вооружаются, и поселяне пришивают кокарды к шляпам. Почтмейстеры, постиллионы, бабы говорят о революции.

А в Стразбурге начинается новый бунт. Весь здешний гарнизон взволновался. Солдаты не слушаются офицеров, пьют в трактирах даром, бегают с шумом по улицам, ругают своих начальников и проч. В глазах моих толпа пьяных солдат остановила ехавшего в карете прелата, принудила его пить пиво из одной кружки с его кучером, за здоровье нации. Прелат бледнел от страха и трепещущим голосом повторял: «Mes amis, mes amis!» – «Oui, nous sommes vos amis!»^[171] – кричали солдаты. – Пей же с

нами!» Крик на улицах продолжается почти непрерывно. Но жители затыкают уши и спокойно отправляют свои дела. Офицеры сидят под окном и смеются, смотря на неистовых. – Я был ныне в театре и, кроме веселости, ничего не приметил в зрителях. Молодые офицеры перебежали из ложи в ложу и от всего сердца били в ладоши, стараясь заглушить шум пьяных бунтовщиков, который раза три приводил в замешательство актеров на сцене.

Между тем в самых окрестностях Стразбурга толпы разбойников грабят монастыри. Сказывают, что по деревням ездил какой-то человек, который называл себя графом д'Артуа и возбуждал поселян к мятежу, говоря, что король дает народу полную свободу до 15 августа и что до сего времени всякий может делать что хочет. Сей слух заставил здешнего начальника обнародовать, что одна *адская злоба, достойная неслыханного наказания*, могла распустить такой слух.

Здесьняя кафедральная церковь есть величественное готическое здание, и башня ее почитается за самую высочайшую пирамиду в Европе. Вошедши во внутренность сего огромного храма, в котором никогда ясного света не бывает, нельзя не почувствовать благоговения; но кто хочет питать в себе это священное чувство, тот не смотри на барельефы карнизов и колонн, где вы увидите престранные и смешные аллегорические фигуры. Например, ослы, обезьяны и другие звери изображены в монашеской одежде разных орденов; иные с важностью идут в процессии, другие прыгают и проч. На одном барельефе представлен монах с монахиною в самом непристойном положении. – Богатые одежды священников и украшение олтарей показывают за диковинку. Одно серебряное распятие, подаренное церкви Лудовиком XIV, стоит 60 000 талеров. По круглой лестнице, состоящей из 725 ступеней, восходил я почти на самый верх башни, откуда без некоторого ужаса не мог смотреть вниз. Люди на улицах представлялись ползающими насекомыми, и целый город, казалось, можно было в минуту измерить аршином. Деревни вокруг Стразбурга едва были приметны; миль за десять и более синелись горы. Говорят, что в самую ясную погоду можно видеть и снежные верхи Альпийских гор; но я не видал их, сколько ни напрягал свое зрение. – Часы сей башни, по разнообразным своим движениям, считались некогда чудом механики; но вероятно, что нынешние гордые художники не так думают. – Между колоколами, из которых самый большой весом в 204 центнера, показывали мне так называемый *серебряный* весом в 48 центнеров, и сказывали, что в него благовестят только в Иванов день. Там же хранится большой охотничий рог, которым, лет за четыреста перед сим, здешние жида хотели

подать сигнал неприятелю для взятия Стразбурга. Заговор открылся; многие из жидов были сожжены, многие разорены, а другие выгнаны из города. В память счастливо разрушенного заговора трубят в этот рог всякую ночь два раза. – На стенах колокольни путешественники пишут свои имена, или стихи, или что кому вздумается. Я нашел и русские следующие надписи: «Мы здесь были и устали до смерти». – «Высоко!» – «Здравствуй, брат земляк!» – «Какой же вид!»

В лютеранской церкви св. Томаса видел я мраморный монумент маршала, графа Саксонского, славное произведение резца Пигалева. Маршал с жезлом своим сходит по ступеням в могилу и с презрением смотрит на смерть, которая открывает гроб. На правой стороне два льва и орел, в ужасе и смятении, изображают соединенные армии, побежденные графом во Фландрии. На левой стороне представлена Франция в образе прекрасной женщины, которая, со всеми знаками живой горести, хочет одною рукою удержать его, а другою отталкивает смерть. Печальный гений жизни обращает к земле свой факел; и на сей же стороне развеваются победоносные знамена Франции. – Художник хотел, чтобы удивлялись его искусству; по мнению знатоков, он достиг своей цели. Я, не будучи знатоком, смотрел на фигуры – на ту, на другую, на третью – и был в своем сердце так холоден, как мрамор, из которого они сделаны. Смерть, в образе скелета, одетого мантиею, была мне противна. Древние не так изображали ее, – и горе новым художникам, пугающим нас такими представлениями! На лице героя желал бы я видеть другое выражение. Мне хотелось бы, чтобы он имел более внимания к горестной Франции, нежели к грустному скелету. Коротко сказать, Пигаль, по моему чувству, есть искусный художник, но худой поэт. – Под сим монументом, в темном своде, поставлен гроб, в котором лежит бальзамированное тело маршала; сердце заключено в сосуде, стоящем на гробе, а внутренность погребена в земле. Лудовик XV, по своей чувствительности или по чему иному, не хотел исполнить последнего желания маршала умирающего, которое состояло в том, чтобы тело его было сожжено. «Qu'il ne reste rien de moi dans le monde, – сказал он, – que ma mémoire parmi mes amis!»^[172]

Здешний университет так же почти славен, как лейпцигский и геттингенский. Многие немцы и англичане приезжают сюда учиться. Только из стразбургских профессоров очень немногие известны в ученом свете как авторы. Их называют ленивыми в сравнении с другими. Может быть, они богаче других, а в Германии бедность делает многих авторами.

—

Наконец, о городе скажу вам, что он многолюден, но что улицы тесны

и нельзя похвалить архитектуры домов.

Головной убор женщин здесь весьма странен. Крепко счесанные и насаленные волосы связываются (то есть передние с задними) на середине головы; а наверху пришивается маленькая корона. Ничего не может быть безобразнее такого убора. —

Что принадлежит до здешнего немецкого языка, то он очень испорчен. В лучших обществах говорят всегда пофранцузски.

Я надеялся здесь найти письмо от А*, но не нашел. Когда-то от вас, мои любезные, получу письма! Живы ли вы? Здоровы ли вы? Что с вами делается? Спрашиваю, и никакой гений не шепчет мне на ухо ответа. Путешествовать приятно, но расставаться с друзьями больно...

П. П. Мне сказывали, что Лафатер за несколько дней пред сим был в Базеле для свидания с Неккером. Я познакомился с одним магистром, очень любезным человеком, который водил меня в университет, в анатомический театр, в медицинский сад и который ныне за обедом и за ужином пил здоровье отечественных друзей моих. За ужином у нас был превеликий спор между офицерами о том, что делать в нынешних обстоятельствах честному человеку, французу и офицеру? «Положить руку на эфес, — говорили одни, — и быть в готовности защищать правую сторону». — «Взять абшид», — говорили другие. — «Пить вино и над всем смеяться», — сказал пожилой капитан, опорожнив свою бутылку.

Базель

«Берегитесь, государи мои! — сказал нам в Стразбурге один офицер, когда я с другими путешественниками садился в дилижанс. — Дорога не совсем безопасна; в Эльзасе много разбойников». Мы посмотрели друг на друга. «У кого не много денег, тот не боится разбойников», — сказал молодой женевец, который приехал со мною из Франкфурта. — «У меня есть кортик и собака», — сказал молодой человек в красном камзоле, севший подле меня. — «Чего бояться!» — сказали все мы; поехали и приехали в Базель благополучно.

Эльзас есть прекрасная земля. Города и деревни, через которые мы проезжали, все хорошо выстроены. На той и на другой стороне дороги плодоносные поля, Лотарингские горы с развалинами рыцарских и разбойничьих замков представляют для глаз нечто романическое и придают разнообразие виду обширных равнин, утомительных для зрения. Сии горы более и более удаляются и темнеют, так что наконец не можно видеть на них ничего, кроме мрака. С другой стороны, за Рейном, возвышаются черные хребты Шварцвальдских гор и в неизмеримом расстоянии

ограничивают горизонт. Близ дороги изредка попадаются в глаза дерева и маленькие рощицы.

Французская почта гораздо скорее немецкой. Постиллион (в синем камзоле с красным воротником и в таких сапогах, которые были бы впору гиганту в водяной болезни) беспрестанно машет хлыстом и понуждает коней своих бежать рысью. На шести, девяти и двенадцати верстах переменяют лошадей, и на каждой станции надобно платить прогоны вперед, нашими деньгами копеек по двадцати за милю (lieue). Из Стразбурга выехали мы в шесть часов поутру, а в восемь часов вечера были уже за три версты от Базеля, то есть переехали в день 29 французских миль, или 87 верст. Тут надлежало нам ночевать, для того что ровно в восемь часов запираются в Базеле ворота, которых уже до утра ни для кого и ни для чего не отворяют.

С молодым человеком в красном камзоле успел я коротко познакомиться. Он сын придворного копенгагенского аптекаря Беккера, учился в Германии медицине и химии (последней – у славного берлинского профессора Клапрота) и прошел большую часть Германии пешком, один, с своею собакою и скотиком на бедре, пересылая через почту чемодан свой из города в город. В Стразбурге заболела у него нога и принудила его сесть в дилижанс. Теперь хочет он видеть все примечания достойнейшее в Швейцарии, а потом отправится во Францию и в Англию. Со всею нежностью дружбы любит он свою собаку и дорогою беспрестанно смотрел, бежит ли она за каретою; когда же приметил, мили за две не доезжая до нашего ночлега, что она устала и начала отставать, то, пожелав нам счастливого пути, вышел сам из дилижанса, чтобы брести потихоньку с своим другом. – Здесь, в Базеле, остановились мы с ним в одном трактире, под вывескою «Аиста».

Итак, я уже в Швейцарии, в стране живописной природы, в земле свободы и благополучия! Кажется, что здешний воздух имеет в себе нечто оживляющее: дыхание мое стало легче и свободнее, стан мой распрямился, голова моя сама собою подымается вверх, иягордостью помышляю о своем человечестве.

Базель более всех городов в Швейцарии, но, кроме двух огромных домов банкира Саразеня, не заметил я здесь никаких хороших зданий, и улицы чрезмерно худо вымощены. Жителей по обширности города очень немного, и некоторые переулки заросли травюю. Рейн разделяет Базель на две части; и хотя сия река здесь не так широка, как в Маинце, однако ж, по быстрейшему своему течению и по светлости воды своей, показалась мне гораздо приятнее. Только здесь она совершенно пуста; не видно на ней ни

одного судна, ни одной лодочки. Не знаю, для чего базельцы не пользуются выгодами судоходства, производя довольно важный торг с немцами и отправляя в Германию полотна, ленты, шелковые материи и другие произведения своих мануфактур.

В так называемом Минстере, или главной базельской церкви, видел я многие старые монументы с разными надписями, показывающими бедность разума человеческого в средних веках. Монументы Эразма и супруги императора Рудольфа I были для меня примечательнее других. Первый считался в свое время ученейшим и остроумнейшим человеком в Европе, в доказательство чего может служить следующий, может быть, уже известный вам, анекдот: Эразм, приехав в Лондон, посетил Томаса Моруса, великого государственного канцлера, и, не сказав ему своего имени, вступил с ним в разговор о политике, религии и других предметах. Морус, будучи восхищен его разумом и красноречием, вскочил наконец с своего места и воскликнул: «Ты Эразм или демон!» – Из сочинений его самое известнейшее есть «Похвала дурачеству», в котором он смеется над всеми состояниями жизни, а наиболее над монашеским, не щадя и самого папы. Некоторые шутки, конечно, довольно остры, но многие грубы, сухи и натянуты – и вообще книга сия довольно скучна для тех, которые уже читали остроумные сочинения Вольтеров и Виландов осьмого-надесять века. – Минстер стоит на высоком месте, обсаженном деревьями, откуда вид очень хорош.

В публичной библиотеке показывают многие редкие рукописи и древние медали, которых цену знают только антиквари и нумисматологи; а что принадлежит до меня, то я с большим примечанием и удовольствием смотрел там на картины славного Гольбеина, базельского уроженца и друга Эразмова. Какое прекрасное лицо у Спасителя на вечери! Иуду, как он здесь представлен, узнал бы я всегда и везде. В Христе, снятом со креста, не видно ничего божественного, но как умерший человек изображен он весьма естественно. По преданию рассказывают, что Гольбеин писал его с одного утопшего жида. Страсти Христовы изображены на восьми картинах. – В ратуше есть целая зала, расписанная *аль-фреско* Гольбеином. Знатоки говорят о сем живописце, что фигуры его вообще весьма хороши, что тело писал он живо, но одежду очень дурно. – В ограде церкви св. Петра, на стене за решеткою, видел я и славный «Танец мертвых», который, по крайней мере отчасти, считают за Гольбеинову работу. Смерть ведет на тот свет людей всякого состояния: и папу и нимфу радости, и короля и нищего, и доброго и злого. Не будучи знатоком, могу сказать, что, конечно, не одно изображение и не одна кисть произвели сей

ряд фигур: столь хороши некоторые и столь дурны прочие! Я заметил три или четыре лица, весьма выразительные и, конечно, достойные левой Гольбеиновой руки.^[173] Впрочем, вся картина испорчена воздухом и сыростию.

Между прочими Гольбеиновыми картинами, которыми гордится Базель, есть прекрасный портрет одной молодой женщины, славной в свое время. Живописец изобразил ее в виде Лаисы^[174] (по чему легко можно догадаться, какого рода была слава ее), а подле нее представил Купидона, облокотившегося на ее колени и держащего в руке стрелу. Сия картина найдена была на олтаре, где народ поклонялся ей под именем богоматери; и на черных рамах ее написано золотыми буквами: «Verbum Domini manet in aeternum» (слово Господне пребывает вовеки).

Кабинет господина Феша есть достойный предмет любопытства всех путешественников, любящих искусство. Его ценят в 150 000 талеров. Конечно, не многие из частных людей в Европе имеют такое собрание прекрасных картин, и, конечно, не многие из богачей имеют такой вкус, как г. Феш. Но сколько завидны драгоценные его картины, столько же, или еще более, завиден для меня и тот прекрасный вид, которым наслаждается сей любимец Фортуны, смотря из окон своего кабинета на величественный Рейн и взором своим следуя за его течением между двумя великими государствами. Тут Франция, Швейцария и Германия представляются глазам в разнообразной картине, под голубым сводом неба – и я мог бы целый день неподвижно простоять в сем магическом кабинете, смотреть и тихо в душе восхищаться, если бы не побоялся быть в тягость господину Фешу. – На дворе перед его домом показывают деревянную и очень топорно выработанную статую императора Рудольфа I. Он представлен сидящим на троне в порфире и со всеми знаками своего достоинства. Его избрали в императоры в самое то время, когда он войсками своими окружил Базель, после чего отворили ему городские ворота – и он жил здесь, сказывают, точно в том доме, в котором живет теперь г. Феш.

Ныне за обедом был я свидетелем трогательного явления.

Пожилой человек, кавалер св. Лудовика, сидел на конце стола с пожилою дамою. На лицах их изображалась горечь и бледность изнеможения. Они не брали участия в общем разговоре; взглядывали иногда друг на друга и утирали платком покрасневшие глаза свои. Все смотрели на них с почтительным сожалением и с видом скрываемого любопытства. Молодой женевец, сидевший подле меня, сказал мне на ухо: «Это – знатный французский дворянин со своею женою, который по

нынешним обстоятельствам должен был бежать из Франции». В то время как подавали нам десерт, вошли в залу молодой человек и молодая дама в дорожном платье: «Mon père! Ma mère! Mon fils! Ma fille!»^[175] И при сих восклицаниях кавалер св. Лудовика и сидевшая подле него дама вдруг очутились на середине комнаты в объятиях молодых людей. Глубокое молчание в зале – все мы, сидевшие за столом, казались оцепеневшими: один держал в руке бисквит, другой рюмку и остался неподвижен в сем положении; те, которые говорили и замолчали, не успели затворить рта, устремив взоры свои на обнимающуюся группу. Ты пролетела, минута молчания и тишины! Но глубокие черты оставила ты в моем сердце, которые всегда будут воспоминать мне чувствительность людей – ибо она превратила нас в камень, когда мы увидели отца и мать, сына и дочь, с жаром, с восторгом обнимающих друг друга! – Наконец кавалер св. Лудовика, отирая лиющиеся слезы свои, оборотился к нам и сказал прерывающимся голосом: «Простите, государи мои, простите радостному исступлению нежных родителей, которые трепетали о жизни милых детей своих,^[176] но, благодаря всевышнего, видят их в целости и прижимают к своему сердцу! Мы лишились своего имения и отечества; но когда жив сын наш, когда жива дочь наша, то забываем все прочее горе!» Потом, держа друг друга за руки, вышли они из залы. Все мы встали, пошли за ними и, нашедши на крыльце слугу их, окружили его и требовали, чтобы он объяснил нам виденную нами сцену. – «Я могу вам сказать единственно то, – отвечал он, – что бунтующие поселяне хотели убить моего господина; что он принужден был искать спасения в бегстве, оставив замок свой в огне и в пламени и не зная об участи детей своих, которые были в гостях у брата его и которые теперь, по его письму, благополучно сюда приехали». —

Если вы в полдень спросите здесь, *какой час?* то вам скажут в ответ: «По общим часам двенадцать, а по базельским час», – то есть здешние часы идут всегда впереди против общих. Напрасно будете вы приступать к базельцам и требовать, чтобы они сказали вам подлинную причину сей странности. Никто ее не знает, но за старое предание рассказывают, что будто бы причиною того был некогда уничтоженный заговор – и таким образом: некоторые зломыслящие люди в Базеле уговорились в двенадцать часов ночи собраться и перерезать в городе всех судей; один из бургомистров узнал о том и велел на колокольне главной церкви ударить час вместо двенадцати; каждый из заговорщиков подумал, что назначенное время уже прошло, и возвратился домой, – после чего все базельцы, в память счастливой бургомистровой выдумки, переставили часы

свои часом вперед. По другому преданию, сделалось сие во время Базельского *церковного собора*, для того чтобы ленивые кардиналы и епископы вставали и собирались ранее. – Как бы то ни было, только базельцы уже привыкли обманывать себя во времени дня, и народ почитает сей обман за драгоценное право своей вольности.

Хотя в Базеле народ не имеет законодательной власти и не может сам избирать начальников, однако ж правление сего кантона можно назвать отчасти демократическим, потому что каждому гражданину открыт путь ко всем достоинствам в республике и люди самого низкого состояния бывают членами большого и малого совета, которые дают законы, объявляют войну, заключают мир, налагают подати и сами избирают членов своих. – Хлебники, сапожники, портные играют часто важнейшие роли в базельской республике.

Во всех жителях видна здесь какая-то важность, похожая на угрюмость, которая для меня не совсем приятна. В лице, в походке и во всех ухватках имеют они много характерного. – В домах граждан и в трактирах соблюдается отменная чистота, которую путешественники называют вообще швейцарскою добродетелию. – Только женщины здесь отменно дурны: по крайней мере я не видал ни одной хорошей, ни одной изрядной. —

В семи верстах от Базеля находится так называемая *пустыня*, или обширный сад, принадлежащий одному из здешних богачей. Туда ходил я пешком с двумя молодыми берлинцами, здесь живущими. Кажется, будто бы искусство не имело никакого участия в разведении сего сада. Надобно везде ходить по узеньким тропинкам и взбираться на утесы по каменным ступеням. Инде видишь частый зеленый кустарник – инде глубокие пещеры или разбросанные шалаши. Во глубине дикого грота, где чистая вода, струясь с высоких камней, ископала себе маленький бассейн, стоит монумент покойного Геснера, печальною дружбою сооруженный... Поздно, поздно приехал я в Швейцарию: умолк голос нежного певца ее! В сем тихом гроте, в сем святилище меланхолии душа чувствует томное уныние и погружается наконец в сладкую дремоту. Здесь изобразил бы я Ночь, Сон и Смерть, как они, по описанию Павзаниеву, на Ципселовом сундуке изображены были.^[177] – Мы сходили в подземный храм Прозерпины и видели образ сей богини, освещаемый слабым светом тихо горящих лампад. Чрезвычайный холод и сырость не позволили нам ни минуты пробывать там. – Мы обедали в местечке Арлейсгейме, принадлежащем базельскому епископу, и в семь часов возвратились назад в Базель.

Верстах в двух или в трех отсюда, где построена так называемая

гошпиталь св. Якова, было некогда жестокое сражение между французами и швейцарцами, которые почти все легли на месте. Базельские жители всякий год в мае месяце приходят туда воспевать геройские дела своих предков и пить красное вино, называемое *швейцарской кровью*.

Я имел любопытство видеть тот дом, в котором жил Парацельс. Сказывают, что в саду, принадлежащем к сему дому, и поныне находят еще огарки из химических или алхимических печей сего чудного человека, которому, по признанию ученых, обязана медицина многими минеральными лекарствами, и ныне с великою пользою употребляемыми, но который от страшного хвастовства своего прослыл шарлатаном в целой Европе.^[178] —

Вообразите, что новый мой знакомец Б*, с которым я уговаривался вместе путешествовать по Швейцарии, умирает – умирает от любви! Здесь в трактире живет молодая дама из Ивердона. Сегодня ужинала она за общим столом, сидела подле Б* и несколько раз начинала с ним говорить. Нежное сердце моего датчанина растопилось от огненных ее взоров. Он весь покраснел, забыл пить и есть и только что потчевал красавицу; а при конце ужина подал ей записную книжку свою и карандаш, прося, чтобы она написала ему какое-нибудь наставление. Красавица взяла книжку, карандаш – взглянула на него умильно, нежно – и написала по-французски: «Сердце, подобное вашему, не имеет нужды в наставлениях; следуя своим побуждениям, оно следует предписаниям добродетели», – написала и подала ему с улыбкою. «Madame! – сказал восхищенный Б*. – Madame!..» В самую сию минуту все из-за стола встали, и красавица, присев перед ним, подала руку своему брату и ушла. Б* стоял, смотрел вслед за нею и наконец сказал мне, когда я подошел к нему, что он едва ли может завтра ехать со мною в Цирих, чувствуя себя очень нездоровым.

Базель, августа 9

Молодая дама из Ивердона ныне поутру уехала, и датчанин Б* исцелился от любовной своей болезни. Вместе с ним наняли мы здесь извозчика, или так называемого *кучера* (Kutscher), который за два луидора с талером повезет нас в Цирих на паре жирных лошадей, в двухместной старомодной карете; и таким образом за 60 верст платим мы 17 руб. В Швейцарии нет почты. – «Ступайте, господа! – кричит нам почтенный извозчик швейцарский в плисовом фраке. – Ступайте! Чемоданы ваши привязаны». Итак, простите!

В карете, дорогою

Уже я наслаждаюсь Швейцариею, милые друзья мои! Всякое дуновение ветерка проникает, кажется, в сердце мое и развеивает в нем чувство радости. Какие места! Какие места! Отъехав от Базеля версты две, я выскочил из кареты, упал на цветущий берег зеленого Рейна и готов был в восторге целовать землю. Счастливые швейцары! Всякий ли день, всякий ли час благодарите вы небо за свое счастье, живучи в объятиях прелестной природы, под благодетельными законами братского союза, в простоте нравов и служа одному богу? Вся жизнь ваша есть, конечно, приятное сновидение, и самая роковая стрела должна кротко влетать в грудь вашу,^[179] не возмущаемую свирепыми страстями! – Так, друзья мои! Я думаю, что ужас смерти бывает следствием нашего уклонения от путей природы. Думаю, и на сей раз уверен, что он не есть врожденное чувство нашего сердца. Ах! Если бы теперь, в самую сию минуту, надлежало мне умереть, то я со слезою любви упал бы во всеобъемлющее лоно природы, с полным уверением, что она зовет меня к новому счастью, что изменение существа моего есть возвышение красоты, перемена изящного на лучшее. И всегда, милые друзья мои, всегда, когда я духом своим возвращаюсь в первоначальную простоту природы человеческой – когда сердце мое отвергается впечатлениям красот природы – чувствую я то же и не нахожу в смерти ничего страшного. Высочайшая благость не была бы высочайшею благостию, если бы она с которой-нибудь стороны не усладила для нас всех необходимостей—ис сей-то услажденной стороны должны мы прикасаться к ним устами нашими! – Прости мне, мудрое провидение, если я когда-нибудь, как буйный младенец, проливая слезы досады, роптал на жребий человека! Теперь, погружаясь в чувство твоей благости, лобызаю невидимую руку твою, меня ведущую! —

Мы едем подле Рейна, с ужасным шумом и волнением стремящегося между тихих лугов и садов виноградных. Тут мальчики и маленькие девочки играют, рвут цветы и бросают ими друг в друга; там покойный селянин, насвистывая веселую песню, поправляет в саду своем сошки, увитые гибким виноградным стеблем, – смотрит на проезжих и ласковым мановением желает им доброго дня. – Высокие горы у нас перед глазами; но Альпы скрываются еще в лазури отдаления. Юра изгибает за нами хребет свой, отбрасывающий синюю тень на долины... Нет, я не могу писать; красоты, меня окружающие, отвлекают глаза мои от бумаги.

Рейнфельден, австрийский городок

Итак, я теперь во владении нашего союзника! – Кучер наш кормит своих лошадей хлебом, а я сижу в трактире под окном и смотрю на Рейн,

которого пена чуть до меня не долетает.

Брук

Мы обедали в маленькой швейцарской деревеньке, куда в одно время с нами приехала француженка в печальном платье, с девятилетним сыном и с белкою. Печальное платье, бледное лицо и томность в глазах делали ее привлекательною для меня, а еще более для моего мягкосердечного Б*. «Я надеюсь, сударыня, что вы позволите нам вместе с вами обедать», – сказал он ей с таким видом и таким голосом, который для датчанина был очень нежен. «Если это не будет вам противно», – отвечала француженка с приятным движением головы. «Господин трактирщик! – закричал мой Б* повелительным голосом. – Вы, конечно, не заставите нас жаловаться на худой обед?» – «Увидите», – отвечал швейцар с некоторою досадою, поправив на голове своей шапку. – «Швейцары – добрые люди, – сказала француженка с улыбкою, сев за накрытый стол, – только немного грубоваты». Поставили кушанье. Б* резал, раздавал и всячески старался услуживать даме и сыну ее. Он не мог утерпеть, чтобы не спросить у нее, по ком носит она траур. «По брате, – отвечала француженка со вздохом. – Он писал ко мне из Т* о своей болезни; я поехала к нему с маленьким своим Пьером и – нашла его лежащего во гробе». Тут обтерла она слезу, которая выкатилась из *правого* глаза ее, как сказал бы Йорик. – «А в каких летах был ваш братец?» – спросил Б* и заставил меня от досады повернуться на стуле. – «Старее меня пятью годами», – отвечала она и обтерла *другую* слезу, блиставшую на *нижней реснице левого* глаза ее. «Господин Б*! – сказал я. – Вы оскорбляете чувствительность госпожи NN горестными воспоминаниями». – «Я этого не думал, – отвечал он, покрасневши, – право, не думал. Простите меня, сударыня!» – «Рана в сердце моем так еще свежа, – сказала она, – что кровь не переставала из нее литься». – Маленький Пьер бросил ложку, посмотрел на мать, встал, подбежал к ней, начал целовать ее руку и между поцелуями взглядывал на нее так умильно и говорил ей так нежно: «Маменька, не плачьте! Не плачьте, любезная маменька!» – что я пошел в карман за белым платком, а Б* в восторге вскочил со стула, схватил руку ее, которою обнимала она сына своего, и прижал ее к своим губам. В самую сию секунду вошел трактирщик. «Ба! что это? – сказал он грубым голосом. – Я думал, что вы обедаете». Никто не отвечал ему. Госпожа NN высвободила свою руку (на которой осталось розовое пятно) и томным взором наказала чувствительного Б* за нескромный жар его. «Вели подать нам кофе», – сказал я трактирщику; но он стоял как вкопанный, выпучив глаза на

француженку, которой бледные щеки, от внутреннего ее движения, покрылись алым румянцем. Между тем она указала маленькому Пьеру место его. Б* сел на свое, и мы принялись за десерт. Госпожа NN успокоилась и рассказала нам, что она возвращается теперь к своему мужу, который родом швейцар, но по торговым делам жил долгое время во Франции и, будучи в Т*, влюбился в нее, сыскал ее любовь, женился на ней и переехал жить в К*. «Он очень счастлив, сударыня, – сказал я, – имея такую супругу; но он, конечно, достоин своего счастья, потому что вы нашли его достойным любви вашей». – Тут кучер объявил нам, что лошади впряжены. Надобно было расплатиться с трактирщиком и проститься с нежною француженкою. Она позволила нам расцеловать своего Пьера, из чего вышла опять чувствительная сцена, и вот каким образом. В самую ту минуту, как Б* обнимал маленького Пьера, резвая белка, прыгавшая по столу, вскочила ему на голову и передними своими лапками так ласково ухватила его за нос, что он закричал. Госпожа NN ахнула, а трактирщик, стоявший у дверей, захохотал во все горло. Белку стащили с головы моего приятеля, и маленький Пьер, вертя ее за хвост, кричал: «Ах, белка! Злая белка! На что ты схватила за нос господина Б*?» Учтивый приятель мой уверял госпожу NN, что ему не приключилось в самом деле никакого вреда, кроме испуга. «Ах, государь мой! – сказала она. – Я вижу кровь, я вижу кровь!» – и белым своим платком обтерла две красные капли на его переносице. «Ах, сударыня! – отвечал Б*, будучи тронут до глубины сердца. – Как мне благодарить вас за вашу попечительность! Воспоминание о ней будет для меня всегда приятнейшим воспоминанием; и самой вашей белки я никогда не забуду». Госпожа NN подарила ему трубочку английского пластыря, желая, чтобы целительная сила его загладила преступление ее зверька. Тут мы снова простились, получив от нее адрес ее и записав ей наши имена. Маленький Пьер проводил нас до кареты. Милая француженка смотрела из окна, когда мы садились. «Простите, сударыня, простите!» – кричал ей Б*. – «Простите!» – отвечала она. – «Простите!» – кричал маленький Пьер, кивая головою. – Мы поехали и долго еще говорили о любезной госпоже NN, которая в воображении моего Б* затемнила образ молодой госпожи из Ивердона. —

Проезжая через одну деревню, увидели мы великое стечение народа, велели кучеру остановиться, вышли из кареты и втерлись в толпу. Тут вязали одного молодого человека, который со слезами просил, чтобы его освободили. «Что такое он сделал?» – спросили мы. – «Он украл, украл два талера в лавке, – отвечали нам вдруг человека четыре, – у нас никогда не бывало воровства; это бродяга, пришедший из Германии; его надобно

наказать». – «Однако ж он плачет, – сказал я, – добродушные швейцары! Пустите его!» – «Нет, его надобно наказать, чтобы он перестал красть», – отвечали мне. – «По крайней мере, добродушные швейцары, накажите его так, как отцы наказывают детей своих за их проступки», – сказал я и пошел к своей карете. – Может быть, ни в какой земле, друзья мои, не бывает так мало преступлений, как в Швейцарии, а особливо воровства, которое считается здесь за великое злодеяние. О разбоях и убийствах совсем не слышно; мир и тишина царствуют в счастливой Гельвеции. —

Спускаясь с высокой горы, которая висит над городом, мог я обнять глазами великое пространство; и все сие пространство усеяно щедротами природы. Здесь мы ночуем, а завтра поутру будем в Цирихе.

Цирих

С отменным удовольствием подъезжал я к Цириху; с отменным удовольствием смотрел на его приятное местоположение, на ясное небо, на веселые окрестности, на светлое, зеркальное озеро и на красные его берега, где нежный Геснер рвал цветы для украшения пастухов и пастушек своих; где душа бессмертного Клопштока наполнялась великими идеями о священной любви к отечеству, которые после с диким величием излились в его «Германе»; где Бодмер собирал черты для картин своей «Ноахиды» и питался духом времен патриарших; где Виланд и Гете в сладостном упоении обнимались с музами и мечтали для потомства, где Фридрих Штолберг, сквозь туман двадцати девяти веков, видел в духе своем древнейшего из творцов греческих, певца богов и героев, седого старца Гомера, лаврами увенчанного и песнями своими восхищающего греческое юношество, – видел, внимал и в верном отзыве повторял песни его на языке тевтонов;^[180] где наш Л* бродил с любовною своею грустию и всякий цветочек со вздохом посвящал веймарской своей богине. —

Мы приехали сюда в десять часов утра. В трактире под вывескою «Ворона» отвели нам большую светлую комнату. Обширное Цирихское озеро разливается у нас перед глазами, и почти под самыми нашими окнами вытекает из него река Лиммата, которой шумное и быстрое стремление приятным образом отличается от тихой зыби вод его; прямо против нас, за озером, стоят высокие горы в утес; далее, в сторону, видны Швицкие, Унтервальденские и другие высочайшие и снегом покрытые горы, составляющие для меня совершенно новое зрелище: и все это могу я видеть вдруг, сидя под окном в своей комнате. – Нам принесли кушанье. После обеда пойду – нужно ли сказывать, к кому?

В 9 часов вечера. Вошедши в сени, я позвонил в колокольчик, и через

минуту показался сухой, высокий, бледный человек, ^[20] в котором мне нетрудно было узнать – Лафатера. Он ввел меня в свой кабинет. Услышав, что я тот москвитянин, который выманил у него несколько писем, Лафатер поцеловался со мною – поздравил меня с приездом в Цирих – сделал мне два или три вопроса о моем путешествии – и сказал: «Приходите ко мне в шесть часов; теперь я еще не кончил своего дела. Или останьтесь в моем кабинете, где можете читать и рассматривать, что вам угодно. Будьте здесь как дома». – Тут он показал мне в своем шкапе несколько фолиантов с надписью: «Физиогномический кабинет» – и ушел. Я постоял, подумал, сел и начал разбирать физиогномические рисунки. Между тем признаюсь вам, друзья мои, что сделанный мне прием оставил во мне не совсем приятные впечатления. Ужели я надеялся, что со мною обойдутся дружелюбнее и, услышав мое имя, окажут более ласкового удивления? Но на чем же основывалась такая надежда? Друзья мои! Не требуйте от меня ответа, или вы приведете меня в краску. Улыбнитесь про себя на счет ветреного, безрассудного самолюбия человеческого и предайте забвению слабость вашего друга. – Лафатер раза три приходил опять в кабинет, запрещал мне вставать со стула, брал книгу или бумагу и опять уходил назад. Наконец вошел он с веселым видом, взял меня за руку и повел – в собрание цирихских ученых, к профессору Брейтингеру, где рекомендовал меня хозяину и гостям как своего приятеля. Небольшой человек с пронзительным взором, – у которого Лафатер пожал руку сильнее, нежели у других, – обратил на себя мое внимание. Это был Пфенингер, издатель «Христианского магазина» и Лафатеров друг. При первом взгляде показалось мне, что он очень похож на С. И. Г., ^[181] и хотя, рассматривая лицо его по частям, увидел я, что глаза у него другие, лоб другой и все, все другое, однако ж первое впечатление осталось, и мне никак не можно было разуверить себя в сем сходстве. Наконец я положил, что, хотя и нет между ними сходства в наружной форме частей лица, однако ж оно должно быть во внутренней структуре мускулов!! Вы знаете, друзья мои, что я еще и в Москве любил заниматься рассматриванием лиц человеческих, искать сходства там, где другие его не находили, и проч., и проч., а теперь, будучи обвеян воздухом того города, который можно назвать колыбелью новой физиогномики, метопоскопии, хиромантии, подоскопии, ^[182] – теперь и вы бойтесь мне на глаза показаться! – Честные швейцары курили табак и пили чай, а Лафатер рассказывал им о свидании своем с Неккером. Послушаем, что он говорит о нем. «Если бы хотел я вообразить совершенного министра, то представил бы себе Неккера. Лицо, голос и движения не

изменяют у него сердцу. Вечное спокойствие есть его стихия. Однако ж он не рожден великим так, как Невтон, Вольтер и проч. Великость его есть приобретение; он сделал из себя все возможное». Лафатер видел его в самый тот час, как он решился повиноваться воле короля и Национального собрания и, посвятив сердечный вздох спокойному пристанищу, ожидавшему его при подошве горы Юры, [f21](#) возвратиться в бурный Париж. – Я был слушателем в беседе цюрихских ученых и, к великому своему сожалению, не понимал всего, что говорено было, потому что здесь говорят самым нечистым немецким языком. Через час Лафатер взял шляпу, и я пошел с ним вместе. Он проводил меня до трактира и простился со мною до завтрашнего дня.

Вы, конечно, не потребуете от меня, чтобы я в самый первый день личного моего знакомства с Лафатером описал вам душу и сердце его. На сей раз могу сказать единственно то, что он имеет весьма почтенную наружность: прямой и стройный стан, гордую осанку, продолговатое бледное лицо, острые глаза и важную мину. Все его движения живы и скоры; всякое слово говорит он с жаром. В тоне его есть нечто учительское или повелительное, происшедшее, конечно, от навыка говорить проповеди, но смягчаемое видом непритворной искренности и чистосердечия. Я не мог *свободно* говорить с ним, первое, потому, что он, казалось, взором своим заставлял меня говорить как можно скорее, а второе, потому, что я беспрестанно боялся не понять его, не привыкнув к цюрихскому выговору.

Пришедши в свою комнату, почувствовал я великую грусть и, чтобы не дать ей усилиться в моем сердце, сел писать к вам, любезные, милые друзья мои! Для того чтобы узнать всю привязанность нашу к отечеству, надобно из него выехать; чтобы узнать всю любовь нашу к друзьям, надобно с ними расстаться.

Какая приятная, тихая мелодия нежно потрясает нервы моего слуха! Я слышу пение; оно несется из окон соседнего дома. Это голос юноши – и вот слова песни:

«Отечество мое! Любвию к тебе горит вся кровь моя; для пользы твоей готов ее пролить; умру твоим нежнейшим сыном.

Отечество мое! Ты все в себе вмещаешь, чем смертный может наслаждаться в невинности своей. В тебе прекрасен вид природы; в тебе целителен и ясен воздух; в тебе земные блага рекою полною лиются.

Отечество мое! Любвию к тебе горит вся кровь моя; для пользы твоей готов ее пролить; умру твоим нежнейшим сыном.

Мы все живем в союзе братском; друг друга любим, не боимся и чтим того, кто добр и мудр. Не знаем роскоши, которая свободных в рабов, в

тиранов превращает. На что нам блеск искусств, когда природа здесь сияет во всей своей красе – когда мы из груди ее пием блаженство и восторг?

Отечество мое! Любовью к тебе горит вся кровь моя; для пользы твоей готов ее пролить; умру твоим нежнейшим сыном».

Голос умолк; тишина ночи царствует в городе. Простите, друзья, мои!

11 августа, в 10 часов

Пришедши в одиннадцать часов к Лафатеру, нашел я у него в кабинете жену владетельного графа Штолберга, которая читала про себя какой-то манускрипт, между тем как хозяин (NB: в пестром своем шлафроке) писал письма. Через полчаса комната его наполнилась гостями. Всякий чужестранец, приезжающий в Цирих, считает за должность быть у Лафатера. Сии посещения могли бы иному наскучить, но Лафатер сказал мне, что он любит видеть новых людей и что от всякого приезжего можно чему-нибудь научиться. Он повел нас к своей жене, где пробыли мы с час – поговорили о французской революции и разошлись. После обеда я опять пришел к нему и нашел его опять занятого делом. К тому же всякую четверть часа кто-нибудь входил к нему в кабинет или требовать совета, или просить милостыни. Всякому отвечал он от сердца и давал что мог. Между тем я познакомился с живописцем Липсом, который недавно приехал из Италии и живет у него в доме. К нам пришел еще Пфенингер, с которого Липс начал списывать портрет и с которым мы проговорили до самого вечера; а хозяин ушел от нас в четыре часа и не возвращался.

О городе скажу вам, что он не прельщает глаз, и, кроме публичных зданий, например ратуши и проч., не заметил я очень хороших или огромных домов, а многие улицы или переулки не будут ни в сажень шириною.

В здешнем арсенале показывают стрелу, которою славный Вильгельм Телль сшиб яблоко с головы своего сына и застрелил императорского губернатора Гейслера, – что было знаком к общему бунту. – В публичной цирихской библиотеке между прочими манускриптами хранятся три латинские письма от шестнадцатилетней Анны Гре к реформатору Буллингеру, писанные собственною ее рукою и наполненные чувствами сердечного благочестия. Разные места, приведенные ею в сих письмах из еврейских и греческих книг, показывают, что она знала и тот и другой язык. Такая ученость в шестнадцатилетней девице могла бы и ныне удивить нас: что же тогда? Несчастливая Гре! Ты была украшением своего времени и скончала цветущую жизнь столь ужасным образом! Трон был тебе погибелью.

Августа 12

Ныне рано поутру прислал за мною Лафатер, чтобы вместе с ним и с некоторыми из друзей его идти обедать к деревенскому священнику Т*. [\[183\]](#) Это путешествие утомило меня до крайности. Надобно было всходить по камням на высокую и крутую гору. Некоторые из наших спутников для облегчения своего скинули с себя кафтаны и шли в одних камзолах. На вершине горы мы остановились отдохнуть и полюбоваться прекрасными видами, которые наградили меня за все претерпенное мною. «Удивительно ли, – сказал мне г. Гес, указывая рукою на светлое озеро, на горы и плодоносные долины, – удивительно ли, что швейцары так привязаны к своему отечеству? Смотрите, сколько красот здесь рассеяно!» – На узкой долине между гор, в семи верстах от Цириха, лежит та маленькая деревенька, которая была целию нашего путешествия. Там принял нас добродушный священник со всеми знаками дружелюбия. Вместе с ним вышли к нам навстречу жена его и две дочери, которые всякому живописцу могли бы служить образцом красоты и которые напомнили мне Томсоновы стихи:

As in the hollow breast of Appenine,
Beneath the shelter of encircling hills,
A myrtle rises, far from human eye,
And breathes its balmy fragrance o'er the wild:
So flourish'd blooming, and unseen by all.
The sweet Lavinia... [\[184\]](#)

Сестры-прелестницы! Я хотел бы счастливою чертою пера изобразить красоту вашу, которую сама натура возлелеяла; хотел бы сравнить бело-румяные щеки ваши с чистым снегом высоких гор, когда восходящее солнце сыплет на него алые розы; хотел бы уподобить улыбку вашу улыбке весенней природы, глаза ваши звездам вечерним – но скромность ваших взоров отнимает у меня смелость хвалить вас. – Никогда еще не видывал я двух женщин, столь между собою сходных, как сии две красавицы. Кажется, что грации образовали их в одно время и по одной модели. Рост одинакий, лица одинакие; у обеих черные глаза и русые волосы, по плечам распущенные; на обеих и белые платья одинакого покроя. [\[185\]](#) – «Я привел к вам русского, – сказал Лафатер, – который знаком с вашею родственницею, девицею Т*». Хозяйка меня расспрашивала, а дочери слушали, наливая чай

для гостей своих. Признаюсь, я выпил лишнюю чашку и выпил бы еще десять, если бы красавицы не перестали меня потчевать. – Между тем я обратил глаза свои на большой шкаф с книгами и нашел тут почти всех лучших древних и новых стихотворцев. «Вы, конечно, любите поэзию?» – спросил я у хозяина. – «Родясь в романической земле, – отвечал он, – как не любить поэзии?» Между тем мы отдохнули и пошли гулять по саду. Со всех сторон представлялись нам дикие виды гор, полагавших тесные пределы нашему зрению. – Если мне когда-нибудь наскучит свет; если сердце мое когда-нибудь умрет всем радостям общежития; если уже не будет для него ни одного сочувствующего сердца, то я удалюсь в эту пустыню, которую сама натура оградила высокими стенами, неприступными для пороков, – и где все, все забыть можно, все, кроме бога и природы. – Возвратясь в комнату, нашли мы на столе кушанье. Обед был самый изобильный; говорили, шутили, смеялись. Лафатер, сидевший рядом со мною, сказал, потрепав меня по плечу: «Думал ли я дни за три перед этим, что буду ныне обедать с моим московским приятелем?» После обеда началась игра – однако ж не карточная, друзья мои! Все сели вокруг стола; всякий взял листочек бумаги и написал вопрос, какой ему на ум пришел. Потом бумажки смешали и раздали. Всякий должен был отвечать на тот вопрос, который ему достался, и написать новый. Таким образом продолжались вопросы и ответы, пока на листочках не осталось белого места. Тут прочли вслух все написанное. Некоторые ответы были довольно остроумны, а Лафатеровы отличались от других, как луна от звезд. Сестры-прелестницы отвечали всегда просто и хорошо. Вот вам нечто для примера. Вопрос: «Кто есть истинный благодетель?» Ответ: «Тот, кто помогает ближнему в настоящей его нужде». Сей ответ, при всей своей простоте, заключает в себе разительную истину. Давай всякому то, в чем он *на сей раз* имеет нужду; не читай нравочений тому человеку, который умирает с голоду, а дай ему кусок хлеба; не бросай рубля тому, кто утопает, а вытащи его из воды. – Вопрос: «Нужна ли жизнь такого-то человека для совершения такого-то дела?» Ответ: «Нужна, если он жив останется; не нужна, если он умрет». – Вопрос: «Что всего лучше в том месте, где мы теперь?» Ответ: «Люди». Потом из нескольких заданных слов, между которыми не было никакой связи, надлежало всякому сочинить что-нибудь связное. Тут выходило все смешное. – Желал бы я, чтобы мы переняли у немцев сии острящие разум игры, которые могут быть столь забавны в приятельских обществах. [\[186\]](#)

Наконец, поблагодарив хозяина за угощение, отправились мы назад в Цирих. Добродушный священник с двумя своими ореадами пошел нас

проводить; красавицы очень устали, и я насилу мог упрямить одну из них взять мою трость. На вершине горы мы с ними расстались и возвратились в город почти ночью. Я простился с Лафатером на два дня, потому что намерен завтра вместе с приятелем моим Б* идти пешком в Шафгаузен, до которого считается отсюда пять миль.

Эглизау, августа 14

Вчера в восемь часов утра пошли мы с Б* из Цириха. Сперва шел я довольно бодро, но скоро силы мои начали истощаться – день был самый ясный – жар беспрестанно усиливался – и наконец, прошедши мили две, я от слабости упал на траву подле дороги, к великой досаде моего Б*, которому хотелось как можно скорее дойти до Рейнского водопада. Из трактира вынесли нам воды и вина, которое подкрепило силы мои, и мы чрез час опять пустились в путь. Однако ж до Шафгаузена я еще раза три останавливался отдыхать. Наконец, в семь часов вечера, услышали мы шум Рейна, удвоили шаги свои, пришли на край высокого берега и увидели водопад. Не думаете ли вы, что мы при сем виде закричали, изумились, пришли в восторг и проч.? Нет, друзья мои! Мы стояли очень тихо и смирно, минут с пять не говорили ни слова и боялись взглянуть друг на друга. Наконец я осмелился спросить у моего товарища, что он думает о сем явлении? «Я думаю, – отвечал Б*, – что оно – слишком – слишком возвеличено путешественниками». – «Мы одно думаем, – сказал я, – река, с пеною и шумом ниспадающая с камней, конечно, стоит того, чтобы взглянуть на нее; однако ж где тот громозвучный, ужасный водопад, который вселяет трепет в сердце?» – Таким образом мы поговорили друг с другом и, боясь, чтобы в Шафгаузене не заперли ворот, отложили до следующего дня посмотреть на водопад вблизи. Насилу мог я дотащиться до города: так ноги мои устали! Мы пришли прямо в трактир «Венца», где обыкновенно останавливаются путешественники и где – несмотря на то, что мы были пешеходцы и с головы до ног покрыты пылью, – приняли нас очень учтиво. Сей трактир почитается одним из лучших в Швейцарии и существует более двух веков. Монтань упоминает о нем, и притом с великою похвалою, в описании своего путешествия; а Монтань был в Шафгаузене в 1581 году. – После хорошего ужина бросился я на постелю и заснул мертвым сном. На другой день поутру, то есть сегодня, был я у кандидата Миллера, автора хорошо принятой книги, под титулом «Philosophische Aufsätze»,^[187] и у богатого купца Гауппа, к которым дал мне Лафатер рекомендательные письма. Оба они приняли меня очень ласково, и оба удивлялись тому, что падение Рейна не сделало во мне

сильного впечатления, но, услышав, что мы видели его с горы, со стороны Цириха, перестали дивиться и уверяли меня, что я, конечно, перемену свое мнение, когда посмотрю на него с другой стороны и вблизи. – О городе не могу вам сказать ничего примечания достойного, друзья мои. Не буду описывать вам и славного деревянного моста, построенного не архитектором, но плотником; моста, который дрожит под ногами одного человека и по которому без всякой опасности ездят самые тяжелые кареты и фуры.

После обеда поехали мы в наемной коляске к водопаду, до которого от города будет около двух верст. Приехав туда, сошли с горы и сели в лодку. Стремление воды было очень быстро. Лодка наша страшно качалась, и чем ближе подъезжали мы к другому берегу, тем яростнее мчались волны. Один порыв ветра мог бы погрузить нас в кипящей быстрине. Пристав к берегу, с великим трудом взлезли мы на высокий утес, потом опять спустились ниже и вошли в галерею, построенную, так сказать, в самом водопаде. Теперь, друзья мои, представьте себе большую реку, которая, преодолевая в течении своем все препоны, полагаемые ей огромными камнями, мчится с ужасною яростию и наконец, достигнув до высочайшей гранитной преграды и не находя себе пути под сею твердою стеною, с неописанным шумом и ревом свергается вниз и в падении своем превращается в белую, кипящую пену. Тончайшие брызги разнообразных волн, с беспримерною скоростью летящих одна за другою, мириадами поднимаются вверх и составляют млечные облака влажной, для глаз непроницаемой пыли. Доски, на которых мы стояли, тряслись беспрестанно. Я весь облит был водяными частицами, молчал, смотрел и слушал разные звуки ниспадающих волн: ревуций концерт, оглушающий душу! Феномен действительно величественный! Воображение мое одушевляло хладную стихию, давало ей чувство и голос: она вещала мне о чем-то неизглаголанном! Я наслаждался – и готов был на коленях извиняться перед Реином^[188] в том, что вчера говорил я о падении его с таким неуважением. Долее часа стояли мы в сей галерее, но это время показалось мне минутою. Переезжая опять через Реин, увидели мы бесчисленные радуги, производимые солнечными лучами в водяной пыли, что составляет прекрасное, великолепное зрелище. После сильных движений, бывших в душе моей, мне нужно было отдохнуть. Я сел на цирихском берегу и спокойно рассматривал картину водопада с его окрестностями. Каменная стена, с которой низвергается Реин, вышиною будет около семидесяти пяти футов. В середине сего падения возвышаются две скалы, или два огромные камня, из которых один, несмотря на усилие волн, стремящихся сокрушить

его, стоит непоколебим (подобно великому мужу, скажет стихотворец, непреклонному среди бедствий и щитом душевной твердости отражающему все удары злого рока), – а другой камень едва держится на своем основании, будучи разрушаем водою. На противоположном крутом берегу представлялись мне старый замок Лауфен, церковь, хижины, виноградные сады и деревья: все сие вместе составляло весьма приятный ландшафт.

Наконец, отпустив коляску назад в Шафгаузен, наняли мы лодку и поплыли вниз по Рейну. Несколько раз обращались глаза мои на водопад; он скрылся – но шум его долго еще отзывался в моем слухе. – Лодочник почел за нужное сказать нам, что в Америке есть подобный водопад. Он не умел назвать его, но мы поняли, что он говорит о Ниагаре.

Эглизау

Шумящие волны быстро несли нашу лодку между плодоносных берегов Рейна. День склонялся к вечеру. Я был так доволен, так весел; качание лодки приводило кровь мою в такое приятное волнение; солнце так великолепно сияло на нас сквозь зеленые решетки ветвистых деревьев, которые в разных местах увенчивают высокий берег; жаркое золото лучей его так прекрасно мешалось с чистым серебром рейнской пены; уединенные хижины так гордо возвышались среди виноградных садиков, которые составляют богатство мирных семейств, живущих в простоте природы, – ах, друзья мои! Для чего не было вас со мною?

В Эглизау, маленьком городке, на половине дороги от Шафгаузена к Цириху, вышли мы на берег, заплатив лодочнику новый французский талер, или два рубли. Хотя солнце уже садится, однако ж мы не намерены здесь ночевать. Выпив в трактире чашек пять кофе, я чувствую в себе такую бодрость, что готов пуститься пешком на десять миль. Товарищ мой Б*, который с кортиком и собакою прошел всю Германию, совсем не знает усталости – всегда уходит вперед, оборачивается и смеется над моей дряхлостью. До Цириха остается нам перейти еще более двух миль. Завтра воскресенье, и Лафатер поутру в семь или в восемь часов будет говорить проповедь в церкви св. Петра; мне хочется прийти туда к сему времени. – Б* подает мне посох и шляпу. Простите!

Корчма

Лишь только вышли мы из Эглизау, солнце закатилось; серые облака покрыли небо; вечер становился час от часу темнее, и скоро наступила самая мрачная ночь. Нам надобно было идти лесом, в котором царствовала

мертвая тишина. Мы останавливались и слушали – но ни один листочек на дереве не шевелился. Я громко произнес имя Сильвана; эхо повторило его, и опять все умолкло. Мне казалось, что я приближаюсь к святилищу уединенного бога лесов и вижу его вдали стоящего с кипарисною ветвью. Сердце мое чувствовало вместе и страх и тихое, неизъяснимое удовольствие. Таким образом шли мы около двух часов, не встретясь ни с одним человеком. Тут повеял сильный, холодный ветер, и Б* признался мне, что он желал бы скорее дойти до какой-нибудь деревни или до трактира, где бы нам можно было ночевать. Я и сам желал того же: летний мой кафтан худо защищал меня от холодного ветра. Наконец мы пришли в маленькую деревеньку, где уже все спали; только в одном доме светился огонь, и сей дом был трактир. С видом удивления посмотрел на нас трактирщик, покачал головою и, сказав: «В темную ночь бродить пешком неприлично таким господам!», отворил нам дверь. Мы вошли в большую горницу, в которой не было ничего, кроме пяти или шести столов и дюжины деревянных стульев. Прежде всего заговорили мы об ужине. «Тотчас все будет готово», – сказал трактирщик и принес нам сыру, масла, хлеба и бутылку кислого вина. – «Что же еще будет?» – спросили мы. – «Ничего», – отвечал он. Делать было нечего, и, пожав плечами, принялись мы за ужин. Потом хозяин проводил нас в спальню, то есть на чердак, в маленький чулан, где мы нашли постель, очень немягкую и нечистую; однако ж усталость принудила нас искать на ней успокоения. Через два часа я проснулся, взял свечу, сошел вниз, в ту горницу, где мы ужинали, и сел написать к вам несколько строк, друзья мои! Между тем товарищ мой спит очень покойно. Однако ж я намерен теперь разбудить его, чтобы, напившись кофе, идти в Цирих. Ветер утих, и небо прояснилось; скоро будет светать.

Цирих

В половине девятого часа пришли мы в Цирих, в самое то время, когда весь народ шел из церкви; и, таким образом, в сие воскресенье не удалось мне слышать Лафатеровой проповеди. Все мужчины и женщины, которые мне встречались на улицах, были одеты по-праздничному: первые большею частью в темных кафтанах, а последние, все без исключения, в черном длинном платье из шерстяной материи; на головах у них были или чепчики, или покрывала. Праздничное платье цирихских сенаторов состоит в черном суконном кафтане, с черною шелковою епанчою и с превеликим белым крагеном. В таком наряде ходят они обыкновенно в совете и в церковь по воскресеньям.

Ныне после обеда принял меня Лафатер очень ласково и наговорил мне довольно приятного. Ему хочется, чтобы я выдал на русском языке извлечение из его сочинений. «Когда вы возвратитесь в Москву, – сказал он, – я буду пересылать к вам через почту рукописный оригинал. Вы можете собрать подписку и уверить публику, что в извлечении моем не будет ни одного необдуманного слова». Что вы об этом скажете, друзья мои? Найдутся ли у нас читатели для такой книги? По крайней мере сомневаюсь, чтоб их нашлось много. Однако ж я принял Лафатерово предложение, и мы ударили с ним по рукам. – От него ходил я на цюрихское загородное гульбище, большой прекрасный луг на берегу реки Лимматы, осеняемый старыми, почтенными липами. Тут нашел я очень много людей, которые все кланялись мне, как знакомому. Таков обычай в Цюрихе: всякий встречающийся на улице человек говорит вам: «Добрый день» или «Добрый вечер»! Учтивость хороша, однако ж рука устанет снимать шляпу – и я решился наконец ходить по городу с открытою головою. В девятом часу возвратился я к Лафатеру и ужинал у него с некоторыми из его приятелей и со всем его семейством, кроме сына, который теперь в Лондоне. Большая Лафатерова дочь нехороша лицом, а меньшая очень приятна и резва; первой будет около двадцати, а последней около двенадцати лет. Хозяин наш был весел и говорлив; шутил, и шутил забавно. Между прочим, зашла речь об одном из его известных неприятелей – я обратил на Лафатера все свое внимание, – но он молчал, и на лице его не видно было никакой перемены. Едва ли справедливо будет требовать от него, чтобы он хвалил тех, которые бранят его так жестоко; довольно, если он не платит им такую же бранью. Пфенингер сказывал мне, что Лафатер давно уже поставил себе за правило не читать тех сочинений, в которых о нем пишут, и, таким образом, ни хвала, ни хула до него не доходит. Я считаю это знаком редкой душевной твердости; и человек, который, поступая согласно с своею совестью, не смотрит на то, что думают о нем другие люди, есть для меня великий человек. Между тем, друзья мои, желаю вам покойной ночи.

Ныне поутру пил я кофе у господина Т*, отца известной вам девицы Т*, и познакомился со всем его семейством, довольно многочисленным. Удивляюсь, как отец и мать могли отпустить дочь свою в такую отдаленную землю! Состояние их (сколько я видел и слышал) очень не бедно – да и много ли надобно для содержания одной дочери! К тому же швейцары так страстно любят свое отечество, что почитают за великое несчастье надолго оставлять его. – Вместе с господином Т* ходили мы смотреть ученья цюрихской милиции. Почти все жители были зрителями

сего спектакля, для них редкого. Тут случилось со мною нечто смешное и – неприятное. Господин профессор Брейтингер, с которым я еще не видался по возвращении своем из Шафгаузена, встретился мне в толпе народа, когда уже кончилось ученье, и после первого приветствия спросил, каково показалось мне *виденное* мною? Я думал, что он говорит о падении Реина; воображение мое тотчас представило мне эту величественную сцену – земля затряслась подо мною – все вокруг меня зашумело – и я с жаром сказал ему: «Ах! Кто может описать великолепие такого явления? Надобно только видеть и удивляться». – «Это были наши волонтеры», – отвечал мне господин профессор и с поклоном ушел от меня. Тут я понял, что он спрашивал меня не о падении Реина, а об учении цюрихских солдат: каковым же показался ему ответ мой? Признаться, я досадовал и на себя, и на него и хотел было бежать за ним, чтобы вывести его из заблуждения, столь оскорбительного для моего самолюбия, но между тем он уже скрылся.

Я более и более удивляюсь Лафатеру, любезные друзья мои. Вообразите, что он часа свободного не имеет, и дверь кабинета его почти никогда не затворяется; когда уйдет нищий, придет печальный, требующий утешения, или путешественник, не требующий ничего, но отвлекающий его от дела. Сверх того, посещает он больных, не только живущих в его приходе, но и других. Ныне в семь часов, отправив на почту несколько писем, схватил он шляпу, побежал из комнаты и сказал мне, что я могу идти с ним вместе. «Посмотрим, куда», – думал я и пошел за ним из улицы в улицу и наконец совсем вон из города, в маленькую деревеньку и на крестьянский двор. «Жива ли она?» – спросил он у пожилой женщины, которая встретила нас в сенях. «Чуть душа держится», – отвечала она со слезами и отворила нам дверь в горницу, где увидел я старую, иссохшую и бледную женщину, лежащую на постеле. Два мальчика и две девочки стояли подле постели и плакали, но, увидев Лафатера, бросились к нему, схватили его за обе руки и начали целовать их. Он подошел к больной и ласковым голосом спросил у нее, какова она? – «Умираю – умираю», – отвечала старушка и более не могла сказать ни слова, устремив глаза на грудь свою, которая страшным образом вверх подымалась. Лафатер сел подле нее и начал готовить ее к смерти. «Час твой приблизился, – сказал он, – и Спаситель наш ожидает тебя. Не страшись гроба и могилы; не ты, но только брненное тело твое в них заключится. В самую ту минуту, когда глаза твои закроются навеки для здешнего мира, воссияет тебе заря вечной и лучшей жизни. Благодаря бога, ты дожила здесь до глубокой старости, – видела возросших детей и внучат своих, возросших в

добронравии и благочестии. Они будут всегда благословлять память твою и наконец с лицом светлым обнимут тебя в жилище блаженных. Там, там составим мы все одно счастливое семейство!» – При сих словах прервался Лафатеров голос; он утерся белым платком и, прочитав молитву, благословил умирающую, простился с нею – поцеловал маленьких детей – сказал, чтобы они не плакали, и, дав им по несколько копеек, ушел. Мне было очень тяжело, однако ж слезы не хотели литься из глаз моих; насилу мог я свободно вздохнуть на чистом вечернем воздухе.

«Где вы берете столько сил и столько терпения?» – сказал я Лафатеру, удивляясь его деятельности. – «Друг мой! – отвечал он с улыбкою. – Человек может делать много, если захочет, и чем более он действует, тем более находит в себе силы и охоты к действию».

Не думаете ли вы, друзья мои, что Лафатер, помощник бедных, очень богат? Нет, доходы его весьма невелики. Но он продает многие из своих сочинений, и печатные и письменные, в пользу неимущих братии и, собирая таким образом изрядную сумму денег, раздает ее просящим. Я купил у него два манускрипта: «Сто тайных физиогномических правил» (в заглавии которых написано: «Lache des Elends nicht und der Mittel das Elend zu lindern»^[189]) и «Памятник для любезных странников»;^[190] за последнюю рукопись он не взял с меня денег, а велел мне отдать их одному бедному французу, который пришел к нему просить милостыни.

Я имел удовольствие познакомиться сегодня с человеком весьма любезным – с архидиаконом Тоблером, который мне известен был по своим сочинениям, а особливо по переводу Томсоновых «Времен года», изданному покойным Геснером, другом его. Он пришел ко мне ныне поутру с господином Т* и прельстил меня простотою своего обхождения. Вместе с ним и с двумя сестрами девицы Т* поехали мы в большой лодке гулять по озеру. Нельзя было выбрать лучшего дня: на небе не показывалось ни одного облачка, и вода едва-едва струилась. На том и на другом берегу озера видны хорошо выстроенные деревни, сельские домики богатых цюрихских граждан и виноградные сады, которые простираются беспрерывно. Ровно за сорок лет перед сим, любезные друзья мои, бессмертный Клопшток – с молодыми своими друзьями и с любезнейшими из цюрихских молодых девиц – катался по озеру. «Я как теперь смотрю на Клопштока, – сказал г. Тоблер. – На нем был красный кафтан. В тот день отменно нравилась ему девица Шинц. Виртмиллер сделал из ее перчатки кокарду для Клопштоковой шляпы. Божественный певец „Мессиады“ разливал радость вокруг себя. Сию эфирную радость – радость, какую

могут только чувствовать великие души, – воспел Клопшток в прекрасной оде своей „Züricher-See“, ^[191] которая осталась вечным памятником пребывания его в здешних местах – пребывания, лаврами и миртами увенчанного». Господин Тоблер – говоря о том, как уважен был здесь певец «Мессиады», – сказывал мне, между прочим, что однажды из кантона Гларуса пришли в Цирих две молодые пастушки единственно затем, чтобы видеть Клопштока. Одна из них взяла его за руку и сказала:

«Ach! Wenn ich in der „Clarissa“ lese und im „Messias“, so bin ich ausser mir!» (Ах, читая «Клариссу» ^[192] и «Мессиаду», я вне себя бываю!) Друзья мои! Вообразите, что в эту райскую минуту чувствовало сердце песнопевца! – Разговаривая таким образом с почтенным архидиаконом, не видал я, как мы отплыли от города две мили, или около пятнадцати верст. Тут надлежало нам выйти на берег близ небольшой деревеньки, в которой г. Тоблер родился и где отец его был священником. Все крестьянские домики в сей деревне имеют очень хороший вид, и подле всякого есть садик с плодовитыми деревьями и с грядками, на которых растут благовонные цветы и поваренные травы. Во внутренности домов все чисто. Тут видел я семейный крестьянский обед. Когда все собрались к столу, хозяйка прочитала вслух молитву, после чего сели вокруг стола – муж подле жены, брат подле сестры – и принялись за суп, а потом за сыр и масло. Обед заключен был также молитвою, причем мужчины стояли без шляп, которых они, впрочем, почти никогда с головы не снимают. Даже и городские жители нередко обедают в шляпах, что почитается у них знаком свободы и независимости.

Мы обедали в сельском трактире и ели очень вкусную рыбу, ловимую в Цирихском озере. Говорят, будто в Швейцарии вообще больше едят, нежели в других землях, и приписывают это действию здешнего острого воздуха. Что принадлежит до меня, то хотя обедаю и ужинаю в Швейцарии с добрым аппетитом, однако ж не могу назвать его чрезмерным или отменным. После обеда переехали мы на другую сторону озера, где встретил нас свойственник господина Т*, живущий почти на самом берегу в большом доме. Он показывал нам свое хозяйство, своих коров, своих лошадей и большой плодовитый сад. Когда мы пришли к нему в дом, он потчевал нас прекрасными абрикосами и хорошим красным вином, не купленным, а домашним; между тем дочь его играла приятно на клавесине. Часов в семь поплыли мы назад в Цирих, и я имел удовольствие видеть снежные горы, позлащаемые заходящим солнцем и наконец помраченные густыми тенями вечера. Огни городские представляли нам вдали

прекрасную иллюминацию, и мы вышли на берег в исходе десятого часа. Мне оставалось только благодарить архидиакона Тоблера, господина Т* и дочерей его за все те удовольствия, которыми я наслаждался сегодня в их обществе...

В Цирихе есть так называемая *девичья школа* (TöchterSchule), которая достойна внимания всех, приезжающих в сей город. В ней безденежно учатся шестьдесят молодых девушек (от двенадцати до шестнадцати лет) читать, писать, арифметике, правилам нравственности и экономии, то есть приготавливаются быть хорошими хозяйками, супругами и матерями. Приятно видеть вместе столько молодых, опрятно и чисто одетых красавиц, которые занимаются своим делом в тишине и с великою прилежностью, под надзором благодетельных учительниц, обходящихся с ними кротко и ласково. Тут дочь богатейшего цирихского гражданина сидит подле дочери бедного соседа своего и научается уважать достоинство, а не богатство. – Сия благодетельная школа учреждена в 1774 году г. профессором Устери, который, к общему сожалению своих сограждан, умер в начале нынешнего лета.

Может быть, ни в каком другом европейском городе не найдете вы, друзья мои, таких неисторченных нравов и такого благочестия, как в Цирихе. Здесь-то еще строго наблюдаются законы супружеской верности – и жена, которая осмелилась бы явно нарушить их, сделалась бы предметом общего презрения. Здесь мать почитает воспитание детей главным своим упражнением, а как и самые богатые из цирихских жителей не держат более одной служанки, то всякая хозяйка находит для себя много дела в домашней жизни, не угнетается праздностию, матерью многих пороков, и редко ходит в гости. Театр, балы, маскарады, клубы, великолепные обеды и ужины! Вы здесь неизвестны. Иногда сходятся две, три, четыре приятельницы – разговаривают дружески – вместе работают или читают Геснера, Клопштока, Томсона и других писателей и поэтов, которые не приводят целомудрия в краску. Редко бывают они вместе с посторонними мужчинами, а при чужестранцах стыдятся говорить, думая, что цирихский выговор противен их ушам. Все они одеваются просто, не думая о французских модах, и совсем не употребляют румян. – Мужчины отправляют поутру дела свои: купец идет в контору или в лавку, ученый садится читать или писать, художник берется за свою работу, и так далее. В полдень обедают, а ввечеру прогуливаются или в приятельских беседах курят табак, пьют чай и кофе – купцы говорят о торговых, ученые об ученых делах, и таким образом проводят время. Не знаю, продаются ли в Цирихе карты; по крайней мере в них здесь никогда не играют и не знают

сего прекрасного средства убивать время (простите мне этот галлицизм), средства, которое в других землях сделалось почти необходимым.

Мудрые цюрихские законодатели знали, что роскошь бывает гробом вольности и добрых нравов, и постарались заградить ей вход в свою республику. Мужчины не могут здесь носить ни шелкового, ни бархатного платья, а женщины – ни бриллиантов, ни кружев; и даже в самую холодную зиму никто не смеет надеть шубы, для того что меха здесь очень дороги. В городе запрещено ездить в каретах, и потому здоровые ноги здесь гораздо более уважаются, нежели в других местах. Во внутренности домов не увидите вы никаких богатых уборов – все просто и хорошо. Хотя чужестранные вина сюда привозятся, однако ж их позволено употреблять не иначе как в лекарство. Только думаю, что сей закон не очень строго соблюдается. Например, у Лафатера за столом пили мы малагу; но он взял ее, может быть, из аптеки, по предписанию своего доктора Г*.

Я слышал прежде, будто в Швейцарии жить дешево; теперь могу сказать, что это неправда и что здесь все гораздо дороже, нежели в Германии, например хлеб, мясо, дрова, платье, обувь и прочие необходимости. Причина сей дороговизны есть богатство швейцарцев. Где богаты люди, там дешевы деньги; где дешевы деньги, там дороги вещи. Обед в трактире стоит здесь восемь гривен; то же самое платил я в Базеле и в Шафгаузене. Правда, что в швейцарских трактирах никогда не подают на стол менее семи или восьми хорошо приготовленных блюд и потом десерт на четырех или на пяти тарелках.

Я всякий день бываю у Лафатера, обедаю у него и хожу с ним по вечерам прогуливаться. Он, кажется, любит меня; ласкает и расспрашивает иногда о подробностях жизни моей, дозволяя и мне предлагать ему разные вопросы, а особливо на письме. В пример переведу вам ответ его на один из моих вопросов. Вопрос: «Какая есть всеобщая цель бытия нашего, равно достижимая для мудрых и слабоумных».^[193] – Ответ: «Бытие есть цель бытия. – Чувство и радость бытия (Daseynsfrohheit) есть цель всего, чего мы искать можем. Мудрый и слабоумный ищут только средств наслаждаться бытием своим или чувствовать его – ищут того, через что они самих себя сильнее ощутить могут. – Всякое *чувство* и всякий *предмет*, постигаемый которым-нибудь из наших чувств, суть прибавления (Beiträge) нашего самочувствования (Selbstgeföhles); чем более самочувствования, тем более блаженства. – Как различны наши организации или образования, так же различны и наши потребности в *средствах* и *предметах*, которые новым образом дают нам чувствовать

наше бытие, наши силы, нашу жизнь. – Мудрый отличается от слабоумного только средствами самочувствования. Чем проще, вездесущнее, всенасладительнее, постояннее и благодетельнее есть средство или предмет, в котором или через который мы сильнее существуем, тем существеннее (existenter) мы сами, тем вернее и радостнее бытие наше – тем мы мудрее, свободнее, любящее (liebender), любимее, живущее, оживляющее, блаженнее, человечнее, божественнее, с целью бытия нашего сообразнее. – Исследуйте точно, чрез что и в чем вы приятнее или тверже существуете? Что вам доставляет более наслаждения – разумеется, такого, которое никогда не может причинить раскаяния, которое всегда с спокойствием и внутреннею свободою духа может и должно быть снова желаемо? Чем достойнее и существеннее избираемое вами средство, тем достойнее и существеннее вы сами; чем существеннее вы делаетесь, то есть чем сильнее, вернее и радостнее существование ваше – тем более приближаетесь вы ко всеобщей и особой цели бытия вашего. Отношение (Anwendung) и исследование сего положения (отношение и исследование есть одно) покажет вам истину, или (что опять все одно) всеотносимость оного. Цирих, в четверток ввечеру, 20 августа 1789. Иоанн Каспар Лафатер». Каков вам кажется сей ответ, друзья мои? Вы, конечно, не подумаете, чтобы я в самом деле надеялся сведать от Лафатера цель бытия нашего; мне хотелось только узнать, что он может о том сказать. Таким образом всякое утро прихожу к нему с каким-нибудь вопросом. Он прячет мою бумажку в карман и ввечеру отдает мне ответ, на ней же написанный, – оставляя у себя копию. Я уверен, что все это будет напечатано в ежемесячном его сочинении, которое с нового года должно выходить в Берлине под титулом: «Ответы на вопросы моих приятелей».

{22}

Лафатер намерен еще издавать, также с будущего года, «Библиотеку для друзей», где будут помещаемы такие пиесы, которых он, по каким-нибудь причинам, не хочет сообщить публике. Только приятели его могут получать сию библиотеку, и хотя она будет печатная, однако ж они обязываются считать ее за манускрипт.

По сие время Лафатеровы сочинения составляют около пятидесяти томов; если он проживет еще лет двадцать, то это число может вдвое умножиться. За всем тем, по его словам, сочинение есть для него не работа, а отдых.

Сверх того, что Лафатер пишет для публики и для приятелей, ведет он журнал жизни своей, который есть тайна и для самых друзей его и который останется в наследство его сыну. Тут описывает он все свои важнейшие

опыты, сокровенные связи с некоторыми людьми, свои надежды, радости и печали. – Вероятно, что в сих записках много любопытного – и я почти уверен, что они со временем будут напечатаны – если не для меня и не для вас, то по крайней мере для детей ваших, друзья мои. Девятый-надесять век! Сколько в тебе откроется такого, что теперь считается тайною!

Раза три был я у почтенного старика Тоблера и провел у него часов пять или шесть, весьма приятных. Он так много рассказывал мне о покойном Бодмере и швейцарском Теокрите! «Геснер украсил весну жизни моей, – говорит он, – и во всех приятных сценах моей юности, о которых теперь с удовольствием воспоминаю, вижу его перед собою. Часто проводили мы вместе длинные зимние вечера в чтении поэтов, и почти всегда, когда я приходил к нему, встречал он меня с какою-нибудь приятною новостью, им сочиненною. Дом его был академиею изящной литературы и искусства – академиею, какой государи основать не могут». Вы знаете, что Геснер посвятил своего «Дафниса» одной девице, но не знаете, может быть, что эта девица была дочь г. Гейдеггера, цюрихского сенатора, и что творец «Дафниса» скоро после того женился на ней и жил с нею всегда, как любовник с любовницею. – По любви к человечеству прискорбно было мне слышать, что Геснер не мог терпеть Лафатера и, несмотря на все старания общих друзей их, никогда не хотел с ним помириться. Тем более чести Лафатеру, что он, по смерти Геснеровой, сочинил ему похвальные стихи!

С профессором Мейстером – братом того Мейстера, который написал на французском языке известную книгу «О естественном нравоучении» и который, будучи выгнан из Цюриха за одно смелое сочинение, живет теперь в Париже, – виделся я только один раз. Наружность его не очень привлекательна, однако же обхождение его весьма приятно. Он говорит почти так же хорошо, как пишет. Я с удовольствием читал некоторые из его сочинений («Kleine Reisen»^[194] и «Characteristik Deutscher Dichter»^[195]) и поблагодарил его за это удовольствие.

В нынешний вечер наслаждался я великолепным зрелищем. Около двух часов продолжалась ужасная гроза. Если бы вы видели, как пурпуровые и золотые молнии вились по хребтам гор, при страшной канонаде неба! Казалось, что небесный громовержец хотел превратить в пепел сии гордые вышины, но они стояли, и рука его утомилась – громы умолкли, и тихая луна сквозь облака проглянула.

В Цюрихском кантоне считается около 180 000 жителей, а в городе – около 10 000, но только две тысячи имеют право гражданства, избирают судей, участвуют в правлении и производят торг; все прочие лишены сей

выгоды. Из тридцати цехов, на которые разделены граждане, один называется главным, или дворянским, имея перед другими то преимущество, что из него выбирается в члены верховного совета осьмнадцать человек, – из прочих же только по двенадцати. Сему совету принадлежит законодательная власть, а гражданские и уголовные дела судит так называемый малый совет, или сенат (состоящий из сорока членов и двух бургомистров), для которого избирается особенно из каждого цеха по шести человек; они называются сенаторами и всякий год сменяются. Кому двадцать лет от роду, тот имеет уже голос в республике, то есть может избирать в судьи; в тридцать лет можно быть членом верховного совета, а в тридцать пять сенатором, или членом малого совета. Цирихский житель, имеющий право гражданства, так же гордится им, как царь своею короною. Уже более ста пятидесяти лет никто не получал сего права; однако ж его хотели дать Клопштоку, с тем условием, чтобы он навсегда остался в Цирихе.

В субботу ввечеру Лафатер затворяется в своем кабинете для сочинения проповеди – и чрез час бывает она готова. Правда, если он говорит все такие проповеди, какую я ныне слышал, то их сочинять не трудно. «Спаситель снял с нас бремя грехов: итак, будем благодарить его» – сии мысли, выраженные различным образом, составляли содержание всего поучения. Одни восклицания, одна декламация, и более ничего! Признаюсь, что я ожидал чего-нибудь лучшего. Вы скажете, что с народом так говорить надобно; но Лаврентий Стерн говорил с народом, говорил просто, и трогал сердце – мое и ваше. Вид, с каким проповедует Лафатер, мне понравился.

Цирихские проповедники являются на кафедрах в какихто странных черных *шушунах*, с большими белыми и жестко накрахмаленными крагенами. Обыкновенно же ходят они в черных или темных кафтанах. Лафатер носит на голове черную бархатную скуфейку – но только он один. Не для того ли почли его тайным католиком?

Когда в церкви поют псалмы, мужчины стоят без шляп; когда же начинается проповедь, все садятся, надевают шляпы, молчат и слушают...

Я познакомился на сих днях с двумя молодыми соотечественниками моего приятеля Б*: с графом М* и господином Баг*. ^[196] Сей последний сочинил на датском языке две большие оперы, которые отменно полюбились копенгагенской публике, а наконец были причиною того, что автор лишился спокойствия и здоровья. Вы удивитесь, но тут нет ничего чудного. Зависть вооружила против него многих писателей; они вздумали

уверять публику, что оперы господина Баг* ни к чему не годятся. Молодой автор защищался с жаром, но он был один в толпе неприятелей. В газетах, в журналах, в комедиях – одним словом, везде его бранили. Несколько месяцев он отбранивался, наконец почувствовал истощение сил своих, с больною грудью оставил место боя и уехал в Пирмонт к водам, откуда доктор прислал его в Швейцарию лечиться горным воздухом. Молодой граф М*, учившийся в Геттингене, согласился вместе с ним путешествовать. Оба они познакомились с Лафатером и полюбились ему своею живостию. И тот и другой любит аханье и восклицания. Граф бьет себя по лбу и стучит ногами, а поэт Баг* складывает руки крестом и смотрит на небо, когда Лафатер говорит о чем-нибудь с жаром. Ныне или завтра уедут они в Луцерн; любезный мой приятель Б* едет с ними же.

Цюрих, 26 августа

Наконец думаю ехать из Цюриха, прожив здесь шестнадцать дней. Ныне в последний раз обедал я у Лафатера и в последний раз писал под его диктатурою (вы удивитесь; но учтивый Лафатер хотел уверить меня, будто я пишу по-немецки нехудо). В последний раз ходил по берегу Лимматы – и шумное течение сей реки никогда не приводило меня в такую меланхолию, как ныне. Я сел на лавке под высокою липою, против самого того места, где скоро поставлен будет монумент Геснеру. Том его сочинений был у меня в кармане (как приятно читать здесь все его несравненные идиллии и поэмы, читать в тех местах, где он сочинял их!) – я вынул его, развернул, и следующие строки попались мне в глаза: «Потомство справедливо чтит урну с пеплом песнопевца, которого музы себе посвятили, да учит он смертных добродетели и невинности. Слава его, вечно юная, живет и тогда, когда трофеи завоевателя гниют во прахе и великолепный памятник недостойного владетеля среди пустыни зарастает диким терновым кустарником и седым мхом, на котором иногда отдыхает заблудшийся странник. Хотя, по закону природы, немногие могут достигнуть до сего величия, однако ж похвально стремиться к оному. Уединенная прогулка моя и каждый уединенный час мой да будут посвящены сему стремлению!» Вообразите, друзья мои, с каким чувством я должен был читать сие в двух шагах от того места, где *Натура* и *Поэзия* в вечном безмолвии будут лить слезы на урну незабвенного Геснера!^[197] Не его ли посвятили музы в учителя невинности и добродетели? Не его ли слава, вечно юная, жить будет и тогда, когда трофеи завоевателей истлеют во прахе? Предчувствием бессмертия наполнялось сердце его, когда он магическим пером своим писал сии строки.

Рука времени, все разрушающая, разрушит некогда и город, в котором жил песнопевец, и в течение столетий загладит развалины Цириха; но цветы Геснеровых творений не увянут до вечности, и благоволие их будет из века в век переливаться, услаждая всякое сердце.

Друзья мои! Писателям открыты многие пути ко славе, и бесчисленны венцы бессмертия; многих хвалит потомство – но всех ли с одинаким жаром?

О вы, одаренные от природы творческим духом! Пишите, и ваше имя будет незабвенно; но если хотите заслужить любовь потомства, то пишите так, как писал Геснер, – да будет перо ваше посвящено добродетели и невинности!

Баден

Ныне поутру выехал я из Цириха. Лафатер не хотел прощаться со мною навсегда, говоря, что я непременно должен в другой раз приехать на берег Лимматы. Он дал мне одиннадцать рекомендательных писем в разные города Швейцарии и уверил меня в непеременимости своего дружелюбного ко мне расположения. Старик Тоблер простился со мною до радостного свидания в полях вечности, которая есть любимый предмет утренних и вечерних его размышлений. —

На каждой версте от Цириха до Бадена встречались мне коляски и кареты, из которых выглядывали английские, немецкие и французские лица. От июня до октября месяца Швейцария бывает наполнена путешественниками, которые приезжают сюда наслаждаться природою.

Наконец, видел я в Швейцарии нечто такое, что мне не понравилось. Почти беспрестанно подбегали к коляске моей ребятишки и требовали подаяния. Не слушая отказа, бежали они за мною, кричали и разным образом дурачились: один становился вверх ногами, другой кривлялся, третий играл на дудке, четвертый прыгал на одной ноге, пятый надевал на себя бумажную шапку в аршин вышиною и проч., и проч. Не нужда заставляет их просить милостыни; им нравится только сей легкий способ получать деньги. – Жаль, что отцы и матери не унимают их! Маленькие шалуны могут со временем сделаться большими – могут распространить в своем отечестве опасную нравственную болезнь, от которой рано или поздно умирает свобода в республиках. Тогда, любезные швейцары, не поможет вам бальзамический воздух гор и долин ваших – увянет красота нежной богини, и слезы ваши не оживят хладного трупца.

В Бадене остановился мой кучер кормить лошадей. Сей городок, стесненный со всех сторон высокими горами, находится под начальством

Цирихского, Бернского и Гларисского кантонов и славен своими целебными теплицами, которые были известны римлянам под именем «Гельветских вод» (Aquaе Helveticae). От города будет до них не более трехсот шагов, и я тотчас пошел туда. Два колодезя – самые ближайшие к главному источнику и потому самые действительнейшие – бывают всегда открыты для бедных. В них сидело при мне человек двадцать, опустьясь в воду по горло, бледные и желтые лица их показывали, что они не для забавы пользуются водами. В трактирах, которых тут очень много, сделаны разные бани, где моются больные и здоровые, платя за то безделку. Вода сносно горяча и пахнет серою. Она проведена с другой стороны Лимматы (которая течет здесь между гор с ужасною быстротой), и труба идет под рекою. – Мне сказывали, что иногда бывает у вод до осьми сот приезжих.

Женщины носят здесь на головах предлинные рога, отчего все они кажутся похожими на сатиров. – В швейцарских городах (по крайней мере в тех, в которых я был) почти на всяком доме видите вы надписи, иногда отменно глупые и смешные. Например, над домом одного баденского горшечника написано: «Dies Haus der liebe Gott behüt; hier ist Hafner Geschir aufs Feuer und glüht» («Сей дом господь да сохрани! Здесь глиняная посуда на огне горит») – а над другим: «Behüt uns Herr vom Feuer und Brand, denn dies Haus wird zum geduldigen Schaaf genannt» («Сохрани нас господь от пожара ночью порою, ибо сей дом называется терпеливою овцою»). Но что скажете вы о следующих двух надписях, замеченных одним немецким путешественником в Базеле и в Шафгаузене? Первая: «Ihr Menschen thut Buss, denn dies Haus heist zum Rindsfuss» («О человеки! Покайтесь душою, ибо сей дом называется бычачьею ногою») – вторая: «Auf Gott deine Hoffnung bau, denn dies Haus heist zur schwarzen Sau» («На бога уповай ты мыслью своею, ибо сей дом называется черною свиньею»). Друзья мои! В вольной земле всякий волен дурачиться и писать, что ему угодно. Всякий желает оставлять по себе памятники – и сочинители сих надписей, конечно, ничего более в жизнь свою не сочинявшие, хотели в рифмах своих наслаждаться бессмертием. Внук читит произведение дедушкина ума, и надпись из века в век переходит. – Поселяне швейцарские любят расписывать свои дома разными красками и фигурами; по большей части изображаются тут древние герои Швейцарии и славные их подвиги; иногда же гербы кантонов с сею надписью: «Als Demuth weint', und Hochmuth lacht', da ward der SchweizerBund gemacht» (то есть «Когда смирение проливало слезы и гордость смеялась, тогда заключился союз швейцаров»).

Арау, в 8 часов вечера

Я проехал ныне мимо развалин Габсбурга. Вы знаете, любезные друзья, что в сем замке жили некогда Габсбургские графы, от которых произошел австрийский дом, – и потому легко можете угадать, с какими мыслями смотрел я на почтенные развалины древних башен, откуда храбрые Рудольфовы предки поражали врагов своих. – Тут живет ныне сторож, который в случае пожара дает сигнал окружным деревням, стреляя из ружья.

Места и дороги в Бернском кантоне лучше, нежели в Цирихском. Ничего не может быть прекраснее здешних лугов, обсаженных плодовитыми деревьями и пересекаемых многими ручейками, которые то соединяются, то опять на разные рукава разделяются и образуют водяной запутанный лабиринт. Там видны аллеи, самую природою насажденные; здесь густые лесочки, прохладу странникам обещающие. – В деревнях находите вы порядок и чистоту. Все крестьянские дома покрыты соломою и разделяются обыкновенно на две половины: одна состоит из двух горниц и кухни, а другая – из сенного магазина, житниц и хлевов. Не увидите вы здесь ничего гниющего, непочиненного; во всем соблюдена удобность и все необходимое в изобилии и совершенстве. Сие, можно сказать, цветущее состояние швейцарских земледельцев ^{23} происходит наиболее оттого что они не платят почти никаких податей и живут в совершенной свободе и независимости, отдавая правлению только десятую часть из собираемых ими полевых плодов. Хотя между ними есть такие, которые имеют по пятидесяти тысяч рублей капитала, однако ж все они одеваются очень просто и летом ходят обыкновенно в камзолах из толстого полотна, а в праздники надевают суконные кафтаны, по большей части синие или дикие. Женщины носят желтые соломенные шляпы, красные стамедные корсеты с крючками и юбки темного цвета, а волосы заплетают в косы. Шею свою покрывают белою косынкою, перевязывая ее черною бархатною лентою. —

Я нанял кучера только до Арау, маленького, изрядно выстроенного городка в Бернском кантоне. В ожидании Базельского *дилижанса* (в котором хочу ехать доерна и которого ожидают сюда к девяти часам) велел я приготовить себе ужин.

Берн, 28 августа

Ныне рано поутру приехал я в Берн и с трудом мог найти для себя комнату в трактире «Венца»: так много здесь приезжих! Одевшись, пошел я к молодому доктору Ренггеру, который, по Лафатеровой рекомендации, принял меня очень ласково, и как мне прежде всего хотелось побродить по

городу, то он вызвался быть моим путеводителем.

Берн есть хотя старинный, однако ж красивый город. Улицы прямы, широки и хорошо вымощены, а в середине проведены глубокие каналы, в которых с шумом течет вода, уносящая с собою всю нечистоту из города и, сверх того, весьма полезная в случае пожара. Дома почти все одинакие: из белого камня, в три этажа, и представляют глазам образ равенства в состоянии жителей, не так, как в иных больших городах Европы, где часто низкая хижина преклоняется к земле под тенью колоссальных палат. Всего более полюбились мне в Берне аркады под домами, столь удобные для пешеходцев, которые в сих покрытых галереях никакого ненастья не боятся.

Мы были в здешнем сиротском доме, где нашел я удивительную чистоту и порядок. В самом деле тут не много сирот, а более пансионеров, которые за небольшую сумму денег учатся и хорошо содержатся в сем доме. Оттуда пошли мы в публичную библиотеку. На прекрасном маленьком лужке, между домов, увидел я прикованного медведя, которому мимоходящие бросали хлеб и прочее, что он есть мог. Доктор Ренггер сказал мне, что в Берне всегда держат живого медведя, который есть герб сего кантона; что имя Берн произошло от немецкого слова Бер (то есть медведь); что герцог Церингенский, начав строить этот город, поехал на ловлю и положил назвать его именем первого затравленного зверя; что он затравил медведя и потому назвал город Бером, имя, которое после превратилось в Берн. – В библиотеке видел я много хороших книг и несколько изрядных картин, но всего более занимал меня *рельеф*, представляющий часть Альпийских гор, и точно тех, на которых я дни через три быть надеюсь. Тут видны сии горы в подлинных своих фигурах, долины, озера, деревни, хижины и даже маленькие дорожки. Но *рельеф* генерала Пфиффера, люцернского гражданина, должен быть еще гораздо превосходнее. Сей человек с удивительною неутомимостию странствовал по горам, срисовывал их – снимал меры – и все сие представил потом в малом виде с величайшею точностию. Два раза был он захвачен горными жителями как шпион и наконец для безопасности своей мерил горы по ночам при лунном сиянии, скрываясь от людей и вода с собою двух коз, которых молоко составляло всю его пищу.

Из библиотеки прошел я на славную террасу, или гульбище, подле кафедральной церкви, где под тению древних каштановых деревьев в самый жаркий полдень можно наслаждаться прохладою и откуда видна цепь высочайших снежных гор, которые, будучи освещаемы солнцем, представляются в виде тонких красноватых облаков. Сия терраса,

складенная человеческими руками, вышиною будет в шесть или в семь сот футов. Внизу течет Ара и с великим шумом низвергается с высокой плотины. В стене, которою обведено это гульбище, нашел я на камне следующую надпись: «В честь всемогущества и чудесного божия провидения и в память потомству положен сей камень на том месте, откуда г. Теобальд Веинцепфли, студент, 25 мая 1654 года упал с лошади, и потом, быв 30 лет священником церкви в Керцерсе, в глубокой старости блаженно скончался 25 ноября 1694 года». Хотя иному чудно покажется, что человек, упав с такой вышины, мог жив остаться, однако ж это происшествие, по уверению бернских жителей, не подвержено никакому сомнению. Сказывают, что на студенте был тогда широкий плащ, который, захватив под себя много воздуха, удерживал его в падении и не дал ему сильно удариться об землю.

После обеда был я у проповедника Штапфера, самого добродушного швейцара, и ввечеру ходил с ним прогуливаться за город. Сидя в беседке на возвышенном месте, смотрели мы на горы, которых вершины пылали разноцветными огнями. Тут понял я Галлеров стих: «Und ein Gott ist's, der Berge Spitzen röthet mit Blitzen!» («Бог красит молниями венцы гор».) Между тем Штапфер начал говорить со мною, и мне должно было на несколько минут отвлечь глаза свои от сего прекрасного зрелища. Когда же я опять взглянул на горы, увидел – вместо розовых и пурпуровых огней – ужасную бледность. Солнце закатилось. Я был поражен сею скорою переменою и готов был воскликнуть: «Так проходит слава мира сего! Так увядает роза юности! Так угасает светильник жизни!» Мне стало грустно – и мы тихими шагами возвратились в город.

Ныне поутру был я у проповедника Виттенбаха, ученогонатуралиста, который перевел на немецкий язык Соссюрово «Путешествие по Швейцарии», выдал «Краткое наставление для путешествующих по Альпийским горам» и сочиняет теперь «Описание естественных произведений Швейцарии».

Хотя он не одного вкуса со мною и никогда, по словам его, не читает книг, наполненных мечтами воображения, и хотя в любимых его науках я совершенный профан, однако ж мы нашли материю для разговора, и для него и для меня занимательную, – а именно: мы говорили о Галлере, который был ему очень знаком. Между прочим, сказывал он, что покойник за два дни до смерти, несмотря на свою болезнь и слабость, с великим любопытством читал описание некоторых новых физических опытов и отчасти поверял их. Таким образом, самые последние часы жизни своей посвящал Галлер успехам наук, которые любил он страстно! – Виттенбах,

путешествуя всякий год по самым отдаленнейшим горам, никогда еще не бывал в Цюрихе! «Я успею быть в городах и тогда, – говорит он, – когда от старости не в состоянии буду ходить по Альпам».

На террасе встретился я ныне с графом д'Артуа, который там прогуливался со многими знатными французами. Он недурен собою и хочет показываться веселым, но в самых его улыбках видно стесненное сердце. Такие-то перемены бывают в жизни человеческой! – Прожив здесь недели две в загородном доме, едет он теперь в Италию, куда отправятся за ним и другие эмигранты. «Счастливейший путь!» – говорят бернцы, которые никак не рады были сим незванным гостям.

В трактире «Венца», где я живу, не садится за стол менее тридцати человек французов и англичан, между которыми бывают жаркие споры о теперешних обстоятельствах Франции. Сегодня за ужином бедный итальянский музыкант играл на арфе и пел. Англичане набросали ему целую тарелку серебряных денег^[198] и хотели, чтобы он рассказал нам свою историю. «Слушайте», – сказал он и запел:

Я в бедности на свет родился
И в бедности воспитан был,
Отца в младенчестве лишился
И в свете сиротою жил.

Но бог, искусный в песнопеньи,
Меня, сиротку, полюбил,
Явился мне во сновиденьи
И арфу с ласкою вручил;

Открыл за тайну, как струною
С сердцами можно говорить
И томной, жалкою игрою
Всех добрых в жалость приводить.

Я арфу взял – ударил в струны;
Смотрю – и в сердце горя нет!..
Тому не надобно Фортуны,
Кто с Фебом в дружестве живет!

«Вот вам моя история, государи мои! – сказал он пофранцузски,^[199] – я

странствую по свету и везде нахожу людей, умеющих ценить таланты». – «Браво! браво!» – закричали англичане и бросили ему еще несколько талеров. —

Завтра думаю отправиться к Альпийским горам. Чемодан свой оставлю здесь, а с собою возьму только теплый сертук, половину белья своего, записную книжку и карандаш.

Тун, в 10 часов вечера

В два часа пополудни выехал я из Берна и в шесть часов приехал в городок Тун, лежащий на берегу большого озера. Дорогою видел я везде веселых поселян, собирающих плоды с богатых полей своих. Между ними заметил я много таких, у которых висели под бороною превеликие зобы.

Здесь остановился я в трактире «Фрейгофе»; заказав ужин, бродил по городу и всходил на здешнюю высокую колокольню, откуда видны многие цепи гор и все обширное Тунское озеро.

Завтра разбудят меня в четыре часа. В это время отходит отсюда почтовая лодка, на которой перееду через озеро.

Тунское озеро, 5 часов утра

Темнота ночи мало-помалу исчезает. Горы открываются минута от минуты яснее. Все дымится! Тонкие облака тумана носятся вокруг нашей лодки. Влага проникает сквозь мое платье, и сон смыкает глаза мои. Добродушный швейцар подает мне черный мешок, который должен служить мне вместо пуховой подушки. Величественная натура! Прости слабому! На несколько часов отвращает он взор свой от твоего великолепия.

В 7 часов. По обеим сторонам озера непрерывно продолжаются горы. В иных местах покрыты они виноградными садами, в других елями. Чистые ручьи ниспадают с камней. Внизу дымятся хижины, жилища бедности, невежества и – может быть – спокойствия. Вечная премудрость! Какое разнообразие в твоём физическом и нравственном мире! —

На северной стороне озера, в пещере высокой горы, где журчит маленький ручеек, провождал дни свои св. Беатус, первейший из христиан в Швейцарии. Гора сия доныне называется его именем.

На северной стороне озера, в пещере высокой горы, Шпиц, который принадлежал некогда Бубенбергской фамилии, древнейшей и знатнейшей в Бернской республике. Многие из Бубенбергов оказали отечеству важные услуги и пролили кровь свою для славы его. Последними отраслями сего

дому были Леонард и Амалия, прекрасный юноша и прекрасная сестра его. Все благороднейшие фамилии в Берне искали их союза, и наконец, по нежной склонности сердца, Леонард женился на девице Эрлах, а сестра его вышла за брата ее. Бракосочетание их совершилось в одно время. Все праздновали день сей, в который два первые дома соединялись тесным союзом родства; все радовались молодыми супругами, равно юными и равно прекрасными. Утехи свадебного торжества были бесчисленны. После роскошного обеда новобрачные и все гости гуляли в лодке по Тунскому озеру. Небо было ясно и чисто; легкий ветерок веянием своим прохладил веселых гребцов и лобызал юных красавиц, играя их волосами; мелкие волны пенились под лодкою и журчанием своим вливали томность в сердца супругов, которые с нежным трепетом друг ко другу прижимались. Уже наступал вечер, и плователи беспрестанно от берегов удалялись. Солнце село – и вдруг, как будто бы из глубины ада, заревела буря; озеро страшно взволновалось, и кормчий содрогнулся. Он хотел плыть к берегу, но берег во мраке скрывался от глаз его. Весла валились из рук обессилевших гребцов, и вал за валом грозил поглотить лодку. Вообразите себе состояние супругов! Сперва старались они ободрять гребцов и кормчего и сами помогали им; но видя, что все усилия их остаются тщетными и что гибель неизбежна, поручили судьбу свою богу, обтерли последнюю слезу о жизни, обнялись и дожидались смерти. Скоро громада волн обрушилась на лодку – и все потонули, все, кроме одного гребца, который доплыл до берега и принес весть о гибели несчастных. Таким образом пресекался древний род Бубенбергов, и замок их достался в наследство дому Эрлахов, который по сие время считается знатнейшим в Бернском кантоне. – С печальными мыслями рассматривал я сей замок; ветер веял от опустевших стен его.

Унтерзеен, в 10 часов. Пристав к берегу версты за две отсюда, шел я до Унтерзеена приятною долиною между лугов и огородов. Снежные горы кажутся здесь гораздо выше и ближе одна к другой; я не видал уже полей с хлебом, ни садов виноградных; крестьянские избы построены отменным образом, и самые люди имеют в лицах своих что-то особенное. – Я нанял теперь проводника, – и через час поеду в деревню Лаутербруннен, до которой считается отсюда около десяти верст.

Лаутербруннен. Дорога от Унтерзеена до Лаутербруннена идет долиною между гор, подле речки Литтины, которая течет с ужасною быстротою, с пеною и с шумом, падая с камня на камень. Я прошел мимо

развалин замка Уншпуннена, за которым долина становится час от часу уже и наконец разделяется надвое: налево идет дорога в Гриндельвальд, а направо – в Лаутербруннен. Скоро открылась мне сия последняя деревенька, состоящая из рассеянных по долине и по горе маленьких домиков.

Версты за две не доходя до Лаутербруннена, увидел я так называемый *Штауббах*, или ручей, свергающийся с вершины каменной горы в девятьсот футов вышиною. В сем отдалении кажется он неподвижным столбом млечной пены. Скорыми шагами приблизился я к этому феномену и рассматривал его со всех сторон. Вода прямо летит вниз, почти не дотрогиваясь до утеса горы, и, разбиваясь, так сказать, в воздушном пространстве, падает на землю в виде пыли или тончайшего серебряного дождя. Шагов на сто вокруг разносятся влажные брызги, которые в несколько минут промочили насквозь мое платье. – Потом ходил я к другому водопаду, называемому *Триммербах*, до которого будет отсюда около двух верст. Вода, прокопав огромную скалу, из внутренности ее с шумом падает и стремится в долину, где, малопомалу утишая свою ярость, образует чистую речку. Вид рассеявшейся горы и шумное падение *Триммербаха* составляют *дикую* красоту, пленяющую любителей природы. Около часа пробыл я на сем месте, сидя на возвышенном камне, – и наконец, в великой усталости, возвратился в Лаутербруннен, где теперь отдыхаю в трактире.

В 8 часов вечера. Светлый месяц взошел над долиною. Я сижу на мягкой мураве и смотрю, как свет его разливается по горам, осребряет гранитные скалы, возвышает густую зелень сосен и блистает на вершине *Юнгферы*, одной из высочайших Альпийских гор, вечным льдом покрытой. Два снежные холма, девическим грудям подобные, составляют ее корону. Ничто смертное к ним не прикасалось; самые бури не могут до них возноситься; одни солнечные и лунные лучи лобызают их нежную округлость; вечное безмолвие царствует вокруг их – здесь конец земного творения!.. – Я смотрю и не вижу выхода из сей узкой долины.

Пастушьи хижины на Альпийских горах, в 9 часов утра

В четыре часа разбудил меня проводник мой. Я вооружился геркулесовскою палицею – пошел – с благоговением ступил первый шаг на Альпийскую гору и с бодростию начал взбираться на крутизны. Утро было холодно, но скоро почувствовал я жар и скинул с себя теплый сертук. Через четверть часа усталость подкосила ноги мои – и потом каждую минуту

надлежало мне отдыхать. Кровь моя волновалась так сильно, что мне можно было слышать биение своего пульса. Я прошел мимо громады больших камней, которые за десять лет перед сим свалились с вершины горы и могли бы превратить в пыль целый город. Почти беспрестанно слышал я глухой шум, происходящий от катящегося с гор снега. Горе тому несчастному страннику, который встретится сим падающим снежным кучам! Смерть его неизбежна. – Более четырех часов шел я все в гору по узкой каменной дорожке, которая иногда совсем пропадала; наконец достиг до цели своих пламенных желаний и ступил на вершину горы, где вдруг произошла во мне удивительная перемена. Чувство усталости исчезло, силы мои возобновились, дыхание мое стало легко и свободно, необыкновенное спокойствие и радость разлились в моем сердце. Я преклонил колена, устремил взор свой на небо и принес жертву сердечного моления – тому, кто в сих гранитах и снегах запечатлел столь явственно свое всемогущество, свое величие, свою вечность!.. Друзья мои! Я стоял на высочайшей ступени, на которую смертные восходить могут для поклонения всевышнему!.. Язык мой не мог произнести ни одного слова, но я никогда так усердно не молился, как в сию минуту.

Таким образом, на самом себе испытал я справедливость того, что Руссо говорит о действии горного воздуха. Все земные попечения, все заботы, все мысли и чувства, унижающие благородное существо человека, остаются в долине – и с сожалением смотрел я вниз на жителей Лаутербруннена, не завидуя им в том, что они в самую сию минуту увеселялись зрелищем серебряного *Штауббаха*, освещаемого солнечными лучами. Здесь смертный чувствует свое высокое определение, забывает земное отечество и делается гражданином вселенной; здесь, смотря на хребты каменных твердынь, ледяными цепями скованных и осыпанных снегом, на котором столетия оставляют едва приметные следы, ^[200] забывает он время и мыслию своею в вечность углубляется; здесь в благоговейном ужасе трепещет сердце его, когда он помышляет о той всемогущей руке, которая вознесла к небесам сии громады и повергнет их некогда в бездну морскую. —

С бодростию и с удовольствием продолжал я путь свой по горе, называемой Венгенальпом, мимо вершин Юнгферы и Эйгера, которые возвышаются на хребте ее, как на фундаменте. Тут нашел я несколько хижин, в которых пастухи живут только летом. Сии простодушные люди зазвали меня к себе в гости и принесли мне сливок, творогу и сыру. Хлеба у них нет, но проводник мой взял его с собою. Таким образом я обедал у них, сидя на бревне, – потому что в их хижинах нет ни столов, ни стульев. Две

молодые веселые пастушки, смотря на меня, беспрестанно смеялись. Я говорил им, что простая и беспечная жизнь их мне весьма нравится и что я хочу остаться у них и вместе с ними доить коров. Они отвечали мне одним смехом. – Теперь лежу на хижине, на которую стоило мне только шагнуть, и пишу карандашом в своей дорожной книжке. Как в сию минуту низки передо мною все великаны земного шара! – Через полчаса пойду далее.

Гриндельвальд, 7 часов вечера

Шедши от хижин около часа по отлогому скату – мимо стад, пасущихся на цветной благовонной зелени, – начали мы спускаться с горы. Гриндельвальд был уже виден. Долина, где лежит эта деревенька, состоящая из двух или трех сот рассеянных домиков, представляется глазам в самом приятном виде. В то же самое время увидел я и верхний *глетшер*, или ледник, а нижний открылся гораздо уже после, будучи заслоняем горю, с которой мы спускались. Сии ледники суть магнит, влекущий путешественников в Гриндельвальд. Я пошел к нижнему, который был ко мне ближе. Вообразите себе между двух гор огромные кучи льду, или множество высоких ледяных пирамид, в которых хотя и не видал я ничего подобного хрустальным волшебным замкам, примеченным тут одним французским писателем, но которые, в самом деле, представляют для глаз нечто величественное. Не знаю, кто первый уподобил сии ледники бурному морю, которого валы от внезапного мороза в один миг превратились в лед, но могу сказать, что это сравнение прекрасно и справедливо и что сей путешественник или писатель имел пиитическое воображение. – Посмотрев на ледник с того места, где с страшным ревом вытекает из-под свода его мутная река Литтина, ворочая в волнах своих превеликие камни, решился я взойти выше. К несчастью, проводник мой не знал удобнейшего ко всходу места, но как мне не хотелось оставить своего намерения, то я прямо пошел вверх подле льду, по кучам маленьких камешков, которые рассыпались под моими ногами, так что я беспрестанно спотыкался и полз, хватаясь руками за большие камни. Проводник мой кричал, что он предаст меня судьбе моей, но я, смотря на него с презрением и не отвечая ему ни слова, взбирался выше и выше и храбро преодолевал все трудности. Наконец открылась мне почти вся ледяная долина, усеянная в разных местах весьма высокими пирамидами, но далее к Валлиским горам пирамиды уменьшаются и почти все исчезают. Тут отдыхал я около часа и лежал на камне, висящем над пропастью, спустился опять вниз и пришел в Гриндельвальд если не совсем без ног, то по крайней мере без башмаков. Хорошо, что я взял из Берна в запас новую пару!

У прекрасной девушки купил я корзинку черной вишни, хотя мелкой, однако ж отменно сладкой и вкусной, которая прохладила внутренний жар мой. Теперь, сидя в трактире за большим столом, дожидаясь ужина.

Гора Шейдек, 10 часов утра

В пять часов утра пошел я из Гриндельвальда, мимо верхнего ледника, который показался мне еще лучше нижнего, потому что цвет пирамид его гораздо чище и голубее. Более четырех часов взбирался я на гору Шейдек, и с такою же трудностью, как вчера на Венгенальп. Горные ласточки порхали надо мною и пели печальные свои песни, а вдали слышно было блеяние стад. Цветы и трава курились ароматами вокруг меня и освежали увядающие силы мои. Я прошел мимо пирамидальной вершины Шрекгорна, высочайшей Альпийской горы, которая, по измерению г. Пффифера, вышиною будет в 2400 сажен; а теперь возвышается передо мною грозный Веттергорн, который часто привлекает к себе громоносные облака и препоясывается их молниями. За два часа перед сим скатились с венца его две *лавины*, или кучи снегу, размягченного солнцем. Сперва услышал я великий треск (который заставил меня вздрогнуть) – а потом увидел две снежные массы, валящиеся с одного уступа горы на другой и наконец упавшие на землю с глухим шумом, подобным отдаленному грому, – при нем на несколько сажен вверх поднялась снежная пыль.

На горе Шейдеке нашел я пастухов, которые потчевали меня творогом, сыром и густыми, ароматическими сливками. После такого легкого и здорового обеда сижу теперь на бугре и смотрю на скопище вечных снегов. Здесь вижу источник рек, орошающих наши долины; здесь запасная хранилища природы, хранилища, из которой она во время засухи черпает воду для освежения жаждущей земли. И если бы сии снега могли вдруг растопиться, то второй потоп поглотил бы все живущее в нашем мире.

Нельзя взирать без некоторого ужаса на сии концы земного творения, где нет никаких следов жизни – нет ни деревьев, ни трав, – где меланхолическая пустота искони царствует. Иногда над дикими, мертвыми утесами является здесь величайшая из птиц – альпийский орел, которому бедные дикие козы служат пищею. Тщетно сии последние стараются спастись от него легкостью ног своих, прыгая с одной высоты на другую! Лютый враг гонится повсюду за своею добычею и наконец пригоняет ее на край бездны, где несчастная уже не находит для себя никакого пути. Тут сильным ударом крыла сшибает он ее в пропасть, и бедная коза, несмотря на все свое искусство в прыгании, неизбежно погибает. Орел извлекает ее оттуда в острых когтях своих.

Но не одна птица сия умерщвляет безоружных коз: альпийские охотники еще для них страшнее. Презирая все опасности, с удивительным проворством взбираются они на крутизны; однако ж многие погибают, падая в пропасти или утопая в море снегов. Страшные анекдоты о них рассказывают. Например, один гриндельвальдский охотник, гонясь на Шрекгорне за козю, перебирался с камня на камень и вдруг на ужасной высоте поскользнулся. Уже бездна разверзла под ним зев свой – уже острые граниты готовы были растерзать несчастного, – но он зацепился ногою за камень и повис над пропастью. Представьте себе весь ужас его положения! Никто из товарищей не мог помочь ему; никто не отважился лезть на вершину утеса. Долго висел он между небом и землею, между жизни и смерти; наконец удалось ему схватиться руками за камень, стать на ноги и спуститься вниз.

Долина Гасли

Пробыв у пастухов два часа, пошел я далее, беспрестанно спускаясь с горы. Первый примечания достойный предмет, который встретился глазам моим на сем пути, был так называемый *Розенлавинглетшер*, самый прекраснейший из швейцарских ледников, состоящий из чистых сафирных пирамид, гордо возвышающих острые свои вершины. – Мрак древних высоких елей укрывал меня от жара солнечного; нигде не видал я следов человеческих: дичь и пустота представлялись везде глазам моим. С седых, мшистых скал упали кипящие ручьи, и шум падения их раздавался по лесу. Но далее, спускаясь в долину, находил я прекрасные благовонные луга, каких лучше вообразить нельзя, – и, к удивлению моему, не видал на них пасущегося скота. Не можете вообразить, как приятен вид зелени после голых камней и снежных громад, утомивших мое зрение! На всяком лужке отдыхал я по несколько минут и если не руками, то по крайней мере глазами своими ласкал каждую травку вокруг себя. – Я пришел в маленькую горную деревеньку, которой жители ведут пастушью жизнь во всей простоте ее, не зная ничего, кроме скотоводства, и питаюсь одним молоком. Они делают большие сыры и через валисцев отправляют их в Италию. Сырные амбары построены из тонких бревен на высоких столбах или подпорах, для того чтобы воздух мог отовсюду проходить в них.

Жажда меня томила. Я остановился подле одной хижины, на берегу чистого ручья, и, видя молодого пастуха, у дверей сидящего, попросил у него стакана. Он не скоро понял меня, но, поняв, тотчас бросился в свой домик и вынес чашку. «Она чиста», – сказал он худым немецким языком, показывая мне дно ее; побежал к ручью, зачерпнул воды и опять вылил ее

назад – посмотрел на меня и улыбнулся, – зачерпнул в другой раз и опять вылил, – взглянул на меня и засмеялся, – почерпнул в третий раз и принес мне, говоря: «Пей, добрый человек, пей нашу воду!» Я взял чашку, – и если бы не побоялся пролить воды, то, конечно бы, обнял добродушного пастуха с таким чувством, с каким обнимает брат брата: столь любезен казался он мне в эту минуту! – Для чего не родились мы в те времена, когда все люди были пастухами и братьями!^[201] Я с радостью отказался бы от многих удобностей жизни (которыми обязаны мы просвещению дней наших), чтобы возвратиться в первобытное состояние человека. Всеми истинными удовольствиями – теми, в которых участвует сердце и которые нас подлинно счастливыми делают, – наслаждались люди и тогда, и еще более, нежели ныне, более наслаждались они любовью (ибо тогда ничто не запрещало им говорить друг другу: «Люблю тебя», и дарам природы не предпочитались дары слепого случая, не придающие человеку никакой существенной цены), – более наслаждались дружбою, более – красотами природы. Теперь жилище и одежда наша покойнее: но покойнее ли сердца? Ах, нет! Тысячи забот, тысячи беспокойств, которых не знал человек в прежнем своем состоянии, терзают ныне внутренность нашу, и всякая приятность в жизни ведет за собою тьму неприятностей. – С сими мыслями пошел я от пастуха, несколько раз оборачивался назад и заметил, что он провожает меня взорами своими, в которых написано было желание: «Поди и будь счастлив!» Бог видел, что и я от всего сердца желал ему счастья, – но он уже нашел его!

Сильный шум прервал нить моих размышлений. «Что это значит?» – спросил я у проводника моего, остановясь и слушая. – «Мы приближаемся к *Рейхенбаху*, – отвечал он, – славнейшему альпийскому водопаду». – Хотя путешествующий по швейцарским горам беспрестанно видит каскады, беспрестанно орошается их брызгами и наконец смотрит на них равнодушно, однако ж мне очень хотелось видеть первый из альпийских водопадов. Отдаленный шум обещал мне нечто величественное; воображение мое стремилось к причине его, но тут вдруг открылось мне другое великолепие, которое заставило меня на время забыть *Рейхенбах*. Ах! Для чего я не живописец! Для чего не мог я в ту же минуту изобразить на бумаге плодоносную, зеленую долину *Гасли*, которая в виде прекраснейшего цветущего сада представилась глазам моим между диких, каменных, небеса подпирающих гор! Плодовитые лесочки и между ними маленькие деревянные домики, составляющие местечко *Мейринген*, – река *Ара*, стремящаяся вдоль по долине, – множество ручьев, ниспадающих с крутых утесов и с серебряною пеною текущих по бархатной мураве: все

сие вместе образовало нечто романическое, пленительное – нечто такое, чего я отроду не видывал. Ах, друзья мои! Не должно ли мне благодарить судьбу за все великое и прекрасное, виденное глазами моими в Швейцарии! Я благодарю ее – от всего сердца! – Наконец проводник напомнил мне *Рейхенбах*, и, чтобы посмотреть на него вблизи, я должен был, невзирая на свою усталость, взойти опять на высокий пригорок и спуститься с него, но только уже не по камням, а по зеленой траве, увлажненной водяною пылью, летящею от каскада. Еще шагов за пятьдесят от падения облака сей пыли меня почти совсем ослепили. Однако ж я подошел к самому кипящему водоему, или той яростию воды ископанной яме, в которую *Рейхенбах* падает с высоты своей с ужасным шумом, ревом, громом, срывая превеликие камни и целые деревья, им на пути встречаемые. Трудно представить себе ту ужасную быстроту, с которою волна за волною несется в неизмеримую глубину сего водоема и опять вверх подымается, будучи отвержена его вечно кипящею пучиною и распространяя вокруг себя белые облака влажного дыму! Тщетно воображение мое ищет сравнения, подобия, образа!.. Реин и Рейхенбах, великолепные явления, величественные чудеса природы! В молчании удивляться будет вам всякий, имеющий чувство; но кто может изобразить вас кистию или словами? – Я почти совсем чувств лишился, будучи оглушен *гремящим громом* падения, и упал на землю. Моря водяных частиц лились на меня, и притом с такими порывами вихря (производимого в воздухе силою падающей воды), что, боясь смертельной простуды, я должен был через несколько минут удалиться от сего места. Всякий, взглянув на меня, подумал бы, что я вышел из реки; ни одной сухой нитки на мне не осталось, и вода текла с меня ручьями, подобно как с какой-нибудь альпийской горы.

До Мейрингена оставалось мне не более трех верст, и дорога была уже не так трудна, как на сходе с вершины Шейдека, но сии три версты довели усталость мою до высочайшей степени, потому что жар в долинах бывает несносен. Лучи солнечные отпрыгивают от голых скал и, согревая воздух, производят духоту, весьма редко ветерком прохлаждаемую. Женщины, встречавшиеся мне, смотрели на меня с сожалением и говорили: «Как жарко, молодой путешественник!»

Местечко или деревня Мейринген состоит из маленьких деревянных домиков, рассеянных по долине в великом расстоянии один от другого; в альпийских селениях совсем нет каменного строения.

Обитатели долины Гасли живут в беспрестанном шуме, происходящем как от Рейхенбаха, так и от других каскадов. Иногда сии ручьи, будучи наполнены снежною водою, низвергаются в долину с такою яростию, что

заливают дома поселян, сады и луга их. За несколько лет перед сим причинили они страшное опустошение и всю прекрасную долину покрыли песком и камнями; но жители не могли оставить милой своей родины, где предки их и они сами пользовались бесчисленными благодеяниями природы, – скоро земля была очищена и снова покрылась цветами и зеленью.

Сколь прекрасна здесь натура, столь прекрасны и люди, а особливо женщины, из которых редкая не красавица. Все они свежи, как горные розы, – и почти всякая могла бы представлять нежную Флору. Удивитесь ли вы, если я пробуду здесь несколько дней? Может быть, в целом свете нет другого Мейрингена. Но жаль, что здешние красавицы немного безобразят себя одеждою, например, подвязывают юбку под самыми плечами, и кажется, будто они в мешках зашиты. – Здесь нашел я очень хороший трактир.

В 11 часов ночи. Вечер проведен мною приятно. Я гулял по долине, в рощицах, по лугам и, возвращаясь в деревню, нашел подле одного домика множество молодых мужчин и девушек, которые между собою играли, прыгали и резвились. Тут праздновали сговор. Мне нетрудно было узнать жениха с невестою: самая прекраснейшая чета, какую только вы себе вообразить можете! Румянец беспрестанно играл на их щеках; они хотели резвиться вместе с другими, но нежная томность, видимая во всех их движениях, отличала их от прочих пастухов и пастушек. Я подошел к жениху, взял его за руку и сказал ему: «Ты счастлив, мой друг!» Невеста взглянула на меня, исвыразительною благодарностию за мое приветствие. Как нежно чувство в альпийских пастушках! Как хорошо понимают они язык сердца! Пастух с улыбкою посмотрел на свою любезную – взоры их встретились. Тут странная мысль пришла в мою голову: мне захотелось оставить будущим супругам какой-нибудь памятник, который бы в течение благополучных дней любви их мог напоминать им, что один путешественник из отдаленнейшей страны Севера был при их сговоре и брал участие в радости невинных сердец. Подумав, я вынул из кармана медаль, не золотую, а медную; но у меня не было ничего более – медаль, на которой изображена голова греческого юноши и которую подарил мне приятель мой Б*. «Возьми ее, – сказал я невесте, – в знак моего доброжелательства». Она с удивлением взглянула на медаль, на меня и на жениха своего и не знала, что делать. «Родясь в такой земле, – продолжал я, – где обыкновенно дарят невесте, прошу тебя принять от меня эту безделку, которую предлагаю тебе от доброго сердца». – «А в какой земле родились вы?» – спросил старик, сидевший на бревне. – «В России». – «В

России!.. Да, я слышал об этой земле от стариков наших. Да где бишь она?» – «Далеко, мой друг, – там, за горами, прямо к северу». – «Точно, я это помню». – Между тем жених с невестою перешептывались; последняя взяла медаль, сказала: «Спасибо!» – и отдала первому, который повертел ее в руках и опять возвратил ей. Я радовался счастливою четоюивмыслях своих читал Галлеровы стихи (из его поэмы: «Die Alpen», то есть «Альпийские горы»):

Die Liebe brennt hier frey, und scheut kein Donner-Wetter,
Man liebet für sich selbst, und nicht für seine Väter.
So bald ein junger Hirt die sanfte Glut empfunden,
Die leicht ein schmachtend Aug in muntern Geistern schürt.
So wird des Schäfers Mund von keiner Furcht gebunden;

Ein ungeheuchelt Wort bekennet, was ihn rührt;
Sie hört ihn, und, verliet sein Brand ihr Herz zum Lohne,
So sagt sie, was sie fuhlt, und thut, wonach sie strebt,
Denn zarte Regung dient den Schönen nicht zum Hohne,
Die aus der Anmuth fließt, und durch die Tugend lebt.

.....
.....
Die Sehnsucht wird hier nicht mit eitler Pracht belästigt;
Er liebet sie, sie ihn, dies macht den Heuraths-Schluss.
Die Eh wird oft durch nichts, als beyder Treu befestigt,
Für Schwure dient ein Ja, das Siegel ist ein Kuss.
Die holde Nachtigall grüsst sie von nahen Zweigen;
Die Wollust deckt ihr Bett auf sanft geschwollnes Moos
Zum Vorhang dient ein Baum, die Einsamkeit zum Zeugen;
Die Liebe führt die Braut in ihres Hirten Schooss.
O drey-mahl selig Paar! Euch muss ein Furst beneiden. {24}

Между тем солнце село, пастухи и пастушки начали расходиться по домам. Я простился с женихом, с невестою – и если бы альпийские красавицы были не так стыдливы, то, может быть, пришло бы мне на мысль потребовать от нее... невинного поцелуя!

Деревня Трахт, на берегу Бринцкого озера, в 8 часов вечера

Вот конец моего пешеходства! Ноги у меня очень болят, и лицо мое от

солнечного жара покраснело и почернело; впрочем, я в духе своем бодр и весел.

Дорога от Мейрингена до Трахта идет долиною и хотя очень приятна, однако ж не могу сказать о ней ничего, примечания достойного. Здесь нашел я шумный праздник. Все поселяне собрались на лугу, пьют и поют песни. Некоторые молодые люди борются, и, когда один другого повалит, зрители кричат: «Браво!» Между тем я сижу под окном, посматриваю на веселящихся и на небо, которое начинает покрываться облаками. Хорошо, что я теперь не на горах! – Между тем трактирщица готовит мне для ужина блюдо рыбы, только что теперь в озере пойманной. Завтра поплыву на лодке в Унтерзеен, а оттуда назад, в Тун.

Где вы, мои любезные? Как проводите время? Верно, не так, как странствующий друг ваш, который на горах и в долинах о вас думает? – Будьте здоровы и благополучны.

Унтерзеен

Сейчас пришел я в здешний трактир. Почтовая лодка, в которой плыл я из Трахта, пристала к берегу в двух верстах отсюда. Сильный дождь промочил меня насквозь; однако ж, плывя по озеру, я с удовольствием смотрел на горы, которые, будучи покрыты облаками, дымились, как Этны или Везувию. Теперь, в ожидании обеда, сушусь и приготавлиюсь опять к путешествию. Дождь все еще не перестал.

Тун, в 8 часов вечера

Я благополучно доплыл до Туна, несмотря на сильное волнение озера. Валы играли нашею лодкою, как шариком. Три женщины, бывшие со мною, беспрестанно кричали; одна из них упала в обморок, и мы с трудом могли привести ее в память. Что принадлежит до меня, то я нимало не боялся, а еще веселился волнами, которые разбивались о каменные берега. Наконец дождь перестал, и благодетельное солнце высушило мое платье. Приехав сюда, чувствовал я озноб; но, выпив чашек пять хорошего чаю, стал опять совершенно здоров. – Завтра в четыре часа отправлюсь в Берн, где остались мои пожитки.

Берн, 10 сентября 1789

Возвратясь с Альпийских гор, прожил я в Берне семь дней, и притом не скучно: то посещал своих знакомцев, которые обходились со мною очень дружелюбно, то прогуливался за городом – читал – писал. Третьего дня водил меня пастор Штапфер к господину Шпренгли, имеющему полное

собрание швейцарских птиц, множество древних медалей и других редкостей. Сам он, по жизни своей, достоин примечания не менее своего кабинета. Домик у него прекрасный, за городом, на высоком месте, откуда видны окрестные селения и снежные горы. Ему теперь около семидесяти лет. В доме, кроме его самого, мы никого не видали; пожилая служанка отправляет должность привратника. Комнаты прибраны со вкусом, и все отменно чисто. Сей старик богат – наслаждается натурою, изобилием, спокойствием. За несколько лет пред сим он был беден и разбогател от наследства, полученного им нечаянно после одного дальнего свойственника. – Учаясь орнитологии в молодых своих летах, покупал он разных птиц, анатомировал их и отдавал делать из них чучелы: вот основание того полного собрания, которое ныне привлекает к нему в дом почти всех путешественников и которого не отдаст он ни за пятьдесят тысяч рублей! – Ему очень знаком наш доктор Оз*. [\[202\]](#)

Вчера ходил я пешком в деревню Гиндельбанк, находящуюся в двух французских милях отсюда. В тамошней церкви сооружен монумент так называемой *прекрасной жене*. Думаю, что вы читали или слышали о сем памятнике, которого история достойна примечания. Господин Эрлах, знатный бернский гражданин и помещик деревни Гиндельбанк, призвал немецкого художника Наля и подрядил его сделать мраморный монумент отцу своему. Наль, занимаясь сею работою, жил у проповедника той деревни, г. Ланганса. Когда работа совершилась, пышный Эрлах вздумал прибегнуть к золоту, чтобы придать памятнику более великолепия. Наль говорил, что золото все испортит, но его не слушали, и гордый художник, сжав сердце, должен был повиноваться. В сие время умерла родами жена Лангансова, молодая прекрасная женщина, которую Наль любил сердечно за милые свойства ее. Он плакал вместе с неутешным супругом; но вдруг, подобно молнии, блеснула в голове его мысль: «Искусство мое да сохранит память ее в течение времен!» Обняв Ланганса, сказал он: «Слезы наши текут и в прахе исчезают; изящные произведения художеств живут вовеки – рука моя, повинувшись сердцу, изобразит на камне твою любезную; жители отдаленных земель захотят видеть сие изображение и в сравнении с ним будут презирать эрлахский памятник». – Сказал и сделал.

Он представил мать (прекрасная греческая фигура!), воскресающую вместе с младенцем. Камень гробный распался. Она поднимает голову; одною рукою держит сына, а другою хочет отвалить камень и между тем с великим вниманием слушает небесную музыку, пробуждающую мертвых. Сия мысль прекрасна и доказывает пиитический дух художника; работа отвечает ей. Галлер сочинил к памятнику следующую надпись (заставляя

говорить воскресающую): «Се трубный глас! Он проникает в могилу. Пробудись, сын мой, и сложи с себя тленность! Спешి во сретение твоему искупителю, от которого бежит смерть и время! В вечное благо превращается все страдание». Надпись хороша, но для первого мгновения, в котором представлена воскресающая, слишком плодovита. Лучше, если бы она сказала только: «Трубный глас!.. Пробудись, сын мой! Се Спаситель!» – Некоторые думают, что художник не искусственно представил распавшийся камень, а в самом деле разломил его, вырезав прежде на нем надпись, но ревностные защитники искусства смеются над сею мыслию. Повыше Галлеровой надписи вырезан стих из св. писания: «Се аз и чадо мое, еже дал ми еси ты». Жаль только, что сей прекрасный монумент стоит очень дурно! Он скрыт под полом, и чтобы видеть его, то надобно поднять две доски. Об эрлахском пышном памятнике не скажу ни слова: художник не хотел, чтобы об нем говорили. – Нынешний гиндельбанкский проповедник не мог бы подружиться с Налем; в физиогномии его не приметил я ничего пастырского. Как он учит своих поселян, не знаю. – В Гиндельбанке есть бедный трактир, в котором я едва мог утолить свой голод; отобедав там, возвратился к вечеру в город.

Кажется, я еще не писал к вам о здешнем славном цейхгаузе. Там видите вы множество всякого оружия и всех воинских потребностей, но более внимания заслуживают латы древних бернских героев, славных храбростию и делами своими. Самые большие из них принадлежали основателю Берна, герцогу Церингенскому. Надобно, чтобы он был гигант, – и если не хотел взять приступом неба, то по крайней мере ужас был его предтечею, когда он шел против неприятелей. Не знаю, любезные друзья мои, какой хлад разливается по моим жилам при виде памятников рыцарского времени, когда люди всего более верили руке своей и – провидению; когда число побед бывало числом достоинств человека и когда в храбрости вмещалось понятие всех добродетелей. – Пистолеты Карла Смелого, герцога Бургундского, украшенные серебром и слоновою костью, показались мне также примечания достойными: я смотрел на них несколько минут и воображал руку, их некогда державшую. —

Здесь нравы не так уже строги, как в Цирихе. Женщины и мужчины сходятся вместе – обыкновенно после обеда, часа в четыре, – и первые говорят свободно, шутят и бывают душою общества. Некоторые девицы играют на клавесине, поют и восхищают слушателей. Знакомцы мои два раза водили меня в сии собрания, которые были довольно многочисленны. Но в карты здесь также не играют. С иностранцами говорят всегда по-французски, и притом гораздо лучше, нежели в других городах Швейцарии;

что же принадлежит до здешнего немецкого языка, то он весьма испорчен и неприятен слуху.

Бернский аристократизм почитается самым строжайшим в Швейцарии. Некоторые фамилии присвоили себе всю власть в республике; из них составляется большой совет и сенат (из которых первый имеет законодательную, а последний – исполнительную власть); из них выбираются судьи, так называемые ландфохты, или правители в округах, на которые разделен Бернский кантон; все прочие жители не имеют участия в правлении. Число сих аристократических или господствующих фамилий беспрестанно уменьшается; они могут сообщать свои права другим фамилиям, но это редко бывает.

По вечерам обыкновенно выходил я на террасу и гулял при свете лунном под ветвями каштановых деревьев, будучи углублен в приятную задумчивость. Ах, любезные друзья мои! Только на горах сердце мое не было сиротою! Там казалось мне, что я к вам ближе.

Завтра поеду в Лозанну и простился уже со всеми своими знакомыми, кроме проповедника Штапфера. Сей добрый швейцар полюбил меня и мне полюбился. Всякий день проводил я в его кабинете несколько приятных часов. Все семейство его очень мило. Он запретил мне сказывать, когда я выеду из Берна, и не хочет прощаться со мною. Чувствительный человек!

Здесь расстанусь с немецким языком, и не без сожаления.

Простите, мои друзья! Пакет свой отнесу я на почту. Если бы вы с таким удовольствием читали мои письма, с каким я пишу их!

Лозанна

От Берна до Лозанны ехал я садом, и прекраснейшим садом. Деревя вокруг дороги гнулись под сочными, тяжелыми плодами, и золотая осень являлась везде в самом блистательнейшем виде. День был воскресный; нарядные поселяне веселились в кругах и пили пенное вино с восклицанием: «Да здравствует Швейцария!»

Проехав городок Муртен, кучер мой остановился и сказал мне: «Хотите ли видеть остатки наших неприятелей?» – «Где?» – «Здесь, на правой стороне дороги». – Я выскочил из кареты и увидел за железною решеткою огромную кучу костей человеческих.

Карл Дерзостный, герцог Бургундский, один из сильнейших европейских государей своего времени, бич человечества, ужас соседственных народов, но воин храбрый, вознамерился в 1476 году покорить жителей Гельветии и гордость независимых смирить железным скипетром тиранства. Двинулось его воинство, разноцветные знамена

возвелялись, и земля застонала под тяжестью его огнестрельных орудий. Уже полки бургундские во многочисленных рядах расположились на берегах Муртенского озера, и Карл, завистливым оком взирая на тихие долины Гельвеции, именовал их *своими*.

В один час^[203] разнесся по всей Швейцарии слух о близости врагов, и миролюбивые пастухи, оставив хижины и стада свои, вооружились мгновенно секирами и копьями, соединились и при гласе труб, при гласе любви к отечеству, громко раздавшемся в сердцах их, с высоты холмов устремились на многочисленных неприятелей, подобно шумным рекам, с гор падающим. Громы Карловы загрели; но храбрые, непобедимые швейцары сквозь дым и мрак ворвались в ряды его воинства, и громы умолкли, и ряды исчезли под сокрушительною их рукою. Сам герцог в отчаянии бросился в озеро, и сильный конь вынес его на другой берег. Один верный служитель вместе с ним спасся, но Карл, обратив взор на поле сражения и видя гибель всех своих воинов, в исступлении бешенства застрелил его из пистолета, сказав: «Тебе ли одному оставаться?» – Победители собрали кости мертвых врагов и положили их близ дороги, где лежат они и поныне.

Я затрепетал, друзья мои, при сем плачевном виде нашей тленности. Швейцары! Неужели можете вы веселиться таким печальным *трофеем*? Бургундцы по человечеству были вам братья. Ах! Если бы, омочив слезами сии остатки тридцати тысяч несчастных, вы с благословением предали их земле и на месте победы своей соорудили черный монумент, вырезав на нем сии слова: «Здесь швейцары сражались за свое отечество, победили, но сожалели о побежденных», – тогда бы я похвалил вас в сердце своем. Сокройте, сокройте сей памятник варварства! Гордясь именем швейцара, не забывайте благороднейшего своего имени – имени человека!

Множество надписей читал я на стенах, которыми обведен сей открытый гроб. Вы знаете одну из них, сочиненную Галлером:

Steh still, Helvetier! hier liegt das kühne Heer.
Vor welchem Lüttich fiel, und Frankreichs Thron erbebte.
Nicht unsrer Ahnen Zahl, nicht künstliches Gewehr,
Die Eintracht schlug den Feind, die ihren Arm betebte,
Kennt, Brüder, eure Macht; sie liegt in unsrer Treu.
O würde sie noch heut in jedem Leser neu!^[204]

Сверх того, написаны тут тысячи имен и примечаний. Где не

обнаруживается склонность человека к распространению бытия своего или слуха о нем? Для сего открывают новые земли; для сего путешественник пишет имя свое на гробе бургундцев. Многие в память того, что они посещают этот гроб, берут из него кости; я не хотел следовать их примеру.

Далее за Муртенем представились мне развалины Авентикума, древнего римского города, – развалины, состоящие в остатке колоннад, стен, водяных труб и проч. Где великолепие сего города, который был некогда первым в Гельвеции? Где его жители? Исчезают царства, города и народы – исчезнем и мы, любезные друзья мои!.. Где будут стоять гробы наши? – Настала ночь, взошла луна и осветила могилу тех, которые некогда ликовали при ее свете.

Лозанна

Я приехал в Лозанну ночью. Город спал, и все молчало, – кроме так называемого ночного караульщика, который, ходя по улицам, кричал: «Ударило час, граждане!» Мне хотелось остановиться в трактире «Золотого льва»; но на стук мой отвечали так: «Tout est plein, Monsieur! Tout est plein!» («Все занято, государь мой, все занято!») Я постучался в другом трактире, «A la Couronne»,^[205] но и там отвечали мне: «Tout est plein, Monsieur!» – Вообразите мое положение! Ночью на улице, в неизвестном для меня городе, без пристанища, без знакомых! Ночной караульщик сжалился надо мною и, подошедши к запертым дверям трактира, уверял сонливого ответателя, что «Monsieur est un voyageur de qualité» (что приехавший господин не из простых путешественников); но нам тем же голосом отвечали: «Все занято; желаю доброй ночи господину путешественнику!» – «C'est impertinent ça („Это бесстыдно!“), – сказал мой заступник, – подите за мною в трактир „Оленя“, где вас, верно, примут». – Там в самом деле меня приняли и отвели мне изрядную комнату. Добродушный караульщик с улыбкою сердечного удовольствия пожелал мне приятного сна, отказался от двадцати копеек, предложенных ему от меня, – пошел и закричал: «Ударило час, любезные граждане!» Я развернул карманную книжку свою и записал: «Такого-то числа, в Лозанне, нашел доброго человека, который бескорыстно услуживает ближним».

На другой день поутру исходил я весь город и могу сказать, что он очень нехорош; лежит отчасти в яме, отчасти на косогоре, и куда ни поди, везде надобно спускаться с горы или всходить на гору. Улицы узки, нечисты и худо вымощены. Но на всяком возвышенном месте открываются живописные виды. Чистое обширное Женевское озеро, цепь Савойских гор, за ним белеющихся, и рассеянные по берегу его деревни и городки – Морж,

Роль, Нион – составляют прелестную, разнообразную картину. Друзья мои! Когда судьба велит вам быть в Лозанне, то взойдите на террасу кафедральной церкви и вспомните, что несколько часов моей жизни протекло тут в удовольствии и тихой радости! Если бы теперь спросили меня: «Чем нельзя никогда насытиться?», то я отвечал бы: «Хорошими видами». Сколько я видел прекрасных мест! И при всем том смотрю на новые с самым живейшим удовольствием.

У меня было письмо к г. Леваду (натуралисту и автору разных пьес, напечатанных в сочинениях Лозаннского ученого общества). Дом и сад его мне очень понравились; в последнем встречаются глазам латинские, французские и английские надписи, выбранные из разных поэтов. Между прочими нашел я строфу из Аддиссоновой оды, в которой поэт благодарит бога за все дары, принятые им от руки его, – за сердце, чувствительное и способное к наслаждению, и за друга, верного, любезного друга! Счастлив г. Левад, если в Аддиссоновых стихах находит он собственные свои чувства! – Сия ода напечатана в английском «Зрителе». Некогда просидел я целую летнюю ночь за переводом ее, и в самую ту минуту, когда написал последние два стиха:

И в самой вечности не можно
Воспеть всей славы твоея! —

восходящее солнце осветило меня первыми лучами своими. Это утро было одно из лучших в моей жизни!

Вместе с г. Левадом был я в «Café littéraire»,^[206] где можно читать французские, английские и немецкие журналы. Я намерен часто посещать этот кофейный дом, пока буду в Лозанне. Теперь же, к несчастью, нельзя прогуливаться; почти с самого утра идет пресильный дождь.

Лозанна бывает всегда наполнена молодыми англичанами, которые приезжают сюда учиться по-французски и – делать разные глупости и проказы. Иногда и наши любезные соотечественники присоединяются к ним и, вместо того чтобы успевать в науках, успевают в шалостях. По крайней мере я никому бы не советовал посылать детей своих в Лозанну, где разве только одному французскому языку можно хорошо выучиться. Все прочие науки преподаются в немецких университетах гораздо лучше, нежели здесь, чему доказательством служит и то, что самые швейцары, желающие посвятить себя учености, ездят в Лейпциг, а особливо в Геттинген. Нигде способы учения не доведены до такого совершенства, как

ныне в Германии; и кого Платнер, кого Гейне не заставит полюбить науки, тот, конечно, не имеет уже в себе никакой способности. – Молодые чужестранцы живут и учатся здесь в пансионах, платя за то шесть или семь луидоров в месяц, что составит на наши деньги около пятидесяти рублей.

Здесь поселился наш соотечественник, граф Григорий Кириллович Разумовский, ученый-натуралист. По любви к наукам отказался он от чинов, на которые знатный род его давал ему право, – удалился в такую землю, где натура столь великолепна и где склонность его находит для себя более пищи, – живет в тишине, трудится над умножением знаний человеческих в царствах природы и делает честь своему отечеству. Сочинения его все на французском языке. – За несколько недель перед сим уехал он в Россию, но с тем, чтобы опять возвратиться в Лозанну.

Сию минуту пришел я из кафедральной церкви. Там из черного мрамора сооружен памятник княгине Орловой, которая в цветущей молодости скончала дни свои в Лозанне, в объятиях нежного, неутешного супруга. Сказывают, что она была прекрасна – прекрасна и чувствительна!.. Я благословил память ее. – Белая мраморная урна стоит на том месте, где погребена герцогиня Курляндская, которая была предметом почтения и любви всех здешних жителей. Она любила природу и поэзию; природа и музы Британии, вместе с музами германскими, образовали дух и сердце ее.

В пять часов поутру вышел я из Лозанны с весельем в сердце – и с Руссовою «Элоизою» в руках. Вы, конечно, угадаете цель сего путешествия. Так, друзья мои! Я хотел видеть собственными глазами те прекрасные места, в которых бессмертный Руссо поселил своих романтических любовников. Дорога от Лозанны идет между виноградных садов, обведенных высокою каменною стеною, которая на обеих сторонах была границею моего зрения. Но где только стена перерывается, там видны с левой стороны разнообразные уступы и возвышения горы Юры, на которых представляются глазам или прекраснейшие виноградные сады, или маленькие домики, или башни с развалинами древних замков; а на правой – зеленые луга, обсаженные плодовитыми деревьями, и гладкое Женевское озеро с грозными скалами Савойского берега. – В девять часов был я уже в Веве (до которого от Лозанны четыре французских мили) и, остановясь под тенью каштановых деревьев гульбища, смотрел на каменные утесы Мельери, с которых отчаянный Сен-Прё хотел низвергнуться в озеро и откуда писал он к Юлии следующие строки:

«В ужасных исступлениях и в волнении души моей не могу я быть на

одном месте; брожу, с усилием взбираюсь на высоты, устремляюсь на вершины скал; скорыми шагами обхожу все окрестности и вижу во всех предметах тот самый ужас, который царствует в моей внутренности. Нигде уже нет зелени, трава поблекла и пожелтела, деревья стоят без листьев, холодный ветер надувает сугробы, и вся натура мертва в глазах моих, как мертва надежда в моем сердце. – Между скалами сего берега нашел я, в уединенном убежище, маленькую равнину, откуда виден счастливый город, в котором ты обитаешь. Вообрази, с какою жадностью устремился взор мой к сему любезному месту! В первый день я всячески старался найти глазами дом твой, но от чрезмерной отдаленности все мои усилия оставались тщетными, и я, приметив, что воображение обманывает глаза мои, пошел к священнику и взял у него телескоп, посредством которого увидел жилище твое...

С того времени целые дни провожу в сем убежище и смотрю на блаженные стены, заключающие в себе источник жизни моей. Невзирая на дурную погоду, прихожу туда поутру и возвращаюсь оттуда ночью. Листья, сухие ветви, мною зажигаемые, и беспрестанное движение охраняют меня от чрезвычайного холода. Сие дикое место мне так понравилось, что я приношу туда бумагу с чернильницею и теперь пишу там письмо на камне, отвалившемся от ближней скалы».

Вы можете иметь понятие о чувствах, произведенных во мне сими предметами, зная, как я люблю Руссо и с каким удовольствием читал с вами его «Элоизу»! Хотя в сем романе много неестественного, много увеличенного – одним словом, много *романического*, – однако ж на французском языке никто не описывал любви такими яркими, живыми красками, какими она в «Элоизе» описана – в «Элоизе», без которой не существовал бы и немецкий «Вертер».^[207] – Надобно, чтобы красота здешних мест сделала глубокое впечатление в Руссовой душе: все описания его так живы и притом так верны! Мне казалось, что я нашел глазами и ту равнину (*esplanade*), которая была столь привлекательна для несчастного Сен-Прё. Ах, друзья мои! Для чего в самом деле не было Юлии! Для чего Руссо не велит искать здесь следов ее! Жестокий! Ты описал нам такое прекрасное существо и после говоришь: «Его нет!» Вы помните это место в его «Confessions»: «Я скажу всем, имеющим вкус, всем чувствительным: поезжайте в Веве, осмотрите его окрестности, гуляйте по озеру – и вы согласитесь, что сии прекрасные места достойны Юлии, Клеры и Сен-Прё; но не ищите их там». – Кокс, известный английский путешественник, пишет, что Руссо сочинял «Элоизу», живучи в деревне Мельери; но это несправедливо. Господин де Л*, о котором вы слыхали, знал Руссо и уверял

меня, что он писал сей роман в то время, когда жил в *Эрмитаже*, в трех или четырех милях от Парижа. [\[25\]](#)

Отдохнув в трактире и напившись чаю, пошел я далее по берегу озера, чтобы видеть главную сцену романа, селение *Кларан*. Высокие густые деревья скрывают его от нетерпеливых взоров. Подошел и увидел – бедную маленькую деревеньку, лежащую у подошвы гор, покрытых елями. Вместо жилища Юлиина, столь прекрасно описанного, представился мне старейший замок с башнями; суровая наружность его показывает суровость тех времен, в которые он построен. Многие из тамошних жителей знают «Новую Элоизу» и весьма довольны тем, что великий Руссо прославил их родину, сделав ее сценою своего романа. Работающий поселянин, видя там любопытного пришельца, говорит ему с усмешкою: «Барин, конечно, читал „Новую Элоизу“?» Один старик показывал мне и тот лесок, в котором, по Руссову описанию, Юлия поцеловала в первый раз страстного Сен-Прё и сим магическим прикосновением потрясла в нем всю нервную систему его. – За деревенькою волны озера омывают стены укрепленного замка Шильйона; унылый шум их склоняет душу к меланхолической дремоте. Еще далее, при конце озера (где впадает в него Рона), лежит Вильнёв, маленький городок, но я посмотрел на него издали и возвратился в Веве.

О сем городе скажу вам, что положение его – на берегу прекраснейшего в свете озера, против диких савойских утесов и подле гор плодоносных – очень приятно. Он несравненно лучше Лозанны; улицы ровны; есть хорошие дома и прекрасная площадь. Здесь живут почти все дворяне Французской Швейцарии или *Paus-de-Vaud*; за всем тем Веве не кажется многолюдным городом.

В здешний трактир вместе со мною вошли четыре человека в дорожных платьях и вместе со мною потребовали обеда. В несколько минут мы познакомились, и я узнал, что трое из них вестфальские бароны, а четвертый – польский князь. Последний возвращается из Франции в свое отечество и заехал в Швейцарию для того, чтобы взглянуть на Мельери и Кларан. Бароны *по доверенности* сказали мне (когда поляк вышел из комнаты), что они весьма недовольны его товариществом, что он навязался на них в городке Морже и с того времени не дает покою ушам их, беспрестанно бранясь или с кучером, или с гребцами, или с трактирщиками, и что он, по их примечанию, есть великий лжец. Скоро я имел случай увериться в справедливости сказанного ими. Лишь только мы сели за стол, польский князь начал бранить хозяина за кушанье; все было для него дурно, всего мало. Трактирщик напомнил ему, что он не в Варшаве, но поляк не унялся до последнего блюда. Потом вздумал он

рассказывать мне о бастильском штурме, на котором будто бы прострелили ему шляпу и кафтан. Я не мог его долго слушать, чувствуя нужду в отдохновении, и шел в отведенную мне комнату.

Всякий, кто читал примечания Коксова переводчика, Рамона, взойдет, конечно, на террасу здешней церкви, чтобы, сидя между гробами, под мрачною тению столетних деревьев, проводить глазами заходящее солнце, наслаждаться тишиною вечернею и видеть сгущение ночных теней на романической картине вевейских окрестностей. Я был там и, погружаясь в самого себя, не чувствовал, как черная, величественная ночь окунула покровом своим и небо и землю. – Простите.

Лозанна

Вчера возвратился я из Веве и насилу дошел до Лозанны, будучи измучен зноем и жаром.

От сильного волнения в крови провел я ночь беспокойно и видел сны, из которых один показался мне достойным замечания. Мне привиделось, что я в большой зале стою на кафедре и при множестве слушателей говорю речь о темпераментах. Проснувшись, схватил я перо и написал, что осталось у меня в памяти, из чего, к моему удивлению, вышло нечто порядочное. Судите сами – вот сей отрывок:

«Темперамент есть основание нравственного существа нашего, а *характер* – случайная форма его. Мы родимся с темпераментом, но без характера, который образуется малопомалу от внешних впечатлений. Характер зависит, конечно, от темперамента, но только отчасти, завися, впрочем, от рода действующих на нас предметов. Особливая способность принимать впечатления есть темперамент; форма, которую дают сии впечатления нравственному существу, есть характер. Один предмет производит разные действия в людях – отчего? От разности темпераментов или от разного свойства *нравственной массы*, которая есть младенец».

Вы мне поверите, что я не прибавил и не убавил, а написал слова точно так, как сновидение впечатлело их в моей памяти. Кто изъяснит связь идей, во сне нам представляющихся? И каким образом они возбуждаются? Я совсем не думал наяву о темпераментах и характерах: отчего же мечтал об них?

Я завтракал ныне у г. Левада с двумя французскими маркизами, приехавшими из Парижа. Они сообщили мне весьма худое понятие о парижских дамах, сказав, что некоторые из них, видя нагой труп несчастного дю Фулона, [{26}](#) терзаемый на улице бешеным народом, восклицали: «Как же он был нежен и бел!» И маркизы рассказывали об

этом с таким чистосердечным смехом!! У меня сердце поворотилось.

Лозаннские общества отличаются от бернских, во-первых, тем, что в них всегда играют в карты, а во-вторых, и большею свободою в обращении. Мне кажется, что здешние жители переняли не только язык, но и самые нравы у французов, по крайней мере отчасти, то есть удержав в себе некоторую жесткость и холодность, свойственную швейцарам. Сие смешение для меня противно. Целость, оригинальность! Вы во всем драгоценны; вы занимаете, питаете мою душу – всякое подражание мне неприятно.

Я слышал ныне проповедь в кафедральной церкви. Проповедник был распудрен и разряжен, в телодвижениях и в голосе актерствовал до крайности. Все поучение состояло в высокопарном пустословии, а комплимент начальникам и всему красному городу Лозанне был заключением. Я посматривал то на проповедника, то на слушателей; вообразил себе нашего П*,^[208] знам. священника, Лафатера – пожал плечами и вышел вон. Кстати или не кстати, скажу вам, что из всех церковных риториков, которых мне удалось читать или слышать, нравится мне более – Йорик.

На здешнем загородном гульбище, называемом Mont-Vepon, нашел я ныне ввечеру множество людей. Какое смешение наций! Швейцары, французы, англичане, немцы, италиянцы толпились вместе. Я сел на уединенной лавке и дождался захождения солнца, которое, спускаясь к озеру, освещало на стороне Савойи дичь, пустоту, бедность, а на берегу лозаннском – плодоносные сады, изобилие и богатство; мне казалось, что в ветерке, несущемся с противоположного берега, слышу я вздохи бедных поселян савойских.

Женева, октября 2, 1789

Вдруг три письма от вас, милые! Если бы вы видели, как я обрадовался! По крайней мере вы живы и здоровы! Благодарю судьбу! Если счастье ваше несовершенно; если...^[209] Друзья мои! Более ничего не скажу, но я хотел бы отдать вам все свои приятные минуты, чтобы сделать жизнь вашу цепию минут, часов и дней приятных. Когда-нибудь – мы будем счастливы! Верно, верно, будем!

От Лозанны до Женевы ехал я по берегу озера, между виноградных садов и полей, которые, впрочем, не так хорошо обработаны, как в Немецкой Швейцарии, и поселяне в Paysde-Vaud гораздо беднее, нежели в Бернском и Цирихском кантонах. – Из городков, лежащих на берегу озера,

лучше всех полюбился мне Морж.

Вы, конечно, удивитесь, когда скажу вам, что я в Женеве намерен прожить почти всю зиму. Окрестности женевские прекрасны, город хорош. По рекомендательным письмам отворен мне вход в первые дома. Образ жизни женевцев свободен и приятен – чего же лучше? Ведь мне надобно пожить на одном месте! Душа моя утомилась от множества любопытных и беспрестанно новых предметов, которые привлекали к себе ее внимание; ей нужно отдохновение – нужен тонкий, сладостный, питательный сон на персях любезной природы.

Трактирная жизнь моя кончилась. За десять рублей в месяц я нанял себе большую, светлую, изрядно прибранную комнату в доме, завел свой чай и кофе; а обедаю в пансионе, платя за то рубли четыре в неделю. Вы не можете вообразить себе, как приятен мне теперь новый образ жизни и маленькое заведенное мною хозяйство! Встав рано поутру и надев свой походный сертук, выхожу из города, гуляю по берегу гладкого озера или шумящей Роны, между садов и прекрасных сельских домиков, в которых богатые женевские граждане проводят лето, отдыхаю и пью чай в каком-нибудь трактире, или во Франции, или в Швейцарии, или в Савойе (вы знаете, что Женева лежит на границе сих земель), – еще гуляю, возвращаюсь домой, пью с густыми сливками кофе, который варит мне хозяйка моя, мадам Лажье, – читаю книгу или пишу, – в двенадцать часов одеваюсь, в час обедаю; после обеда бываю в кофейных домах, где всегда множество людей и где рассказываются вести; где рассуждают о французских делах, о декретах Национального собрания, о Неккере, о графе Мирабо и проч. В шесть часов иду или в театр, или в собрание – и таким образом кончится вечер.

В рассуждение здешних обществ скажу вам, что женевцы обыкновенно зовут гостей на вечер *пить чай*. В шесть часов сходятся, пьют кофе, чай и едят бисквиты, садятся играть в карты, по большей части в вист, и проигрывают или выигрывают рубли два, три; в десятом часу все расходятся, кроме трех или четырех коротких хозяину приятелей, которые остаются у него ужинать. На сих *вечеринках* собирается человек по шестидесяти; тут видите вы знатных французов, оставивших свое отечество, немецких принцев, англичан и всего менее женевцев. Обедать или ужинать зовут редко. Господин Кела, один из начальников или синдиков здешней республики, пригласил меня однажды к обеду в загородный дом свой. Стол был очень хорош. Тут познакомился я с гишпанцем, который десять лет жил в Петербурге, отправляя должность советника при гишпанском посольстве, и который, по некоторым

обстоятельствам, должен был оставить свое отечество; зиму проводит он в Лионе, а лето – в Швейцарии. – Барон де Лю, Лафатеров приятель, познакомил меня с готскими молодыми принцами, которые учатся здесь светской науке или приятному обхождению. Я у них обедал; меньшей гораздо живее и остроумнее большого, наследника высокого готского трона. Вы слышались о бароне Г*: я улыбнулся, вспомнив, что имею честь сидеть подле его будущего повелителя, который может без всякого суда – от чего боже сохрани! – снять с него шляпу... и голову. – Вчера позвал меня ужинать г. Конклер. Я пришел в девять часов, но хозяин совсем еще не готов был принимать гостей и сидел в своем кабинете. Через полчаса вошла хозяйка, и начали собираться гости. Между прочими был тут один глухой барон, над которым женевские дамы весьма забавлялись. Они загадывали ему загадки: барон брался все отгадывать, но, к несчастью, не отгадал ни одной. Например: для чего Генрих IV, враг всякой пышности, имел золотые шпоры? Барон пять раз улыбался, пять раз отвечал, но все невпопад. Наконец вывели его из недоумения, сказав: «Pour riquer son cheval» (чтобы шпорить свою лошадь). «О! Я это думал! – закричал барон. – C'est tout clair! Ничто не может быть яснее!» Еще: что находится au milieu de Paris (в середине Парижа)? Барон, который недавно приехал из Парижа, отвечал: «Город – люди – камни – грязь». Над каждым ответом смеялись и наконец объявили, что au milieu de Paris находится «г». «Я только лишь хотел это сказать!» – закричал барон, и все захохотали. Хозяйка, которая почитается одною из разумнейших женщин Женевской республики, расспрашивала меня о московских дамах. Вопрос: «Хороши ли они?» Ответ: «Прекрасны». Вопрос: «Умны ли они?» Ответ: «Беспримерно». Вопрос: «Сочиняют ли они стихи?» Ответ: «Молитвы». – «Vous badinez, monsieur! Вы шутите!» – «Извините, сударыня; я говорю точную правду». – «Да разве они очень много грешат?» – «Нет, сударыня; они молятся о том, чтобы не грешить». – «А! Это другое дело!» – Госпожа Конклер подала мне руку, и мы пошли ужинать. —

В полночь. Ныне ввечеру чувствовал я в душе своей великую тягость и скуку: каждая мысль, которая приходила ко мне в голову, давила мозг мой; мне не ловко было ни стоять, ни ходить. Я пошел в Бастион, здешнее гульбище, – лег на углу вала и дал глазам своим волю перебегать от предмета к предмету. Мало-помалу голова моя облегчалась вместе с моим сердцем. Вечер был самый теплый и приятный. На обеих сторонах представились мне горы, окруженные облаками, которые носились выше и ниже их вершин: вид величественный и грозный! Прямо передо мною

простиралась большая равнина, усеянная рошицами, деревеньками и уединенными домиками. Все было тихо. От времени до времени по большой дороге, идущей вдоль равнины, мчались в колясках молодые англичане, которые, боясь следствия скопьявшихся облаков, погоняли кургузых коней своих, чтобы скорее возвратиться в город. Ветерок, как птичка, прилетел от Юры и шептал мне на ухо – не знаю что. Тут вдруг ударили в барабан. Боясь, чтобы меня не заперли в Бастионе, я вскочил и вышел оттуда, но, не желая расстаться с вечером, пошел на Трель, другое гульбище подле ратуши, и сел на лавке под ореховыми деревьями, где представились мне те же виды, которыми веселился я в Бастионе. Темнота сгущалась, ветер усиливался и шумел ужасно между деревьями, облака неслись быстро, натекли на город, и пошел дождь. Обратив глаза на долину, вдруг увидел я множество огней, которые в темноте представляли романическое зрелище. Мне казалось, что я вижу там замки благодетельных фей – и все сказки, которые восплаляли младенческое мое воображение и делали меня в ребячестве маленьким Дон-Кишотом, оживились в моей памяти. Между прочими тогдашними подвигами моими вспомнил я один вечер, сумрачный и бурный, в который, ощутив вдохновение божественных фей, укрылся я от своего, впрочем, весьма бдительного дядьки, забрался в ту горницу, где хранились разные оружия, покрытые почтенною ржавчиною, – схватил саблю, которая пришлась мне по руке, и, заткнув ее за кушак тулупа своего, отправился на гумно [\[210\]](#) искать приключений и противиться силе злых волшебников, но, чувствуя в себе на каждом шагу умножение страха, махнул саблею несколько раз по черному воздуху и благополучно возвратился в свою комнату, думая, что подвиг мой был довольно важен. Лета младенчества! Кто помышляет об вас без удовольствия? И чем старше мы становимся, тем приятнее вы нам кажетесь.

Кто, будучи в Женевской республике, не почтет за приятную должность быть в Фернее, где жил славнейший из писателей нашего века?

Я ходил туда пешком с одним молодым немцем. Бывший Вольтеров замок построен на возвышенном месте, в некотором расстоянии от деревни Ферней, откуда идет к нему прекрасная аллея. Перед домом, на левой стороне, увидели мы маленькую церковь с надписью: «Вольтер – богу».

«Вольтер был один из ревностных почитателей божества, – говорит Лагарп в похвальном слове Фернейскому мудрецу. – „Si Dieu n'existait pas, il faudrait l'inventer“ (если бы не существовал бог, то надлежало бы его выдумать), – сей прекрасный стих написан им в старости и показывает его философию». —

Человек, вышедший к нам навстречу, не хотел было вести нас в дом, говоря, что господин его, которому известная наследница Вольтерова продала сей замок, не велел никого пускать туда, но мы уверили его в нашей благодарности, и в минуту отворилась нам дверь во святилище, в те комнаты, где жил Вольтер и где все осталось так, как при нем было. Комнатные приборы хороши и довольно богаты. В той горнице, где стоит Вольтерова кровать, было погребено его сердце, которое госпожа Денис увезла с собой в Париж. Остался один черный монумент, с надписью: «*Son esprit est partout, et son coeur est ici*» (дух его везде, сердце его здесь), а выше: «*Mes manes sont consolés, puisque mon coeur est au milieu de vous*» (тень моя утешена, ибо сердце мое среди вас). На стенах висят портреты: первый – нашей императрицы (шитый на шелковой материи, с надписью: «*Présenté a Mr. Voltaire par l'Auteur*»,^[211] – и на сей портрет смотрел я с большим примечанием и с большим удовольствием, нежели на другие); второй – покойного прусского короля; третий – Лекеня, славного парижского актера; четвертый – самого Вольтера и (пятый) маркизы де Шатле, которая была ему другом, и более нежели другом. Между гравированными изображениями заметил я портрет Ньютона, Буало, Мармонтеля, д'Аламберта, Франклина, Гельвеция, Климента XIV, Дидрота и Делиля. Прочие эстампы и картины неважны. – Спальня Вольтерова служила ему и кабинетом, из которого он научал, трогал и смешил Европу. Так, друзья мои! Должно признаться, что никто из авторов осьмогонадесять века не действовал так сильно на своих современников, как Вольтер. К чести его можно сказать, что он распространил сию взаимную терпимость в верах, которая сделалась характером наших времен, и наиболее посрамил гнусное лжеверие, которому еще в начале осьмогонадесять века приносились кровавые жертвы в нашей Европе.^[212] – Вольтер писал для читателей всякого рода, для ученых и неученых; все понимали его, и все пленялись им. Никто не умел столь искусно показывать смешного во всех вещах, и никакая философия не могла устоять против Вольтеровой иронии. Публика всегда была на его стороне, потому что он доставлял ей удовольствие смеяться! – Вообще в сочинениях Вольтеровых не найдем мы тех великих идей, которые гений природы, так сказать, непосредственно вдыхает в избранных смертных; но сии идеи и понятны бывают только немногим людям, и по тому самому круг действия их весьма ограничен. Всякий любит парение весеннего жаворонка; но чей взор дерзнет за орлом к солнцу? Кто не чувствует красот «Заиры»? но многие ли удивляются «Отеллу»?^[213]

Положение Фернейского замка так прекрасно, что я позавидовал Вольтеру. Он мог из окон своих видеть *Белую Савойскую гору*, высочайшую в Европе, и прочие снежные громады, вместе с зелеными равнинами, садами и другими приятными предметами. Фернейский сад разведен им самим и показывает его вкус. Всего более полюбилась мне длинная аллея; при входе в нее кажется, что она примыкает к самым горам. – Большой чистый пруд служит зеркалом для высоких деревьев, осеняющих берега его.

Имя Вольтерово твердят все жители Фернея. Там, сев под ветвями каштанового дерева, прочитал я с чувством сие место в Лагарповом похвальном слове:

«Подданные, лишенные отца и господина своего, и дети их, наследники его благодеяний, скажут страннику, который уклонится от пути своего, чтобы видеть Ферней: „Вот дома, им построенные, – убежище, которое дал он полезным искусствам,^[214] – поля, которые обогатил он плодами. Сие многолюдное и цветущее селение родилось под его смотрением, родилось среди пустыни. Вот рощи, дороги и тропинки, где мы столь часто его видали. Здесь горестное Каласово семейство окружило своего покровителя: здесь сии несчастные обнимали колена его. Сие дерево освящено благодарностию, и секира никогда не отделит его от корня. Он сидел под его тению, когда разоренные поселяне пришли требовать его помощи; тут проливал он слезы сожаления и скорбь бедных превратил в радость. В сем месте видели мы его в последний раз...“ – и внимающий странник, который при чтении „Заиры“ не мог удержать слез своих, прольет, может быть, еще приятнейшие в память благодетеля».

Мы обедали в фернейском трактире с двумя молодыми англичанами и пили очень хорошее французское вино, желая блаженства душе Вольтеровой.

От Женевы до Фернея не более шести верст, и явсемь часов вечера был уже дома.

Некоторые из здешних граждан ввели меня в свои так называемые *серкли*, которых здесь очень много и в которых женеvцы после обеда пьют кофе и курят табак. Тут не бывает женщин; говорят же более всего о парижских новостях. Здешние богачи поверили Франции миллионы и до сего времени получали с них большие проценты, но теперь боятся, чтобы французы не сказались банкротами, от чего могут разориться в Женеве первые дома. Но тебя, бедный Север, тебя не удостаивает женеvец своего внимания! Тот, кто знает все подробности парижских происшествий, едва ли знает, что у России со Швециею война. Визирь два раза разбит, Белград

взят – никто об этом не говорит, никто не радуется. Любезная Германия! В недрах твоих звучат рюмки и стаканы, когда Слава протрубит счастливый подвиг сынов твоих; рейнвейн и вино токайское пенятся в кубках, раздаются торжественные песни вдохновенных бардов. Германия! Для чего я оставил тебя так скоро?

На сих днях обедал я за городом в сельском домике, вместе со многими женевцами и чужестранными. Обед был самый веселый; все мы сидели в шляпах и пели песни. После стола одни катались в лодке по озеру, другие играли в шары или, сидя на крыльце, спокойно курили свои трубки. – Пробыв там до вечера, пошел я назад в город – и мог ли подумать, чтобы на сем пути ожидала меня опасность? Вы, конечно, не угадаете какая? Я шел задумавшись; наступил на змею и увидел ее только тогда, как она начинала уже обвиваться вокруг ноги моей и подымала вверх голову, чтобы сквозь чулок ужалить меня... Но не бойтесь! Я сбросил ее с ноги, прежде нежели она могла влить в нее яд свой. «Злобная тварь! – думал я, смотря, как она ползла от меня по желтому песку. – Злобная тварь! Жизнь твоя теперь в моих руках, но если натура терпит тебя в своем царстве, то я не хочу прекращать бедного бытия твоего – пресмыкайся!»

Не помню, писал ли я к вам, чтобы вы адресовали письма свои à la Grande rue, № 17. На сей раз простите!

Женева, ноября 1, 1789

После письма, пересланного через Лафатера, не получал я от вас ни одной строки. Не совестно ли вам так долго молчать? Вы знаете, что я только посредством вас сообщаюсь с любезным моим отечеством.

Здесьняя жизнь моя довольно единообразна. Прогуливаюсь и читаю французских авторов, и старых и новых, чтобы иметь полное понятие о французской литературе; бываю на женевских вечеринках и в опере. Строгий, любезный Руссо!^[215] Соотечественники твои не послушались тебя, построили театр и любят его страстно.^[216] Здесь играют две дижонские труппы: одна – летом и осенью, а другая – зимою и весною; первая – оперы, а вторая – комедии и трагедии. Две или три актрисы, два или три актера играют и поют очень изрядно. Недавно представляли «Атиса», большую оперу, которой музыку сочинял славный Пиччини. В композиции есть нечто великое, возвышающее душу. Ария: «Vivre ou mourir», которую поют несчастные любовники, гонимые судьбою и ревностью жестокой Цибеллы, прекрасна, несравненна. Из маленьких французских опереток полюбилась мне более всех «Les petits Savoyards»

(«Маленькие савояры»); есть трогательные места, и почти все голоса очень хороши.

В пансионе вместе со мною обедает человек двенадцать. Датский барон, французский маркиз, недавно приехавший из Парижа, и капитан женевского полка играют за столом первые роли. Барон путешествовал в Германии, Франции и Англии, говорит хорошо по-немецки и уверяет всех французов, что он лучше их знает французский язык, хотя не все ему в том верят. По крайней мере он бранится по-французски не хуже площадных парижских рыцарей. Господин барон не терпит никаких противоречий и готов драться всякую минуту; с презрением говорит о женевах и весьма строго судит бедных здешних актеров. – Маркиз рассказывает, что он приехал в Женеву отдохнуть, и никак не хочет заводить знакомств, находя в уединении несказанное удовольствие. Дает чувствовать, что автор; хвалит Ж.-Жака и уверяет, что он писал электрическим пером; а Корнель, по его мнению, есть величайший из мужей, когда-либо произведенных натурою. Вольтер, говорит он, был человек умный, но рассуждал очень худо. Однако ж г. маркиз собирается ехать в Ферней, думая, что в Вольтеровом кабинете крылатое вдохновение спустится на его голову. – Женевский капитан, служивший несколько лет королю прусскому, говорит весьма охотно и по временам осмеливается противоречить барону, но всегда принужден бывает *ретироваться*, когда загремят громаы из уст баронских. Все пиесы, играемые на здешнем театре, хвалит он одинаким образом. «Эдип», ^[217] по его словам, *est rempli de sentiment* (исполнен чувства) и опера «Кузнец» ^[218] *est rempli de sentiment* (исполнена чувства). Простосердечие и невежество его часто заставляют нас смеяться. – Между прочими есть еще один примечания достойный человек, родом женевец, который объездил все четыре части света, присвоил себе право лгать немилосердно и хотел уверить меня, что многие из жителей Патагонии бывают ростом в четыре аршина.

Доктор Беккер приехал в Женеву. Мы встретились на улице и бросились обнимать друг друга, как старинные друзья обнимаются после долгой разлуки. С того времени мы всякий день видимся, иногда вместе гуляем и пьем чай перед камином; он нанял себе комнату в той же улице, где я живу. Единоземцы его, граф Молтке и поэт Багзен, остались в Берне. Последний скоро женится, и самым романическим образом. Я писал к вам, что Беккер поехал с ними в Луцерн. Оттуда пробрались они через горы в Унтерзеен и, пришедши в великом изнеможении на берег озера, сели в лодку, чтобы плыть в город Тун. В самую ту минуту, как лодочник хотел

уже отвалить от берега, явилась молодая девушка с пожилым мужчиною – девушка лет в двадцать, приятная, миловидная, в зеленой шляпке, в белом платье, с тростью в руках, – приблизилась к лодке, порхнула в нее, как птичка, и с улыбкою сказала нашим путешественникам (которые, как *рыцари печального образа*, сидели повеся головы): «Bonjour, Messieurs!» Они изумились от сего нечаянного явления, пристально посмотрели на девушку, взглянули друг на друга и насилу вспомнили, что им надлежало отвечать на приветствие миловидной незнакомки. Доктор Беккер уверяет меня – а он человек правдивый – Беккер уверяет, что они отвечали ей весьма хорошо, хотя граф на втором слове заикнулся, а Багзен и он, доктор, ничего не сказали. Уже волны Тунского озера помчали лодку на влажных хребтах своих – или, просто сказать, они плыли и начинали мало-помалу разговаривать. Девушка сказала датчанам, что она с дядею своим посещала в Унтерзеене больную, добрую свою кормилицу, и возвращается в Берн. «Как же вы оставили ее?» – спросили чувствительные путешественники с видом заботливости. – «Слава богу! Ей стало гораздо легче», – отвечала незнакомка. Потом она захотела знать отечество и фамилию своих сопутников; узнав же, что граф есть внук бывшего датского министра, начала говорить о сем почтенном муже, об истории его времени и показала, что ей известны европейские происшествия. В Туне пристали к берегу. Граф подал ей руку и вместе с товарищами своими проводил ее до трактира, где и для них нашлась комната. Тут сведали они от трактирщика, что прелестная сопутница их есть девица Галлер, внука великого философа и поэта сего имени. Багзен вспрыгнул от радости и побежал к ней снова представляться и уверять ее в своем неограниченном почтении к творениям покойного ее дедушки. «Ах! Если бы вы знали его лично! – сказала она с чувством. – В самой старости пленял он любезностию своею и больших, и малых. Я не могу удержаться от слез, воображая, как он в свободные часы – после важных, для человечества полезных трудов – беспечно и весело игрывал с нами, малыми детьми; брал меня на колени, целовал и называл своею милою Софиею...» Тут милая София белым платком обтерла слезы свои. Багзен плакал вместе с нею и в восторге чувствительности осмелился поцеловать ее руку. – Наши путешественники забыли свою усталость, просидели весь вечер с девицею Галлер и ужинали вместе с нею. На другой день им надлежало рано ехать в Берн, а София и дядя ее оставались еще в Туне. «Неужели мы навсегда простимся?» – сказал молодой граф, смотря в глаза Софии. Багзен также смотрел ей в глаза, и еще с живейшим выражением нежности. Доктор Беккер протянул голову вперед в ожидании ответа ее. Она улыбнулась и подала графу карточку: «Вот адрес нашей

фамилии, которая почтет за великое удовольствие угостить любезных путешественников». Датчане изъявили ей благодарность свою и пошли в отведенную им комнату. – На другой день по приезде своем в Берн сочли они за приятную должность явиться с почтением к девице Галлер. Ее не было дома; однако ж дядя и тетка ее приняли их очень ласково. «Скоро ли будет домой девица Галлер? Скоро ли возвратится девица София? Скоро ли увидим мы приятную нашу сопутницу?» – вот вопросы, на которые этот дядя и эта тетка принуждены были отвечать всякую минуту. Наконец пришла девица Галлер, возвратилась девица София, датчане увидели свою приятную сопутницу и не могли удержаться от радостного восклицания при ее входе. Она обошлась с ними как с знакомыми и показалась им еще прелестнее, еще милее. Граф, Багзен, Беккер хотели говорить с нею вдруг и вдруг делали ей вопросы. Одному отвечала она словами, другому – улыбкою, третьему – движением руки, и все были довольны. Вечеру предложили гулянье; собрались приятели и приятельницы – но датчане никого не видали, никого не слышали, кроме Софии. Расстались с тем, чтобы на другой день опять видеться. Другой, третий и четвертый день были проведены почти так же. В сие время Беккер заметил, что он не может быть *первым* для Софии, умерил жар свой в обхождении с нею и оставил все требования на отличную благосклонность ее. Граф заметил, может быть, то же, сделался пасмурен, скоро совсем перестал ходить к Софии и начал искать рассеяния в бернских обществах. Что принадлежит до Багзена, то едва ли лесбийская песнопевица^[219] могла так страстно любить своего Фаона, как он полюбил Софию; и никогда жрица Аполлонова, сидя на золотом треножнике, не трепетала так сильно в святых восторгах своих, как трепетал наш молодой поэт, прикасаясь устами к Софиной руке. Всякое слово его одушевлялось чувством, когда он говорил с нею, и чувства его были – пламя. Он не осмеливался сказать ей: «Я люблю тебя!», но нежная София понимала его и не могла быть равнодушна к такому любовнику. Она стала не так жива и весела, как прежде, – иногда задумывалась, и глаза ее блистали, как молнии. Часто по вечерам гуляли они двое в аллеях бернской террасы; густые тени каштановых деревьев и лучи светлого месяца были свидетелями их непорочного обхождения до самого того времени, как платонический любовник, в один из сих приятных вечеров, упав на колени перед Софией и схватив ее руку, сказал: «Она моя! Твое сердце образовано для моего сердца! Мы будем счастливы!..» – «Она твоя, – отвечала София, посмотрев на него с нежностью, – она твоя! И я надеюсь быть с тобою счастлива!» – Пусть другой, а не я, опишет сию минуту! – В тот же самый вечер все родственники девицы Галлер обняли

Багзена как ее жениха и своего друга и через несколько недель положили быть свадьбе. – Теперь поэт наш наслаждается прекрасною зарею того счастья, которое ожидает его в объятиях милой супруги, и в восторге своем прославляет берег Тунского озера, где глаза его увидели и где душа его полюбила Софию. – Между тем граф Молтке совершенно успокоился и радуется счастию своего друга; Беккер также радуется – и рассказал мне все то, что вы теперь читали.

Осень делает меня меланхоликом. Вершина Юры покрылась снегом; деревья желтеют, и трава сохнет. Брожу sur la Treille, с унынием смотрю на развалины лета; слушаю, как шумит ветер, – и горесть мешается в сердце моем с какимто сладким удовольствием. Ах! Никогда еще не чувствовал я столь живо, что течение природы есть образ нашего жизненного течения!.. Где ты, весна жизни моей? Скоро, скоро проходит лето – и в сию минуту сердце мое чувствует холод осенний. Простите, друзья мои!

Гора Юра, 8 ноября 1789

Тавернье, который объездил большую часть света, – Тавернье говорил, что он, кроме одного места в Армении, нигде не находил такого прекрасного вида, как в Обоне. Сей городок лежит на скате высокой Юры, недалеко от Моржа, верстах в тридцати от Женевы; итак, взяв в руки диогенский посох, отправился я в путь, чтобы собственными глазами видеть ту картину, которою восхищался славный французский путешественник.

Теперь, любезные друзья мои, сижу я на голубой Юре, повыше городка Обоня, – смотрю, и взор мой теряется в бесчисленных красотах видимой мною страны, освещаемой вечерним солнцем.

Все Женевское светлое озеро, как зеркало, представляется глазам моим – по его сторону множество городов, деревень, сельских домиков, лугов, лесочков и дорог, которые одна другую пересекают, расходятся и опять соединяются и на которых движутся люди, как деятельные муравьи, – а по ту сторону, на Савойском берегу, страшные скалы, несколько хижин и, наконец, гордая *Белая гора* в снежной своей мантии, в алоцветной короне, красимой солнечными лучами, – как царица среди прочих окружающих ее гор, высоких и гордых, но перед нею низких и смиренных... Вознося к небесам главу свою, она вопрошает Европу: «Что выше меня?», и Европа отвечает ей почтительным молчанием.

Насыщайся, мое зрение! Я должен оставить сию землю... Для чего же, когда она столь прекрасна? Построю хижину на голубой Юре, и жизнь моя протечет, как восхитительный сон!.. Но ах! Здесь нет друзей моих!

Величественный рельеф природы! Впечатлейся в моей памяти! Увижу ли тебя еще раз в жизни моей, не знаю; но если огнедышащие вулканы не превратят в пепел красот твоих – если земля не расступится под тобою, не осушит сего светлого озера и не поглотит берегов его – ты будешь всегда удивлением смертных! Может быть, дети друзей моих придут на сие место, да чувствуют они, что я теперь чувствую, и Юра будет для них незабвенна!

Солнце закатилось, но горы блистают. Темнеет синяя твердь – еще сияют три холма *Белой горы*. Шумит ветер – облака показываются на западе, разливаются по небу, и мрачная завеса скрывает от глаз моих великолепную картину.

Обонь, 11 часов вечера

Тавернье, возвратясь из Индии с великим богатством, купил Обонское баронство и хотел здесь провести остаток дней своих. Но страсть к путешествиям снова пробудилась в душе его – будучи осьмидесяти четырех лет от роду, поехал он на край севера и скончал многотрудную жизнь свою в столице нашего государства в 1689 году. Возвратясь в Москву, я постараюсь найти гроб сего достопамятного человека, который объездил всю Европу и Азию, шесть раз был в Турции, Персии, Индии и все еще не насытился путешествиями. – Отец его торговал географическими картами; сын любил их рассматривать и часто говорил отцу: «Ах, батюшка! Как бы хорошо было видеть все те земли, которые изображены здесь на бумаге!» Вот начало его страсти! —

Какое различие в судьбе человеческой! Один рождается и умирает в отцовской своей хижине, не зная, что делается за полями его; другой хочет все знать, все видеть – и необозримые океаны не могут ограничить его любопытства.

В человеческой природе есть две противные склонности: одна влечет сердце наше всегда к *новым* предметам, а другая привязывает нас к *старым*; одну называют *непостоянством*, *любовию к новостям*, а другую – *привычкою*. Мы скучаем единообразием и желаем перемен; однако ж, расставаясь с тем, к чему душа наша привыкла, чувствуем горечь и сожаление. Счастлив тот, в ком сии две склонности равносильны! Но в ком одна другую перевесит, тот будет или вечным бродягою, ветреным, беспокойным, мелким в духе; или холодным, ленивым, нечувствительным. Один, перебегая беспрестанно от предмета к предмету, не может ни во что углубиться, делается рассеянным и слабеет сердцем; другой, видя и слыша всегда *то же да то же*, грубеет в чувствах и наконец засыпает душою.

Таким образом, сии две крайности сближаются, потому что и та и другая ослабляет в нас душевные действия. – Читайте Тавернье, Павла Люкаса, Шарденя и прочих славных путешественников, которые почти всю жизнь свою провели в странствиях: найдете ли в них нежное, чувствительное сердце? Тронут ли они душу вашу? – Ах, друзья мои! Человек, который десять, двадцать лет может пробыть в чужих землях, между чужими людьми, не тоскуя о тех, с которыми он родился под одним небом, питался одним воздухом, учился произносить первые звуки, играл в младенчестве на одном поле, вместе плакал и улыбался, – сей человек никогда не будет мне другом! —

Простите! Перо выпадает из рук моих, и мягкая постель манит меня в свои объятия.

Женева, 26 ноября 1789

Долго я не писал к вам, друзья мои, для того что не мог писать. Около двух недель мучила меня такая жестокая головная боль, какой я отроду не чувствовал и которая не только не давала мне за перо приняться, но даже и спать мешала. Опершись на стол, просиживал я дни и ночи, почти без всякого движения и закрыв глаза. Добродушная хозяйка моя, мадам Лажье, приводила ко мне доктора, но лекарства его не помогали.

Наконец благодетельная натура сжалилась над бедным страдальцем и сняла с головы моей свинцовую тягость. Вчера я в первый раз вздохнул свободно и первый раз, вышедши на чистый воздух, поднял на небо глаза свои. Мне казалось, что вся природа радовалась со мною, – я плакал, как младенец, и узнал, что болезнь не ожесточила моего сердца – оно не разучилось наслаждаться, – чувствует так же, как и прежде, и любезный образ друзей моих снова сияет в нем во всей своей ясности. Ах, милые! В сию минуту исчезло разделяющее нас пространство – я обнимал вас вместе с натурою, вместе с целою вселенною!

Исчезни, воспоминание о прошедшей болезни! Я не хочу быть злопамятен против матери моей, природы, и забуду все, кроме того, чем она улаживает чашу дней моих!

Женева, декабря 1, 1789

Ныне минуло мне двадцать три года! В шесть часов утра вышел я на берег Женевского озера и, устремив глаза на голубую воду его, думал о жизни человеческой.

Друзья мои! Дайте мне руку, и пусть вихрь времени мчит нас, куда хочет! – Доверенность к провидению – доверенность к той невидимой руке,

которая движет и миры, и атомы; которая бережет и червя, и человека, – должна быть основанием нашего спокойствия.

Этот день хотел бы я провести с вами, но как быть! – Стану хотя в мыслях вами радоваться. И вы, конечно, вспомните ныне своего друга.

Вместе с Беккером намерен я обедать у барона де Лю, а ужинать в трактире «Золотых весов», где у нас будет веселый концерт.

Женева

Вы, может быть, удивляетесь, друзья мои, что я по сие время ничего не говорил вам о великом Боннете, который живет верстах в четырех от Женевы, в деревне Жанту. Мне сказали, что он весьма нездоров, глух и слеп и никого, кроме ближних родственников, не принимает, почему я не имел надежды видеть сего славного философа и натуралиста. Но третьего дня г. Кела, свойственник его, вызвался сам ехать к нему со мною, уверив меня, что посещение мое не будет ему в тягость. Мы приехали к нему поутру, но не застали его дома: он прогуливался. Господин Кела велел ему сказать, что один русский путешественник желает быть у него, – ина другой день Боннет прислал звать меня. В назначенное время постучался я у дверей сельского его домика, был введен в кабинет философа, увидел Боннета и удивился. Я думал найти слабого старца, угнетенного бременем лет, – обветшалую скинию, которой временный обитатель, небесный гражданин, утомленный беспокойством телесной жизни, ежедневно сбирается лететь обратно в свою отчизну, – одним словом, развалины великого Боннета. Что же нашел? Хотя старца, но весьма бодрого, – старца, в глазах которого блистает огонь жизни, – старца, которого голос еще тверд и приятен, – одним словом, Боннета, от которого можно ожидать второй «Палингенезии».^[220] Он встретил меня почти у самых дверей и с ласковым взором подал мне руку. «Вы видите перед собою такого человека, – сказал я, – который с великим удовольствием и с пользою читал ваши сочинения и который любит и почитает вас сердечно». – «Я всегда радуюсь, – отвечал он, – когда слышу, что сочинения мои приносят пользу или удовольствие благородным душам».

Мы сели перед камином, Боннет на больших своих креслах, а я на стуле подле него. «Подвиньтесь ближе, – сказал он, приставляя к уху длинную медную трубку, чтобы лучше слышать, – чувства мои тупеют». Я не могу от слова до слова описать вам разговора нашего, который продолжался около трех часов. Довольствуйтесь некоторыми отрывками.

Боннет очаровал меня своим добродушием и ласковым обхождением. Нет в нем ничего гордого, ничего надменного. Он говорил со мною, как с

равным себе, и всякий комплимент мой принимал с чувствительностью. Душа его столь хороша, столь чиста и неподозрительна, что все учтивые слова кажутся ему языком сердца: он не сомневается в их искренности. Ах! Какая разница между немецким ученым и Боннетом! Первый с гордою улыбкою принимает всякую похвалу как должную дань и мало думает о том человеке, который хвалит его, но Боннет за всякую учтивость старается платить учтивостию. Правда, что бой между нами не мог быть равен: я говорил с философом, всему свету известным и всеми превозносимым, а он говорил с молодым, обыкновенным, неизвестным ему человеком.

Боннет позволил мне переводить его сочинения на русский язык. «С чего же вы думаете начать?» – спросил он. «С „Созерцания природы“ („Contemplation de la Nature“), – отвечал я, – которое по справедливости может быть названо магазином любопытнейших знаний для человека». – «Никогда не приходило мне на мысль, – сказал он, – чтобы это сочинение было так благосклонно принято публикою и переведено на столько языков. Вы знаете (из предисловия к „Contemplation“), что я хотел бросить его в камин. Но переведя „Палингенезию“, вы переведете лучшее и полезнейшее мое сочинение. Ах, государь мой! В нашем веке много неверующих!» – Ему неприятно, что на английский и немецкий язык переведено «Созерцание природы» без его ведома. «Когда автор еще жив, – сказал он, – то надлежало бы у него спроситься». – Боннет хвалит один Спаланцаниев перевод, а немецким переводчиком, профессором Тициусом, весьма недоволен, потому что сей ученый германец думал поправлять его и собственные свои мнения сообщал за мнения сочинителей. Я сказал Боннету, что Тициус, несмотря на свою ученость, во многих местах не понимал его. Например, начало: «Je m'élève à la Raison Eternelle»,^[221] перевел он: «Ich erhebe mich zu der ewigen Vernunft»:^[222] грубая ошибка! Вместо «Vernunft» надлежало бы сказать «Ursache»; под словом «raison» разумел автор *причину*, а не *разум*. Боннет пожал плечами, услышав от меня о сей ошибке.

Он любил Лафатера, хвалил его сердце и таланты, но не советует никому учиться у него философии. – Лафатер, будучи недавно в гостях у Боннета, вдруг схватил с него парик и сказал сыну своему, который приехал вместе с ним: «Смотри, Генрих! Где ты увидишь такую голову, там учись мудрости».

Говоря о честолюбии авторском, Боннет сказал: «Пусть сочинители ищут славы! Трудясь для собственной своей выгоды, они приносят пользу человечеству, ибо премудрый творец неразрывным союзом соединил

частное благо с общим».

Жан-Жака называет он великим ритором, слог его – музыкою, а философию – воздушным замком. Будучи усердным патриотом, Боннет не может простить согражданину своему, что он в «Lettres écrites de la Montagne»^[223] не пощадил женевского правительства.

«В целой Европе, – говорит Боннет, – не найдете вы такого просвещенного города, как Женева; наши художники, ремесленники, купцы, женщины и девушки имеют свои библиотеки и читают не только романы и стихи, но и философические книги». – И я могу сказать, что женевские парикмахеры твердят наизусть целые тирады из Вольтера и что женевские дамы в доме у господина К* слушают с великим вниманием одного молодого графа, Мартенева друга,^[224] когда он изъясняет им тайну творения.

Боннет вызвался словесно или письменно объяснить для меня те места в своих сочинениях, которые покажутся мне темными, но я избавлю его от сего труда.

Почтенный старец проводил меня до крыльца. – Знаете ли, как в просвещенной Женеве обыкновенно зовут его? *Инсектом* – для того что он писал о насекомых!

Женева, января 23, 1789

В здешней маленькой республике начинаются несогласия. Странные люди! Живут в спокойствии, в довольстве и всё еще хотят чего-то. Ныне слышал я пышную проповедь на текст: «Если забуду тебя, о Иерусалим! то да забудет себя рука моя и да прилипнет язык к гортани моей, если ты не будешь главным предметом моей радости!»^[225] Разумеется, что Иерусалим значил Женеву. Проповедник говорил о любви к отечеству, доказывал, что республика их счастлива со всех сторон, что для соблюдения сего благополучия всем гражданам должно жить в согласии и что на сем общем согласии основывается личная безопасность каждого. В церкви было множество людей, а особливо женщин, хотя ритор обращался всегда к братьям, а не к сестрам. Все вокруг меня вздыхали, все плакали – я сам несказанно был тронут, видя слезы красавиц, матерей и супруг.

Вот письмо к Боннету, писанное мною вчера поутру:

«Monsieur,

Je prends la liberté de Vous écrire, parce que je crois qu'une petite lettre, quoique écrite en mauvais français, Vous importunera moins qu'une visite qui

pourroit interrompre Vos occupations quelques moments de plus.

J'ai relu encore une fois Votre „Contemplation“ avec toute l'attention possible. Oui, Monsieur, je puis dire sans ostentation, que je me sens capable de traduire cet excellent ouvrage sans le defigurer, ni même affoiblir beaucoup l'énergie de Votre style; mais pour conserver toute la fraîcheur des beautés, qui se trouvent dans l'original, il faudroit etre un second *Bonnet*, ou doué de son génie. D'ailleurs notre langue, quoique fort riche, n'est pas assez cultivée, et nous avons encore très peu de livres de philosophie et de physique? écrits ou traduits en russe. Il faudra faire de nouvelles compositions, et même créer de nouveaux noms, ce que les Allemands ont été obligés de t'aire, quand ils ont commencé à écrire en leur langue; mais sans être injuste envers cette dernière, dont je connois toute l'énergie et la richesse, je dirai que la nôtre a plus de souplesse et d'harmonie. Le sentiment de l'utilité de mon travail me donnera la force nécessaire pour en surmonter les difficultés.

Vous êtes toujours si clair, et Vos expressions sont si précises, que pour à present je n'ai qu'à Vous remercier de la permission, que Vous avez bien voulu me donner, de m'adresser à Vous, en cas que quelque chose dans Votre ouvrage m'embarassât. Si j'ai de la peine, ce sera de rendre clairement en russe ce qui est très clair en françois, pour peu que l'on sache ce dernier.

Je me propose aussi de traduire Votre „Palingénésie“. J'ai un ami (Mr. NN. à Moscou), que s'estime heureux, ainsi que moi, d'avoir lu et médité Vos ouvrages, et qui m'aidera dans mon agréable travail; et peut-être que dans l'instant même ou j'ai l'honneur de Vous écrire, il s'occupe à traduire un chapitre de Votre „Contemplation“ ou de Votre „Palingénésie“, pour en faire un présent à son ami, à son retour dans sa patrie.

En présentant au Public ma traduction, je dirai: „Je l'ai vu luimême“, et le lecteur m'enviera dans son coeur.

Daignez agréer mes remerciements de l'accueil favorable que Vous avez eu la bonté de me faire, et le respect profond, avec leque'l je suis,

Monsieur,

Votre très humble et très obéissant serviteur N. N.» [\[27\]](#)

ВОТ ОТВЕТ:

«Si je n'avois pas su, Monsieur, que vous êtes Russe de naissance, je ne m'en serois pas douté à la lecture de votre obligeante lettre. Vous maniez notre langue comme un Francois qui l'a cultivée, et je ne puis trop me féliciter d'avoir rencontré un Traducteur aussi capable que vous l'êtes de rendre bien son original. Vous ne rendrez sûrement pas moins bien la „Palingénésie“ que la „Contemplation“, et ces deux ouvrages vous devront un honneur auquel l'Auteur sera extrêmement sensible, celui d'etre connu d'une Nation que votre patriotisme

desire d'éclairer, et qui est très susceptible d'instruction.

J'ai, Monsieur, un plaisir a vous demander; ce seroit d'accepter pour lundi prochain, 25 du courant, un petit dîner philosophique dans ma retraite champêtre. Si ce jour peut vous convenir, je vous attendrois sur le midi, et nous nous entretiendrions ensemble d'un travail dont je vous suis si redevable. Veuillez me donner un mot de réponse.

Je suis charmé d'apprendre que vous ayez à Moscou un Ami inspiré par les mêmes vues qui vous animent, et la satisfaction qu'il goûte à me lire et à me méditer, m'en donne beaucoup à moi-même.

Agréez les assurances bien vraies des sentiments pleins d'estime et de considération avec lesquels j'ai l'honneur d'être,

Monsieur,

Votre très humble et très obéissant serviteur

Le Contemplateur d. l. Nature». [\[28\]](#)

Женева, января 26, 1790

День вчера был очень хорош, и я отправился в Жанту пешком, но скоро небо помрачилось и сильный дождь принудил меня искать убежища. Я зашел в крестьянский домик, где многочисленное семейство сидело за обедом. Хозяин, узнав причину нечаянного посещения моего, принес мне стул из другой горницы и просил меня отведать картофелей, сваренных его женою. Я отведал, похвалил и положил вилку. – «Что же вы не едите?» – «Я иду обедать в Жанту, к г. Боннету». – «К господину Боннету? Итак, вы с ним знакомы?» – «Знаком, хотя очень недавно». – «Какой добрый человек! Все поселяне любят его сердечно, а бедные называют отцом и благодетелем». – «Он помогает им?» – «Конечно; никто еще не уходил от него с печальным лицом». – «Итак, он много раздает денег?» – «Очень много; и, сверх того, говорит всегда так ласково, так умно, так хорошо, что у всякого слезы на глазах навертываются и всякому хочется схватить и поцеловать руку его». – «Правда, правда, батюшка!» – сказал большой сын моего хозяина. – «Правда», – повторила молодая жена его, взглянув на мужа и на меня... – Дождь перестал, и я пошел, изъявив благодарность мою гостеприимному и добросердечному поселянину. Итак, женеvский мудрец не только по сочинениям, но и по делам своим есть друг человечества!

Я нашел его в саду, но он тотчас повел меня в дом, приметив на кафтане моем следы дождевых капель, – посадил в кабинете своем перед камином и велел мне греть ноги, боясь, чтобы я не простудился. Судите по сему об искусстве его пленять людей! Но душа его родилась с сим

искусством – если, по словам Виландовым, сочинения Боннетовы заставляют читателей любить автора, то милое обхождение его еще увеличивает эту любовь. – Ни с кем не говорю я так смело, так охотно, как с ним. И слова, и взоры его ободряют меня. Он все выслушивает до конца, во все входит, на все отвечает. Какой человек!

«Вы решились переводить „Созерцание природы“, – сказал он, – начните же переводить его в глазах автора и на том столе, на котором оно было сочиняемо. Вот книга, бумага, чернилица, перо». – С радостью исполнил я волю его; с некоторым благоговением приблизился к письменному столу великого философа, сел на его кресла, взял перо его – и рука моя не дрожала, хотя он стоял за мною. Я перевел титул – первый параграф – и прочитал вслух. «Слышу и не понимаю, – сказал любезный Боннет с усмешкою, – но соотечественники ваши будут, конечно, умнее меня. – Эта бумага останется здесь в память нашего знакомства».

Он хотел знать, во сколько времени могу перевести «Contemplation», в какой формат будут печатать эту книгу и сам ли стану читать корректуру? Мне очень приятно было, что великий Боннет входил в такие подробности; но еще приятнее то, что он обещал мне дать новые, и самой французской публике неизвестные, примечания к «Созерцанию», которые написаны у него на карточках и в которых сообщает он известия о новых открытиях в науках, дополняет, объясняет, поправляет некоторые неверности и проч., и проч. «Я – человек, – сказал он, – и потому ошибался; не мог сам делать всех опытов, верил другим наблюдателям и после узнавал их заблуждения. Стараясь о возможном совершенстве моих сочинений, поправляю всякую ошибку, которую нахожу в них». – Он хочет, чтобы я прислал к нему два экземпляра перевода моего: один – для его собственной, а другой – для Женевской публичной библиотеки.

Почтенный старец бережет слабые свои глаза и почти ничего сам не пишет, а все диктует секретарю.

На вопрос, чью философию преподают у нас в Московском университете, отвечал я: «Вольфову» – отвечал наугад, не зная того верно. «Вольф есть хороший философ, – сказал Боннет, – но только он слишком любит демонстрацию; я предпочел его методе аналитическую, которая гораздо вернее и безопаснее».

В час мы сошли в залу нижнего этажа, где готов был обед и где ждала нас г-жа Боннет, которая летами моложе своего мужа, но здоровьем гораздо его слабее. Она также обласкала меня и, между тем как Боннет ел суп, хвалила мне тихонько доброту его сердца: «О его разуме, о его знаниях пусть судит публика, но я знаю то, что любовь его, добронравие и нежные

попечения составляют мое счастье. Мне кажется, что без него я давно бы лишилась жизни, будучи так слаба и нездорова; видя же его подле себя, терпеливо переношу все припадки, всякую болезнь и вместо роптания изъясляю небу благодарность мою за такого супруга». – «О чем вы говорите?» – спросил Боннет, переменяв тарелку. – «О хорошей погоде», – отвечала г-жа Боннет и утерла платком глаза свои.

Я сидел между ими, как между Филемоном и Бавкидою.^[226]

Обед был очень хорош и так изобилен, как природа, описанная хозяином. – Когда мы пили кофе, пришел тот датчанин, живописец, о котором говорит Боннет в «Contemplation» и который живет у него в доме. Он начал рассказывать о болезни г-жи Соссюр, племянницы Боннетовой, и, говоря пофранцузски не очень хорошо, на третьем слове остановился и несколько времени не мог сыскать выражения. Почтенный старец сидел, приставя в ухо медную трубку, и с величайшим терпением дожидался, пока живописец мог изъясниться. Эта черта для меня характерна и показывает кротость Боннетовой души, которая никого и ничем оскорбить не хочет.

Он вздумал проводить меня до Женевы, призвал кучера и велел ему закладывать карету. Если бы вы видели, какими глазами смотрел на него этот кучер! И каким голосом отвечал ему: «Слышу, добрый, любезный господин мой, слышу!» Все домашние любят его, как отца.

Жалеть ли о том, что он не имеет детей, которые могли бы развеселить мрачную осень дней его? Но мудрец, дружелюбно беседующий с гением природы, – мудрец, почитающий весь род человеческий одним семейством и трудами своими споспешествующий его просвещению и благополучию, – может быть счастлив и без сего удовольствия.

Г-жа Боннет любит и держит у себя птиц всякого рода: попугаев, чижей, горлиц и проч. «Не удивляюсь вашему вкусу, – сказал я, – кто не любит того, что описано вашим супругом?» Боннет вслушался и пожал руку мою. – «Однако ж знаете ли, – сказал он, – что я часто ссорюсь с моею женою за книги? Вчера, например, был у нас великий спор о „Письмах“ дю Пати:^[227] слог их кажется ей прекрасным, а мне – фигурным и принужденным; она находит в них сердечное красноречие, а я – одне антитезы». – Г-жа Боннет смеялась и говорила, что сочинитель «Аналитического опыта»^[228] не всегда чувствует красоты пиитические. – Они довели меня в своей карете до самых городских ворот. —

По сие время здесь нет зимы, и дни бывают так ясны и теплы, как у нас в исходе августа или в начале сентября, хотя во всей Женеве беспрестанно пылает огонь в каминах. Только один раз шел снег и через

несколько часов растаял; но все вершины гор им покрыты. Вид странный! Вверху седая зима со всеми своими ужасами, а внизу ясная осень.

На сих днях познакомился я с господином Ульрихом, цюрихским уроженцем, который природно глухих и немых учит говорить, читать и писать. Он живет здесь, в доме одного богатого человека, у которого есть немая дочь, девушка лет тринадцати, прекрасная собою. Посредством его искусства и стараний начинает она уже изъясняться и разуметь других. Сперва – показывая ей, как для всякого слова надобно растворять рот, двигать язык и губы – научает он ее произношению тонов, а потом знаками изъясняет ей смысл их. Когда другие люди говорят не скоро и произносят известные ей слова, то она по движению губ понимает их. Все это чудно. Сколько есть отвлеченных идей, которых, кажется, никак нельзя изъяснить знаками! Третьего дни был я в гостях у сего Ульриха. При мне говорил он с своею ученицею, и так свободно, как со всяким другим. Она разумела и некоторые из моих слов и отвечала мне довольно хорошо; только в голосе ее есть нечто дикое и неприятное, чего уже никак нельзя поправить. Она пишет чисто и с наблюдением орфографии. Мать ее велит ей записывать, что с нею всякий день случается. Ульрих показывал мне этот журнал, писанный складно, но только слишком отрывисто. Она чрезвычайно любит своего учителя и ласкается к нему более, нежели к отцу и к матери. В журнале ее, между прочим, заметил я следующее: «Госпожа NN звала меня к себе в гости—я не пошла к ней – она не звала моего учителя». – Ульрих ездил в Париж затем только, чтобы видеться с аббатом л'Епе, который завел там особое училище для немых. Чему дивиться более: разуму ли учителя или понятию учеников? Конечно, сему последнему, но все вместе заставляет меня удивляться способностям души человеческой.

На сих же днях узнал я и молодого Верна. Вам известны его «Франсиада» и «Voyageur sentimental»,^[229] в которых много хорошего и трогательного. Он обедает иногда в нашем пансионе.

Женева

Приятель мой Б* уехал в Лозанну. Сию минуту получил я от него письмо. Вот оно:

«Ах, мой друг! Жалей о несчастном! Простуда, кашель, боль в груди едва ли позволяют мне за перо взяться; но я непременно должен известить тебя о моем меланхолическом приключении.

Ты помнишь молодую ивердонскую красавицу, с которою мы ужинали в Базеле, в трактире „Аиста“; помнишь, может быть, и то, что я сидел рядом с нею, что она говорила со мною ласково и смотрела на меня с

нежностью, – ах! Какая гранитная гора могла защитить мое сердце от ее пронзительных взоров? Какие снежные громады могли погасить огонь, воспаленный сими взорами в источнике жизни моей? Так, мой друг! Я учился анатомии, медицине и знаю, что сердце есть точно источник жизни, хотя почтенный доктор Мегадидактос^[230] вместе с уважения достойным Микрологосом искал души и жизненного начала в чудесном, от глаз наших укрывающемся, сплетении нерв... Но я боюсь удалиться от моего предмета и потому, оставляя на сей раз почтенного Мегадидактоса и уважения достойного Микрологоса, скажу тебе откровенно, что ивердонская красавица возбудила во мне такие чувства, которых теперь описать не умею. Не знаю, что бы из меня вышло и что бы я сделал, если бы она – о жестокий удар! – не уехала из трактира в самую ту ночь, в которую душа моя занималась ею с величайшим жаром и в которую утешительный сон не смыкал глаз моих. Ты вывез меня из Базеля; путешествие, приятные места, встреча с француженкою, маленький Пьер, белка, злая белка, новые знакомства, водопады, горы, девица Г* – все сие не могло совершенно затереть образа прекрасной ивердонки в сердце моем. Долго старался я преодолевать себя; но тщетно! Быстрая река рано или поздно разрывает все оплоты: так и любовь! Наняв в Лозанне лошадь, поехал я верхом в Ивердон; скакал, летел и в десять часов утра был уже на месте – остановился в трактире, напудрился, снял с себя кортик, шпоры и пошел, куда стремилось мое сердце. Там с пасмурным видом встретил меня шестидесятилетний старик, отец моей красавицы. „Милостивый государь! – сказал я. – Почтение, которым душа моя преисполнена к вашей любезной дочери; великое, сильное желание видеть ее...“ – В самую сию минуту она вошла. „Юлия! Знаешь ли ты этого господина?“ – спросил у нее старик. Юлия посмотрела на меня и учтивым образом отвечала, что она не имеет сей чести. Вообрази мое удивление! Я весь затрепетал – *затрепетал вслух*, как говорит Клопшток. Мне казалось, что все швейцарские и савойские горы обрушились на мою голову. Насилу мог я собраться с духом и, не говоря ни слова, подал беспамятной Юлии записную книжку мою, где увидела она имя свое, ее собственною рукою написанное. Краска выступила на лице жестокой; она стала передо мною извиняться и сказала отцу: „Я имела честь вместе с ним ужинать в Базеле“. Он просил меня сесть. Кровь моя все еще не могла успокоиться, и я не имел духа смотреть на Юлию, которая также была в замешательстве. Старик, услышав от меня, что я доктор медицины, очень обрадовался и начал говорить со мною о своих болезнях. „Увы! – думал я, – за тем ли судьба привела меня в Ивердон, чтобы рассуждать о геморроидальных

припадках дряхлого старика?“ Между тем дочь его сидела, нюхала табак и взглядывала на меня, но совсем уже не так, как в Базеле. Взоры ее были так холодны, так холодны, как Северный полюс. Наконец самолюбие мое, жестоко уязвленное, заставило меня встать со стула и откланяться. „Долго ли вы пробудете в Ивердоне?“ – спросила Юлия приятным своим голосом (и с такою усмешкою, которая весьма ясно говорила: „Надеюсь, что ты уже не придешь к нам в другой раз“). – „Несколько часов“, – отвечал я. – „В таком случае желаю вам счастливого пути“. – „И счастливой практики“, – примолвил старик, сняв свой колпак. Мы расстались, и, когда я вышел на улицу, наемный слуга, провожатый мой, сказал мне, что девица Юлия скоро выйдет замуж за г. NN. „А! Теперь знаю причину холодного приема!“ – думал я и удвоил шаги свои, чтобы скорее удалиться от дому будущей супруги г. NN. – Город Ивердон стал мне противен. Я с великим нетерпением дожидался обеда и, сев за стол, велел слуге оседлать мою лошадь. Вместе со мною обедало четверо англичан, которые вздумали пить мое здоровье всеми винами, какие были у трактирщика. Я сам велел подать бутылки две бургонского, чтобы отблагодарить их, – и таким образом прошло неприметно около трех часов. Сердце мое забыло все земное горе и простило неверную Юлию. Англичане, по своему обыкновению, выдумывали разные *сентиментальные*, или *чувствительные*, здоровья. [\[231\]](#) Мне также в свою очередь надлежало предложить три или четыре. При последнем я налил полную рюмку, поднял ее высоко и сказал громко: „Кто любит красоту и нежность, тот пей со мною за здоровье Юлии и желай красавице счастливого супружества!“ Рюмки застучали, вино запенилось, и все англичане в один голос воскликнули: „Мы пьем за здоровье Юлии и желаем красавице счастливого супружества!“ – Между тем я раз десять спрашивал, готова ли моя лошадь, и десять раз отвечали мне, что она давно стоит у крыльца. Наконец слуга пришел сказать, что мне нельзя ехать. – „Нельзя? Для чего же?“ – „Становится поздно, и находят облака“. – „Вздор! Я поеду! Лошадь!“ – Через полчаса опять пришел слуга. „Вам нельзя ехать“. – „Нельзя? Для чего же?“ – „Стало поздно; облака сгустились, и пошел снег“. – „Вздор! Я поеду! Лошадь!“ – Через несколько минут слуга опять подошел ко мне. „Вам нельзя ехать!“ – „Нельзя? Для чего же?“ – „Ночь на дворе; снег валится хлопками, и скоро сильный ветер надует везде сугробы“. – „Вздор! Поеду, сию минуту поеду! Лошадь!“ – Сказал, встал со стула, пожал у англичан руки, подпоясал кортик, расплатился с хозяином, вскочил на коня своего и пустился во всю прыть по Лозаннской дороге. Ветер со снегом дул мне в лицо, но я протираю глаза и беспрестанно шпорил свою лошадь. Скоро сделалась страшная вьюга, и

белая тьма совсем лишила меня зрения. Я чувствовал, что еду не по дороге, но делать было нечего. Вперед, вперед, на волю Божию – и таким образом странствовал до половины ночи. Наконец добрый конь, верный товарищ мой, совсем из сил выбился и стал. Я сошел с него и повел его за узду, но скоро и мои силы истощились. Уже несчастный приятель твой готов был упасть на пушистую снежную постелю, покрыться снежным одеялом и поручить участь свою богу; хладная смерть со всеми своими ужасами вилась надо мною! Увы! Я прощался уже с моим отечеством, с друзьями, с *химическими лекциями*^[232] и со всеми моими лестными надеждами! Но судьба изрекла мне помилование, и вдруг увидел я перед собою крестьянский домик. Ты легко можешь представить себе радость мою, и для того не буду ее описывать. Довольно, что меня там приняли, отогрели, накормили, успокоили. На другой день поутру я принудил хозяина взять у меня шесть франков и в десять часов утра возвратился в Лозанну – с жестокою простудою. Вот конец моего романа! Vale! В. – P. S. Как скоро уймется мой кашель, возвращусь на старое свое жилище, в Женевскую республику, под надежный покров *великолепных*^[233] синдиков. У вас, сказывают, много шуму!» Так, или почти так, пишет мой Б.

Женевская кафедральная церковь напоминает мне давно прошедшие времена. Тут был некогда храм Аполлонов, но огонь пылал в стенах его и разрушил отчасти величественное здание древнего искусства – воцарилась новая религия, и развалины языческого храма послужили основанием христианской церкви.

Вхожу во внутренность – огромно и пусто! Ищу глазами какого-нибудь предмета, который мог бы занять душу мою. Мне представляется громада черного мрамора, держимая львами, – это гроб герцога Рогана, которого Генрих IV любил как друга, которого Лудовик XIII страшился как грозного неприятеля, который жил и умер с мечом в руках и в лаврах победителя.

Avec tous les talents le Ciel l'avoit fait naître,
Il agit en héros, en sage il écrivit;^[234]
Il fut même grand homme en combattant son maître,
Et plus grand lorsqu'il le servit.^[235]

Вольтер

Роган был главою протестантов во Франции и предводителем их армии, но по заключении мира он лишился их доверенности. Многие из

них называли его изменником, предателем и готовы были обагрить руки свои кровию героя, чистого в своем сердце. Безоружен и спокоен явился он среди мятущегося народа – обнажил грудь свою и твердым голосом сказал озлобленным своим единоверцам: «Разите! Для вас жертвовал я моею жизнью; теперь хочу умереть от руки вашей», – сказал, и народ, устыдясь своей несправедливости, пал перед ним на колена. Так торжествует добродетель, и друг человечества проливает радостные слезы! – Подобные черты великодушия суть блестящие перлы в мрачной истории веков.

Вместе с отцом своим покоится и несчастный Танкред. Судьба сего принца достойна примечания и слез чувствительного человека. Роган хотел до времени таить рождение своего сына, боясь, чтобы кардинал Ришелье не отнял его и не воспитал в католической религии. Корыстолюбивая Танкредова сестра, желая одна владеть именем отца своего, воспользовалась сим обстоятельством и некоторым преданным ей людям велела похитить младенца, увезти из Франции и отдать на воспитание какому-нибудь человеку низкого состояния. Все сие сделалось, как она хотела, – и Танкред отдан был в Голландии одному небогатому мещанину; а герцога и супругу его, дочь великого Сюлли, уверили, что сын их умер. Юный принц рос в деревне, бегал по лугам, работал в саду и называл воспитателя своим отцом, его жену – матерью, а детей – братьями и сестрами. Он был прекрасный, умный мальчик и заслужил любовь всех тех, которые его знали. – Между тем герцог умер. Супруга его давно уже перестала проливать слезы о любезном сыне, как вдруг, к нечаянной радости своей, получила достоверное известие,^[236] что он жив. В ту же минуту она послала за ним в Голландию. Танкред услышал о своем роде и казался равнодушным; услышал о смерти отца своего и пролил слезы; услышал о матери, об ее нетерпении видеть милого сына и, схватив присланного за руку, сказал ему: «Поедем к ней!», увидел горесть воспитателя своего, горесть его жены и детей и бросился обнимать их. «Никогда, никогда вас не забуду! – сказал он с нежностью. – Никогда не перестану называть тебя отцом моим, тебя – матерью, вас – братьями и сестрами! Теперь простите: если мне хорошо будет в Париже, то я отпишу к вам, чтобы и вы туда приехали». – Танкред поехал и всякую минуту спрашивал: «Скоро ли увижу мать свою?» Он увидел ее, и нежная родительница едва не лишилась жизни от радостного восторга... Герцогиня немедленно объявила Танкреда сыном и наследником герцога Рогана; однако ж дочь ее не хотела признать его своим братом. Началось дело, и до решения запрещено было молодому Рогану называться герцогом. – Франция была тогда театром междоусобной войны. Герцог Орлеанский и

принц Конде хотели овладеть Парижем и уничтожить парламент, но многие дворяне, держа сторону сего последнего, защищали город. Восемнадцатилетний Танкред пристал к ним и в разных случаях оказал удивительную смелость и мужество. – Самая сия геройская пылкость погубила его. В одном сражении он был оставлен своими и со всех сторон окружен неприятелями, которые, щадя юного героя, требовали, чтобы он сдался, но храбрый Танкред махал мечом вокруг головы своей и кричал: «Point de quartier! Il faut vaincre ou mourir!» («победить или умереть!»). Свинцовая пуля пролетела сквозь его сердце, и герой умер героем. – Сия безвременная смерть сократила жизнь несчастной герцогини. Она велела написать над гробом его: «Здесь лежит Танкред, сын герцога Рогана, истинный наследник добродетели и великого имени отца своего. Он умер на девятнадцатом году от рождения, сражаясь за своих сограждан. Небо показало – и скрыло его, к горести всех родственников и всех истинных сынов отечества. Маргарита Бетюн, герцогиня де Роган, печальная вдова, неутешная мать, соорудила сей памятник, да будет оный вечным свидетельством ее скорби и любви к милому сыну». Но злобная Танкредова сестра, по смерти матери своей (которая также погребена в Женеве, подле супруга и сына), – злобная сестра, питая ненависть даже и к мертвому брату своему, заставила короля писать к начальникам Женевской республики, чтобы сия эпитафия была уничтожена. Они исполнили его приказание и стерли трогательную надпись; но я нашел ее в «Histoire de Tancrede».^[237] – Известный Скюдери сочинил тогда следующие стихи (поднесенные им самой сестре Танкредовой):

Olimpe, le pourrai-je dire,
Sans exciter votre courroux?
Le grand coeur que la France admire,
Semble déposer contre vous.
L'invincible Rohan, plus craint que le tonnerre,
Vit finir ses jours à la guerre^[238]
Et Tancrede a le même sort.
Cette conformité qui le couvre de gloire,
Force presque chacun a croire,
Que la belle Olimpe avoit tort,
Et que ce jeune Mars, si digne de mémoire,
Eut la naissance illustre, aussi bien que la mort.^[239] —

В сей же церкви погребен дед госпожи Ментенон, Теодор-Агриппа Обинье, который некоторое время пользовался благосклонностью Генриха IV, но после должен был удалиться от двора и даже выехать из Франции.

Прекрасное время продолжается. Я стараюсь им пользоваться и часто, взяв в карман луидора три и записную книжку, странствую по Савойе, Швейцарии или Pays de Gex и дня через четыре возвращаюсь в Женеву.

Недавно был я на острове Св. Петра, где величайший из писателей осьмого-надесять века^[240] укрывался от злобы и предрассуждений человеческих, которые, как фурии, гнали его из места в место. День был очень хорош. В несколько часов исходил я весь остров и везде искал следов женевского гражданина и философа: под ветвями древних буков и каштановых деревьев, в прекрасных аллеях мрачного леса, на лугах поблекших и на кремнистых свесах берега. «Здесь, – думал я, – здесь, забыв жестоких и неблагодарных людей... неблагодарных и жестоких! Боже мой! Как горестно это чувствовать и писать!.. Здесь, забыв все бури мирские, наслаждался он уединением и тихим вечером жизни; здесь отдыхала душа его после великих трудов своих; здесь в тихой, сладостной дремоте покоились его чувства! Где он? Все осталось, как при нем было; но его нет – нет!» Тут послышалось мне, что и лес, и луга вздохнули или повторили глубокий вздох моего сердца. Я смотрел вокруг себя – и весь остров показался мне в трауре. Печальный флер зимы лежал на природе. – Ноги мои устали. Я сел на краю острова. Бильское озеро светлело и покоилось во всем пространстве своем; на берегах его дымились деревни; вдали видны были городки Биль и Нидау. Воображение мое представило плывущую по зеркальным водам лодку; зефир веял вокруг нее и правил ею вместо кормчего. В лодке лежал старец почтенного вида, в азиатской одежде;^[241] взоры его, устремленные на небеса, показывали великую душу, глубокомыслие, приятную задумчивость. Это он, он – тот, кого выгнали из Франции, Женевы, Нёшателя – как будто бы за то, что небо одарило его отменным разумом; что он был добр, нежен и человеколюбив!

Какими живыми красками описывает Руссо^[242] приятную жизнь свою на острове Св. Петра – жизнь, совершенно бездейственную! Кто никогда не истощал душевных сил своих в ночных размышлениях, тот, конечно, не может понять блаженства сего роду – блаженства сей *субботы*, которую наслаждаются одни великие духи при конце земного странствования и которая приготовляет их к новой деятельности, начинающейся за прагом смерти.

Но кратко было успокоение твое! Новый удар грома перервал его, и сердце великого мужа облилось кровию. «Дайте мне умереть, – говорил он в горести души своей, – дайте мне умереть покойно! Пусть железные замки и тяжелые запоры гремят на дверях моей хижины! Заключите, заключите меня на сем острове, если вы думаете, что дыхание мое для вас ядовито! Но перестаньте гнать несчастного! Лишите меня дневного света и только в ночное время позвольте мне, бедному, вздохнуть на свежем воздухе!» Нет, слабый старец должен проститься с любезным своим островом – и после того говорят, что Руссо был мизантроп! Скажите, кто бы не сделался таким на его месте? Разве тот, кто никогда не любил человечества!

Я сидел в задумчивости и вдруг увидел молодого человека, который, нахлобучив себе на глаза круглую шляпу, тихими шагами ко мне приближался; в правой руке была у него книга. Он остановился, взглянул на меня и, сказав: «Vous pensez à lui» («Вы о нем думаете»), пошел прочь такими же тихими шагами. Я не успел ему отвечать и хорошенько посмотреть на него; но выговор его и зеленый фрак с золотыми пуговицами уверили меня, что он англичанин.

На острове только один дом, в котором живет управитель с семейством своим; тут жил и Руссо. – Сей остров, принадлежащий Берну, называется ныне по большей части Руссовым. —

Я был еще в Ивердоне, Нёшателе и в других городках Швейцарии. В Ивердонской публичной библиотеке показывают скелеты, найденные в земле лет за двадцать перед сим близ одной мельницы. Лицами лежали они к востоку; в ногах у них стояли глиняные урны и маленькие блюда с костями разных птиц. Тут же нашли еще несколько серебряных и медных медалей Константинова времени. – Во всей Швейцарии видно изобилие и богатство; но как скоро переступишь в Савойскую землю, увидишь бедность, людей в раздранных рубищах, множество нищих – вообще неопрятность и нечистоту. Народ ленив, земля необработана, деревни пусты. Многие из поселян оставляют свои жилища, ездят по свету с учеными сурками и забавляют ребят. В Каруше, первом савойском городке, стоит полк; но какие солдаты! какие офицеры! Несчастливая земля! Несчастлив и путешественник, который должен в савойских трактирах искать обеда или убежища на время ночи! Надобно закрыть глаза и зажать нос, если хочешь утолить голод; постели так чисты, что я никогда на них не ложился.

Наконец мир и тишина царствуют в Женеве. Перемена, происшедшая за несколько месяцев перед сим в правлении республики, утверждена

союзными державами: Францией, кантоном Берном, Савойею; и те из граждан, которые прежде были выгнаны из Женевы, могут теперь возвратиться. Недавно выбирали новых синдиков. Все женеvцы, собравшиеся в церкви св. Петра, подтверждали сей выбор, кладя руку на Библию. Первый синдик говорил речь и давал гражданству отчет в делах своих. Потом новые синдикы, держа в руках жезлы правления, присягали и обещались наблюдать пользу республики. Все было тихо и торжественно. Иностранцев впускали по билетам на галерею. —

Недавно случился здесь следующий комико-печальный анекдот. Я писал к вам о женевском гульбище sur la Treille, где (а особливо в праздники) собирается множество людей, мужчин и женщин, женеvцев и чужестранных. В последнее воскресенье один молодой англичанин, — но не тот, которого видел я на острове Св. Петра, — к удивлению всех, явился там на кургузом коне своем, пустился в галоп по аллее и едва не передавил гуляющих. Здешний полицейский судья схватил лошадь его за узду и сказал ему, что по *Трели* ходят, а не ездят. «А я хочу ехать», — отвечал англичанин. — «Вам не позволят». — «Кто, кто мне не позволит?» — «Я, именем закона». — Англичанин высунул язык, дал шпоры своей лошади и поскакал. «Бунт! Мятеж!» — закричали женеvцы — и через несколько минут явился на *Трели* отряд здешней гвардии. Вы думаете, может быть, что англичанин скрылся? Никак — он ездил по аллеям, свистал, махал своим хлыстиком, дразнил тех, которых физиогномия ему не нравилась, и хотел передавить солдат, когда они окружили его; но дерзкого британца, несмотря на его храброе сопротивление, стащили с лошади и отвели в караульню. Через полчаса прибежала к нему молодая женщина и со слезами бросилась обнимать его. Он начал говорить с ней по-английски и, оборотившись к караульному офицеру, сказал ему: «Вся ваша республика не стоит слезы ее». Уверяют, что синдикы за такое женевохуление продержали его лишний день под стражею. Вчера он получил свободу и уехал из Женевы.

Граф Молтке и поэт Багзен теперь в Женеве. Они ездили на несколько дней в Париж^[243] и возвращаются опять в Берн. Багзен еще не женился и спешит к своей невесте. Граф с восхищением говорит о своем путешествии, о Париже, Лионе^[244] и проч.; но поэт говорит мало, потому что он весь свой жар истощает в письмах к Софии. Ныне ввечеру ходили мы прогуливаться, и я показывал им лучшие места и виды вокруг Женевы. Молтке, смотря на Белую гору, подымал руки — громкими восклицаниями изъявлял восторг свой — уверял, что он хотел бы жить и умереть на

снежной вершине ее, и дивился тому, что никто из земных владык, для бессмертия славы своей, не вздумал наместить большой дороги от низу до верху сей горы, так, чтобы туда можно было ездить в каретах. Вы видите, что граф любит исполинские мысли!

Датчане Молтке, Багзен, Беккер и я были ныне поутру в Фернее – осмотрели всё, поговорили о Вольтере и проехали обедать в Жанту, к «Созерцателю природы», который принял нас с обыкновенною своею приветливостию. «Теперь вы окружены севером», – сказал я, когда мы сели вокруг него. «Мы многим обязаны вашему краю, – отвечал он, – там взошла новая заря наук; я говорю об Англии, которая есть также северная земля; а Линней был ваш сосед». – Каждого из нас по очереди сажал Боннет подле себя и со всяким находил особливую материю для разговора: с графом, которого дедушка был министром, говорил он о политическом состоянии Дании, с Багзеном – о невесте его, с Беккером – о химии и минералогии, со мною – о русской литературе и характере женеvцев. Потом разговор сделался общим: Галлер был предметом его. С каким жаром великий Боннет превозносил достоинства великого Галлера! Тридцать лет любили они друг друга. Слезы несколько раз показывались в глазах нашего почтенного старца. Он сыскал письма покойного друга своего и отдал Багзену читать их; последнее, писанное Галлером за несколько дней перед его смертию, всех нас заставило плакать. Некоторые строки остались в моей памяти; вот оне: «Скоро, любезный и почтенный друг мой, скоро не будет меня в сем мире. Обращаю глаза на прошедшую жизнь мою и, полагаясь на благость провидения, спокойно ожидаю смерти. В сию минуту более нежели когда-нибудь благодарю бога за то, что я воспитан был в христианской религии и что спасительные истины ее всегда жили в моем сердце. Благодарю его и за вашу драгоценную дружбу, которая служила мне утешением в жизни и питала в душе моей любовь к мудрости и добродетели... Простите, дражайший друг мой! Живите еще многие лета и просвещайте человечество; живите и распространяйте царство добродетели!.. Простите! В сию минуту душа моя к вам стремится: я хотел бы обнять вас в последний раз; хотел бы в последний раз слышать из уст ваших сладостное наименование друга; хотел бы словесно изъявить вам всю признательность, всю чувствительность моего сердца... Я оставляю детей: будьте им вторым отцом, наставником, покровителем, другом!.. Простите! Где и как мы увидимся, не знаю; но знаю то, что бог премудр, благ и всесилен; мы бессмертны! Дружба наша бессмертна!.. Скоро зашумит и подыметя передо мною непроницаемая завеса – слава всевышнему! Простите в последний раз – рука моя слабеет – в последний

раз называюсь здесь вашим верным, нежным, признательным, благодарным, умирающим, но вечным другом!» – С такими чувствами, любезные друзья мои, кончил жизнь свою сей великий муж – и да будет конец наш подобен его концу! – Боннет взял за руку Багзена и сказал ему голосом растроганного сердца: «Вы женитесь на внуке его: обнимите меня!»

Тут слуга пришел сказать, что г-жа Боннет дожидается нас к обеду. Почтенный хозяин рекомендовал ей моих товарищей и, указывая на Багзена, сказал: «Он любим тою, которая нам столь любезна!»

За обедом Багзен должен был рассказать хозяйке, каким образом он познакомился с девицею Галлер. Я хотел бы, чтобы вы послушали его. По-французски изъясняется он с трудом, но живость его слов и движений трогает душу. – В жару своем поэт наш заговорил было с Боннетом, но любезный старец, взяв его за руку, сказал ему весьма покойно: «Мой друг! я пифагореец и обедаю в молчании». Багзен замешался и замолчал, но г-жа Боннет просила его досказать.

После обеда ходили мы прогуливаться. «В этой беседке, – говорит Боннет, – сочинял я предисловие к „Палингенезии“; здесь, на берегу озера, – первые главы ее; тут, под высоким каштановым деревом, – заключение „Созерцания природы“. На чистом воздухе мысли мои бывают свежее». – Часы или минуты сочинения – те минуты, в которые душа его, божественным огнем согретая, предастся быстрому стремлению мыслей и чувств своих, – называет он счастливейшими, сладкими, небесными минутами.

Разговор зашел о стихотворстве, Багзен уверял, что он никогда уже не будет писать стихами,^[245] потому что сей род сочинений есть совсем неестественный и мешает чувствам изливаться во всей их полноте и свободе. «Я отчасти согласен с вами, – сказал Боннет, – и признаюсь, что хорошая проза мне лучше нравится; но, может быть, для того, что я не поэт». – «Тот, кто в заключении „Палингенезии“ написал: „notre Père!.. notre Père!.. nous...“,^[246] есть величайший из поэтов», – сказал Багзен и сею искреннею похвалою тронул чувствительного старца.

Боннет называет Галлерову поэму «О происхождении зла» самую лучшую из философических стихотворений; хвалит также и «Essay on Man». ^[247] Он любит и уважает Клопштока, хотя никогда с ним не видался.

Мы пробыли в Жанту до пяти часов.

Февраля 2, 1790

Аббат Н*, раздаватель милостыни при французском посольстве, играл важную роль в женевских обществах. Он был довольно учен, знаком со всеми французскими славными и полуславными стихотворцами и прозаистами, остроумен, весел, забавен. От шести часов до восьми – время, в которое обыкновенно в вечерних женевских собраниях все без исключения садятся за карточные столы, – бывал он душою дамской беседы, загадывал загадки, шарады; рассказывал смешные и трогательные парижские анекдоты и тому подобное. «Любезный, милый аббат!» – говорили дамы, садясь за карты.

В мире все подвержено перемене – и вдруг веселый, забавный аббат стал задумчив, печален, молчалив. В собраниях являлся он так же часто, как и прежде, но роль играл совсем иную. Напрасно дамы хотели ввести его в разговор: ответы его были коротки, улыбки принужденны. «Что сделалось с нашим аббатом?» – говорили все знакомые с удивлением. Некоторые из приятельниц старались проникнуть в тайну; однако ж все опыты были безуспешны. Например: «С некоторого времени вы печальны, господин аббат». – «Я, сударыня? Может быть». – «Друзья ваши берут участие в вашей горести, хотя и не знают причины ее». – «Мне им сказать нечего». – «Позвольте в этом сомневаться». – «Как вам угодно...» – Одним словом, аббат молчал, и дамы наконец его оставили. Другой аббат, приехавший из Парижа, занял их своею любезностию.

В сие время я узнал Н*. Ему было за сорок лет; однако ж по свежести лица, которая и от самой печали не увяла, всякий бы почел его тридцатипятилетним человеком. Вид был сумрачен и важен; глаза томны – но в них блистали еще искры душевного огня. Несколько раз встречался я с ним в уединенных своих прогулках; несколько раз находил его сидящего под каштановыми деревьями на пригорке, откуда с правой стороны видны снежные Савойские горы, прямо – Женевское озеро, а с левой – синяя гора Юра, которая простирается до самого Базеля. Ему, конечно, место сие было так же любезно, как и мне. Задумчив, углублен в самого себя, смотрел он на увядающий дерн – уже приближалась зима – или на тихое озеро. Иногда садился я подле него и думал о друзьях своих. Оба мы думали и молчали.

Секретарь посольства, проснувшись однажды в три часа за полночь, увидел огонь в комнате у аббата, которая от его комнаты отделялась одною перегородкою с стеклянною дверью. Ему захотелось узнать, что делает аббат... Он подошел к двери и увидел его стоящего на коленях перед распятием. Руки его были простерты к предмету, им обожаемому; сердечное умиление изображалось на его лице, блестящие слезы катились из глаз. Молодой секретарь никогда не был набожен, но в сию минуту

почувствовал благоговение и стоял неподвижно. Через несколько минут аббат встал, сел и начал писать. Секретарь лег опять на постель, но не мог заснуть. Свеча горела у аббата до самого утра. В девять часов вышел он из своей комнаты. Глаза его были красны, лицо бледно; впрочем, неприметно было в нем никакого беспокойства. Секретарь спросил у него, покойно ли он спал. «Очень покойно», – отвечал аббат и предложил ему идти прогуливаться. Они вышли на *Трель*, ходили взад и вперед около часа и разговаривали о погоде и тому подобном. День был праздничный, и аббату в десять часов надлежало служить обедню. Службу отправлял он с отменным усердием; после чего, не сказав ни слова, скрылся. Настал час обеда. Аббат не возвращался; настал час ужина, аббат не возвращался; прошла ночь, и его все еще не было дома. Поутру секретарь уведомил о том резидента. Послали спрашивать к знакомым, но никто не видал его. Послали наконец спросить о нем в караульнях. Часовой у Швейцарских ворот сказал, что аббат накануне в первом часу пополудни вышел из города. Спрашивали в окрестностях, но более не могли о нем ничего сведать. Все пожитки его и кошелек с луидорами остались в его комнате. «Аббат пропал!» – говорили в городе и наконец позабыли аббата. У него не было друзей! Он не имел того, что я имею!

Там, где дикая Арва сливается с зеленою Роною, прогуливались два чужестранца и разговаривали о жизни человеческой. «Быстро, быстро течет она!» – сказал один из них, взглянул на стремительную Рону и увидел – несущееся тело; большой камень остановил его.

Тело вытащили и узнали несчастный жребий аббата. Два месяца лежал он в воде. Глаз было совсем не видно; синее, размокшее лицо устрашало взоры чувствительного. В одном кармане нашли у него муфту, в другом – черную его мантию.

Труп погребли в первом французском селении, верстах в трех от Женевы, без всякого обряда. Нет камня на могиле его – нет надписи. Страшливое суеверие бежит от сего места. «Тут лежит погибший», – говорят поселяне.

Причина, для чего аббат возненавидел жизнь, по сие время неизвестна.

Женева, 28 февраля 1790

Не знаю, что думать о вашем молчании, любезнейшие друзья мои! С нетерпением ожидаю почты – она приходит – бегу, спрашиваю – и тихими шагами возвращаюсь домой, повеся голову, смотря в землю и не видя ничего. Все представляю себе – и возможности устрашают меня. Ах! Если вас не будет на свете, то связь моя с отечеством перервется – я пойду искать

какой-нибудь пустыни во глубине Альпийских гор и там, среди печальных и ужасных предметов природы, в вечном унынии проведу жизнь мою.

Но, может быть, вы живы и благополучны; может быть, письма ваши как-нибудь пропадают – вот моя надежда, мое утешение! Сумрак и ясность, ненастье и ведро сменяются теперь в душе моей, подобно как в непостоянном апреле. – В самом печальном расположении принялся я за перо; теперь мне лучше.

Через три дни, друзья мои, выеду из Женевы. Главное мое упражнение состоит теперь в том, чтобы рассматривать ландкарту и сочинять план путешествия. Мне хочется пробраться в Южную Францию и видеть прекрасные страны Лангедока и Прованса; но как я не думаю пробыть там долго, то вы должны писать ко мне в Париж, под адресом: «A Messieurs Breguet et Compagnie, Quai des Morfondus, pour remettre à Mr. NN». Если же по отъезде моем получены будут в Женеве от вас письма, то г. Бьенц, любезный знакомец мой, перешлет их ко мне.

Живучи здесь, я часто досадовал на женеvцев и несколько раз хотел описать характер их самыми несветлыми красками, но теперь, на прощанье, не могу сказать о них ничего худого. Сердце мое помирилось с ними, и я желаю им всякого добра. Пусть цветет маленькая область их под тенью Юры и Салева! Да наслаждаются они плодами своего трудолюбия, искусства и промышленности! Да рассуждают спокойно в *серклях* своих о происшествиях мира и пусть дамы их загадывают загадки глухим баронам! Пусть все европейцы с севера и юга приезжают к ним на вечеринки играть в вист по гривне партию и пить чай и кофе! Да будет их республика многие, многие лета прекрасною игрушкой на земном шаре.

Ныне поутру вышел я из города в глубокой задумчивости. Но мало-помалу меланхолические мысли рассеялись; взоры мои, устремленные на величественное озеро, тихо плавали на прозрачных зыбях его. Мне стало так легко, так хорошо! Воздух был такой теплый, такой чистый! На деревьях порхали птички, махали крылышками и после зимнего молчания запевали радостные песни на ветвях, еще не одетых листьями. Дыхание весны возбуждало жизнь и деятельность в природе.

Наконец в последний раз я был у Боннета и, говоря с ним искренно, открыл ему свое горе. Он сожалел обо мне, утешал меня – голос и глаза его показывали, что это сожаление, это утешение было непритворное. – Обещанные примечания к «Contemplation»^[248] я получил. Беккер (который, к великому моему удовольствию, едет вместе со мною) велел мне спросить у Боннета, когда он позволит ему проститься с ним? «Он ваш приятель, – отвечал любезный старик, – итак, во всякое время я буду рад ему». Какая

душа! И как мне забыть его приветливость, его ласки! – Слезы не удержались в глазах моих, когда мне надлежало с ним простаться. «Живите, – сказал я, – живите для блага человечества!» Он обнял меня – желал мне счастья, желал, чтобы вы, друзья мои, были здоровы и чтобы я скоро получил от вас письма. Милый, милый Боннет! Философ с чувством! – Я затворил за собою дверь его кабинета, но он вышел и кричал мне вслед: «Adieu, cher K..., adieu!» – Боннет дал мне два адреса в Лион, к гг. Жилиберту и де ла Турету, директору и секретарю академии.

Целый вечер бродил я по женеvским окрестностям и прощался с любезнейшими мне местами. На высоком берегу шумящей Роны, там, где впадает в нее Арва и где с крутой скалы низвергается пенистый ручей, просиживал я часто до самой ночи; оттуда взглянул ныне в последний раз на тихое прекрасное озеро, на Савойскую долину, на горы и пригорки – вспомнил, где что думал, где что чувствовал – и едва не забыл того времени, в которое запираются городские ворота. – Простите, друзья мои! Если вы здоровы, то я доволен судьбою и, получив от вас письмо, забуду все теперешнее горе! Простите! – Вот последняя строка из Женевы! – *Марта 1.*

Горная деревенька в Pays de Gez Марта 4, 1790, в полночь

Ныне после обеда поехали мы из Женевы, в двухместной английской карете, которую нанял я до самого Лиона за четыре луидора с талером, и по гладкой прекрасной дороге приблизились к Юре. Вся грусть моя исчезла; тихое веселье – неописанное, сладкое удовольствие заступило место ее в моем сердце. Никогда еще не путешествовал я так приятно, с такою удобностию. Добрый товарищ, покойная карета, услужливый извозчик, перемена места – мысль о том, что скоро увижу, – все это привело меня в самое счастливейшее расположение, и каждый новый предмет оживлял мою радость. Беккер был так же весел, как и я; кучер наш был так же весел, как и мы. Прекрасный выезд!

Там, где гора Юра за несколько тысячелетий перед сим расступилась на своем основании, с таким треском, от которого, может быть, Альпы, Апеннин и Пиренеи задрожали, въехали мы во Францию при страшном северном ветре и были встречены осмoтpщиками, которые с величайшею учтивостию сказали, что им должно видеть наши вещи. Я отдал Беккеру ключ от моего чемодана и пошел в корчму. Там перед камином сидели монтаньяры, или *горные жители*. Они взглянули на меня гордо и оборотились опять к огню, но, услышав приветствие мое: «Bonjour, mes amis!» («Здравствуйте, друзья!»), приподняли свои шляпы, раздвинулись и

дали мне место подле огня. Важный вид их заставил меня думать, что люди, живущие между скал, на пустых утесах, под шумом ветров, не могут иметь веселого характера; мрачное уныние будет всегда их свойством – ибо душа человека есть зеркало окружающих его предметов.

Эта пограничная корчма есть живой образ бедности. Вместо крыльца служат два дикие камня, один на другой положенные и на которые должно взбираться, как на альпийскую гору; внутри нет ничего, кроме голых стен, превеликого стола и десяти или двенадцати толстых отрубков или чурбанов, называемых стульями; пол кирпичный – но он почти весь выломан. – Через несколько минут пришел Беккер и начал говорить со мною по-немецки. Старик, который сидел за столом и ел хлеб с сыром, протянул уши, улыбнулся и сказал: «Даичь! Даичь!», давая нам разуместь, что он знает, каким языком мы говорим между собою. «Не удивляйтесь, – продолжал старик, – я служил несколько кампаний в Немецкой земле и в Нидерландах, под начальством храброго саксонского маршала. Вы, конечно, слышали о сражении при Фонтенуа: там ранили меня в левую руку. Смотрите – я не могу поднять ее выше этого». – «Почтенный воин! – сказал я, подошедши к нему и взяв его за правую руку. – Дозволь мне посмотреть на тебя». – Инвалид усмехнулся. «Давно ли ты в отставке, добрый старик?» – спросил Беккер. – «Тридцать лет, – отвечал он, – много времени! не правда ли, барин? Мой фельдмаршал давно лежит в земле». – «Мы видели гроб его». – «Вы видели гроб его? Где?» – «В Стразбурге, мой друг». – «В Стразбурге? Это далеко отсюда; я не дойду туда – а мне хотелось бы поклониться его праху. Он был герой, государи мои, – генерал, каких ныне уже нет и быть не может. Солдаты любили в нем отца. Я, как теперь, смотрю на него: какой взор! Какой голос! В день нашей победы его возили на тележке – жестокая болезнь не позволяла ему сесть на лошадь, – однако ж он повелевал, ободрял, и мы дрались, как львы, как отчаянные. Я забыл рану мою и тогда уже упал на землю, когда вся наша армия в один голос воскликнула победу и когда неприятели бежали от нас, как робкие зайцы. Какой день! Какой день!» – Старик поднял вверх голову, и более двадцати лет свалилось в одну минуту с плеч его; число морщин на ветхом лице уменьшилось; тусклые глаза стали светлее, и осьмидесятилетний воин с толстою своею клюкою готов был маршировать против всех соединенных армий Европы. Я спросил вина, налил ему рюмку и сказал: «Здоровье храбрых, заслуженных ветеранов!» – «И молодых путешественников!» – примолвил старик с улыбкою и выпил до дна. – Мы узнали от него, что он живет у своего внука в одной из горных деревень, ходил в гости к другому внуку и зашел в корчму отдохнуть. Между тем нам должно было ехать. Я

хотел было дать ему экую, но побоялся оскорбить благородную гордость старого героя. Он проводил нас до крыльца и кричал осмотрщикам: «Я надеюсь, государи мои, что вы были учтивы против иностранных господ!» – «Конечно!» – отвечали они со смехом и пожелали нам счастливого пути, не требуя с нас ни копейки.

Мы долго ехали отверстием Юры, которая с обеих сторон дороги возвышалась, как гранитная стена, – и на сих страшных утесах, над головами нашими, по узеньким тропинкам ходили люди, согнувшись под тяжелыми ношами или гоня перед собою навьюченных ослов. Нельзя без ужаса смотреть на них; кажется, что они всякую секунду готовы упасть. – Нас остановили в первой французской крепости, Фор де л'Екюз, которую можно назвать неприступною, потому что со всех сторон ограждают ее неизмеримые пропасти и крутизны. Сто человек могут защитить эту крепость против десяти тысяч неприятелей. Тамошний гарнизон состоит из ста пятидесяти инвалидов, под командою старого майора, который должен был подписать имя свое на пропуске нашем. Я позабыл сказать вам, что мне дали в Женеве паспорт – следующего содержания:

«Nous Syndics et Conseil de la Ville et Republique de Genève, certifions à tous ceux qu'il appartiendra que Monsieur K. agé de 24 ans, Gentilhomme Russe, lequel allant voyager en France, afin qu'en son Voyage il ne lui soit fait aucun déplaisir, ni moleste. Nous prions, et affectueusement requerons, tous ceux qu'il appartiendra, et auxquels il s'adressera, de lui donner libre et assuré passage dans les Lieux de leur Obéissance, sans lui faire, ni permettre être fait, aucun trouble ni empêchement, mais lui donner toute l'aide et l'assistance qu'ils desireroient de nous, envers ceux qui leur part nous seroient recommandes. Nous offrons de faire le semblable toutes les fois que nous en serons requis. En foi de quoi nous avons donné les Présentes sous notre Sceau et Seing de notre Secretaire, ce premier Mars Mil sept cent quatrevingt dix.

Par mesdits seigneurs syndics et conseil

Puerari». [{29}](#)

Итак, если кто-нибудь оскорбит меня во Франции, то я имею право принести жалобу Женевской республике и она должна за меня вступиться! Но не думайте, чтобы *великолепные* синдики из отменной благосклонности дали мне эту грамоту: всякий может получить такой паспорт. —

Ночью приехали мы к тому месту, которое называется la perte du Rhone, вышли из кареты и хотели спуститься на берег реки, но добросердечный извозчик не пустил нас, уверяя, что один несчастливый шаг может стоить нам жизни. Недалеко от дороги светился огонь. Мы

нашли там маленький домик и постучались у ворот. Через минуту явилось шесть или семь человек, которые, услышав, что нам надобно, взяли фонари и повели или, лучше сказать, понесли нас вниз по каменному утесу. При слабом свете фонарей видели мы везде страшную дичь. Ветер шумел, река шумела – и все вместе составляло нечто весьма оссианское. С обеих сторон ряды огромных камней сжимают Рону, которая течет с ужасною быстротою и с ревом. Наконец сии навислые стены сходятся, и река совершенно скрывается под ними; слышен только шум ее подземного течения. По камням, образующим над нею высокий свод, можно ходить без всякой опасности. В нескольких саженях оттуда она опять вытекает с клубящеюся пеною, мало-помалу расширяется, стремится уже не так быстро и светлеет между берегов своих. – Тут пробыли мы около сорока минут и возвратились к карете, заплатив гривен шесть нашим провожатым. ^[249]

Проехав еще версты четыре, остановились мы ночевать в одной маленькой деревеньке. В трактире отвели нам очень хорошую и чисто прибранную комнату; развели в камине огонь, через час приготовили ужин, состоявший из шести или семи блюд с десертом. Внизу веселились горные жители и пели простые свои песни, которые, соединяясь с шумом ветра, приводили душу мою в уныние. Я вслушивался в мелодии и находил в них нечто сходное с нашими народными песнями, столь для меня трогательными. Пойте, горные друзья мои, пойте и приятностию гармонии улаждайте житейские горести! Ибо и вы имеете печали, от которых бедный человек ни за какую горою, ни за какую пропастью укрыться не может. И в вашей дикой стороне друг оплакивает друга, любовник – любовницу. – Трактирщица рассказала нам следующий анекдот.

Все девушки здешней деревни заглядывались на любезного Жана; все молодые люди засматривались на милую Лизету. Жан с самого младенчества любил одну Лизету, Лизета любила одного Жана. Родители их одобряли сию взаимную нежную склонность, и счастливые любовники надеялись уже скоро соединиться навеки. В один день, гуляя по горам вместе с другими молодыми людьми, пришли они на край ужасной стремнины. Жан схватил Лизету за руку и сказал ей: «Удалимся! Страшно!» – «Робкий!» – отвечала она с усмешкою. – Не стыдно ли тебе бояться? Земля тверда под ногами. Я хочу заглянуть туда», – сказала, вырвалась у него из рук, приблизилась к пропасти, и в самую ту минуту камни под ее ногами покатались. Она ахнула – хотела схватиться, но не успела – гора трещала – все валилось – несчастная низверглась в бездну – и погибла! – Жан хотел броситься за нею – ноги его подкосились – он упал без чувств на землю. Товарищи его побледнели от ужаса – кричали: «Жан!

Жан!», но Жан не откликнулся; толкали его, но он молчал; приложили руку к сердцу – оно не билось – Жан умер! Лизету вытащили из пропасти; черепа не было на голове ее; лицо... Но сердце мое содрогается... – Отец Жанов пошел в монахи. Мать Лизетина умерла с горести.

6 марта 1790

В пять часов утра выехали мы вчера из горной деревеньки. Страшный ветер грозил беспрестанно опрокинуть нашу карету. Со всех сторон окружали нас пропасти, из которых каждая напоминала мне Лизету и Жана, – пропасти, в которые нельзя смотреть без ужаса. Но я смотрел в них и в этом ужасе находил некоторое неизъяснимое удовольствие, которое надобно приписать особливому расположению души моей. Жерло всякой бездны *обсажено* острыми камнями, а во глубине или внизу нередко видна прекрасная мурава, орошаемая каскадами. Дерзкие козы спускаются туда и щиплют зелень. В иных местах на вершине скал зарастают травой печальные остатки древних рыцарских замков, бывших в свое время неприступными. Там богиня Меланхолия во мшистой своей мантии сидит безмолвно на развалинах и неподвижными очами смотрит на течение веков, которые один за другим мелькают в вечность, оставляя едва приметную тень на земном шаре. – Такие мысли, такие образы представлялись душе моей – и я по целым часам сидел в задумчивости, не говоря ни слова с моим Беккером.

Дорога в сих диких местах так широка, что две кареты могут свободно разъехаться. Надлежало рассекать целые каменные горы, для того чтобы провести ее: подумайте об ужасном труде и миллионах, которых она стоила! Таким образом, трудолюбие и политическое просвещение народов торжествует, так сказать, над естеством, и гранитные преграды, как прах, рассыпаются под секирою всемогущего человека, который за безднами и за горами ищет подобных себе нравственных существ, чтобы с гордою улыбкою сказать им: «И я живу на свете!»^[250]

Наконец мне душно стало в карете – я ушел пешком далеко, далеко вперед и в лесу встретил четырех молодых женщин, которые все были в зеленых амазонских платьях, в черных шляпах; все белокурые и прекрасные лицом. Я остановился и смотрел на них с удивлением. Они также взглянули на меня, и одна из них сказала с лукавою усмешкою: «Берегите свою шляпу, государь мой! Ветер может унести ее». Тут я вспомнил, что мне надлежало снять шляпу и поклониться красавицам. Они засмеялись и прошли мимо. – Это были путешествующие англичанки: четвероместная карета ехала за ними. Впрочем, нам встречалось не много

проезжих.

Вчера ввечеру спустились мы в пространные равнины. Я почувствовал некоторую радость. Долго представлялись глазам моим необозримые цепи высоких гор, и вид плоской земли был для меня нов. Я вспомнил Россию, любезное Отечество, и мне казалось, что она уже недалеко. «Так лежат поля наши, – думал я, предавшись сему мечтательному чувству, – так лежат поля наши, когда весеннее солнце растопляет снежную одежду их и оживляет озими, надежду текущего года!» – Вечер был прекрасный; умолкли горные ветры; приятная теплота разливалась в лучах заходящего светила. Но вдруг пришло мне на мысль, что друзей моих, может быть, нет на свете – прощайте, все приятные чувства! Я желал возвратиться на горы и слушать шум ветра. —

В самых диких местах, в самых беднейших деревеньках находили мы хорошие трактиры, сытный стол и чистую комнату с камином. За обед обыкновенно брали с нас двоих семьдесят су (около рубля двадцати копеек), а за ужин и ночлег – восемьдесят или восемьдесят пять су, что составит на наши деньги рубли полтора. Две вещи отменные приметил я во французских *обержах*: первое, что в ужин не подают супа, следовательно – *op soupe sans soupe*; второе, что на столе кладут только ложки с вилками, предполагая, что у всякого путешественника есть свой нож. – Нигде не видал я таких мерзостных надписей, как в сих трактирах. «Для чего вы их не стираете?» – спросил я однажды у хозяйки. «Мне не случилось взглянуть на них, – отвечала она, – кто станет читать такой вздор?»

В одном маленьком местечке нашли мы великое стечение народа. «Что у вас делается?» – спросил я. – «Сосед наш Андрей, – отвечала мне молодая женщина, – содержатель трактира под вывескою „Креста“, сказал вчера в пьянстве *перед целым светом*, что он плюет на *нацию*. Все патриоты взволновались и хотели его повесить, однако ж наконец умилоstinивились, дали ему проспаться и принудили его ныне публично в церкви на коленях просить прощения у милосердного господа. Жаль мне бедного Андрея!»

Лион, 9 марта 1790

За две мили открылся нам Лион. Рона, которая снова явилась подле дороги, и в обширнейшем течении, вела нас к сему первоклассному французскому городу, отделяя Брес от Дофине, одной из пространнейших французских провинций, которую вдаль венчают покрытые снегом горы, отрасли Савойских гигантов. – Издали казался Лион не так велик, каков он в самом деле. Пять или шесть башен подымались из темной громады

зданий. – Когда мы подъехали ближе, открылась нам набережная Ронская линия, состоящая из великолепных домов в пять и шесть этажей: вид пышный! – Уворот нас остановили. Осмотрщик весьма учтиво спросил, нет ли у нас товаров, и после отрицательного ответа заглянул в каретный ящик, поклонился и отошел прочь, не дотронувшись до наших чемоданов. Мы въехали в набережную улицу – и я вспомнил берег Невы. Длинный деревянный мост перегибается через Рону, а на другой стороне реки рассеяны прекрасные летние домики, окруженные садами. Проехав мимо театра, огромного здания, остановились мы в «Hôtel de Milan».^[251] Четыре человека бросились отвязывать наши чемоданы, и в минуту все было внесено в дом, хотя нам еще не отвели комнаты. Трактирщица встретила нас с такою улыбкою, какой не видал я ни на немецких, ни на швейцарских лицах. К несчастью, все горницы были заняты, кроме одной, весьма темной. Приветливая хозяйка уверила нас, что на другой день отведет нам прекрасную. «Так и быть!» – сказали мы и оделись на скорую руку, чтобы идти в комедию. Между тем слуга, который прибирал комнату, желая украсить ее в глазах наших, уведомил нас, что в ней недавно жила чернобровая и черноглазая красавица, приехавшая из Константинополя.

В пять часов пришли мы в театр и взяли билет в партер. Ложи, паркет, раек – все было наполнено людьми. Вестрис,^[30] первый парижский танцовщик, в последний раз обещал веселить лионскую публику легкостью своих ног. Все шумело вокруг нас и над нами, как улей пчел. Необыкновенная вольность удивила меня. Если в ложе или в паркете какая-нибудь дама вставала с своего места, то из партера кричали в несколько голосов: «Садись! Прочь! А bas! А bas!» Вокруг нас было не много порядочных людей, и для того уговорил я Беккера идти в паркет; но нам сказали, что там совсем нет места, и один молодой человек провел нас в ложу третьего этажа, где нашли мы даму и знакомого нашего, барона Баельвица, гофмейстера принцев шварцбургских, которые в тот же день приехали в Лион и остановились также в «Hôtel de Milan». Дама предложила мне место подле себя, но я боялся потеснить ее и вошел в другую маленькую ложу, над самою сценою, где никого не было. Занавес поднялся; представляли комедию «Les Plaideurs».^{[252][253]} Я слышал только половину слов и не столько занимался пьесой, сколько теми людьми, которые беспрестанно приходили ко мне в ложу и опять уходили. Лишь только опустили занавес, со всех сторон высыпали на сцену актеры и актрисы в неглиже, танцовщики и танцовщицы, и проч., и проч. Одни обнимались или плясали, другие смеялись, иные кричали: «Новый

спектакль!» Вестрис в пастушьем платье прыгал, как резвая коза. Музыка снова заиграла – все театральные герои рассыпались – занавес поднялся – начался балет – Вестрис показался – рукоплескания, как гром, раздались во всех концах театра. Правду сказать, искусство сего танцовщика удивительно. Душа сидит у него в ногах, вопреки всем теориям испытателей естества человеческого, которые ищут ее в мозговых фибрах. [254] Какая фигура! Какая гибкость! Какое равновесие! Никогда не думал я, чтобы танцовщик мог доставить мне столько удовольствия! Таким образом, всякое искусство, подходящее к совершенству, приятно душе нашей! – Плеск восхищенных французов заглушал музыку. В положении страстного любовника, которого душа в томных вздохах сливается с душою любовницы, сокрылся Вестрис от глаз зрителей, поцеловал свою пастушку и бросился отдыхать на лавку. Играли еще комедию в один акт, самую пустую. Начался новый балет – Вестрис снова показался – и снова гремела хвала при каждом движении ног его. Между тем сели подле меня два человека, одетые по-дорожному. Вот разговор:

Один (оборотясь ко мне). Подле нас в ложе сидит русский?

Я (взглянув в другую ложу). Один немец, другой датчанин, третьего не знаю.

Один. По крайней мере я имею честь говорить с русским?

Я. Я русский.

Другой. Быть не может; вы француз. **Я**. Я русский.

Один. О! У вас в России живут весело. Не правда ли?

Я. Очень весело.

Один. Давно ли вы здесь?

Я. Около трех часов.

Один. Откуда вы приехали?

Я. Из Женевы.

Один. А! Прекрасный город! Что говорят там о Неккере?

Я. По большей части хвалят его.

Один. Куда вы едете? **Я**. В Париж.

Другой. В Париж? Bravo! Bravo! Мы сейчас оттуда. Что за город! А, государь мой! Какие удовольствия вас там ожидают! Удовольствия, о которых здесь, в Лионе, не имеют понятия. Вы, конечно, остановились в «Hôtel de Milan»? И мы там же. (Своему товарищу.) Mon ami, nous partons demain? («Мы завтра поедим?»)

Один. Oui.

Другой. Правда, надобны деньги...

Один. Что ты говоришь! Русские все богаты, как Крезы; они без денег

в Париж не ездят.

Другой. Как будто я не знаю этого! Правда, можно и с небольшими деньгами жить весело, быть всякий день в театре, на гульбищах.

Один. Пять-шесть тысяч ливров в месяц – по нужде довольно. Ах! Я более издерживал!

Другой. Bravo, Westris! Bravo!

Один. Прекрасно! C'est dommage qu'il soit bête. Je le connois très bien. («Жаль, что он превеликая скотина. Я его знаю».) Граф Мирабо имел дело, [255] сказывают...

Другой. С маркизом...

Один. За что?

Другой. Маркиз зацепил его за живое в Национальном собрании. (Оборотясь ко мне.) Париж вам, без сомнения, полюбится. Вы можете проживать сколько вам угодно. Что принадлежит до моего товарища, то он жил слишком пышно. Надобно признаться, что Лизета тебе дорого стоила.

Один. А! (Зажмуривается и храпит.)

Я. Откуда вы, если смею спросить?

Другой. Мы из Лангедока, жили долго в Париже и теперь возвращаемся в Монпелье.

Один (просыпаясь). Bravo, bravo, Westris! (Стучит палкою в декорацию.) Он первый танцовщик во вселенной! (Задумывается и вздыхает.) Умирая, могу сказать, что я наслаждался жизнью, все видел...

Другой. Все видел и все испытал. Примолви это, мой друг! Ха! ха! ха!

Один. Mais oui, oui! [256] Правда! – Вы, верно, знаете того русского графа, который нынешнюю зиму провел в Монпелье?

Я. Графа Б*? По слуху.

Один. Он у меня обедал в загородном доме. (Задумывается и храпит.)

Другой. Вы, право, хорошо говорите по-французски.

Я. Извините, я говорю очень худо.

Один (просыпаясь). Прекрасно! Очень хорошо!

Я. Вы очень снисходительны.

Один. Черный кафтан приличнее всего для чужестранца в Париже.

Другой. Черный шелковый. – Женщины у вас хороши? Я. Прекрасны.

Один. О! Никто не знает женщин так, как я! Мы видали немок, италиянок (помолчав), гишпанок (помолчав), турчанок (помолчав), и прочих, и прочих.

Другой. О! Ты с ними очень знаком! Ха! ха! ха!

Один. Вы приехали водою?

Я. Извините.

Один. Итак, сухим путем. А как называется тот русский город, откуда можно ехать водою в Англию?

Я. Вы говорите, конечно, о Петербурге?

Один. Да, да! Жаль только, что у вас холодно. (*Оборотясь к своему приятелю.*) Кучера отмораживают там бороды с усами. – Bravo, bravo, Вестрис! —

Между тем вошел к нам в ложу Беккер и начал говорить со мною по-немецки.

Один (*оборотясь к Беккеру*). Вы немец?

Беккер. Извините – я из Копенгагена.

Один. А! – Ваш язык сходен с немецким. Вот вы говорите: *я, мен гер?*

[257] А куда вы едете?

Беккер. В Париж – с ним. (*Указывает на меня.*)

Один. Bravo! Tant mieux! [258]

Балет кончился – занавес опустился. Паркет, ложи, партер – все в один голос закричали: «Останься здесь, Вестрис, останься здесь!» Крик продолжался несколько минут. Занавес снова поднялся. Вестрис выступил – какой скромный вид! Какая кротость во всей наружности! Какие поклоны! Шляпу держал он у сердца. Надлежало зажать уши от громкого плеска. Вестрис остановился. Вдруг все умолкло – можно было слышать работу кузнечика.

Вестрис. Только на месяц позволено мне отлучиться из Парижа: месяц проходит, и мне надлежало ныне ехать; но...

Здесь голос его перервался; он поднял глаза вверх, стараясь собрать силы. Страшное рукоплескание! Но вдруг опять все умолкло.

Вестрис. В знак благодарности за то благоволение, которого вы меня удостоиваете, я буду танцевать еще завтра. – Шумящее *bravo* соединилось со всеобщим плеском – изанавес закрылся. Энтузиазм был так велик, что в сию минуту легкие французы могли бы, думаю, провозгласить Вестриса диктатором!

Учтивые господа, с которыми имел я вышеописанный разговор, пожелали мне счастливого пути и обещали сыскать меня в Париже через месяц. Пришедши в свою комнату, сели мы с Беккером перед камином (в котором дубовые дрова пылали) и с некоторым родом восхищения разговаривали о французской учтивости.

На другой день отвели нам две небольшие веселые комнаты, окнами на место de Terreaux перед ратушею, где беспрестанно бывает множество

людей, кроме множества торговков, продающих яблоки, апельсины, померанцы и разные безделки. Одевшись, пошли мы бродить по городу.

Улицы вообще все узки, кроме двух или трех посредственных. Набережная Соны очень хороша. Вода в сей реке так же зелена, как и в Роне, но гораздо мутнее. Беспрестанно кричали нам женщины, которые здесь отправляют должность перевозчиков: «Не хотите ли переехать через реку?», хотя мостов много и один от другого недалеко. Большая и лучшая часть города лежит между рек. За Соною подымается высокая гора, на вершине которой построены монастыри и несколько домов. Вид с сей горы есть один из прекраснейших. Весь город перед глазами – не маленький городок, но один из величайших в Европе. Снежные Савойские горы (из-за которых в ясную погоду выглядывает трехглавый Монблан, наш женеvский знакомец) с цепию Дофинских простираются амфитеатром, ограничивая область зрения. Обширные зеленые равнины по ту сторону Роны, принадлежащие к Дофине, – равнины, где уже оперяется весна, отменно милостивы. Там идет дорога в Лангедок и Прованс, счастливые цветущие страны, где чистый воздух в весенние и летние месяцы бывает напичкан ароматами и где теперь благоухают ландыши! – Среди большой площади, украшаемой густыми аллеями и со всех сторон окруженной великолепными домами, стоит на мраморном подножии бронзовая статуя Лудовика XIV, такой же величины, как монумент нашего российского Петра, хотя сии два героя были весьма неравны в великости духа и дел своих. Подданные прославили Лудовика, Петр прославил своих подданных – первый *отчасти* способствовал успехам просвещения, второй, как лучезарный бог света, явился на горизонте человечества и осветил глубокую тьму вокруг себя – в правление первого тысячи трудолюбивых французов принуждены были оставить отечество, второй привлек в свое государство искусных и полезных чужеземцев – первого уважаю как сильного царя; второго почитаю как великого мужа, как героя, как благодетеля человечества, как моего собственного благодетеля. ^[31] При сем случае скажу, что мысль поставить статую Петра Великого на диком камне ^[259] есть для меня прекрасная, несравненная мысль – ибо сей камень служит разительным образом того состояния России, в котором была она до времен своего преобразователя. Не менее нравится мне и краткая, сильная, многозначущая надпись: **Петру Первому – Екатерина Вторая**. Что написано на монументе французского короля, я не читал.

В час возвратились мы обедать. Более тридцати человек сидело за столом. Всякий брал что хотел. Счастлив, перед кем стояли лучшие блюда!

Но стол был очень изобилен.

После обеда пошел я с письмом к Маттисону, немецкому стихотворцу, который воспитывает детей одного здешнего банкира. «Ах! Вы говорите по-немецки; вы любите немецкую литературу; немецкое прямодушие!» С сими словами бросился он обнимать меня. Но я еще более обрадовался его знакомству, нежели он моему; в Германии не могло бы оно быть для меня так приятно, как во Франции, где я не ищу искренности, не ищу симпатического сердца – не ищу для того, что найти не надеюсь. С милою поспешностью выхватил он из ящика свои бумаги и прочел мне три пиесы, им недавно сочиненные. Я слушал его с непритворным довольствием. Нежная кротость, живые чувства, чистота языка составляют красоту его песней. Он вдруг остановился, взглянул на меня, засмеялся и сказал: «Не правда ли, что я поспешил представить вам мою музу? Ах! Бедная по сие время не имела никакого знакомства в Лионе!» – Я также засмеялся и пожал его руку, уверяя, что музу его люблю сердечно. – От него пошел в комедию. Играли Руссова «Деревенского колдуна».^[260] С живейшим удовольствием слушал я музыку сей прекрасной оперы. Парижские дамы были правы, говоря, что автору ее надлежало быть весьма чувствительну!.. Я воображал его, как он, в бороде и в непричесанном парике,^[261] сидел в ложе Фонтенеблоского театра во время первого представления оперы своей, укрываясь от взоров восхищенной публики. – В балете снова удивлялись мы искусству Вестрисову. Лишь только занавес начал опускаться, все закричали: «Вестрис! Вестрис!» Занавес опять подняли – утомленный танцовщик выступил при звуке рукоплесканий с тем же скромным видом, с теми же смиренными ужимками, как и вчера! Казалось, будто он ожидал суда, хотя решительное определение публики гремело во всех концах театра. Шум в секунду утих – Вестрис стоял как вкопанный и молчал – голос нетерпения раздался – публика ожидала речи, забыв, что танцовщик не есть ритор. В сию минуту Вестрис мог быть освистан. Опять все умолкло. Танцовщик собрался с силами и сказал: «Messieurs! Je suis penetré de vos bontés – mon devoir m'appelle à Paris». («Милостивые государи! я чувствую вашу благосклонность; должность отзывает меня в Париж».) Довольно для публики! Рукоплескание и *браво!* – Вестрис доволен Лионом со всех сторон: искусство его награждено здесь хвалою и деньгами. Я встречался с ним несколько раз на улице. «Вестрис! Вестрис!» – кричали люди, и всякий указывал на него пальцем. Итак, легкость ног есть добродетель почтенная! Что принадлежит до денежной награды, то за всякое представление получал он пятьсот двадцать ливров. Теперь

ужинают у него все здешние комедианты (он живет в «Hôtel de Milan») и так шумят, что я не надеюсь заснуть.

Ныне поутру Маттисон водил нас к одному ваятелю, который в Италии образовал свой резец по моделям древних художников. Он принял нас учтиво и показывал статуи, весьма искусно выработанные. Живописцу, ваятелю так же нужно воображение, как и поэту: лионский художник имеет его. Он делает теперь заказную статую, которую один молодой супруг готовит в подарок супруге своей, счастливой матери любезного младенца, приближающегося к возрасту отрока. Художник представил прекрасного мальчика, спящего кротким сном невинности под надежным щитом Минервы, изображенной по мысли греческих художников с отменным искусством; внизу виден образ Улиссов. – «Ныне мало работаю, – сказал он, – будучи принужден (здесь он вздохнул) часто вооружаться и ходить на караул, так, как и все прочие граждане.^[262] Вид недоделанных статуй приводит меня в уныние.^[32] Ах, государи мои! Вы не можете войти в чувства художника, отвлекаемого от работы!» – «Ты истинный художник!» – думал я... – Мы пошли в гошпиталь, огромное здание на берегу Роны. В первой зале, куда нас ввели, стояло около двухсот постель в несколько рядов – о! какое зрелище! Сердце мое трепетало. На одном лице видел я изнеможение всех сил, томную слабость; на другом – яростный приступ смерти, напряженный отпор жизни; на ином – победу первой – жизнь удалялась и вылетала на крыльях вздохов. Здесь-то надобно собирать черты для картин страждущего человечества, прибирая тени к теням. Но какое упражнение! Кто вынесет весь ужас его! – Между смертью и болезнью попадалось в глаза и томно-радостное выздоровление. Бледные младенцы играли цветами – чувство к красотам природы возобновилось в сердцах их! Старец, подымаясь с одра, подымал глаза на небо или обращал их вокруг себя. «Итак, я еще буду жить!» – говорили радостные глаза его. – «Я еще буду наслаждаться жизнью!» – говорили веселые взоры выздоравливающего мужа и юноши. Какая смесь чувств! Как грудь моя могла вмещать их! – Таким образом переходили мы из залы в залу. В каждой заключается особый род болезни: в одной лежат чахотные, в другой – изувеченные, в третьей – родильницы, и так далее. Везде удивительная чистота, везде свежий воздух. Присмотр за больными также достоин хвалы всякого друга человечества – и где можно расточать ее с живейшим удовольствием? Милосердие! Сострадание! Святые добродетели! Так называемые жалостливые сестры^[263] служат в сем доме плача, и чувство доброго дела есть их награда. Иные стоят на коленях и

молятся, другие обхаживают больных, подают им лекарства, пищу. Некоторые из сих добродетельных монахинь весьма молоды; кротость сияет на их лицах. В середине каждой залы стоит оltарь; тут всякий день служат обедню. «Вот комната, – сказал нам провожатый, указывая на дверь, – за которую надобно платить в день двенадцать ливров, с лекарствами, с пищею и услугою; но она пуста». – «А что платят бедные?» – «Десять су в день за все, и двадцать, кто хочет иметь постелю с занавесом». – «Что здесь?» – спросил я, указывая на маленькую часовню в углу двора. «Посмотрите», – ответил вожатый – и четыре гроба, покрытые черным полотном, встретили взор мой. «Всякий день, – говорил он, – умирает здесь несколько человек. Ныне, слава богу! умерло только четверо. К вечеру их вывезут». – Ясужасом отворотился от сего мрачного жилища смерти. – «Теперь поведу вас в кухню». – «Кстати!» – думал я, однако ж пошел за ним. Там, в превеликой зале со многими печами, кипели котлы, лежали целые быки и телята. «И это все в нынешний день будет съедено?» – спросил я. «Тысяча больных, – отвечал он, – ест по крайней мере за пятьсот здоровых. Я не считаю множества лекарей и духовных, которые здесь живут. Вот их столовая». – Мы вошли в большую комнату, загроможденную столами. Час обеда еще не пришел, но некоторые из почтенных духовников наполняли свои желудки мясом и пирогами: они завтракали. – «Всё ли?» – спросил я, выходя из залы. – «Посмотрите сюда. Здесь за железными решетками содержатся безумные». – Один из сих несчастных сидел на галерее за маленьким столиком, на котором стояла чернилица. Бумагу и перо держал он в руке, в глубокой задумчивости облокотясь на столик. – «Это – философ, – сказал с усмешкою провожатый, – бумага и чернилица ему дороже хлеба». – «А что он пишет?» – «Кто знает! Какие-нибудь бредни; но на что лишать его такого безвредного удовольствия?» – «Правда, правда! – сказал я со вздохом. – На что лишать его безвредного удовольствия!» – Мы возвратились к обеду в «Hôtel de Milan».

Лион, марта... 1790

Ныне после обеда был я в огромной картезианской церкви,^[264] и провожатый мой с великою важностию рассказал мне о тех чудесах, которые служили поводом к основанию сего строжайшего из монашеских орденов. В 1080 году – неизвестно, в каком городе, – погребали мертвого. В ту самую минуту, когда священник читал последнюю молитву о вечном успокоении души его, умерший поднял голову и закричал страшным голосом: «Небесное правосудие обвиняет меня!» Священник затрепетал, но

через несколько минут собрался с духом и хотел дочитать свою молитву. Тут вдруг раздался в церкви сильный шум и треск – гроб затрясся, свечи погасли, и мертвый еще страшнейшим голосом закричал: «Небесное правосудие осуждает меня!» Бруно, кельнский уроженец, будучи свидетелем сего ужасного чуда, тотчас решил оставить свет и вместе с некоторыми из друзей своих (летописи говорят – с шестью) пошел к гренобльскому епископу, упал к ногам его и требовал, чтобы он отвел им какое-нибудь уединенное место, где бы они могли провести жизнь свою в благочестии и в спасительных умозрениях. Епископ за день перед тем, отдыхая после обеда на мягком пуховике, видел во сне, что белое облако спустилось с неба на зеленый луг подле монастырского сада и что на том самом месте выскочили из земли семь звезд. Будучи уверен, что сии семь звезд означали семь пришедших к нему странников, отвел он набожному Бруно и его друзьям упомянутый луг, на котором они через некоторое время построили монастырь – и этот монастырь был первый картезианский. – С великим любопытством расспрашивал я проводника моего о всех подробностях жизни сих затворников. Законы ордена обязывают их не выходить из монастыря, удаляться от сообщения с людьми и наблюдать вечное мертвое молчание. Дни проводят они в чтении, или работают в саду, или сидят, поджав руки, с нетерпением дожидаясь обеда, который составляет главное удовольствие их печального братства. В пять часов после обеда они ложатся спать, в девять встают, часа через два опять ложатся спать, и так далее. Странная жизнь! Учредители сего ордена худо знали нравственность человека, *образованную*, так сказать, для деятельности, без которой не найдем мы ни спокойствия, ни наслаждения, ни счастья. Уединение приятно тогда, когда оно есть отдых, но беспрестанное уединение есть путь к ничтожеству. Сначала душа наша бунтует против сего заключения, противного ее натуре; чувство *недостатка* (ибо человек сам по себе есть фрагмент или отрывок: только с подобными ему существами и природою составляет он целое), – чувство недостатка мучит ее; наконец, все благородные побуждения в сердце нашем усыпают, и человек с первой степени земного творения ниспадает во сферу бездушных тварей.

Я стоял среди церкви и смотрел на множество оларей, на которых блистало серебро и золото. Вечер приближался; все вокруг меня начинало меркнуть, все было тихо – вдруг растворились двери, и печальные братья молчания, в белых платьях, явились глазам моим; потупив в землю взор свой, медленно, друг за другом, шли они к главному жертвеннику и, проходя мимо висящего в церкви колокола, ударяли в него слабою рукою;

унылый звон раздавался под мрачными сводами, и мысль о смерти живо представилась душе моей. Я вышел из храма – увидел заходящее солнце, и сердце мое утешилось.

Я люблю остатки древностей; люблю знаки минувших столетий. Вышедши из города, удивлялся я ныне памятникам гордых римлян, развалинам славных их водоводов. Толстая стена с аркадами, в несколько аршин вышиною, складена из маленьких камешков, *вдавленных*, так сказать, в густую известь, удивительно твердую, так что ее ничем разбить нельзя, и в сей стене проведены были трубы. Римляне хотели жить в памяти потомства и сооружали такие здания, которых не могли разрушать целые веки. В нынешние философские времена не так думают; мы исчисляем дни свои, и предел их есть предел всех наших желаний и намерений; далее не простираем взора, и никто не хочет садить дуба без надежды отдохнуть в тени его. Древние покачали бы головою, если бы они теперь воскресли и услышали мудрые наши рассуждения; а мы, мы смеемся над мечтами древних и над странным их славолюбием!

Оттуда пошел я в римские бани, принадлежащие ныне к женскому монастырю. Проходя мимо стены монастырского сада и келий, я чуть было не упал в обморок от мефитического^[265] воздуха, который тут спирается. Изрядное уважение к древностям! Вместо того чтобы путь к ним усыпать цветами, почтенные сестры льют туда из окон своих всякую нечистоту! Итак, господа французы, вы не должны бранить азиатских варваров, которыми великолепные храмы древности превращаются в хлевы! – Здание невелико и состоит из коридоров, в которые свет проходил через окна, сделанные вверху на сводах. «Здесь-то нежились роскошные римляне! – думал я. – Здесь-то какая-нибудь римская красавица, окруженная толпою невольниц, мылась ключевым кристаллом в то самое время, когда прекрасный юноша, плененный ее красотой, издалека преселялся своим воображением в сии стены и желал быть счастливым божеством источника, водою которого освежалась прелестная!» – Мне пришла на мысль басня Алфея и Аретузы,^[266] а почему, не знаю. Я начал было хвалить нежность мифологических вымыслов, но скоро замолчал, видя, что вожатый мой, садовник монастырский, нимало не хотел слушать меня. – При сем случае вспомнил я также читанное мною в Луциановых разговорах о неге римских богачей. Когда они из бани возвращались домой, то перед ними шли всегда невольники, которые при всяком камешке, лежавшем на дороге, кричали: «Берегись!», чтобы гордый римлянин, всегда смотревший на небо, не споткнулся и не упал! «Что это?» – спросил я у садовника, видя в

коридорах бочки, горшки, корзины и прочее. «Здесь мой погреб, – отвечал он, – и мне очень приятно, что все путешественники любопытствуют его видеть». – С удовольствием пробыл я несколько времени в монастырском саду, разговаривая с садовником, который, будучи весьма словоохотен, наставлял меня довольно всякой всячины о своих монахинях. «Старые, – говорит он, – бранчивы, грубы и скучны; сидят в своих кельях и говорят – о политике! А молодые печальны, любят гулять в темных аллеях, смотреть на месяц и – вздыхать из глубины сердца».

Потом был я в маленькой подземной церкви древних христиан. Там, укрываясь от гонителей, изливали они сердце свое в теплых молитвах. Однако ж и там нашли их – кровь несчастных жертв обагрила помост храма. Показывают место, где лежат их кости. – В сей мрачной церкви многие женщины стояли на коленях и в молчании молились богу; иные проливали слезы; некоторые в священном восторге ударяли себя в грудь и прикасались бледными устами к холодному полу. Итак, во Франции набожность еще не истребилась!

В задумчивости вышел я на улицу; тут все шумело и веселилось – танцовщики прыгали, музыканты играли, певцы пели, толпы народа изъявляли свое удовольствие громким рукоплесканием. Мне казалось, что я в другом свете. Какая земля! Какая нация!

Ударило шесть часов – театр был наполнен зрителями; я сел в ложе подле двух молодых дам. Представляли новую трагедию, «Карла IX», сочиненную г. Шенье. ^[33] Слабый король, правимый своею суеверною матерью и чернодушным прелатом (который всегда говорит ему именем неба), соглашается пролить кровь своих подданных, для того что они – не католики. Действие ужасно, но не всякий ужас может быть душою драмы. Великая тайна трагедии, которую Шекспир похитил во святилище человеческого сердца, пребывает тайною для французских поэтов – и Карл IX холоден, как лед. Автор имел в виду новые происшествия, и всякое слово, относящееся к нынешнему состоянию Франции, было сопровождается плеском зрителей. Но отними сии *отношения*, и пьеса показалась бы скучна всякому, даже и французу. На сцене только разговаривают, а не действуют, по обыкновению французских трагиков; речи предлинны и наполнены обветшалыми сентенциями; один актер говорит без умолку, а другие зевают от праздности и скуки. Одна сцена тронула меня – та, где сонм фанатиков упадает на колени и благословляется злым прелатом, где при звуке мечей клянутся они истребить еретиков. Главное действие трагедии повествуется и для того мало трогает зрителя. Добродетельный Колиньи умирает за сценою. На театре остается один

несчастный Карл, который в сильной горячке то бросается на землю, то встает. Он видит (не в самом деле, а только в воображении) умерщвленного Колиньи, так, как Синав видит умерщвленного Трувора;^[267] лишается сил, но между тем читает пышную речь стихов в двести. «C'est terrible!» («Это ужасно!») – говорили дамы, подле меня сидевшие.

Маттисон пришел к нам из театра и просидел в моей горнице до двенадцати часов. В камине пылали у нас дубовые дрова, кипели чай и кофе. Маттисон читал мне Виландовы письма, писанные не к нему, а к известной госпоже Ларош, сочинительнице «Истории девицы Штернгейм» и других романов, – письма, в которых добрая и нежная душа старого поэта, как в чистом зеркале, изображается. Ларош любит Маттисона и присылает ему копию своей переписки. – Три часа протекли для нас, как три минуты. Б* рассказывал нам любопытные анекдоты своего пешеходства, из которых сообщу вам один.

Однажды пришел он ввечеру в маленькую лесную деревеньку и потребовал ночлега в первой избе. Хозяйка отворила ему дверь, но, увидев кортик и большую датскую собаку его, испугалась и побледнела. Б* вообразил, что она боится собак, и начал уверять, что Геркулес его смирен, как ягненок, и не делает зла никакому животному; что он не тот страшный Геркулес, который умертвил Немейского льва и Лернейскую гидру, а тот безоружный и кроткий обожатель красоты, на дубинке которого во дворце королевы Лидийской ездили верхом эроты и которого Омфала могла бить по щекам туфлями. Приятель мой видел, что хозяйка все еще бледнела и боялась, но он приписывал страх сей женщины не чему иному, как совершенному ее невежеству в мифологии; подошел к столу, положил на него свою шляпу, котомку, кортик – сел на деревянный стул, погладил своего Геркулеса и велел хозяйке приготовить что-нибудь к ужину. «Мы люди бедные, – отвечала она, – у нас ничего нет». – «По крайней мере у тебя есть курица или утка?» – «Нет». – «Есть молоко?» – «Нет». – «Есть сыр?» – «Нет». – «Хлеб?» – «Нет». Тут Б* вскочил со стула, Геркулес поднял голову, а хозяйка закричала и ушла. Вы легко можете вообразить, как нужен пешеходцу обед и ужин, и для того, конечно, простите моему приятелю, что он вскочил со стула не с приятною миною, услышав о предстоящей ему голодной смерти. Но хозяйка скрылась – делать было нечего, – он ходил по избе, заглядывал туда и сюда и наконец, к великой своей радости, увидел в темном углу кусок черствого хлеба – взял его и начал есть, уделяя некоторые крохи верному Геркулесу, который, смотря на него умильно, разными знаками показывал ему, что и он вместе с ним проголодался. – Через несколько минут пришел высокий человек в черном

камзоле, посмотрел на Б*, на кортик его, на собаку – побледнел и вышел вон. «Что это значит?» – думал приятель мой, смотрел на кортик, на собаку и не находил в них ничего страшного. Тщетно ждал он возвращения своей хозяйки; наконец, потеряв терпение, вышел на улицу – но там все было темно и тихо; в двух или трех домиках светился огонь, вдали шумел сосновый лес. Б* возвратился в избу, лег на хозяйкину постелю, надел колпак и заснул. Но скоро Геркулесов лай разбудил его, и тут же минуту услышал он за дверью разные голоса. «Я не войду первый», – говорил один голос. – «Ни я», – говорил другой. – «Ступай ты», – говорил третий. – «У тебя ружье; ты можешь достать его издали», – говорил четвертый. Мой Б* не трус, однако ж, подозревая, что речь идет об нем и что его, а не другого, собираются достать издали, вскочил не без ужаса с постели, подбежал к столу, где горела свеча и где лежал кортик, – обнажил страшное свое оружие, взял его в правую руку, а в левую вместо щита деревянный стул и, таким образом снарядившись, твердым и грозным голосом закричал: «Кто там? Что за люди? Отвечайте!» Вдруг все утихло. Герой наш повторил свои вопросы. За дверью начался шепот, и датский Геркулес, потеряв терпение, приблизился к двери, отворил ее лапой – и что же представилось глазам моего Б*? Шесть или семь мужиков с ружьями, палашами и дубинами. Собака с лаем бросилась под ноги первого, и сей несчастный, сев на нее верхом, кричал изо всей силы: «Помогите! Помогите! Бьют! Режут! Друзья! Спасите своего старосту!» Но товарищи его стояли на одном месте, дрожали от страха и вместе с ним кричали: «Помогите! Помогите! Бьют! Режут! Разбой! Разбой!» – Б*, видя, что неприятели его не очень храбры, а потому и не очень опасны, ободрился, подошел к ним и спрашивал, что они: разбойники, воры или безумные? Никто не отвечал ему, а всякий кричал: «Бьют! Режут!» Между тем Геркулес, скучив держать на себе тяжелое бремя, сбросил с себя бедного старосту и кинулся на других мужиков, которые с ужасом побежали от него в разные стороны. Деревенский начальник лежал на земле и не кричал уже для того, что почитал себя мертвым. Б* поднял его, поставил на ноги и, трясая за ворот, говорил ему: «Если ты не безумный, то скажи мне, с каким намерением вы пришли вооруженные и за кого меня принимаете?» Наконец староста дрожащим и прерывающимся голосом отвечал ему, что они почли его за славного разбойника тех мест, который ходит всегда с кортиком и с собакою и которого голова оценена в несколько сот талеров. Приятель мой старался разуверить его, показал ему свой паспорт и говорил с ним так тихо и ласково, что бедный храбрец перестал дрожать, облегчил вздохом стесненную грудь свою, бросился обнимать Б* и сказал, прыгая от радости:

«Слава богу, слава богу, что ты не разбойник, а добрый человек! Слава богу, что мы не убили тебя! Слава богу, что я, против своего обыкновения, почувствовал робость, хотевши по тебе выстрелить! Теперь ко мне в гости: теперь повеселимся, господин доктор! Ночь ничему не мешает и бывает лучше иного дня. Пойдем, пойдем, господин доктор! У меня есть и курица, и утка, и все, что тебе угодно!» – Староста зажег фонарь, взял котомку пешеходца, с позволения моего приятеля надел на себя кортик^[268] и шляпу его и с гордостью пошел вперед, освещая путь нашему Б*, который всего более радовался обещанному ужину, потому что кусок черствого хлеба не очень напитал желудок его. – Геркулес, прогнав всех неприятелей, возвратился к господину своему, шел позади и лаем отвечал на лай деревенских собак. Разбежавшиеся поселяне, видя начальника своего, идущего в торжестве с кортиком, осмелились выйти на улицу, и староста громким голосом сказывал им, что пешеходец не разбойник, а почтенный господин доктор, который *инкогнито* странствует по белому свету. Жена и две дочери выбежали к нему навстречу и едва не плакали от радости, видя, что супруг и родитель совершил благополучно опасный подвиг свой. Б* не может нахвалиться гостеприимством и ужином старосты. Сей добрый человек, сидя с ним за столом, расспрашивал его о чудесах, видимых путешественниками в отдаленных землях севера и юга, и сам рассказывал ему многие анекдоты о том разбойнике, который около двух лет живет в их лесу, ходит с кортиком и с собакою, грабит проезжих и прохожих и целые деревни приводит в ужас. «Только меня он не испугает, – продолжал староста, выпив рюмки три вина, – лишь бы попался мне в руки! – Так, господин доктор! Род наш известен по своей храбрости. Дедушка мой был грозою всех разбойников и пятьдесят лет начальствовал в здешней деревне, а батюшка никогда не возвращался из лесу без того, чтобы не принести с собою кожи убитого медведя. Я не люблю самохвальства и не хочу говорить о своих делах; скажу только, что никогда не боюсь ходить один в самом густом лесу и что по сей час ни волк, ни медведь, ни разбойник не смел напасть на меня». – Б* по собственному опыту не мог сомневаться в его смелости и мужестве и обещал распространить славу его и в других землях, в которых ему быть случится. Староста улыбался и посматривал на жену и дочерей своих, которые начинали уже дремать. Б* также хотел спать: вежливый хозяин уступил ему свою постелю, накормил Геркулеса (забыв, что он часа за два перед тем испугал его не на шутку) и ушел с своими домашними в другую, маленькую горенку. На другой день Б* давал ему талер за ужин и за ночлег, но староста не хотел и слышать о деньгах, – провожал его версты две от деревни и простился с ним дружески.

Вы читали «Тристрама» и помните историю нежных любовников; помните Амандуса,^[269] который, будучи разлучен с своею Амандою, странствовал по свету, попался в плен морским разбойникам и двадцать лет просидел в подземной темнице, для того что он не хотел изменить своей Аманде и не отвечал любовью на любовь марокской принцессы; помните Аманду, которая исходила всю Европу, Азию, Африку, босая и с распущенными волосами, спрашивая во всяком городе, у всяких ворот о своем Амандусе и заставляя эхо мрачных лесов, эхо гор кремнистых твердить имя его – «Амандус! Амандус!» – помните, как сии любовники сошлись наконец в Лионе, отечественном их городе, увидели друг друга, обнялись и – упали мертвые... Души их на крыльях радости улетели на небо! – Помните, что нежный Стерн, приближаясь к тому месту, где, по описанию, надлежало быть их могиле, и чувствуя в сердце своем огонь и пламя, воскликнул: «Нежные, верные тени! Давно, давно хотел я пролить сии слезы на вашем гробе; примите их от чувствительного сердца!» – но вы помните и то, что Стерну не на что было пролить слез своих, ибо он не нашел гроба любовников. Увы! И я не мог найти его!.. Спрашивал – но французы думают ныне о своей революции, а не о памятниках любви и нежности!

Кто, будучи здесь, не вспомнит еще о других, несчастнейших любовниках, которые за двадцать лет перед сим умертвили себя в Лионе?

Италиянец, именем Фальдони, прекрасный, добрый юноша, обогащенный лучшими дарами природы, любил Терезу и был любим ею. Уже приблизился тот счастливый день, в который, с общего согласия родителей, надлежало им соединиться браком, но жестокий рок не хотел их счастья. Молодой италиянец каким-то случаем повредил себе главную пульсовую жилу, отчего произошла неизлечимая болезнь. Отец Терезин, боясь выдать дочь свою за такого человека, который может умереть в самый день брака, решился отказать несчастному Фальдони, но сей отказ еще более воспламенил любовников, и, потеряв надежду соединиться в объятиях законной любви, они положили соединиться в хладных объятиях смерти. Недалеко от Лиона, в каштановой роще, построен сельский храм, богу милосердия посвященный и рукою греческого искусства украшенный; туда пришел бледный Фальдони и ожидал Терезы. Скоро явилась она во всем сиянии красоты своей, в белом кисейном платье, которое шито было к свадьбе, и с розовым венком на темно-русых волосах. Любовники упали перед олтарем на колени и – приставили к сердцам свои пистолеты, обвитые алыми лентами; взглянули друг на друга – поцеловались – и сей

огненный поцелуй был знаком смерти – выстрел раздался – они упали, обнимая друг друга, и кровь их смешалась на мраморном помосте.

Признаюсь вам, друзья мои, что сие происшествие более ужасает, нежели трогает мое сердце. Я никогда не буду проклинать слабостей человечества, но одне заставляют меня плакать, другие возмущают дух мой. Если бы Тереза не любила или перестала любить Фальдони или если бы смерть похитила у него милую подругу, ту, которая составляла все счастье, всю прелесть жизни его, тогда бы мог он возненавидеть жизнь, тогда бы собственное сердце мое изъяснило мне сей печальный феномен человечества, я вошел бы в чувства несчастного и с приятными слезами нежного сожаления взглянул бы на небо без роптания, в тихой меланхолии. Но Фальдони и Тереза любили друг друга; итак, им надлежало почитать себя счастливыми. Они жили в одном мире, под одним небом, озарялись лучами одного солнца, одной луны – чего более?^[270] Истинная любовь может наслаждаться без чувственных наслаждений, даже и тогда, когда предмет ее за отдаленными морями скрывается. Мысль: «Меня любят!» должна быть счастьем нежного любовника – и как приятно, как сладко думать ему, что ветерок, который в сию минуту прохлаждает жар лица его, веял, может быть, и на прелестях любезной; что птичка, в глазах его под небом парящая, за несколько дней перед тем сидела, может быть, на том дереве, под которым красавица размышляла о своем друге! Одним словом, удовольствия любви бесчисленны; ни тиранство родителей, ни тиранство самого рока не может отнять их у нежного сердца – и кому сии удовольствия неизвестны, тот не называй себя чувствительным! – Фальдони и Тереза! Вы служите для меня примером одного исступления, помешательства разума, заблуждения, а не примером истинной любви!

«Смотри! смотри!» – закричал мой Беккер. Я бросился к окну и увидел, что вокруг ратуши толпится шумящий народ. «Что это значит?» – спросили мы у слуги, который прибирал мою комнату. «Какое-нибудь новое дурачество», – отвечал он. Но я любопытен был знать это дурачество и вместе с Беккером пошел на улицу. У пяти или шести человек спрашивали мы о причине шума, но все отвечали нам: «Qu'en sais-je?» («Почему мне знать?») – Наконец дело объяснилось. Какая-то старушка подралась на улице с каким-то стариком; пономарь вступился за женщину; старик выхватил из кармана пистолет и хотел застрелить пономаря, но люди, шедшие по улице, бросились на него, обезоружили и повели его... à la lanterne (на виселицу); отряд национальной гвардии встретился с сею толпою людей, отнял у них старика и привел в ратушу – вот что было причиною волнения! Народ, который сделался во Франции страшнейшим

деспотом, требовал, чтобы ему выдали виновного, и кричал: «À la lanterne!» Пономарь кричал: «À la lanterne! À la lanterne!» Бабыторговки кричали: «À la lanterne! À la lanterne!» Те, которые наиболее шумели и возбуждали других к мятежу, были нищие и празднотлюбцы, не желающие работать с эпохи так называемой Французской свободы. – Изрядно одетый незнакомец подошел ко мне и к Беккеру и с дружественным видом сказал нам: «Около получаса ходит за вами подозрительный человек; будьте осторожны – вы, конечно, иностранцы – *sauvez-vous, messieurs!*» («Спасайтесь!»). Я посмотрел ему в глаза и уверился, что он хотел только испугать нас; а Беккер, не знаю отчего, покраснел и схватил мою руку; взор его говорил мне: «Мы друг друга не оставим!» Но он и я благополучно возвратились в «Hôtel de Milan». Народ ввечеру рассеялся, и мы пошли гулять на свободе по берегу Роны.

Мы обедали ныне у господина Т*, богатого купца, вместе с некоторыми из здешних ученых, а ввечеру были на гуляньи за городом. И богатые и бедные, и старые и малые толпились на зеленых лугах, поздравляли друг друга с весною и наслаждались теплым вечером. В городе не оставалось, думаю, ни четвертой части жителей, и всякий был в лучшем своем платье. Иные сидели на траве и пили чай; другие ели бисквиты, сладкие пироги и потчевали своих знакомых. Я ходил между тысячами, как в лесу, не зная никого и не будучи никому известен. Однако ж, видя вокруг себя радостные лица, веселился в сердце своем. Наконец ушел ото всех людей, сел под зеленым кусточком, увидел фиалку и сорвал ее, но мне показалось, что она не так хорошо пахнет, как наши фиалки, – может быть, оттого, что я не мог отдать сего цветочка любезнейшей из женщин и вернейшему из друзей моих!

Лион... 1790

Нет, друзья мои! Я не увижу плодоносных стран Южной Франции, [{34}](#) которыми прельщалось мое воображение!.. Беккер не получил здесь векселя и, оставшись только с шестью луидорами, решил ехать прямо в Париж. Мне надлежало с ним расстаться или пожертвовать для него своим любопытством, своими мечтами, Лангедоком и Провансом.

Несколько минут я сражался с самим собою, сидя в задумчивости перед камином. Любезный датчанин разбирал между тем свой чемодан, в котором лежали некоторые из моих вещей. «Вот твои книги, – говорил он, – твои письма – твои платки – возьми их! Может быть, мы уже не увидимся». – «Нет, – сказал я, встав со стула и обняв с чувствительностью

Беккера, – мы едем вместе!»

Гробница нежной Лауры, прославленной Петrarком! Воклюзская пустыня, жилище страстных любовников!^[271] Шумный, пенистый ключ, утолявший их жажду! Я вас не увижу!.. Луга прованские, где тимон с розмарином благоухают! Не ступит нога моя на вашу цветущую зелень!.. Нимский храм Дианы, огромный амфитеатр, драгоценные остатки древности! Я вас не увижу!^[272] – Не увижу и тебя, отчизна Пилата Понтийского!^[273] Не взойду на ту высокую гору, на ту высокую башню, где сей несчастный сидел в заключении; не загляну в ту ужасную пропасть, в которую он бросился из отчаяния!^[274] – Простите, места, любопытные для чувствительного путешественника!

Не без слез расставались мы с Маттисоном. Он подарил мне на память некоторые из новейших своих сочинений и сказал: «Где буду впредь, не знаю; но никакой климат не переменит моего сердца – я всегда с удовольствием стану вспоминать о нашем знакомстве – не забудьте Маттисона!» Прочих лионских знакомцев оставляю без сожаления.

Завтра в пять часов утра сядем в почтовую лодку и поедem в Шалон. С учтивою хозяйкою мы уже расплатились. Каждый день стоил нам здесь около луидора.

Теперь ночь – Беккер спит – я не могу – сижу за столиком и лечу мыслями в мое отечество – к вам, моим любезным!

Река Сона

Солнце восходит – туман разделился – лодка наша катится по струистой лазури, освещаемой золотыми лучами, – подле меня сидит один добрый старик из Нима; молодая, приятная женщина спит крепким сном, положив голову на плечо его; он одевает красавицу плащом своим, боясь, чтобы она не простудилась, – молодой англичанин в углу лодки играет с своею собакою, – другой англичанин с важным видом болтает в реке воду длинною своею тростью и напоминает мне тех духов в «Багват-Гете»,^[275] ^[276] которые сим способом целый океан превратили в масло, – высокий немец, стоя подле мачты, курит трубку, – Беккер, пожимаясь от утреннего холодного воздуха, разговаривает с кормчим, – я пишу карандашом на пергаментном листочке.

На обеих сторонах реки простираются зеленые равнины; изредка видны пригорки и холмики; везде прекрасные деревеньки, каких не находил я ни в Германии, ни в Швейцарии; сады, летние домики богатых купцов, дворянские замки с высокими башнями; везде земля обработана

наилучшим образом; везде видно трудолюбие и богатые плоды его.

Я воображаю себе первобытное состояние сих цветущих берегов... Здесь журчала Сона в дичи и мраке, темные леса шумели над ее водами; люди жили, как звери, укрываясь в глубоких пещерах или под ветвями столетних дубов, – какое превращение!.. Сколько веков потребно было на то, чтобы сгладить с природы все знаки первобытной дикости!

Но, может быть, друзья мои, может быть, в течение времени сии места опять запустеют и одичают; может быть, через несколько веков (вместо сих прекрасных девушек, которые теперь перед моими глазами сидят на берегу реки и чешут гребнями белых коз своих) явятся здесь хищные звери и заревут, как в пустыне африканской!.. Горестная мысль!

Наблюдайте движения природы, читайте историю народов, поезжайте в Сирию, в Египет, [\[277\]](#) в Грецию – и скажите, чего ожидать не возможно? Все возвышается или упадает; народы земные подобны цветам весенним; они увядают в свое время – придет странник, который удивлялся некогда красоте их; придет на то место, где цвели они... и печальный мох представится глазам его! – Оссиан! Ты живо чувствовал сию плачевную судьбу всего подлунного и для того потрясаяешь мое сердце унылыми своими песнями!

Кто поручится, чтобы вся Франция – сие прекраснейшее в свете государство, прекраснейшее по своему климату, своим произведениям, своим жителям, своим искусствам и художествам – рано или поздно не уподобилась нынешнему Египту?

Одно утешает меня – то, что с падением народов не упадает весь род человеческий: одни уступают свое место другим, и если запустеет Европа, то в середине Африки или в Канаде процветут новые политические общества, процветут науки, искусства и художества.

Там, где жили Гомеры и Платоны, живут ныне невежды и варвары, но зато в северной Европе существует певец «Мессиады», которому сам Гомер отдал бы лавровый венец свой; зато у подошвы Юры видим Боннета, а в Кенигсберге – Канта, перед которым Платон в рассуждении философии есть младенец.

Макон в Бургонии, полночь

Путешествие наше очень приятно. День был прекрасный, вечер теплый, солнце тихо и великолепно скатилось с голубого неба, и давно не видал я такой розовой зари, какую видел ныне.

В полдень пристали мы к берегу против одного небольшого местечка. Тут встретили нас пятнадцать или двадцать трактирщиц, из которых каждая

звала к себе в гости *любезных путешественников*, уверяя, что у нее прекрасный суп, прекрасные соусы, прекрасный десерт и самое лучшее вино. Я, Б*, молодой французский офицер и двое англичан обедали вместе и с великою благодарностию заплатили хозяйке по тридцать су, для того что она в самом деле очень хорошо нас угостила. – После обеда гуляли мы по берегу реки, заходили в разные крестьянские домики и видели, что поселяне живут чисто и опрятно. Офицер, Б* и я говорили с ними о хозяйстве, о земледелии и шутили с молодыми крестьянками, которые умеют еще краснеться. Одно семейство застали мы за обедом: на большом столе, покрытом довольно чистою скатертью, стояла чаша с супом, блюдо шпинату и кринка молока. – Но весьма не полюбились мне деревянные башмаки французских поселян, иянепонимаю, как они не натирают ими ног своих.

Около вечера мы проплыли мимо города Треву, лежащего на правой стороне Соны; более всего известен он по «Memoires de Trevoux», [\[278\]](#)[\[279\]](#) антифилософическому иезуитскому журналу, который, подобно черной молниеносной туче, метал страшные перуны на Вольтеров и д'Аланбертов и грозил поглотить священным огнем все произведения ума человеческого.

В девять часов вышли мы на берег в городе Маконе, ужинали в первом здешнем трактире и пили самое лучшее бургонское вино. Оно густое, темного цвета и совсем не похоже на то, что у нас в России называется бургонским.

Здесь ночуем и в четыре часа поплывем в Шалон, где надеемся быть завтра после обеда.

Фонтенебло, 9 часов утра

Третьего дни ночью выехали мы из Шалона, в легкой коляске, вместе с одним парижским купцом, который, взяв с нас двоих триста ливров, сказал, чтобы мы спрятали до Парижа свои кошельки: он платит прогоны, за обед, за ужин, за чай и кофе. Может быть, останется у него несколько талеров или экю, но зато мы совершенно покойны.

Французская почта не дороже и притом несравненно лучше немецкой. Лошади везде через пять минут готовы; дороги прекрасные; постиллионы не ленивы – города и деревни беспрестанно мелькают в глазах путешественника.

В 30 часов переехали мы 65 французских миль; везде видели приятные места и на каждой станции – были окружены нищими! Товарищ наш француз говорил, что они бедны от праздности и лени своей и потому недостойны сожаления, но я не мог спокойно ни обедать, ни ужинать, видя

под окном сии бледные лица, сии раздранные рубища!

Фонтенебло^[280] есть маленький городок, окруженный лесами, в которых французские короли издревле забавлялись звериною ловлею. Святой Лудовик подписывал на указах: «Donné en nos déserts de Fontainebleau» («Дано в нашей пустыне Фонтенебло»). Тогда не было здесь почти ничего, кроме двух или трех церквей и монастыря; но Франциск I построил в пустыне огромный дворец и украсил его лучшими произведениями италийского художества. Я хотел видеть внутренность сего величественного здания и за два эю видел все достойное примечания: прекрасную церковь, галерею Франциска I с ее славными картинами, королевские и королевины комнаты, также украшенные превосходною живописью, и проч. В одной большой галерее сего дворца показывают то место, где жестокая Христина в 1659 году страшнейшим образом умертвила своего штальмейстера и любовника, маркиза Мональдески. – В маскарадной зале, расписанной живописцем Николо, многие картины стерты, для того что они были слишком соблазнительны для набожных людей. Соваль, адвокат парижского парламента, описывая «Любовные похождения королей французских», говорит, что век Франциска I был самый развращенный и что все произведения тогдашних поэтов и живописцев дышали сладострастием. «Ступай в Фонтенебло! – восклицает благочестивый адвокат, скончавший жизнь свою в 1670 году, – и везде на стенах увидишь ты богов и богинь, мужчин и женщин, которые посрамляют натуру и утопают в море распутства. Добродетельная супруга Генриха IV истребила многие из сих картин, но чтобы истребить все погибельное, все развратное, надлежит предать пламени весь Фонтенебло». – Некто Сюбле де Ное, будучи губернатором в Фонтенебло, сжег Микель-Анджелову картину, за которую Франциск I заплатил превеликую сумму. Изображалась нагая Леда – и так живо, в таком сладострастном положении, что губернатор не мог видеть ее без соблазна. – Сии анекдоты взял я из Дюлора.

Мы завтракали – постиллион хлопочет бичом – простите – простите до Парижа!

Париж, 27 марта 1790

Мы приближались к Парижу, и я беспрестанно спрашивал, скоро ли увидим его? Наконец открылась обширная равнина, а на равнине, во всю длину ее, Париж!.. Жадные взоры наши устремились на сию необозримую громаду зданий – и терялись в ее густых тенях. Сердце мое билось. «Вот он, – думал я, – вот город, который в течение многих веков был образцом

всей Европы, источником вкуса, мод, – которого имя произносится с благоговением учеными и неучеными, философами и щеголями, художниками и невеждами, в Европе и в Азии, в Америке и в Африке, – которого имя стало мне известно почти вместе с моим именем; о котором так много читал я в романах, так много слышал от путешественников, так много мечтал и думал!.. Вот он!.. Я его вижу и буду в нем!..» – Ах, друзья мои! Сия минута была одною из приятнейших минут моего путешествия! Ни к какому городу не приближался я с такими живыми чувствами, с таким любопытством, с таким нетерпением! – Товарищ наш француз, указывая на Париж своею тростью, говорил нам: «Здесь, на правой стороне, видите вы предместье Монмартр и дю Танпль; против нас святого Антония, а на левой стороне за Сеною предместье Ст. Марсель, Мишель и Жермень. Эта высокая готическая башня есть древняя церковь богоматери; сей новый великолепный храм, которого архитектуре вы, конечно, удивляетесь, есть храм святой Женевьевы, покровительницы Парижа; там, вдали, возвышается с блестящим куполом l'Hôtel Royal des Invalides^[281] – одно из огромнейших парижских зданий, где короли и отечество покоят заслуженных и престарелых воинов».

Скоро въехали мы в предместье святого Антония; но что же увидели? Узкие, нечистые, грязные улицы, худые дома и людей в раздранных рубищах. «И это Париж, – думал я, – город, который издали казался столь великолепным?» – Но декорация совершенно переменялась, когда мы выехали на берег Сены; тут представились нам красивые здания, дома в шесть этажей, богатые лавки. Какое многолюдство! Какая пестрота! Какой шум! Карета скачет за каретою; беспрестанно кричат: «Gare! Gare!»,^[282] и народ волнуется, как море.

Сей неописуемый шум, сие чудное разнообразие предметов, сие чрезвычайное многолюдство, сия необыкновенная живость в народе привели меня в некоторое изумление. – Мне казалось, что я, как маленькая песчинка, попал в ужасную пучину и кружусь в водном вихре.

Переехав через Сену, в улице Генего, остановились мы подле «Hôtel Britannique».^[283] Там, в третьем этаже, нашлись для нас две комнаты, светлые и чисто прибранные, за которые должно платить по два луидора в месяц. Хозяйка осыпала нас учтивостями, бегала, суетилась, назначала место для наших кроватей, сундука, чемодана и при всяком слове говорила: «Aimables étrangers» – любезные иностранцы, почтенные иностранцы! Купец, спутник наш, пожелал нам всевозможных удовольствий в Париже и уехал к себе домой, а мы в полчаса успели отобедать, причесаться,

одеться – заперли свои комнаты, вышли на улицу и смешались с толпами народными, которые, как морские волны, вынесли нас к славному Новому мосту, Pont neuf, где стоит прекрасный монумент любезнейшего из королей французских, Генриха IV. Можно ли было пройти мимо него? Нет! Ноги мои сами собою остановились, взор мой сам собою устремился на образ героя и несколько минут не мог с него совратиться.

Оставя Беккера у подножия Генриковой статуи, я пошел к г. Брегету, [284] который живет недалеко от Нового мосту на Quai des Morfondus. Жена его приняла меня перед камином и, услышав мое имя, тотчас вынесла мне письмо – письмо от моих любезных!.. Вообразите радость вашего друга!.. Вы здоровы и благополучны!.. Все беспокойства в одну минуту забылись: я стал весел, как беспечный младенец, – читал десять раз письмо – забыл госпожу Брегет и не говорил с нею ни слова – душа моя в сию минуту занималась одними отдаленными друзьями. – «Кажется, что вы очень обрадовались, – сказала хозяйка, – это приятно видеть». – Тут я опомнился, начал перед нею извиняться, но очень нескладно, хотел рассказывать ей о Женеве, где она родилась, – но не мог и наконец ушел. Беккер увидел меня бегущего, увидел письмо в руке моей, увидел мое лицо – и обрадовался сердечно, – потому что он любит меня. Мы обнялись на Новом мосту, подле монумента, – и мне казалось, что сам медный Генрик, смотря на нас, улыбался. Pont neuf! Я никогда тебя не забуду!

Сердце мое было довольно и весело – я ходил с Беккером по неизвестному городу, из улицы в улицу, без проводника, без намерения и без цели – и все, что встречалось глазам нашим, занимало меня приятным образом.

Солнце село; наступила ночь, и фонари засветились на улицах. Мы пришли в Пале-Рояль, огромное здание, которое принадлежит герцогу Орлеанскому и которое называется столицею Парижа.

Вообразите себе великолепный квадратный замок и внизу его аркады, под которыми в бесчисленных лавках сияют все сокровища света, богатства Индии и Америки, алмазы и диаманты, серебро и золото; все произведения природы и искусства; все, чем когда-нибудь царская пышность украшалась; все, изобретенное роскошью для услаждения жизни!.. И все это для привлечения глаз разложено прекраснейшим образом и освещено яркими, разноцветными огнями, ослепляющими зрение. – Вообразите себе множество людей, которые толпятся в сих галереях и ходят взад и вперед только для того, чтобы смотреть друг на друга! – Тут видите вы и кофейные дома, {35} первые в Париже, где также все людьми наполнено, где читают

вслух газеты и журналы, шумят, спорят, говорят речи и проч.

Голова моя закружилась – мы вышли из галереи и сели отдыхать в каштановой аллее, в Jardin du Palais Royal.^[285] Тут царствовали тишина и сумрак. Аркады изливали свет свой на зеленые ветви, но он терялся в их тенях. Из другой аллеи неслись тихие, сладостные звуки нежной музыки; прохладный ветерок шевелил листочки на деревьях. – *Нимфы радости* подходили к нам одна за другою, бросали в нас цветами, вздыхали, смеялись, звали в свои гроты, обещали тьму удовольствий и скрывались, как призраки лунной ночи.

Все казалось мне очарованием. Калипсиным островом, Армидиным замком. Я погрузился в приятную задумчивость...

Париж, 2 апреля 1790

«Я в Париже!» Эта мысль производит в душе моей какое-то особенное, быстрое, неизъяснимое, приятное движение... «Я в Париже!» – говорю сам себе и бегу из улицы в улицу, из Тюльери в поля Елисейские, вдруг останавливаюсь, на все смотрю с отменным любопытством: на дома, на кареты, на людей. Что было мне известно по описаниям, вижу теперь собственными глазами – веселюсь и радуюсь живою картиною величайшего, славнейшего города в свете, чудного, единственного по разнообразию своих явлений.

Пять дней прошли для меня, как пять часов: в шуме, во многолюдстве, в спектаклях, в волшебном замке Пале-Рояль. Душа моя наполнена живыми впечатлениями, но я не могу самому себе дать в них отчета и не в состоянии сказать вам ничего связного о Париже. Пусть любопытство мое насыщается, а после будет время рассуждать, описывать, хвалить, критиковать. – Теперь замечу одно то, что кажется мне главною чертою в характере Парижа: отменную живость народных движений, удивительную скорость в словах и делах. Система Декартовых вихрей^[286] могла родиться только в голове француза, парижского жителя. Здесь все спешат кудато; все, кажется, перегоняют друг друга, ловят, хватают мысли, угадывают, чего вы хотите, чтоб как можно скорее вас отправить. Какая страшная противоположность, например, с важными швейцарцами, которые ходят всегда размеренными шагами, слушают вас с величайшим вниманием, приводящим в краску стыдливого, скромного человека; слушают и тогда, когда вы уже говорить перестали; соображают ваши слова и отвечают так медленно, так осторожно, боясь, что они вас не понимают! А парижский житель хочет всегда отгадывать: вы еще не кончили вопроса, он сказал

ответ свой, поклонился и ушел!

Париж, апреля... 1790

Принимаясь за перо с тем, чтобы представить вам Париж хотя не в совершенной картине, но по крайней мере в главных его чертах, должен ли я начать, как говорили древние, с *яиц Леды*^[287] и объявить с ученою важностию, что сей город назывался некогда Лютециею,^[288] что имя парижских жителей, Parisii, значит *народ, покровительствуемый Изидою*, – то есть что оно произошло от греческого слова пара и изис, хотя NB: галльские народы не имели никакого понятия о сей египетской богине и не думали искать ее покровительства? Перевести ли некоторые места из «Записок» Юлия Цесаря^[289] (первого из древних авторов, упоминающих о Париже) и «Мизопогона»,^[290] книги, сочиненной императором Иулианом; места, из которых вы узнаете, что Париж и во время Цесарево был уже столицею Галлии и что император Иулиан умер было в нем от угара?^[291] Окружить ли мне себя^[292] творениями Иоанна Готвиля, Вильгельма Коррозета, Клавдия Фошета, Николая Бонфуса, Якова Берля, Маленгра, Соваля, дона Филибьеня, Коллетета, де ла Мара, Брисса, Буассо, Праделя, Лемера, Монфокона, – ослепить ли глаза ваши ученою пылью сих авторов и показать ли вам ясно, что был Париж в своем начале, когда еще не огромные палаты и храмы созерцались в струях Сены, а маленькие домики, подобные альпийским хижинам; когда еще не гранитные, а деревянные мосты служили ей поясами; когда не Лаис, не Рено пленяли слух людей^[293] на берегах ее, а братья Оссиановы^[294] дикими своими песнями; когда не Мирабо, не Мори удивляли парижцев своим красноречием, а седовласые друиды, обожатели дубового леса?^[295] Идти ли мне вслед Парижу, шаг за шагом, через пространство минувших веков, означая все его изменения, новые виды, успехи в архитектуре, от первого каменного домика до Луврской колоннады? – Я слышу ответ ваш: «Мы прочитаем Сент-Фуа, его „Essais sur Paris“,^[296] и узнаем все то, что ты можешь сказать о древности Парижа; скажи нам только, каков он показался тебе в нынешнем своем виде, и более ничего не требуем». – Итак, оставляя почтенную старину, оставляя все прошедшее, буду говорить об одном настоящем.

Париж покажется вам великолепнейшим городом, когда вы въедете в него по Версальской дороге. Громады зданий впереди с высокими шпицами и куполами; на правой стороне – река Сена с картинными домиками и садами; на левой, за пространною зеленою равниною, – гора Мартр,

покрытая бесчисленными ветряными мельницами, которые, размахивая своими крыльями, представляют глазам нашим летящую станицу каких-нибудь пернатых великанов, строусов или альпийских орлов. Дорога широкая, ровная, гладка, как стол, и ночью бывает освещена фонарями. Застава есть небольшой домик, который пленяет вас красотой архитектуры своей. Через обширный бархатный луг въезжаете в поля Елисейские, недаром названные сим привлекательным именем: лесок, насажденный самими орадами, с маленькими цветущими лужками, с хижинками, в разных местах рассеянными, из которых в одной найдете кофейный дом, в другой – лавку. Тут по воскресеньям гуляет народ, играет музыка, пляшут веселые мещанки. Бедные люди, изнуренные шестидневною работою, отдыхают на свежей траве, пьют вино и поют водевили. Вы не имеете времени осмотреть всех красот сего лесочка, сих умильных рощиц, как будто бы без всякого намерения разбросанных на правой и на левой стороне дороги: взор ваш стремится вперед, туда, где на большой осьмиугольной площади возвышается статуя Лудовика XV, окруженная белым мраморным балюстрадом. Подойдите к ней и увидите перед собою густые аллеи славного сада Тюльери, примыкающие к великолепному дворцу: вид прекрасный! Вошедши в сад, не знаете, чем любоваться: густотою ли древних аллей или приятностию высоких террас, которые на обеих сторонах простираются во всю длину сада, или красотой бассейнов, цветников, ваз, групп и статуй. Художник Ленотр, творец сего, конечно, искуснейшего сада в Европе, ознаменовал каждую его часть печатью ума и вкуса. Здесь гуляет уже не народ, так, как в полях Елисейских, а так называемые *лучшие люди*, кавалеры и дамы, с которых пудра и румяна сыплются на землю. Взойдите на большую террасу, посмотрите направо, налево, кругом: везде огромные здания, замки, храмы – красивые берега Сены, гранитные мосты, на которых толпятся тысячи людей, стучит множество карет – взгляните на все и скажите, каков Париж. Мало, если назовете его первым городом в свете, столицю великолепия и волшебства. Оставайтесь же здесь, если не хотите переменить своего мнения; пошедши далее, увидите... тесные улицы, оскорбительное смешение богатства с нищетою; подле блестящей лавки ювелира – кучу гнилых яблок и сельдей; везде грязь и даже кровь, текущую ручьями из мясных рядов, – замете нос и закроете глаза. Картина пышного города затмится в ваших мыслях, и вам покажется, что из всех городов на свете через подземельные трубы сливается в Париж нечистота и гадость. Ступите еще шаг, и вдруг повеет на вас благоухание счастливой Аравии или, по крайней мере, цветущих лугов прованских: значит, что вы подошли к одной из тех лавок, в которых

продаются духи и помада и которых здесь множество. Одним словом, что шаг, то новая атмосфера, то новые предметы роскоши или самой отвратительной нечистоты так, что вы должны будете назвать Париж самым великолепным и самым гадким, самым благовонным^[297] и самым вонючим городом. Улицы все без исключения узки и темны от огромности домов, славная Сент-Оноре всех длиннее, всех шумнее и всех грязнее. Горе бедным пешеходам, а особенно когда идет дождь! Вам надобно или месить грязь на середине улицы,^[298] или вода, льющаяся с кровель через дельфины, не оставит на вас сухой нитки. Карета здесь необходима,^[299] по крайней мере для нас, иностранцев; а французы умеют чудесным образом ходить по грязи, не грязнясь, мастерски прыгают с камня на камень и прячутся в лавки от скачущих карет. Славный Турнфор, который объездил почти весь свет, возвратился в Париж и был раздавлен фиакром оттого, что он в путешествии своем разучился прыгать серною на улицах: искусство, необходимое для здешних жителей!

Подите городом прямо, в которую сторону вам угодно, и вы очутитесь наконец в тени густых аллей, называемых *булеварами*; их три: одна для карет, а две для пешеходцев: они идут рядом и образуют магическое кольцо, или самую прекраснейшую опушку вокруг всего Парижа. Тут городские жители собирались некогда играть в шары (*à la boule*) на зеленой траве: от чего и произошло название *буле-вер*, или *булевар*. Сначала на месте аллей был только один вал, который защищал столицу Франции от неприятельских набегов; деревья посажены гораздо после. Одна часть булеваров называется *старыми*, а другая – *новыми*; на первых видите предметы вкуса, богатства, пышности; все, вымышленное праздностию для занятия праздности, – здесь Комедия, тут Опера; здесь блестящие палаты, тут Гесперидские сады, в которых недостает только золотых яблок; здесь кофейный дом, обвешанный зелеными гирляндами; тут беседка, украшенная цветами и подобная сельскому храму любви; здесь маленький приятный лесочек, в котором гремит музыка, прыгает на веревке резвая нифма или какой-нибудь *фигляр* забавляет народ своими хитростями; тут показываются вам все редкие произведения животного царства природы: птицы американские, звери африканские, колибри и строусы, тигры и крокодилы; здесь, под каштановым деревом, сидит Цирцея, смотрит на вас томными глазами, кладет руку на сердце и, видя, что вы с равнодушием идете мимо, говорит со вздохом: «Нечувствительный! Жестокий!» Тут молодой растрепанный *франт* встречается с пожилым, нежно напудренным *петиметром*,^[300] смотрит на него с усмешкою и подает руку

оперной певице; здесь длинный ряд карет, из которых выглядывают юность и древность, красота и безобразие, ум и глупость в самых живых, характерных чертах – и наконец... марширует отряд национальной гвардии. Целый день употребил я на то, чтобы обойти эту шумную часть бульваров. [\[301\]](#)

Так называемая *новая* часть представляет совсем другое зрелище: там деревья сенистее, аллеи красивее, воздух чище, но мало бывает гуляющих; не слышите ни стука каретного, ни топота лошадиного, ни песней, ни музыки; не видите ни английских, ни французских щеголей, ни распудренных голов, ни раздумянных лиц. Здесь в густой тени отдыхает добрый ремесленник с своею женою и дочерью; тут по аллее медленными шагами прохаживается сын его с молодою своею невестою; там поля с хлебом, сельские работы, трудящиеся земледельцы; словом, все просто, тихо и мирно.

Возвратимся опять в городской шум. Карл V говаривал: «Lutetia non urbs, sed orbis» («Лютеция, то есть Париж, есть не город, а целый мир»). Что ж бы он сказал теперь, когда Лютеция его вдвое увеличилась своим пространством и вдвое умножилась числом своих обитателей? Вообразите себе 25 000 домов в 4, в 5 этажей, которые сверху донизу наполнены людьми! Вопреки всем географическим календарям, Париж многолюднее и Константинополя, и Лондона, вмещающая в себе, по новому исчислению, 1 130 450 жителей, между которыми полагается 150 000 иностранцев и 200 000 слуг. Ступай здесь из конца в конец города, везде множество идущих и едущих, везде шум и гам, – на больших и малых улицах, а их в Париже около тысячи! Ночью в десять, в одиннадцать часов все еще живо, все движется и шумит; в первом, во втором часу встречается еще много людей; в третьем и четвертом слышите изредка каретный стук – однако ж сии два часа можно назвать самыми тихими в сутках. В пятом показываются на улицах работники, савояры, поденщики – и мало-помалу весь город снова оживляется.

Теперь хотите ли осмотреть со мною славнейшие здания в Париже? – Нет; оставим это до другого времени; вы устали, я также: надобно переменить материю или – кончить.

Нынешний день обедал я у господина Гло*, к которому было у меня письмо из Женевы. Худо не знать обычаев: [\[36\]](#) я пришел в два часа, но в доме совсем еще не думали принимать гостей. Хозяин, после *утренней*

прогулки, одевался в своем кабинете, а хозяйка занималась *утренним чтением*. Минут через десять вышла последняя в гостиную комнату, где я сидел один у камина, перевертывая листы в Мармонтелевой «Поэтике»,^[302] которая лежала на экране. Госпожа Гло* есть ученая дама лет в тридцать, говорит по-английски, италиянски и (подобно госпоже Неккер, у которой собирались некогда д'Аланберты, Дидроты и Мармонтели) любит обходиться с авторами. Мы начали говорить о литературе, исжаром, потому что госпожа Гло* противоречила всем моим мнениям. Например, я сказал, что Расин и Вольтер – лучшие французские трагики, но она, по благосклонности своей, открыла мне, что Шенье есть бог перед ними. Я думаю, что прежде писали во Франции лучше, нежели ныне, но она сказала мне, что в доме у нее собирается около двадцати сочинителей, которые все несравненны. Я хвалил дю Пати;^[303] она уверяла, что его в Париже не читают, что он был хороший адвокат, но худой автор и наблюдатель. Я хвалил драму «Рауля»; она говорила об ней с презрением. Одним словом, наши несогласия никогда бы не кончились, если бы слуга не растворил дверей и не уведомил г-жу Гло* о приезде гостей. Через несколько минут наполнилась горница маркизами, кавалерами св. Лудовика,^[304] адвокатами, англичанами; каждый гость подходил к хозяйке с холодным приветствием. После всех явился хозяин и завел разговор о партиях, интригах, декретах Народного собрания, и проч., и проч. Французы рассуждали, хвалили, критиковали, а молодые англичане зевали. Я невольным образом пристал к сим последним и сердечно обрадовался, когда нас позвали обедать. Стол был очень хорош, но риторы не умолкали. Между прочими отличал себя один адвокат, который хотел быть министром^[305] единственно для того, чтобы в шесть месяцев заплатить все долги Франции, умножить втрое доходы ее, обогатить короля, духовенство, дворянство, купцов, художников, ремесленников... Тут господин Гло* схватил его за руку и с важным видом сказал: «Довольно, довольно, о великодушный человек!» Я засмеялся – к счастью, не один. Впрочем, адвокат нимало тем не оскорбился и продолжал доказывать пользу своих великих планов, относясь наиболее к Неккеровому брату, который обедал вместе с нами и который с величайшим терпением слушал его. Таких говорунов ныне тьма в Париже, а особливо под аркадами в Пале-Рояль, и надобно иметь очень здоровую голову, чтобы от их красноречия не чувствовать в ней боли. – Подле меня сидел за столом англичанин, человек умный и важный, который, узнав, что я русский, расспрашивал меня о нашем климате, образе жизни и проч. Известный путешественник Кокс ему приятель; он вместе с ним был в Швейцарии и

Германии. – Мы встали из-за стола в пять часов, и хозяин сказал мне, что я всякое воскресенье могу обедать у него вместе с его приятелями.

Еще было у меня письмо к господину Н*, старому прованскому дворянину, от брата его, эмигранта (с которым я познакомился в Женеве, в доме госпожи К*). Он почти слеп, глух, насилу ходит и живет в Париже для молодой, нежной, томной, белокурой, миловидной жены своей, которая любит спектакли, и проч. «Какая неровная чета! Может ли такое супружество быть счастливо! – думал я, смотря на господина и госпожу Н*, на Вулкана и Венеру, на мертвый Октябрь и цветущий Май. – О природа! В царстве твоём растут ли подле снегов розы?» – Меня приняли с холодной ласкою, так, как здесь обыкновенно чужестранцев принимают; звали обедать, ужинать и проч. Госпожа Н* сказала мне, что ныне в Париже скучно, что она скоро поедет в Швейцарию, поселится на той прекрасной горе близ Нёшателя, которую Руссо описал магическим пером своим в письме к д'Аланберту, и будет жить там счастливо в объятиях природы. Я похвалил ее пиитическое намерение.

Париж ныне не то, что он был. Грозная туча носится над его башнями и помрачает блеск сего некогда пышного города. Златая роскошь, которая прежде царствовала в нем, как в своей любезной столице, – златая роскошь, опустив черное покрывало на горестное лицо свое, поднялась на воздух и скрылась за облаками; остался один бледный луч ее сияния, который едва сверкает на горизонте, подобно умирающей заре вечера. Ужасы революции выгнали из Парижа самых богатейших жителей; знатнейшее дворянство удалилось в чужие земли, а те, которые здесь остались, живут по большей части в тесном круге своих друзей и родственников.

«Здесь, – сказал аббат Н*, ^[306] идучи со мною по улице St. Honoré и указывая тростью на большие дома, которые стоят ныне пустые, – здесь по воскресеньям у маркизы Д* ^[307] съезжались самые модные парижские дамы, знатные люди, славнейшие *остроумцы* (beaux esprits); одни играли в карты, другие судили о житейской философии, о нежных чувствах, приятностях, красоте, вкусе, – тут по четвергам у графини А* ^[308] собирались глубокомысленные политики обоюбого пола, сравнивали Мабли с Жан-Жаком и сочиняли планы для новой Утопии, – там по субботам у баронессы Ф* ^[37] читал М* ^[38] примечания свои на „Книгу бытия“, изъясняя любопытным женщинам свойство древнего хаоса и представляя его в таком ужасном виде, что слушательницы падали в обморок от великого страха. Вы опоздали приехать в Париж; счастливые времена

исчезли; приятные ужины кончились; *хорошее общество* (la bonne compagnie) рассеялось по всем концам земли. Маркиза Д* уехала в Лондон, графиня А* – в Швейцарию, а баронесса Ф* – в Рим, чтобы постричься там в монахини. Порядочный человек не знает теперь, куда деваться, что делать и как провести вечер».

Однако ж аббат Н* (к которому привез я письмо из Женевы от брата его, графа Н*) признался мне, что французы давно уже разучились веселиться в обществах так, как они во время Лудовика XIV веселились, например, в доме известной Марионы де Лорм, графини де ла Сюз, Ниноны Ланкло, где Вольтер сочинял первые стихи свои: где Вуатюр, Сент-Эвремон, Саразен, Граммон, Менаж, Пелиссон, Гено блистали остроумием, сыпали аттическую соль на общий разговор и были законодателями забав и вкуса. – «Жан Ла (или Лас), – продолжал мой аббат, – Жан Ла несчастною выдумкою банка погубил и богатство, и любезность парижских жителей, превратив наших забавных маркизов в торгашей и ростовщиков; где прежде раздроблялись все тонкости общественного ума, где все сокровища, все оттенки французского языка истощались в приятных шутках, в острых словах, там заговорили... о цене банковых ассигнаций, и дома, в которых собиралось лучшее общество, сделались биржами. Обстоятельства переменились – Жан Ла бежал в Италию, – но истинная французская веселость была уже с того времени редким явлением^[309] в парижских собраниях. Начались страшные игры; молодые дамы съезжались по вечерам для того, чтобы разорять друг друга, метали карты направо и налево и забывали искусство граций, искусство нравиться. Потом вошли в моду попугаи и экономисты,^[310] *академические интриги* и энциклопедисты,^[311] *каланбуры* и магнетизм,^[312] химия и драматургия, метафизика и политика. Красавицы сделались авторами и нашли способ... усыплять самых своих любовников. О спектаклях, опере, балетах говорили мы, наконец, математическими посылками и числами изъясняли красоты „Новой Элоизы“. Все философствовали, важничали, хитрили и вводили в язык новые странные выражения, которых бы Расин и Депрео понять не могли или не захотели, – и я не знаю, к чему бы мы наконец должны были прибегнуть от скуки, если бы вдруг не грянул над нами гром революции». Тут мы расстались с аббатом.

Вчера в придворной церкви видел я короля и королеву. Спокойствие, кротость и добродушие изображаются на лице первого, и я уверен, что никакое злое намерение не рождалось в душе его. Есть на свете счастливые

характеры, которые по природному чувству не могут не любить и не делать добра: таков сей государь! Он может быть злополучен: может погибнуть в шумящей буре – но правосудная история впишет Лудовика XVI в число благодетельных царей, и друг человечества прольет в память его слезу сердечную. – Королева, несмотря на все удары рока, прекрасна и величественна, подобно розе, на которую веют холодные ветры, но которая сохраняет еще цвет и красоту свою. Мария рождена быть королевою. Вид, взор, усмешка – все показывает необыкновенную душу. Нельзя, чтобы ее сердце не страдало, но она умеет сокрывать горесть свою, и на светлых глазах ее не приметно ни одного облачка. Улыбаясь так, как грации улыбаются, перебирала она листочки в своем молитвеннике, взглядывала на короля, на принцессу, дочь свою, и снова бралась за книгу. Елисавета, сестра королевская, молилась с великим усердием и набожностью; мне казалось, что по лицу ее катились слезы. – В церкви было множество народу, так что я от жару и духоты упал бы в обморок, если бы одна дама, заметив мою бледность, не подала мне спирту. Все люди смотрели на короля и королеву, еще более на последнюю; иные вздыхали, утирали глаза свои белыми платками; другие смотрели без всякого чувства и смеялись над бледными монахами, которые пели вечерню. – На короле был фиолетовый кафтан; ^[39] на королеве, Елисавете и принцессе – черные платья с простым головным убором. – Дофина видел я в Тюльери. Прекрасная, нежная Ланбаль, ^[313] которой Флориан посвятил «Сказки» свои, вела его за руку. Милый младенец! Ангел красоты и невинности! Как он в темном своем камзолычке с голубою лентою через плечо ^[314] прыгал и веселился на свежем воздухе! Со всех сторон бежали люди смотреть его, и все без шляп; все с радостью окружали любезного младенца, который ласкал их взором и усмешками своими. Народ любит еще кровь царскую!

Париж, апреля... 1790

Говорить ли о французской революции? Вы читаете газеты: следственно, происшествия вам известны. Можно ли было ожидать таких сцен в наше время от зефирных французов, которые славились своею любезностью и пели с восторгом от Кале до Марсели, от Перпиньяна до Стразбурга:

Pour un peuple aimable et sensible
Le premier bien est un bon Roi... —
Для любезного народа

Счастье – добрый государь?

Не думайте, однако ж, чтобы вся нация участвовала в трагедии, которая играет ныне во Франции. Едва ли сотая часть действует; все другие смотрят, судят, спорят, плачут или смеются, бьют в ладоши или освистывают, как в театре! Те, которым потерять нечего, дерзки, как хищные волки; те, которые всего могут лишиться, робки, как зайцы; одни хотят все отнять, другие хотят спасти что-нибудь. Оборонительная война с наглым неприятелем редко бывает счастлива. История не кончилась, но по сие время французское дворянство и духовенство кажутся худыми защитниками трона.

С 14 июля^[315] все твердят во Франции об аристократах и демократах, хвалят и бранят друг друга сими именами, по большей части не зная их смысла. Судите о народном невежестве по следующему анекдоту:

В одной деревеньке близ Парижа крестьяне остановили молодого, хорошо одетого человека и требовали, чтобы он кричал с ними: «Vive la nation!» – «Да здравствует нация!» Молодой человек исполнил их волю, махал шляпою и кричал: «Vive la nation!» «Хорошо! Хорошо! – сказали они. – Мы довольны. Ты добрый француз; ступай куда хочешь. Нет, постой: изъясни нам прежде, что такое... нация?»

Рассказывают, что маленький дофин, играя с своею белкою, щелкает ее по носу и говорит: «Ты аристократ, великий аристократ, белка!» Любезный младенец, беспрестанно слыша это слово, затвердил его.

Один маркиз, ^{40} который был некогда осыпан королевскими милостями, играет теперь не последнюю роль между неприятелями двора. Некоторые из прежних его друзей изъявили ему свое негодование. Он пожал плечами и с холодным видом отвечал им: «Que faire? j'aime leste-te-troubles!» – «Что делать? Я люблю мя-те-те-тежи!» Маркиз – заика.

Но читал ли маркиз историю Греции и Рима? Помнит ли цикуту и скалу Тарпейскую? ^{41} Народ есть острое железо, которым играть опасно, а революция – отверстый гроб для добродетели и – самого злодейства.

Всякое гражданское общество, веками утвержденное, есть святыня для добрых граждан, и в самом несовершеннейшем надобно удивляться чудесной гармонии, благоустройству, порядку. «Утопия»^[316] будет всегда мечтою доброго сердца или может исполниться неприметным действием времени, посредством медленных, но верных, безопасных успехов разума, просвещения, воспитания, добрых нравов. Когда люди уверятся, что для

собственного их счастья добродетель необходима, тогда настанет век золотой, и во всяком правлении человек насладится мирным благополучием жизни. Всякие же насильственные потрясения губительны, и каждый бунтовщик готовит себе эшафот. Предадим, друзья мои, предадим себя во власть провидению: оно, конечно, имеет свой план; в его руке сердца государей – и довольно.

Легкие умы думают, что все легко, мудрые знают опасность всякой перемены и живут тихо. Французская монархия производила великих государей, великих министров, великих людей в разных родах; под ее мирною сению возрастали науки и художества, жизнь общественная украшалась цветами приятностей, бедный находил себе хлеб, богатый наслаждался своим избытком... Но дерзкие подняли секиру на священное дерево, говоря: «Мы лучше сделаем!»

Новые республиканцы с порочными сердцами!^[317] Разверните Плутарха,^[318] и вы услышите от древнего величайшего, добродетельного республиканца Катона, что безначалие хуже всякой власти! —

В заключение сообщу вам несколько стихов из Рабеле, в которых знакомец мой аббат Н* находит предсказание нынешней революции:

GARGANTUA, Ch LYIII

Enigme et Prophete

Je fays sgavoir à qui le veut entendre,
Que cet hyver prochain, sans plus attendre.

En ce lieu où nous sommes,

Il sortira une maniere d'hommes,

Las du repos et faschez du séjour,

Qui franchement iront, et de plein jour,

Suborner gents de toutes qualitez,

A differends et partialitez,

Et qui voudra les croire et escouter,

Quoy qu'il en doive advenir et couter.

Ils feront mettre en debats apparents

Amys entre eux et les proches parents.

Le fils hardi ne craindra l'impropere

De se bander contre son propre père.

Mesme les Grands, de noble lieu saillis,

Dè leurs subjects se verront assaillis,

Et sur ce point naistra tant de meslées,

Tant de discords, venuës et alées,

Que nulle histiore, où sont les grands merveilles,
N'a fait récit d'emoions pareilles.
Alors auront non moindre authonté
Homines sans foy, que gents de vérité;
Car tous suivront la creance et estude
De l'ignorante et sotte multitude,
Dont le plus lourd sera reçu pour juge.
O dommageable et penible deluge!
Deluge, dis-je, et à bonne raison;
Car ce travail ne perdra sa saison,
Et n'en sera la terre dclivreé,
Jusques a tant qu'elle soil ennyvrée
De flots de sang...

Французский старинный язык, может быть, для вас темен. Я переведу:

«Объявляю всем, кто хочет знать, что не далее как в следующую зиму увидим во Франции злодеев, которые явно будут развращать людей всякого состояния и поссорят друзей с друзьями, родных с родными. Дерзкий сын не побоится восстать против отца своего, и раб против господина так, что в самой чудесной истории не найдем примеров подобного раздора, волнения и мятежа. Тогда нечестивые, вероломные сравняются властью с добрыми; тогда глупая чернь будет давать законы и бессмысленные сядут на место судей. О страшный, гибельный потоп! *Потоп*, говорю: ибо земля освободится от сего бедствия не иначе, как *упившись* кровию».

Париж, апреля...

В четверг, в пятницу и в субботу на страстной неделе бывало здесь славное гулянье в аллеях Булонского лесу, *бывало*, потому что нынешнее, мною виденное, совсем не могло войти в сравнение с прежними, для которых богачи и щеголи нарочно заказывали новые экипажи и где четыре, пять тысяч карет, одна другой лучше, блистательнее, моднее, являлись глазам зрителей. Я ходил туда пешком и видел около тысячи экипажей, но ни одного великолепного. Это гулянье напомнило мне наше, московское, 1 мая. ^[319] Так же карета за каретою от Елисейских полей до монастыря Longchamp. Народ стоял в два ряда подле дороги, шумел, кричал и смеялся непристойным образом над гуляющими. Например: «Смотрите! Вот едет торговка из рыбного ряда с своею соседкою башмачницею! Вот красный нос, самый длинный во всем Париже! Вот молодая кокетка в семьдесят лет:

влюбляйтесь! Вот кавалер святого Лудовика с молодой женою и с рогами! Вот философ, который продает свой ум за две копейки!» – Молодые франты прыгали на английских конях, заглядывали в каждую карету и дразнили чернь. «Allons, allons, mes amis! de l'esprit, de l'esprit! Bon; c'est de la vraie gaieté Parisienne!»^[320] Другие бродили пешком с длинными деревянными саблями^[321] вместо тростей, pour se confondre avec le peuple.^[322] – Прежде более всего отличались тут славные жрицы Венерины; они выезжали в самых лучших экипажах. Одна молодая актриса разорвала связь свою с графом Д*, прекрасным мужчиною. Ее знакомые удивлялись. «Чему дивиться? – сказала им актриса. – Он чудовище, изверг: он не хотел подарить мне новой кареты для Булонского гулянья. Я должна была предпочесть ему старого маркиза, который заложил все бриллианты жены своей, чтобы купить мне самую дорогую карету в Париже!»

Я прошел в монастырь Longchamp, видел гробницу Изабеллы, сестры Лудовика Святого, и две остроумные надписи под монументами отца Фременя и брата Франциска Серафима. Первая:

Fremin, tu fais frémir le sort,
Et ton nom vit malgré la mort.^[323]

Другая:

Qui la vie a vécu de François Seraphique,
80 ans sur terre, au Ciel vit l'angélique.^[324]

Париж, апреля 29, 1790

Ныне целый день просидел я в комнате своей, один, с головною болью, но, когда стало смеркаться, вышел на Pont neuf^[325] и, облокотясь на подножие Генриковой статуи, смотрел с великим удовольствием, как тени ночные мешались с умирающим светом дня, как звезды на небе, а фонари на улицах засвечались. С приезде моего в Париж все вечера без исключения проводил я в спектаклях и потому около месяца не видал сумерек. Как они хороши весною, даже и в шумном, немилостивом Париже!

Целый месяц быть всякий день в спектаклях! Быть и не насытиться ни смехом Талии, ни слезами Мельпомены!.. И всякий раз наслаждаться их

приятностями с новым чувством!.. Сам дивлюсь; но это правда.

Правда и то, что я не имел прежде достаточного понятия о французских театрах. Теперь скажу, что они доведены, каждый в своем роде, до возможного совершенства и что все части спектакля составляют здесь прекрасную гармонию, которая самым приятнейшим образом действует на сердце зрителя.

В Париже пять главных театров: {42} Большая опера, так называемый Французский театр (les François), Италиянский (les Italiens), графа Прованского (Théâtre de Monsieur) и Variétés – всякий день играют на них, и всякий день (подивитесь французам!) бывают они наполнены людьми, так что в шесть часов вы едва ли где-нибудь найдете место.

Кто был в Париже, говорят французы, и не видал Большой оперы, подобен тому, кто был в Риме и не видал папы. В самом деле, она есть нечто весьма великолепное, и наиболее по своим блестящим декорациям и прекрасным балетам. Здесь видите вы – то Поля Елисейские, где блаженствуют души праведных, где вечная весна зеленеет, где слух ваш пленяется тихими звуками лир, где все любезно, восхитительно – то мрачный Тартар, где вздохи умирающих волнуют страшный Ахерон, где шум черного Коцита и Стикса заглушается стенанием и плачем бедствия, где волны Флегетона пылают, где Тантал, Иксион и данаиды вечно страдают и не видят конца своим мучениям, где светлая Лета томным журчанием призывает несчастных к забвению житейских забот и горестей. Здесь видите, как Орфей скитается в черных лесах подземного царства, как фурии терзают Ореста, как Язон сражается с огнем, с пламенем и с чудовищами, как раздраженная Медея, проклиная неблагодарность людей, летит с громом и молниєю на вершину Кавказа, как египтяне в печальных хорах оплакивают смерть добродетельного царя своего и как горестная Нефта над великолепным памятником супруга клянется вечно боготворить его в сердце своем; как Ринальдо тает в восторге у ног пламенной Армиды, среди бесчисленных красот волшебного искусства, рассеянных в садах ее; как Диана спускается на светлом облаке, целует Эндимиона и блестящими слезами страстную грудь свою орошает; как величественная Калипса истощает все возможные очарования, чтобы пленить юного Телемака; как резвые, милые нимфы – одна другой резвее, одна другой милее – окружают его с арфами и лирами, играют и поют любовь и каждым сладострастным движением говорят ему: «Люби! Люби!»; как нежный Телемак колеблется, чувствует слабость свою, забывает советы мудрости, и... сверженный благодетельною рукою Ментора, летит с высокого каменного берега в шумящее море, летит вместе с душою зрителей.

Все сие так живо, так естественно, что я тысячу раз забывался и принимал искусственное подражание за самую природу. Едва могу верить глазам своим, видя быструю перемену декораций. В одно мгновение рай превращается в ад; в одно мгновение проливаются моря там, где луга зеленели, где цветы расцветали и где пастухи на свирелях играли; светлое небо покрывается густым мраком, черные тучи несутся на крыльях ревущей бури, и зритель трепещет в душе своей: еще один миг, и мрак исчезает, и тучи скрываются, и бури умолкают, и сердце ваше светлеет вместе с видимыми предметами.

Несмотря на множество здешних искусных танцовщиков, Вестрис сияет между ними, как Сириус между звездами. Все его движения так приятны, так живы, так выразительны, что я всегда смотрю, дивлюсь и не могу сам себе изъяснить удовольствия, которое доставляет мне сей единственный танцовщик: легкость, стройность, гармония, чувство, жизнь – все соединяется вместе, и если можно быть ритором без слов, то Вестрис в своем роде Цицерон. Никакие стихотворцы не опишут того, что блистает в его глазах, что выражает игра его мускулов, когда милая, стыдливая пастушка говорит ему нежным взором: «Люблю!», когда он, бросаясь к ее сердцу, призывает небо и землю во свидетели своего блаженства. Живописец положит кисть и скажет только: «Вестрис!» – Гардель бесподобен в трагической пантомиме. Какое величество! Герой в каждом взоре, герой в каждом движении! Вестрис – питомец милых граций, а Гардель – ученик важных муз. – Нивлон есть второй Вестрис. О других танцовщиках скажу только, что они составляют прекрасную группу живописных фигур, пленительную для зрения. – Когда же являются на сцене Терпсихорины нимфы, как будто бы на крыльях зефира принесенные, тогда сцена кажется мне весенним лугом, на котором пестреют бесчисленные цветы; взор теряется между разнообразными красотами – но любезная Периньон и прелестная Миллер подобны пышной розе и гордой лилее, которые отличаются от всех других цветов.

Лаис, Шенар, Лене, Руссо – вот первые певцы оперы,^[326] и если верить французам, то никогда и никакая земля не производила лучших. Они нравятся мне не только пением, но и самою игрою: два таланта, которые не всегда бывают вместе! Маркези никогда не мог тронуть меня так, как Лаис и Шенар трогают. Пусть смеются над моею простотою и невежеством, но в голосе сего славного итальянского певца нет того, что для меня всего любезнее, – нет души! Вы спросите, что я разумею под сею душою? Не умею изъяснить, однако ж чувствую. Ах! Какой Маркези может петь так хорошо:

J'ai perdu mon Eurydice:
Rien n'égale mon malheur!^[327]

Какой итальянский получеловек^[328] может петь сию несравненную Глукову арию с таким сердечным выражением, как Руссо, молодой, статный, прекрасный Руссо, достойный Эвридики?

Мальяр есть теперь первая певица. Вы слышали о Сент-Юберти: ее уже нет! Говорят, что она сошла с ума. Любители оперы вспоминают об ней почти со слезами.

Сим декорациям, балетам, певцам совершенно отвечает и оркестр, составленный из лучших музыкантов Парижа. Одним словом, любезные друзья, здесь торжествуют искусства на высочайшей степени совершенства и все вместе производят в зрителе чувство, которое без всякой гиперболы можно назвать восхищением. – Такой спектакль требует, конечно, больших издержек. Несмотря на то, что за вход в ложи и в паркет платят (на наши деньги) рубли по два и по три; несмотря на то, что все сии дорогие места бывают наполнены людьми, опера стоила двору, по счету Неккерову, около трех или четырех миллионов в год.

На так называемом Французском театре играют трагедии, драмы и большие комедии. – Я и теперь не переменяю мнения своего о французской Мельпомене. Она благородна, величественна, прекрасна, но никогда не тронет, не потрясет сердца моего так, как муза Шекспирова и некоторых (правда, немногих) немцев. Французские поэты имеют тонкий, нежный вкус и в *искусстве писать* могут служить образцами. Только в рассуждение изобретения, жара и глубокого *чувства природы* – простите мне, священные тени Корнелей, Расинов и Вольтеров! – должны они уступить преимущество англичанам и немцам. Трагедии их наполнены изящными картинами, в которых весьма искусно подобраны краски к краскам, тени к теням, но я удивляюсь им по большей части с холодным сердцем. Везде смесь естественного с романическим; везде *mes feux, ma foi*,^[329] везде греки и римляне *à la Française*,^[330] которые тают в любовных восторгах, иногда философствуют, выражают одну мысль разными отборными словами и, теряясь в лабиринте красноречия, забывают действовать. Здешняя публика требует от автора прекрасных стихов, *des vers à retenir*,^[331] они прославляют пиесу, и для того стихотворцы стараются всячески умножать их число, занимаясь тем более, нежели важностию приключений,

нежели новыми, чрезвычайными, но естественными *положениями* (situations), и забывая, что характер всего более обнаруживается в сих необыкновенных случаях, от которых и слова заимствуют силу свою. ^[43]

Коротко сказать, творения французской Мельпомены славны – и будут всегда славны – красотой слога и блестящими стихами, но если трагедия должна глубоко трогать наше сердце или ужасать душу, то соотечественники Вольтеровы не имеют, может быть, ни двух истинных трагедий, и д'Аланберт сказал весьма справедливо, что все их пиесы сочинены более для чтения, нежели для театра.

Когда же они непременно должны быть играны, то по крайней мере надобно для них таких актеров, как Ларив, Сей-При, Сен-Фаль, и таких актрис, как Сенваль, Рокур, и проч., которые заступили ныне место Барона и Лекеня, Лекуврер и Клерон. Вот декламация! вот *действие!* Благородство в виде, величавость поступи, ясность, чистота в произношении, и в каждом слове душа, то есть всякая поэтова мысль оттенена, всякая мысль выражена свойственным ей тоном и в гармонии с игрою глаз, с движением руки; везде живопись, везде картины – и если зритель, несмотря на сие утончение искусства, остается холоден, то, конечно, не актеры виноваты.

Ларив – царь на сцене. Совершенно греческая фигура и редкий орган! – Сей актер совсем было простился с театром. Рассказывают, что он, не любя молодой актрисы Дегарсень (которую можно назвать живым образом слабой томности), старался всячески замешивать ее в игре. Публика с неудовольствием заметила сию непохвальную черту сердца его, и славный Ларив был освистан партером, после чего он скрылся и клялся никогда уже не выходить на сцену. Но – где клятва, тут и преступление. Два года бездействия ему наскучили. Привыкший к хвале и рукоплесканиям, без них не мог быть счастлив, сражался сам с собою и наконец, оставя все сомнения, снова явился на сцене в роли Эдипа. ^[332] Я видел его. Ужасное стечение людей! Не говоря о паркете, ложах, партере – самый оркестр был наполнен зрителями, которым музыканты уступили свои места. В пять часов начался стук и топот нетерпения; в половине шестого поднялся занавес – и все утихло. Первое явление – Эдипа нет – молчание царствовало. Но лишь только Димас сказал: «Oedipe en ces lieux va paraître», ^[333] страшные рукоплескания загремели, которые продолжались до самой той минуты, как Ларив вышел, в великолепной греческой белой одежде, распустив по плечам русые волосы, и гордо-смирненным наклоном головы изъявил публике благодарную свою чувствительность. – В течение всех пяти актов громкая хвала не умолкала.

Ларив старался всеми силами заслуживать ее и, как французы говорят, превосходил в искусстве самого себя, не жалея бедной своей груди. Не понимаю, как он мог выдержать до конца трагедии; не понимаю, как и зрители не устали от рукоплескания. В той сцене, где Эдип узнает, что он умертвил отца, что он – супруг своей матери, узнает и страшным образом проклиная судьбу, ^[44] я почти оцепенел. Никакая кисть не изобразит того, что свирепствовало на лице Ларива в сию минуту: ужас, грызение сердца, отчаяние, гнев, ожесточение и все, все, чего не могу выразить словами. Зрители ахнули, когда он, терзаемый, гонимый фуриями, бросился со сцены и ударился головою о перистиль так, что все колонны задрожали. Вдали слышны были его стенания. – Публика не насытилась еще Эдипом своим и по окончании пиесы вызвала бедного Ларива на сцену. Актриса Рокур, которая представляла Иокасту, держала его за руку; едва мог он сказать два или три слова и готов был упасть на землю – занавес опустился.

Сен-При играет одни роли с Ларивом: искусный актер с великими талантами, но – не Ларив. – Сен-Фаль представляет любовников в трагедиях и драмах: молодой, статный человек приятного вида. В Корнелевом «Сиде» он восхищает публику. Так надобно играть Родрига, кроме двух или трех сцен, где я не совершенно доволен был игрою сего актера. Например, описывая королю сражение с маврами, излишно старался он выразить в голосе своем – сперва тишину ночи, а потом шум битвы, стук мечей и проч. Французы хлопали, но те, которые размышляли о правилах истинной мимики, не могут любить такого неестественного подражания. – Сенваль – первая трагическая актриса, хотя слишком стара и немилостива для роли любовниц, однако ж нравится блестящим своим искусством и жаром игры. – Рокур есть совершенная Медея, и потому в сей роли она несравненна. Величественная фигура, большие черные глаза, которые между густыми ресницами сияют, как молнии ночью; волосы, как вороново крыло; все черты лица правильны, но не милы; красота без нежности; суровость в самой улыбке; голос твердый и пронизательный – одним словом, Медея. И теперь вижу я, как развевается на ней огненная мантия с волшебными знаками и как ужасно сверкает острый кинжал в руках раздраженной полубогини, сверкает вместе с ее взором. Одна Рокур может сказать так разительно сии слова:

Le destin de Medée est d'être criminelle;
Mais son coeur était fait pour aimer la vertu. ^[334]

Славная актриса Конта – славная своею красотою и кокетством более, нежели театальною игрою, – представляет роли любовниц в комедиях и драмах, иногда и в трагедиях. Ей теперь за тридцать лет, но она все еще хороша, и партер наполнен ее обожателями, счастливыми и несчастными. Сказывают, что один молодой граф от любви к ней сошел с ума и заключился в картезианском монастыре. Никогда не бывает она так прелестна, как в новой пиесе «Le Convent».^[335] Черное платье, белое покрывало, вид невинности, чистосердечия... Ах, бедный граф! Я верю твоему сумасшествию! – Зрители всегда заставляют ее несколько раз повторять арию:

L'attrait qui fait chérir ces lieux,
Est le charme de l'innocence.^[336]

Несказанно приятный голос! – Но никто из актеров сего театра не делает мне столько удовольствия, как Моле, единственный, несравненный Моле, играющий по большей части ролю отцов в комедиях. Наш Померанцев кажется учеником его. Я два раза удивлялся ему в Мольеровом и Фабровом «Мизантропе»^[337] и два раза плакал от него в «Монтескье», Мерсьеровой драме. Такой благородный вид, такую улыбку добродушия, человеколюбия, обходительности надлежало иметь автору бессмертной книги о «Законах».^[338]

Я не буду говорить о других комических актерах сего театра: их много. – Но в заключение скажу, что Талия британская и Талия Германии должны уступить преимущество французской. Английские комедии по большей части или скучны, или грубы, неблагопристойны, оскорбительны для всякого нежного вкуса, а немецкие, кроме некоторых посредственных, совсем недостойны внимания.

Так называемый Италиянский театр, но где играют одни французские мелодрамы, есть мой любимый^[339] спектакль: я бываю в нем чаще, нежели в других, и всегда с великим удовольствием слушаю музыку французских сочинителей, восхищаюсь игрою славной актрисы Дюгазон и пением Розы Рено, милой девушки лет в двадцать, которую публика до небес превозносит и которая, в самом деле, есть теперь лучшая певица в Париже.

Мне полюбились две новые мелодрамы, играемые на сем театре: «Рауль, Синяя Борода» и «Петр Великий».^[45] Содержание первой взято из

старинной сказки и очень, очень театрально. Рауль, богатый дворянин, влюбляется в Розалию, любезную девушку, сестру одного небогатого рыцаря, и предлагает ей руку свою вместе с блестящими подарками. Красавица чувствует некоторую склонность к молодому Вержи, который любит ее страстно; но ах! Бедный Вержи не имеет ничего, кроме доброго, нежного сердца, а доброе и нежное сердце не всегда заменяет в глазах красавиц дары счастья. Богатство Раулево ослепляет Розалию. Она рассматривает подарки... Какое великолепие! Какой вкус! Более всего нравится ей прекрасный головной убор, осыпанный бриллиантами; она надевает его, подходит к зеркалу... и подает руку гордому Раулю. Бедный Вержи плачет и скрывается. Розалия живет в огромном замке, где все служит ей, как богине, где все льстит ее суетности. Иногда, но очень редко, вылетает вздох из неверной груди; иногда, но очень редко, кажется ей, что с добрым, пламенным Вержи была бы она счастливее, нежели с холодным своим супругом. – Скоро Рауль едет – неизвестно куда – и прощаясь с красавицею, отдает ей ключ от одной запертой комнаты. «Если не хочешь моей гибели, – говорит он, – если не хочешь сама погибнуть, то не будь любопытна!» Розалия клянется – в чем иногда не клянутся милые женщины? – клянется и через две минуты... отпирает дверь... Вообразите ужас ее!.. Она видит головы двух прежних Раулевых жен с огненною надписью: «Вот доля твоя!» (Раулю было пророчество, что любопытство жены погубит его; для того он испытывал супруг своих и умерщвлял их за сию слабость, надеясь спасти тем собственную жизнь.) Дюгазон представляет Розалию. Бледная, с распущенными волосами, она бросается на креслы и поет дрожащим голосом:

Ah, quel sort
Le barbare
Me prépare!
C'est la mort!
C'est la mort!^[340]

В сию минуту является Вержи, в женском платье, под именем Розалииной сестры. Какое свидание! Должно спасти погибающую; но как? Вержи без оружия, среди множества неприятностей. Одно средство остается: уведомить обо всем Розалиина брата. Вержи отправляет к нему письмо с конюшим своим. – Между тем Рауль возвращается; он знает все и грозным голосом велит Розалии готовиться к смерти. Ни слезы, ни жалобы

не смягчают его – нет избавления! Тщетно любовник смотрит в поле,
нетерпеливо ожидая помощи —

Реки там, вийсь, сверкают,
Солнца ясные лучи
Всю природу озлащают, —
Но булатные мечи
Не сияют, не сверкают.

Нет помощи! Не спешат рыцари избавить Розалию! Наконец отчаянный Вержи рассказывает о себе Раулю, что он не женщина, что он любит его супругу и хочет умереть вместе с нею; его ведут в темницу. Розалия ожидает смертоносного удара, острый меч блистает над ее головою... Но вдруг с шумом отворяются двери, вооруженные рыцари нападают на Рауля и воинов его, побеждают – и Розалия узнает своего брата. Жестокий ее супруг умирает; нежный Вержи падает перед нею на колени... Занавес опускается. – Гретри сочинял музыку: она прекрасна. —

В мелодраме «Петр Великий» есть очень трогательные сцены; по крайней мере для русского. Действие происходит недалеко от границ России. – Государь с другом своим Лефортом, живучи в маленькой деревеньке на берегу моря, учится корабельному искусству и всякий день с утра до вечера трудится в пристани. Все почитают его обыкновенным работником и называют добрым, смышленным, умным Петром. Молодой видный актер Мишу играет эту роль; мне казался он живым портретом нашего императора. Может быть, и воображение мое прибавило нечто к сему сходству, но я не хотел чувствовать обмана – хотел им наслаждаться. В той же деревне живет прелестная Катерина, молодая, добродетельная вдова, нежно любимая поселянами. Государь, пылкий во всех своих склонностях, скорый во всех движениях сердца, влюбляется в ее красоту, в милую душу и открывает ей страсть свою. Катерина обожает Петра: никогда еще глаза ее не видали такого прекрасного, величественного, любезного человека, и никогда сердце ее столь охотно не следовало за глазами. Она не таит своих чувств и подает ему руку; слезы восторга катятся по лицу ее. Государь клянется быть ей нежным *супругом*: слово вылетело из уст его – оно свято. Лефорт, оставшись наедине с монархом, говорит ему: «Бедная крестьянка будет супругою моего императора! Но ты во всех своих делах беспримерен; ты велик духом своим; хочешь возвыситься в отечестве нашем сан человека и презираешь суетную надменность людей;

одно душевное благородство достойно уважения в глазах твоих; Катерина благородна душою – итак, да будет она супругою моего государя, моего отца и друга!» Второе действие открывается сговором. Столетние старцы, опираясь на плечо внучат своих, приходят к невесте; хладными, слабыми руками пожимают ее руку и с радостными слезами желают ей благополучия. Молодые девушки приносят розовые венки, украшают ими любезную чету и поют свадебные песни. «Добрый Петр! – говорят старцы. – Люби всегда милую Катерину и будь другом нашей деревни!» Государь тронут до глубины сердца. «Вот другая блаженная минута в жизни моей! – тихо говорит он Лефорту. – Первою наслаждался я тогда, когда решился в душе своей быть отцом и просветителем миллионов людей и дал в том клятву всевышнему». – Все садятся вокруг любовников; все веселы и счастливы! Старики знают, что Лефорт имеет приятный голос, и для того просят его спеть какую-нибудь старинную песню; он думает, берет цитру, играет и поет:

Жил-был в свете добрый царь,
Православный государь.
Все сердца его любили,
Все отцом и другом чтили.

Любит царь детей своих,
Хочет он блаженства их:
Сан и пышность забывает —
Трон, порфиру оставляет. —

Царь как странник в путь идет
И обходит целый свет.
Посох есть ему – держава,
Все опасности – забава.

Для чего ж оставил он
Царский сан и светлый трон?
Для чего ему скитаться —
Хладу, зною подвергаться?

Чтоб везде добро собирать,
Душу, сердце украшать
Просвещения цветами,

Трудолюбия плодами.

Для чего ж ему желать
Душу, сердце украшать
Просвещения цветами,
Трудолюбия плодами?

Чтобы мудростью своей
Озарить умы людей,
Чад и подданных прославить
И в *искусстве жить* наставить.

О *великий* государь!
Первый, первый в свете царь! —
Всю вселенную пройдете,
Но другого не найдете.

Лефорт забыл конец песни. Добрые крестьяне хвалят ее; только не хотят верить, чтобы в самом деле был на свете такой государь. Катерина более всех тронута; в черных глазах ее блистают слезы. «Нет, – говорит она Лефорту, – нет, ты нас не обманываешь; песня твоя справедлива: иначе ты не мог бы петь ее с таким сердечным жаром!» Вообразите чувствительность государя! – Но скоро действие переменяется. Приезжает Меншиков, вызывает императора и сказывает ему, что в России прошел ложный слух о его смерти, что зломышленники развевают везде пламя бунта, что ему непременно должно возвратиться как можно скорее в Москву и что верный Преображенский полк ожидает его на границе. Император не страшится мятежников – один величественный, светлый взор его может рассеять все тучи на горизонте России, – но он спешит явиться глазам любезной своей гвардии. Нежная Катерина ждет друга, но тщетно; ищет его и не находит. Ей сказывают, что он уехал. Сердце ее хладеет. «Петр оставил, обманул меня!..» Сии слова умирают на бледных устах ее. Но когда она, после жестокого обморока, приходит в себя, Петр стоит на коленях перед нею, уже не в платье бедного работника, но в великолепной одежде царской, окруженный вельможами. Катерина не видит ничего, кроме своего милого друга; оживает, восхищается и забывает упреки. Государь открывает ей все. «Я хотел обладать нежным сердцем, – говорит он, – которое любило бы во мне не императора, но человека: вон оно!

(Обнимая Катерину.) Сердце и рука моя твои; прими же от меня и корону! Не она, но ты будешь украшать ее». – Удивленная Катерина не радуется венцу царскому; она хотела бы жить с любезным Петром своим в бедной хижине, но Петр и на троне мил душе ее. Вельможи упадают перед нею на колени – весь Преображенский полк выходит на сцену – радостные восклицания гремят в воздухе – восклицания: «Да здравствуют Петр и Екатерина!» Государь обнимает супругу – занавес опускается. Я отираю слезы свои – и радуюсь, что я русский. Автор пьесы есть г. Бульи. – Жаль только, что французы нарядили государя, Менщикова и Лефорта в польское платье, а Преображенских солдат и офицеров – в крестьянские зеленые кафтаны с желтыми кушаками. Зрители вокруг меня говорили, что русские и ныне точно так одеваются, а я, занимаясь драмою, не почел за нужное выводить их из заблуждения.

На театре графа Прованского (Théâtre de Monsieur) представляют по большей части италиянские комические оперы, иногда же маленькие французские пьесы. Говорят, что в Италии нет и не бывало подобной труппы: редкие таланты! Г-жа Балетти есть первая певица и славна не только своим голосом, красотой, но и беспорочным поведением. Парижская актриса и добродетель: чудная связь. И потому английские лорды со вздохом говорят, что она – Феникс.^[341] – Из певцов славнейшие Раффанелли, Мандини и Виганони.

Новый Театр des Varietes огромнее всех здешних театров: великолепная зала, прекрасные ложи, блестящая авансцена! – Там представляются комедии и драмы иногда очень хорошо, иногда посредственно. Известный Монвель, один из первых парижских актеров, второй Лекень, играет ныне в Variétés. Он стар, не имеет ни голоса, ни фигуры, но все сии недостатки заменяет искусством и живостью игры. Всякое слово его впечатлевается в душу зрителя; глаза его в одну минуту и меркнут, и воспаляются; я боюсь смигнуть с него, когда он выходит на сцену. Ларив, Монвель, Моле – вот три актера, которые, может быть, во всей Европе не найдут себе двух подобных.

Кроме сих главных пяти театров, есть в Париже множество других в Palais Royal, на *булеварях*,^{46} и для всякого спектакля находятся особливые зрители. Не говоря уже о богатых людях, которые живут только для удовольствий и рассеяния, самые бедные ремесленники, савояры, разносчики почитают за необходимость быть в театре два или три раза в неделю; плачут, смеются, хлопают, свищут и решают судьбу пьес. В самом

деле, между ними есть много знатоков, которые замечают всякую счастливую мысль автора, всякое счастливое выражение актера. A force de forger on devient forgeron^[342] —ия часто удивлялся верному вкусу здешних партеров, которые по большей части бывают наполнены людьми низкого состояния. Англичанин торжествует в парламенте и на бирже, немец – в ученом кабинете, француз – в театре.

Только на две недели в году закрываются здесь спектакли, то есть на страстную и святую неделю; но как французам жить и четырнадцать дней без публичных веселий? Тогда всякий вечер в оперном доме бывает духовный концерт, concert spirituel, где лучшие виртуозы на разных инструментах показывают свое искусство и где провел я несколько весьма приятных и, можно сказать, сладких часов, слушая Гайденову «Stabat Mater»,^{[343][344]} Иомеллиево «Miserere»^[345] и проч. Несколько раз грудь моя орошалась жаркими слезами—яне отирал их – я их не чувствовал. – Небесная музыка! Наслаждаясь тобою, возвышаюсь духом и не завидую ангелам. Кто докажет мне, чтобы душа моя, удобная к таким святым, чистым, эфирным радостям, не имела в себе чего-нибудь божественного, нетленного? Сии нежные звуки, веющие, как зефир, на сердце мое, могут ли быть пищею смертного, грубого существа? – Но ничто в этом концерте не трогало меня так сильно, как один прекрасный дуэт Лаиса и Руссо. Они пели – оркестр молчал – слушатели едва дышали... Несравненно!

Париж, апреля...

Отчего сердце мое страдает иногда без всякой известной мне причины? Отчего свет помрачается в глазах моих, тогда как лучезарное солнце сияет на небе? Как изъяснить сии жестокие меланхолические припадки, в которых вся душа моя сжимается и хладеет?.. Неужели сия тоска есть предчувствие отдельных бедствий? Неужели она есть не что иное, как задаток тех горестей, которыми судьба намерена посетить меня в будущем?..

Часов шесть бродил я по окрестностям Парижа в самом грустном расположении духа; пришел в Булонский лес и увидел перед собою готический замок «Мадрит», построенный в XVI веке, окруженный глубокими рвами и темными аркадами. Террасы его заросли высокою травой. Где Франциск I наслаждался всеми приятностями любви и роскоши:^[346] где нежные звуки арф и гитар усыпляли его в объятиях богини сладострастия, там ныне пустота и молчание царствуют... Вокруг меня бегали олени; солнце катилось к западу; ветер шумел в густоте леса. Я

хотел видеть внутренность замка... Барельефы крыльца, представляющие разные сцены из «Метаморфоз» Овидиевых, покрылись зеленым мохом; здесь, над пламенным сердцем нежного Пирама, умирающего от любви к Тизбе, развевается хладная полынь; там время рукою своею изглаживает картину Юнонина мщения, превратившего в пепел злосчастную Семелею... В первой, второй, третьей зале все пусто и мрачно; в четвертой, украшенной резьбой и живописью, услышал я тяжелый вздох... осмотрелся кругом и... представьте себе мое удивление!.. В углу сей огромной залы, подле мраморного камина, на больших креслах сидела старая женщина лет шестидесяти, бледная, сухая, в раздранном рубище... Она взглянула на меня, кивнула головою и тихим голосом сказала: «Добрый вечер!..» Несколько минут стоял я неподвижно на одном месте; наконец подошел, начал говорить с нею и узнал, что она нищая, собирает милостыню в Париже, в окрестных деревнях и уже два года живет в пустом замке «Мадрите». – «Никто не тревожит тебя здесь?» – спросил я. – «Кому тревожить? Один раз пришел сюда надзиратель и увидел меня, лежащую на соломе в передней горнице. Я рассказала ему свою историю, историю моей дочери – он заплакал – дал мне три ливра и велел жить в этой зале, для того что в ней целы окончины, для того что в ней не дует ветер. Добрый человек!» – «У тебя есть дочь?» – «Была, была; теперь она там, выше замка „Мадрита“. Ах! мы жили с нею как в раю: жили в низенькой хижине, спокойно и счастливо! Тогда и свет был лучше; тогда и все люди были добрее. Знаешь ли, как у нас в деревне называли ее? Мужчины – соловьем, а женщины – малиновкой. Она любила петь, сидя под окном или ходя в роще за цветами; все останавливались и слушали. У меня сердце прыгало от радости. Тогда заимодавцы нас не мучили. Луиза попросит, и всякий готов ждать. Луиза умерла, и меня выгнали из хижины с клюкою и котомкою. Ходи по миру и лей слезы на холодные камни!» – «У тебя нет родни?» – «Есть; да ныне всякий об себе думает. Кому до меня нужда? Я не люблю скучать собою. Слава богу! Нашла пристанище. Знаешь ли, что здесь жывал король Франсуа? Я заступила его место. Иногда, по ночам, кажется мне, будто он расхаживает по горницам с своими министрами, генералами и разговаривает о старине». – «И тебе здесь не страшно?» – «Страшно? Нет, я уже давно перестала бояться». – «Что же будет с тобою, добрая старушка, когда ты занеможешь, когда ноги твои от старости...» – «Что будет? Я умру – меня погребут, и все дело с концом». – Мы замолчали... Я подошел к окну и смотрел на заходящее солнце, которое тихими лучами своими освещало разнообразные картины парижских окрестностей. «Боже мой! Сколько великолепие в физическом мире, –

думал я, – и сколько бедствия в нравственном! Может ли несчастный, угнетенный бременем бытия своего, отверженный, уединенный среди множества людей, хладных и жестоких, – может ли он веселиться твоим великолепием, золотое солнце! Твоею чистою лазурью, светлое небо! Вашею красотою, зеленые луга и рощи? Нет, он томится, всегда, везде томится, бедный страдалец! Темная ночь, сокрой его! Шумящая буря, унеси его... туда, туда, где добрые не тоскуют; где волны океана, океана вечности, прохлаждают истлевшее сердце!..»

Солнце закатилось. Я пожал руку бедной старушки – и возвратился в Париж.

Париж, мая...

Сейчас получил от вас письмо – и как обрадовался, нет нужды сказывать. Можно ли, что вы не писали ко мне от 14 февраля до 7 апреля? Любезные друзья мои, конечно, не знали, как дорого стоило их молчание бедному русскому путешественнику; иначе, без сомнения, они не заставили бы его мучиться. Извините, если это похоже на выговор; мне, право, было очень грустно. Теперь говорю: «Слава богу» – и все забываю.

Вам казалось, что я никогда не выеду из Женевы, а если бы вы знали, как мне наконец стало там скучно! Спросите, для чего я тотчас не выехал оттуда? Единственно для того, что всякий день ожидал ваших писем, – и время проходило. Мне очень хотелось возобновить свое путешествие с покойным сердцем, чего, однако ж, не сделалось.

Правда, любезный А. А., Париж есть город единственный. Нигде, может быть, нельзя найти столько материи для философских наблюдений, как здесь; нигде столько любопытных предметов для человека, умеющего ценить искусства; нигде столько рассеяния и забав. Но где же и столько опасностей для философии, особливо для сердца? Здесь тысячи сетей расставлены для всякой его слабости... Шумный океан, где быстрое стремление волн мчит вас от Харибды к Сцилле, от Сциллы к Харибде! Сирен множество, и пение их так сладостно, усыпительно... Как легко забыться, заснуть! Но пробуждение едва ли не всегда горестно – и первый предмет, который явится глазам, будет пустой кошелек.

Однако ж не надобно себе воображать, что парижская приятная жизнь очень дорога для всякого; напротив того, здесь можно за небольшие деньги наслаждаться всеми удовольствиями по своему вкусу. Я говорю о *позволенных*, ив строгом смысле позволенных, удовольствиях. Если же кто вздумает *коротко* знакомиться с певицами или актрисами или в тех домах, где играют в карты, не отказываться ни от какой партии, тому надобно

английское богатство. И домом жить дорого, то есть дороже, нежели у нас в Москве. Но вот как можно весело проводить время и тратить не много денег:

Иметь хорошую комнату в лучшей отели,^[347] поутру читать разные журналы, газеты, где всегда найдешь что-нибудь занимательное, жалкое, смешное, и между тем пить кофе, какого не умеют варить ни в Германии, ни в Швейцарии; потом кликнуть парикмахера, говоруна, вралю, который наскажет вам множество забавного вздору о Мирабо и Мори, о Бальи и Лафаете, намажет вашу голову прованскими духами и напудрит самую белую, легкую пудрою; а там, надев чистый простой фрак, *бродить* по городу, зайти в «Пале-Рояль», в Тюльери, в Елисейские поля, к известному писателю, к художнику, в лавки, где продаются эстампы и картины – к Дидоту, любоваться его прекрасными изданиями классических авторов, обедать у ресторатёра,^[348] где подадут вам за рубль пять или шесть хорошо приготовленных блюд с десертом; посмотреть на часы и расположить время свое до шести, чтобы, осмотрев какую-нибудь церковь, украшенную монументами, или галерею картинную, или библиотеку, или кабинет редкостей, явиться с первым движением смычка в опере, в комедии, в трагедии, пленяться гармониею, балетом, смеяться, плакать—истомною, но приятных чувств исполненной душою отдыхать в «Пале-Рояль», в «Café de Valois»,^[349] de «Caveau»^[350] за чашкою *баваруза*;^[351] взглядывать на великолепное освещение лавок, аркад, аллей в саду; вслушиваться иногда в то, что говорят тамошние глубокие политики; наконец, возвратиться в тихую свою комнату, собраться с идеями, написать несколько строк в своем журнале, броситься на мягкую постелю и (чем обыкновенно кончится и день, и жизнь) заснуть глубоким сном с приятной мыслию о будущем. – Так я провожу время и доволен.

Скажу вам несколько слов о главных парижских зданиях.

Лувр.^[352] Прежде был он не что иное, как грозная крепость, где жили потомки Кловисовы и где, как в государственной темнице, заключались возмутители, ослушные бароны, которые часто восставали против своих королей. Франциск I, страстный охотник воевать, пленять красавиц и строить великолепные замки, разрушив до основания готические башни, на их месте соорудил огромный дворец, украшенный лучшими художниками его века, но необитаемый до времен Карла IX. Лудовик XIV воцарился; с ним воцарились искусства, науки – и Лувр, по его мановению, увенчался великолепною своею колоннадою, лучшим произведением французской

архитектуры, и тем более удивительную, что строил ее не славный зодчий, а доктор Перро, обесславленный, разруганный насмешливым Буало^[353] в его сатирах. Нельзя взглянуть без какого-то глубокого почтения на ее перистили, портики, фронтоны, пиластры, столпы, которым вместо крова служит терраса с прекрасным балюстрадом. Я всякий раз останавливаюсь против главных ворот, смотрю и думаю: «Сколько тысячелетий мелькнуло через земной шар в вечность между первым сплетением гибких ветвей, укрывших дикого Адамова сына от ненастья, и гигантскою колоннадою Лувра, дивом огромности и вкуса! Как мал человек, но как велик ум его! Как медленны успехи разума, но как они многообразны и бесконечны!» – Лудовик XIV долго жил в Лувре; наконец предпочел ему Версалию, и место великого монарха занял Аполлон с музами. Тут все академии;^[354] тут жили и славные ученые, авторы, поэты, достойные королевского внимания. Лудовик, уступив свое жилище гению, возвысил и его и себя.

Говоря о Лувре, нельзя не вспомнить о снежном обелиске, который в жестокою зиму в 1788 году сделан был против его окон бедными людьми в знак благодарности к нынешнему королю, покупавшему для них дрова. Все парижские стихотворцы сочиняли надписи для такого редкого памятника, и лучшая из них была:

Мы делаем царю и другу своему
Лишь снежный монумент; милее он ему,
Чем мрамор драгоценный,
Из дальних стран на счет убогих привезенный.

В память сего трогательного случая один богатый человек, г. Жюбо, соорудил перед своим домом, близ Тюльери, мраморный обелиск и вырезал на нем все надписи снежного монумента; я был у г. Жюбо, читал их и, вообразив, как ныне французы обходятся с королем своим, подумал: «Вот памятник благодарности, который доказывает неблагодарность французов!»

Тюльери. Имя произошло от *tuile*, то есть черепицы, которую некогда тут делали. Сей дворец построен Катериною Медицис; состоит из пяти павильонов с четырьмя *кор де ложи*;^[355] украшен мраморными колоннами, фронтоном, статуями и, наконец, изображением лучезарного солнца, девизом Лудовика XIV. Вид здания не величествен, но приятен; положение очень хорошо. С одной стороны – река Сена, а перед главною фасадою – Тюльерийский сад с высокими своими террасами, цветниками,

бассейнами, группами и (что всего лучше) древними густыми аллеями, сквозь которые вдали видна, на обширной площади, статуя Лудовика XV. Тут живет ныне королевская фамилия. ^[47] Я видел и внутренность дворца. В день св. духа ^[356] король вместе с кавалерами главного французского ордена пошел в церковь; за ним и королева с дамами; первые в рыцарских мантиях, с распущенными волосами; вторые в богатых робах. В ту самую минуту любопытные зрители бросились во внутренние комнаты – я за ними – из залы в залу, и до самой спальни. «Куда вы, господа? Зачем?» – спрашивали придворные лакеи. – «Смотреть», – отвечали мои товарищи и шли далее. Украшения комнат составляют обои гобелиновой фабрики, картины, статуи, гротески, бронзовые камины. Между тем глаза мои занимались не только вещами, но и людьми: министрами и экс-министрами, придворными и старыми королевскими слугами, которые, видя бесчинство молодых, с величайшим небрежением одетых людей, шумящих и бегающих, пожимали плечами. Я сам с каким-то горестным чувством ходил за другими. Таков ли был прежде французский двор, славный своею блестящею пышностью? Видя двух человек, сидящих рядом и тихонько говорящих между собою, думал я: «Они, верно, говорят о несчастном состоянии Франции и будущих ее возможных бедствиях!» – Второй сын герцога Орлеанского играл в бильярд с каким-то почтенным стариком. Молодой принц очень хорош лицом; надобно, чтобы и душа его была прекрасна, – следственно, не похожа на душу отца его... ^[357] – Тюльери соединяется с Лувром посредством галереи, которая длиннее и огромнее всех галерей на свете и где должен быть королевский музей, или собрание картин, статуй, древностей, рассеянных теперь по разным местам.

Люксанбур принадлежит ныне графу Прованскому. Величественный дворец, построенный Мариєю Медицис, супругою великого и матерью слабого короля, женщиною властолюбивою, но рожденною без всякого таланта властвовать; которая, быв долгое время Ксантиппою ^[358] Генриха IV, заступила его место на троне для того, чтобы расточить плоды Сюллиевой бережливости, завести междоусобную войну во Франции, возвеличить Ришелье и быть жертвою его неблагодарности; которая, осыпав миллионами недостойных своих любимцев, кончила жизнь в изгнании, в бедности, едва имея кусок хлеба для утоления голода и рубище для прикрытия наготы своей. Игра судьбы бывает иногда ужасна. – С такими мыслями смотрел я на прекрасную архитектуру сего дворца, на его террасы и павильоны. За несколько гривен показали мне и внутренность.

Комнаты едва ли достойны примечания, но тут славная галерея Рубенсова, в которой сей нидерландский Рафаэль истощил всю силу искусства и гения своего: двадцать пять больших картин, представляющих Генриха IV и королеву Марию со множеством аллегорических фигур. Какое разнообразие в виде супругов! На всякой картине *они*, но всякая имеет свой особенный характер. Мария, изображенная в родах, есть венец Рубенсовой кисти. Глубокие следы страдания, томность, изнеможение; бледная роза красоты; радость быть матерью дофина; чувство, что вся Франция ожидала сей минуты с боязливым нетерпением и что миллионы будут торжествовать ее счастливое разрешение от бремени; нежность супруги, говорящей своими взорами Генриху: «Я жива! У нас есть сын!» – все прекрасно и с трогательным искусством выражено. Видно, что главным предметом живописца была королева: она занимает первое место на картинах: Генрих везде *для нее*. Удивительно ли? Рубенс писал по ее заказу, после Генриховой смерти, и льстец живописец сделал то, чего ни льстец историк, ни льстец поэт не мог бы сделать для Марии: он умел искусством своим подкупить сердца в ее пользу; он заставляет меня любить Марию. – Между аллегорическими фигурами приметил я одно женское милое лицо, неоднократно изображенное. Ученик живописи, который показывал мне галерею, сказал: «Не дивитесь повторению: это лицо Рубенсовой жены, славной красавицы Елены Форман. Рубенс был ее *любовником-супругом* и везде, где только мог, изображал свою Елену». Я люблю тех, которые любить умели, и сердце мое еще сильнее прилепилось к художнику.

Сад Люксембургский был некогда любимым гульбищем французских авторов, которые в густых и темных его аллеях обдумывали планы своих творений. Там Мабли часто гулял с Кондильяком; туда приходил иногда и печальный Руссо говорить с своим красноречивым сердцем; там и Вольтер в молодости нередко искал гармонических рифм для острых своих мыслей, а мрачный Кревильон воображал себя злобным Атреем. Ныне сад уже не таков: многие аллеи исчезли, вырублены или засохли. Но я часто пользуюсь остальной сению тамошних старых деревьев; хожу один или, сидя на дерновом канаве, читаю книгу. Люксембург недалеко от улицы Генега, в которой живу.

Господин Д*, гуляя со мною третьего дни в Люксембургском саду, рассказал мне забавный случай. В 1784 году, июля 8, собрался там почти весь Париж, чтобы видеть воздушное путешествие аббата Миолана, объявленное через газеты. Ждут два, три часа: шар не поднимается. Публика спрашивает, когда начнется эксперимент? Аббат отвечает: «В минуту!» Но приходит вечер, а шар ни с места. Народ теряет наконец

терпение, бросается на аэростат, рвет его в клочки, а Миолан спасается бегством. На другой день в «Пале-Рояль» и на всех перекрестках савояры кричат: «Кому надобно изображение славного путешествия, счастливо совершенного славным аббатом Миоланом, – за копейку, за копейку!» Аббат после того умер гражданской смертью, то есть не смел казаться в люди. Смешная история должна была кончиться новым смешным анекдотом. Господин Д* скоро после Миоланова бедствия был в партере Оперы и смотрел на балет. Вдруг приходит высокий человек, аббат, становится перед ним и мешает видеть сцену. «Посторонитесь, – говорят ему, – здесь довольно места». Гигант не слушает, не трогается; смотрит и не дает другим смотреть. Молодой адвокат, который стоял подле господина Д*, сказал ему: «Хотите ли, чтобы я выгнал высокого аббата?» – «Ах, ради бога! Если можете». – «Могу», – тотчас начал шептать на ухо всем, стоявшим вокруг его: «Вот аббат Миолан, который обманул публику!» Вдруг десять голосов повторили: «Вот аббат Миолан!» Через минуту весь партер закричал: «Вот аббат Миолан!», и все указывали пальцем на высокого человека, который в изумлении, в досаде, в отчаянии направо и налево кричал: «Государь мой! Я не аббат Миолан!» Но скоро и во всех ложах раздался голос: «Вот аббат Миолан!», так что высокому человеку, который назывался совсем не Миоланом, надлежало, как преступнику, бежать из театра. Господин Д*, умирая со смеху, изъявлял благодарность молодому адвокату, между тем как партер и ложи, заглушая музыку, кричали: «Вот аббат Миолан!»

Граф Прованский живет во флигеле.

Пале-Рояль называется сердцем, душою, мозгом, извлечением Парижа. Ришелье строил и подарил его Лудовику XIII, надписав над воротами: «Palais Cardinal». ^[359] Эта надпись многим не понравилась: одни называли ее гордою, другие – бессмысленною, доказывая, что по-французски нельзя сказать: «Palais Cardinal». Некоторые вступились за Ришелье: писали, судились перед публикою, и славный щеголь французского языка (разумеется, по тогдашнему времени) Бальзак играл отличную роль в сем важном прении: доказательство, что парижские умы издавна промышленяют мыльными пузырями! Королева Анна ^[360] прекратила спор, велев стереть Cardinal и написать Royal. Лудовик XIV воспитывался в Пале-Рояль и наконец подарил его герцогу Орлеанскому.

Не буду описывать вам наружности сего квадратного замка, который, без всякого сомнения, есть огромнейшее здание в Париже, в котором соединены все ордены архитектуры; скажу только, что, собственно,

принадлежит к отличному его характеру. Фамилия герцога Орлеанского занимает самую малую часть главного этажа; все остальное посвящено удовольствию публики или прибытку хозяина. Тут спектакли, клубы, концертные залы, магазины, кофейные дома, трактиры, лавки; тут богатые иностранцы нанимают себе комнаты; тут живут блестящие первоклассные нимфы; тут гнездятся и самые презрительные. Все, что можно найти в Париже (а чего в Париже найти нельзя?), есть в Пале-Рояль. Тебе надобен модный фрак, поди туда и надень. Хочешь, чтобы комнаты твои через несколько минут были украшены великолепно, поди туда, и все готово. Желаешь иметь картины, эстампы лучших мастеров, в рамках, за стеклами, поди туда и выбирай. Разные драгоценные вещи, серебро, золото, все можно найти за серебро и золото. Скажи, и вдруг очутится в кабинете твоем отборная библиотека на всех языках, в прекрасных шкапах. Одним словом, приходи в Пале-Рояль *диким американцем*^[361] и через полчаса будешь одет наилучшим образом, можешь иметь богато украшенный дом, экипаж, множество слуг, двадцать блюд на столе и, если угодно, цветущую Лаису, которая всякую минуту будет умирать от любви к тебе. Там собраны все лекарства от скуки и все сладкие отравы для душевного и телесного здоровья, все средства выманивать деньги и мучить безнадежных, все способы наслаждаться временем и губить его. Можно целую жизнь, и самую долголетнюю, провести в Пале-Рояль, как волшебный сон, и сказать при смерти: «Я все видел, все узнал!»

В середине замка сад, еще недавно разведенный, и хотя план его очень хорош, но парижские жители не могут забыть густых, сенистых деревьев, которые прежде тут были и вырублены немилосердным герцогом для новых, правильных аллей. «Теперь, – говорят недовольные, – одно дерево кличет другое, и некоторое воробья не укроет; а прежде – то ли дело? В июле месяце в самый жаркий день наслаждались мы здесь прохладой, как в самом дремучем, диком лесу. Славное краковское дерево^[362] (*arbre de Cracovie*), как царь, возвышалось между другими; в непроницаемой тени его собирались наши старые политики и, сидя кругом за чашею лимонада на деревянном канапе, сообщали друг другу *газетные тайны*, глубокие знания, остроумные догадки. Молодые люди приходили слушать их, чтобы после к своим родственникам в провинциях написать: „Такой-то король скоро объявит войну такому-то государю. Новость несомнительная! Мы слышали ее под ветвями краковского дерева“. Тот, кто не пощадил его, пощадит ли какую-нибудь святыню? Герцог Орлеанский запишет имя свое в истории, как Герострат; гений его есть злой дух разрушения».

Однако ж новый сад имеет свои красоты. Зеленые павильоны вокруг бассейна и липовый храм приятны для глаз. Всего же приятнее Сирк,^[363] здание удивительное, единственное в своем роде: длинный параллелограмм, занимающий середину сада, украшенный ионическими колоннами и зеленью, в которой белеются мраморные изображения великих мужей Франции. Снаружи кажется он вам низенькою беседкою с портиками; войдите и увидите внизу, под вашими ногами, великолепные залы, галереи, манеж; можете сойти туда по любому крыльцу, и вы будете в гостях у короля гномов, в подземельном царстве, однако ж не в темноте; свет льется на вас сверху, сквозь большие окна, и везде в блестящих зеркалах повторяются видимые вами предметы. В залах бывают всякий вечер или концерты, или балы; освещение придает внутренности Сирка еще более красоты. Тут ко всякой даме, сколько бы бриллиантов ни сияло на голове ее, можно смело подойти, говорить, шутить; некоторая не рассердится, хотя все очень хорошо играют ролю знатных госпож. Тут же и славные парижские фехтмейстеры показывают свое искусство, которому я несколько раз удивлялся. – Из комнат герцога Орлеанского сделан ход в манеж, или, лучше сказать, подземельная дорога, по которой он может приезжать туда верхом или в коляске. Прекрасная терраса, усеянная цветами, усаженная ароматическими деревьями, составляет кровлю здания и напоминает вам древние сады вавилонские.^[364] Вошедши туда, гуляете среди цветников, выше земли, на воздухе, в царстве сильфов, и через минуту сходите опять в глубокие недра земли, в царство гномов, где с приятностию думаете: «Тысячи людей шумят и движутся теперь над моею головою».

Вся нижняя часть Пале-Рояль состоит из галерей с ста осьмьюдесятью портиками, которые, будучи освещены реверберами,^[365] представляют ночью блестящую иллюминацию.

Комнаты, занимаемые фамилиею герцога Орлеанского, украшены богато и со вкусом. Там славная картинная галерея, едва ли уступающая Дрезденской и Диссeldorfской, кабинет натуральной истории, собрание антиков, гравированных камней и моделей всякого рода художественных произведений, вместе с изображением всех ремесленных орудий.

Время кончить мое длинное историческое письмо и пожелать вам, друзья мои, приятной ночи.

Париж, мая... 1790

Нынешний день молодой скиф К*^[366] в Академии надписей и

словесности имел счастье узнать Бартелеми-Платона.

Меня обещали с ним познакомить, но как скоро я увидел его, то, следуя первому движению, подошел и сказал ему: «Я русский; читал „Анахарсиса“; умею восхищаться творением великих, бессмертных талантов. Итак, хотя в нескладных словах, примите жертву моего глубокого почтения!» – Он встал с кресел, взял мою руку, ласковым взором предупредил меня о своем благорасположении и наконец отвечал: «Я рад вашему знакомству; люблю север, и герой, мною избранный, вам не чужой». – «Мне хотелось бы иметь с ним какое-нибудь сходство. Я в Академии: Платон передо мною, но имя мое не так известно, как имя Анахарсиса».^[367] – «Вы молоды, путешествуете и, конечно, для того, чтобы украсить ваш разум познаниями: довольно сходства!» – «Будет еще более, если вы позволите мне иногда видеть и слушать вас, с любопытным умом, с ревностным желанием образовать вкус свой наставлениями великого писателя. Я не поеду в Грецию: она в вашем кабинете». – «Жаль, что вы приехали к нам в такое время, когда Аполлона и муз наряжаем мы в национальный мундир! Однако ж дайте мне случай видиться с вами. Теперь вы услышите мое рассуждение о самаританских^[368] медалях и легендах;^[369] оно покажется вам скучно, *comme de raison*;^[370] извините: мои товарищи займут вас приятнейшим образом». – Между тем заседание академии открылось. Бартелеми сел на свое место; он старший в академии, *le Doyen*. В собрании было около тридцати человек, да столько же зрителей – не более. В самом деле, диссертация аббата Бартелеми, в которой дело шло о медалях Ионафановых, Антигоновых, Симеоновых,^[371] не могла занимать меня; зато, мало слушая, я много смотрел на Бартелеми. Совершенный Вольтер, как его изображают на портретах! Высокий, худой, с пронзительным взором, с тонкою афинскою усмешкою. Ему гораздо более семидесяти лет, но голос его приятен, стан прям, все движения скоры и живы. Следственно, от ученых трудов люди не стареются. Не сидячая, но бурная жизнь страстей пестрит морщинами лицо наше. Бартелеми чувствовал в жизни только одну страсть: любовь к славе, и силою философии своей умерял ее. Подобно бессмертному Монтескье, он был еще *влюблен в дружбу*, имел счастье доказать великодушную свою привязанность к изгнанному министру Шуазёлю и делил с ним скуку уединения. Ему и супруге его, под именем Арсама и Федимы, приписал он «Анахарсиса» так мило и трогательно, говоря: «Сколько раз имя ваше готово было из глубины моего сердца излиться на бумагу! Сколь лучезарно сияло оно предо мною, когда мне надлежало описывать какое-нибудь

великое свойство души, благодеяния, признательность! Вы имеете право на сию книгу; я сочинял ее в тех местах, которые всего более украшались вами, и хотя кончил оную далеко от Персии, но в глазах ваших, ибо воспоминание минут, с вами проведенных, никогда не может загладиться. Оно составит счастье остальных дней моих, а по смерти желаю единственно того, чтобы на гробе моем глубоко вырезали слова: „Он заслужил благосклонность Арсама и Фединмы!“»

Тут же узнал я Левека, автора «Российской истории», которая хотя имеет много недостатков, однако ж лучше всех других. Больно, но должно по справедливости сказать, что у нас до сего времени нет хорошей российской истории, то есть писанной с философским умом, с критикою, с благородным красноречием. Тацит, Юм, Робертсон, Гиббон – вот образцы! Говорят, что наша история сама по себе менее других занимательна; не думаю: нужен только ум, вкус, талант. Можно выбрать, одушевить, раскрасить, и читатель удивится, как из Нестора, Никона и проч. могло выйти нечто привлекательное, сильное, достойное внимания не только русских, но и чужестранцев. Родословная князей, их ссоры, междоусобие, набеги половцев не очень любопытны, – соглашаюсь; но зачем наполнять ими целые томы? Что неважно, то сократить, как сделал Юм в «Английской истории», но все черты, которые означают свойство народа русского, характер древних наших героев, отменных людей, происшествия действительно любопытные описать живо, разительно. У нас был свой Карл Великий: Владимир – свой Лудовик XI: царь Иоанн – свой Кромвель: Годунов – и еще такой государь, которому нигде не было подобных: Петр Великий. Время их правления составляет важнейшие эпохи в нашей истории и даже в истории человечества; его-то надобно представить в живописи, а прочее можно обрисовать, но так, как делал свои рисунки Рафаэль или Микель-Анджело. – Левек как писатель – не без дарования, не без достоинств; соображает^[372] довольно хорошо, рассказывает довольно складно, судит довольно справедливо, но кисть его слаба, краски не живы; слог правильный, логический, но не быстрый. К тому же Россия не мать ему; не наша кровь течет в его жилах: может ли он говорить о русских с таким чувством, как русский? Всего же более не люблю его за то, что он унижает Петра Великого (если посредственный французский писатель может унижить нашего славного монарха), говоря: «On lui a peut-être refusé avec raison le titre d'homme de Génie, puisque, en voulant former sa nation, il n'a su qu'imiter les autres peuples».^[373] Я слышал такое мнение даже от русских и никогда не мог слышать без досады. Путь образования или

просвещения *один* для народов; все они идут им вслед друг за другом. Иностранцы были умнее русских: итак, надлежало от них заимствовать, учиться, пользоваться их опытами. Благоразумно ли искать, что сыскано? Лучше ли б было русским не строить кораблей, не образовать регулярного войска, не заводить академий, фабрик, для того что все это не русскими выдуманно? Какой народ не перенимал у другого? И не должно ли *сравняться*, чтобы *превзойти*? «Однако ж, – говорят, – на что подражать рабски? на что перенимать вещи, совсем ненужные?» – «Какие же? Речь идет, думаю, о платье и бороде. Петр Великий одел нас по-немецки для того, что так удобнее; обрил нам бороды для того, что так и покойнее, и приятнее. Длинное платье неловко, мешает ходить...» – «Но в нем теплее!..» – «У нас есть шубы...» – «Зачем же иметь два платья?..» – «Затем, что нет способа быть в одном на улице, где двадцать градусов мороза, и в комнате, где двадцать градусов тепла. Борода же принадлежит к состоянию дикого человека: не брить ее то же, что не стричь ногтей. Она закрывает от холоду только малую часть лица: сколько же неудобности летом, в сильный жар! Сколько неудобности и зимою носить на лице иней, снег и сосульки!» Не лучше ли иметь муфту, которая греет не одну бороду, но все лицо? Избирать во всем лучшее – есть действие ума просвещенного, а Петр Великий хотел просветить ум во всех отношениях. Монарх объявил войну нашим старинным обыкновениям, во-первых, для того, что они были грубы, недостойны своего века; во-вторых, и для того, что препятствовали введению других, еще важнейших и полезнейших иностранных новостей. Надлежало, так сказать, свернуть голову закоренелому русскому упрямству, чтобы сделать нас гибкими, способными учиться и перенимать. Если бы Петр родился государем какого-нибудь острова, удаленного от всякого сообщения с другими государствами, то он в природном великом уме своем нашел бы источник полезных изобретений и новостей для блага подданных, но рожденный в Европе, где цвели искусства и науки во всех землях, кроме Русской, он должен был только разорвать завесу, которая скрывала от нас успех разума человеческого, и сказать нам: «Смотрите; сравняйтесь с ними и потом, если можете, превзойдите их!» Немцы, французы, англичане были впереди русских по крайней мере шестью веками; Петр двинул нас своею мощною рукою, и мы в несколько лет почти догнали их. Все жалкие *иеремиады*^[374] об изменении русского характера, о потере русской нравственной физиогномии или не что иное, как шутка, или происходят от недостатка в основательном размышлении. Мы не таковы, как брадатые предки наши: тем лучше! Грубость наружная и внутренняя, невежество, праздность, скука были их долею в самом высшем

состоянии, – для нас открыты все пути к утончению разума и к благородным душевным удовольствиям. Все *народное* ничто перед *человеческим*. Главное дело быть *людьми*, а не славянами. Что хорошо для людей, то не может быть дурно и для русских, и что англичане или немцы изобрели для пользы, выгоды человека, то *мое*, ибо я человек! Еще другое странное мнение. «Il est probable, – говорил Левек, – que si Pierre n'avoit pas régné, les Russes seroient aujourd'hui ce qu'ils sont»,^[375] то есть: «Хотя бы Петр Великий и не учил нас, мы бы выучились». Каким же образом? Сами собою? Но сколько трудов стоило монарху победить наше упорство в невежестве! Следственно, русские не расположены, не готовы были просвещаться. При царе Алексее Михайловиче жили многие иностранцы в Москве, но не имели никакого влияния на русских, не имел с ними почти никакого обхождения. Молодые люди, тогдашние франты, катались иногда в санях по Немецкой слободе и за то считались вольнодумцами. Одна только ревностная, деятельная воля и беспредельная власть царя русского могла произвести такую внезапную, быструю перемену. Сообщение наше с другими европейскими землями было очень несвободно и затруднительно; их просвещение могло действовать на Россию только слабо, и в два века по естественному, непринужденному ходу вещей едва ли сделалось бы то, что государь наш сделал в двадцать лет. Как Спарта без Ликурга, так Россия без Петра не могла бы прославиться.

Между тем, друзья мои, вы все еще сидите со мною в Академии надписей. Читали рассуждение о греческой живописи, похвальное слово одному из умерших членов, и я заметил то же, что несколько раз замечал в спектаклях: ни одна хорошая мысль, ни одно счастливое выражение не укрывается от тонкого вкуса здешней публики – «браво!» и рукоплескание. Всего более нравятся здесь нравственные мысли, или *сентенции*, иногда самые обыкновенные. Например, в похвальном слове умершему автор сказал: «Вот доказательство, что нежные души предпочитают тихое удовольствие совести шумным успехам честолюбия!», и все слушатели захопали. – Заседание кончилось предложением задач для антиквариев. Надобно было познакомиться с г. Левеком и сказать ему комплимент на счет его доброго мнения о русских, у которых он, по своей благосклонности, не отнимает природного ума, ни способности к наукам. Бартеlemi подарил меня еще двумя учтивыми фразами, и мы расстались как знакомые.

Я видел автора прекрасных сказок, который в самом, кажется, легком, в самом обыкновенном роде сочинений умеет быть единственным, неподражаемым, – Мармонтеля. Не довольно видеть, надобно его узнать

короче; надобно поговорить с ним о счастливых временах французской литературы, которые прошли и не возвратятся! Век Вольтеров, Жан-Жаков, Энциклопедии, «Духа законов» не уступает веку Расина, Буало, Лафонтена; и в доме г-жи Неккер, барона Ольбаха^[376] шутили столь же остроумно, как в доме Ниноны Ланкло. Физиогномия Мармонтелева очень привлекательна; тон его доказывает, что он жил в лучшем парижском обществе. Вообразите же, что один немецкий романист, которого имени не помню, в журнале своего путешествия описывает его почти мужиком, то есть самым грубым человеком! Как врали могут быть нахальны! – Мармонтелю более шестидесяти лет; он женился на молодой красавице и живет с нею счастливо в сельском уединении, изредка заглядывая в Париж. – Лагарп, в улице Генего, мой сосед. Талант, слог, вкус и критика его давно награждены всеобщим уважением. Он лучший трагик после Вольтера. В творениях его мало огня, чувствительности, воображения, но стихи все хороши, и много сильных. Теперь занимается он литературною частью «Французского Меркурия», вместе с Шанфором, также членом академии. – Мерсье и Флориан в Париже, но мне по сие время не удалось их видеть.

Париж, мая...

Бывшая актриса Дервье, актриса посредственная, но прелестница славная, упражняясь лет двадцать в доходном своем искусстве и нажив миллионы, вздумала построить такой дом, который обратил бы на себя внимание Парижа. Чего хотела, то и сделалось. Сей дом смотрят все, как диво. Надобно иметь билет, чтобы видеть его. Господин П*,^[377] мой земляк, доставил мне это удовольствие. Что за комнаты!

Что за приборы! Живопись, бронза, мрамор, дерево – все блестит, привлекает глаза. Дом невелик, но ум чертил план его, искусство было архитектором, вкус украшал, а богатство выдавало деньги. Тут нет ничего не-прекрасного, испрекрасным для глаз везде соединена удобность или ловкость для употребления. Прошедши комнат пять, вошли мы во святилище – в спальню, где живопись изобразила на стенах Геркулеса, стоящего на коленях перед Омфалою, пять или шесть Эротов, едущих верхом на его палице, Армиду, которая смотрится в зеркало, гораздо более восхищаясь своею красотою, нежели обожанием сидящего подле нее Ринальда, Венеру, которая, сняв с себя пояс, подает его... не видно кому, но, верно, хозяйке. Глаза ищут... догадаетесь, чего. Ложе удовольствий, осыпанное неувядаемыми, то есть искусственными, розами, без терний,

возвышается на нескольких ступенях; тут, без сомнения, всякий Адонис должен преклонять колена свои. Позади спальни, в небольшой зале, сделан мраморный бассейн для купанья, а вверху хоры для музыкантов, чтобы красавица, слушая гармоническую игру их, могла в такт полоскаться. Из сей комнаты дверь в Гесперидский сад, где все тропинки опушены цветами, где все деревья, осеняя, благоухают. Лужки и лесочки живописные; кажется, будто всякая травка и всякий листок выбраны из тысячи. Дорожки, извиваясь, приводят вас ко мшистой скале, к дикому гроту, где читаете надпись «Искусство ведет к Натуре; она дружески подает ему руку», а в другом месте: «Здесь я наслаждаюсь задумчивостию». Молодой англичанин, который был с нами, взглянув на последнюю надпись, сказал: «Grimace, grimace, mademoiselle Dervieux!»^[378] – Хозяйка живет во втором этаже, который мы также осматривали и где комнаты хотя со вкусом прибраны, однако ж не имеют очаровательности первого. Я любопытствовал видеть нимфу, но ей угодно было играть роль невидимки. На диване лежал корсет, доказательство ее тонкого стана, чепчик с розовыми лентами и черепаховый гребень. Зеленый тафтяный занавес отделял от нас славную прелестницу; но мы не смели отдернуть его.

Новая Нинон вздумала продавать волшебный свой храм. Один богатый американец, из числа ее любимцев, покупает его за половину цены, за шестьсот тысяч ливров, с тем намерением, как сказывают, чтобы за ужином, который он хочет дать в новокупленном доме, подарить его прежней хозяйке. Взор благодарного удивления должен быть наградой американца.

АКАДЕМИИ

Работать соединенными силами, с одним намерением, по лучшему плану есть предмет всех академий.

Выдумка благословенная для пользы наук, искусств и всех людей! Приятная мысль быть участником в достохвальных трудах, соревнование между членами, неразделимость общей славы с личной, взаимное усердное вспоможение окриляют разум человеческий. Надобно отдать справедливость парижским академиям: они были всегда трудолюбивее и полезнее других ученых обществ.

Собственно, так называемая *Французская академия*, учрежденная кардиналом Ришелье для обогащения французского языка, утверждена парламентом и королем. Девиз ее: «Бессмертию!» Жаль, что она обязана

бытием своим такому жестокому министру! Жаль, что всякий новый член при вступлении своем должен хвалить его! Жаль, что половина членов состоит из людей едва не безграмотных, для того единственно, что они знатные! Такие академики, нимало не возвышая себя ученым титулом, унижают только академию. «Всякий знай свое место и дело», – есть мудрое правило, но реже всего исполняется. Правда, что *господа сорок*, *messieurs les quarante*,^[379] наблюдают в своих заседаниях точное равенство. Прежде всего они сидели на стульях; один из знатных членов потребовал для себя кресел; что же сделали другие? Сами сели на кресла. *C'est tou jours quelque chose*.^[380] Главный плод сего академического дерева есть «Лексикон французского языка»,^[381] чистый, правильный, строгий, но неполный, так что в первом издании господа члены забыли даже слово «академия»! Например, английский лексикон Джонсонов^[382] и немецкий Аделунгов гораздо совершеннее французского. Вольтер более всех чувствовал недостатки его, хотел дополнить, украсить, но смерть помешала.^[383] Академия занималась и критикою, только редко и мало; в угождение своему основателю Ришелье доказывала, что Корнелев «Сид» недостойн славы, но парижские любители театра, назло ей, тем более хвалили «Сиду». Она могла бы, конечно, быть гораздо полезнее, издавая, например, журнал для критики и словесности; чего бы не произвели соединенные труды лучших писателей? Однако ж польза ее несомнительна. Множество хороших пьес написано для славы быть членом академии или заслужить ее хвалу. Всякий год избирает она два предмета для стихотворства и красноречия, вызывает всех авторов обрабатывать их, в день св. Лудовика торжественно объявляет, кто победитель, чье творение достойно награды, и раздает золотые медали. Спрашивается, для чего Лафонтен, Мольер Жан-Батист, Жан-Жак Руссо, Дидрот, Дорат и многие другие достойные писатели не были ее членами? Ответ: где люди, там пристрастие и зависть; иногда славнее не быть, нежели быть академиком. Истинные дарования не остаются без награды: есть публика, есть потомство. Главное дело не *получать*, а *заслуживать*. Не *писатели*, а *маратели* всего более сердятся за то, что им не дают патентов. Французская академия, боясь, чтобы кто-нибудь из авторов не оскорбил ее гордости и не вздумал отвергнуть предлагаемого ею патента, утвердила законом выбирать в члены единственно тех, которые сами запишутся в кандидаты. Злейший неприятель ее был Пирон. Известна его насмешка: «*Messieurs les quarante ont de l'esprit comme quatre*»^[384] и забавная эпитафия:

Ci-gît Piron; il ne fut rien,
Pas même Académicien.^[385]

Но вот что делает честь Академии: в зале ее, между многими изображениями славных авторов, стоит Пиронов бюст! Мщение великодушное!

Академия наук учреждена Лудовиком XIV, состоит из семидесяти членов и занимается физикою, астрономиею, математикою, химиею, стараясь *открывать новое* или *доводить до совершенства* известное, по девизу: «Invenit et perfecit».^[386] Каждый год выдает она большой том сочинений своих, полезных для ученого, приятных для любопытного. Они составляют подробнейшую историю наук со времен Лудовика XIV. Иностранцы считают за великую славу быть членами Парижской академии; число их определено законом: восемь, не более. Нигде нет теперь таких астрономов и химиков, как в Париже. Немецкий ученый снимает колпак, говоря о Лаланде^[387] и Лавуазье. Первый, забывая все земное, более сорока лет беспрестанно занимается небесным и открыл множество новых звезд. Он есть Талес нашего времени, и прекрасную эпитафию греческого мудреца^[388] можно будет вырезать на его гробе:

Когда от старости Талесов взор затмился,
Когда уже и звезд не мог он различить,
Мудрец на небо преселился,
Чтоб к ним поближе быть.

Кроме своей учености, Лаланд любезен, жив, весел, как самый любезнейший молодой француз. Он воспитывает дочь свою также совершенно для неба, учит математике, астрономии и в шутку называет Ураниею;^[389] ведет переписку со всеми знаменитыми астрономами Европы и с великим уважением говорит о берлинце Боде. – Лавуазье есть гений химии, обогатил ее бесчисленными открытиями, и (что всего важнее) полезными для жизни, для всех людей. Быв перед революциею генеральным откупщиком, имеет, конечно, не один миллион, но богатство не прохлаждает ревностной любви его к наукам: оно служит ему только средством к размножению их благотворных действий. Химические опыты требуют иногда больших издержек: Лавуазье ничего не жалеет; а сверх

того, любит делиться с бедными: одною рукою обнимает их, как братии, а другою кладет им кошелек в карман. Его сравнивают с Гельвецием, который также был генеральным откупщиком, также любил науки и благотворительность, но философия последнего не стоит химии первого. Товарищ мой Беккер не может без восхищения говорить о Лавуазье, который дружески обласкал его, слыша, что он ученик берлинского химика Клапрота. Я всегда готов плакать от сердечного удовольствия, видя, как науки соединяют людей, живущих на севере и юге, как они без личного знакомства любят, уважают друг друга. Что ни говорят мизософы, а науки – святое дело! ^[48] – Слава Лавуазьева пристрастила многих здешних дам к химии, так что года за два перед сим красавицы любили изъяснять нежные движения сердец своих химическими операциями. – Бальи ^[390] есть также один из знаменитых членов академии и более всего прославил себя «Историю древней и новой астрономии». Жаль, что он вдался в революцию и мирную тишину кабинета променял, может быть, на эшафот! ^[391]

Академия надписей и словесности учреждена также Лудовиком XIV и более ста лет ревностно трудится для обогащения исторической литературы; нравы, обыкновения, монументы древности составляют предмет ее любопытных изысканий. Она по сие время выдала более сорока томов, которые можно назвать золотою миною истории. Вы не знаете, что были египтяне, персы, греки, римляне, если не читали «Записок» академии; читая их, живете с древними; видите, кажется, все их движения, малейшие подробности домашней жизни в Афинах, в Риме и проч. Девиз академии есть муза Истории, которая в правой руке держит лавровый венок, а левою указывает вдаль на пирамиду, с надписью: «Не дает умирать», *vetat mori*.

Наименую вам еще академии живописи, ваяния, архитектуры, которые все помещены в Лувре и все доказывают любовь к наукам Лудовика XIV или великого министра его Кольберта.

Париж, мая...

Нынешний день – угадайте, что я осматривал? Парижские улицы; разумеется, где что-нибудь случилось, было или есть примечания достойное. Забыв взять с собою план Парижа, который бы всего лучше мог быть моим путеводителем, я страшным образом кружил по городу и в скверных фиакрах целый день проездил. В десять часов утра началось мое путешествие. Кучеру дан был приказ везти меня – к *источнику любви*. Он не читал Сент-Фуа, следовательно не понимал меня, но хотел угадать и не

угадывал. Надлежало сказать яснее: «Eh bien, dans la rue de la Truanderie!» – «A la bonne heure. Vous autres étrangers, vous ne dites le mot propre qu'à la fin de la phrase!»^[392] Итак, мы отправились в Трюандери. Вот анекдот.

Агнесса Геллебик, прекрасная молодая девушка, дочь главного конюшего при дворе Филиппа-Августа, любила и страдала. От Парижа далеко до мыса Левкадского: что же делать? броситься в колодезь на улице Трюандери и концом дней своих прекратить любовную муку. Лет через триста после того другой случай. Один молодой человек, приведенный в отчаяние жестокостью своей богини, также бросился в этот колодезь, но весьма осторожно и весьма счастливо: не утонул, не зашибся, и красавица, сведав, что ее любовник сидит в воде, прилетела на крыльях Зефира, спустила к нему веревку, вытащила рыцаря, наградила его своею любовью, сердцем и рукою. Желая изъяснить благодарность колодезю, он перестроил его, украсил и готическими буквами написал:

L'amour ma refait
En 1525 tout à fait.

*В 1525 году вновь
Меня перестроила любовь.*

Весь Париж узнал о сем происшествии. Молодые люди и девушки начали там сходиться при свете луны, петь нежные песни, плясать, уверять друг друга в любви, и колодезь обратился в жертвенник Эротов. Наконец один славный проповедник тогдашнего времени с великим жаром представил родителям возможные следствия таких сходбищ, и набожные люди немедленно засыпали *источник любви*. Показывают место его; тут я выпил стакан сенской воды, остатками оросил землю, и сказал: «A l'amour!»^[393] – в жертву Венере Урании.

Нынешняя *Павильонная улица* называлась прежде именем Дианы, не греческой богини, а прекрасной, милой Дианы дю Пуатье, которую знаю и люблю по «Запискам» Брантома. Она имела все прелести женские, до самой старости сохранила свежесть красоты своей и владела сердцем Генриха II. Рост Минервин, гордый вид Юноны, походка величественная, темно-русые волосы, которые до земли доставали; глаза черные огненные; лицо нежное, лилейное, с двумя розами на щеках; грудь Венеры Медицинской и, что еще милее, чувствительное сердце и просвещенный ум: вот ее портрет! Король хотел, чтобы парламенты торжественно признали

дочь ее законною его дочерью; Диана сказала: «Имею право на твою руку, я требовала единственно твоего сердца, для того что любила тебя; но никогда не соглашусь, чтобы парламент объявил меня твоею наложницею». – Генрих слушал ее во всем и делал только хорошее. Она любила науки, поэзию и была музою остроумного Маро. Город Лион посвятил ей медаль с надписью: «*Omniū victorem vici*». ^[394] «Я видел Диану шестидесяти пяти лет, – говорит Брантом, – инемог надивиться чудесной красоте ее; все прелести сияли еще на лице сей редкой женщины». Какая из нынешних красавиц не позавидует Диане? Им остается следовать образу ее жизни. Она всякий день вставала в шесть часов, умывалась самою холодною ключевою водою, не знала притираний, никогда не румянилась, часто ездила верхом, ходила, занималась чтением и не терпела праздности. Вот рецепт для сохранения красоты! – Диана погребена в Анете; не имея надежды видеть могилу ее, я бросил цветок на то место, где жила прелестная.

В улице *писателей* или *копистов* (*des écrivains*) хотел я видеть дом, где в XIV веке жил Николай Фламель с женою своею Пернилиею и где еще по сие время на большом камне видны их резные изображения, окруженные готическими надписями и иероглифами. Вы не знаете, кто был Николай Фламель: не правда ли? Он был не что иное, как бедный копист; но вдруг, к общему удивлению, сделался благотворителем неимущих и начал сыпать деньги на бедных отцов семейства, на вдов и сирот, завел больницы, выстроил несколько церквей. Пошли в городе разные толки: одни говорили, что Фламель нашел клад; другие думали, что он знает тайну философского камня и делает золото; иные подозревали даже, что он водится с духами; а некоторые утверждали, что причиною богатства его есть тайная связь с жидами, выгнанными тогда из Франции. Фламель умер, не решив спора. Через несколько лет любопытные вздумали рыть землю в его погребу и нашли множество угольев, разных сосудов, урн с каким-то жестким минеральным веществом. Алхимическое суеверие обрадовалось новому лучу безумной надежды, и многие, желая разбогатеть подобно Фламелью, превратили в дым свое имение. Прошло несколько веков: история его была уже забыта; но Павел Люкас, славный путешественник, славный лжец, возобновил ее следующею сказкою. Будучи в Азии, познакомился он с одним дервишем, который говорил всеми языками, казался молодым человеком, а прожил на свете более ста лет. «Сей дервиш, – говорит Люкас, – уверил меня, что Николай Фламель еще жив; что он, боясь сидеть в тюрьме за тайну философского камня, вздумал скрыться; подкупил доктора и приходского священника, чтобы они разгласили о его смерти, а

сам ушел из Франции». «С того времени, – сказал мне дервиш, – Николай Фламель и жена его Пернилия ведут философскую жизнь в разных частях света; он – сердечный Друг мой, и я недавно виделся с ним на берегу Гангеса». – Удивительно не то, что Павел Люкас выдумал роман, а то, что Лудовик XIV посылал такого человека странствовать для обогащения наук историческими сведениями. – Я стоял несколько минут перед домом Фламеля, копал в земле своею тростью, но не нашел ничего, кроме камней, совсем не философских.

Я не хотел бы жить в улице *Ферронери*: какое ужасное воспоминание! Там Генрих IV пал от руки злодея – *seul roi de quilepeuple ait garde la mémoire*,^[395] говорит Вольтер. Герой великодушный, царь благотворительный! Ты завоевал не чужое, а свое государство, и единственно для счастья завоеванных! – Слова незабвенные, простые, но сильные: «Я не хочу умереть без того, чтобы всякий крестьянин в королевстве моем не ел курицы по воскресеньям!» и другие, сказанные им гишпанскому министру: «Вы не узнаете Парижа: мудрено ли? Отец семейства был прежде в отлучке; теперь он дома и печется о своих детях!» – В бедствиях образовалась душа Генрихова; в собственном несчастье научился он дорожить счастьем других людей и дружбою, которая рождается и торжествует в бурные времена. Он был любим! Некоторые из добрых французов от горести последовали за ним во гроб; между прочим, Левик, парижский губернатор. – Кучер мой остановился и кричал: «Вот улица де ла Ферронери!» – «Нет, – отвечал я, – ступай далее!» Я боялся выйти и ступить на ту землю, которая не провалилась под гнусным Равальяком.

Улица храма, *gue du Temple*, напоминает бедственный жребий славного ордена тамплиеров, которые в бедности были смиренны, храбры и великодушны; разбогатевав, возгордились и вели жизнь роскошную. Филипп *Прекрасный* (но только не душою) и папа Климент V, по доносу двух злодеев, осудили всех главных рыцарей на казнь и сожжение. Варварство, достойное XIV века! Их мучили, терзали, заставляя виниться в ужасных нелепостях; например, в том, будто они поклонялись деревянному болвану с седою бородою, отрекались от Христа, дружились с дьяволом, влюблялись в чертовок, играли младенцами, как мячом, то есть бросали их из рук в руки и таким образом умерщвляли. Многие рыцари не могли снести пытки и признавали себя виновными; другие же, в страшных муках, на костре, в пламени, восклицали: «Есть бог! Он знает нашу невинность!» Моле, великий магистер ордена, выведен был на эшафот, чтоб всенародно

изъявить покаяние, за которое обещали простить его. Один ревностный легат в длинной речи описал все мнимые злодеяния кавалеров храма и заключил словами: «Вот их начальник! Слушайте: он сам откроет вам богомерзкие тайны ордена...» – «Открою истину, – сказал несчастный старец, выступив на край эшафота и потрясая тяжкими своими цепями, – всевышний милосердый отец человеков! Внемли клятве моей, которая да оправдает меня пред твоим небесным судилищем!.. Клянусь, что рыцарство невинно, что орден наш был всегда ревностным исполнителем христианских должностей, правомерным, благодетельным, что одни лютые муки заставили меня сказать противное и что я молю небо простить человеческую слабость мою. Вижу яростную злобу наших гонителей; вижу меч и пламя. Да будет со мною воля божия!

Готов все терпеть в наказание за то, что я оклеветал моих братьев, истину и святую веру!» – В тот же день сожгли его! Старец, пылая на костре, говорил только о невинности рыцарей и молил Спасителя подкрепить его силы. Народ, проливая слезы, бросился в огонь, собрал пепел несчастного и унес его как драгоценную святыню. – Какие времена! Какие изверги между людьми! Хищному Филиппу надобно было имя ордена.

Чем загладить в мыслях страшные воспоминания? Куда теперь ехать? В *Иль де Нотр-Дам*, где во время Карла V, перед глазами всех именитых жителей Парижа, рыцарь Макер сражался... с другим рыцарем, думаете? Нет, с собакою, которая могла служить примером для рыцарей. Доныне показывают там место сего чудного поединка. Выслушайте историю. Обри Мондидье, гуляя один в лесу недалеко от Парижа, был зарезан и схоронен под деревом. Собака несчастного, которая оставалась дома, побежала ночью искать его, нашла в лесу могилу, узнала, кто погребен тут, и несколько дней не сходила с места. Наконец голод заставил ее возвратиться в Париж. Она пришла к Обриеву другу Ардильеру и жалким воем давала ему чувствовать, что общего друга их уже нет на свете! Ардильер накормил ее, ласкал, но горестная собака не переставала визжать, лизала ему ноги, брала его за кафтан, тащила к дверям. Ардильер решился идти за нею – из улицы в улицу, за город, в лес, к высокому дубу. Тут начала она визжать еще сильнее и рыть лапами землю. Друг Обриев с горестным предчувствием видит могилу, велит слуге своему копать и находит тело несчастного. Через несколько месяцев собака встречается с убийцею, которого все историки называют рыцарем Макером; бросается на него, [\[396\]](#) лает, грызет, так что с великим трудом могли оттащить ее. В другой, в третий раз то же; собака, всегда смиренная, только против одного человека

делается злобным тигром. Люди удивляются, говорят; вспомнили ее привязанность к господину; вспомнили, что Макер в разных случаях оказывал ненависть к покойнику. Другие обстоятельства умножают подозрение. Доходит до короля. Он желает видеть собственными глазами— и видит, что собака, ласкаясь ко всем придворным, с визгом кусает Макара. В тогдашние времена поединок решил судьбу обвиняемых, если доказательства были неясны. Карл назначает день, место; рыцарю дают булаву и пускают собаку. Жестокий бой начинается. Макер заносит руку, хочет разить, но собака увертывается, хватает его за горло – и злодей, падая на землю, признается королю в своем злодеянии. Карл V, желая для потомства сохранить память верной собаки, которая столь чудесно открыла тайное убийство, велел в Бондийском лесу соорудить ей мраморный монумент и вырезать следующую надпись: «Жестокие сердца! Стыдитесь: бессловесное животное умеет любить и знает благодарность. А ты, злодей! В минуту преступления бойся самой тени своей!» – Итак, Карл справедливо назван *Мудрым*. – Когда *история людей*, наполненная злодеяниями, выпадет из рук моих, я стану читать *историю собак* и утешусь!

Отчего в Париже назвали одну улицу *Адскою*? Лудовик Святой, добрый государь (если бы он только не ездил воевать в Азию и в Африку^[397]), подарил ученикам Бруновым^[398] небольшой домик с садом, близ старинного дворца, построенного королем Робертом и давно уже оставленного. Скоро разнесся в Париже слух, что нечистые духи живут в Робертовых палатах, шумят, стучат цепями и воют страшным образом, что одно *зеленое чудовище*, сверху человек, а снизу змея, ходит по комнатам, ночью выбегает на улицу и бросается на людей. Лудовик, слыша такие ужасы, рассудил за благо отдать сей дворец картезианцам с условием, чтобы они выгнали оттуда злых духов. Зеленое чудовище вдруг скрылось, и добрые монахи жили покойно в своем огромном доме, но улица и доньше называется *Адскою*.

Я проехал оттуда в улицу *Милькёр*, где Франциск I жил несколько времени в маленьком домике, чтоб быть соседом прекрасной герцогини д'Этамп, которая владела его нежным сердцем. Он украсил свои комнаты живописью, эмблемами, надписями в честь и славу любви. «Я видел еще многие из сих девизов, – говорит Соваль, – но помню только один: пламенное сердце, изображенное между *альфы* и *омеги*; что, без сомнения, значило: „Оно будет всегда пылать“». Бани герцогини д'Этамп служат ныне конюшнею. Шляпный мастер варит себе кушанье в спальне Франциска I, а в *кабинете его восторгов* (cabinet de délices) живет сапожник.

Старинный закон не велит во Франции выпускать на улицу свиней. Любопытны ли вы знать причину? В улице Мальтуа вам скажут ее. Там молодой король Филипп, сын Лудовика *Толстого*, ехал верхом. Вдруг откуда ни взялась свинья и бросилась под ноги лошади его: лошадь споткнулась, Филипп упал и на другой день умер.

Шотланец Ла (Law) прославил улицу Кенкампуа: тут раздавались билеты его банка. Страшное множество людей всегда теснилось вокруг бюро, чтобы менять луидоры на ассигнации. «Тут горбатые торговали своими горбами; то есть позволяли ажиотёрам писать на них и в несколько дней обогащались. Слуга покупал экипаж господина своего; демон корыстолюбия выгонял философа из ученого кабинета и заставлял его вмешиваться в толпу игроков, чтобы покупать мнимые ассигнации. Сон исчез, осталась простая бумага, и автор сей несчастной системы умер с голоду в Венеции, быв за несколько времени перед тем роскошнейшим человеком в Европе», – *Мерсье в «Картине Парижа»*.

Путешествие мое кончилось улицею *Арфы*, de la Harpe, где я видел остатки древнего римского здания, известного под именем Palais de Thermes:^[399] огромную залу с круглым сводом, вышиною в сорок футов. Историки думают, что это здание древнее времен Иулиановых; по крайней мере Иулиан жил в нем, когда галльские легионы назвали его римским императором. Великолепные сады, бассейны, водоводы, о которых говорят старинные летописи, все стерто и заглажено рукою времени. Тут жили французские цари Кловисова поколения; тут заключены были любезные дочери Карла Великого за их нежные слабости; тут, при королях второго поколения,^[400] знатные парижские дамы видались с своими обожателями; тут ныне выкармливают голубей для продажи. «Кстати, – подумал я. – Голубь есть Венерина птица».

В этой же улице славился пирожник Миньйо, которого воспел Буало в сатире своей:

...Mignot, c'est tout dire, et dans le monde entier
Jamais empoisonneur ne sut mieux son métier...^[401]

Пирожник рассердился на сатирика, жаловался в суде; но, будучи только осмеян судьями, вздумал мстить поэту иным образом: уговорил аббата Коттеня сочинить сатиру на Буало, напечатал ее и разослал с пирогами по всему городу.

ОПЕРНОЕ ЗНАКОМСТВО

Я пришел в Оперу с немцем Рейнвальдом. «Entrez dans cette loge. Messieurs»^[402] – В ложе сидели две дамы с кавалером св. Лудовика. «Останьтесь здесь, государи мои, – сказала нам одна из них, – видите, что у нас нет ничего на головах; в других ложах найдете женщин с превысокими уборами, которые совсем закроют от вас театр». – «Мы вас благодарим», – отвечал я и сел позади ее. Учтивость ее возбудила мое внимание: я с обеих сторон заглядывал ей в лицо. Между тем товарищ мой начал говорить со мною по-русски: и дамы, и кавалер посмотрели на нас, услышав неизвестные звуки. Я имел удовольствие найти в учливой даме белокурую молодую красавицу. Черный цвет платья оттенял белизну лица; голубая ленточка извивалась в густых, светлых, ненапудренных волосах; букет роз алел на лилеях груди. – «Хорошо ли вам?» – спросила у меня с улыбкою любезная незнакомка. – «Нельзя лучше, сударыня». – Но кавалер, который сидел рядом с нею, беспрестанно повертываясь с стороны в сторону, беспокоил Рейнвальда. «Я здесь ни за что не останусь, – сказал мой немец, – проклятый француз натрет мне на коленях мозоли», – сказал и ушел. Белокурая незнакомка посмотрела на дверь и на меня. «Ваш товарищ недоволен нашею ложею?»

Я. Ему хочется быть прямо против сцены.

Незнакомка. А вы с нами?

Я. Если позволите.

Незнакомка. Вы очень милы.

Кавалер св. Лудовика. Я только теперь заметил, что у вас на груди розы; вы их любите?

Незнакомка. Как не любить? Они служат эмблемою нашего пола.

«От них совсем нет запаха», – сказал он, распуская и сжимая свои ноздри.

Я. Извините – я далее, а чувствую.

Незнакомка. Вы далее? Да что ж вам мешает быть поближе, если розы для вас приятны? Здесь есть место... Вы англичанин?

Я. Если англичане имеют счастье вам нравиться, то мне больно назваться русским.

Кавалер. Вы русский? Видите, что я угадал, сударыня! J'ai voyagé dans le nord; je me connois aux accens; je vous l'ai dit dans le moment.^[403]

Незнакомка. Я, право, думала, что вы англичанин. Je raffole de cette nation.^[404]

Кавалер. Нельзя ошибиться тому, кто, подобно мне, был везде и знает языки. У вас в России говорят немецким языком?

Я. Русским.

Кавалер. Да, русским; все одно.

«Все места заняты, – сказала красавица, взглянув на партер. – Тем лучше! Я люблю людей».

Кавалер. Иначе вы были бы неблагодарны.

«Как досадно! – думал я. – Он сорвал у меня с языка это слово».

Кавалер. Только, по Моисееву закону, вам надобно ненавидеть женщин.

Незнакомка. Почему же?

Кавалер. Любовь за любовь, ненависть за ненависть. Незнакомка (с усмешкою). Я христианка. Однако ж это правда: женщины не любят друг друга.

«Для чего же?» – спросил я с величайшею невинностью.

Красавица. Для чего?..

Тут она понюхала свои розы, взглянула опять на меня и спросила, давно ли я в Париже? Долго ли пробуду?

«Когда розы увянут в саду, меня уже здесь не будет», – отвечал я самым жалким голосом.

Красавица (посмотрев на свой букет). Они у меня цветут и зимою.

Я. Чего не делает искусство, сударыня? Однако ж натура не теряет своих прав: ее цветы милее.

Красавица. Не северному жителю хвалить природу: она у вас печальна.

Я. Не всегда, сударыня: у нас также есть весна, цветы и прекрасные женщины.

Незнакомка. Любезные?

Я. По крайней мере любимые.

Незнакомка. Да, я думаю, что у вас лучше умеют любить, нежели нравиться. Во Франции напротив: чувство пылает здесь только в романах.

Я. У нас, сударыня, у нас оно пылает в сердцах.

Кавалер. Чувствительность везде роман. Я путешествовал и знаю.

Красавица. О несносные французы! Вы все атеисты в любви. Не мешайте ему говорить. Он нам скажет, как в России обожают женщин...

Кавалер. Роман!

Красавица. Как мужчины нежны, примечательны...

Кавалер (зевая). Роман!

Красавица. Как они смотрят женщинам в глаза, не скучая, не зевая.

Кавалер (засмеявшись). Роман! Роман!

Тут весь театр осветился площадками, и зрители захлопали в знак удовольствия. Красавица сказала с улыбкою: «Мужчины рады свету, а мы боимся его. Посмотрите, например, как вдруг стала бледна молодая дама, которая сидит против нас!..»

Кавалер. Оттого, что она, подражая англичанкам, не румянится.

Я. Бледность имеет свою прелесть, и женщины напрасно румянятся.

Красавица обернулась к партеру... Ах! Она была нарумянена! Я сказал неучтивость, прижался боком к стене и молчал. К счастью, оркестр заиграл, и началась опера. Музыка Глукова «Орфея» восхитила меня так, что я забыл и красавицу, зато вспомнил Жан-Жака, который не любил Глука, но, слыша в первый раз «Орфея», пленился, молчал – и когда парижские знатоки при выходе из театра окружили его, спрашивая, какова музыка? запел тихим голосом: «J'ai perdu mon Eurydice; rien n'égale mon malheur» – обтер слезы свои и, не сказав более ни слова, ушел. Так великие люди признаются в несправедливости мнений своих!

Занавес опустился. Незнакомка сказала мне: «Божественная музыка! А вы, кажется, не аплодировали?»

Я. Я чувствовал, сударыня.

Незнакомка. Глук милее Пиччини.

Кавалер. Об этом в Париже давно перестали спорить. Один славится гармониею, другой – мелодиею; один всегда равно удивителен, другой велик порывами; один никогда не падает, другой встает с земли, чтобы лететь к облакам; в одном более характера, в другом более оттенок. Мы давно согласились.

Незнакомка. Я не умею делать ученых сравнений; а вы, государь мой?

Я. Согласен с вами, сударыня.

Незнакомка. Etes-vous toujours bien, Mr.?^[405]

Я. Parfaitement bien, Madame, auprès de vous.^[406]

Тут кавалер св. Лудовика сказал ей что-то на ухо. Она засмеялась, посмотрела на часы; встала, подала ему руку и, сказав мне: «Je vous salue, Monsieur!»^[407] – ушла вместе с другою дамою. Я изумился... Не дожидаться прекрасного балета «Калипсы и Телемака»! Странно!.. Мне стало в ложе просторнее и – скучнее. Я взглядывал на дверь, как будто бы ожидая возвращения прелестной незнакомки. Кто она? Благородная, почтенная или... Какая мысль! Важные парижские дамы не говорят так вольно с незнакомыми; однако ж может быть исключение из правила. Воображение мое не переставало заниматься ею во время балета, находя в разных

танцовщицах сходство с белокурою незнакомкою. Я пришел домой – и все еще о ней думал.

«История кончилась», – вы скажете; а может быть, и нет. Что, если я опять где-нибудь встречу с красавицею, в *Елисейских полях*, в *Булонском лесу* избавлю ее от разбойников, или вытащу из Сены, или спасу от огня?.. Предвижу вашу усмешку. «Роман! Роман!» – повторите вы с кавалером св. Лудовика. Боже мой! Как люди стали ныне недоверчивы! Это отнимает охоту путешествовать и рассказывать анекдоты. Хорошо; я замолчу.

Париж, мая

Солиман Ага, турецкий посланник при дворе Лудовика XIV в 1669 году, первый ввел в употребление кофе. Некто Паскаль, армянин, вздумал завести кофейный дом: новость полюбилась, и Паскаль собрал довольно денег. Он умер, и мода на кофе прошла, так что к его наследникам никто уже не ходил в гости. Через несколько лет Прокоп Сицилианец открыл новый кофейный дом^[408] близ *Французского театра*, украсил его со вкусом и нашел способ заманивать к себе лучших людей в Париже, особливо авторов. Тут сходились Фонтенель, Жан-Батист Руссо, Сорен, Кребиййон, Пирон, Вольтер; читали прозу и стихи, спорили, шутили, рассказывали новости. Парижане ходили от скуки слушать их. Имя сохранилось донныне, но теперешний Прокопов кофейный дом не имеет уже славы прежнего.

Что может быть счастливее этой выдумки? Вы идете по улице, устали, хотите отдохнуть: вам отворяют дверь в залу, чисто прибранную, где за несколько копеек освежитесь лимонадом, мороженым, прочтаете газеты, слушаете сказки, рассуждения; сами говорите и даже кричите, если угодно, не боясь досадить хозяину. Люди небогатые осенью, зимою находят тут приятное убежище от холода, камин, светлый огонь, перед которым могут сидеть, как дома, не платя ничего, и еще пользоваться удовольствием общества. Vive Pascal! Vive Procopé! Vive Soliman Aga!^[409]

Ныне более шестисот кофейных домов в Париже (каждый имеет своего корифея, умника, говоруна), но знаменитых считается десять, из которых пять или шесть в Пале-Рояль: Café de Foi, du Cavot, du Valois, de Chartres.^[410] Первый отменно хорошо прибран, а второй украшен мраморными бюстами музыкальных сочинителей, которые своими операми пленяют слух здешней публики: бюстом Глука, Саккини, Пиччини, Гретри и Филидора. Тут же на мраморном столе написано золотыми буквами: «On ouvrit deux souscriptions sur cette table: la première le 28 Juillet, pour répéter

l'expérience d'Annonay; la deuxième le 29 Août, 1783, pour rendre hommage par une médaille à la découverte de MM. de Montgolfier».^[411] стене прибит медальон, который изображает обоих братьев Монгольфье. – Жан-Жак Руссо прославил один кофейный дом, le Café de la Régence,^[412] тем, что всякий день играл там в шашки. Любопытство видеть великого автора привлекало туда столько зрителей, что полицеймейстер должен был приставить к дверям караул. И ныне еще собираются там ревностные жан-жакисты пить кофе в честь Руссовой памяти. Стул, на котором он сживал, хранится как драгоценность. Мне сказывали, что один из почитателей философа давал за него пятьсот ливров, но хозяин не хотел продать его.

СМЕСЬ

Я желал видеть, как веселится парижская чернь, и был нынешний день в *генгетах*: так называются загородные трактиры, где по воскресеньям собирается народ обедать за десять су и пить самое дешевое вино. Не можете представить себе, какой шумный и разнообразный спектакль! Превеликие залы наполнены людьми обоего пола; кричат, пляшут, поют. Я видел двух шестидесятилетних стариков, важно танцующих менуэт с двумя старухами; молодые хлопали в ладоши и кричали: «Браво!» Некоторые шатались от действия винных паров, а также хотели танцевать и только что не падали; не узнавали дам своих и вместо извинения говорили: «Diable! Peste!»^[413] – C'est l'empire de la grosse gaieté, царство грубого веселья! – Итак, не один русский народ обожает Бахуса! Разница та, что пьяный француз шумит, а не дерется.

У дверей всякой *генгеты* стоят женщины с цветами, берут вас за руку и говорят: «Господин милый, господин прекрасный! Я дарю вас букетом роз». Надобно непременно взять подарок, отблагодарить шестью копейками^[414] и еще сказать учтивое слово, un mot de politesse, d'honnêteté. Парижские *цветочницы* одного разбора с *рыбными торговками* (les roissardes); страшно не понравиться им; они в состоянии заметать вас грязью. Но если вы держите в руке букет цветов, то вам уже не предлагают другого. Однажды на *Королевском мосту* две *цветочницы* остановили меня с бароном В*^[415] и требовали... поцелуя! Мы смеялись, хотели идти, но жестокие вакханты насильно поцеловали нас в щеку, хохотали во все горло и кричали нам вслед: «Еще, еще один поцелуй!»

Идучи по *Дофинскому берегу*, увидел я на реке два китайских павильона, узнал, что это бани, сошел вниз, заплатил 24 су и вымылся холодной водою в прекрасном маленьком кабинете. Чистота удивительная. Во всякий кабинет проведена из реки особливая труба, в которой вода течет сквозь песок. Тут же учат плавать; урок стоит 30 су. При мне плавали три человека с отменною легкостью. В Париже есть и теплые бани, в которые часто посылают медики больных своих. Самые лучшие и дорогие называются русскими, *bains Russes, de vapeurs oil de fumigations, simples et composés*.^[416] Надобно заплатить рубли два, и вас вымоют, вытрут губками, обкурят ароматами, как у нас в грузинских банях.

Я был в *Hôtel-Dieu*, главной парижской гошпитали, в которую принимают всякой веры, всякой нации, всякого рода больных и где бывает их иногда до 5000, под надзиранием 8 докторов и 100 врачей. 130 монахинь августинского ордена служат несчастным и пекутся о соблюдении чистоты; 24 священника беспрестанно исповедывают умирающих или отпевают мертвых. Я видел только две залы и не мог идти далее: мне стало дурно, и до самого вечера стон больных отзывался в моих ушах. Несмотря на хороший присмотр, из 1000 всегда умирает 250. Как можно заводить такие больницы в городе? Как можно пить воду из Сены, в которую стекает вся нечистота из *Hôtel-Dieu*? Ужасно вообразить! Счастлив, кто выедет из Парижа здоровый! – Я спешу в театр, чтобы рассеять свою меланхолию и начало лихорадки.

Здесьняя Королевская библиотека есть первая в свете; по крайней мере так сказал мне библиотекарь. Шесть превеликих зал наполнены книгами. Мистические авторы занимают пространство в 200 футов длиною и в 20 вышиною, схоластики – 150 футов, юристы – 40 сажень, историки вдвое. Поэтов считается 40 000, романистов – 6000, путешественников – 7000. Все вместе составляет около 200 000 томов, к которым надобно еще прибавить 60 000 рукописных. Порядок редкий. Наименуйте книгу, и через несколько минут она у вас в руках. Мне, как русскому, показывали славянскую библию и «Наказ» императрицы. – Карл V получил в наследство после короля Иоанна 20 книг; любя чтение, умножил их до 900 и был основателем сей библиотеки. Тут же, в кабинете древних и новых медалей, с великим любопытством рассматривал я два щита славнейших из древних полководцев: Аннибала и Сципиона Африканского.^[417] Какими приятными воспоминаниями обязаны мы истории! Мне было восемь или девять лет от роду, когда я в первый раз читал римскую и, воображая себя

маленьким Сципионом, высоко поднимал голову. С того времени люблю его как своего героя. Аннибала я ненавидел в счастливые времена славы его, но в решительный день, перед стенами карфагенскими, сердце мое едва ли не ему желало победы. Когда все лавры на голове его увяли и засохли, когда он, укрываясь от злобы мстительных римлян, скитался из земли в землю, тогда я был нежным другом хотя несчастного, но великого Аннибала и врагом жестоких республиканцев. – Еще хранятся в библиотеке две стрелы диких американцев, намазанные таким сильным ядом, что если проколешь ими до крови какоенибудь животное, то оно через несколько минут, оцепенев, умрет. – В зале нижнего этажа стоят два глобуса чрезмерной величины, так что верхняя часть их выходит, через отверстие потолка, в другой этаж. Они сделаны монахом Коронелли. – Собрание эстампов в библиотеке также достойно примечания.

Здесь много и других общественных и частных библиотек, отворенных в назначенные дни для всякого. Читайте, выписывайте, что вам угодно. Нет в свете другого Парижа ни для ученых, ни для любопытных; все готово – только пользуйся.

Королевская обсерватория, обращенная углами к четырем главным пунктам горизонта, построена без дерева и без железа. В большой зале первого этажа проведен меридиан, который идет через всю Францию, на север и на юг, от Колиура до Динкирхена. Там одна комната называется *тайною*, la salle des Secrets, и представляет любопытный феномен. Если вы приложите губы к пиластру и тихонько скажете несколько слов, то человек, стоящий напротив, у другого пиластра, слышит их, а люди, которые стоят между вами, ничего не слышат. Монах Киркер писал изъяснение сей механической странности. – Кто хочет сойти в подземельный лабиринт обсерватории, служащий для разных метеорологических опытов, тому надобно непременно взять вожатого и факелы: 360 ступеней ведут вас в эту бездну; темнота страшная; густой, сырой воздух почти останавливает дыхание. Мне рассказывали, что два монаха, сошедши туда вместе с другими любопытными, отстали – хотели догнать товарищей, но факел их угас – они искали выхода из темных переходов, но тщетно. Через восемь дней нашли их в лабиринте мертвых.

Лудовик XIV построил самый великолепнейший в Европе *Инвалидный дом* для изувеченных и престарелых воинов, желая доказать им царскую благодарность, и часто бывал у них в гостях, без всякой стражи, кроме испытанного усердия своих ветеранов. Печальное зрелище для философа, трогательное для всякого чувствительного! Многие инвалиды не могут

ходить; многие не могут даже есть сами: их кормят. Одни молятся перед алтарями; другие сидят под тенью густых деревьев, разговаривая о победах, купленных их кровию. Как охотно снимают шляпу перед седым воином, который носит на себе неизгладимые знаки храбрости и печать славы! Война бедственна, но храбрость есть великое свойство души. «Робкий человек может быть добрым: но всякий дурной человек непременно должен быть трусом», – говорит Стернов капрал Трим.^[418] – Петр Великий, осматривая парижский Инвалидный дом^[419] в то время, как почтенные воины сидели за обедом, налил себе рюмку вина и, сказав: «Ваше здоровье, товарищи!», выпил до капли.

Архитектура и живопись прекрасны.

Париж, мая...

13 мая, в день вознесенья, ходил я в деревеньку Сюрень, лежащую в двух милях от Парижа на берегу Сены. Мне сказали, что там с великою торжественностию будут короновать розами осьмнадцатилетнюю добродетельную девушку; но какая горесть! Нынешний год не было праздника – la fête de la Rosière.^[420] Отель де Виль, или городской приказ, не заплатил процентов с капитала, положенного каким-то г. Элиотом для награждения сельской невинности, хотя на это требовалось не более 300 ливров. Приходскому священнику надлежало после вечерни объявить имена трех достойнейших сюренских девушек; деревенские старшины выбирали из них одну, украшали цветами, хвалили ее добродетель, водили по деревне и пели хором:

Без награды добродетель
Не бывает никогда;
Ей в подсолнечной свидетель
Бог и совесть завсегда.
Люди также примечают,
Кто похвально жизнь ведет;
За невинность увенчают
Девушку в осьмнадцать лет.^[421]

Парижские дамы всегда любопытствовали видеть невинность так близко от Парижа, брали участие в веселии сюренски. – Я обедал в трактире с нарядными земледельцами, которые потчевали меня своим

красным вином, уверяя, что сюренский виноград и сюренские нравы славны во всем околотке. Один из них, с гордым видом выправляя свои белые длинные манжеты, сказывал мне, что все три дочери его были увенчаны розами и все три нашли себе достойных женихов.

Давно уже сельская простота не веселила меня столько, как нынешний день, – и наслаждаться ею в семи верстах от Парижа! Я не мог наговориться с крестьянами и с крестьянками; последние довольно смелы, но не бесстыдны. «Куда ты идешь с книжкой?» – спросил я у миленькой девушки. – «В церковь, – отвечала она, – молиться богу». – «Жаль, что я не вашего закона; а мне хотелось бы молиться подле тебя, красавица». – «Mais le bon Dieu est de toutes les religions, Monsieur» («Бог един во всех законах»). – Согласитесь, друзья мои, что такая философия в сельской девушке не совсем обыкновенна. Вообще все сюренские жители казались мне умными и счастливыми, может быть от веселого расположения души моей.

Вечер провел я также очень приятно в деревне Исси, в прекрасных садах герцога Инфантадоса и принцессы Шиме. Тут есть несравненная аллея из древних каштановых деревьев (лучше самой тюльерийской), и в конце ее превеликий водоем. Вид с террас прелестен: замок Мёдон, Бельвю, Булонский лес, неизмеримая равнина, по которой течет Сена, и на краю горизонта Мон-Валерьен.

Вообще парижские окрестности весьма приятны. Везде прекрасные деревеньки, аллеи, сады; везде рассеяны драгоценности искусств; в каждой сельской церкви найдете хорошие картины, замечания достойные монументы, памятники французской истории. С некоторого времени я всякий день бываю за городом и возвращаюсь иногда очень поздно. Теперь же все цветет и весна нежными оттенками переливается в лето.

Париж, мая...

Я худо пользуюсь здешними знакомствами и обществом; я скуп на время: мне жаль тратить его в трех или четырех домах, где меня принимают. Холодная учтивость непривлекательна. Госпожа Гло* уверяет, что в доме ее собираются лучшие авторы, но мне не случилось видеть у нее ни одного известного. Говорят отрывками; всё личности, jargon, язык, непонятный для чужестранца; молчишь, зеваешь или скажешь слова два на вопросы: «Как сильны бывают морозы в Петербурге? Сколько месяцев катаются у вас в санях? Ездите ли вы на оленях зимою?» Это невесело; и хотя стол госпожи Гло* очень вкусен, однако ж мне приятнее обедать за деньги у какого-нибудь ресторатёра, смотреть на множество людей,

вслушиваться иногда в шумные разговоры или про себя думать, сочинять план для остального дня. Госпожа Н*, другая моя знакомка, миловидна и любезна, так что я с удовольствием был у нее раз пять. Мы говорили о Швейцарии, о Руссо, о счастье простой жизни, даже о любви в метафизическом смысле; но вот неудобность: к ней ездит молодой барон Д*, и как скоро он в двери, я делаюсь лишним; это немного оскорбительно для моего самолюбия. Барон же хотя и не есть барон немецкий, однако ж взгляды его на меня очень грубы. Он садится с ногами на диване подле хозяйки, играет ролю рассеянного или сонливого, плюет на английский ковер, кладет голову на подушку – а как его не выгоняют, то надобно думать, что он имеет право выгонять других из кабинета госпожи Н*. Смекнув таким образом, беру шляпу и скрываюсь. Прованская красавица раздумала ехать в Швейцарию и быть жительницей горы Нёшательской. [\[422\]](#) Барон смеется над такой мыслию и называет ее вдохновением старомодного романизма.

Здесь теперь не много русских: фамилия князя Г*, [\[423\]](#) П*, и более никого, кроме посланника, секретаря М* [\[424\]](#) и г. У*, [\[49\]](#) с которыми вижусь нередко. У* небогат, но умел собрать прекрасную библиотеку и множество редких манускриптов на разных языках. У него есть оригинальные письма Генриха IV, Лудовика XIII, XIV, XV, кардинала Ришелье, английской королевы Елисаветы и проч. Он знаком со всеми здешними библиотекарями и через них достает редкости за безделку, особливо в нынешнее смутное время. В тот день, когда народ разграбил бастильский архив, У* купил за луидор целую кипу бумаг, между прочими несколько трогательных писем какого-то несчастного автора к полицеймейстеру и журнал одного из заключенных во время Лудовика XIV. Он уверен, что его писал тайный арестант, известный под именем Железной Маски, [\[425\]](#) о котором Вольтер говорит следующее: «Через несколько месяцев по смерти кардинала Мазарини случилось происшествие, которое можно назвать беспримерным и которого (что также удивительно) совсем не знали историки. С величайшею тайною послан был на остров Святой Маргариты неизвестный арестант, молодой человек, высокий ростом и благородный видом. Он носил маску с железною пружиною, которая не мешала ему есть. Офицер имел повеление убить его, если бы он снял ее. Сей человек содержался на острове до самого того времени, как губернатор пиньерольский Сен-Марс в 1690 году сделан был бастильским начальником и сам перевез его в Бастилию, также в маске. Министр Лувуа был у него на острове Св. Маргариты, говорил с

ним стоя и с великим почтением. В Бастилии отвели ему самые лучшие комнаты и ни в чем не отказывали. Всего более любил он тонкое белье и кружева, знал музыку, играл на гитаре, имел самый изобильный стол, и губернатор редко перед ним садился. Старый бастильский доктор никогда не видал его лица. Он был, по словам сего медика, чрезвычайно строен, имел трогательный голос, говорил приятно, никогда не жаловался на заключение и таил свое имя. – Сей неизвестный умер в 1703 году и погребен ночью в церкви св. Павла. Никто из людей знаменитых в Европе не пропадал во время его заключения, но он, без сомнения, был важный человек. Вот что случилось в первые дни его пребывания на острове Святой Маргариты... Сам губернатор носил ему кушанье и, выходя, запирали комнату. Заключенный начертил однажды несколько слов на серебряной тарелке и бросил ее в окно на лодку, стоявшую внизу, подле самой башни. Рыбак, хозяин лодки, поднял тарелку и принес губернатору, который с великим беспокойством спросил, видел ли он надпись и не показывал ли кому-нибудь тарелки? – „Я только что нашел ее, а сам не умею читать“, – отвечал рыбак. Однако ж губернатор удержал рыбака, чтобы увериться в истине его слов. Наконец, отпуская, сказал ему: „Поди и благодари бога, что не умеешь читать“. Один из достоверных людей, которым сей случай был известен, жив еще и ныне. Шамилар, последний из министров, знал тайну заключенного. Фельдмаршал Фёльд, зять его, сказывал мне, что он на коленях просил тестя своего объявить ему, кто был сей человек, известный только под именем Железной Маски. Шамилар отвечал, что он клялся хранить государственную тайну и не может открыть ее. Одним словом, многие из наших современников свидетельствуют истину мною рассказанного, и я не знаю никакого исторического происшествия, которое было бы удивительнее и вернее оного». – В «Жизни герцога Ришельё», недавно напечатанной, сия любопытная загадка, справедливо или нет, решится. Автор говорит, будто человек с железной маской был сын королевы Анны и близнец Лудовика XIV, скрытый от света кардиналом Ришелье для того, чтобы ему не вздумалось когда-нибудь спорить о короне с братом своим. Гипотеза не совсем вероятная! Равно как и то не совсем вероятно, чтобы журнал заключенного, которым земляк мой дорожит до крайности, был в самом деле писан Железною Маскою. У него одно доказательство: «Заключенный в разных местах упоминает о шоколаде, который к нему по утрам носили; при Лудовике XIV пили шоколад одни знатные, а как в это время (сколько известно) никто из важных людей, кроме человека с железною маскою, не содержался в Бастилии, то надобно, чтобы журнал был его!» Впрочем, автор сих

дневных записок, Железная Маска или другой кто, не говорит ничего, примечания достойного; одне жалобы на скуку, на жестокость заключения, в несвязных словах, без орфографии – и все тут.

Париж, мая...

Шесть дней сряду, в десять часов утра, хожу я в улицу св. Якова, в кармелитский монастырь... «Зачем? – спросите вы. – Затем ли, чтобы рассматривать тамошнюю церковь, древнейшую в Париже и некогда окруженную густым, мрачным лесом, где св. Дионисий в подземной глубине укрывался от врагов своих, то есть врагов христианства, благочестия и добродетели? Затем ли, чтобы решить спор историков, – из которых одни приписывают строение сего храма язычникам, а другие королю Роберту; одни утверждают, что статуя, видимая вверху, на портале, есть образ богини Цереры, а другие уверяют, что она представляет архангела Михаила? Или затем, чтобы удивляться великолепию олтарей, их бронзе, золоту, барельефам?..» Нет, я хожу в кармелитский монастырь для того, чтобы видеть милую, трогательную Магдалину живописца Лебрюна, таять сердцем и даже плакать!.. О, чудо несравненного искусства! Я вижу не холодные краски и не бездушное полотно, но живую ангельскую красоту, в горести, в слезах, которые из небесных голубых глаз ее льются на грудь мою; чувствую теплоту, жар их и вместе с нею плачу. Она узнала суету мира и злополучие страстей! Сердце ее, для света охладившее, пылает пред олтарем всевышнего. Не муки адские ужасают Магдалину, но мысль, что она недостойна любви того, кто любим ею столь ревностно и пламенно: любви отца небесного – чувство нежное, одним прекрасным душам известное! «Прости меня», – говорит ее сердце. «Прости меня», – говорит ее взор... Ах! Не только бог, совершенная благодать, но и самые люди, редко не жестокие, каких бы слабостей не простили такому искреннему, святому раскаянию?.. Никогда я не думал, не воображал, чтобы картина могла быть столь красноречива и трогательна. Чем более смотрю на нее, тем глубже вникаю чувством в ее красоты. Все прелестно в Магдалине: лицо, стан, руки, растрепанные волосы, служащие покровом для лилейной груди; всего же прелестнее глаза, от слез покрасневшие... Я видел много славных произведений живописи, хвалил, удивлялся искусству, но эту картину *желал бы иметь, был бы счастливее с нею, одним словом, люблю ее!* Она стояла бы в моем уединенном кабинете, всегда перед моими глазами...

Но открыть ли вам тайную прелесть ее для моего сердца? Лебрюн в виде Магдалины изобразил нежную, прекрасную герцогиню Лавальер,

которая в Лудовике XIV любила не царя, а человека и всем ему пожертвовала: своим сердцем, невинностью, спокойствием, светом. Я воображаю тихую лунную ночь, когда, гуляя в Версальском парке со своими подругами, милая Лавальер сказала им: «Вы говорите о придворных красавцах, а забываете первого: нашего любезного короля. Не пышность трона ослепляет глаза мои; нет, и в сельской хижине, в платье бедного пастушка предпочла бы я его всем мужчинам на свете». – Король был в двух шагах от прелестной, скрывался за деревом, слышал ее слова, и сердце ему сказало: «Вот та, которую ты любить должен!» Он не знал ее; на другой день старался говорить со всеми придворными дамами, узнал Лавальер по голосу – и несколько лет, будучи обожаем, сам обожал ее; изменил – и несчастная оставила свет, заключилась в кармелитском монастыре, истребила в душе все земные склонности, жила 36 лет единственно для добродетели, для неба, под именем Луизы, *сестры милосердия*, ревностно исполняя строгие должности ордена и звания своего.

Париж, мая...

Я думаю теперь: какое могло б быть самое любопытнейшее описание Парижа? Исчисление здешних монументов искусства (рассеянных, так сказать, по всем улицам), редких вещей в разных родах, предметов великолепия, вкуса имеет, конечно, свою цену; но десять таких описаний, и самых подробных, отдал бы я за одну краткую характеристику, или за *галерею примечания достойных людей в Париже*, живущих не в огромных палатах, а по большей части на высоких чердаках, в тесном уголке, в неизвестности. Вот обширное поле, на котором можно собрать тысячу любопытных анекдотов! Здесь-то бедность, недостаток в средствах к пропитанию доводит человека до удивительных хитростей, истощает и разум, и воображение! Здесь многие люди, которые всякий день являются на гульбищах, в Пале-Рояль, даже в спектаклях причесанные волос к волосу, распудренные, с большим кошельком на спине, с длинною шпагою на бедре, в черном кафтане, не имеют копейки верного дохода, а живут, веселятся и, судя по наружному виду, беспечны, как птицы небесные. Средства? Они разнообразны, бесчисленны и нигде, кроме Парижа, неизвестны. Например: человек, изрядно одетый, который сидит в Café de Chartres за чашкою *баваруаза*, говорит не умолкая, с видом благородным, приятным, шутит, рассказывает забавные анекдоты – знаете ли, чем живет? Продажею *афиш*, или всякого рода печатных объявлений, которыми здесь бывают облеплены стены. Ночью, когда город успокоится и люди по домам

разбредутся, он ходит собирать свой корм, из улицы в улицу, сдирает со стен печатные листы, относит их к пирожникам, имеющим нужду в бумаге, получает за то несколько копеек, ливра два или целый экю, ложится на соломенный тюфяк в каком-нибудь *гренье*^[426] и засыпает покойнее многих крезов. Другой человек, который также всякий день бывает в *публике*, то есть в Тюльери, Пале-Рояль, и которого вы по кафтану сочтете клерком,^[427] есть... откупщик; но, прошу угадать, какой? У него на откупе... все булавки, теряемые дамами в италийском спектакле. Когда занавес опускается и все зрители выходят из залы, он только что является в театр и с дозволения директорского, между тем как гасят свечи, ходит из ложи в ложу подбирать булавки; ни одна не укроется от его мышьих глаз, где бы она ни лежала; и в то мгновение, как слуга хочет гасить последнюю свечу, наш откупщик хватается последнюю булавку, говорит: «Слава богу! Завтра я не умру с голоду!» – и бежит с своим пакетом к лавочнику. – Я был в Мазариновой библиотеке и смотрел на ряды книг без всяких мыслей. Ко мне подошел седой старик в темном кафтане и сказал: «Вы желаете видеть примечания достойные книги и манускрипты?» – «Желал бы, государь мой!» – «Я к вашим услугам». И старик начал мне показывать редкие издания, древние рукописи, беспрестанно говоря, изъясняя. Я думал, что он библиотекарь; совсем нет, но тридцать лет служит там *живым каталогом* для любителей и читателей книг. Надзиратели Мазариновой коллегии дозволяют старику хозяйствовать в библиотеке и чрез то промышлять себе хлеб. Дайте ему экю или медную копейку, он возьмет их с равною благодарностию, не скажет: «Мало!», не сморщит лба; также и за горсть серебряной монеты не поклонится вам ниже обыкновенного. Парижский нищий хочет иметь наружность благородного человека. Он берет подавание без стыда, но за грубое слово вызовет вас на поединок: у него есть шпага!

В *галерее примечания достойных людей* занял бы, конечно, не последнее место один здешний стоик, известный под именем *четырнадцатилуковошного* (de quatorzeoignons), истинный Диогенов человек, отказывающий себе во всем, что не есть в строгом смысле необходимо для жизни. Он промыслом *носильщик*:^[428] все его имение состоит в большой корзине; днем разносит в ней по комиссии всякую всячину, а ночью спит, как в алькове, на городской площади, под колоннадою. Сорок лет не переменяет своего камзола; в случае нужды нашивает заплаты и таким образом от времени до времени возобновляет его, как природа, по мнению медиков, возобновляет в разные периоды человеческое тело. Четырнадцать луковиц составляют его дневную пищу.

Не думайте, чтобы он жил так по необходимости; нет, бедные просят у него милостыни и получают; другие берут займы – но парижский Диоген никогда не требует назад своих денег, ежедневно вырабатывая три и четыре ливра. Он умеет быть благодетелем и другом; говорит мало, но с выразительным лаконизмом. Многие ученые знакомы с ним. Химист Л* [429] спросил у него однажды: «Счастлив ли ты, добрый человек?» – «Думаю», – отвечал наш философ. – «В чем состоят твои удовольствия?» – «В работе, отдыхе, в беспечности». – «Прибавь еще: в благодеяниях. Я знаю, что ты делаешь много добра». – «Какого?» – «Поддаешь милостыню». – «Отдаю лишнее». – «Молишься ли богу?» – «Благодарю его». – «За что?» – «За себя». – «Ты не боишься смерти?» – «Ни жизни, ни смерти». – «Читаешь книги?» – «Не имею времени». – «Бывает ли тебе скучно?» – «Я никогда не бываю празден». – «Не завидуешь никому?» – «Я доволен собою». – «Ты истинный мудрец». – «Я человек». – «Желаю твоей дружбы». – «Все люди – друзья мои». – «Есть злые». – «Их не знаю».

К великому моему сожалению, я не видал сего нового Диогена. Он скрылся при начале революции. Иные думают, что его уже нет на свете. Вот доказательство, что в самом низком состоянии может родиться и жить *гений деятельной мудрости*.

Париж, мая...

Нынешний день видел я две чудесные школы: училище природно глухих и немых (которым посредством знаков сообщают самые трудные, сложные, метафизические идеи, которые знают совершенно грамматику, разбирают все книги и сами пишут ясным, чистым, правильным слогом), и еще другую, не менее удивительную школу природно слепых, которые умеют читать, знают музыку, географию, математику. Аббат л'Епе, основатель первого училища, умер; место его заступил аббат Сикар: он с великою ревностью посвящает себя искусству делать получеловеков совершенными людьми, заменяя в них, так сказать, новым органом слух и язык. Молодой швед, бывший вместе со мною у Сикара, написал на бумажке: «Вы, конечно, жалеете о л'Епе», – и подал ее одному из учеников, который тотчас, схватив перо, отвечал: «Без сомнения; он – наш благодетель, разбудил в нас ум, дал нам мысли и другого учителя, подобного ему в искусстве и в ревности быть нашим просветителем, другом, вторым отцом». Многие из немых страстно любят чтение, так, что для сохранения их глаз надобно отнимать у них книги. С удивительною скоростью говорят они знаками между собою, выражая самые отвлеченные идеи; кажется, будто не могут нарадоваться своею новою способностью.

В другой школе, заведенной господином Гаюи, слепые учатся арифметике, чтению, музыке и географии посредством *выпуклых* (en relief) знаков, букв, нот и ландкарт, разбираемых ими по осязанию. Ученик, щупая ряды литер и нот, перед ним лежащих, читает, поет; прикоснувшись рукою к ландкарте, говорит: «Здесь Париж, тут Москва; здесь Отагити, тут Филиппинские острова». Швед тихонько перевернул карту; слепой, дотронувшись до нее, сказал: «Она лежит вверх ногами», и снова оборотил ее. Как у зрячих судят глаза о расстоянии предметов, их взаимных отношениях, так у слепых осязание, удивительно тонкое, верно *соглашенное* с памятью и воображением. Например, если я, зажмурив глаза, ощупаю несколько предметов, то мне очень трудно будет вообразить их взаимное между собою отношение, от непривычки судить о вещах по осязанию; напротив того, слепые воображают по осязанию так же быстро, как мы по глазам. Надзиратель хотел сделать нам полное удовольствие и велел слепым ученикам своим петь гимн, сочиненный для них Обером. Прекрасные голоса! Трогательная мелодия! Милые слова! Мы заплакали. Надзиратель увидел слезы наши, велел ученикам повторить гимн. Вот перевод его:

Владыка мира и судьбины!
Дай видеть нам луч солнца твоего
Хотя на час, на миг единый,
И новой тьмой для нас покрой его:
Лишь только б мы узрели
Благотворителей своих
И милый образ их
Навек в сердцах запечатлели.

Париж, мая...

Вы получали бы от меня не листы, а целые тетради, если бы я описывал вам все картины, статуи и монументы, мною видимые. Здесь церкви кажутся галереями живописи или академиями скульптуры. Мудрено ли? Со времен Франциска I доньне художества цвели в Париже, как в отчизне своей. Замечу только, что у меня осталось в памяти.

Например, соборная церковь богородицы, Notre Dame – здание готическое, огромное и почтенное своею древностию – наполнена картинами лучших французских живописцев; но я, не говоря об них ни слова, опишу вам единственно памятник супружеской любви, сооруженный

там новою Артемизою.^[430] Графиня д'Аркур, потеряв супруга, хотела посредством сего мавзолея, изваянного Пигалем, оставить долговременную память своей нежности и печали. Ангел одною рукою снимает камень с могилы д'Аркура, а другою держит светильник, чтобы снова воспламенить в нем искру жизни. Супруг, оживленный благотворною теплотою, хочет встать и слабую руку простирает к милой супруге, которая бросается в его объятия. Но смерть неумолимая стоит за д'Аркуром, указывает на свой песок и дает знать, что время жизни прошло! Ангел гасит светильник... Сказывают, что нежная графиня, беспрестанно оплакивая кончину любезного, видела точно такой сон; художник изобразил его по ее описанию – и никогда резец Пигалев не действовал на мое чувство так сильно, как в сем трогательном меланхолическом представлении. Я уверен, что сердце его участвовало в работе.

Тут же видел я грубую статую короля Филиппа Валуа. Победив неприятелей, он въехал верхом в соборную парижскую церковь. Художник так и представил его: на лошади, с мечом в руке – не много уважения к святыне храма! – В Сорбоннскую церковь ходят все удивляться искусству ваятеля Жирардона. На монументе в древнем вкусе представлен кардинал Ришелье; умирая в объятиях Религии, он кладет правую руку на сердце, а в левой держит духовные свои творения. Наука, в виде молодой женщины, рыдает у ног его. – Говорят, что Петр Великий, смотря на сей памятник, сказал внуку кардинала, герцогу Ришелье: «Твой дед был величайший из министров; я отдал бы половину своего государства за то, чтобы научили меня править другою, как он правил Франциею». Не верю этому анекдоту; или государь наш не знал всех злодейств кардинала, хитрого министра, но свирепого человека, врага непримиримого, хвастливого покровителя наук, но завистника и гонителя великих дарований. Я представил бы кардинала не с христианскою, святою Религией, а с чудовищем, которое называется *Политикою* и которое описывает Вольтер в «Генриаде»:

Дщерь гордости властолюбивой,
Обманов и коварства мать,
Все виды можешь принимать:
Казаться мирною, правдивой,
Покойною в опасный час;
Но сон вовеки не смыкает
Ее глубоко впавших глаз;
Она трудится, вымышляет,
Печать у Истины берет

И взоры обольщает ею;
За небо будто восстает,
Но адской злобою своєю
Разит лишь собственных врагов.

Впрочем, сей монумент ваятельного искусства есть один из лучших в Париже.

В церкви целестинов^[431] (des Celestins) есть придел герцога Орлеанского, который напоминает странное и несчастное приключение. Карл VI вздумал однажды для маскарада нарядиться сатиром вместе с некоторыми из своих придворных. Герцог Орлеанский подошел к ним с факелом и нечаянно зажег мохнатое платье на одном из них. К несчастью, они были связаны цепочкою друг с другом и не могли скоро распутаться: огонь разлился, обхватил их, и в несколько минут почти все сгорели. Король спасен был герцогинею де Берри, которая бросила на него свою мантию и затушила пламя. Герцог, чтобы загладить свою бедственную неосторожность, соорудил великолепный алтарь в церкви целестинов. – Там много картин и памятников; между прочими – монумент Леона, царя армянского, который, будучи выгнан из земли своей турками, умер в Париже в 1393 году. Фруасар, современный историк, говорит об нем следующее: «Лишенный трона, сохранил он царские добродетели и еще прибавил к ним новую: великодушное терпение; с благодетелем своим Карлом VI обходился как с другом, не забывая собственного царского сана, а смерть Леонова была достойна жизни его». – Близ гробницы несчастного царя, в готическом нише, нежная дочь соорудила памятник нежной матери. Черная мраморная урна стоит на белой колонне, с надписью: «Будучи другом детей своих, она заставляла их плакать... только от благодарности: скромность ее даже удивлялась необыкновенной любви нашей» (прекрасная черта!), «Да будет сей памятник священ для добрых и чувствительных сердец! Здесь погребена Мария Гокар, графиня де Коссе, умершая 29 сентября 1779 году». – Подле трогательной надписи видите вы смешную, над гробом рыцаря Бриссака. Вот она: «Что я? мертвый или живой? Мертвый; нет, живой. Ты спросишь: почему? Отвечаю: потому, что имя мое везде шумит, везде гремит» («Mon nom court et bruit en tous lieux»). – В сей же церкви стоит славная Пилонова группа, три нагие грации, одна другой лучше, и все прекрасные; но не странно ли видеть языческих богинь в храме истинного бога? Так угодно было Катерине

Медицис. Она велела заключить сердце свое в одну урну с сердцем Генриха II и поставить ее на голову грациям. Чудная мысль!

В церкви св. Кома погребен некто Трульяк, рогатый человек. Он был представлен за чудо Генриху IV, который подарил его своему конюшему, а конюший показывал его за деньги народу. Сей бедный сатир крайне оскорблялся своим уродством и умер с горя. На гробе его вырезали эпитафию такого содержания:

Здесь погребен Трульяк. Не будучи женат,
Сей жалкий человек (о диво!) был рогат!

В церкви св. Стефана, которой странная архитектура представляет вам соединение греческого вкуса с готическим, найдете вы гроб нежного Расина без всякой эпитафии, но его имя напоминает лучшие произведения французской Мельпомены – и довольно. Тут же погребен Паскаль (философ, теолог, остроумный автор, которого «Провинциальные письма» доньше ставятся в пример хорошего французского слога); Турнфор, славный ботаник и путешественник; Тонье, искусный медик (которого эпитафия говорит: «Теперь только, смертные, страшитесь смерти: ибо Тонье умер, и вас лечить некому»), и живописец Лесюер, прозванный французским Рафаэлем: предмет зависти и даже злобы других современных живописцев! Например, Лебрюн не мог равнодушно слышать, чтобы говорили о Лесюеровых картинах, и, видя его при последнем издыхании, сказал: «Теперь гора свалится у меня с плеч, и смерть этого человека вынет занозу из моего сердца!» В другое время, смотря на Лесюерову картину и думая, что его никто не слышит, Лебрюн шептал: «Прекрасно! Удивительно! Несравненно!» Горестно слышать такие черные анекдоты о великих артистах; и как я люблю живописца Магдалины, так гнушаюсь врагом Лесюеровым.

В церкви св. Евстафия погребен Кольбер. Памятник достоин его памяти. Он изображен на коленях, на черной мраморной гробнице, перед ангелом, держащим разогнутую книгу. Изобилие и Религия, в виде женщин, стоят подле. Великий министр, слава Франции и Лудовика XIV! Он служил королю, стараясь умножать его доходы и силы; служил народу, стараясь обогатить его посредством разных выгодных заведений и торговли; служил человечеству, способствуя быстрым успехам наук,

полезных искусств и словесности не только во Франции, но и в других землях. Победоносные Лудовиковы флоты, как будто бы словом: «Да будет!» сотворенные, лучшие французские мануфактуры, Лангедокский канал, соединяющий Средиземное море с океаном, именитые торговые общества: Индейское, Американское – и почти все академии остались монументами его незабвенного правления. Можно смело сказать, что Кольбер был первым министром в свете; ищу в мыслях и не нахожу другого, ни столь мудрого, ни столь счастливого в своих предприятиях (второе было, конечно, следствием первого) – и слава его министерства прославила царствование Лудовика XIV. Вот предмет, достойный соревнования всех министров! И всякому из них должно иметь в кабинете портрет Кольберов, чтобы смотреть на него и не забывать великих своих обязанностей. – Но какой монарх, какой министр может удовольствоваться всех людей? Один из недовольных Кольбером написал на его статуе: «Res ridenda nimis, vir inexorabilis oral!», то есть как смешно видеть моление неумолимого человека!^[432]

В аббатстве св. Женевьевы хранится прах Декартов, перевезенный из Стокгольма через семнадцать лет после смерти философа. Нет памятника! Эпитафия говорит, что он был первым мудрецом своего века – и справедливо. Философия прежде его состояла в одном школьном пустословии. Декарт сказал, что она должна быть наукою природы и человека; взглянул на вселенную глазами мудреца и предложил новую, остроумную систему, которая все изъясняет – и самое неизъяснимое; во многом ошибся, но своими ошибками направил на путь истины английских и немецких философов; заблуждался в лабиринте, но бросил нить Ариадны Невтону и Лейбницу; не во всем достоин веры, но всегда достоин удивления; всегда велик и своею метафизикою, своим нравоучением возвеличивает сан человека, убедительно доказывая бытие творца, чистую бестелесность души, святость добродетели. Я недавно читал следующее сравнение между Декартом и Невтоном: «Они равны вымыслом или духом изобретения: первый быстрее, высокопарнее, второй глубокомысленнее. Таков характер французов и англичан; ум первых *строит в вышину*, последних *углубляется в основание*. Оба философа хотели создать мир, подобно как Александр хотел завоевать его; оба бессмертны, оба велики в понятиях своих о натуре».

В том же аббатстве взглянул я на гробницу Кловиса (завоевателя Галлии, первого царя французов), на изображение Рима (*en relief*), в котором видны все улицы, все большие здания; на библиотеку и на собрание египетских, этрусских, греческих, римских и галльских

редкостей.

Новая церковь св. Женевьевы^[433] величественна и прекрасна. Знатоки архитектуры особенно хвалят фронтон, в котором смелость готическая^[434] соединена с красотой греческою. Наружность и внутренность коринфического ордена; последняя не совсем еще отделана.

В аббатстве св. Виктора хранятся древние манускрипты; между прочими Библия в рукописи девятого века и Алькоран самый верный, что засвидетельствовано турецким послом, который с великим благоговением читал и целовал его.

В королевском аббатстве, где все богато и великолепно, всего лучше внутренность купола, расписанная водяными красками Миньяром; знатоки называют ее совершенством. Мольер сочинил поэму в честь Миньяра. Жаль, что краски уже теряют свою живость.

В церкви св. Андрея сооружен памятник аббату Баттё, наставнику авторов, которого за два года перед сим читал я с любезным Агатоном, вникая в истину его правил и разбирая красоты его примеров. Монумент нравится своею простотою: на колонне стоит урна с медальйоном умершего и с милою надписью: «Amicus amico», «Друг – другу». – Тут же видел я одну старинную французскую эпитафию в стихах, которая содержит в себе историю Матвея Шартъё, доброго человека, и которая мне очень понравилась. Например: «Он верил богу, христианству, бессмертию, добродетели; не верил лицемерам суеверия и счастью порока; жил 50 лет с женою своею и всякий наступающий год желал провести с нею, как минувший; любил в будни работу, а в праздник гостей; учил добру детей своих, иногда умными словами, а чаще примером. Мнение и свидетельство его уважалось во всем околотке, и люди говорили: *так сказал Матвей Шартъё, добрый человек!* Прохожий! Не дивись, что гробница его сделана не из паросского мрамора и не украшена фригийской работою; богатые памятники нужны для тех, которые жизнью и делами не оставили по себе доброй памяти; имя Матвея Шартъё есть и будет живым его монументом. 1559».

В храме бенедиктинов погребен изгнанник Иаков II. Он велел схоронить себя без всякой пышности и на гробе написать только: «Si-gît Jacques II, Roi de la Grande Bretagne».^[435] Король самый несчастливейший, потому что никто не жалел о его несчастьи!

Церковь кармелитов достойна примечания богатым монументом, сооруженным в ней господами Буллене отцу и матери их; но «История кармелитов», изданная на латинском языке, еще достойнее примечания.

Автор утверждает, что не только все славнейшие христиане, но и самые язычники: Пифагор, Нума Помпилий, Зороастр, друиды – были монахи кармелитского ордена. Имя его происходит от сирийской горы Кармель, где жили благочестивые пустынножители, первые основатели кармелитского собратства.

В церкви св. Жермена погребен французский Гораций – Малерб, о котором сказал Буало, что он первый *узнал тайную силу каждого слова, поставленного на своем месте*. По сие время можно читать с великим удовольствием оды его, и все знают наизусть прекрасную строфу:

La mortades rigueurs à nulle autre pareilles;
On a beau à prier:
La cruelle qu'elle est, se bouche les oreilles,
Et nous laisse crier.
Le pauvre en sa cabane, où le chaunae le couvre,
Est sujet à ses loix,
Et la garde qui vielle aux barrières du Louvre,
N'en dèfend point nos Rois. [\[436\]](#)

Тут же погребены муж и жена Дасье, которых соединила законным браком любовь... к греческому языку; которые в ученом супружестве своем ласкали друг друга греческими именами и тогда бывали веселы, тогда были счастливы, когда находили новую красоту в стихе Гомеровом. О, варварство! О, неблагодарность! На гробе их нет греческой надписи!!

Кенотаф графа Келюса, в одном из приделов св. Жермена, сделан из самого лучшего порфира. Граф берег его долгое время для своей гробницы. Человек, который для успехов искусства не жалел ни трудов, ни имения, ни самой жизни достоин такого кенотафа. Следующий анекдот доказывает удивительную страсть его. Будучи в Смирне, он хотел видеть развалины Эфеса, близ которых жил тогда разбойник Каракаяли, ужас всех путешественников. Что ж сделал неустрашимый граф? Сыскал двух разбойников из шайки Каракаяли и нанял их себе в проводники с тем, чтобы заплатить им деньги по возвращении в Смирну; надел самое простое платье, не взял с собою ничего, кроме бумаги с карандашом, и прямо с своими вожатыми явился к атаману воров, который, узнав о намерении его видеть древности, похвалил такое любопытство, сказал, что недалеко от его стана есть другие прекрасные развалины, дал ему двух арабских скакунов, чтобы ехать туда, – и граф через несколько минут очутился на развалинах

Колофона; осмотрев их, возвратился ночевать к разбойнику и на другой день видел то место, где был некогда город Эфес. – Келюс издал множество книг: «Собрание древностей», «Предметы для живописи и ваяния», «Картины из Гомера и Вергилия», «Сказки» и проч.

Церковь св. Илера обогрилась некогда кровью двух живописцев. Один из них изобразил там Адама и Еву в земном раю. Другой, смотря на его картину, сказал: «Новорожденный младенец бывает связан с матерью посредством тонких жил, которые, будучи перерезаны, образуют у него пупок. Адам и Ева не родились, но были вдруг сотворены; следовательно, ты глупец, изобразив их с пупком, которого они иметь не могли». – Оскорбленный живописец выхватил шпагу; начался поединок – и безумцев насилиу розняли.

Прах *великого* (как называют французы) Корнеля покоится в церкви св. Рока, без мавзолея, без эпитафии. Тут погребена и нежная Дезульер, которой имя напоминает вам

Берега кристальных речек.
Кротких, миленьких овечек
И собачку подле них.

Посошок, венок, сплетенный из луговых цветов, и свирель лучше всего украсили бы ее могилу. – Тут и гроб Ленотра, творца великолепных садов, перед которыми древние сады Гесперидские не что иное, как сельские огороды. Над гробом стоит бюст его: лицо благородное и важное. Таков был и характер артиста. Когда он предлагал Лудовику XIV план Версальских садов, рассказывая, где чему быть и какое действие должна произвести всякая его идея, король, восхищенный таким богатым воображением, несколько раз перерывал его описание, говоря: «Ленотр! За эту выдумку даю тебе 20 000 ливров». Наконец бескорыстный и гордый художник рассердился и сказал ему: «Ваше величество! Я замолчу, чтобы не разорить вас».

За последним олтарем сей церкви, под низким сводом, в бледном мерцании света, возвышается дикая скала: тут Спаситель на кресте; у ног его Магдалина. На правой стороне видите спящих воинов, на левой – сломленные деревья, между которыми ползет змея. Под горою – голубой мраморный жертвенник, в образе древней гробницы; на нем стоят две урны, в которых дымится фимиам. Все вместе слабо освещено через отверстие вверху и составляет неизъяснимо трогательное зрелище. Сердце

чувствует благоговение, и колена сами собою преклоняются. – Похвалите Фальконета: вы видите произведение резца его.

В церкви св. Северина списал я следующие стихи, вырезанные над темным коридором ее кладбища и служащие примером *игры слов*:

Passant, penses-tu pas passer par ce passage,
Ou pensant j'ai passé?
Si tu n'y penses pas, passant, tu n'es pas sage,
Car en n'y pensant pas tu te verras passer.^[437]

Париж, мая...

Госпожа Гло* сказала мне: «Послезавтра будет у нас чтение. Аббат Д* привезет „Мысли о любви“, сочинение сестры его, маркизы Л*. C'est plein de profondeur, à ce qu'on dit.^[438] Автор также будет у меня, но только *инкогнито*. Если хотите узнать остроумие и глубокомыслие здешних дам, то приходите». – Как не прийти? Я пожертвовал спектаклем и в восемь часов явился. Хозяйка сидела на вольтеровских креслах; вокруг ее пять или шесть кавалеров вели шумный разговор; на софе два аббата занимали свою любезностию трех дам; по углам комнаты было еще рассеяно несколько *групп*, так что общество состояло из 25 или 30 человек. В девять часов хозяйка вызвала аббата Д* на сцену. Все окружили софу. Чтец вынул из кармана розовую тетрадку, сказал что-то забавное и начал... Жаль, что я не могу от слова до слова пересказать вам мыслей автора! Однако ж можете судить о достоинствах и тоне сочинения по следующим отрывкам, которые остались у меня в памяти:

«Любовь есть кризис, решительная минута жизни, с трепетом ожидаемая сердцем. Занавес поднимается... „Он! Она!“ – восклицает сердце и теряет личность бытия своего. Таинственный рок бросает жребий в урну: „Ты блажен! ты погиб!“»

«Все можно описать в мире, все, кроме страстной героической любви; она есть символ неба, который на земле не изъясняется. Перед нею исчезает всякое величие. Цесарь малодушен. Регул слаб... в сравнении с истинным любовником, который выше действия стихий, вне сферы мирских желаний, где обыкновенные души, как пылинки в вихре, носятся и вертятся. Дерзко назвать его полубогом – мы не язычники, – но он не человек. Зороастр изображает бога в пламени; пламя добродетельной, героической любви достойнее всего окружать трон всевышнего».

«Монтань говорит: „Друг мне мил для того, что он – он; я мил ему для

того, что я – я“. Монтань говорит о любовниках – или слова его не имеют смысла».

«Прелести никогда не бывают основанием страсти; она рождается внезапно от соосязания двух нежных душ в одном взоре, в одном слове; она есть не что иное, как симпатия, соединение двух половин, которые в разлуке томились».

«Только один раз сгорают вещи; только один раз любит сердце».

«В жизни чувствительных бывают три эпохи: *ожидание*, *забвение*, *воспоминание*. Забвением называю *восторг любви*, который не может быть продолжителен, для того что мы не боги и земля не Олимп. Любовь оставляет по себе милое *воспоминание*, которое уже не есть *любовь*; но мы, кажется, все еще любим человека, для того что некогда обожали его. Нам приятно то место, где что-нибудь приятное с нами случилось».

«Человек, любящий славу, знатность, богатство, подобен тому, кто за неимением „Новой Элоизы“ читает роман девицы Скюдери; за неимением, говорю, или по дурному вкусу. На диком паросском мраморе нарастает иногда довольно приятная зелень, но можно ли сравнить ее с видом того мрамора, который представляет Фидиасову „Венеру“? Вот его истинное определение (*destination*), подобно как определение сердца есть *любовь*».

«Один великий музыкант сказал, что блаженство небесной жизни должно состоять в *гармонии*; нежные души уверены, что оно будет состоять в любви».

«Я не знаю, есть ли атеисты, но знаю, что любовники не могут быть атеистами. Взор с милого предмета невольно обращается на небо. Кто любил, тот понимает меня».

Слушатели при всякой фразе говорили: «Браво! C'est beau, c'est ingénieux, sublime»,^[439] а я думал: «Хорошо, изрядно, высокопарно, темно, и совсем не женский язык!» Глаза мои искали автора. Черноволосая дама, лет за тридцать, сидела всех далее от аббата, не слушала, развортывала книги, ноты на клавесине: нетрудно было угадать в ней сочинительницу. Хозяйка сказала: «Я не знаю автора, а хотела бы поцеловать его», – сказала и с великою нежностью обняла маркизу Л*. Все захлопали. Через минуту поставили два стола; три дамы и пять кавалеров сели играть в карты, а другие, сидя и стоя, слушали аббата Д*, который с великою строгостию судил главных французских авторов. «Вольтер, – говорил он, – писал единственно для своего времени, искуснее всех других пользовался настоящим расположением умов, но достоинство его с переменою обстоятельств необходимо должно теряться. Будучи жаден к минутной славе, он боялся отделиться разумом от современников, боялся далеко

опередить их, чтобы не сделаться темным, невразумительным; хотел за каждую строку *немедленного* награждения и для того искал единственно лучшего выражения, лучшего оборота для идей обыкновенных; брал из чужих магазинов, работал *начисто*, не занимаясь изобретением, не думая о собрании новых материалов. Он был совершенный эпикуреец в уме, не мыслил о потомстве, не верил бессмертию славы, не сажал кедров, а сеял одни цветы, из которых уже многие завяли в глазах наших, – амыещесовременники Вольтеровы! Что же будет через сто лет? Насмешки его над разными суеверными мнениями, над разными философскими системами могут ли производить сильное действие тогда, когда мнения и системы переменятся?» – «А его трагедии?» – сказал я. – «Оне в *совершенстве* уступают Расиновым, – отвечал аббат, – в слоге их нет чистоты, плавности, сладкого красноречия творца „Федры“ и „Андромахи“, но много смелых идей, которые теперь уже не кажутся смелыми; много так называемой философии, которая не принадлежит к существу драмы, а нравится партеру; много вкуса, а мало истинной чувствительности». – «Как, в „Заире“ мало чувствительности?» – «Да, я берусь доказать, что в „Заире“ нет ни одной нежной мысли, которой бы не нашлось в самом обыкновенном романе. Достоинство Вольтерово состоит в одном выражении, но никогда не найдете в нем жарких излиятий чувства, сильных стремлений сердца, *de grands, de beaux élans de sensibilité*, как, например, в „Федре“». – «Итак, Расин великий трагик, по вашему мнению?» – «Великий писатель, стихотворец, а не трагик. Нежная душа его никогда не могла принять в себя трагического ужаса. Он писал драматические элегии, а не трагедии, но в них много чувства, слог несравненный, красноречие живое, от полноты сердца; его можно назвать *совершенным*, и до конца вселенной самую лучшую похвалой французских стихов будет: „Они похожи на Расиновы!“ Но, имея дар *цветить* нежное чувство, совсем не имел он таланта изображать *ужасное* или *героическое*. Расин не представил на сцене ни одного сильного характера; в трагедиях его слышим великие имена, а не видим ни одного великого человека, как, например, в Корнеле». – «Итак, вы отдаете венец Корнелю?» – «Он достоин был родиться римлянином, изображал великое, как *свое собственное*; герои его действительно герои, но сильный слог его часто слабеет, унижается, оскорбляет вкус, а нежности Корнелевы почти всегда несносны». – «Что ж вы скажете о Кребильйоне?» – «То, что он ужаснее всех наших трагиков. Как Вольтер нравится, Расин пленяет, Корнель возвеличивает душу, так Кребильйон пугает воображение, но варварский слог его недостойн Мельпомены и нашего времени. Корнель не имел для себя образцов в

слоге, но часто служит сам образцом; Кребийльон же имел дерзость после Расина писать грубыми, дикими стихами и доказал, что у него не было ни слуха, ни чувства для красот стихотворства. Иногда проскакивают в его трагедиях хорошие стихи, но как будто бы не нарочно, без его ведома и согласия».

«Какой страшный Аристарх! – думал я. – Хорошо, что нас в России нет таких грозных критиков».

Мы сели ужинать в одиннадцать часов. Все говорили, но в памяти у меня ничего не осталось. Французские разговоры можно назвать беглым огнем: так быстро летят слова одно за другим, и внимание едва успевает следовать за ними.

Париж, июня...

Я получил от госпожи Н* следующую записку: «Сестра моя, графиня Д*, которую вы у меня видели, желает иметь подробное сведение о вашем отечестве. Нынешние обстоятельства Франции таковы, что всякий из нас должен готовить себе убежище где-нибудь в другой земле. Прошу ответить на прилагаемые вопросы, чем меня обяжете».

Я развернул большой лист, на котором под вопросами оставлено было место для ответов. Вот нечто для примера – рассмейтесь!

Вопрос. Можно ли человеку с нежным здоровьем сносить жестокость вашего климата?

Ответ. В России терпят от холода менее, нежели в Провансе. В теплых комнатах, в теплых шубах мы смеемся над трескучим морозом. В декабре, в январе, когда во Франции небо мрачное и дождь льется рекою, красавицы наши, при ярком свете солнца, катаются в санях по снежным бриллиантам, и розы цветут на их лилейных щеках. Ни в какое время года россиянки не бывают столь прелестны, как зимою; действие холода свежит их лица, и всякая, входя с надворья в комнату, кажется Флорою.

Вопрос. Какое время в году бывает у вас приятно?

Ответ. Все четыре, но нигде весна не имеет столько прелестей, как в России. Белая одежда зимы наконец утомляет зрение, душа желает перемены, и звонкий голос жаворонка раздается на высоте воздушной. Сердца трепещут от удовольствия. Солнце быстрым действием лучей своих растопляет снежные холмы; вода шумит с гор, и поселянин, как мореплавателю при конце океана, радостно восклицает: «Земля!» Реки рвут на себе ледяные оковы, пышно выливаются из берегов, и самый маленький ручеек кажется величественным сыном моря. Бледные луга, упитанные благотворною влагою, пушатся свежелою травкою и красятся лазоревыми

цветами. Березовые рощи зеленеют; за ними и дремучие леса, при громком гимне веселых птичек, одеваются листьями, и зефир всюду разносит благоухание ароматной черемухи. В ваших климатах весна наступает медленно, едва приметным образом; у нас мгновенно слетает с неба, и глаз не успевает следовать за ее быстрыми действиями. Ваша природа кажется изнуренною, слабою; наша имеет всю пламенную живость юноши: едва пробуждаясь от зимнего сна, является во всем блеске красоты своей, и что у вас зреет несколько недель, то у нас в несколько дней доходит до возможного растительного совершенства. Луга ваши желтеют в середине лета, у нас зелены до самой зимы. В ясные осенние дни мы наслаждаемся природою, как другом, с которым нам должно расстаться на долгое время – и тем живее бывает наше удовольствие. Наступает зима – и сельский житель спешит в город пользоваться обществом.

Вопрос. Какие приятности имеет ваша общественная жизнь?

Ответ. Все те, которыми вы наслаждаетесь: спектакли, балы, ужины, карты и любезность вашего пола.

Вопрос. Любят ли иностранцев в России? Хорошо ли их принимают?

Ответ. Гостеприимство есть добродетель русских. Мы же благодарны иностранцам за просвещение, за множество умных идей и приятных чувств, которые были неизвестны предкам нашим до связи с другими европейскими землями. Осыпая гостей ласками, мы любим им доказывать, что ученики едва ли уступают учителям в искусстве жить и с людьми обходиться.

Вопрос. Уважаете ли вы женщин?

Ответ. У нас женщина на троне. Слава и любовь, лавр и роза есть девиз наших рыцарей.

Угадайте, какой вопрос теперь следует?.. «„Много ли дичи в России?“ – спрашивает муж мой, – прибавляет графиня, – страстный охотник стрелять».

Я отвечал так, что провинциальный граф должен закричать: «Ружье! Лошадей! В Россию!»

Одним словом, если муж и жена теперь не прискачут к вам в Москву, то не моя вина.

Париж, июня...

Наконец я решился отказаться на несколько времени от спектаклей, чтобы осмотреть любопытные парижские окрестности. С чего начать? Без всякого сомнения, с Версалии.

В девять часов утра наш посольский священник, ^[440] г. К*, ^[441] русский

артист с великим талантом, и я пришли на берег Сены; сели на гальют и поплыли мимо Елисейских полей, Булонского леса, многих прелестных загородных домов и садов. На левой стороне возвышается замок Мёдон с великолепною своею террасою (длиною во 150 сажен) и с густым парком. Он принадлежал откупщику Сервиену, министру Лувуа, Лудовику XIV и дофину, который умер там оспою в 1711 году. В местечке Мёдон жил некогда Франциск Рабле, автор романов «Гаргантюа» и «Пантагрюель», наполненных остроумными замыслами, гадкими описаниями, темными аллегориями и нелепостями. Шестой-надесять век удивлялся его знаниям, уму, шутовству. Быв несколько времени худым монахом, Рабле сделался хорошим доктором, выпросил у папы *отпускную* и прославил Монпельерский университет своими лекциями;^[442] ездил в Рим пошутить над туфлем своего благодетеля, взял на себя должность приходского священника в Мёдоне, усердно врачевал тело и душу своей паствы и писал романы, в которых простосердечный Лафонтен находил более ума, нежели в философских трактатах, и которые, без всякого сомнения, подали Стерну мысль сочинить «Тристрама Шанди». Рабле жил и умер шутя. За несколько минут до смерти своей сказал он: «Занавес опускается, комедия вся. Je vais chercher un grand peut-être».^[443] Духовная его состояла в следующих словах: «Ничего не имею; много должен; остальное – бедным». – В деревеньке Севре, известной в целом свете по своей фарфоровой фабрике (с которою ни саксонская, ни берлинская не может сравняться в чистоте и в живописи), мы позавтракали в кофейном доме и отправились в Версалию пешком, видели на обеих сторонах дороги прекрасные дома, сады, трактиры и нечувствительно вошли в версальские аллеи, *avenues de Versailles*, где открылся нам дворец...

Лудовик XIV хотел сделать чудо; велел – и среди пустыни, дикой, песчаной, явились Темпейские долины^[444] и дворец, которому в Европе нет подобного великолепием.

Три двойные аллеи, одна из Парижа, другая из Со, третья из Сен-Клу, сходятся на площади, называемой *Place d'Armes*, где возвышаются два огромные здания. Радуйтесь, если вы любите лошадей: это конюшни. Впереди прекрасная железная решетка, а по концам две группы, которые изображают победы Франции над Гишпаниею и Немецкою империею. Новая пристройка с левой стороны, для королевской гвардии, имеет вид палаток: хорошо само по себе, но разрушает общую симметрию. За площадью передний двор (*avantcour*), или двор министров; у ворот стоят две группы, представляющие Изобилие и Мир, два главные предмета дел

министерских. Прежде всего пошли мы в придворную церковь, о которой Вольтер упоминает в описании Храма Вкуса:

Il n'a rien des défauts pompeux
De la chapelle de Versailles,
Ce colifichet fastueux
Qui du peuple ébloit les yeux.
Et dont le connoisseur se raille.^[445]

Однако ж многие знатоки не так думают и, вопреки фернейскому насмешнику, находят здание достойным похвалы как в гармонии целого, так и в частных украшениях. В церкви служили обедню, но никого не было, кроме монахов. Резная работа и живопись прекрасны; везде богатство, рассыпанное с блеском и со вкусом. Между многими хорошими картинами заметил я Жувенетову, на которой изображен св. Лудовик, герой и христианин: победив неверных в Египте, он печется о раненых и служит им. На одном из олтарей показывают, как великую драгоценность, распятие из слоновой кости, вышиною в четыре фута: дар Августа II, короля польского. Из церкви пошли мы в *Геркулесову залу*, которая огромна своим пространством и великолепна украшением.

Тут возвышаются двадцать мраморных коринфических пиластр с жарко вызолоченными капителями и базами; но главная красота залы есть плафон, расписанный на полотне масляными красками живописцем Лемуаном и представляющий «Геркулесово боготворение» (апофеозу); самая величайшая картина в свете! Расположение, фигуры, выразительность служат доказательством Лемуанова гения. Самые лучшие живописцы ему удивляются. Тут же стоят две славные Веронезовы картины: «Спаситель» и «Ревекка». Первая была собственностью сервитских монахов в Венеции, которые ни за что не хотели продать ее Лудовику XIV; но сенат, узнав желание короля, отнял у монахов картину и подарил ему. Даже и рамы достойны того, чтобы посмотреть на них несколько минут: прекрасная резьба! – Залы *Изобилия*, *Венерина*, *Дианина*, *Марсова* также всего более достойны внимания по своим живописным плафонам. Во второй заметил я древнюю статую земледельца и диктатора Цинцинната; в третьей бюст Лудовика XIV, а в четвертой удивлялись мы Лебрюневой «Дариевой фамилии», признанной всеми знатоками за лучшую из картин его. Он писал ее в Фонтенебло; король всякий день ходил смотреть его работу и восхищался ею – что имело влияние на кисть

художника. Рассказывают, что один италийнский прелат не мог от зависти видеть этой картины и всегда, будучи во дворце, проходил мимо ее, зажмурив глаза. Подле Лебрюновой стоит Веронезова картина «Странники», на которой живописец изобразил все свое семейство. В *Меркуриевой зале* были прежде две Рафаэлевые картины: «Архангел Михаил» и «Святая фамилия»; но их, к нашему сожалению, зачем-то сняли. Тут с любопытством рассматривали мы часы, сделанные в начале нынешнего века Мораном, который, подобно нашему Кулыбину, никогда не бывал часовщиком. Всякий час два петуха поют, махая крыльями; в ту же секунду выходят из маленькой дверцы две бронзовые фигуры с тимпаном, по которому два амура бьют всякую четверть стальным молоточком; в середине декорации является статуя Лудовика XIV, а сверху на облаке спускается богиня побед и держит корону над его головою; внутри играет музыка – и наконец вдруг все исчезает. – В *Тронной*, под великолепным балдахинном, стоит престол. «Вот первый трон в свете! – сказал человек, который водил нас по дворцу, – был, разумею; но если бог не оставил французов, то солнце Лудовика XIV опять воссияет здесь во всей лучезарности!» – Через *Залу войны*, Salon de la Guerre, где кисть Лебрюнева везде изобразила победы Франции, вошли мы в галерею, которая недаром названа большою: она длиною в 37 сажень, вышиною 8. Против окон сделаны зеркальные аркады, в которых самым прелестным образом изображается сад, зелень, игра воды. На плафоне представлена Лебрюнем, в двадцати семи аллегорических картинах, история Лудовика в первые семь лет его царствования. Четыре мраморные колонны с осмью пиластрами окружают вход с обеих сторон галереи; между пиластрами, на мраморных подножиях, стоят древние статуи: Бахус, Венера (найденная в городе Арле), Весталка и муза Урания; в середине, в четырех нишах, Германик, изваянный славным афинским художником Алькаменом; две Венеры и Диана. – В *Зале мира* живопись представляет Францию, сидящую на лазоревом шаре; Слава венчает ее; Амуры и Мир соединяют голубей. На другой картине Лудовик подает масличную ветвь Европе. – Из *Мирной залы* вход в королевские комнаты... Я вспомнил 4 октября,^[446] ту ужасную ночь, в которую прекрасная Мария, слыша у дверей своих грозный крик парижских варваров и стук оружия, спешила не одетая, с распущенными волосами, укрыться в объятиях супруга от злобы тигров... Не скоро мог я обратить глаза на украшение и живопись комнат. Тут все картины представляют славу и торжество женщин. Клеопатра подле Антония, готового броситься к ногам ее; царица Родопа смотрит на пирамиду, сооруженную красоте ее; бессмертная Сафо играет на лире; Аспазия

говорит с афинскими мудрецами; Пенелопа распускает ковер; невинные девы приносят Юпитеру жертву на горе Иде – и славнейшие царицы древности. – В королевских внутренних комнатах заметили мы Рафаэлева «Иоанна», несколько Веронезовых, Бассановых картин, портреты Катерины Валуа, Марии Медицис, Франциска I (Рубенсовой, Вандиковой, Тициановой кисти), два древние бюста Сципиона Африканского (бронзовый с серебряными глазами) и Александра Великого, порфиновый: большие астрономические часы, которые бьют секунды, показывают месяц, число, день недели, действие холода и тепла на металлы и круговращение планет с такою верностью, что во сто лет не могут сделать ни малейшей разницы с астрономическими таблицами. Лудовик XIV спал на высокой постеле, с которой он видел, сквозь прямую аллею, весь Париж перед собою. В маленьких комнатах, подле королевского кабинета, хранятся драгоценные гравированные, древние и новые камни; между ими всего любопытнее так называемая *печать Микеля-Анджела*, на которой изображено собирание винограда. – Осмотрев театр, достойный называться королевским, пошли мы искать обеда.

Версалия без двора^[447] – как тело без души: осиротела, уныла. Где прежде всякую минуту стучали кареты, теснился народ, там ныне едва встретится человек: мертвая тишина и скука! Всякий житель казался мне печальным. В самом лучшем трактире заставили нас два часа ждать обеда. Хозяйка в оправдание свое говорила: «Что делать? Худые времена, государи мои! Несчастливые времена! Все терпят, и вы потерпите!»

Утолив с нуждою голод свой, торопились мы видеть сады и парк, которые в окружности составляют верст пятьдесят.

Ничто не может сравниться с великолепным видом дворца из саду; фасада его, вместе с флигелями, простирается на 300 сажен. Тут рассеяны все красоты, все богатства архитектуры и ваяния. Никто из царей земных, ни самый роскошный Соломон, не имел такого жилища. Надобно видеть: описать невозможно. Исчислять колонны, статуи, вазы, трофеи не есть описывать. Огромность, совершенная гармония частей, действие целого: вот чего и самому живописцу нельзя изобразить кистию!

Пойдем в сады, творение Ленотра, которого смелый гений везде сажал на трон гордое искусство, а смиренную натуру, как бедную невольницу, повергал к ногам его.

К великолепию цари осуждены;
Мы требуем от них огромности блестящей,
Во изумление наш разум приводящей;

Как солнцем, ею быть хотим ослеплены.

Итак, не ищите природы в садах версальских, но здесь на всяком шагу искусство пленяет взоры, здесь царство кристальных вод, богини Скульптуры и Флоры. Партеры, цветники, пруды, фонтаны, бассейны, лесочки и между ими бесчисленное множество статуй, групп, ваз, одна другой лучше, не привлекают, а развлекают внимание, так что вы не знаете, на что смотреть. Вот точно действие, которое хотели произвести великий царь и великий художник! Последний, без сомнения, не думал, чтобы любопытные зрители разбирали всякую красоту в особенности: сколько времени надобно для такого дела? Мало и года! Нет, он воображал, что зритель, окинув глазами часть несметных богатств и воскликнув в первую минуту: «Великолепно!», умолкнет от изумления и не посмеет более хвалить. Я то и сделал; в чувстве моего ничтожества передвигал ноги, переносил взоры от предмета к предмету, находил все совершенным и смиренно удивлялся. Лудовик XIV с Ленотром запечатали мне воображение, которое не может тут ничего придумать, ничего представить иначе. К славе художника вспомнил я Тассово описание Армидиных садов: как оно бедно в сравнении с Версальским! Там эстамп, здесь картина. А сколько раз было сказано, что художество не угоняется за поэзией? В изображении *сердца для сердца*, конечно; но во всем *картинном для глаз* поэт – ученик артиста и должен трепетать, когда художник берет в руки его сочинение.

В 1775 году Версальский сад претерпел страшное опустошение: безжалостная секира подрубила все густые, высокие деревья, для того (говорят), что они начинали стареться и походили не на лесочки, а на лес. Стихотворец в таких случаях не принимает никаких извинений, и Делиль в гармонических стихах изъявляет свое негодование:

Ô Versailles, ô regrets, ô bosquets ravissants,
Chef-d'oeuvre d'un grand Roi, de Lenôtre et du temps!
La hache est à vos pieds, et votre heure est venue!^[448]

«Исчезли, – продолжает он, – исчезли ветвистые старцы, которых величественные главы осеняли священную главу царя великого! Увы! Где прекрасные рощи, в которых веселились грации?.. Амур! Амур! Где прелестные сени, в которых нежно томилась гордая Монтеспан и где

милая, чувствительная Лавальер ненарочно открыла тайну своего сердца счастливому любовнику? Все исчезло, и пернатые орфеи, уstraшенные стуком разрушения, с горестию летят из мирной обители, где столько лет в *присутствии царей* пели они любовь свою! Боги, которыми ваятельное художество населило сии тенистые храмы, боги, вдруг лишенные зеленого покрыва, тоскуют, и самая Венера в первый раз устыдилась наготы своей!.. Растите, осеняйтесь, юные деревья; возвратите нам птичек!..»

Юные деревья послушались стихотворца, разрослись, осенились – Венера не стыдится уже наготы своей – птички возвратились из горестной ссылки и снова поют любовь; но – ах! – не в *присутствии царей*! Никто не слушает теперь их песен, кроме некоторых любопытных иностранцев, проходящих иногда видеть сад Версальский!

Одно название статуй, которыми украшаются партеры, фонтаны, лесочки, аллеи, заняло бы несколько страниц; тут собраны лучшие произведения тридцати лучших ваятелей. Упомяну только о древнем колоссальном Юпитере славного греческого художника Мирона, сделанном из паросского мрамора. Марк Антоний нашел его в Самосе; Август поставил в Капитолии; Германик, Траян, Марк Аврелий приносили ему жертвы. Маргарита, герцогиня Комаринская, подарила его министру Карла V Гранвелю, который украсил им Безансонский сад свой. Наконец, по воле Лудовика XIV, самосский колоссальный Юпитер шагнул в Версалию. Я поклонился в нем не богу, а глубокой древности и смотрел на него с особенным удовольствием. Время и странствия лишили его ног; художник Друильи приделал их; но мне казалось, что древний Зевс нетвердо стоит на новых ногах.

В большом зверинце, в красивых павильйонах, за железными решетками видел я множество зверей: львов, тигров, барсов и (что всего любопытнее) славного риноцера, или носорога. Он менее слона, но гораздо более всех других животных. Страшно смотреть на него и в клетке; каково же встретиться с ним в пустыне африканской? Впрочем, звери имеют причину не любить нас. Чего мы с ними не делаем? Маленькая двуногая тварь садится верхом на огромного слона, стучит ему молотком в голову и правит им, как овечкою; величественного льва, как суслика, запирает в клетку; оковав яростного тигра, дразнит его палкою и смеется над его злобою; берет за рог носорога и ведет из Ефиопии в Версалию. Многих животных называют хитрыми, но что их хитрость против нашей?

Лудовик XIV хотя чрезмерно любил пышность, однако ж иногда скучал ею и в таком случае из огромного дворца переселялся на несколько дней в Трианон, небольшой увеселительный дом, построенный в

Версальском парке, в один этаж, украшенный живописью, убранный со вкусом и довольно просто. Перед домом цветники, бассейны, мраморные группы.

Но мы спешили видеть маленький Трианон, о котором говорит Делиль:

Semblable à son auguste et jeune Déité.
Trianon joint la grâce avec la majesté.^[449]

Приятные лесочки с английскими цветниками окружают уединенный домик, любезностию посвященный любезности и тихим удовольствиям избранного общества. Тут не королева, а только прекрасная Мария, как милая хозяйка, угощала друзей своих; тут, в низенькой галерее, закрываемой от глаз густою зеленью, бывали самые приятнейшие ужины, концерты, пляски граций. Софы и кресла обиты собственною работою Марии-Антуанеты; розы, ею вышитые, казались мне прелестнее всех роз природы. Сад Трианона есть совершенство садов английских; нигде нет холодной симметрии; везде приятный беспорядок, простота и красоты сельские. Везде свободно играют воды, и цветущие берега их ждут, кажется, пастушки. Прелестный островок является взору: там, в дикой густоте леса, возвышается храм любви; там искусный резец Бушардонов изобразил Амура во всей его любезности. Нежный бог ласковым взором своим приветствует входящих; в чертах лица его не видно опасной хитрости, коварного лукавства. Художник представил любовь невинную и счастливую. — Иду далее, вижу маленькие холмики, обработанные поля, луга, стада, хижинки, дикий грот. После великолепных, утомительных предметов искусства нахожу природу, снова нахожу самого себя, свое сердце и воображение, дышу легко, свободно, наслаждаюсь тихим вечером, радуюсь заходящим солнцем... Мне хотелось бы остановить, удержать его на лазурном своде, чтобы долее быть в прелестном *Трианоне*. Ночь наступает... Простите, места любезные! —

Возвращаюсь в Париж, бросаюсь на постелю и говорю самому: «Я не видал ничего великолепнее Версальского дворца с парком и милее Трианона с его сельскими красотою!»

Париж, июня...

Я был нынешний день у Вальяна,^[450] славного африканского путешественника: не застал хозяина дома, однако ж видел его кабинет и

познакомился с хозяйкою, приятною женщиною и до крайности говорливою. Вальян хотел с мыса Доброй Надежды пробраться через пустыни африканские до самого Египта: глубокие реки, неизмеримые песчаные степи, где вся природа мертва и бездушна, заставили его возвратиться назад, но он во внутренности Африки был далее других путешественников. Весь Париж читает теперь описание его романического странствия, в котором автор изображает себя маленьким Тезеем, сражается с чудовищами и стреляет слонов, как зайцев. Парижские дамы говорят: «Il est vaillant, ce Monsieur de Vaillant!»^[451] Желая быть вторым Руссо, он ужасным образом бранит просвещение, хвалит диких, находит в Кафрии милую для своего сердца, привлекательную Нерину, гоняется за нею, как Аполлон за Дафною, прячет ее передник, когда она в реке купается, не может нарадоваться невинностию смуглой красавицы, клянется самому себе не употреблять ее во зло и хранить клятву. Вальян вывез из Африки несколько звериных кож, пернатых чучел, готтентотских орудий и материю для двух больших томов. Слог его чист, выразителен, иногда живописен; и г-жа Вальян с гордым видом объявила мне, что в последние пятнадцать лет французская литература произвела только две книги для бессмертия: «Анахарсиса» и путешествие мужа ее. «Оно прекрасно, – сказал я, – но, читая его, удивляюсь, как можно оставить милое семейство, отечество, все приятные удобства европейской жизни и скитаться за океаном по неизвестным степям, чтобы вернее других описать какую-нибудь птичку. Теперь, видя вас, еще более удивляюсь». – «Видя меня?» – «Иметь такую любезную супругу – и добровольно с нею расстаться!» – «Государь мой! Любопытство имеет своих мучеников. Мы, женщины, созданы для неподвижности, а вы все – калмыки, любите скитаться, искать бог знает чего и не думать о нашем беспокойстве». – Я старался уверить г-жу Вальян, что у нас в России мужья гораздо нежнее, не любят расставаться с женами и твердят пословицу: «Дон, Дон, а лучше всего дом!» – Она дозволила мне прийти к ней в другой раз, чтобы познакомиться с ее мужем, который опять собирается ехать в Африку!

Деревня Отель, июня...

Я пришел сюда для того, чтобы видеть дом, в котором Буало писал сатиры свои, веселился с друзьями и где Мольер спас жизнь всех лучших французских писателей тогдашнего времени. Помните ли этот забавный анекдот? Хозяин, Расин, Лафонтен, Шапель, Мольер ужинали, пили, смеялись и наконец вздумали *гераклитствовать*, оплакивать житейские горести, проклинать судьбу, находя, по словам одного греческого софиста,

что первое счастье есть... не родиться, а второе – умереть как можно скорее. Буало, не теряя времени, предложил друзьям своим броситься в реку. Сена была недалеко, и дети Аполлоны, разгоряченные вином, вскочили, хотели бежать, лететь в объятия смерти. Один благоразумный Мольер не встал с места и сказал им: «Друзья! Намерение ваше похвально, но теперь ночь: никто не увидит героического конца поэтов. Дождемся Феба, отца нашего, и тогда весь Париж будет свидетелем славной смерти детей его!» Такая счастливая мысль всем полюбилась, и Шапель, наливая рюмку, говорил: «Правда, правда; утопимся завтра, а теперь допьем остальное вино!» – По смерти стихотворца Буало жил в его доме придворный медик Жандрон. Вольтер, будучи у него в гостях, написал карандашом на стене:

C'est ici le vrai Parnasse
Des vrais enfants d'Apollon;
Sous le nom de Boileau, ces lieux virent Horace,
Esculape y paroît sous celui de Gendron. [\[452\]](#)

Теперь этот дом принадлежит господину... Забыл имя.

Деревенька Отель славилась некогда хорошим вином своим, но слава ее прошла: нынешнее отельское вино никуда не годится, я не мог выпить рюмки. – Смеркается; спешу в город.

Сен-Дени

Вселенная любовь иль страх,
Цари! Что вы по смерти?.. Прах!

То есть я был в аббатстве св. Дионисия, на кладбище французских царей, которые все в глубокой тишине лежат друг подле друга: колена Мероуево, Карлово, Капетово, Валуа и Бурбонское. Я напрасно искал гробницы Ярославовой дочери, прекрасной Анны, супруги Генриха I, которая по смерти его вышла за графа Креки и скончала дни свои в Жанлизском монастыре, ею основанном; другие же историки думают, что она возвратилась в Россию. Как бы то ни было, но ее кенотафа нет подле монумента Генриха I. Вообразите чувство юной россиянки, которая, оставляя свою милую отчизну и семейство, едет в чужую, дальнюю землю,

как в темный лес, не зная там никого, не разумея языка, – чтоб быть супругою неизвестного ей человека!.. Следственно, и тогда приносились горестные жертвы политике! Анна должна была переменить закон во время самых жарких раздоров Восточной и Западной церкви, что очень удивительно. Генрих I заслуживал быть ее супругом: он славился мужеством и другими царскими достоинствами. Любовь заключила второй брачный союз ее, но Анна недолго наслаждалась счастьем любви: граф Креки был убит на поединке одним британским рыцарем.

Я поклонился гробу Лудовика XII и Генриха IV...

Великий человек достоин монумента,
Великий государь достоин олтарей.

Гроб Франциска I, прозванного *отцом искусств и наук*, великолепно украшен благодарным художеством, но монумент первого из новых военачальников, Александра храбростию, Фабия благоразумием, одним словом – Тюрена, всех других достойнее примечания. Герой кончается в объятиях Бессмертия, которое венчает его лаврами. Храбрость и Мудрость стоят подле его гроба: одна в ужасе, другая в горестном изумлении. Черная мраморная доска ждет эпитафии: для чего не вырежут на ней следующих стихов, не знаю кем сочиненных:

Turenne a son tombeau parmi ceux de nos Rois;
Il obtint cet honneur par ses fameux exploits;
Louis voulut ainsi couronner sa vaillance,
Afin d'apprendre aux siècles d'avenir,
Qu'il ne met point de difference
Entre porter le sceptre et le bien soutenir.

Честь Франции, Тюрен, С царями погребен
Сим Лудовик его и в гробе награждает,
Желая свету доказать,
Что он единым почитает
На троне быть или трон славно защищать.

Я не буду говорить вам о странных барельефах Дагобертовой гробницы, на которых изображены дьяволы в драке, св. Дионисий в лодке и

ангелы с подсвечниками: мысль и работа достойны варварских веков. Король Дагобер основал Дионисиево аббатство. Не буду описывать вам и тамошнего сокровища – золотых распятий, святых гвоздей, рук, ног, волосов, лоскутьев, подаренных аббатству разными королями и благочестивыми людьми. Замечу только венец Карла Великого, скипетр и державу Генриха IV, меч Лудовика Святого (которым он в Африке и в Азии рубил неверных), портрет так называемой *Орлеанской девственницы*, славной героини Вольтеровой поэмы, и большую древнюю чашу, сделанную из восточного агата для египетского царя Птолемея Филадельфа, с изображением Вакхова торжества.

Св. Дионисий, патрон Франции, проповедывал в Галлии христианство и был казнен злыми язычниками на Монмартре. Католические легенды говорят, что он после казни стал на ноги, взял в руки отрубленную голову свою и шел с нею версты четыре. Одна парижская дама, рассуждая о сем чуде, сказала: «Cela n'est pas surprenant; il n'y a que le premier pas qui coute».

[453]

Париж, июня

Сколько раз был я в Булонском лесу, не видав славной *Безделки!* Сегодня видел ее, хвалил вкус хозяина, жалея о нынешней судьбе его. Вы догадаетесь, что я говорю о Булонском увеселительном доме графа д'Артуа, называемом *Bagatelle*, [454] и вспомните что сказал об нем Делиль:

Et toi, d'un Prince aimable ô l'asyle fidelle,
Dont le nom trop modeste est indigne de toi.
Lieu channant, ets. [455]

В конце леса, почти на самом берегу Сены, возвышается прекрасный павильон, с золотою надписью на дверях: «Parva sed apta» – «Мал, но покоен». У крыльца стоит мраморная нимфа и держит на голове корзину с цветами; в эту корзину ставится ночью хрустальный фонарь для освещения крыльца. Первая комната столовая, где из двух дельфинов бьет вода и льется в обширный бассейн, окруженный зеленью; зеркала повторяют действие фонтана. Оттуда вход в большую ротонду, украшенную стеклами, барельефами, арабесками и разными аллегорическими фигурами. К зале примыкают два кабинета: баня и будуар, где все нежно и сладострастно. На картинах улыбается Любовь, а в алькове кроются Восторги... Не смею взглянуть на постелю. В верхнем этаже спальня бога Марса: везде пики,

каска, трофеи, знаки сражений и побед. Но Марс дружен с Кипридою: взгляните направо... Тут маленький тайный кабинет, где представляются глазам знаки другого рода сражений и побед: Стыдливость умирает, Любовь торжествует. Цвет дивана, кресел и других приборов есть самый нежный телесный; одни амуры умеют так красить. Подойдите к окну: вид прелестный! Течение Сены, Лоншанский монастырь, мост Нёльи образуют самый живописный ландшафт. – Наконец вы узнаете, что этот павильон есть в самом деле волшебный, будучи построен, отделан, убран в пять недель; без волшебства таких чудес не делается.

От павильона идут две аллеи и примыкают к гранитному утесу, из которого вытекает ручей: за утесом приятный лесок, посвященный *стыдливой Венере*, à la Venus pudique; мраморный образ ее стоит на высоком подножии. Тут начинается сад английский, картина сельской природы, в иных местах – дикой, угрюмой, в других – обработанной и веселой. Прежде всего является глазам большой луг, окруженный лесом и маленькими холмиками; в середине светлый пруд, по которому ветер носит лодку. На левой стороне извивается тропинка и приводит вас к пустыне; густые деревья, перепутываясь своими ветвями, служат ей оградой. Видите маленький домик, покрытый тростником; в нем две комнаты, обклеенные мохом и листьями, кухня, несколько деревянных стульев, постеля. Тут в самом деле жил когда-то пустынный, в трудах и воздержании; любопытные приходили видеть уединенного мудреца и слушать его наставления. Он с презрением говорил о свете, называл его забавы адскими игрищами, женскую красоту – приманкою Сатаны, а любовь (боюсь сказать) – самим дьяволом. Купидон, раздраженный таким дерзким *эротухулением*, решился отметить анахорету, прострелил его насквозь своею кипарисною стрелой и показал ему вдали сельскую красавицу, которая на берегу Сены рвала фиалки. Пустынный воспламенился, забыл свое учение, свою густую бороду и сделался селадомом. Далее молчит история; но изустное предание говорит, что он был несчастлив в любви и хотя обрил себе бороду, хотя обрезал длинное свое платье, но красавице не мог понравиться; с отчаяния записался в солдаты, дрался с англичанами, был ранен и принят в Дом инвалидов, где граф д'Артуа давал ему сто ливров пенсии. – Близ домика часовня, поле, которое анахорет обрабатывал, и ручей, которым он утолял свою жажду.

Вздохнув о слабости человеческой, иду далее, и вдруг является передо мною высокий обелиск, исписанный таинственными гиероглифами. Жаль, что египетские жрецы не оставили мне ключа своей науки; сказывают, что на сей пирамиде помещена вся их мудрость. За обелиском, по цветущим

лугам, извиваются тропинки, текут ручейки, возвышаются красивые мостики и павильоны. Один из них построен на скале; всход неудобен, труден... Это павильон *философии*, которая не всякому дается. Вид его снаружи не привлекателен, странный, готический: в знак того, что философия мила только философам, а другим кажется едва ли не сумасбродством. Внутренность украшена медальонами греческих мудрецов, а разноцветные окончины представляют вам всякую вещь разноцветною: эмблема несогласия умов и мнений человеческих. Внизу павильона грот, куда лучи солнца проникают сквозь расселины камней, где собраны все произведения минерального царства. – Сдругой дикой скалы стремится большой каскад, шумит и вливается пеною в кристалл пруда, которого тихие струи омывают в одном месте черную мраморную гробницу, обсаженную кипарисами: предмет, трогательный для всякого, кто любил и терял милых!

Кто ж милых не терял? Оставь холодный свет
И горесть разделяй с унылыми древами,
С кристаллом томных вод и с нежными цветами;
Чувствительный во всем себе друзей найдет.
Там урну хладную с любовью осеняют
Тополь высокий, бледный тис
И ты, друг мертвых, кипарис!
Печальные сердца твою приятность знают,
Любовник нежный мирты рвет,
Для славы гордый лавр растет;
Но ты милее тем, которые стенают
Над прахом счастья и друзей!

Делиль

Хотите ли, подобно Орфею, за любезною тению сойти в Плутоново царство? Есть ли у вас сладкогласная лира?.. Земля разверзается перед вами: вы спускаетесь в глубины ее по каменным ступеням и трепещете от ужаса; густой мрак окружает вас. Поздно думать о возвращении; надобно идти вперед, в ночной темноте, в неизвестности. Беспокойное воображение мечтает об адских чудовищах, слышит грозный шум Стикса и Коцита; скоро, скоро залает Цербер... Не бойтесь: быстрый луч света издали озаряет ваши глаза – еще несколько шагов, и вы опять в подсолнечном

мире, на берегу журчащей речки, среди прелестных ландшафтов. Здесь, любезные друзья, остановитесь со мною, сядьте на мягком дерне и насладитесь приятным вечером. Не хочу более описывать; описание может наскучить... но никогда, никогда не скучилось бы вам гулять в Булонском саду графа д'Артуа!

На возвратном пути в город случилась со мною странность. Смеркалось; я шел один как можно тише, как можно чаще останавливаясь и смотря на все стороны. Скачет карета. Я слышу голос: «Arrête! arrête!» – «Стой!» Кучер удержал лошадей. Вышли два человека, прямо ко мне; оглядели меня с головы до ног и спросили, кто я. – «Иностранец. Что вам угодно?» – «Не вы ли ходили в Булонском лесу с господином Лаклосом?» – «Я ходил в Булонском лесу один и не знаю господина Лаклоса». – «Тем лучше или тем хуже. По крайней мере не объехала ли вас дама верхом, в зеленом амазонском платье?» – «Я не заметил. Но что значат ваши вопросы, государи мои?» – «Так; нам нужно знать. Извините». – Они приподняли шляпы, прыгнули в карету и поскакали.

Париж, июня...

Я был в Марли; видел чертог солнца^[456] и 12 павильонов, изображающих 12 знаков Зодиака; видел Олимп, долины Темпейские, сады Альциноевы; одним словом, вторую Версалию, с некоторыми особливими оттенками. Вместо подробного описания вот вам худой перевод Делилевых прекрасных стихов, в которых он прославляет Марли:

Там все велико, все прелестно,
Искусство славно и чудесно;
Там истинный Армидин сад
Или великого героя
Достойный мирный вертоград,
Где он в объятиях покоя
Еще желает побеждать
Натуру смелыми трудами
И каждый шаг свой означать
Могуществом и чудесами,
Едва понятными уму.
Стихии творческой природы
Подвластны кажутся ему;
В его руках земля и воды.
Там храмы в рощах Ореяд

Под кровом зелени блистают;
Там бронзы дышат, говорят.
Там реки ток свой пресекают
И, вверх стремяся, упадают
Жемчужным, радужным дождем,
Лучами солнца озлащенным;
Потом, извивистым путем,
Древнами темно осененным,
Едва журчат среди лугов.
Там, в тихой мрачности лесов,
Везде встречаются сильваны,
Подруги скромныя Дианы.
Там каждый мрамор – бог,
лесочек всякий – храм.^[457]
Герой, известный всем странам,
На лаврах славы отдыхая
И будто весь Олимп сзывая
К себе на велелепный пир,
С богами торжествует мир.

Надобно быть механиком, чтобы понять чудесность Марлийской водяной машины, ее горизонтальные и вертикальные движения, действие насосов и проч. Дело состоит в том, что она берет воду из реки Сены, поднимает ее вверх, вливает в трубы, проведенные в Марли и в Трианон. Изобретатель сей машины не знал грамоте...

Как обогащены *Искусством* все места вокруг Парижа! Часто хожу на гору *Валериянскую* и там, сидя подле уединенной часовни, смотрю на великолепные окрестности *великолепного* города.

Я не забыл Эрмитажа, сельского дома г-жи д'Епине, в котором жил Руссо и где сочинена «Новая Элоиза»; где автор читал ее своей простодушной Терезе, которая, не умев счесть до ста, умела чувствовать красоты бессмертного романа и плакать. Дом маленький, на пригорке; вокруг сельские равнины.

Был и в Монморанси, где написан «Эмиль»; были в Пасси, где жил Франклин; был и в *Бельвю*, достойном своего имени;^[458] и в Сен-Клу, где бьет славнейший искусственный каскад в Европе; был я и в разных других городках, деревеньках, замках, почему-нибудь достойных любопытства.

Париж, июня...

Наемный слуга мой Бидер, который (за 24 су в день) всюду меня провожает, *зная* (по словам его) *Париж, как свой чердак*, давно уже приступал ко мне, чтобы я шел смотреть *Царскую кладовую* *Garde-meuble du Roi*. «Стыдно, государь мой, стыдно! Быть три месяца в Париже и не видеть еще самой любопытнейшей вещи! Что вы здесь делаете? Бегаете по улицам, по театрам, по лесам, вокруг города! Вот вам шляпа, трость; надобно непременно идти в кладовую!» – Я надел шляпу, взял трость и пошел на место *Лудовика XV*^[459] в *Gardemeuble*, большое здание с колоннами.

В самом деле, я видел там множество редких вещей, серебра и золота, драгоценных камней, ваз и всякого рода оружия. Любопытнее всего: 1) круглый серебряный щит, около трех футов в диаметре, найденный в Роне, близ Лиона, представляющий (*en bas-relief*) сражение конницы и подаренный, как думают, гишпанским народом Сципиону Африканскому; 2) стальные латы Франциска I с резною работою по рисунку Юлия Романа, такие легкие, что их можно поднять одною рукою (он в них сражался при Павии, где французы *все потеряли, кроме чести*. «*Tout est perdu hormis l'honneur*», – писал Франциск к матери, будучи в плену у неприятеля со всеми своими генералами); 3) латы Генриха II (в которых он был смертельно ранен на турнире графом Монгомерри) и Лудовика XIV, подарок Венецианской республики; 4) два меча Генриха IV; 5) две пушки с серебряными лафетами, присланные сиамским царем Лудовику XIV, в доказательство, что у него есть артиллерия;^[460] 6) длинное вызолоченное копье папы Павла V, которым он хотел заколоть Венецианскую республику, 7) золотая корзинка, осыпанная бриллиантами и рубинами; 8) *золотая церковная утварь* кардинала Ришелье, также осыпанная драгоценными камнями; 9) богатое седло, подаренное султаном Лудовику XV, – и, наконец, шелковые картинные обои, за которые Франциск I заплатил около 100 000 талеров фламандским художникам и на которых вытканы сражения Сципионовы, *деяния апостольские* и басни Псиши, по рисунку Юлия Романа^[461] и Рафаэля. Тут же хранятся и лучшие произведения гобелинской фабрики, заведенной в Париже Кольбертом: работа удивительная правильностию рисунка, блеском красок, нежными оттенками шелков, так что ткань не уступает в ней живописи. – Слуга мой Бидер беспрестанно говорил: «*Eh bien, Monsieur, eh bien, qu'en dites-vous?*»^[462]

Теперь скажу вам несколько слов о Бидере. Он родом немец, но забыл

свой природный язык; живет со мною в одной *отели*, только на чердаке, беден, как Ир, а честен, как Сократ; покупает мне все дешево и бранит меня, если где-нибудь заплачу лишнее. Однажды, всходя на лестницу, я выронил завернутые в бумажке пять луидоров; он шел за мною, поднял их и принес ко мне. «Ты самый честный слуга, Бидер!»^[463] – говорю ему. – «Il faut bien, que je le sois, Monsieur, pour ne pas dementir mon nom»,^[464] – отвечает мой немец. Не помню, за что я сказал ему грубость. Бидер отступил два шага назад... «Monsieur, de choses pareilles ne se disent point en bon françois. Je suis trop sensible pour le souffrir».^[465] Я рассмеялся. «Riez, Monsieur: je rirai avec vous; mais point de grossièretés, je vous en prie».^[466] – Однажды Бидер пришел ко мне весь в слезах^[50] и сказал, подавая лист газет: «Читайте!» Я взял и прочитал следующее: «Сего мая 28 дня, в 5 часов утра, в улице Сен-Мери застрелился слуга господина N*. Прибежали на выстрел, отворили дверь... Несчастный плавал в крови своей; подле него лежал пистолет; на стене было написано: „Quand on n'est rien, et qu'on est sans espoir, la vie est un opprobre, et la mort un devoir“,^[467] а на дверях: „Aujourd'hui mon tour, demain le tien“.^[468] Между разбросанными по столу бумагами нашлись стихи, разные философические мысли и завещание. Из первых видно, что сей молодой человек знал наизусть опасные произведения новых *философов*; вместо утешения извлекал из каждой мысли яд для души своей, не образованной воспитанием для чтения таких книг, и сделался жертвою мечтательных умствований. Он ненавидел свое низкое состояние и в самом деле был выше его как разумом, так и нежным чувством; целые ночи просиживал за книгами и покупал свечи на свои деньги, думая, что строгая честность не позволяла ему тратить на то господских. В завещании говорит, что он *сын любви*, и весьма трогательно описывает нежность *второй матери* своей, добродушной кормилицы: отказывает ей 130 ливров, отечеству (en don patriotique)^[469] – 100, бедным – 48, заключенным в темнице за долги – 48, луидор – тем, которые возьмут на себя труд предать земле прах его, и три луидора – другу своему, слуге-немцу, живущему в *Британской отели*. Комиссар нашел в его ларчике более 400 ливров». – «Три луидора отказаны мне, – сказал чувствительный Бидер, – он был с ребячества другом моим и редким молодым человеком; вместо того чтобы шататься по трактирам, ходил всякий день на несколько часов в *кабинет чтения* и всякое воскресенье в театр. Нередко со слезами говаривал мне: „Генрих! будем благородны сердцем! Заслужим собственное свое почтение!“ Ах! Я не могу пересказать вам всех речей его: Жак говаривал, как самая умная книга; а я, бедняк, не умею сказать двух

красивых слов. С некоторого времени он стал задумчив, ходил повеся голову и любил рассуждать со мною о смерти. Дней шесть мы не видались; вчера узнал я, что Жаку наскучила жизнь и что в свете не стало одного доброго человека!» – Бидер плакал, как ребенок. Я сам был сердечно тронут. Бедный Жак!.. Гибельные следствия полуфилософии! «Drink deep or taste not» – «Пей много или не пей ни капли», – сказал англичанин Поп. Эпиктет был слугою, но не убил себя.

Эрменонвиль

Верст 30 от Парижа до Эрменонвиля: там Руссо, жертва страстей, чувствительности, пылкого воображения, злобы людей и своей подозрительности, заключил бурный день жизни тихим, ясным вечером; там последнее дело его было – благодеяние, последнее слово – хвала природе; там в мирной сени высоких деревьев, дружбою насажденных, покоится прах его... Туда спешат добрые странники видеть места, освященные невидимым присутствием гения, – ходить по тропинкам, на которых след Руссовой ноги изображался, – дышать тем воздухом, которым некогда он дышал, – инежною слезою меланхолии оросить его гробницу.

Эрменонвиль был прежде затемняем дремучим лесом, окружен болотами, глубокими и бесплодными песками: одним словом, был дикою пустынею. Но человек, богатый и деньгами, и вкусом, купил его, отделал – и дикая лесная пустыня обратилась в прелестный английский сад, в живописные ландшафты, в Пуссеневу картину.

Древний замок остался в прежнем своем готическом виде. В нем жила некогда *милая Габриель*, и Генрих IV наслаждался ее любовью: воспоминание, которое украшает его лучше самых великолепных перистилей! Маленькие домики примыкают к нему с обеих сторон; светлые воды струятся вокруг его, образуя множество приятных островков. Здесь раскиданы лесочки; там зеленеют долины: тут гроты, шумные каскады; везде природа в своем разнообразии – и вы читаете надпись:

Ищи в других местах искусства красоты:^[470]

Здесь вид богатыя природы
Есть образ счастливой свободы
И милой сердцу простоты.

Прежде всего поведу вас к двум густым деревьям, которые сплелись ветвями и на которых рукою Жан-Жака вырезаны слова: «Любовь все

соединяет». Руссо любил отдыхать под их сению, на дерновом канапе, им самим сделанном. Тут рассеяны знаки пастушеской жизни; на ветвях висят свирели, посохи, венки, и на диком монументе изображены имена сельских певцов: Теокрита, Виргилия, Томсона.

На высоком пригорке видите храм – *новой философии*, который своею архитектурою напоминает развалины Сибиллина храма в Тиволи. Он не достроен; материалы готовы, но предрассудки мешают совершить здание. На колоннах вырезаны имена главных архитекторов, с означением того, что каждый из них обрабатывал по своему таланту. Например:

J. J. Rousseau..|Natúram | (природу)
Montesquieu..| Justitiam | (правосудие)
W. Penn....| Humanitatem | (человечество)
Voltaire....|Ridiculum | (смешное)
Descartes...|nil in rebus inane | (нет в вещах пустого)
Newton....| lucem | (свет)

Внутри написано, что сей недостроенный храм посвящен Монтаню; над входом: «Познавай причину вещей», а на столпе: «Кто довершит?» Многие писали ответ на колоннах. Одни думают, что несовершенный ум человеческий не может произвести ничего совершенного; другие надеются, что *разум в школе веков возмужает*, ^[471] победит все затруднения, dokonчит свое дело и воцарит истину на земном шаре.

Вид, который открывается с вершины пригорка, веселит глаза и душу. Кристальные воды, нежная зелень лугов, густая зелень леса представляют разнообразную игру теней и света.

Уныло журчащий ручеек ведет вас, мимо диких гротов, к олтарию *задумчивости*. Далее, в лесу, находите мшистый камень с надписью: «Здесь погребены кости несчастных, убитых во времена суеверия, когда брат восставал на брата, гражданин на гражданина за несогласное мнение о религии». – На дверях маленькой хижины, которая должна быть жилищем отшельника, видите надпись:

Здесь поклоняются творцу
Природы дивныя и нашему отцу.

Перейдите чрез большую дорогу, и невольный ужас овладеет вашим сердцем: мрачные сосны, печальные кедры, дикие скалы, глубокий песок

являют вам картину сибирской пустыни. Но вы скоро примиритесь с нею... На хижине, покрытой сосновыми ветвями, написано: «Царю хорошо в своем дворце, а леснику в своем шалаше: всякий у себя господин», а на древнем густом вязе:

Под сению его я с милой изъяснился;
Под сению его узнал, что я любим!

Следственно, и в дикой пустыни можно быть счастливым! – Во внутренности каменного утеса найдете грот Жан-Жака Руссо с надписью: «Жан-Жак бессмертен». Тут, между многими девизами и титулом всех его сочинений, вырезано прекрасное изречение женеvского гражданина: «Тот единственно может быть свободен, кому для исполнения воли своей не надобно приставлять к своим рукам чужих». ^[472] – Идете далее, и дикость вокруг вас мало-помалу исчезает: зеленая мурава, скалы, покрытые можжевельником, шумящие водопады напоминают вам Швейцарию, Мельери и Кларан; вы ищете глазами Юлиина имени и видите его – на камнях и деревьях.

Светлая река течет по лугу мимо виноградных садов, сельских домиков; на другой стороне ее возвышается готическая башня *прекрасной Габриели*, и маленькая лодочка готова перевезти вас. На дверях башни читаете:

Здесь было царство Габриели;
Ей надлежало дань платить.
Французы исстари умели
Сердцами красоту дарить.

Архитектура наружности, крыльцо, внутренние комнаты напоминают вам те времена, когда люди не умели со вкусом ни строить, ни украшать своих домов, но умели обожать славу и красавиц. «Здесь, – думаете вы, – здесь король-рыцарь, после военного грома, наслаждался тишиною и сердцем своим в объятиях милой Габриели; здесь сочинил он нежную песню свою:

Charmante Gabriete,
Percé de mille dards,

Quand la gloire m'appelle.
Je vole au champ de Mars,
Cruelle départie!
Malheureux jour!
C'est trop peu d'une vie
Pour tant d'amour!»^[473]

И куда ни взглянете в комнатах, везде читаете: «Charmante Gabrielle!» Автор Седен сочинил здесь на голос этой песни другую, такого содержания:

Здесь Габриели страстной
Взор нежность изъявлял;
Здесь бог войны ужасный
В цепях любви вздыхал.
Француз в восторг приходит
От имени ея;
Оно на мысль приводит
Нам доброго царя.

С нежными чувствами выходите из башни и вступаете в прекрасный лесок, посвященный музам и *спокойствию*. Тут стремится ручей, подобный воклюзскому, где, по уверению италийского Тибулла, *травы, цветы, зефиры, птицы и Петрарка о любви говорили*. Тут в прохладном гроте написано:

Являйте, зеркальные воды,
Всегда любезный вид природы
И образ милой красоты!
С зефирами играйте
И мне вспоминайте
Петрарковы мечты!

От всех эрменонвильских домиков, живописно рассеянных по лугу, отличается тот, который строен был для Жан-Жака, но достроен уже по смерти его: самый сельский и приятный! Подле садик, огород, лужок,

орошаемый ручейком, густые деревья, мостик, примкнутый к двум большим вязам, и маленький жертвенник с надписью:

A l'amitié, le baume de la vie. —
Дружбе, бальзаму жизни.

Под сению одного дерева стоит канapé с надписью:

Жан-Жак любил здесь отдыхать,
Смотреть на зелень дерна,
Бросать для птичек зерна
И с нашими детьми играть.

Руссо переехал в Эрменонвиль 20 мая 1778, а умер 2 июля – следственно, недолго наслаждался он здешним тихим уединением; успел только ласкою, обходительностию снискать любовь эрменонвильских жителей, которые по сие время не могут без слез говорить о нем. Свет, литература, слава – все ему наскучило; одна природа сохранила до конца милые права свои на его сердце и чувствительность. В Эрменонвиле рука Жан-Жакова не бралась за перо, а только подавала милостыню бедным. Лучшее его удовольствие состояло в прогулках, в дружеских разговорах с земледельцами и в невинных играх с детьми. За день до смерти своей он ходил еще собирать травы; 2 июля, в семь часов утра, вдруг почувствовал слабость и дурноту, велел своей Терезе растворить окно, взглянул на луг, сказал: «Comme la Nature est belle!»^[474] – и закрыл глаза навеки... Человек редкий, автор единственный, пылкий в страстях и в слоге, убедительный в самых заблуждениях, любезный в самых слабостях! Младенец сердцем до старости! Мизантроп, любви исполненный! Несчастный по своему характеру между людьми и завидно-счастливый по своей душевной нежности в объятиях природы, в присутствии невидимого божества, в чувстве его благости и красот творения!.. Прах его хранится на маленьком прекрасном островке, ile des reupliers,^[475] осененном высокими тополями. Надобно переехать на лодке – и Харон говорит вам о Жан-Жаке; рассказывает, что эрменонвильский цирюльник купил трость его и не хотел продать ее за 100 экю; что жена мельника никому не дает садиться на том стуле, на котором Руссо у мельницы сиживал, смотря на пенистую воду; что школьный мастер^[476] хранит два пера его; что Руссо ходил всегда задумавшись, неровными шагами, но всякому кланялся с ласковым видом.

Вам хочется и слушать перевозчика, и читать надписи на берегу, и видеть скорее гроб Ж.-Жаков...

Среди журчащих вод, под сению священной,
Ты видишь гроб Руссо, наставника людей,
Но памятник его нетленный
Есть чувство нежных душ и счастье детей. [\[477\]](#)

Всякая могила есть для меня какое-то святилище; всякий безмолвный прах говорит мне:

И я был жив, как ты,
И ты умрешь, как я.

Сколь же красноречив пепел такого автора, который сильно действовал на ваше сердце, которому вы обязаны многими из любезнейших своих идей, которого душа отчасти перелилась в вашу? Монумент его имеет вид древнего жертвенника; с одной стороны написано: «Ici repose l'homme de la Nature et de la vérité» – «здесь покоится человек истины и природы»; а на другой стороне изображены играющие дети с матерью, которая держит в руке том «Эмиля»; наверху девиз Жан-Жаков: «Vitam impendere vero» – «Жить для истины». На свинцовом гробе вырезано: «Nec jacent ossa J. J. Rousseau» – «Здесь лежат кости Руссо».

Что Руссо в жизни своей имел злых врагов, не мудрено; но можно ли без омерзения слышать, что некоторые хотели ругаться и над бесчувственным прахом его, вырезывали на гробе непристойные, бесстыдные надписи, бросали грязь на монумент и ломали его, так что хозяин, маркиз Жирарден, должен был приставить караул к острову!

Зато Руссо имел и жарких, ревностных почитателей более нежели кто-нибудь из новых авторов. Ревность некоторых доходила до безумия. Рассказывают, что один молодой француз, восхищенный творениями Жан-Жака, вздумал проповедывать его учение в Азии и сочинил на арабском языке катехизис, который начинается так: «Что есть правда? Бог. Кто ложный пророк его? Магомет. Кто истинный? Руссо». Французский консул видел его в Бассоре в 1780 году и никак не мог доказать ему, что он сумасшедший. Скромный Руссо, конечно, не хотел таких учеников. Думаю, что и нынешние французские ораторы не одолжили бы его своими

пышными хвалами: чувствительный, добродушный Жан-Жак объявил бы себя первым врагом революции.

Говорили, что Тереза, жена его, вышла замуж за слугу маркиза Жирардена: это неправда. Она гордится именем Руссовой супруги и живет одна в маленькой деревеньке Плесси-Бельвиль.

Кто, опершись рукою на монумент незабвенного Жан-Жака, видел заходящее солнце и думал о бессмертии, тот наслаждался немалым удовольствием в жизни.

Шанtilьи

Dans sa pompe élégante admirez Chantilly,
De Heros en Heros, d'âge en age embelli.^[478]

Не ожидайте от меня пышного описания: я видел Шанtilьи в дурное время, в дурном расположении и в страхе, чтобы не уехала без меня почтовая карета. Мысль, что хозяин его скитается^[479] ныне по чужим землям, как бедный изгнанник, также туманила для глаз моих предметы. Что вам сказать? Я видел великолепные палаты, прекрасные статуи, физические кабинеты, подземельные ходы с высокими сводами, редкие оранжереи, огромные конюшни, большой парк, красивые террасы, *остров Любви*, приятный английский сад, хижины, украшенные, как дворец, чудесную игру вод и, наконец, латы Орлеанской девственницы. Я вспомнил то великолепное, беспримерное зрелище, которым принц Конде веселил здесь нашего Северного графа. Ночь превратилась в день; от бесчисленных огней казалось, что леса и воды горели; искры сыпались от каскадов; музыка гремела, и охотники, при восклицаниях народа, неслись вихрем за быстрыми оленями. Так и восточные государи не забавляли гостей своих.

Шанtilьи окружен густым лесом. Тут, на большой равнине, где сходятся 12 бесконечных аллей, великий Конде, герой и друг просвещения, давал праздники Лудовику XIV и всему двору его.

Сей лес напоминает печальную смерть мрачного романиста Прево. Он гулял в нем и упал без чувства; его подняли, как мертвого, вздумали анатомить, и безрассудный лекарь воткнул ему нож в сердце – пронзительный крик раздался – Прево был еще жив – лекарь зарезал его.

Я списал в Шанtilьи прекрасную Грувелеву надпись к амуру, представленному без покрова, без оружия и без крыльев. Как умею, переведу ее:

Одною нежностью богат,
Как правда, сердцем обнаружен,
Как непорочность, безоружен,
Как постоянство, некрылат,
Он был в Австреин век. Уже мы не находим
Его нигде, но жизнь в искании проводим.

Париж, июня... 1790

Вчера целых пять часов провел я у г-жи Н*, и не скучно; даже самый прелестный барон, друг ее, казался мне сносным. Говорили о чувствительности. Барон утверждал, что привязанность мужчин бывает гораздо сильнее и надежнее, что женщины более плачут, а мы чаще умираем от любви. Хозяйка утверждала противное и милым голосом, с нежным и томным видом своим рассказывала нам печальный лионский анекдот. Все были тронуты; я не менее других. Г-жа Н* оборотилась ко мне и спросила: «Сочиняете ли вы стихи?» – «Для тех, которые любят меня», – отвечал я. – «Вот вам материя. Дайте мне слово описать это приключение в русских стихах». – «Охотно, но позвольте немного украсить». – «Нимало. Скажите только, что от меня слышали». – «Это слишком просто». – «Истина не требует украшений». – «По крайней мере в рассказ можно вместить некоторые мысли, нравственные истины». – «Дозволяю. Сдержите же слово». – Я сдержал его и написал следующее:

АЛИНА

О дар, достойнейший небес,
Источник радости и слез,
Чувствительность! Сколь ты прекрасна,
Мила – но в действиях несчастна!..
Внимайте, нежные сердца!

В стране, украшенной дарами
Природы, щедрого творца,
Где Сона светлыми водами
Кропит зеленые брега,
Сады, цветущие луга,
Алина милая родилась;
Пленяла взоры красотой,
А души ангельской душой;

Пленяла – и сама пленилась.
Одна любовь в любви закон,
И сердце в выборе не властно;
Что мило, то всегда прекрасно;
Но нежный юноша, Милон,
Достоин был Алины нежной;
Как старец, в младости умен,
Любезен всем, от всех почтен.
С улыбкой гордой и надежной
Себе подруги он искал;
Увидел – вольности лишился:
Алине сердцем покорился;
Сказав: «Люблю!», ответа ждал...
Еще Алина слов искала,
Боялась сердцу волю дать,
Но все молчанием сказала. —
Друг друга вечно обожать
Они клялись чистосердечно.
Но что в минутной жизни вечно?
Что клятва? – Искренний обман!
Что сердце? – ветреный тиран!
Оно в желаньях своевольно
И самым счастьем – недовольно.

И самым счастьем! – Так Милон,
Осыпанный любви цветами,
Ее нежнейшими дарами,
Вдруг стал задумчив. Часто он,
Ласкаемый подругой милой,
Имел вид томный и унылый
И в землю потуплял глаза,
Когда блестящая слеза
Любви, чувствительности страстной
Катилась по лицу прекрасной;
Как в пламенных ее очах
Стыдливость с нежностью сражалась,
Грудь тихо, тайно волновалась
И розы тлели на устах.
Чего ему не доставало?

Он милой был боготворим!
Прекрасная дышала им!
Но верх блаженства есть начало
Унылой томности в душах;
Любовь, восторг, холодность смежны.
Увы! Почто ж сей пламень нежный
Не вместе гаснет в двух сердцах?

Любовь имеет взор орлиный:
Глаза чувствительной Алины
Могли ль премены не видать?
Могло ль ей сердце не сказать:
«Уже твой друг не любит страстно»?
Она надеется (напрасно!)
Любовь любовью обновить:
Ее легко найти исканьем,
Всегдашней ласкою, стараньем;
Но чем же можно возратить?
Ничем! В немилом все немило.
Алина та же, что была,
И всех других пленять могла,
Но чувство друга к ней простыло;
Когда он с нею, скука с ним,
Кто нами пламенно любим,
Кто прежде сам любил нас страстно,
Тому быть в тягость наконец
Для сердца нежного ужасно!
Милон не есть коварный льстец:
Не хочет больше притворяться,
Влюбленным без любви казаться —
И дни проводит розно с той,
Которая одна, без друга,
Проводит их с своей тоской.
Увы! Несчастливая супруга
В молчании страдать должна...
И скоро узнает она,
Что ветреный Милон другою
Любезной женщиной пленен;
Что он сражается с собою

И, сердцем в горесть погружен,
Винит жестокость злой судьбины!^[480]
Удар последний для Алины!
Ах! Сердце друга потерять
И счастию его мешать
В другом любимом им предмете
Лютее всех мучений в свете!
Мир хладный, жизнь противны ей;
Она бежит от глаз людей...
Но горесть лишь себя находит
Во всем, везде, где б ни была!..
Алина в мрачный лес приходит
(Несчастливым тень лесов мила!)
И видит храм уединенный,
Остаток древности священный;
Там ветер в развалинах свистит.
И мрамор желтым мхом покрыт;
Там древность божеству молилась;
Там после, в наши времена,
Кровь двух любовников струилась;
Известны свету имена
Фальдони, нежные Терезы;^[481]
Они жить вместе не могли
И смерть разлуке предпочли.
Алина, проливая слезы,
Равняет жребий их с своим
И мыслит: «Кто, любя, любим,
Тот должен быть судьбой доволен;
В темнице и в цепях он волен
Об друге сладостно мечтать —
В разлуке, в горестях питать
Себя надеждою счастливой.
Неблагодарные! Зачем,
В жару любви нетерпеливой
И в исступлении своем,
Вы небо смертью оскорбили?
Ах! Мне бы слезы ваши были
Столь милы, как... любовь моя!

Но счастьем полным насладиться,
Изменой вдруг его лишиться
И в тягость другу быть, как я...
В подобном бедствии нас должно
Лишь богу одному судить!..
Когда мне здесь уже не можно
Для счастья супруга жить,
Могу еще, назло судьбине,
Ему пожертвовать собой!»

Вдруг обнаружились в Алине
Все признаки болезни злой,
И смерть приблизилась к несчастной.
Супруг у ног ее лежал,
Неверный слезы проливал
И снова, как любовник страстный,
Клялся ей в нежности, в любви;
(Но поздно!) говорил: «Живи,
Живи, о милая! для друга!
Я, может быть, виновен был!» —
«Нет! – томным голосом супруга
Ему сказала, – ты любил,
Любил меня! И я сердечно,
Мой друг, благодарю тебя!
Но если здесь ничто не вечно,
То как тебе винить себя?
Цвет счастья, жизнь, ах! все неверно!
Любви блаженство столь безмерно,
Что смертный был бы самый бог,
Когда б продлить его он мог...
Ничто, ничто моей кончины
Уже не может отвратить!
Последний взор твоей Алины
Стремится нежность изъяснить...
Но дай ей умереть счастливо;
Дай слово мне – спокойным быть,
Снести потерю терпеливо
И снова для любви жить!
Ах! Если ты с другою будешь

Дни в мирных радостях вести,
Хотя Алину и забудешь,
Довольно для меня!.. Прости!
Есть мир другой, где нет измены,
Нет скуки, в чувствах перемены:
Там ты увидишься со мной
И там, надеюсь, будешь мой!..»
Навек закрылся взор Алины.
Никто не мог понять причины
Сего внезапного конца,
Но вы, о нежные сердца,
Ее, конечно, угадали!
В несчастьи жизнь нам не мила...
Спросили медиков, узнали,
Что яд Алина приняла...
Супруг, как громом пораженный,
Хотел идти за нею вслед,
Но, гласом дружбы убежденный,
Остался жить. Он слезы льет
И сею горестною жертвой
Суд неба и людей смягчил;
Живой Алине изменил,
Но хочет верным быть ей мертвой!

Париж, июня... 1790

Скажу вам нечто о парижском Народном собрании, о котором так много пишут теперь в газетах. В первый раз пришел я туда после обеда; не знал места, хотел войти в большие двери вместе с членами, был остановлен часовым, которого никакие просьбы смягчить не могли, и готовился уже с досадою воротиться домой, но вдруг явился человек в темном кафтане, собою очень некрасивый, взял меня за руку и, сказав: «Allons, Mr., allons!», [\[482\]](#) ввел в залу. Я окинул глазами все предметы..... Большая галерея, стол для президента и еще два для секретарей по сторонам; напротив кафедра; кругом лавки, одна другой выше; вверху ложи для зрителей. Заседание еще не открывалось. Вокруг меня было множество людей, по большей части неопрятно одетых – с растрепанными волосами, в сертуках. Шумели, смеялись около часа. Зрители хлопали в ладоши, изъявляя нетерпение. Наконец тот самый человек, который ввел меня, [\[483\]](#) подошел к

президентскому столу, взял колокольчик, зазвонил – и все, закричав: «По местам! По местам!», разбежались и сели. Один я остался среди залы – подумал, что мне делать, и сел на ближней лавке; но через минуту подошел ко мне церемониймейстер в черном кафтане и сказал: «Вы не можете быть здесь!» Я встал и перешел на другое место. Между тем один из членов, г. Андре, читал на кафедре предложение Военной комиссии. Его слушали со вниманием; я также, но недолго, потому что проклятый черный кафтан опять подлетел ко мне и сказал: «Государь мой! Вы, конечно, не знаете, что в этой зале могут быть только одни члены». – «Куда же мне деваться, г. м.?» – «Подите в ложи». – «А если там нет места?» – «Подите домой или куда вам угодно». – Я ушел, но в другой раз высидел в ложе пять или шесть часов^[484] и видел одно из самых бурных заседаний. Депутаты духовенства предлагали, чтобы католическую религию признать единственной или главной во Франции. Мирабо оспаривал, говорил с жаром и сказал: «Я вижу отсюда то окно, из которого сын Катерины Медицис стрелял в протестантов!» Аббат Мори вскочил с места и закричал: «Вздор! Ты отсюда не видишь его». Члены и зрители захохотали во все горло. Такие непристойности бывают весьма часто. Вообще, в заседаниях нет нисколько торжественности, никакого величия, но многие риторы говорят красноречиво. Мирабо и Мори вечно единоборствуют, как Ахиллес и Гектор.

На другой день после споров о католической религии явились в лавках бумажные табакерки à l'abbé Maury:^[485] отворите крышку – выскочит аббат. Таковы французы: на всякий случай у них готова выдумка. – Расскажу вам другой анекдот в сем роде. В тот самый день, как Собрание определило выдать ассигнации, я был в театре. Играли старую оперу «Башмашника», которому во втором акте надлежало петь известную *водевиль*. Вместо того он запел новые стихи, в похвалу короля и Народного собрания, с припевом:

L'argent caché ressortira,
Par le moyen des assignals.^[486]

Зрители были вне себя от удовольствия и заставили актера десять раз повторять: «L'argent cachii ressortira». Им казалось, что перед ними лежат уже кучи золота!

Париж, июня... 1790

Вы помните, что Йорик сказал министру Б*^[487] о характере французов: «Они слишком важны!» Министр удивился, но разговор вдруг перервался, и забавный Йорик не изъяснил нам своей мысли. Кажется, об афинском народе было сказано, что он важными делами шутил, как безделками, а безделки считал важными делами; то же самое можно сказать о французах, которые не обижаются сходством с афинским народом. Вспомните жаркие, но смешные споры о древней и новой литературе, которыми Версальский двор и весь Париж занимался; вспомните историю глукистов, пиччинистов, месмеристов и согласитесь, что в некотором смысле Йорик мог утверждать свой парадокс. Но французы имеют характер, вопреки его старым шиллингам, qui, à force d'être polis, n'ont plus l'empreinte^[488] имеют даже более других народов. Я говорил об этом с г-жою Н* и после выразил мысли свои в письме к ней. Вот перевод:

«Скажу: *огонь, воздух*^[489] – и характер французов описан. Я не знаю народа умнее, пламеннее и ветренее вашего. Кажется, будто он *выдумал* или для него *выдуманно общежитие*: столь мила его обходительность и столь удивительны его тонкие соображения в искусстве жить с людьми! Сие искусство кажется в нем любезною природою. Никто, кроме его, не умеет приласкать человека одним видом, одною вежливою улыбкою. Напрасно англичанин или немец захотел бы учиться ей перед зеркалом: на лице их она чужая, принужденная. Я хочу жить и умереть в моем любезном отечестве, но после России нет для меня земли приятнее Франции, где иностранец часто забывается, что он не между своими. Говорят, что здесь трудно найти искреннего, верного друга... Ах! Друзья везде редки; и чужеземцу ли искать их, тому, кто, подобно комете, *являясь, исчезает?* Дружба есть потребность жизни; всякий хочет для нее предмета надежного. Но все, чего по справедливости могу требовать от чужих людей, француз предлагает мне с ласкою, *с букетом цветов*. Ветренность, непостоянство, которые составляют порок его характера, соединяются в нем с любезными свойствами души, *происходящими*^[490] некоторым образом от сего самого порока. Француз непостоянен – и незлопамятен; удивление, похвала может скоро ему наскучить; ненависть также. По ветренности оставляет он доброе, избирает вредное; зато сам первый смеется над своею ошибкою – и даже плачет, если надобно. Веселая безрассудность есть милая подруга жизни его. Как англичанин радуется открытию нового острова, так француз радуется острому слову. Чувствителен до крайности, страстно влюбляется в истину, в славу, в великие предприятия; но любовники непостоянны! Минуты его жара, исступления, ненависти могут иметь страшные

следствия, чему примером служит революция. Жаль, если эта ужасная политическая перемена должна переменить и характер народа, столь веселого, остроумного, любезного!»

Это писано для дамы, и для француженки, которая ахнула бы от ужаса и закричала: «Северный варвар!», если бы я сказал ей, что французы не остроумнее, не любезнее других.

Я оставил тебя, любезный Париж, оставил с сожалением и благодарностию! Среди шумных явлений твоих жил я спокойно и весело, как беспечный гражданин вселенной, смотрел на твое волнение с тихою душою, как мирный пастырь смотрит с горы на бурное море. Ни якобинцы, ни аристократы твои не сделали мне никакого зла; я слышал споры – и не спорил; ходил в великолепные храмы твои наслаждаться глазами и слухом: там, где светозарный бог искусств сияет в лучах ума и талантов; там, где гений славы величественно покоится на лаврах! Я не умел описать всех приятных впечатлений своих, не умел всем пользоваться, но выехал из тебя не с пустою душою: в ней остались идеи и воспоминания! Может быть, когда-нибудь еще увижу тебя и сравню прежнее с настоящим; может быть, порадуюсь тогда большею зрелостию своего духа или вздохну о потерянной живости чувства. С каким удовольствием взошел бы я еще на гору Валериянскую, откуда взор мой летал по твоим живописным окрестностям! С каким удовольствием, сидя во мраке Булонского леса, снова развернул бы перед собою свиток истории,^[491] чтобы найти в ней предсказание будущего! Может быть, тогда все темное для меня изъяснится; может быть, тогда еще более полюблю человечество или, закрыв летописи, перестану заниматься его судьбою...

Прости, любезный Париж! Прости, любезный В*!^[492] Мы родились с тобою не в одной земле, но с одинаким сердцем; увиделись и три месяца не расставались. Сколько приятных вечеров провел я в твоей сен-жерменской отели, читая привлекательные мечты единомыслителя и соученика твоего Шиллера, или занимаясь собственными нашими мечтами, или философствуя о свете, или судя новую комедию, нами вместе виденную! Не забуду наших приятных обедов за городом, наших ночных прогулок, наших рыцарских приключений и всегда буду хранить нежное, дружеское письмо твое, которое тихонько написал ты в моей комнате за час до нашей разлуки. Я любил всех моих земляков в Париже, но единственно с тобою и с Б* мне грустно было расставаться. К утешению своему думаю, что мы в твоём или моём отечестве можем еще увидеться, в другом состоянии души, может быть, и с другим образом мыслей, но равно знакомы и дружны!^[51]

А вы, отечественные друзья мои, не назовете меня неверным за то, что я в чужой земле нашел человека, с которым сердце мое было как дома. Это знакомство считаю благодеянием судьбы в странническом сиротстве моем. Как ни приятно, как ни весело всякий день видеть прекрасное, слышать умное и любопытное, но людям некоторого рода надобны подобные им люди, или сердцу их будет грустно.

Наконец скажу вам, что, выключая мои обыкновенные меланхолические минуты, я не знал в Париже ничего, кроме удовольствий. Провести так около четырех месяцев есть, по словам одного английского доктора, выманить у скупой волшебницы судьбы очень богатый подарок. Почти все мои земляки провожали меня, и Б*, и барон В*. Мы обнялись несколько раз, прежде нежели я сел в дилижанс. Теперь мы ночуем, отъехав верст 30 от Парижа. Душа моя так занята прошедшим, что воображение мое еще ни разу не заглянуло в будущее; еду в Англию, а об ней еще не думаю.

Го-Бюиссон, в 4 часа пополудни

В Иль-де-Франс плоды уже зрелы – в Пикардии зелены – в окрестностях Булони все еще цветет и благоухает. Перемена климата чувствительна на каждой миле – и воображение, что я удаляюсь беспрестанно от благословенных стран юга, горестно для души моей. Натура видимо беднеет к северу.

Теперь сижу один под каштановым деревом, шагах в двадцати от почтового двора, – смотрю через луга и поля на синеющееся вдали море и на город Кале, окруженный болотами и песками.

Странное чувство! Мне кажется, будто я приехал на край света, – там необозримое море – конец земли – природа хладеет, умирает – и слезы мои льются ручьями.

Все тихо, все печально; почтовый двор стоит уединенно; вокруг его чистое поле. Товарищи мои сидят на траве, подле нашей кареты, не говоря между собою ни слова; постиллионы впрягают лошадей; ветер воет, и листья уныло шумят над головой моей.

Кто видит мои слезы? Кто берет участие в моей горести? Кому изъясню чувства мои? Я один... один! – Друзья! Где взор ваш? Где рука ваша? Где ваше сердце? Кто утешит печального?

О милые узы отечества, родства и дружбы! Я вас чувствую, несмотря на отдаление, – чувствую и лобызаю с нежностью!..

Дикий, преселенный из мрачных канадских лесов в великолепный город Европы, на сцену всех блестящих искусств, видит богатство и

пышность – видит и пленяется; но через минуту очарование исчезает – хлад остается в его сердце, и он желает возвратиться в бедные шалаши лесов канадских, где грудь его согревалась питательными лучами любви и дружбы.

Товарищи мои садятся в карету – через час будем в Кале.

Кале, в час пополудни

Нас привезли в трактир почтового двора. – Я тотчас пошел к Дессеню (которого дом есть самый лучший в городе); остановился перед его воротами, украшенными белым павильоном, и смотрел направо и налево. «Что вам надобно, государь мой?» – спросил у меня молодой офицер в синем мундире. – «Комната, в которой жил Лаврентий Стерн»,^[493] – отвечал я. – «И где в первый раз ел он французский суп?» – сказал офицер. – «Соус с цыплятами», – отвечал я. – «Где хвалил он кровь Бурбонов?» – «Где жар человеколюбия покрыл лицо его нежным румянцем». – «Где самый тяжелый из металлов казался ему легче пуха?»^[494] – «Где приходил к нему отец Лорензо с кротостию святого мужа». – «И где он не дал ему ни копейки?» – «Но где хотел он заплатить двадцать фунтов стерлингов тому адвокату, который бы взялся и мог оправдать Йорика в глазах Йориковых». – «Государь мой! Эта комната во втором этаже, прямо над вами. Тут живет ныне старая англичанка с своею дочерью». —

Я взглянул на окно и увидел горшок с розами. Подле него стояла молодая женщина и держала в руках книгу – верно, «Sentimental Journey»!

«Благодарю вас, государь мой, – сказал я словоохотному французу, – но если позволите, то я спросил бы еще». – «Где тот каретный сарай, – перервал офицер, – в котором Йорик познакомился с милою сестрою графа Л*?» – «Где он помирился с отцом Лорензом и... с своею совестью». – «Где Йорик отдал ему черепаховую свою табакерку и взял на обмен роговую?» – «Но которая была ему дороже золотой и бриллиантовой». – «Этот сарай в пятидесяти шагах отсюда, через улицу, но он заперт, а ключ у господина Дессеня, который теперь... у вечерни». – Офицер засмеялся, поклонился и ушел. – «Господин Дессень в театре», – сказал мне другой человек мимоходом. «Господин Дессень на карауле, – сказал третий, – его недавно пожаловали в капралы гвардии». – «О Йорик! – думал я. – О Йорик! Как все переменялось ныне во Франции! Дессень капралом! Дессень в мундире! Дессень на карауле! Grand Dieu!»^[495] – Смерклось, и я возвратился в свой трактир.

Что вам сказать о Кале? Город невелик, но чрезвычайно многолюден, – и англичане составляют по крайней мере шестую часть жителей. Дома невысокие – в два этажа, а роскошь видна только в одних трактирах. Впрочем, все кажется мне здесь печальным и бедным. Воздух напитан сыростью и тонкою морскою солью, которая неприятным образом щекотит нервы обоняния. Ни для чего в свете не хотел бы я жить здесь долго!

За ужином ели мы прекрасную рыбу и свежих морских раков, отменно вкусных. Тут сидело человек сорок; между прочими семь или восемь англичан, которые только что переехали через канал и намерены странствовать по всей Европе. С ними был один италиянец, великий говорун и великий трус; худым английским и французским языком рассказывал он о многих опасностях, угрожавших ему и товарищам его на море. Англичане смеялись и называли его Улиссом, который пугает царя Альциноя повествованием о страшных небылицах.^[496] Между тем они беспрестанно кричали трактирщику: «Вина! Вина! Самого лучшего! Du meilleur! Du meilleur!»,^[497] и розовое шампанское лилось из урны своей не в рюмки, а в стаканы. Оно так хорошо алело в стекле, так хорошо пенилось, что и умеренный друг ваш, не спрашивая о цене, велел подать себе бутылку – du meilleur! Du meilleur! Прекрасное вино! Немец с длинным носом, сидевший подле меня, доказывал убедительным образом, что оно и цветом, и вкусом похоже на божественный нектар, который излился из рогов святой козы Амальтеи.^[498] «Мы давно слышали, – сказал один из англичан, – что немцы – ученый народ; теперь верю этому. Vraiment, Monsieur, vous êtes savant comme tous les diables!»^[499] – Германец улыбался и был сердечно доволен заслуженною похвалою.

Я пришел в свою комнату, бросился на постелю и заснул, но через несколько минут разбудил меня шум веселых англичан, которые в другой горнице кричали, топали, стучали и проч., и проч. С полчаса я терпел, наконец кликнул слугу и послал его напомнить британцам, что они не одни в трактире и что соседи их, может быть, хотят тишины и спокойствия. Сказав несколько раз «Год дем»,^[500] они замолчали. – Рука не пишет более – простите!

Кале, 10 часов утра

Узнав, что пакетбот наш не отвалит от берега прежде одиннадцати часов, я пошел бродить куда глаза глядят – очутился за городом, близ кладбища, обсаженного высокими деревьями, и вспомнил могилу отца Лоренза, где Йориковы слезы лились на мягкий дерн, – где в одной руке

держал он табакерку добродушного монаха, а другою рвал зеленую траву. – «Патер Лорензо! Друг Йорик! – думал я, облокотившись на один мшистый камень. – Где вы, не знаю; но желаю некогда быть с вами вместе!»

У ног моих синелись цветочки; я сорвал два и спрятал в записную книжку свою. Вы их увидите некогда, – если волны морские не поглотят меня вместе с ними! – Простите!

Пакетбот

Мы уже три часа на море; ветер пресильный; многие пассажиры больны. Берег французский скрылся от глаз наших – английский показывается в отдалении.

Вместе с нами сели на пакетбот молодой лорд и две англичанки, жена и сестра его; они возвращаются из Италии. Лорд важен, но учтив. – Лади и мисс любезны. С каким нетерпением приближаются они к отечеству, к родственникам и друзьям своим, после шестилетней разлуки! С какою радостью говорят о тех удовольствиях, которые ожидают их в Лондоне! – Ах! Я завидовал им от всего сердца! Они заметили мою чувствительность и для того, может быть, обошлись со мною ласковее, нежели с другими пассажирами. Через два часа лади занемогла морскою болезнью – лорд также – их отвели в каюту. Мисс осталась на палубе, но скоро и она побледнела. Ветер сорвал с нее шляпу, развевал ее русые длинные волосы. Я принес ей стакан холодной воды, но ничто не помогало! Бедная англичанка, смотря на меня умильными и томными глазами, говорила: «Je suis mal, très mal; ma poitrine se déchire – Dieu! je crois mourir!» – «Мне дурно! Очень дурно; грудь моя раздирается – я умираю!» – Наконец и ее должно было вести в каюту к прочим больным женщинам. Она подала мне свою руку, холодную, слабую и дрожащую; грудь ее видимо подымалась и опускалась; слезы катились градом по бледному лицу – я почти нес ее на руках. Какая мучительная болезнь! Видя везде страдающих, видя многие неприятные явления, которые бывают всегдашним следствием морских припадков, я сам едва было не упал в обморок; оставил свою больную, возвратился на палубу и мало-помалу отдохнул на свежем воздухе.

Подле меня сидят теперь два немца – кажется, ремесленники, которые, думая, что их никто не понимает, свободно разговаривают между собою. – «Что-то мы увидим в Англии! – сказал один. – Французы нам теперь известны; в них не много пути». – «Думаю, – отвечал другой, – что и Англия нам не очень полюбится. Где лучше нашей любезной Германии! Где лучше берегов Рейна!» – «Где лучше Веиндорфа! – сказал первый с улыбкою. – Там живет Анюта». – «Правда, – отвечал другой со вздохом, –

там живет Анюта. Недалеко оттуда живет и Лиза», – примолвил он с улыбкою. – «Ах! Недалеко!» – отвечал первый с таким же вздохом. – «Еще шесть или семь месяцев», – сказал один, взяв товарища своего за руку. – «Еще шесть или семь месяцев, – повторил другой, – и мы в Германии!» – «И мы на берегу Рейна!» – «И мы в Веиндорфе!» – «Там, где живет Анюта!» – «Там, где живет Лиза!» – «Дай бог! Дай бог!» – сказали они в один голос и крепко пожали руки один у другого.

Уже открывается Дувр и высокие башни, в которых ночью зажигают огонь для безопасности плователей. Нигде не видно зелени; везде песчаные холмы, песчаные равнины. Мы близко к берегу, но еще буря может унести нас далеко в необозримую морскую – еще опасность не миновалась – еще корабль наш может удариться о подводные граниты и погрузиться в шумящей бездне! Тогда... adieu!^[501]

Дувр

Берег! Берег! Мы в Дувре, и я в Англии – в той земле, которую в ребячестве своем любил я с таким жаром^[502] и которая по характеру жителей и степени народного просвещения есть, конечно, одно из первых государств Европы. – Здесь все другое: другие дома, другие улицы, другие люди, другая пища – одним словом, мне кажется, что я переехал в другую часть света.

Англия есть кирпичное царство; и в городе, и в деревнях все дома из кирпичей, покрыты черепицею и некрашенные. Везде видите дым земляных угольев; везде чувствуете их запах, который для меня весьма неприятен; улицы широки и отменно чисты; везде *тротуары*, или камнем выстланные дорожки для пешеходов, – инакаждом шагу – в таком маленьком городке, как Дувр, – встречается вам красавица в черной шляпке, с кроткою, нежною улыбкою, с посошком в белой руке.

Так, друзья мои! Англию можно назвать землею красоты – и путешественник, который не пленится милостивыми англичанками; который, – особливо приехав из Франции, где очень мало красавиц, – может смотреть равнодушно на их прелести, должен иметь каменное сердце. Часа два ходил я здесь по улицам единственно для того, чтобы любоваться дуврскими женщинами, и скажу всякому живописцу: «Если ты не был в Англии, то кисть твоя никогда совершенной красоты не изображала!» – Англичанок нельзя уподобить розам; нет, они почти все бледны – но сия бледность показывает сердечную чувствительность и делается новою приятностию на их лицах. Поэт назовет их лилиями, на

которых, от розовых облаков неба, мелькают алые оттенки. Кажется, будто всяким томным взором своим говорят они: «Я умею любить нежно!» – Милые, милые англичанки! – Но вы опасны для слабого сердца, опаснее нимф Калипсиных,^[503] и ваш остров есть остров волшебства, очарования. Горе бедному страннику! Равнодушно взглянет он с берега на пылающий корабль свой, и снова устремит огненные глаза на какую-нибудь Эвхарису.^[504] Ах! Какой Ментор низвергнет его в волны морские!

Между тем не думайте, чтобы друг ваш, приехав в опасную Англию, где Купидон во все стороны пускает тысячами стрелы свои, лишился всей твердости, ослабел и растаял в томных чувствах. Нет, друзья мои! я имел еще столько сил, чтобы взойти на превысокую гору и видеть там древний замок, колодезь в 360 футов глубиною и медную пушку длиною в три сажени, которая называется карманным пистолетом королевы Елисаветы.

Я сел отдыхать на вершине горы, и великолепнейший вид представился глазам моим. С одной стороны – вся Кентская провинция с городами и деревнями, рощами и полями, а с другой – бесконечное море, в которое погружалось солнце^[505] и где пестрели разноцветные флаги, где белелись парусы и миллионы пенистых валов.

Английский лорд, любезная жена и милая сестра его, вышедши на берег, с нежностью обняли друг друга. «Берег моего отечества! – сказал лорд. – Я благословляю тебя!» – Они дали мне свой лондонский адрес и поехали в наемной карете.

Когда я пришел в трактир, где мы остановились ночевать, то в первой комнате окружили меня семь или восемь человек, весьма худо одетых, которые грубым голосом требовали денег. Один говорил: «Дай мне шиллинг за то, что я подал тебе руку, когда ты сходил с пакетбота»; другой: «Дай мне шиллинг за то, что я поднял платок твой, когда ты уронил его на землю»; третий: «Дай мне два шиллинга за то, что я донес до трактира чемодан твой». Четвертый, пятый, шестой – все требовали, все объявляли права свои на мой кошелек; но я, бросив на землю два шиллинга, ушел от них. Судите, любят ли здесь деньги и дешево ли ценят англичане труд свой?

Еще другая черта. Все наши сундуки и вещи принесли с пакетбота в таможеню. «У меня нет ничего запрещенного, – сказал я осмотрщикам, – и если вы поверите моему честному слову и не будете разбивать моего чемодана, то я с благодарностью заплачу несколько шиллингов». – «Нет, государь мой! – отвечали мне, – нам должно все видеть». – Я отпер и показал им старые свои книги, бумаги, белье, фраки. «Теперь, – сказали

они, – вы должны заплатить полкроны». – «За что же? – спросил я. – Разве вы были снисходительны или нашли у меня что-нибудь запрещенное?» – «Нет, но без этого не получите своего чемодана». Я пожал плечами и заплатил три шиллинга. – И так английские таможенные приставы умеют строго исполнять свою должность и притом... наживаться!

Мне хотелось видеть английскую кухню. Какая чистота! На полу нет ни пятнышка; кастрюли, блюда, чашки – все бело, все светло, все в удивительном порядке. Каменные уголья пылают на большом очаге и розовым огнем своим прельщают зрение. Хозяйка улыбнулась очень приятно, когда я сказал ей: «Вид французской кухни нередко отнимает аппетит; вид вашей кухни производит его».

Ужин наш состоял из жареной говядины, земляных яблок, ^[506] пудинга и сыру. Я хотел спросить вина, но вспомнил, что в Англии нет виноградных садов, и спросил портеру. Бутылка самого худого шампанского или бургонского стоит здесь более четырех рублей. Простите! Теперь полночь.

Лондон

В шесть часов утра сели мы в четвероместную карету и поскакали на прекрасных лошадях по лондонской дороге, ровной и гладкой.

Какие места! какая земля! Везде богатые темно-зеленые и тучные луга, где пасутся многочисленные стада, блестящие своею перловою и серебряною волною; везде прекрасные деревеньки с кирпичными домиками, покрытыми светлою черепицею; везде видите вы маленьких красавиц (в чистых белых корсетах, с распущенными кудрями, с открытою снежною грудью), которые держат в руках корзинки и продают цветы; везде замки богатых лордов, окруженные рощами и зеркальными прудами; везде встречается вам множество карет, колясок, верховых; множество хорошо одетых людей, которые едут из Лондона и в Лондон или из деревень и сельских домиков выезжают прогуливаться на большую дорогу; везде трактиры, и у всякого трактира стоят оседланные лошади и кабриолеты – одним словом, дорога от Дувра до Лондона подобна большой улице многолюдного города.

Что, ежели бы я прямо из России приехал в Англию; не видав ни эльбских, ни рейнских, ни сенских берегов; не быв ни в Германии, ни в Швейцарии, ни во Франции? – Думаю, что картина Англии еще более поразила б мои чувства; она была бы для меня новее.

Какое многолюдство! Какая деятельность! И притом какой порядок! Все представляет вид довольства, хотя не роскоши, но изобилия. Ни один предмет от Дувра до Лондона не напомнил мне о бедности человеческой.

На каждых четырех верстах переменяли мы лошадей, но, несмотря на то, постиллионы, или кучера, coachmen, останавливаются раза три пить в трактирах – и никто не смеет им сказать ни слова!

В Кантербури, главном городе Кентской провинции, пили чай, в первый раз по-английски, то есть крепкий и густой, почти без сливок, и с маслом, намазанным на ломтики белого хлеба; в Рочестере обедали, также по-английски, то есть не ели ничего, кроме говядины и сыра. Я спросил салату, но мне подали вялую траву, облитую уксусом: англичане не любят никакой зелени. *Ростбиф, бифстек*^[507] есть их обыкновенная пища. Оттого густеет в них кровь, оттого делаются они флегматиками, меланхоликами, несносными для самих себя, и нередко самоубийцами. К сей физической причине их *сплина*^[508] можно прибавить еще две другие: вечный туман от моря и вечный дым от угольев, который облаками носится здесь над городами и деревнями.

Мы проезжали мимо одного огромного замка, построенного на высоком месте, откуда можно видеть несколько городов, множество деревень, рек, море и проч. «Как счастлив должен быть хозяин этого дому!» – сказала наша сопутница, пожилая француженка. «Нет, – отвечал молодой кентский – дворянин, ехавший с нами в карете, – блестящая наружность и прекрасные виды не делают человека благополучным. Я знаю историю хозяина; она горестна». – Англичанин рассказал нам следующее.

«Лорд О* был молод, хорош, богат, но с самого младенчества носил на лице своем печать меланхолии – и казалось, что жизнь, подобно свинцовому бременю, тяготила душу и сердце его. Двадцати пяти лет женился он на знатной и любезной девице, оставил Лондон, приехал в нашу провинцию, в этот огромный замок, построенный и украшенный отцом его, и, несмотря на все ласки, на все нежности милой супруги, предался более нежели когда-нибудь мрачной задумчивости и меланхолии. Бедная лади, живучи с ним, страдала и томилась, *semblable à ces flambeaux, à ces lugubres feux, qui brûlent près des morts sans échauffer leur cendre.*^[509] – В один бурный вечер он взял ее за руку, привел в густоту парка и сказал: „Я мучил тебя: сердце мое, мертвое для всех радостей, не чувствует цены твоей: мне должно умереть – прости!“ В самую сию минуту несчастный лорд прострелил себе голову и упал мертвый к ногам оцепеневшей жены своей. – Уже два года покоится в земле прах его. Чувствительная вдова клялась не выезжать из замка и всякий день проливает слезы на гробе супруга, который был неизъяснимым феноменом в нравственном мире». – Товарищи мои начали рассуждать о сем происшествии; я молчал.

Верст за пять увидели мы Лондон в густом тумане. Купол церкви св. Павла гигантски превышал все другие здания. Близ него – так казалось издали – подымался сквозь дым и мглу тонкий высокий столп, монумент, сооруженный в память пожара, который некогда превратил в пепел большую часть города. Через несколько минут открылось потом и Вестминстерское аббатство, древнее готическое здание, вместе с другими церквами и башнями, вместе с зелеными густыми парками, зверинцами и рощами, окружающими Лондон. – Надобно было спускаться с горы; я вышел из кареты – и, смотря на величественный город, на его окрестности и на большую дорогу, забыл все. Если бы товарищи не хватились меня, то я остался бы один на горе и пошел бы в Лондон пешком.

На правой стороне, между зеленых берегов, сверкала Темза, где возвышались бесчисленные корабельные мачты, подобно лесу, опаленному молниями. Вот первая пристань в свете, средоточие всемирной торговли!

Мы въехали в Лондон.

Лондон, июля... 1790

Париж и Лондон, два первые города в Европе, были двумя Фаросами^[510] моего путешествия, когда я сочинял план его. Наконец вижу и Лондон.

Если великолепие состоит в огромных зданиях, которые, подобно гранитным утесам, гордо возвышаются к небу, то Лондон совсем не великолепен. Проехав двадцать или тридцать лучших улиц, я не видал ни одних величественных палат, ни одного огромного дому. Но длинные, широкие, гладко вымощенные улицы, большими камнями устланные дороги для пеших, двери домов, сделанные из красного дерева, натертые воском и блестящие, как зеркало, непрерывный ряд фонарей на обеих сторонах, красивые площади (squares), где представляются вам или статуи, или другие исторические монументы; под домами – богатые лавки, где, сквозь стеклянные двери, с улицы видите множество всякого рода товаров; редкая чистота, опрятность в одежде людей самых простых и какое-то общее благоустройство во всех предметах – образуют картину неописанной приятности, и вы сто раз повторяете: «Лондон прекрасен!» Какая розница с Парижем! Там огромность и гадость, здесь простота с удивительною чистотою; там роскошь и бедность в вечной противоположности, здесь единообразие общего достатка; там палаты, из которых ползут бледные люди в раздранных рубищах, здесь из маленьких кирпичных домиков выходят здоровье и довольствие, с благородным и спокойным видом – лорд

и ремесленник, чисто одетые, почти без всякого различия; там распудренный, разряженный человек тащится в скверном фиакре, здесь поселянин скачет в хорошей карете на двух гордых конях; там грязь и мрачная теснота, здесь все сухо и гладко – везде светлый простор, несмотря на многолюдство.

Я не знал, где мне приклонить свою голову в обширном Лондоне, но ехал спокойно, весело; смотрел и ничего не думал. Обыкновенное следствие путешествия и переездов из земли в землю! Человек привыкает к неизвестности, страшной для домоседов. «Здесь есть люди: я найду себе место, найду знакомство и приятности» – вот чувство, которое делает его беззаботным гражданином вселенной!

Наконец карета наша остановилась; товарищи мои выпрыгнули и скрылись. Тут вспомнил я, что и мне надлежало идти куда-нибудь с своим чемоданом – куда же? Однажды, всходя в парижской отели своей на лестницу, поднял я карточку, на которой было написано: «Г. Ромели в Лондоне, на улице Пель-Мель, в 208 номере, имеет комнаты для иностранцев». Карточка сохранилась в моей записной книжке, и друг ваш отправился к г. Ромели. Вспомните анекдот, что один француз, умирая, велел позвать к себе *обыкновенного* духовника своего, но посланный возвратился с ответом, что духовника его уже лет двадцать нет на свете. Со мною случилось подобное. Господин Ромели скончался за пятнадцать лет до моего приезда в Лондон!.. Надлежало искать другого пристанища: мне отвели уголок в одном французском трактире. «Комната невелика, – сказал хозяин, – и занята молодым эмигрантом, но он добрый человек и согласится разделить ее с вами». Товарища моего не было дома, в горнице не нашел я ничего, кроме постели, гитары, карт и... a black pair of silk breeches.^[511] В ту же минуту явился английский парикмахер, толстый флегматик, который изрезал мне щеки тупою бритвою, намазал голову салом и напудрил мукою...

Я уже не в Париже, где кисть искусного, веселого Ролета,^[512] подобно зефиру, навела на мою голову белейший ароматный иней! На мои жалобы: «Ты меня режешь, помада твоя пахнет салом, из пудры твоей хорошо только печь сухари», – англичанин отвечал с сердцем: «I don't understand you, Sir!» – «Я вас не разумею!» И большой человек не есть ли ребенок? Безделица веселит, безделица огорчает его: толстый лондонский парикмахер грубостию своею, как облаком, затмил мою душу. Надевая на себя парижский фрак, я вздохнул о Париже и вышел из дому в

задумчивости, которая, однако ж, в минуту рассеялась видом прекраснейшей иллюминации... Едва только закатилось солнце, а все фонари на улицах были уже засвечены; их здесь тысячи, один подле другого, и куда ни взглянешь, везде перспектива огней, которые вдали кажутся вам огненною непрерывною нитью, протянутою в воздухе. Я ничего подобного не видывал и не дивлюсь ошибке одного немецкого принца, который, въехав в Лондон ночью и видя яркое освещение улиц, подумал, что город иллюминирован для его приезда. Английская нация любит свет и дает правительству миллионы, чтобы заменять естественное солнце искусственным. Разительное доказательство народного богатства! Французское министерство давало пенсии на лунный свет;^[513] гордый британец смеется, звучит в кармане гинейми и велит Питту зажигать фонари засветло.

Я люблю большие города и многолюдство, в котором человек может быть уединеннее, нежели в самом малом обществе; люблю смотреть на тысячи незнакомых лиц, которые, подобно китайским теням, мелькают передо мною, оставляя в нервах легкие, едва приметные впечатления; люблю теряться душою в разнообразии действующих на меня предметов и вдруг обращаться к самому себе – думать, что я средоточие нравственного мира, предмет всех его движений, или пылинка, которая с мириадами других атомов обращается в вихре predeterminedенных случаев. Философия моя укрепляется, так сказать, видом людской суетности; напротив того, будучи один с собою, часто ловлю свои мысли на мирских ничтожностях. Свет нравственный, подобно небесным телам, имеет две силы: одною влечет сердце наше к себе, а другою отталкивает его: первую живее чувствую в уединении, другую между людей – но не всякий обязан иметь мои чувства.

Я умствую: извините. Таково действие английского климата. Здесь родились Невтон, Локк и Гоббес!

Надобно смотреть, надобно описывать. – Ошибаюсь или нет, но мне кажется, что первый взгляд на город дает нам лучшее, живейшее об нем понятие, нежели долговременное пребывание, в котором, занимаясь частями, теряем *чувство целого*. Свежее любопытство ловит главные, отличительные знаки места и людей, то, что, собственно, называется характером и что при долгом, *повторительном* рассматривании затемняется в душе наблюдателя. Таким образом, если бы я, прожив в Лондоне года два, уехал и захотел себе представить его в картине, то мне надлежало бы оживить в памяти своей сильные впечатления нынешнего дня.

Кто скажет вам: «Шумный Лондон!», тот, будьте уверены, никогда не видал его. *Многолюден*, правда, но тих удивительным образом, не только в сравнении с Парижем, но даже и с Москвою. Кажется, будто здесь люди или со сна не разгулялись, или чрезмерно устали от деятельности и спешат отдыхать. Если бы от времени до времени стук карет не потрясал нерв вашего слуха, то вы, ходя по здешним улицам, могли бы вообразить, что у вас залегли уши. Я входил в разные кофейные дома: двадцать, тридцать человек сидят в глубоком молчании, читают газеты, пьют красное португальское вино, и хорошо, если в десять минут услышите два слова – какие же? «Your health, gentleman!» – «Ваше здоровье!» Мудрено ли, что англичане славятся глубокомыслием в философии? Они имеют время думать. Мудрено ли, что ораторы их в парламенте, заговорив, не умеют кончить? Им наскучило молчать дома и в публике.

Спокойствие моих ушей давало полную свободу глазам моим заниматься наружностью предметов, особливо лицами. Женщины и в Лондоне очень хороши, одеваются просто и мило; все без пудры, без румян, в шляпках, выдуманых грациями. Они ходят, как летают; за иною два лакея с трудом успевают бежать. Маленькие ножки, выставясь из-под кисейной юбки, едва касаются до камней *тротуара*; на белом корсете развеивается ост-индская *шаль*; и на шаль из-под шляпки падают светлые локоны. Англичанки по большей части белокуры, но самые лучшие из них темноволосые. Так мне показалось, а я, право, смотрел на них с большим вниманием! Взглядывал и на англичан, которых лица можно разделить на три рода: на угрюмые, добродушные и зверские. Клянусь вам, что нигде не случалось мне видеть столько последних, как здесь. Я уверился, что Гогард писал с натуры. Правда, что такие гнусные физиогномии встречаются только в низкой черни лондонского народа; но столь многообразны, живы и разительны, что десяти Лафатеров не достало бы для описания всех дурных качеств, ими изображаемых. Франтов видел я здесь гораздо более, нежели в Париже. Шляпа сахарною головою, густо насаленные волосы и виски до самых плеч, толстый галстук, в котором погребена вся нижняя часть лица, разинутый рот, обе руки в карманах и самая непристойная походка: вот их общие приметы! Не думаю, чтобы из тысячи подобных людей вышел один хороший член парламента. Борк, Фокс, Шеридан, Питт в молодости своей, верно, не бегали по улицам разинями.

Скажите, друзья мои, нашему П*, обожателю англичан, чтоб он тотчас заказал себе дюжину *синих* фраков: это любимый цвет их. Из пятидесяти человек, которые встретятся вам на лондонской улице, по крайней мере двадцать увидите в синих кафтанах. Таким важным замечанием могу

кончить письмо свое: остальные наблюдения поберегу для следующих. Скажу только, что я с великим трудом нашел свою *таверну*. Лондонские улицы все одна на другую похожи; надобно было спрашивать, а я дурно выговаривал имя своей и не прежде одиннадцати часов возвратился к любезному моему... чемодану.

Лондон, июля... 1790

Я не видал еще никого в Лондоне, не успел взять денег у банкира, но успел слышать в Вестминстерском аббатстве Генделеву ораторию «Мессию»,^[514] отдав за вход последнюю гинею свою. В оркестре было 900 музыкантов. Пели славная в Европе Мара, синьора Кантело, Стораче, известный певец Паккиеротти, Норрис и проч. Инструментальною музыкою управлял г. Крамер. Вообразите действие 600 инструментов и 300 голосов, наилучшим образом согласенных, – в огромной зале, при бесчисленном множестве слушателей, наблюдающих глубокое молчание! Какая величественная гармония! Какие трогательные арии! Гремящие хоры! Быстрые перемены чувств! После священного ужаса, вселяемого ариею: «Who shall stand when he appears»,^[515] вы в восторге от хора «Arise, shine, for thy light is come».^[516] Печаль, грусть обнимает сердце, когда Мара поет о Христе: «He was a man of sorrows, and acquainted with grief».^[517] Так называемые семи-хоры^[518] вопросами и ответами производят удивительное действие. Один: «Who is the king of glory?» Другой: «The Lord, emphasis and mighty». – «Who is the king of glory?» – «The Lord of Hosts».^[519] После чего семи-хор повторяется всем хором. Я плакал от восхищения, когда Мара пела арию: «I know that my Redeemer lives» и дуэт с Паккиеротти: «O Death, where is thy sting? O grave, where is thy victory?».^[520] Я слышал музыку Перголезиеву, Иомеллиеву, Гайденову, но не бывал ничем столько растроган, как Генделевым «Мессиею». И печально и радостно, и великолепно и чувствительно! —

Оратория разделяется на три части; после каждой музыканты отдохали, а слушатели, пользуясь тем временем, завтракали. Я был в ложе с одним купеческим семейством. Меня посадили на лучшем месте и кормили пирогами, но нимало не думали занимать разговором. Лишь только король с фамилиею вошел в ложу свою, один из моих товарищей ударил меня по плечу и сказал: «Вот наш добрый Джордж^[521] с добрыми детьми своими! Я нарочно наклонюсь, чтобы вы могли лучше видеть их». Это мне очень понравилось, и понравилось бы еще более, если бы он не так сильно ударил меня по плечу. – Вот другой случай: к нам вошла женщина с

афишами и втерла мне в руки листочек, для того чтобы взять с меня 6 пенсов. Старший из фамилии выдернул его у меня с сердцем и бросил женщине, говоря: «Ему не надобно; ты хочешь отнять у него деньги: это стыдно. Он иностранец и не умеет отговориться». – «Хорошо, – подумал я, – но для чего ты, господин британец, вырвал листок с такою грубостью? Для чего задел меня им по носу?»

Между тем я с приятным любопытством рассматривал королевскую фамилию. У всех добродушные лица, и более немецкие, нежели английские. Вид у короля самый здоровый; никаких следов прежней его болезни в нем не заметно. Дочери похожи на мать: совсем не красавицы, но довольно миловидны. Принц Валлисский хороший мужчина; только слишком толст.

Тут видел я всю лучшую лондонскую публику. Но всех более занимал меня молодой человек в сереньком фраке, видом весьма обыкновенный, но умом своим редкий; человек, который в летах цветущей молодости живет единственно честолюбием, имея целию пользу своего отечества; родителя славного сын достойный, уважаемый всеми истинными патриотами – одним словом, Вильгельм Питт! У него самое английское, покойное и даже немного флегматическое лицо, на котором, однако ж, изображается благородная важность и глубокомыслие. Он с великим вниманием слушал музыку – говорил с теми, которые сидели подле него, – но более казался задумчивым. В наружности его нет ничего особенного, приятного. – Слышав Генделя и увидев Питта, не жалею своей гинеи.

Эта оратория дается каждый год, в память сочинителю и в знак признательности английского народа к великим его талантам. Гендель жил и умер в Лондоне.

Из Вестминстерского аббатства прошел я в славный Сент-Джемский парк – несколько изрядных липовых аллей, обширный луг, где ходят коровы, и более ничего!

Лондон, июля... 1790

С помощью моих любезных земляков нашел я в Оксфордской улице, близ Cavendish Square, прекрасные три комнаты за полгинею в неделю; они составляют весь второй этаж дома, в котором живут две сестры хозяйки, служанка Дженни, ваш друг – и более никого. «Один мужчина с тремя женщинами! Как страшно или весело!» Нимало. Хозяйки мои украшены нравственными добродетелями и седыми волосами, а служанка успела уже рассказать мне тайную историю своего сердца: немец ремесленник пленился ею и скоро будет счастливым ее супругом. В восемь часов утра

приносит она мне чай с сухарями и разговаривает со мною о Фильдинговых и Ричардсоновых романах. Вкус у нее странный: например, Ловелас кажется ей несравненно любезнее Грандисона. Обожая Клементину, Дженни смеется над девицею Байрон,^[522] а Клариссу называет умною дуροю.^[523] Таковы лондонские служанки!

В каждом городе самая примечательная вещь есть для меня... самый город. Я уже исходил Лондон вдоль и поперек. Он ужасно длинен, но в иных местах очень узок; в окружности же составляет верст пятьдесят. Распространяясь беспрестанно, он скоро поглотит все окрестные деревни, которые исчезнут в нем, как реки в океане. *Вестминстер* и *Сити* составляют две главные части его: в первом живут по большей части свободные и достаточные люди, а в последнем купцы, работники, матрозы: тут река с великолепными своими мостами, тут биржа, улицы теснее, и везде множество народу. Тут не видите уже той приятной чистоты, которая на каждом шагу пленяет глаза в Вестминстере. Темза, величественная и прекрасная, совсем не служит к украшению города, не имея хорошей набережной (как, например, Нева в Петербурге или Рона в Лионе) и будучи с обеих сторон застроена скверными домами, где укрываются самые бедные жители Лондона. Только в одном месте сделана на берегу терраса (называемая *Адельфи*), и, к несчастью, в таком, где совсем не видно реки под множеством лодок, нагруженных земляными угольями. Но и в этой неопрятной части города находите везде богатые лавки и магазины, наполненные всякого рода товарами, индейскими и американскими сокровищами, которых запасено тут на несколько лет для всей Европы. Такая роскошь не возмущает, а радуется сердце, представляя вам разительный образ человеческой смелости, нравственного сближения народов и общественного просвещения! Пусть гордый богач, окруженный произведениями всех земель, думает, что услаждение его чувств есть главный предмет торговли! Она, питая бесчисленное множество людей, питает деятельность в мире, переносит из одной части его в другую полезные изобретения ума человеческого, новые идеи, новые средства утешаться жизнью. —

Нет другого города столь приятного для пешеходцев, как Лондон: везде подле домов сделаны для них широкие *тротуары*, которые по-русски можно назвать *намодами*; их всякое утро моют служанки (каждая перед своим домом), так что и в грязь, и в пыль у вас ноги чисты. Одно только не нравится мне в этом *намоде*, а именно то, что беспрестанно видишь у ног отверстия, которые ночью закрываются, а днем не всегда; и если вы хотя

мало задумаетесь, то можете попасть в них, как в западню. Всякое отверстие служит окном для кухни или для какой-нибудь таверны, или тут ссыпают земляные уголья, или тут маленькая лестница для схода вниз. Надобно знать, что все лондонские дома строятся с подземельною частию, в которой бывает обыкновенно кухня, погреб и еще какие-нибудь, очень несветлые горницы для слуг, служанок, бедных людей. В Париже нищета взбирается под облака, на чердак; а здесь опускается в землю. Можно сказать, что в Париже носят бедных на головах, а здесь топчут ногами.

Дома лондонские все малы, узки, кирпичные, небеленые (для того, чтобы вечная копоть от угольев была на них менее приметна) и представляют скучное, печальное единообразие; но внутренность мила: все просто, чисто и похоже на сельское. Крыльцо и комнаты устланы прекрасными коврами; везде светлое красное дерево; нигде не увидишь пылинки; нет больших зал, но все уютно и покойно. Всех приходящих к хозяину или к хозяйке вводят в горницу нижнего этажа, которая называется parlour;^[524] одни родные или друзья могут войти во внутренние комнаты. – Ворота здесь нет: из домов на улицу делаются большие двери, которые всегда бывают заперты. Кто придет, должен стучаться медною скобою в медный замок: слуга – один раз, гость – два, хозяин – три раза. Для карет и лошадей есть особливые конюшенные дворы; при домах же бывают самые маленькие дворики, устланные дерном; иногда и садик, но редко, потому что места в городе чрезмерно дороги. Их по большей части отдают здесь на выстройку: возьми место, построй дом, живи в нем 15 или 20 лет и после отдай все тому, чья земля.

Что, если бы Лондон при таких широких улицах, при таком множестве красивых лавок, был выстроен как Париж? Воображение не могло бы представить ничего великолепнее. —

Не скоро привыкнешь к здешнему образу жизни, к здешним поздним обедам, которые можно почти назвать ужинами. Вообразите, что за стол садятся в семь часов! Хорошо тому, кто спит до одиннадцати, но каково мне, привыкшему вставать в восемь? Брожу по улицам, люблюсь, как на вечной ярманке, разложенными в лавках товарами, смотрю на смешные карикатуры, выставляемые на дверях в *эстампных кабинетах*,^[525] и дивлюсь охоте англичан. Как француз на всякий случай напишет песенку, так англичанин на все выдумает карикатуру. Например, теперь лондонский кабинет ссорится с мадритским за Нутка-Соунд.^[526] Что ж представляет карикатура? Министры обоих дворов стоят по горло в воде и дерутся в кулачки; у гишпанского кровь бьет уже фонтаном из носу. – Захожу

завтракать в пирожные лавки, где прекрасная ветчина, свежее масло, славные пироги и конфеты, где все так чисто, так прибрано, что любо взглянуть. Правда, что такие завтраки недешевы, и меньше двух рублей не заплатишь, если аппетит хорош. Обедаю иногда в кофейных домах, где за кусок говядины, пудинга и сыру берут также рубли два. Зато велика учтивость: слуга отворяет вам дверь, и милостивая хозяйка спрашивает ласково, что прикажете? – Но всего чаще обедаю у нашего посла, г. С. Р. В.*, [\[52\]](#) человека умного, достойного, приветливого, который живет совершенно по-английски, любит англичан и любим ими. Всегда нахожу у него человек пять или шесть, по большей части иностранных министров. Обхождение графа приятно и ласково без всякой излишней короткости. Он истинный патриот, знает хорошо русскую историю, литературу и читал мне наизусть лучшие места из од Ломоносова. Такой посол не уронит своего двора; за то Питт и Гренвиль очень уважают его. Я заметил, что здешние министерские конференции бывают без всяких чинов. В назначенный час министр к министру идет пешком, в фраке. Хозяин, как сказывают, принимает в сертуке; подают чай – высылают слугу – и, сидя на диване, решают важное политическое дело. Здесь нужен ум, а не пышность. Наш граф носит всегда синий фрак и маленький кошелек, который отличает его от всех лондонских жителей, потому что здесь никто кошельков не носит. На лето нанимает он прекрасный сельский дом в Ричмонде (верстах в 10 от Лондона), где я также у него был и ночевал.

Вчерашний день пригласил меня обедать богатый англичанин Бакстер, консул, в загородный дом свой, близ Гайдпарка. В ожидании шести часов я гулял в парке и видел множество англичанок верхом. Как они скачут! Приятно смотреть на их смелость и ловкость; за каждую берейтор. День был хорош, но вдруг пошел дождь. Все мои амазонки спешили и под тению древних дубов искали убежища. Я осмелился с одною из них заговорить по-французски. Она осмотрела меня с головы до ног; сказала два раза oui, [\[527\]](#) два раза non [\[528\]](#) – и более ничего. Все хорошо воспитанные англичане знают французский язык, но не хотят говорить им, иятеперь крайне жалею, что так худо знаю английский. Какая розница с нами! У нас всякий, кто умеет только сказать: «Comment vous portez-vous?», [\[529\]](#) без всякой нужды коверкает французский язык, чтобы с русским не говорить по-русски, а в нашем так называемом *хорошем обществе* без французского языка будешь глух и нем. Не стыдно ли? Как не иметь народного самолюбия? Зачем быть попугаями и обезьянами вместе? [\[530\]](#) Наш язык и для разговоров, право, не хуже других; надобно только,

чтобы наши умные светские люди, особенно же красавицы, искали в нем выражений для своих мыслей. Всего же смешнее для меня наши *остроумцы*, которые хотят быть французскими авторами. Бедные! Они счастливы тем, что француз скажет об них: «Pour un étranger, Monsieur, n'écrit pas mal!»^[531]

Извините, друзья мои, что я так разгорячился и забыл, что меня Бакстер ждет к обеду – совершенно английскому, кроме французского супа. Ростбиф, *потаты*,^[532] пудинги и рюмка за рюмкой кларету, мадеры!^[533] Мужчины пьют, женщины говорят между собою потихоньку и скоро оставляют нас одних, снимают скатерть, кладут на стол какие-то пестрые салфетки и ставят множество бутылок; снова пить – *тосты*, здоровья! Всякой предлагает свое; я сказал: «Вечный мир и цветущая торговля!» Англичане мои сильно хлопнули рукою по столу и выпили до дна. В девять часов мы встали, все розовые; пошли к дамам пить чай, и наконец всякий отправился домой. Это, говорят, весело! По крайней мере не мне. Не для того ли пьют англичане, что у них вино дорого? Они любят хвастаться своим богатством. Или холодная кровь их имеет нужду в разгорячении?

Лондон, июля... 1790

Нынешний день провел я, как Говард, – осматривал темницы – хвалил попечительность английского правления, сожалел о людях и гнушался людьми.

Лучше, если бы совсем не было нужды в тюрьмах, но когда бедный человек все еще проказит и безумствует, то английские должно назвать благодеянием человечества, и французская поговорка: «Il n'y a point de belles prisons»^[534] – здесь отчасти несправедлива.

Я хотел видеть прежде лондонское судилище, Justice-Hall, где каждые 6 недель собираются так называемые *присяжные*, Jury, и судьи для решения уголовных дел. Здесь, друзья мои, отдайте пальму английским законодателям, которые умели жестокое правосудие смягчить человеколюбием, не забыли ничего для спасения невинности и не боялись излишних предосторожностей. Расскажу вам порядок следствий.

Так называемый *мирный судья* есть в Англии первый разбиратель всех доносов; он призывает к себе обвиняемого, дает очную ставку и возвращает ему свободу, если донос оказывается неосновательным; в противном же случае обязывает его явиться в суд или, когда преступление важно, отправляет в темницу. Потом другой судья, именуемый шерифом, избирает от 12 до 24 присяжных (всякого состояния людей, известных по

своему доброму поведению), которые снова должны рассмотреть обстоятельства доноса, и если 12 из них не признают доказательств вероятными, то обвиняемый выпускается; а если признают, то начинается формальное дело – таким образом:

В день решительного заседания преступник является в суде, выслушивает на себя донос и на вопрос: «Как хочет быть судим?» отвечает: «По совести и закону моего отечества». Шериф избирает тогда других присяжных ровно 12, и судимый имеет право уничтожить их выбор, доказывая, что они почему-нибудь могут быть пристрастны; и даже без всяких причин может отвергнуть по закону 20 человек. Когда же присяжные выбраны, тогда, дав клятву быть верными совести, садятся на свои кресла и вместе с судьями выслушивают дело в присутствии многочисленных зрителей. Доносчик обвиняет, судимый оправдывается, сам или через своего адвоката; представляют свидетелей – и, наконец, по разобрании всех обстоятельств, один из судей снова предлагает их в ясном сокращении. Присяжные идут в другую комнату, запираются и судят единственно по гласу совести; закон не велит им ни пить, ни есть, пока они на что-нибудь единодушно не согласятся. Вышедши оттуда, говорят только одно слово: «Виноват» или «Не виноват», и дело решено без всякой апелляции. Если скажут: «Виноват», то судьи прибирают только закон на вину, держась его точного смысла и не входя ни в какие произвольные изъяснения, так что в Англии не будет наказано и самое важное преступление, если закон именно не определяет его. Следственно, здесь нет человека, от которого зависела бы жизнь другого! Не только осудить, но даже и судить нельзя никого без согласия 12 знаменитых граждан. Зато англичане и хвалятся своими уголовными законами более, нежели чем-нибудь, называя установление присяжных священным и божественным. Рассказывают много удивительных случаев, в которых темное чувство истины спасало невинных вопреки всем вероятностям. Например, недавно один ремесленник был судим в убийстве, разные улики обвиняли его; 11 присяжных согласились произнести решительное слово: «Виноват!», двенадцатый не хотел. Товарищи требовали от него причин. «Не знаю, – отвечал он, – но вид этого человека говорит моему сердцу в его пользу; и я скорее умру с голода, нежели обвиню». Прошел целый день в споре; и наконец присяжные, изнуренные усталостию, решились оправдать судимого. Через несколько дней нашелся другой убийца: ремесленник был невинен.

Из городского судилища сделан подземельный ход в Невгат, ту славную темницу, которой имя прежде всего узнал я из английских

романов.^[535] Здание большое и красивое снаружи. На дворе со всех сторон окружили нас заключенные, по большей части важные преступники, и требовали подаяния. Зная опытом, что и на лондонских улицах беспрестанно должно смотреть на часы и держать в руке кошелек, я тотчас схватился за свои карманы среди изобличенных воров и разбойников, но тюремщик, поняв мое движение, сказал с видом негодования: «Государь мой! Рассыпьте вокруг себя гиней; их здесь не тронут: таков заведенный мною порядок». – «Для чего же не сделают вас лондонским полицеймейстером?» – спросил я и в доказательство, что верю ему, спрятал обе руки в жилет, бросив колодникам несколько шиллингов. – Мы переходили из коридора в коридор: везде чистота, везде свежий воздух, заражаемый только ядовитым дыханием преступников. Тюремщик, вводя нас в разные комнаты, говорил: «Здесь сидит *господин* убийца, здесь – *господин* вор, здесь – *госпожа* фальшивая монетчица!» Не можете вообразить, какие гнусные лица представлялись глазам моим! Порок и злодейство страшно безобразят людей! Признаюсь, что я, сжав сердце, ходил за надзирателем и несколько раз спрашивал: «Всё ли?» Но он хвастался перед нами обширностью своего владения и множеством ему подвластных. В одной комнате заключен молодой человек. Дверь отворилась: он сидел на стуле и писал; приподнял голову и с ласковым видом нам поклонился. Приятное и томное лицо его казалось чуждым злодеянию. Тем более я содрогнулся, когда тюремщик сказал нам, что он хотел умертвить госпожу свою и – любовницу. Она не считала за преступление изменить молодому камердинеру своему, а камердинер, в минуту исступления, выхватил кинжал и ранил ее в руку. Желая знать решение присяжных.

В Невгате заключаются не только преступники, но и бедные должники: они разделены с первыми одною стеною. Такое соседство ужасно! И добрый человек может разориться: каково же дышать одним воздухом с злодеями и видеть перед своими окнами казнь их?^[536] С некоторого времени правительство посылает осужденных в Ботанибейскую колонию, отчего Невгат называют ее преддверием; но не чудно ли вам покажется, что некоторые лучше хотят быть с *честью повешены* в Англии, нежели плыть так далеко? «Мы любим свое отечество, – говорят они, – инетерпим дурного общества».

Я читал в Архенгольце описание Кингс-Бенча,^[537] или темницы для неплатящих должников, – описание, которое может прельстить воображение читателей. Он говорит о приятном местоположении, о садах,

о залах, великолепно украшенных, о балах, концертах и весельях всякого рода. Одним словом, сей известный англоман описывает тюрьму едва ли не такими живыми красками, какими Тасс изобразил волшебное жилище Армиды. Сказать вам правду, я не нашел сходства в оригинале Кингс-Бенча с портретом живописца Архенгольца. Вообразите большое место, обнесенное высокою стеною; несколько маленьких домиков, бедно прибранных, множество людей, неопрятно одетых, из которых одни ходят в задумчивости по маленькой площади, другие играют в карты или, читая газеты, зевают, – вот Кингс-Бенч! Я не видал ничего похожего на сад; но то правда, что есть лавки, в которых покупают и продают заключенные; есть и кофейные дома, которых содержатели сами за долги содержатся в Кингс-Бенче, – это довольно странно! Портные, сапожники и самые нимфы Венерины, там сидящие, отправляют свое ремесло. Но между ними нет ни одной замужней женщины. По английским законам в рассуждении долгов всегда муж за жену отвечает; она дает на себя обязательства, а он, бедняк, или платит, или идет в тюрьму. Последнее спасение для девицы или вдовы, которая не может удовлетворить своих заимодавцев, – есть в Англии замужество.

После Кингс-Бенча хотел я видеть заключенных другого рода – пришел к огромному замку, к большим воротам – и глаза мои при входе остановились на двух статуях, которые весьма живо представляют *безумие печальное и свирепое...* «Это Бедлам!» – скажете вы и не ошибетесь. Надлежало сыскать надзирателя, который из учтивости сам пошел с нами. Предлинные галереи разделены железною решеткою: на одной стороне – женщины, на другой – мужчины. В коридоре окружили нас первые, рассматривали с великим вниманием, начинали говорить между собою сперва тихо, потом громче и громче и наконец так закричали, что надобно было зажать уши. Одна брала меня за руку, другая за пучок, третья хотела сдуть пудру с головы моей – и не было конца их ласкам. Между тем некоторые сидели в глубокой задумчивости. «Это сумасшедшие от любви, – сказал надзиратель, – они всегда смирны и молчаливы». Итак, нежнейшая страсть человеческого сердца и в самой безумии занимает еще *всю душу! Сон для внешних предметов* все еще продолжается!.. Я подошел к одной молодой бледной женщине и смотрел на нее. Нам рассказали ее историю. Она француженка, ушла от своих родителей с любовником, молодым англичанином, приехала в Лондон и скоро лишилась своего друга: он умер горячкою. Разум ее после жестокой болезни повредился. Я начинал говорить с нею; она кланялась и не отвечала ни слова. Другая женщина, лет в сорок, сидела на полу и смотрела в землю: несчастная думает, что она

приговорена к смерти и будет сожжена на костре; ничто не может ее разуверить – и когда день пройдет, она говорит: «Завтра, завтра сожгут меня!» Какое ужасное состояние! – Многие из мужчин заставили нас смеяться. Иной воображает себя пушкой и беспрестанно палит ртом своим; другой ревет медведем и ходит на четвереньках. Бешеные сидят особливо; иные прикованы к стене. Один из них беспрестанно смеется и зовет к себе людей, говоря: «Я счастлив! Подите ко мне; я вдохну в вас блаженство!» Но кто подойдет, того укусит. – Порядок в доме, чистота, услуга и присмотр за несчастными достойны удивления. Между комнатами сделаны бани, теплые и холодные, которыми медики лечат их. Многие выздоравливают, и при выпуске каждый получает безденежно нужные лекарства для укрепления души и тела. – Надзиратель провел нас в сад, где гуляли самые смирные из безумных. Один читал газеты; я заглянул в них и сказал: «Это старые». Безумный улыбнулся очень умно, приподнял свою шляпу и вежливым тоном отвечал мне: «Государь мой! Мы живем в другом свете; что у вас старо, то у нас еще ново!»

В Бедламе кончил жизнь свою английский трагик Ли. Может быть, вы не знаете об нем следующего забавного анекдота. Один приятель посетил его в доме сумасшедших.

Ли чрезвычайно ему обрадовался, говорил очень умно и привел его на высокую террасу; задумался и сказал: «Мой друг! Хочешь ли быть вместе со мною бессмертным? Бросимся с этой террасы: там внизу, на острых камнях, ожидает нас славная смерть!» – Приятель увидел опасность, но отвечал ему равнодушно: «Ничего не мудрено броситься сверху; гораздо славнее сойти вниз и оттуда вспрыгнуть на террасу». – «Правда, правда!» – закричал стихотворец и побежал с лестницы, а приятель между тем убрался домой. —

Бедламу обязан я некоторыми мыслями и предлагаю их на ваше рассмотрение. Не правда ли, друзья мои, что в наше время гораздо более сумасшедших, нежели когда-нибудь? Отчего же? от сильнейшего действия страстей, как мне кажется. Не говорю о физических причинах безумия, действующих гораздо реже нравственных. Например, когда бывало столько самоубийств от любви, как ныне? Мужчина стреляется, а нежная, кроткая женщина сходит с ума. Древние не знали романов, рыцари средних веков были честны в любви, но шумная и воинственная жизнь их не давала ей чрезмерно усилиться в сердце. Напротив того, в нашем образе жизни, покойной, роскошной, утонченной, – в свете, где желание нравиться есть первое и последнее чувство молодых и старых; на театре, который можно назвать *театром любви*; в книгах, усеянных, так сказать, ее цветами, – все,

все наполняет душу горючим веществом для огня любовного. Девушка двенадцати лет, побывав несколько раз в спектакле, начинает уже задумываться; женщина в сорок пять лет все еще томится нежностью: та и другая любит *воображением*; одна угадывает, другая воспоминает – но я, право, не удивлюсь теперь, если покажут мне десяти– или шестидесятилетнюю Сафу! Мужчины тоже; и пусть скажут нам, в какое другое время бывало столько молодых и старых селадонов и альцибиадов, сколько их видим ныне? – Возьмем в пример и славолубие: утверждаю, что оно в нынешний век еще сильнее действует, нежели прежде. Я люблю верить всем великим делам древних героев; положим, что Кодры и Деции давали убивать себя^[538] и что Курции бросались в пропасть,^[539] но фанатизм религии, конечно, более славлюбия участвовал в их героизме.^[540] Тогда же войны были *народные*; всякий дрался за *свои* Афины, за *свой* Рим. Ныне совсем другое: ныне француз или гишпанец служит волонтером в русской армии единственно из чести; дерется храбро и умирает: вот славолубие!

Душа, слишком чувствительная к удовольствиям страстей, чувствует сильно и неприятности их: рай и ад для нее в соседстве; за восторгом следует или отчаяние, или меланхолия, которая столь часто отворяет дверь... в дом сумасшедших.

Лондон, июля... 1790

Здесь терпим всякий образ веры, и есть ли в Европе хотя одна христианская секта, которой бы в Англии не было? Пуритане или кальвинисты, методисты или набожные, просвитериане, социане, унитане, квакеры, гернгуторы; одним словом, чего хочешь, того просишь. Все же те, которые не принадлежат к главной, или епископской, церкви, называются диссентерами.^[541] Мне хочется видеть служение каждой секты – и нынешний день началось мое пилигримство с квакеров. В двенадцать часов я пришел к ним в церковь: голые стены, лавки и кафедра. Все одеты просто; женщины не только без румян и пудры, но даже и ленточки ни на одной не увидите; мужчины в темных кафтанах без пуговиц и складок. Всякий войдет с постным лицом, ни на кого не взглянет, никому не поклонится, сядет на место и углубится в размышление. Вы знаете, что у них нет ни священников, ни учителей и в церкви проповедуют единственно те, которые вдруг почувствуют в себе действие святого духа. Тогда вдохновенный стремится на кафедру, говорит от полноты сердца, а другие слушают с благоговением. Я крайне любопытствовал видеть такое явление

и смотрел на все лица, чтобы схватить, так сказать, первые черты вдохновения. Проходит час, другой: царствует глубокое молчание, которое изредка прерывается... кашлем. Все физиогномии покойны; никто не кривляется; многие засыпают – и друг ваш с ними. Просыпаюсь – смотрю на часы – три – а все еще никто не говорит. Дожидаюсь, снова зеваю, снова засыпаю – наконец вижу пять часов, лишаюсь терпения и уйду ни с чем! – Господа квакеры! Вперед вы меня не заманите!

БИРЖА И КОРОЛЕВСКОЕ ОБЩЕСТВО

Англичанин царствует в парламенте и на бирже; в первом дает он законы самому себе, а на второй – целому торговому миру.

Лондонская биржа есть огромное четвероугольное здание с высокою башнею (на которой вместо флюгера видите изображение сверчка^[542]), с колоннадами, портиками и с величественными аркадами над входом. Вошедши во внутренность, прежде всего встречаете глазами статую Карла II, на высоком мраморном подножии, и читаете в надписи самую грубую лесть и ложь: «Отцу отечества, лучшему из королей, утехе рода человеческого», и проч. Кругом везде амуры, не без смысла тут поставленные: известно, что Карл II любил любить.^[543] Стоя на этом месте, куда ни взглянете, видите галерею, где под аркадами собираются купцы, всякий день в одиннадцать часов, и, ходя взад и вперед, делают свои дела до трех. Тут человек человеку даром не скажет слова, даром не пожмет руки. Когда говорят, то идет торг; когда схватятся руками, то дело решено, и кораблю плыть в Новый Йорк или за мыс Доброй Надежды. Людей множество, но тихо; кругом жужжат, а не слышно громкого слова. На стенах прибиты известия о кораблях, пришедших или отходящих; можете плыть, куда только вздумаете: в Малабар, в Китай, в Нутка-Соунд, в Архангельск. Капитан всегда на бирже; уговоритесь – и бог с вами! – Тут славный Лойдов кофейный дом, где собираются лондонские страховщики и куда стекаются новости из всех земель и частей света; тут лежит большая книга, в которую они вписываются для любопытных и которая служит магазином для здешних журналистов. – Подле биржи множество кофейных домов, где купцы завтракают и едят. Господин С* ввел меня в один из них – представьте же себе мое удивление: все люди заговорили со мною порусски! Мне казалось, что я движением какого-нибудь волшебного прутика перенесен в мое отечество. Открылось, что в этом доме

собираются купцы, торгующие с Россиею; все они живали в Петербурге, знают язык наш и по-своему приласкали меня.

Нынешний же день был я в Королевском обществе. Господин Пар*, [544] член его, ввел меня в это славное ученое собрание. С нами пришел еще молодой шведский барон Сил*, [545] человек умный и приятный. Входя в залу собрания, он взял меня за руку и сказал с улыбкою: «Здесь мы друзья, государь мой; [546] храм наук есть храм мира». Я засмеялся, и мы обнялись по-братски, а г. Пар* закричал: «Браво! Браво!» Между тем англичане, которые никогда не обнимаются, смотрели на нас с удивлением: им странно казалось, что два человека пришли в ученое собрание целоваться!.. Профаны! Вы не разумели нашей мистики; вы не знали, что мы подали хороший пример воюющим державам и что по тайной симпатии действий они скоро ему последуют!

В большой зале увидели мы большой стол, покрытый книгами и бумагами; за столом, на бархатных креслах, сидел президент г. Банке, в шляпе; перед ним лежал золотой скипетр, в знак того, что просвещенный ум есть царь земли. Секретари читали переписку, по большей части с французскими учеными. Господин Банке всякий раз снимал шляпу и говорил: «Изъявим такому-то господину благодарность нашу за его подарок!» – Он сказывал свое мнение о книгах, но с великою скромностию. – Читали еще другие бумаги, из которых я не разумел половины. Через два часа собрание кончилось, и г. Пар* подвел меня к президенту, который дурно произносит, но хорошо говорит по-французски. Он человек тихий и для англичанина довольно приветливый.

Лондон, июля... 1790

Хотя Лондон не имеет столько примечания достойных вещей, как Париж, однако ж есть что видеть, и всякий день употребляю несколько часов на осматривание зданий, общественных заведений, кабинетов; например, нынешний день видел у г. Толе (Towley) редкое собрание антиков. Египетские статуи, древние барельефы, между которыми живет хозяин, как скупец между сундуками.

Англия, богатая философами и всякого роду авторами, но бедная художниками, произвела наконец несколько хороших живописцев, которых лучшие исторические картины собраны в так называемой *Шекспировой галерее*. Господин Бойдель вздумал, а художники и публика оказали всю возможную патриотическую ревность для произведения в действо счастливой идеи изобразить лучшие сцены из драм бессмертного поэта как

для славы его, так и для славы английского искусства. Охотники сыпали деньгами для ободрения талантов, и более двадцати живописцев неугомонно трудятся над обогащением галереи, в которой был я несколько раз с великим удовольствием. Зная твердо Шекспира, почти не имею нужды справляться с описанием и, смотря на картины, угадываю содержание. Всего более нравится мне работа Фисли, старинного Лафатерова друга;^[547] он выбирает из Шекспира самое фантастическое или *мечтательное* и с удивительною силою, с удивительным богатством воображения дает «вещественность воздушным его творениям, дает им имя и место», а *local habitation and a name*, как сказал один англичанин. Если бы воскрес мечтатель-поэт, как бы обнял он мечтателя-живописца! Картины Гамильтоновы, Ангелики Кауфман, Вестовы также очень хороши и выразительны. – Тут же видел я рисунки всех картин Орфордова собрания,^[548] купленного нашею императрицею.

Здесьняя церковь св. Павла почти столько же славна, как римская св. Петра, есть, конечно, вторая в свете по наружному своему великолепию; вы видали рисунки той и другой: есть сходство, но много и различия. Избавляю себя и вас от подробностей; не хочу говорить о *стиле*, о бесчисленных колоннах, фронтонах, статуях апостолов, королевы Анны, Великобритании с копьем, Франции с короною, Ирландии с арфою, Америки с луком; и даже не скажу ни слова о величественном куполе. Все это превозносится и знатоками, и невеждами. Я заметил для себя одну прекрасную аллегорю: на фронтоне портика изображен феникс, вылетающий из пламени, с латинскою надписью: «Воскресаю!», что имеет отношение к возобновлению этой церкви, разрушенной пожаром. Окружающий ее балюстрад считается первым в свете. Жаль, что она сжата со всех сторон зданиями и не имеет большой площади, на которой огромность ее показалась бы несравненно разительнее! Жаль также, что лондонский вечный дым не пощадил великолепного храма и закоптил его снизу до самого золотого шара, служащего ему короною! Вошедши во внутренность, я спешил, по совету моего вожатого, на середину церкви и, остановясь под самым куполом, долго смотрел вверх и вокруг себя. Вы думаете, что друг ваш, пораженный величием храма, был в восхищении! Нет; мысль, которая вдруг пришла мне в голову, все испортила: «Что значат все наши своды перед сводом неба? Сколько надобно ума и трудов для произведения столь неважного действия? Не есть ли искусство самая бесстыдная обезьяна природы, когда оно хочет спорить с нею в величии!»

Между тем чичероне мой говорил: «Смотрите на эту гордую аркаду, на щиты, на фестоны, на все украшения; смотрите на живопись купола, на славные органы, на колонны галереи и согласитесь, что вы не видали ничего подобного!» – В так называемом хоре сделан трон для лондонского епископа и место для лондонского лорда-мэра... Вдруг началось в церкви пение столь приятное, что я забыл смотреть, слушал и пленялся во глубине души моей. Прекрасные мальчики, в белом платье, пели хором: они казались мне ангелами! Что может быть прелестнее гармонии человеческих голосов? Это непосредственный орган божественной души! Декарт, который всех животных, кроме человека, хотел признавать машинами, не мог слушать соловьев без досады: ему казалось, что нежная филомела,^[549] трогая душу, опровергает его систему, а система, как известно, всего дороже философу! Каково же материалисту слушать пение человеческое? Ему надобно быть глухим или чрезмерно упрямым. – Служение кончилось, и вожатый предложил мне идти в верхние галереи вместе с французским маркизом и женою его. Маркиз задохнулся и сел на первой галерее, но француженка всходила бодро и хотела быть на самом верху. Начались трудные ступени, темные, узкие переходы; маркиза не отставала и кричала мне: «Далее! Montez toujours!» Я был на Стразбургской башне, на Альпийских горах, но устал до смерти, и если бы не постыдился женщины, то отказался бы от славы быть на высочайшем пункте Лондона. Мы взобрались едва не под самый крест; наконец... *nes plus ultra!*^[550] остановились и забыли свою усталость. Прекрасный вид! весь город, все окрестности перед глазами! Лондон кажется грудой блестящей черепицы; бесчисленные мачты на Темзе – частым камышом на маленьком ручейке: рощи и парки – густою крапивою. Мы пробыли с час, и француженка имела время показать мне свое остроумие, философию и наблюдательный дух. «В Англии, – говорит она, – надобно только *смотреть*; *слушать* нечего. Англичане прекрасны видом, но скучны до крайности; женщины здесь миловидны, и только: их дело разливать чай и нянчить детей. Парламентские ораторы кажутся мне индейскими петухами, Шекспировы трагедии – игрищами и похоронами; здешние актеры умеют только падать. Все это несносно. Не правда ли?» Я боялся противоречием еще более взволновать кровь ее, которая и без того была в страстном движении; подал ей руку в знак согласия, и мы пошли вниз, дружелюбно разделяя опасности и говоря без умолку. – «*Craignez de faire un faux pas, madame*». – «*Ah! Les femmes en font si souvent!*» – «*C'est que les chûtes des femmes sont quelquefois très aimables*». – «*Oui, parce que les hommes en profitent*». – «*Elles s'en*

relèvent avec grace». – «Mais non pas sans en ressentir la douleur le reste de leur jours». – «La douleur d'une belle femme est une grâce de plus». – «Et tout cela n'est que pour servir sa majesty l'homme». – «Ce Roi est souvent détrôné, Md.» – «Comme notre bon et pauvre Louis XVI.^[551] N'est ce pas?» – «A peu près, Md.»^[552]

Между тем мы сошли в нижнюю галерею, где маркиз сообщил нам свои примечания на живопись купола и где мы забавлялись странною игрою звуков. Станьте в одном месте галереи и скажите что-нибудь очень тихо: стоящие вдали, напротив вас, слышат ясно каждое слово.^[553] Звук чудным образом умножается в окружности свода, и скрип двери кажется вам сильным ударом грома. Оттуда прошли мы в библиотеку, где примечания достойна модель храма, которою архитектор св. Павла, Христофор Рен (Wren), весьма радовался, но которая для того не была произведена в действо, что походит на языческие храмы. Художник досадовал, спорил и наконец согласился сделать другой план. – На месте св. Павла было некогда славное капище Дианы; во втором веке оно превратилось в христианскую церковь, которая через 400 лет была снова украшена и посвящена апостолу Павлу; пять раз горела и не прежде как в 1711 году явилась в теперешнем своем виде. Она стоила 12 миллионов рублей.

Лондонская крепость, Tower, построена на Темзе в одиннадцатом веке Вильгельмом Завоевателем, была прежде дворцом английских королей, их убежищем в народных возмущениях, наконец, государственною темницею; а теперь в ней монетный двор, арсенал, царская кладовая и – звери!

Я недавно читал Юма, и память моя тотчас представила мне ряд несчастных принцев, которые в этой крепости были заключены и убиты. Английская история богата злодействами; можно смело сказать, что по числу жителей в Англии более, нежели во всех других землях, погибло людей от внутренних мятежей. Здесь католики умерщвляли реформаторов, реформаторы – католиков, роялисты – республиканцев, республиканцы – роялистов; здесь была не одна французская революция. Сколько добродетельных патриотов, министров, любимцев королевских положило свою голову на эшафоте! Какое остервенение в сердцах! Какое исступление умов! Книга выпадает из рук. Кто полюбит англичан, читая их историю? Какие парламенты! Римский сенат во время Калигулы был не хуже их. Прочитав жизнь Кромвеля, вижу, что он возвышением своим обязан был не великой душе, а коварству своему и фанатизму тогдашнего времени. Речи,

говоренные им в парламенте, наполнены удивительным безумием. Он нарочно путается в словах, чтобы не сказать ничего: какая ничтожная хитрость! Великий человек не прибегает к таким малым средствам: он говорит дело или молчит. Сколь бессмысленно все говоренное и писанное Кромвелем, столь умны и глубокомысленны сочинения секретаря его Мильтона, который по восшествии на престол Карла II спасся от эшафота своею поэмою, ^[554] славою и всеобщим уважением.

Дворец Вильгельма Завоевателя еще цел и называется *белою башнею*, white tower, – здание безобразное и варварское! Другие короли к нему пристраивали, окружив его стенами и рвами.

Прежде всего показали нам в крепости диких зверей (забаву королев английских со времен Генриха I), а потом большую залу, где хранятся трофеи первого победоносного флота Англии, разбившего славную гишпанскую армаду. Я с великим любопытством рассматривал флаги и всякого рода оружие, думал о Филиппе, о Елисавете, воображал смиренную гордость первого и скромное величие последней, – воображал ту минуту, когда герцог Сидония упал на колени перед своим монархом, говоря: «Флот твой погиб!», и когда Филипп, с милостию простирая к нему руку, отвечал: «Да будет воля божия!» – Я воображал всеобщую ревность лондонских граждан и солдат Елисаветиных, когда она, в виде любви и красоты, как богиня, явилась между ими, говоря: «Друзья! Не оставьте меня и отечество!», и когда все они единодушно отвечали: «Умрем за тебя и спасем отечество!..» Заметьте, что не только гишпанская армада, но почти все огромные вооружения древних и новых времен оканчивались стыдом и ничтожностью. Бог слабым помогает! Там горсть греков торжествует над бесчисленными персами; тут голландские рыбаки или швейцарские пастухи истребляют лучшие армии; здесь Венеция или прусский Фридрих противится всей Европе и заключает славный мир.

Оттуда пошли мы в большой арсенал... Прекрасный и грозный вид! Стены, колонны, пиластры – все составлено из оружия, которое ослепляет глаза своим блеском. Одно слово – и 100 000 человек будут здесь вооружены в несколько минут. – Внизу под малым арсеналом, в длинной галерее, стоит *королевская артиллерия* между столбами, на которых висят знамена, в разные времена отнятые англичанами у неприятелей. Тут же видите вы изображение знаменитейших английских королей и героев; каждый сидит на лошади, в *своих* латах и с мечом *своим*. Я долго смотрел на храброго *Черного Принца*. ^[555]

В царской кладовой показывали нам венец Эдуарда Исповедника,

осыпанный множеством драгоценных камней, золотую державу с фиолетовым аметистом, которому цены не полагают, скипетр, так называемые *мечи милосердия, духовного и временного правосудия*, носимые перед английскими королями в обряде коронации, – серебряные купели для царской фамилии и пребогатый *государственный венец*, надеваемый королем для присутствия в парламенте и украшенный большим изумрудом, рубином и жемчугом.

Тут же показывают и топор, которым отрубили голову Анне Грей!

Наконец ввели нас в монетную, где делают золотые и серебряные деньги; но это английская *Тайная*, и вам говорят: «Сюда не ходите, сюда не глядите; туда вас не пустят!» – Мы видели кучу гиней, но г. надзиратель не постыдился взять с нас несколько шиллингов!

Сент-Джемский дворец есть, может быть, самый беднейший в Европе. Смотри на него, пышный человек не захочет быть английским монархом. Внутри также нет ничего царского. Тут король обыкновенно показывается чужестранным министрам и публике, а живет в королевском дворце, Buckinghamhouse, ^[556] где комнаты убраны со вкусом, отчасти работою самой королевы, и где всего любопытнее славные Рафаэлевые картины или рисунки; их всего двенадцать: семь – у королевы английской, два – у короля французского, два – у сардинского, а двенадцатый – у одного англичанина, который, заняв для покупки сего драгоценного рисунка большую сумму денег, отдал его в заклад и получил назад испорченный. На них изображены разные чудеса из Нового завета; фигуры все в человеческий рост. Художники считают их образцом правильности и смелости. – Я видел торжественное собрание во дворце; однако ж не входил в парадную залу, будучи в простом фраке.

Уаит-гал (White-Hall) был прежде дворцом английских королей – сгорел, и теперь существуют только его остатки, между которыми достойна примечания большая зала, расписанная вверху Рубенсом. В сем здании показывают закладенное окно, из которого несчастный Карл сведен был на эшафот. Там, где он лишился жизни, стоит мраморное изображение Иакова II; подняв руку, он указывает пальцем на место казни отца его. ^[557]

Адмиралтейство есть также одно из лучших зданий в Лондоне. Тут заседают пять главных морских комиссаров; они рассылают приказы к начальникам портов и к адмиралам; все выборы флотских чиновников от них зависят.

Палаты лорда-мэра и банк стоят примечательного взгляда; самый огромный дом в Лондоне есть так называемый *Соммерсет-гаус* на Темзе, который еще не достроен и похож на целый город. Тут соединены все городские приказы, комиссии, бюро; тут живут казначеи, секретари и проч. Архитектура очень хороша и величественна. – Еще заметны дома Бетфордов, Честерфильдов, Девонширского герцога, принца Валлисского (который дает, впрочем, дурную идею о вкусе хозяина или архитектора); другие все малы и ничтожны.

Описания свои заключаю я примечанием на счет английского любопытства. Что ни пойдете вы здесь осматривать, церковь ли св. Павла, Шекспирову ли галерею или дом какой, везде находите множество людей, особливо женщин. Не мудрено: в Лондоне обедают поздно, и кто не имеет дела, тому надобно выдумывать, чем занять себя до шести часов.

Виндзор

Земляки мои непременно хотели видеть славную скачку близ Виндзора, где резвая лошадь приносит хозяину иногда более ост-индского корабля. Я рад с другими всюду ехать, и в девять часов утра поскакали мы четверо в карете по виндзорской дороге; беспрестанно кричали нашему кучеру: «Скорее! Скорее!»—и в несколько минут очутились на первой станции. – «Лошадей!» – «А где их взять? Все в разгоне». – «Вздор! Это разве не лошади?» – «Они приготовлены для других; для вас нет ни одной». – Мы шумели, но без пользы и наконец решились идти пешком, несмотря на жар и пыль. – Какое превращение! Какой удар для нашей гордости! Те, мимо которых, как птицы, пролетели мы на борзых английских конях, объезжали нас один за другим, смотрели с презрением на бедных пешеходцев и смеялись. «Несносные, грубые британцы! – думал я. – Обсыпайте нас пылью; но зачем смеяться?» – Иные кричали даже: «Добрый путь, господа! Видно, по обещанию!»^[558] – Но русских не так легко унижить: мы сами начали смеяться, скинули с себя кафтаны, шли бодро и пели даже французские арии, отобедали в сельском трактире и в пять часов, своротив немного с большой дороги, вступили в Виндзорский парк...

Thy forests, Windsor, and thy green retreats,
At once the Monarch's and the Muse's seats.

Pope^[559]

Мы сняли шляпы... веря поэту, что это священный лес. «Здесь, – говорит он, – являются боги во всем своем великолепии; здесь Пан окружен бесчисленными стадами, Помона рассыпает плоды свои, Флора цветит луга и дары Цереры волнуются, как необозримое море...» Описание стихотворца пышно, но справедливо. Мрачные леса, прекрасные лесочки, поля, луга, бесконечные аллеи, зеркальные каналы, реки и речки – все есть в Виндзорском парке! – Как мы веселились, отдыхали и снова утомлялись, то сидя под густою сению, где пели над нами всякого рода лесные птицы, то бегая с оленями, которых тут множество! – Стихотворец у меня в мыслях и в руках. Я ищу берегов унылой Лодоны, где, по его словам, часто купалась Цинтия – Диана...

Из юных нимф ее дочь Тамеса, Лодона, [\[560\]](#)
Была славнее всех; и взор Эндимиона
Лишь потому ее с Дианой различал,
Что месяц золотой богиню украшал.
Но смертных и богов пленяя, не пленялась:
Одна свобода ей с невинностью мила,
И ловля птиц, зверей – утехой была.
Одежда легкая на нимфе развевалась,
Зефир играл в ее струистых волосах,
Резной колчан звенел с стрелами на плечах,
И меткое копье [\[561\]](#) за серною свистало.
Однажды Пан ее увидел, полюбил,
И сердце у него желаньем воспылало.
Она бежит... В любви предмет бегущий мил,
И нимфа робкая стыдливостью своею
Для дерзкого еще прелестнее была...
Как горлица летит от хищного орла,
Как яростный орел стремится вслед за нею,
Так нимфа от него, так он за нимфой вслед —
И ближе, ближе к ней... Она изнемогает,
Слаба, бледна... В глазах ее темнеет свет.
Уже тень Панова Лодону настигает,
И нимфа слышит стук ног бога за собой,
Дыхание его, как ветер, развевает
Ей волосы... Тогда, оставлена Судьбой,
В отчаяньи своем несчастная, к богине
Душою обратясь, так мыслила: «Спаси,

О Цинтия! меня; в дубравы пренеси,
На родину мою! Ах! Пусть я там отныне
Стенаю горестно и слезы лью ручьем!»
Исполнилось... И вдруг, как будто бы слезами
Излив тоску свою, она течет струями,
Стеная жалобно в журчании своем.
Поток сей и теперь Лодоной называем,
Чист, хладен, как она; тот лес им орошаем,
Где нимфа некогда гуляла и жила.
Диана моется в его воде кристальной,
И память нимфина доньне ей мила:
Когда вообразит ее конец печальный,
Струи сливаются с богининой слезой.
Пастух, задумавшись, журчанью их внимает,
Сидя под тению, в них часто созерцает
Лучу у ног своих и горы вниз главою,
Плывущий ряд деревьев, над берегом висящих
И воду светлую собою зелеными.
Среди прекрасных мест излучистым путем
Лодона тихая едва-едва струится.
Но вдруг, быстрее став в течении своем,
Спешит с отцом ее навек соединиться. [\[562\]](#)

Извините, если перевод хуже оригинала. Слушая томное журчание Лодоны, я вздумал рассказать ее историю в русских стихах.

Мне хотелось бы многое перевести вам из «Windsor-Forest»; [\[563\]](#) например, счастье сельского жителя, любителя наук и любимца муз; описание бога Тамеса, который, подняв свою влажную главу, опершись на урну и озираясь вокруг себя, славословит мир и предсказывает величие Англии. Но солнце заходит, а нам должно еще видеть славную скачку. Мы спешим, спешим...

Теперь вы, друзья мои, ожидаете от меня другой картины, хотите видеть, как тридцать, сорок человек, одетых зефирами, садятся на прекрасных, живописных лошадей, приподнимаются на стременах, удерживают дыхание и с сильным биением сердца ждут знака, чтобы скакать, лететь к цели, опередить других, схватить знамя и упасть на землю без памяти; хотите лететь взором за скакунами, из которых всякий кажется Пегасом; хотите в то же время угадывать по глазам зрителей, кто кому

желает победы, чья душа за какую лошадью несется; хотите читать в них надежду, страх, опять надежду, восторг или отчаяние; хотите слышать радостные плески в честь победителя: «Браво! Виват! Ура!..» Ошибаетесь, друзья мои! Мы опоздали, ничего не видали, посмеялись над собою и пошли осматривать большой Виндзорский дворец. Он стоит на высоком месте; всход нечувствителен, а вид прекрасен. На одной стороне равнина, где извиляется величественная Темза, опушенная лесочками, а на другой – большая гора, покрытая густым лесом. Перед дворцом, на террасе, гуляли принцессы, дочери королевские, в простых белых платьях, в соломенных шляпках, с тросточками, как сельские пастушки. Они резвились, бегали и кричали друг другу: «Ma Soeur, ma soeur!»^[564] Глаза мои искали Елисаветы: воображение мое, по некоторым газетным анекдотам, издавна любило заниматься ею. Она не красавица, но скромный вид ее нравится.

Дворец построен еще Вильгельмом Завоевателем, распространен и украшен другими королями. Он славится более своим прекрасным местоположением, нежели наружным и внутренним великолепием. Я заметил несколько хороших картин: Микель-Анджеловых, Пуссеневых, Корреджиевых и портретов Вандиковых. Из спальни вход в *Залу красоты*, где стоят портреты прелестнейших женщин во время Карла II. Хотите ли знать имена их? *Mistriss Knoff, Lawson, Lady Sunderland, Rochester, Denham, Middleton, Byron, Richmond, Clevelant, Sommerset, Northumberland, Grammont, Ossory.*^[565] Если живописцы не льстили, то они были подлинно красавицы, даже и в Англии, где так много приятных женских лиц... Некоторые плафоны в комнатах очень хороши; также и резная работа. Я долго смотрел на портрет нашего Великого Петра, написанный во время его пребывания в Лондоне живописцем Неллером. Император был тогда еще молод: это Марс в Преображенском мундире!^[566] – Зала св. Георгия, или Кавалеров Подвязки, стоит того, чтобы сказать об ней несколько слов; она велика и прекрасна своею архитектурой. В большом овале, среди плафона, представлен Карл II в орденской одежде, а за ним, в виде женщин, три Соединенные королевства. Изобилие и Религия держат над ним корону. Тут же изображено Монархическое правление, которое опирается на Религию и Вечность. Правосудие, Сила, Умеренность и Благоразумие гонят Мятеж и Бунт. Подле трона, в осьмиугольнике, под крестом св. Георгия, окруженным подвязкою и купидонами, вырезана надпись: «Nonni soit qui mal u pense!»^[567] Одним словом, как в Версальском дворце все дышит Лудовиком XIV, так в Виндзорском все напоминает Карла II, о котором английские патриоты не любят вспоминать.

Виндзорский парк

Сидя под тению дубов Виндзорского парка, слушая пение лесных птичек, шум Темзы и ветвей, провел я несколько часов в каком-то сладостном забвении – не спал, но видел сны, восхитительные и печальные.

Темные, лестные, милые надежды сердца! Исполнитесь ли вы когда-нибудь? Живость ваша есть ли залог исполнения? Или, со всеми правами быть счастливым, узнаю счастье только воображением, увижу его только мельком, вдали, подобно блистанию молний, и при конце жизни скажу: «Я не жил!»

Мне грустно; но как сладостна эта грусть! Ах! Молодость есть прелестная эпоха бытия нашего! Сердце, в полноте жизни, творит для себя будущее, какое ему мило; все кажется возможным, все близким. Любовь и слава, два идола чувствительных душ, стоят за флером перед нами и поднимают руку, чтобы осыпать нас дарами своими. Сердце бьется в восхитительном ожидании, теряется в желаниях, в выборе счастья и наслаждается возможным еще более, нежели действительным.

Но цвет юности на лице увядает, опытность сушит сердце, уверяя его в трудности счастливых успехов, которые прежде казались ему столь легкими! Мы узнаем, что воображение украшало все приятности жизни, сокрывая от нас недостатки ее. Молодость прошла, любовь, как солнце, скатилась с горизонта – что ж осталось в сердце? Несколько милых и горестных воспоминаний – нежная тоска – чувство, подобное тому, которое имеем по разлуке с бесценным другом, без надежды увидеться с ним в здешнем свете. – А слава?.. Говорят, что она есть последнее утешение любовью растерзанного сердца, но слава, подобно розе любви, имеет свое терние, свои обманы и муки. Многие ли бывали ею счастливы? Первый звук ее возбуждает гидру зависти и злословия, которые будут шипеть за вами до гробовой доски и на самую могилу вашу излиют еще яд свой. —

Жизнь наша делится на две эпохи: первую проводим в будущем, а вторую в прошедшем. До некоторых лет, в гордости надежд своих, человек смотрит все вперед с мыслию: «Там, там ожидает меня судьба, достойная моего сердца!» Потери мало огорчают его, будущее кажется ему несметною казною, приготовленною для его удовольствий. Но когда горячка юности пройдет, когда сто раз оскорбленное самолюбие поневоле научится смирению, когда, сто раз обманутые надеждою, наконец перестаем ей верить, тогда, с досадою оставляя будущее, обращаем глаза на прошедшее и хотим некоторыми приятными воспоминаниями заменить потерянное

счастье лестных ожиданий, говоря себе в утешение: «*И мы, и мы были в Аркадии!*» Тогда, тогда единственно научаемся дорожить и настоящим, тогда же бываем до крайности чувствительны и к самомалейшей трате, тогда прекрасный день, веселая прогулка, занимательная книга, искренний дружеский разговор, даже ласки верной собачки (которая не оставила нас вместе с неверными любовницами!) извлекают из глаз наших слезы благодарности, но тогда же и смерть любимой птички делает нам превеликое горе.

Где сливаются сии две эпохи? Ни глаз не видит, ни сердце не чувствует. Однажды в Швейцарии вышел я гулять на восходе солнца. Люди, которые мне встречались, говорили: «*Доброе утро, господин!*» Что со мною было далее, не помню, но вдруг вывело меня из задумчивости приветствие: «*Добрый вечер!*» Я взглянул на небо: солнце садилось. Это поразило меня. Так бывает с нами и в жизни! Сперва говорят о человеке: «*Как он молод!*» и вдруг скажут о нем: «*Как он стар!*»

Таким образом мыслил я в Виндзорском парке, разбирая свои чувства и угадывая те, которые *со временем будут моими!*

Лондон, июля... 1790

Трое русских, М*, Д* и я, ^[568] в одиннадцать часов утра сошли с берега Темзы, сели на ботик и поплыли в Гринич. День прекрасный – мы спокойны и веселы – плывем под величественными арками мостов, мимо бесчисленных кораблей, стоящих на обеих сторонах в несколько рядов: одни с распущенными флагами приходят и втираются в тесную линию; другие с поднятыми парусами готовы лететь на край мира. Мы смотрим, любуемся, рассуждаем – и хвалим прекрасную выдумку денег, которые столько чудес производят в свете и столько выгод доставляют в жизни. Кусок золота – нет, еще лучше: клочок бумажки, присланный из Москвы в Лондон, как волшебный талисман, дает мне власть над людьми и вещами: захочу – имею, скажу – сделано. Все, кажется, ожидает моих повелений. Вздумал ехать в Гринич – стукнул в руке беленькими кружками, – гордые англичане исполняют мою волю, пенят веслами Темзу и доставляют мне удовольствие видеть разнообразные картины человеческого трудолюбия и природы. – Разговор наш еще не кончился, а ботик у берега.

Первый предмет, который явился глазам нашим, был самый предмет нашего путешествия и любопытства: Гриничская гошпиталь, где признательная Англия осыпает цветами старость своих мореходцев, орудие величества и силы ее. Немногие цари живут так великолепно, как английские престарелые матрозы. Огромное здание состоит из двух замков,

спереди разделенных красивою площадью и назади соединяемых колоннадами и губернаторским домом, за которым начинается большой парк. Седые старцы, опершись на балюстрад террасы, видят корабли, на всех парусах летящие по Темзе: что может быть для них приятнее? Сколько воспоминаний для каждого! Так и они в свое время рассекали волны, с Ансоном, с Куком! – С другой стороны, плывущие на кораблях матрозы смотрят на Гринич и думают: «Там готово пристанище для нашей старости! Отечество благодарно; оно призрит и успокоит нас, когда мы в его служении истощим силы свои!»

Все внутренние украшения дома имеют отношение к мореплаванию: у дверей глобусы, в куполе залы компас; здесь Эвр летит с востока и гонит с неба звезду утреннюю; тут Австер, окруженный тучами и молниями, льет воду; Зефир бросает цветы на землю; Борей, размахивая драконовыми крыльями, сыплет снег и град. Там английский корабль, украшенный трофеями, и главнейшие реки Британии, отягченные сокровищами; там изображения славнейших астрономов, которые своими открытиями способствовали успехам навигации. – Имена патриотов, давших деньги Вильгельму III на заведение гошпитали, вырезаны на стене золотыми буквами. Тут же представлен и сей любезный англичанам король, попирающий ногами самовластие и тиранство. Между многими другими, по большей части аллегорическими, картинами читаете надписи: «Anglorum spes magna – salus publica – securitas publica». [\[569\]](#)

Каждый из нас должен был заплатить около рубля за свое любопытство; не больно давать деньги в пользу такого славного заведения. У всякого матроза, служащего на королевских и купеческих кораблях, вычитают из жалованья 6 пенсов в месяц на содержание гошпитали; зато всякий матроз может быть там принят, если докажет, что он не в состоянии продолжать службы, или был ранен в сражении, или способствовал отнять у неприятеля корабль. Теперь их 2000 в Гриниче, и каждый получает в неделю 7 белых хлебов, 3 фунта говядины, 2 фунта баранины, 1 ½ фунта сыру, столько же масла, гороху и шиллинг на табак.

Я напомним вам слово, сказанное в Лондоне Петром Великим Вильгельму III и достойное нашего монарха. Король спросил, что ему более всего полюбилось в Англии? Петр I отвечал: «То, что гошпиталь заслуженных матрозов похожа здесь на дворец, а дворец вашего величества похож на гошпиталь». – В Англии много хорошего, а всего лучше общественные заведения, которые доказывают благодетельную мудрость правления. *Salus publica* есть подлинно девиз его. Англичане должны любить свое отечество.

Гринич сам по себе есть красивый городок; там родилась Елисавета. – Мы отобедали в кофейном доме, погуляли в парке, сели в лодку, поплыли, в десять часов вечера вышли на берег и очутились в каком-то волшебном месте!..

Вообразите бесконечные аллеи, целые леса, ярко освещенные огнями; галереи, колоннады, павильоны, альковы, украшенные живописью и бюстами великих людей; среди густой зелени триумфальные пылающие арки, под которыми гремит оркестр; везде множество людей, везде столы для пиршества, убранные цветами и зеленью. Ослепленные глаза мои ищут мрака, я вхожу в узкую крытую аллею, и мне говорят: «Вот *гульбище друидов*». ^[570] Иду далее: вижу, при свете луны и отдаленных огней, пустыню и рассеянные холмики, представляющие римский стан; тут растут кипарисы и кедры. На одном пригорке сидит Мильтон – мраморный – и слушает музыку; далее – обелиск, китайский сад; наконец нет уже дороги... Возвращаюсь к оркестру.

Если вы догадливы, то узнали, что я описываю вам славный английский Воксал, которому напрасно хотят подражать в других землях. Вот прекрасное вечернее гульбище, достойное умного и богатого народа!

Оркестр играет по большей части любимые народные песни, поют актеры и актрисы лондонских театров, а слушатели, в знак удовольствия, часто бросают им деньги.

Вдруг зазвонили в колокольчик, и все бросились к одному месту; я побежал вместе с другими, не зная, куда и зачем. Вдруг поднялся занавес, и мы увидели написанное огненными словами: «Take care of your pockets!» – «Берегите карманы!» (потому что лондонские воры, которых довольно бывает и в Воксале, пользуются этой минутой). В то же время открылась прозрачная картина, представляющая сельскую сцену. «Хорошо! – думал я. – Но не стоит того, чтобы бежать без памяти и давить людей».

Лондонский Воксал соединяет все состояния: тут бывают и знатные люди и лакеи, и лучшие дамы и публичные женщины. Одни кажутся актерами, другие – зрителями. – Я обходил все галереи и осмотрел все картины, написанные по большей части из Шекспировых драм или из новейшей английской истории. Большая ротонда, где в ненастное время бывает музыка, убрана сверху до полу зеркалами; куда ни взглянешь, видишь себя в десяти живых портретах.

Часу в двенадцатом начались ужины в павильонах, и в лесочке заиграли на рогах. Я отроду не видывал такого множества людей, сидящих за столами, – что имеет вид какого-то великолепного праздника. Мы сами выбрали себе павильон, велели подать цыпленка, анчоусов, сыру, масла,

бутылку кларету и заплатили рублей шесть.

Воксал в двух милях от Лондона и летом бывает отворен всякий вечер; за вход платится копеек сорок. – Я на рассвете возвратился домой, будучи весьма доволен целым днем.

ВЫБОР В ПАРЛАМЕНТ^[571]

Через каждые семь лет парламент возобновляется. Ныне, по моему счастью, надлежало быть выборам; я видел их.

Вестминстер избирает двух членов. Министры желали лорда Гуда, а противники их – Фокса; более не было кандидатов. Накануне избрания угощались безденежно в двух тавернах те вестминстерские жители, которые имеют голос: в одной потчевали министры, авдругой – приятели Фоксовы. Я хотел видеть этот праздник: вошел в таверну и должен был выпить стакан вина за Фоксово здоровье. На сей раз англичане довольно шумели... «Fox for ever!» – «Да здравствует Фок;! Наш добрый, умный Фокс, лисица именем,^[572] лев сердцем, патриот, друг вестминстерского народа!» – Тут были всякого роду люди: и лорды и ремесленники. Кто имеет свой уголок в Вестминстере, тот имеет и голос.

На другой день рано поутру отправился я с земляками своими на Ковенгарденскую площадь, уже наполненную народом, так что мы с трудом нашли себе место подле галереи, которая на это время делается из досок и в которой избиратели записывают свои голоса. Самих кандидатов еще не было, но друзья их работали, говорили речи, махали шляпами и кричали: «Hood for ever! Fox for ever!»^[573] Тут люди в голубых лентах^[574] дружески пожимали руку у сапожников. – Вдруг явился человек лет пятидесяти, неопрятно одетый, видом неважный, снял шляпу и показал, что хочет говорить. Все умолкло. «Сограждане! – сказал он, понюхав несколько раз табаку, которым засыпан был весь длинный камзол его. – Сограждане! Истинная английская свобода у нас давно уже не в моде, но я человек старинный и люблю отечество постаринному. Вам говорят, что нынешний день есть торжество гражданских прав ваших, но пользуетесь ли вы ими, когда вам предлагают из двух кандидатов выбрать двух членов? Они уже выбраны! Министры с противниками согласились, и над вами шутят. – (Тут он еще несколько раз понюхал табаку, а народ говорил: „Это правда, над нами шутят“.) – Сограждане! Для поддержания ваших прав, драгоценных моему сердцу, я сам себя предлагаю в кандидаты. Знаю, что меня не

выберут; но по крайней мере вы будете выбирать. Я – Горн Тук: вы обо мне слышали и знаете, что министерство меня не жалует». – «Браво! – закричали многие. – Мы подадим за тебя голоса!» В ту же минуту подошел к нему седой старик на клюках, и все вокруг меня произнесли имя его: «Вилькес! Вилькес!» Вам, друзья мои, известна история этого человека, который несколько лет играл знаменитую роль в Англии, был страшным врагом министерства, самого парламента, идолом народа; думал только о личных своих выгодах и хотел быть ужасным единственно для того, чтобы получить доходное место; получил его, обогатился и сошел с шумного театра. Он сказал Горну: «Мой друг! Этою дрожащею рукою напишу я имя твое в книге и умру спокойнее, если ты будешь членом парламента». Горн обнял его с холодным видом и начал нюхать табак.

Горн Тук был во время американской войны проповедником в Брендсфорде, писал в газетах против двора, сидел за то в тюрьме, не унялся и поныне еще ставит себе за честь быть врагом министров. Он говорит сильно, пишет еще сильнее, и многие считают его автором славных «Юниевых писем».^[575]

Раздался голос: «Дайте место кандидатам!» Мы увидели процессию... Напереди знамена, с изображением Гудова и Фоксова имени и с надписью: «За отечество, народ, конституцию». За ними шли друзья кандидатов с разноцветными кокардами на шляпах; за ними – сами кандидаты: Фокс, толстый, маленький, черноволосый, с густыми бровями, с румяным лицом, человек лет в сорок пять в синем фраке, – и Гуд, высокий, худой, лет пятидесяти, в адмиральском зеленом мундире. Они стали на доски, устланные коврами, и каждый говорил народу приветствие. Начался выбор. Избиратели входили в галерею и записывали голоса свои, что продолжалось несколько часов. Между тем мальчик лет тринадцати взлез на галерею и кричал над головою кандидатов: «Здравствуй, Фокс! Провались сквозь землю, Гуд!», а через минуту: «Здравствуй, Гуд! Провались сквозь землю, Фокс!» Никто не унимал шалуна, а кандидаты даже и не взглянули на него.

Наконец объявили имена новых членов: Гуда и Фокса. За Горна Тука было только двести голосов, но он вместе с избранными говорил благодарную речь народу и сказал: «Я никак не думал, чтобы в Вестминстере нашлось двести патриотов; теперь вижу и радуюсь такому числу». – Тут Фокса посадили на кресла, украшенные лаврами, и в триумфе понесли домой; знамена развевались над его головою, музыка гремела, и тысячи голосов восклицали: «Fox for ever! Виват! Ура!» Фокс уже в пятый раз избирается от Вестминстера; итак, не мудрено, что он

сидел на торжественных креслах очень покойно и свободно, то улыбался, то хмурил густые черные брови свои. – И Гуда хотели нести, но он просил увольнения, и один из друзей его сказал: «Адмирал наш любит триумфы только на море!» —

Теперь, друзья мои, опишу вам другого роду происшествие. Сюда недавно приехал курьером из П*[576] господин NN, человек немолодой, который, не жалея толстого брюха своего, скачет из земли в землю, чтобы остальными от прогонов червонцами кормить жену и детей своих. Итак, вы не осудите его, что он скуп и, приехав в Лондон, не хотел сшить себе фрака, а ходил по улицам в коротеньком синем мундире, в длинном красном камзоле и в черном бархатном картузе; но здешний народ – не вы: мальчики бегали за ним и кричали: «Смотрите, какая чучела!» Мы приступили к нему, чтобы он оделся по-людски, и наконец убедили. Господин NN сделал себе модный фрак, купил прекрасную шляпу и дал нам слово обновить их в день выборов. Мы зашли к нему, чтобы идти вместе на площадь, и ахнули от удивления: он надел сверх кафтана синюю толстую епанчу, а на шляпу – какой-то футляр из клеенки, боясь дождя! Мы сорвали с него то и другое, уверили, что небо чисто, – и пошли. Несчастный! Солнце долго сияло, но часу в пятом, когда уже мы возвращались домой, небо затуманилось, ударил дождь, и наш NN бросился под зонтик пирожной лавки, ругая нас немилосердно. Мы остановились, и через минуту были окружены множеством людей. Вдруг видим, что приятель наш с кем-то разговаривает очень весело, смеется, рассказывает – и вдруг, оцепенев, бледнеет от ужаса... Что такое?.. У него украли из кармана деньги, которые он беспрестанно держал рукою, но, заговорившись с незнакомцем, оратор наш хотел сделать какойто выразительный жест, вынул из кармана руку и через две секунды не нашел уже в нем кошелька. Подивитесь искусству здешних воров! Мы советовали бедному NN не брать денег; он не послушался.

Нигде так явно не терпимы воров, как в Лондоне; здесь имеют они свои клубы, свои таверны и разделяются на разные классы: на пехоту и конницу (footpad, highwayman), на домовых и карманных (housebreaker, pickpocket). Англичане боятся строгой полиции и лучше хотят быть обкрадены, нежели видеть везде караулы, пикеты и жить в городе, как в лагере. Зато они берут предосторожность: не возят и не носят с собою много денег и редко ходят по ночам, особливо же за городом. Мы, русские, вздумали однажды в одиннадцать часов ночи ехать в Воксал. Что же? Выезжая из города, увидели, что у нас за каретою сидят человек пять с ужасными рожами; мы остановились, согнали их, но, следуя совету благоразумия, воротились

назад. Негодяи могли бы в поле догнать нас и ограбить. В другой раз я и Д* испугали самих воров. Мы гуляли пешком близ Ричмонда, запоздали, сбились с дороги и очутились в пустом месте, на берегу Темзы, в бурную ночь, часу в первом; идем и видим под деревом сидящих двух человек. Добрым людям мудро было в такое время сидеть в поле и на дожде. Что же делать? Спасти дерзостью, *parer d'audace*, как говорят французы, – смелым бог владеет – прямо к ним, скорым шагом! Они вскочили и дали нам дорогу. – В Англии никогда не возьмут в тюрьму человека по вероятности, что он вор; надобно поймать его на деле и представить свидетелей; иначе вам же беда, если приведете его без неоспоримых законных доказательств.

ТЕАТР

Летом бывает здесь только один Гемеркетский театр, на котором, однако ж, играют все лучшие ковенгарденские и друриленские актеры.^[577] Зрителей всегда множество: ивложах, и в партере; народ бывает в галереях. В первый раз видел я Шекспирова «Гамлета»^[578] – и лучше, если бы не видал! Актеры говорят, а не играют; одеты дурно, декорации бедные. Гамлет был в черном французском кафтане, с толстым пучком и в голубой ленте; королева – в робронде, а король – в гишпанской епанче. Лакеи в ливрее приносят на сцену декорацию, одну ставят, другую берут на плеча, тащат – и это делается во время представления! Какая розница с парижскими театрами! Я сердился на актеров не за себя, а за Шекспира и дивился зрителям, которые сидели покойно и с великим вниманием слушали; изредка даже хлопали. Угадайте, какая сцена живее всех действовала на публику?

Та, где копают могилу для Офелии и где работники, играя словами, говорят, что первый дворянин был Адам, *the first that ever bore arms*,^[579] и тому подобное. Одна Офелия занимала меня: прекрасная актриса,^[580] прекрасно одетая и трогательная в сценах безумия; она напомнила мне Дюгазон в «Нине»; и поет очень приятно. – Я видел еще оперу «Инкле и Ярико» (которую играли не очень хорошо, но гораздо лучше «Гамлета») и еще три комедии, или *буфонады*, в которых зрители очень смеялись. – Говорят, что у англичан есть Мельпомена: г-жа Сиддонс, редкая трагическая актриса, но ее теперь нет в Лондоне. Гораздо более нашел я удовольствия в здешней итальянской опере. Играли «Андромаху». Маркези

и Мара пели; музыка прекрасная. Дни два отзывался в ушах моих трогательный дуэт:

Quando mai, astri tiranni,
Avran fine i nostri affanni?
Quando paghi mai sarete
Delia vostra crudelta?^[581]

В театре я купил эту оперу, поднесенную принцу Валлисскому при следующем английском письме, которое перевожу для вас как редкую вещь:

«Странно покажется, что я осмеливаюсь поднести италийскую оперу вашему королевскому высочеству. Хотя Юпитер принимал в жертву быков, но никто не смел дарить его мухами. Принц, столь искусный, как ваше высочество, во всех отвлеченных науках и самой изящнейшей литературе, не может дорожить оперною безделкою. Восхитительные прелести музыки, рассыпанные в сей опере, *озлащают* некоторым образом сей малый труд, но я имею нечто важнейшее для моего оправдания. Славный понтифекс, Леон X, не презрел поднесенной ему книги о *поваренном искусстве*, имы читаем в Вал. Максиме, что персидский монарх принял в дар старый кафтан с таким снисхождением, что наградил дателя Самоским островом. Первый был самый остроумнейший из владык земных, а второй – сильнейший: два качества, которые чудесно соединяются в вашем высочестве. Лучезарное светило не отказывает в улыбке своей ни червячку, ни былинке, а высокая благодетельность вашего сердца не имеет другого примера. – Вашего высочества покорнейший слуга К. Ф. Бадини».

После такого письма я хотел бы лично узнать господина Бадини.

Лондон, июля... 1790

Я хотел идти за город, в прекрасную деревеньку Гамстет, хотел взойти на холм *Примроз*, где благоухает скошенное сено, хотел оттуда посмотреть на Лондон, возвратиться к ночи в город и ехать в Воксал... Но нигде не был и не жалею. День не пропал: сердце мое было тронуто!

Подле самого Cavendish Square встретился мне старый, слепой нищий, которого вела... собачка, привязанная на снурке. Собачка остановилась, начала ко мне ласкаться, лизать ноги мои; нищий сказал томным голосом: «Добрый господин! Сжался над бедным и слепым!» – «My dear sir, I am poor and blind!» Я отдал ему шиллинг. Он поклонился, тронул снурок, и

собачка побежала. Я пошел за ними. Собачка вела его серединою *тротуара*, как можно далее от края и всех отверстий, чтобы слепой старик не упал; часто останавливалась, ласкала людей (но не всех, а по выбору: она казалась физиогномистом!), и почти всякий давал нищему. Мы прошли две улицы. Собачка остановилась подле женщины, немолодой, но миловидной и очень бедно одетой, которая против одного дому сидела на стуле, играла на лютне и пела жалобным голосом. Прекрасный мальчик, также бедно одетый, держал в руке несколько печатных листочков, стоял, прислонившись к стене и умильно смотрел на поющую. Увидев старика, он подбежал к нему и сказал: «Добрый Томас! Здоров ли ты?» – «Слава богу! А мать твоя?.. Как она хорошо поет! Послушаю». – Сын начал ласкать собачку, а мать, поговорив с стариком, снова заиграла и запела... Я долго слушал и положил ей на колени несколько пенсов. Мальчик взглянул на меня благодарными глазами и подал мне печатный листок. Это был гимн, который пела мать его. Вместо того чтобы идти за город, я возвратился домой и перевел гимн. Вот он:

Господь есть бедных покровитель
И всех печальных утешитель;
Всевышний зрит, что нужно нам,
И двум тоскующим сердцам
Пошлет в свой час отраду.
Отдаст ли нас он в жертву гладу?
Забудет ли отец детей?
Прохожий сжалится над нами
(Есть сердце у людей!),
А мы молитвой и слезами
Заплатим долг ему.

В словах нет ничего отменного, но если б вы, друзья мои, слышали, как бедная женщина пела, то не удивились бы, что я переводил их – со слезами.

Ранела

Нынешнюю ночь карета служила мне спальнею! – Ввосемь часов отправились мы, русские, в Ранела пешком; не шли, а бежали, боясь опоздать, устали до смерти, потому что от моей улицы до Ранела, конечно, не менее пяти верст, и в десятом часу вошли в большую круглую залу,

прекрасно освещенную, где гремела музыка. Тут в летние вечера собирается хорошее лондонское общество, чтобы слушать музыку и гулять. В ротонде сделаны в два ряда ложи, где женщины и мужчины садятся отдыхать, пить чай и смотреть на множество людей, которые вертятся в зале. Мы взглянули на собрание, на украшения залы, на высокий оркестр и пошли в сад, где горел фейерверк; но, любуясь им, чуть было не подвергнулись судьбе Семелеиной:^[582] искры осыпали нас с головы до ног. – Возвратясь в ротонду, я сел в ложе подле одного старика, который насвистывал разные песни, как Стернов дядя Тоби, но, впрочем, не мешал мне молчать и смотреть на публику. Может быть, действие свеч обманывало глаза мои, только мне казалось, что я никогда еще не видывал вместе столько красавиц и красавцев, как в Ранела; а вы согласитесь, что такое зрелище очень занимательно. К несчастью, у меня страшно болела голова, и я в первом часу, оставив товарищей своих веселиться, пошел искать кареты, с трудом нашел, сел, велел везти себя в Оксфордскую улицу и заснул. Просыпаюсь у своего дому – вижу день – смотрю на часы: пять... Итак, я три часа ехал! Кучер сказал, что мы около двух стояли на одном месте и что никак нельзя было проехать за множеством карет.

Лондон, июля... 1790

Нынешнее утро видел я в славном Британском музее множество древностей египетских, этрусских, римских, жертвенных орудий, американских идолов и проч. Мне показывали одну египетскую глиняную ноздреватую чашу, которая имеет удивительное свойство: если налить ее водою и вложить в который-нибудь из ее наружных поров салатное семя, то оно распухнет и через несколько дней произведет траву. Я с любопытством рассматривал еще *лакриматории*, или маленькие глиняные и стеклянные сосуды, в которые римляне плакали на погребениях; но всего любопытнее был для меня оригинал Магны Харты,^[583] или славный договор англичан с их королем Иоанном, заключенный в XIII веке и служащий основанием их конституции. Спросите у англичанина, в чем состоят ее главные выгоды? Он скажет: «Я живу, где хочу; уверен в том, что имею; не боюсь ничего, кроме законов». Разогните же Магну Харту: в ней король утвердил клятвенно сии права для англичан—ивкакое время? Когда все другие европейские народы были еще погружены в мрачное варварство.

Из музея прошел я в дом Ост-Индской компании и видел с удивлением огромные магазины ее. Общество частных людей имеет в совершенном подданстве богатейшие, обширные страны мира, целые

(можно сказать) государства, избирает губернаторов и других начальников, содержит там армию, воюет и заключает мир с державами! Это беспримерно в свете. Президент и 24 директора управляют делами. Компания продает свои товары всегда с публичного торгу – и хотя снабжает ими всю Европу, хотя выручает за них миллионы, однако ж расходы ее так велики, что она очень много должна. Следственно, ей более славы, нежели прибыли; но согласитесь, что английский богатый купец не может завидовать никакому состоянию людей в Европе!

СЕМЕЙСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ

Берега Темзы прекрасны; их можно назвать цветниками – и, вопреки английским туманам, здесь царствует флора. Как милы сельские домики, оплетенные розами снизу до самой кровли^[584] или густо осененные деревьями, так что ни один яркий луч солнца не может в них проникнуть!

Но картина добрых нравов и семейственного счастья всего более восхищает меня в деревнях английских, в которых живут теперь многие достаточные лондонские граждане, делаясь на лето поселянами. Всякое воскресенье хожу в какую-нибудь загородную церковь слушать нравственную, ясную проповедь во вкусе Йориковых и смотреть на спокойные лица отцов и супругов, которые все усердно молятся всевышнему и просят, кажется, единственно о сохранении того, что уже имеют. В церквях сделаны ложи – и каждая занимается особливим семейством. Матери окружены детьми – и я нигде не видывал таких прекрасных малюток, как здесь: совершенно *кровь с молоком*, как говорят русские: одушевленные цветочки, любезные Зефиру; все маленькие Эмили, все маленькие Софии. Из церкви каждая семья идет в свой садик, который разгоряченному воображению кажется по крайней мере уголком Мильтонова Эдема; но, к счастью, тут нет змея-искусителя; миловидная хозяйка гуляет рука в руку с мужем своим, а не с прелестником, не с *чичисбеем*...^[585] Одним словом, здесь редкий холостой человек не вздохнет, видя красоту и счастье детей, скромность и благонравие женщин. Так, друзья мои, здесь женщины скромны и благонравны, следственно, мужья счастливы; здесь супруги живут для себя, а не для света. Я говорю о среднем состоянии людей; впрочем, и самые английские лорды, и самые английские герцогини не знают того всегдашнего рассеяния, которое можно назвать стихиею нашего так называемого *хорошего общества*. Здесь

бал или концерт есть важное происшествие: об нем пишут в газетах. У нас правило: *вечно быть в гостях или принимать гостей*. Англичанин говорит: «Я хочу быть счастливым дома и только изредка иметь свидетелей моему счастью». Какие же следствия? Светские дамы, будучи всегда на сцене, привыкают думать единственно о театральные добродетелях. Со вкусом одеться, хорошо войти, приятно взглянуть есть важное достоинство для женщины, которая живет в гостях, а дома только спит или сидит за туалетом. Ныне большой ужин, завтра бал: красавица танцует до пяти часов утра, и на другой день до того ли ей, чтобы заниматься своими нравственными должностями? Напротив того, англичанка, воспитываемая для домашней жизни, приобретает качества доброй супруги и матери, украшая душу свою теми склонностями и навыками, которые предохраняют нас от скуки в уединении и делают одного человека сокровищем для другого. Войдите здесь поутру в дом: хозяйка всегда за рукодельем, за книгою, за клавесином, или рисует, или пишет, или учит детей в приятном ожидании той минуты, когда муж, отправив свои дела, возвратится с биржи, выйдет из кабинета и скажет: «Теперь я твой! Теперь я ваш!» Пусть назовут меня чем кому угодно, но признаюсь, что я без какой-то внутренней досады не могу видеть молодых супругов в свете и говорю мысленно: «Несчастные! Что вы здесь делаете? Разве дома, среди вашего семейства, в объятиях любви и дружбы, вам не сто раз приятнее, нежели в этом пустоблестящем кругу, где не только добрые свойства сердца, но и самый ум едва ли не без дела; где знание какойто приличности составляет всю науку; где *быть не странным* есть верх искусства для мужчины и где две, три женщины бывают для того, чтобы удивлялись красоте их, а все прочие... бог знает, для чего; где с большими издержками и хлопотами люди проводят несколько часов в утомительной игре ложного веселья? Если у вас нет детей, мне остается только жалеть, что вы не умеете наслаждаться друг другом и не знаете, как мило проводить целые дни с любезным человеком, деля с ним дело и безделье, в полной душевной свободе, в мирном расположении сердца. А если вы – родители, то пренебрегаете одну из святейших обязанностей человечества. В самую ту минуту, когда ты, беспечная мать, прыгаешь в контрдансе, маленькая дочь твоя падает, может быть, из рук неосторожной кормилицы, чтобы на всю жизнь сделаться уродом, или семилетний сын, оставленный с наемным учителем и слугами, видит какой-нибудь дурной пример, который сеет в его сердце порок и несчастье. Сидя за клавесином среди блестящего общества, ты, красавица, хочешь нравиться и поешь, как малиновка; но малиновка не оставляет птенцов своих! Одна попечительная мать имеет право

жаловаться на судьбу, если нехороши дети ее; а та, которая светские удовольствия предпочитает семейственным, не может назваться попечительною».

И каким опасностям подвержена в свете добродетель молодой женщины? Скажите, не виновна ли она перед своим мужем, как скоро хочет нравиться другим? Что же иное может питать склонность ее к светским обществам? Слабости имеют свою постепенность, и переливы едва приметны. Сперва молодая супруга хочет только заслужить общее внимание или красотою, или любезностию, чтобы *оправдать выбор ее мужа*, как думает, а там рождается в ней желание нравиться какому-нибудь знатоку более, нежели другому, а там – надобно хитрить, заманивать, подавать надежду; а там... не увидишь, как и сердце вмешается в планы самолюбия; а там – бедный муж! бедные дети!

Всего же несчастнее она сама. Хорошо, если бы до конца можно было жить в упоении страстей, но есть время, в которое все оставляет женщину, кроме ее добродетели, в которое одна благодарная любовь супруга и детей может рассеять грусть ее о потерянной красоте и многих приятностях жизни, увядающих вместе с цветом наружных прелестей. Что, если оскорбленный муж убегает тогда ее взоров, если дурно воспитанные дети, не обязанные ей ничем, кроме несчастной жизни и пороков своих, всякий час растрavляют раны ее сердца знаками холодности, нелюбви, самого презрения?.. Обратится ли к свету? Но там время переломило ее скипетр, угодники исчезли – зефир опахала ее не приманивает уже сильфов, – и разве подобная ей несчастная кокетка сядет подле нее, чтобы излить желчь свою на умы и на сердца людей.

Говорю о женщинах для того, что сердцу моему приятнее заниматься ими, но главная вина, без всякого сомнения, на стороне мужчин, которые не умеют пользоваться своими правами для взаимного счастья и лучше хотят быть строптивыми рабами, нежели умными, вежливыми и любезными властелинами нежного пола, созданного прельщать, следственно, не властвовать, потому что сила не имеет нужды в прельщении. Часто должно жалеть о *муже*, но о *мужьях* никогда. Мягкое женское сердце принимает всегда образ нашего, и если бы мы вообще любили добродетель, то милые красавицы из кокетства сделались бы добродетельными.

Я всегда думал, что дальнейшие успехи просвещения должны более привязать людей к домашней жизни. Не пустота ли душевная увлекает нас в рассеяние? Первое дело истинной философии есть обратить человека к неизменным удовольствиям природы. Когда голова и сердце заняты дома приятным образом, когда в руке книга, подле милая жена, вокруг

прекрасные дети, захочется ли ехать на бал или на большой ужин?

Мысль моя не та, чтобы супруги должны были всю жизнь провести с глазу на глаз. Гименей не есть ни тюремщик, ни отшельник, и мы рождены для общества; но согласитесь, что в светских собраниях всего менее наслаждаются обществом. Там нет места ни рассуждениям, ни рассказам, ни излияниям чувства; всякий должен сказать слово мимоходом и увернуться в сторону, чтоб пустить другого на сцену; все беспокойны, чтобы не проговориться и не обличить своего невежества в *хорошем тоне*. Одним словом, это вечная дурная комедия, называемая *принуждением*, без связи, а всего более без интереса. – Но приятностию общества наслаждаемся мы в коротком обхождении с друзьями и сердечными приятелями, которых первый взор открывает душу, которые приходят к нам меняться мыслями и наблюдениями, шутить в веселом расположении, грустить в печальном. Выбор таких людей зависит от ума супругов, и не всего ли ближе искать их между теми, которых сама натура предлагает нам в друзья, то есть между родственниками? О милые союзы родства! Вы бываете твердейшею опорой добрых нравов – и если я в чем-нибудь завидую нашим предкам, то, конечно, в привязанности их к своим ближним.

Вольтер в конце своего остроумного и безобразного романа^[586] говорит: «Друзья! Пойдем работать в саду!», слова, которые часто отзываются в душе моей после утомительного размышления о тайне рока и счастья. Можно еще примолвить: «Пойдем любить своих домашних, родственников и друзей, а прочее оставим на произвол судьбы!»

Не смотря на лондонскую огромную церковь св. Павла, не глядя на Темзу, через которую великолепные мосты перегибаются и на которой пестреют флаги всех народов, не удивляясь богатству магазинов Ост-Индской компании и даже не в собрании здешнего Ученого королевского общества, говорю я: «Англичане просвещены!», – нет, но видя, как они умеют наслаждаться семейственным счастьем, твержу сто раз: «Англичане просвещены!»

ЛИТЕРАТУРА

Литература англичан, подобно их характеру, имеет много *особенности*^[587] и в разных частях превосходна. Здесь отечество *живописной* поэзии (*Poésie descriptive*): французы и немцы переняли сей

род у англичан, которые умеют замечать самые мелкие черты в природе. По сие время ничто еще не может сравняться с Томсоновыми «Временами года»; их можно назвать зеркалом природы. Сен-Ламбер лучше нравится французам, но он в своей поэме кажется мне парижским щеголем, который, выехав в загородный дом, смотрит из окна на сельские картины и описывает их в хороших стихах, а Томсона сравню с каким-нибудь швейцарским или шотландским охотником, который, с ружьем в руке, всю жизнь бродит по лесам и дебрям, отдыхает иногда на холме или на скале, смотрит вокруг себя и что ему полюбит, что природа вдохнет в его душу, то изображает карандашом на бумаге. Сен-Ламбер кажется приятным гостем природы, а Томсон – ее родным и домашним. – В английских поэтах есть еще какое-то *простодушие*, не совсем древнее, но сходное с гомеровским, есть меланхолия, которая изливается из сердца, нежели из воображения, есть какая-то странная, но приятная мечтательность, которая, подобно английскому саду, представляет вам тысячу неожиданных вещей. – Самым же лучшим цветком британской поэзии считается Мильтоново описание Адама и Евы и Драйдена «Ода на музыку». Любопытно знать то, что поэма Мильтонова, в которой столь много прекрасного и великого, сто лет продавалась, но едва была известна в Англии. Первый Аддисон поднял ее на высокий пьедесталь и сказал: «Удивляйтесь!»

В драматической поэзии англичане не имеют ничего превосходного, кроме творений одного автора; но этот автор есть Шекспир, и англичане богаты.

Легко смеяться над ним не только с Вольтеровым, но и самым обыкновенным умом; кто же не чувствует великих красот его, с тем я не хочу и спорить! Забавные Шекспировы критики похожи на дерзких мальчиков, которые окружают на улице странно одетого человека и кричат: «Какой смешной! Какой чудак!»

Всякий автор ознаменован печатью своего века. Шекспир хотел нравиться современникам, знал их вкус и угождал ему; что казалось тогда остроумием, то ныне скучно и противно: следствие успехов разума и вкуса, на которые и самый великий гений *не может взять мер своих*. Но всякий истинный талант, платя дань веку, творит и для вечности; современные красоты исчезают, а общие, основанные на сердце человеческом и на природе вещей, сохраняют силу свою как в Гомере, так и в Шекспире. Величие, истина характеров, занимательность приключений, *откровение* человеческого сердца и великие мысли, рассеянные в драмах британского гения, будут всегда их магиею для людей с чувством. Я не знаю другого поэта, который имел бы такое всеобъемлющее, плодотворное,

неистошимое воображение, и вы найдете все роды поэзии в Шекспировых сочинениях. Он есть любимый сын богини Фантазии, которая отдала ему волшебный жезл свой, а он, гуляя в диких садах воображения, на каждом шагу творит чудеса!

Еще повторяю: у англичан один Шекспир! Все их новейшие трагики только что *хотят* быть сильными, а в самом деле слабы духом. В них есть шекспировский *бомбаст*,^[588] а нет Шекспирова гения. В изображении страстей всегда почти заходят они за предел истины и натуры, может быть, оттого, что обыкновенное, то есть истинное, мало трогает сонные и флегматические сердца британцев: им надобны ужасы и громы, резанье и погребения, исступление и бешенство. Нежная черта души не была бы здесь примечена; тихие звуки сердца без всякого действия исчезли бы в лондонском партере. – Славная Аддисонова трагедия^[589] хороша там, где Катон говорит и действует, но любовные сцены несносны. Нынешние любимые драмы англичан: «Grecian daughter», «Fair penitent», «Jean Shore»^{[590][591]} и проч., трогают более содержанием и картинами, нежели чувством и силою авторского таланта. – Комедии их держатся запутанными интригами и карикатурами; в них мало истинного остроумия, а много *буфонства*, здесь Талия не смеется, а хохочет.

Примечания достойно то, что одна земля произвела и лучших романистов, и лучших историков. Ричардсон и Фильдинг выучили французов и немцев писать романы как *историю жизни*, а Робертсон, Юм, Гиббон влияли в историю привлекательность любопытнейшего романа умным расположением действий, живописью приключений и характеров, мыслями и слогом. После Фукидида и Тацита ничто не может сравняться с историческим триумвиратом Британии.^[592]

Новейшая английская литература совсем недостойна внимания: теперь пишут здесь только самые посредственные романы, а стихотворца нет ни одного хорошего. Йонг, гроза счастливых и утешитель несчастных, и Стерн, оригинальный живописец чувствительности, заключили фалангу бессмертных британских авторов.

А я заключу это письмо двумя-тремя словами об английском языке. Он всех на свете легче и проще, совсем почти не имеет грамматики, и кто знает частицы *of* и *to*, знает склонения; кто знает *will* и *shall*, знает спряжения; все неправильные глаголы можно затвердить в один день. Но вы, читая, как азбуку, Робертсона и Фильдинга, даже Томсона и Шекспира, будете с англичанами немые и глухие, то есть ни они вас, ни вы их не поймете. Так труден английский выговор, и столь мудрено узнать слухом то

слово, которое вы знаете глазами! Я все понимаю, что мне напишут, а в разговоре должен угадывать. Кажется, что у англичан рты связаны или на отверстие их положена министерством большая пошлина: они чуть-чуть разводят зубы, свистят, намекают, а не говорят. Вообще, английский язык груб, неприятен для слуха, но богат и обработан во всех родах для письма – богат *краденым* или (чтоб не оскорбить британской гордости) *отнятым* у других. Все ученые и по большей части нравственные слова взяты из французского или из латинского, а коренные глаголы из немецкого. Римляне, саксонцы, датчане истребили и британский народ, и язык их; говорят, что в Валлисе есть некоторые его остатки. Пестрота английского языка не мешает ему быть сильным и выразительным, а смелость стихотворцев удивительна; но гармонии и того, что в реторике называется *числом*, совсем нет. Слова отрывистые, фразы короткие, и ни малого разнообразия в периодах. Мера стихов всегда одинакая: ямб в 4 или в 5 стоп с мужеским окончанием. – Да будет же честь и слава нашему языку, который в самородном богатстве своем, почти без всякого чуждого примеса, течет, как гордая, величественная река – шумит, гремит, – и вдруг, если надобно, смягчается, журчит нежным ручейком и сладостно вливается в душу, образуя все меры, какие заключаются только в падении и возвышении человеческого голоса!

Лондон, август... 1790

В восемь часов вечера я позвонил в своем маленьком кабинете, и вместо моей Дженни (которая, сказать правду, не очень красива собою) вошла ко мне прелестная девушка лет семнадцати. Я удивился и смотрел на нее в молчании. Она спрашивала: «Что угодно господину?» и краснелась, приседала, глядела в землю и наконец изъяснила мне, что Дженни, пользуясь воскресеньем, гуляет за городом, а она взялась на несколько часов заступить ее место в доме. Я хотел знать имя красавицы. – «София». – Ее состояние. – «Служанка в пансионе». – Ее забавы, удовольствия в жизни. – «Работа, милость госпожи, хорошая книжка». – Ее надежды. – «Накопить несколько гиней и возвратиться в Кентское графство к старику отцу, который живет в большой нужде». – София принесла мне чай, налила, по усиленной просьбе моей сама выпила чашку, но никак не хотела сесть и при всяком слове краснелась, хотя я остерегался нескромности в разговоре с нею. Впрочем, к моему удивлению, английские фразы сами собою мне представлялись, и если бы я всякий день мог говорить с прелестною Софией, то через месяц заговорил бы, как – оратор парламента! С чувством скажу вам, друзья мои, что англичанки и в самом

низком состоянии чрезвычайно любезны своею кротостию.

В нынешнее воскресенье поговорю о воскресеньи. Оно здесь свято и торжественно; самый бедный поденщик перестает работать, купец запирает лавку, биржа пустеет, спектакли затворяются, музыка молчит. Все идут к обедне; люди, привязанные своими упражнениями и делами к городу, разъезжаются по деревням; народ толпится на гульбищах, и бедный по возможности наряжается. Что у французов *генгеты*, то здесь Theagardens, или сады, где народ пьет чай и пунш, ест сыр и масло. Тут-то во всей славе являются горничные девушки в длинных платьях, в шляпках, с веерами, тут ищут они себе женихов и счастья, видятся с своими знакомыми, угощают друг друга и набираются всякого рода анекдотами, замечаниями на целую неделю. Тут, кроме слуг и служанок, гуляют ремесленники, сидельцы, аптекарские ученики – одним словом, такие люди, которые имеют уже некоторый вкус в жизни и знают, что такое хороший воздух, приятный сельский вид и проч. Тут соблюдается тишина и благопристойность; тут вы любите англичан.

Но если хотите, чтобы у вас помутилось на душе, то загляните ввечеру в подземельные таверны или в *питейные дома*, где веселится подлая лондонская чернь! – Такова судьба гражданских обществ: хорошо сверху, в середине, а вниз не заглядывай. Дрожжи и в самом лучшем вине бывают столь же противны вкусу, как и в самом худом.

Дурное напоминает дурное: скажу вам еще, что на лондонских улицах ввечеру видел я более ужасов разврата, нежели и в самом Париже. Оставляя другое (о чем можно только говорить, а не писать), вообразите, что между несчастными жертвами распутства здесь много двенадцатилетних девушек! Вообразите, что есть мегеры, к которым изверги матери приводят дочерей на смотр и торгуются!

Я начал письмо свое невинностию, а кончил предметом омерзения! – Любезная София! Прости меня.

Вестминстер

Славная *Вестминстерская* зала (Westminsterhall) построена еще в XI веке, как некоторые историки утверждают. Она считается самую огромнейшею в Европе, и свод ее держится сам собою, без столбов. В ней торжествуется коронация английских монархов; в ней бывают и чрезвычайные заседания верхнего парламента, когда он судит государственного пэра. Таким образом, случилось мне видеть там суд Гастингса, [\[593\]](#) Hastings' trial, который уже 10 лет продолжается и который был для меня любопытен. Достав билет через нашего посла, я занял место

в верхней галерее, среди множества зрителей. Мы долго ждали. Наконец явился Фокс, в черном французском кафтане, с кипюю бумаг; а за ним Борк, сухощавый старик в очках, также в черном кафтане и с бумагами. Вы знаете, что нижний парламент, именем народа, обвиняет Гастингса, бывшего губернатора Ост-Индии, в разных преступлениях, и выбрал адвокатами Борка, Фокса и Шеридана, чтобы доказывать вины его в судилище лордов. Отворились большие двери – и судьи, члены верхнего парламента, вошли тихо и торжественно друг за другом в своих мантиях, а духовные, то есть епископы, в высоких шапках, и сели по местам. Фокс стал напротив лорда-канцлера и начал говорить речь, которая продолжалась целые... четыре часа! Он исчислял все доказательства Гастингсова корыстолюбия, все его незаконные дела, оскорбительные для чести, для имени английского народа; говорил сильно, иногда с жаром, и отдыхал единственно тогда, когда надлежало представить улики в подлиннике. В таком случае Борк заступал место его и читал бумаги, а ритор садился на стул, утираясь белым платком, а через пять минут снова начинал говорить. Я не столько жалел Фоксовой груди, сколько бедных лордов – слушать, по крайней мере сидеть столько времени на одном месте, без движения, с важностию, с видом внимания! Фокс требовал от них не безделки, а жизни Гастингсовой, называя его вором, злодеем, чудовищем – и в присутствии его самого. Гастингс, старик лет за шестьдесят, седой, худенький, в голубом французском кафтане, сидел на креслах подле самого ритора, который над его головою требовал его головы! Но умный старик казался совершенно покойным, равнодушным; даже худо слушал, посматривая то на судей, то на своих двух адвокатов, которые с великою прилежностию записывали обвинения, сидя подле клиента. Он уверен, что его оправдают. «Но виноват ли он подлинно?» – спросите вы. Против человечества – виноват; против Англии – нет. Гастингс не злодей в сердце своем, но, зная тайную политику английского министерства, зная выгоды Ост-Индской компании, жертвовал, может быть, собственными благородными чувствами тому предмету, для которого послали его в Индию; тиранствовал, чтобы утвердить там власть англичан, и, стараясь умножать доходы компании, умножил, может быть, и свои – за что, однако ж, министры не предадут его в жертву парламентским говорунам. Англичанин человеколюбив у себя;^[594] а в Америке, в Африке и в Азии едва не зверь; по крайней мере с людьми обходятся там, как с зверями; накопит денег, возвратится домой и кричит: «Не тронь меня; я – человек!» Торжество английского правосудия состоит единственно в том, что Гастингса бранят, разоряют именем закона, риторы истощают свое красноречие, занимают публику, журналистов; лорды зевают, дремлют на

больших креслах: всякий делает свое дело – и довольно! Что принадлежит до Фоксова таланта, то я назову его скорее *складною говорливостию*, нежели красноречием; слова текут рекою, но нет сильных ораторских движений; много разительной логики, только много и лишнего. В Шеридане более пиитического жара, но менее логической силы, как говорят критики; а славный Борк уже стареется. – Наконец Фокс кончил, поклонился и сошел с кафедры. Один из Гастингсовых адвокатов сказал пэрам: «Милорды! Генерал NN не успел представить вам отзыва в пользу нашего клиента, уехал в свое отечество, в Швейцарию, для поправления здоровья, но он скоро возвратится». Тут Борк выступил вперед и примолвил с важным видом: «Милорды! Пожелаем господину генералу счастливого пути и лучшего здоровья!» Все лорды, все зрители засмеялись, встали – и пошли домой.

Подле Вестминстерской залы, в остатках огромного дворца, который сгорел^[595] при Генрихе VIII, собирается обыкновенно верхний и нижний парламент. В заседаниях первого не бывает никого, кроме членов; я мог видеть только залу собрания, украшенную богатыми обоями, на которых изображено разбитие гишпанской армады. В конце залы возвышается королевский трон, а подле два места для старших принцев крови; за тронем сидят молодые лорды, которые не имеют еще голоса; на правой стороне епископы, против короля пэры, герцоги и проч. Замечания достойно то, что канцлер и оратор сидят на *шерстяных шарах*: древнее и, как уверяют, символическое обыкновение! Шар означает важность торговли (не знаю почему), а шерсть – суконные английские фабрики, требующие внимания лордов.

Зала нижнего парламента соединяется с первою длинным коридором; она убрана деревом. Тут для зрителей сделаны галереи. Кафедры нет. Президент, называемый оратором, сидит на возвышенном месте между двух клерков, или секретарей, за столом, на котором лежит золотой скипетр; они трое должны быть всегда в шпанских париках и в мантиях; все прочие – в обыкновенных кафтанах, в шляпах, сидят на лавках, из которых одна другой выше. Кто хочет говорить, встает и, снимая шляпу, обращает речь свою к президенту, то есть к оратору, который, подобно дядьке, унимает их, если они заговорят не дело, и кричит: «To order!» – «В порядок!» Члены могут всячески бранить друг друга, только не именуя, а, например, так: «Почтенный господин, который говорил передо мною, есть глупец», – и проч. Министрам часто достается; они иногда отбраниваются, иногда отмалчиваются, а когда пойдет дело на голоса, большинство всегда

на их стороне. Кто говорит хорошо, того слушают; в противном случае кашляют, стучат ногами, шумят; а при всяком важном слове кричат: «Hearken!» – «Слушайте!» Заседание открывается в три часа пополудни молитвою и продолжается иногда до двух за полночь. Розница между парижским народным собранием и английским парламентом есть та, что первое шумнее; впрочем, и парламентские собрания довольно беспорядочны. Члены беспрестанно встают, поклонясь оратору, как школьному магистру, бегают вон, едят и проч. – Их числом 558; налицо же не бывает никогда и трех сот. Едва ли 50 человек говорят когда-нибудь; все прочие немые, иные, может быть, и глухи – но дела идут своим порядком, и хорошо. Умные министры правят, умная публика смотрит и судит. Член может говорить в парламенте все, что ему годно; по закону, он не дает ответа.

ВЕСТМИНСТЕРСКОЕ АББАТСТВО

Церковные английские хроники наполнены чудесными сказаниями о сем древнем аббатстве. Например, они говорят, что сам апостол Петр, окруженный ликами ангелов, освятил его в начале VII века, при короле Себерте. Как бы то ни было, оно есть самое древнейшее здание в Лондоне, несколько раз горело, разрушалось и снова из праха восставало. Славный Рен, строитель Павловской церкви, прибавил к нему две новые готические башни, которые, вместе с северным портиком, называемым *Соломоновыми вратами*, Salomon's Gate, всего более украшают внешность храма. Внутренность разительна: огромный свод величественно опускается на ряд гигантских столпов, между которыми свет и мрак разливаются. Тут всякий день бывает утреннее и вечернее служение; тут венчаются короли английские; тут стоят и гробы их!.. Я вспомнил французский стих:

Нельзя без ужаса с престола – в гроб ступить!

Тут сооружены монументы героям, патриотам, философам, поэтам; и я назвал бы Вестминстер храмом бессмертия, если бы в нем не было многих имен, совсем недостойных памяти. Чтобы думать хорошо о людях, надобно читать не историю, а надгробные надписи: как хвалят покойников! – Замечу важнейшие монументы и переведу некоторые надписи.

На черном и белом мраморном памятнике лорда Кранфильда

подписано женою его: «Зависть воздвигала бури против моего славного и добродетельного супруга, но он, с чистою душою, смело стоял на корме, крепко держался за руль совести, рассекал волны, спасся от кораблекрушения, в глубокую осень жизни своей бросил якорь и вышел на тихий берег уединения. Наконец сей изнуренный мореходец отправился на тот свет, и корабль его счастливо пристал к небу».

На гробе славного поэта Драйдена стоит его бюст с простою надписью: «Иоанн Драйден родился в 1632, умер в 1700 году. Герцог Букингам соорудил ему сей монумент». – Подле, как нарочно, вырезана самая пышная эпитафия на памятнике стихотворца Кауле (Cowley): «Здесь лежит Пиндар, Гораций и Виргилий Англии, утеха, красота, удивление веков», и проч. – На гробе самого герцога Букингама, друга Попова, читаете: «Я жил и сомневался; умираю и не знаю; что ни будет, на всё готов». – А ниже: «За короля моего – часто, за отечество – всегда».

Готический монумент древнейшего английского стихотворца Часера почти совсем развалился. Часер жил в четвертом-надесять веке, писал неблагопристойные сказки,^[596] хвалил своего родственника герцога Ланкастерского и помог ему стихами своими взойти на престол.

Несчастный граф Эссекс посвятил белый мраморный памятник Бену Джонсону, современнику Шекспиру, с надписью: «O rare Ben Johnson!» – «O редкий Джонсон!»

На гробе Спенсера подписано: «Он был царь поэтов своего времени, и божественный ум его всего лучше виден в его творениях».

Ботлер сочинил славную поэму «Годибраса», осмеивая в ней кромвелевских республиканцев и фанатизм. Двор и король хвалили поэму, но автор умер с голоду. Барбер, лондонский мэр, сказал: «Кто в жизни не имел пристанища, тому сделаем хотя по смерти достойный его монумент», – сказал и сделал.

Под Мильтоновым бюстом сооружен памятник стихотворцу Грею. Лирическая муза держит в руке медальон его и, указывая другою рукою на Мильтона, говорит: «У греков – Гомер и Пиндар; здесь – Мильтон и Грей!»

Преклоните колена... Вот Шекспир!.. стоит, как живой, в одежде своего времени, опершись на книгу, в глубокой задумчивости... Вы узнаете предмет его глубокомыслия, читая следующую надпись, взятую из его драмы «The Tempest»:^[597]

Колоссы гордые, веков произведенье,
И храмы славные, и самый шар земной

Со всем, что есть на нем, исчезнет, как творенье
Воздушные мечты, развалин за собой
В пространствах не оставив!

Четыре времени года изображены на гробнице Томсоновой. Отрок указывает на них и подает венок поэту.

Герцог и герцогиня Квинсберри почтили прекрасным монументом Гея, творца «Оперы нищих». ^[598] Эпитафия сочинена самим Геем:

Все в свете есть игра, жизнь самая ничто:
Так прежде думал я, а ныне знаю то.

Музыкант Гендель, изображенный славным Рубильяком, слушает ангела, который в облаках, над его головою, играет на арфе. Перед ним лежит его оратория «Мессия», разогнутая на прекрасной арии: «I know that my Redeemer lives», – «Знаю, что жив Спаситель мой!»

На гробнице Томаса Парра написано, что он жил 152 года, в царствование десяти королей, от Эдуарда IV до Карла II. Известно, что сей удивительный человек, будучи ста тридцати лет, не оставлял в покое молодых соседок своих и присужден был всенародно, в церкви, каяться в любовных грехах.

Автор «Вакефильдского священника», «Запустевшей деревни» и «Путешественника», Голдсмит расхвален до крайности. «Он был великий поэт, историк, философ, занимался почти всяким родом сочинений и во всяком успевал, владел нежными чувствами и по воле заставлял плакать и смеяться. Во всех его речах и делах обнаруживалось редкое добродушие. Ум острый, замысловатый и великий вливал душу, силу и приятность в каждое слово его. Любовь товарищей, верность друзей и уважение читателей воздвигли ему сей памятник».

Я остановился с благоговением перед памятником Ньютона. Херувимы держат перед ним развернутый свиток; он указывает на него пальцем, опершись рукою на книги, с заглавием: «Божество», «Оптика», «Хронология»; вверху большой шар, на котором сидит *Астрономия*; внизу прекрасный барельеф, где изображены все Невтоновы открытия. В латинской надписи сказано, что он «почти божественным умом своим определил движение и фигуру светил небесных, путь комет, прилив и отлив моря, узнал разнообразие солнечных лучей и свойство цветов, был мудрым

изъяснителем натуры, древности и св. писания, доказал своею философию величие бога, а жизнью святость евангелия». Надпись заключается сими словами: «Как смертные должны гордиться Невтоном, славою и красою человечества!»

Некоторые памятники сооружены парламентом и королем от имени благодарной Англии, за важные услуги; например, капитану Корнвалю, генералу Вольфу, майору Андре, которые пожертвовали жизнью отечеству. Трогательное и достойное геройства воздаяние!

Монумент Гаскона Найтингеля и жены его, посвященный любовью сына их, есть самый лучший в Вестминстерском аббатстве как художеством, так и мыслию. Прекрасная женщина умирает в объятиях супруга. Смерть выползает из гроба, смотрит ужасными глазами на супруга и метит в нее копьем своим. Супруг видит грозное чудовище и в страхе, в отчаянии стремится отразить удар. – Это работа славного Рубильяка.

Придел Генриха VII назывался чудом мира. В самом деле, тут много удивительного в готическом вкусе; особливо же в резьбе на меди и на дереве. – В этом приделе погребают королевскую фамилию, и вы видите подле несчастной Марии Стурт Елисавету! Гроб всех примиряет.

В заключение переведу вам нечто из мыслей одного англичанина о Вестминстерском аббатстве.

«С живым меланхолическим удовольствием был я во всех мрачных сокровенностях сего последнего жилища славы, рассуждал о жизни человеческой, ее бедствиях и краткости. Миллионы, думал я, подобно тебе размышляли здесь о трофеях смерти, на которые теперь смотришь, и ты, подобно миллионам, будешь прахом, уступишь место новым людям, и следов твоих не останется. Сие святое хранилище славы и величия будет и впредь наполняться почтенными остатками дарований и заслуг, украшаться новыми великолепными памятниками и служить предметом удивления, а наконец, по неизбежному закону судьбы, со всем богатством древностей погребется во тьме времен и будет памятником собственного своего разрушения!»

ОКРЕСТНОСТИ ЛОНДОНА

Видя и слыша, как скромно живут богатые лорды в столице, я не мог понять, на что они проживаются, но, увидев сельские дома их, понимаю, как им может не доставать и двухсот тысяч дохода. Огромные замки, сады, которых содержание требует множества рук, лошади, собаки, сельские

праздники – вот обширное поле их мотовства! Русский в столице и в путешествиях разоряется, англичанин экономит. Живучи в Лондоне только заездом, лорд не считает себя обязанным звать гостей, не стыдится в старом фраке идти пешком обедать к принцу Валлисскому и ехать верхом на простой наемной лошади; а если вы у него по короткому знакомству обедаете, служат два лакея – простой сервис – и много что пять блюд на столе. Здесь живут в городе, как в деревне, а в деревне, как в городе; в городе – простота, в деревне – старомодная пышность, – разумеется, что я говорю о богатом дворянстве.

И сколько сокровищ в живописи, в антиках рассеяно по сельским домам! Давно уже англичане имеют страсть ездить в Италию и скупать все превосходное, чем славится там древнее и новое искусство; внук умножает собрание деда, и картина, статуя, которою любовались художники в Италии, навеки погребается в его деревенском замке, где он бережет ее, как *золотое руно* свое, почему, теряясь в лабиринте сельских парков, любопытный художник может воображать себя Язоном.

Я наименую вам только самые лучшие из виденных мною домов вокруг Лондона:

Так называемый *Бельведер* лорда Турлова, откуда прекрасный вид на окрестные поля и Темзу, покрытую кораблями, – замок графа Минсфильда, где есть великолепная зала, которую считают лучшим произведением здешней архитектуры, – герцога Девонширского, может быть, самый огромный в Англии, построенный среди темных кедровых аллей, – графа Дорсета, окруженный самым диким парком, где множество зверей, птиц и где есть прекрасный готический эрмитаж с искусственными развалинами, – графа Букингамшира с милovidными каштановыми лесочками, прекрасным гротом, обсаженным благоуханными кустами, – *Sion-House* герцога Нортумберландского с большими садами, всего более украшенными текущею в них Темзою, – *Вальполя* в готическом вкусе, – графа Тильнея, откуда с террасы видны река, каналы, бесчисленные аллеи, пустыни, лесочки, которые составляют необозримый амфитеатр, – алдермана Томаса, называемый *Naked beauty*,^[599] – господина Бинга и Карю (*Sarew*), где обширные сады, а в садах – столетние померанцевые деревья (что беспримерно в Англии). – В каждом из сих домов богатая картинная галерея со множеством других произведений искусства; при каждом большие оранжереи, где собраны плоды и растения всех частей мира; при каждом огромные конюшни, где лошади живут лучше многих людей на свете. Вы читали забавное «Гулливерово путешествие»; помните, что он заехал в царство лошадей, у которых люди были в рабстве и которые,

разговаривая по-своему с нашим путешественником, никак не хотели верить, чтобы где-нибудь подобные им благородные твари могли служить слабодушному человеку. Эта выдумка Свифтова казалась мне странною, но, приехав в Англию, я понял сатирика: он шутил над своими земляками, которые, по страсти к лошадям, ходят за ними по крайней мере как за нежными друзьями своими. Резвые скакуны здесь только что не члены парламента и без всякого излишнего самолюбия могут вообразить себя господами людей. – Вообще архитектура сельских замков и домов очень хороша. Вкус, выгнанный из Лондона, живет и царствует в английских деревнях.

Во все стороны лондонские окрестности приятны, но смотреть на них хорошо только с какого-нибудь возвышения. Здесь все обгорожено: поля, луга, и куда ни взглянешь, везде забор – это неприятно.

Самые лучшие места – по реке Темзе, самые лучшие виды – вокруг Виндзора и Ричмонда, который в древние времена был столицею британских королей и назывался *Шен*, что на старинном саксонском языке значило *блестящий*. Теперь Ричмонд есть самая прекраснейшая деревня в свете и называется *английским Фраскати*. Тамошний дворец не достоин большого внимания; сад также, – но вид с горы, на которой Ричмонд возвышается амфитеатром, удивительно прелестен. Вы следуете глазами за Темзою верст 30 в ее блистательном течении сквозь богатые долины, луга, рощи, сады, которые все вместе кажутся одним садом. Тут прекрасно видеть восхождение солнца, когда оно, как будто бы снимая туманный покров с равнин, открывает необозримую сцену деятельности в физическом и нравственном мире. Я несколько раз ночевал в Ричмонде, но только однажды видел восходящее солнце. Между Ричмонда и Кингстона есть большой парк, называемый New-Park,^[600] которого хотя и нельзя сравнить с Виндзорским, но который, однако ж, считается одним из лучших в Англии. Величественные деревья, прекрасная зелень, а всего лучше вид с тамошнего холма: шесть провинций представляются глазам вашим – Лондон – Виндзор...

Я один раз был в славном Кьюском саду, Kew-Garden, месте, которое нынешний король старался украсить по всей возможности, но которое само по себе не стоит того, хотя в описаниях и называют его Эдемом: мало, низко, без видов. Там китайское, арабское, турецкое перемешано с греческим и римским. Храм Беллоны и китайский павильон; храм Эола и дом Конфуциев; арабская *Алгамра и пагода!*

Из Ричмонда ходил я в Твитнам (Twickenham), милостивую деревеньку, где жил и умер философ и стихотворец Поп. Там множество

прекрасных сельских домиков, но мне надобен был дом поэта (принадлежащий теперь лорду Станопу). Я видел его кабинет, его кресла – место, обсаженное деревьями, где он в летние дни переводил Гомера, – грот, где стоит мраморный бюст его и откуда видна Темза, – наконец, столетнюю иву, которая чудным образом раздвоилась и под которою любил думать философ и мечтать стихотворец; я сорвал с нее веточку на память.

В церкви сделан поэту мраморный монумент другом его, доктором Варбуртоном. Наверху бюст, а внизу надпись, самим Попом сочиненная:

Heroes and Kings! your distance keep!
In peace let one poor Poet sleep.
Who never flattered folks like you.
Let Horace blush, and Virgile too!^[601]

Правда ли? – В этой же церкви погребен бессмертный Томсон, без монумента, без надписи.

Я любопытствовал видеть, близ городка Барнета, то место, где в 1471 году, в светлое воскресенье, кровопролитное сражение решило судьбы фамилии Йоркской и Ланкастерской. Сия война составляет ужаснейшую эпоху в английской истории; славная Magna Charta,^[602] права, законы – все было под спудом. Народ не знал, к кому обратиться, и в мертвой бесчувственности служил орудием беспрестанных злодеяний. – На сем месте сооружен каменный столп.

В деревне Бромтоне показывали мне развалины Кромвелева дому.

Местечко Чарлтон достойно примечания по красивому своему положению, а еще более по *роговой ярманке*, Hornfair, которая ежегодно там бывает и на которой все жители украшают свой лоб рогами! Рассказывают, что король Иоанн, будучи на звериной ловле, утомился и заехал в Чарлтон отдохнуть; вошел в крестьянскую избу, полюбил хозяйку и начал ласкать ее так нежно, что хозяин рассердился, и так рассердился, что хотел убить его, но король объявил себя королем, обезоружил крестьянина и, желая наградить его за маленькую досаду, подарил ему местечко Чарлтон, с тем условием, чтобы он завел там ярманку, на которой бы все купцы и продавцы являлись с рогатыми лбами. – Оставляю вам сказать на этот случай множество острых слов.

Гамптон-Каурт, построенный кардиналом Вольсеем, верстах в 17 от Лондона, на берегу Темзы, удивлял некогда своим великолепием, так что Гроций назвал его в стихах своих *дворцом мира* и прибавил: «Везде

властвуют боги, но *жить* им прилично только в Гамптон-Каурте!» – Пишут, что в нем сделано было 280 раззолоченных кроватей с шелковыми занавесами для гостей и что всякому гостю подавали есть на серебре, а пить в золоте. Английский Ришельё и Дюбуа – так можно назвать Вольсея – наконец сам испугался такой пышности, зная хищную зависть Генриха VIII, и решился подарить ему сей замок, в котором после жила умная и добродетельная королева Мария, дочь Иакова II. Архитектура дворца отчасти готическая, но величественна. Внутри множество картин, из которых лучшие Веронезова «Сусанна» и Бассанов «Потоп». Кабинет Марии украшен ее собственною работою. – Гамптонские сады напоминают старинный вкус.

В заключение скажу, что нигде, может быть, сельская природа так не украшена, как в Англии, нигде не радуются столько ясным летним днем, как на здешнем острове. Мрачный флегматический британец с жадностию глотает солнечные лучи, как лекарство от его болезни, *сплина*. Одним словом: дайте англичанам лангедокское небо – они будут здоровы, веселы, запоят и запляшут, как французы.

Еще прибавлю, что нигде нет такой удобности ездить за город, как здесь. Идете на почтовый двор, где стоит всегда множество карет; смотрите, на которой написано имя той деревни, в которую хотите ехать; садитесь, не говоря ни слова, и карета в положенный час скачет, хотя бы и никого, кроме вас, в ней не было; приехав на место, платите безделку и уверены, что для возвращения найдете также карету. Вот действие многолюдства и всеобщего избытка!

Лондон, сентября... 1790

Было время, когда я, почти не видав англичан, восхищался ими и воображал Англию самую приятнейшею для сердца моего землею. С каким восторгом, будучи пансионером профессора Ш*,^[603] читал я во время американской войны донесения торжествующих британских адмиралов! Родней, Гоу не сходили у меня с языка; я праздновал победы их и звал к себе в гости маленьких соучеников моих. Мне казалось, что быть храбрым есть... быть англичанином, великодушным – тоже, чувствительным – тоже; истинным человеком – тоже. Романы, если не ошибаюсь, были главным основанием такого мнения. Теперь вижу англичан вблизи, отдаю им справедливость, хвалю их – но похвала моя так холодна, как они сами.

Во-первых, я не хотел бы провести жизнь мою в Англии для климата, сырого, мрачного, печального. Знаю, что и в Сибири можно быть счастливым, когда сердце довольно и радостно, но веселый климат делает

нас веселее, а в грусти и в меланхолии здесь скорее, нежели где-нибудь, захочется застрелиться. Рощи, парки, луга, сады – все это прекрасно в Англии, но все это покрыто туманами, мраком и дымом земляных угольев. Редко-редко проглянет солнце, и то ненадолго, а без него худо жить на свете. «Кланяйся от меня солнцу, – писал некто отсюда к своему приятелю в Неаполь, – я уже давно не видался с ним». Английская зима не так холодна, как наша; зато у нас зимою бывают красные дни, которые здесь и летом редки. Как же англичанину не смотреть сентябрем?

Во-вторых – холодный характер их мне совсем не нравится. «Это – вулкан, покрытый льдом», – сказал мне, рассмеявшись, один французский эмигрант. Но я стою, гляжу, пламени не вижу, а между тем зябну. Русское мое сердце любит изливаться в искренних, живых разговорах, любит игру глаз, скорые перемены лица, выразительное движение руки. Англичанин молчалив, равнодушен, говорит, как читает, не обнаруживая никогда быстрых душевных стремлений, которые потрясают электрически всю нашу физическую систему. Говорят, что он глубокомысленнее других; не для того ли, что кажется глубокомысленным? Не потому ли, что густая кровь движется в нем медленнее и дает ему вид задумчивого, часто без всяких мыслей? Пример Бакона, Невтона, Локка, Гоббеса ничего не доказывает. Гении рождаются во всех землях, вселенная – отечество их, – и можно ли по справедливости сказать, чтобы, например, Локк был глубокомысленнее Декарта и Лейбница?

Но что англичане просвещены и рассудительны, соглашаюсь: здесь ремесленники читают Юмову «Историю», служанка – Йориковы проповеди и «Клариссу»; здесь лавошник рассуждает основательно о торговых выгодах своего отечества, и земледелец говорит вам о Шеридановом красноречии; здесь газеты и журналы у всех в руках не только в городе, но и в маленьких деревеньках.

Фильдинг утверждает, что ни на каком языке нельзя выразить смысла английского слова «humour», означающего и *веселость*, и *шутливость*, и *замысловатость*, из чего заключает, что его нация преимущественно имеет сии свойства. Замысловатость англичан видна разве только в их карикатурах, шутливость – в народных глупых театральных *фарсах*, а веселости ни в чем не вижу – даже на самые смешные карикатуры смотрят они с преважным видом, а когда смеются, то смех их походит на истерический. Нет, нет, гордые цари морей, столь же мрачные, как туманы, которые носятся над стихиею славы вашей! Оставьте недругам вашим, французам, всякую игривость ума. Будьте рассудительны, если вам угодно, но позвольте мне думать, что вы не имеете тонкости, приятности разума и

того живого слияния мыслей, которое производит общественную любезность. Вы рассудительны – и скучны!.. Сохрани меня бог, чтобы я то же сказал об англичанках! Они милы своею красотою и чувствительностию, которая столь выразительно изображается в их глазах: довольно для их совершенства и счастья супругов, о чем я уже писал к вам; а теперь судим только мужчин.

Англичане любят благотворить, любят удивлять своим великодушием и всегда помогут несчастному, как скоро уверены, что он не притворяется несчастным. В противном случае скорее дадут ему умереть с голода, нежели помогут, боясь обмана, оскорбительного для их самолюбия. Ж*, [\[604\]](#) наш земляк, который живет здесь лет восемь, зимою ездил из Лондона во Фландрию и на возвратном пути должен был остановиться в Кале. Сильный холодный ветер окружил гавань множеством льду, и пакетботы никак не могли выйти из нее. Ж* издержал все свои деньги, грустил и не знал, что делать. Трактиры были наполнены путешественниками, которые, в ожидании благоприятного времени для переезда через канал, веселились без памяти, пили, пели и танцевали. Земляк наш с пустым кошельком и с печальным сердцем не мог участвовать в их весельи. В одной комнате с ним жили богатый англичанин и молодой парижский купец. Он открыл им причину своей грусти. Что сделал богатый англичанин? Дивился его безрассудности и, повторив несколько раз: «Как можно на всякий случай не брать с собою лишних денег?», вышел вон. Что сделал молодой француз? Высыпал на стол свои луидоры и сказал: «Возьмите, сколько вам надобно; будьте только веселее». – «Государь мой! Вы меня не знаете». – «Все одно; я рад услужить вам; в Лондоне мы увидимся». – Ж* взял с благодарностию луидоров десять или пятнадцать и хотел дать ему свой лондонский адрес. Француз не принял его, говоря: «Ваше дело сыскать меня на бирже. Я пять лет купец, а двадцать четыре года человек». – Англичанин поступил так грубо не от скупости, но от страха быть обманутым.

Замечено, что они в чужих землях гораздо щедрее на благодеяния, нежели в своей, думая, что в Англии, где всякого роду трудолюбие по достоинству награждается, хороший человек не может быть в нищете, из чего вышло у них правило: «Кто у нас беден, тот недостоин лучшей доли», – правило ужасное! Здесь бедность делается пороком! Она терпит и должна таиться! Ах! Если хотите еще более угнести того, кто угнетен нищетою, пошлите его в Англию: здесь, среди предметов богатства, цветущего изобилия и кучами рассыпанных гиней, узнает он муку Тантала!.. И какое ложное правило! Разве стечение бед не может и самого трудолюбивого довести до сумы? Например, болезнь...

Англичане честны, у них есть нравы, семейная жизнь, союз родства и дружбы... Позавидуем им! Их слово, приязнь, знакомство надежны: действие, может быть, их общего духа *торговли*, которая приучает людей уважать и хранить доверенность со всеми ее оттенками. Но строгая честность не мешает им быть тонкими эгоистами. Таковы они в своей торговле, политике и частных отношениях между собою. Все придумано, все разočтено, и последнее следствие есть... личная выгода. Заметьте, что холодные люди вообще бывают великие эгоисты. В них действует более ум, нежели сердце; ум же всегда обращается к собственной пользе, как магнит к северу. Делать добро, не зная для чего, есть дело нашего бедного, *безрассудного сердца*. Например, г. Пар*, мой здешний знакомец, всякое утро в одиннадцать часов является ко мне и спрашивает: «Куда хотите идти? Что видеть? С кем познакомиться? Я к вашим услугам». Отец его, будучи консулом в Архипелаге, женился на гречанке, которая воспитала сына своего в нашем исповедании. Г. Пар* считает за должность быть покровителем русских и по возможности делать им услуги. Имея привычку бродить всякое утро пешком, он находит во мне товарища, который иногда смешит его своими простосердечными вопросами и замечаниями и который, расставаясь с ним, всякий раз искренно говорит ему *спасибо!* Англичане всегда готовы одолжить вас таким образом.

Они горды – и всего более гордятся своею конституцией. Я читал здесь Делольма с великим вниманием. Законы хороши, но их надобно еще хорошо исполнять, чтобы люди были счастливы. Например, английский министр, наблюдая только некоторые формы или законные обыкновения, может делать все, что ему угодно: сыплет деньгами, обещает места, и члены парламента готовы служить ему. Малочисленные его противники спорят, кричат, и более ничего. Но важно то, что министр всегда должен быть отменно умным человеком для сильного, ясного и скорого ответа на все возражения противников; еще важнее то, что ему опасно во зло употреблять власть свою. Англичане просвещены, знают наизусть свои истинные выгоды, и если бы какой-нибудь Питт вздумал явно действовать против общей пользы, то он непременно бы лишился большинства голосов в парламенте, как волшебник своего талисмана. Итак, не конституция, а просвещение англичан есть истинный их палладиум. Всякие гражданские учреждения должны быть соображены с характером народа; что хорошо в Англии, то будет дурно в иной земле. Недаром сказал Солон: «Мое учреждение есть самое лучшее, но только для Афин». Впрочем, всякое правление, которого душа есть справедливость, благотворно и совершенно.

Вы слышали о грубости здешнего народа в рассуждении иностранцев:

с некоторого времени она посмягчилась, и учтивое имя french dog (французская собака), которым лондонская чернь жаловала всех неангличан, уже вышло из моды. Мне случилось ехать в карете с одним поселянином, который, узнав, что я иностранец, с важным видом сказал: «Хорошо быть англичанином, но еще лучше быть добрым человеком. Француз, немец – мне все одно; кто честен, тот брат мой». Мне крайне понравилось такое рассуждение; я тотчас записал его в дорожной своей книжке. Однако ж не все здешние поселяне так рассуждают: это был, конечно, вольнодумец между ими! Вообще, английский народ считает нас, чужеземцев, какими-то несовершенными, жалкими людьми. «Не тронь его, – говорят здесь на улице, – это иностранец», – что значит: «Это бедный человек или младенец».

Кто думает, что счастье состоит в богатстве и в избытке вещей, тому надобно показать многих здешних крезов, осыпанных средствами наслаждаться, теряющих вкус ко всем наслаждениям и задолго до смерти умирающих душою. Вот английский *сплин*! Эту нравственную болезнь можно назвать и русским именем: *скукою*, известною во всех землях, но здесь более, нежели где-нибудь, от климата, тяжелой пищи, излишнего покоя, близкого к усыплению. Человек – странное существо! В заботах и беспокойстве жалуется; все имеет, беспечен и – зевает. Богатый англичанин от скуки путешествует, от скуки делается охотником, от скуки мотает, от скуки женится, от скуки стреляется. Они бывают несчастливы от счастья! Я говорю о здешних *праздных* богачах, которых деда нажились в Индии, а *деятельные*, управляя всемирною торговлею и вымышляя новые способы играть мнимыми нуждами людей, не знают сплина.

Не от *сплина* ли происходят и многочисленные английские странности, которые в другом месте назвались бы безумием, а здесь называются только своенравием, или *whim*? Человек, не находя уже вкуса в истинных приятностях жизни, выдумывает ложные и, когда не может прельстить людей своим счастьем, хочет по крайней мере удивить их чем-нибудь необыкновенным. Я мог бы выписать из английских газет и журналов множество странных анекдотов: например, как один богатый человек построил себе домик на высокой горе в Шотландии и живет там с своею собакою: как другой, ненавидя, по его словам, землю, поселился на воде; как третий, по антипатии к свету, выходит из дому только ночью, а днем спит или сидит в темной комнате при свече; как четвертый, отказывая себе всё, кроме самого необходимого, в начале каждой весны дает деревенским соседям своим великолепный праздник, который стоит ему почти всего годового дохода. Британцы хвалятся тем, что могут досыта дурачиться, не

давая никому отчета в своих фантазиях. Уступим им это преимущество, друзья мои, и скажем себе в утешение: «Если в Англии позволено дурачиться, у нас не запрещено умничать, а последнее нередко бывает смешнее первого».

Но эта неограниченная свобода жить как хочешь, делать что хочешь во всех случаях, не противных благу других людей, производит в Англии множество *особенных* характеров и богатую жатву для романистов. Другие европейские земли похожи на регулярные сады, в которых видите ровные деревья, прямые дорожки и все единообразное; англичане же в нравственном смысле растут, как дикие дубы, по воле судьбы, и хотя все одного рода, но все различны; и Фильдингу оставалось не выдумывать характеры для своих романов, а только примечать и описывать.

Наконец – если бы одним словом надлежало означить народное свойство англичан – я назвал бы их угрюмыми так, как французов^[605] – легкомысленными, италийцев – коварными. Видеть Англию очень приятно; обычаи народа, успехи просвещения и всех искусств достойны примечания и занимают ум ваш. Но жить здесь для удовольствий общежития есть искать цветов на песчаной долине – в чем согласны со мною все иностранцы, с которыми удалось мне познакомиться в Лондоне и говорить о том. Я и в другой раз приехал бы с удовольствием в Англию, но выеду из нее без сожаления.

Море

Я не сдержал слова, любезнейшие друзья мои! Оставляю Англию – и жалею! Таково мое сердце: ему трудно расставаться со всем, что его хотя несколько занимало.

Итак, друг ваш уже на море! Возвращается в милое отечество, к своим любезным! Скорее, нежели думал! Отчего же? Скажу вам правду. Кошелек мой ежедневно истощался, становился легче, легче, звучал слабее, слабее; наконец рука моя оцупала в нем только две гинеи... Мне оставалось бежать на биржу, скорее, скорее; уговориться с молодым капитаном Виллиамсом, взлезть по веревкам на корабль его и, сняв шляпу, учтиво откланяться с палубы Лондону. – Меня провожал русский парикмахер Федор, который здесь живет семь или восемь лет, женился на миловидной англичанке, написал над своею лавкою: «Fedor Ooshakof», салит голову лондонским щеголям и доволен, как царь. Он был в России экономическим крестьянином и служит всем русским с великим усердием.

Капитан ввел меня в каюту, очень изрядно прибранную, указал мне постелю, сделанную, как гроб, и в утешение объявил, что одна прекрасная

девица, которая плыла с ним из Нового Йорка, умерла на ней горячкою. «Жеребей брошен, – думал я, – посмотрим, будет ли эта постеля и моим гробом!» – Страшный дождь не позволил мне дышать чистым воздухом на палубе; я лег спать с одною гинеею в кармане (потому что другую отдал парикмахеру) и поручил судьбу свою волнам и ветрам!

Сильный шум и стук разбудил меня: мы снимались с якоря. Я вышел на палубу... Солнце только что показалось на горизонте. Через минуту корабль тронулся, зашумел и на всех парусах пустился сквозь ряды других стоящих на Темзе кораблей. Народ, матрозы желали капитану счастливого пути и маханием шляп как будто бы давали нам благополучный ветер. Я смотрел на прекрасные берега Темзы, которые, казалось, плыли мимо нас с лугами, парками и домами своими, – скоро вышли мы в открытое море, где корабль наш зашумел величественнее. Солнце скрылось. Я радовался и веселился необозримостию пенистых волн, свистом бури и дерзостью человеческою. Берега Англии темнели...

Но у меня самого в глазах темнеет; голова кружится...

Здравствуйте, друзья мои! Я ожил!.. Как мучительна, ужасна морская болезнь! Кажется, что душа хочет выпрыгнуть из груди; слезы льются градом, тоска несносная... А капитан заставлял меня есть, уверяя, что это лучшее лекарство! Не зная, что делать, я сто раз ложился на постелью, сто раз садился на палубе, где морская пена окропляла меня. Не подумайте, что это риторическая фигура; нет, волны были в самом деле так велики, что иногда переливались через корабль. Одна из них чуть было не сшибла меня в то глубокое отверстие корабля, где лежат острые якоря. Болезнь моя продолжалась три дни. Вдруг засыпаю крепким сном – открываю глаза, не чувствую никакой тоски – едва верю себе – встаю, одеваюсь. Входит капитан с печальным видом и говорит: «Ветер утих: нет ни малейшего веяния; корабль ни с места: страшная тишина!» – Я выбежал на палубу: прекрасное зрелище! Море стояло, как неподвижное стекло, великолепно освещаемое солнцем: парусы висели без действия, корабль не шевелился, матрозы сидели, повеся голову. Все были печальны, кроме меня; я веселился, как ребенок, и здоровьем своим, и картиною морской, почти невероятной тишины. Вообразите бесконечное гладкое пространство вод и бесконечное, во все стороны, отражение лучей яркого света!.. Вот зеркало, достойное бога Феба! – Казалось, что в мире не было ничего, кроме воды, неба, солнца и корабля нашего. Через час нашли легкие облака, повеял ветерок, море заструилось, и парусы вспорхнули.

Нам встретились норвежские рыбаки. Капитан махнул им рукою – и

через две минуты вся палуба покрылась у нас рыбою. Не можете представить, как я обрадовался, не ев три дни и крайне не любя соленого мяса и гороховых пудингов, которыми английские мореходцы потчевают своих пассажиров! Норвежцы, большие пьяницы, хотели сверх денег рому, пили его, как воду, и в знак ласки хлопали нас по плечам. – В сию минуту приносят нам два блюда рыбы. Вы знаете, что такое хороший обед для голодного!..

Опять страшный ветер, но попутный. Я здоров совершенно, бодр и весел. Мысль, что всякую минуту приближаюсь к отечеству, живит и радует мое сердце. Слушаю шум моря; смотрю, как быстрый корабль наш черною своею грудью рассекает волны; читаю Оссиана и перевожу его «Картона».^[606] Нынешняя ночь была самая бурная. Капитан не спал, боясь опасных скал Норвегии. Я вместе с ним сидел у руля, дрожал от холодного ветра, но любовался седыми облаками, сквозь которые проглядывала луна, прекрасно разливая свет свой на миллионы волн. Какой праздник для моего воображения, наполненного Оссианом! Мне хотелось увидеть норвежские дикие берега на левой стороне, но взор мой терялся во мраке. Вдруг слышим вдали пушечный выстрел, другой, третий. «Что это?» – спрашиваю у капитана. «Может быть, какой-нибудь несчастный корабль погибает, – отвечал он, – здешнее море ужасно для плователей». Бедные! Кто поможет им во мраке? Может быть, страшный ветер сорвал их мачты, может быть, нашли они на мель; может быть, вода заливают уже корабль их!.. Мы слышали еще два выстрела и, кроме шума волн, уже ничего не слышали... Капитан наш сам боялся сбиться с верного пути и беспрестанно при свете фонаря смотрел на компас. – Все наши матрозы спали, кроме одного караульного. Когда хотя мало переменится ветер, караульный закричит; в минуту все выбегут, бросятся к мачтам, и другие парусы веют. Корабль наш очень велик, но матрозов только 9 человек. – Я лег спать в три часа, и сильное качание корабля в первый раз показалось мне роскошью. Так качают детей в колыбели!

Море

Мария В* родилась в Лондоне. Отец ее был один из самых ревностных противников министерства – возненавидел Англию и, продав свое имение, переселился в Новый Йорк. Мария, жертва его политического упрямства, оставила в Лондоне свое сердце и счастье – у нее был тайный любовник и жених, молодой, добродетельный человек. Пять лет жила она в Америке – лишилась отца, искренно оплакивала смерть его и спешила возвратиться в отечество, будучи уверена в постоянстве своего друга. Опасности моря не

устрашали ее; она села на корабль, одна с своею любовью и с милою надеждою, – но в самый первый день плавания занемогла жестокою болезнью. Капитан советовал ей возвратиться. «Нет, – говорила Мария, – я хочу умереть или быть в Англии: каждый день для меня дорог». Болезнь усилилась и повредила ее рассудок. Ей казалось, что она сидит уже подле жениха своего и рассказывает ему о горестях прошедшей разлуки. «Теперь я счастлива, – говорила Мария в беспамятстве, – теперь могу спокойно умереть в твоих объятиях». Но друг ее был далеко, и Мария скончалась на руках служанки своей. Вообразите, что несчастную бросили в море! Вообразите, что я сплю на ее постеле!.. «Так и меня бросите в море, – говорю капитану, – если умру на корабле вашем?» – «Что делать?» – отвечает он, пожимая плечами. Это ужасно! Земля, земля! Приготовь в тихих недрах своих укрозное местечко для моего праха! Довольно, что мы и живые по волнам носимся, а то быть еще и по смерти игралищем бурной стихии!..

Нынешний день море в самом деле едва не поглотило нас. Корабельный мастер выпил стакана четыре водки, не приметил флага, поставленного на мели для предостережения мореплавателей, – и капитан увидел беду в самую ту минуту, когда мы были уже в нескольких саженьях от подводных камней, побледнел, закричал – матрозы бросились на мачты – парусы упали, и корабль пошел в другую сторону. Чудное проворство! С англичанами весело и умереть на море! Это подлинно их стихия. – Мастеру досталось от капитана. Он хотел его бить, хотел перекинуть его через борт. Пьяница залился горькими слезами и сказал: «Капитан! Я виноват; утопи меня, но не бей. Англичанину смерть легче бесчестья».

Между тем, друзья мои, я в восемь дней удивительным образом привык к Нептунову царству и рад плыть куда угодно. – Буря не утихает, корабль беспрестанно идет боком, и на палубе нельзя ступить шагу без того, чтобы не держаться за веревки. В каюте все вещи (посуда, сундуки) прибиты гвоздями, но часто от сильных порывов гвозди вылетают, и делается страшный стук. – Я уже различаю флаги всех наций, и как скоро встретится нам корабль, кричу в трубу: «From whence you come?»^[607] Это забавляет меня.

Вчера ночевали мы перед самым Копенгагеном. Как мне хотелось в город! Жестокий капитан не дал лодки.

Кронштат

Берег! Отечество! Благословляю вас! Я в России и через несколько дней буду с вами, друзья мои!.. Всех останавливаю, спрашиваю,

единственно для того, чтобы говорить порусски и слышать русских людей. Вы знаете, что трудно найти город хуже Кронштата, но мне он мил! Здешний трактир можно назвать гостиницею нищих, но мне в нем весело!

С каким удовольствием перебираю свои сокровища: записки, счета, книги, камешки, сухие травки и ветки, напоминающие мне или сокрытие Роны, *la perte du Rhone*, или могилу отца Лоренза, или густую иву, под которою англичанин Поп сочинял лучшие стихи свои! Согласитесь, что все на свете крезы бедны передо мною!

Перечитываю теперь некоторые из своих писем: вот зеркало души моей в течение осьмнадцати месяцев! Оно через 20 лет (если столько проживу на свете) будет для меня еще приятно – пусть для меня одного! Загляну и увижу, каков я был, как думал и мечтал; а что человеку (между нами будь сказано) занимательнее самого себя?.. Почему знать? Может быть, и другие найдут нечто приятное в моих эскизах; может быть, и другие... Но это их, а не мое дело.

А вы, любезные, скорее, скорее приготовьте мне опрятную хижинку, в которой я мог бы на свободе веселиться *китайскими тенями* моего воображения, грустить с моим сердцем и утешаться с друзьями!

| |
|--------------|
| notes |
|--------------|

Примечания

В идиллии Геснера Карамзина привлекло изображение идеальносчастливой жизни швейцарцев в свободной республике. «Вольность, сия дражайшая вольность делает счастливой всю страну», – читаем мы в переводе. Подробнее об этом см.: Кросс О. Разновидности идиллии в творчестве Карамзина. – В кн.: XVIII век. Сборник 8. Л., 1969.

Дмитриев И. И. Соч., т. 2. СПб., 1893, с. 26.

См.: Сиповский В. В. Н. М. Карамзин, автор «Писем русского путешественника». СПб., 1899, с. 18 (Приложения).

Переписка Карамзина с Лафатером. Сообщено доктором Ф. Вальдманом. Приготовлено к печати Я. Гротом. СПб., 1893, с. 20–21.

См.: Кафанова О. Б. «Юлий Цезарь» Шекспира в переводе Н. М. Карамзина. – Русская литература, 1983, № 2.

Переписка Карамзина с Лафатером, с. 20.

Известно, что Карамзин присутствовал на первом представлении «Недоросля» и, следовательно, был свидетелем огромного успеха комедии. За короткое время она трижды издавалась в России и была немедленно переведена на немецкий язык и издана в Вене.

Дмитриев И. И. Соч., т. 2. СПб., 1893, с. 25, 26–27.

Глинка С. Н. Записки. СПб., 1895, с. 13.

Обходя цензуру, Карамзин дает сокращенное заглавие книги; ее полное название: «О Ж.-Ж. Руссо, одном из главных писателей, подготовивших революцию».

Белинский В. Г. Собр. соч. в 9-ти т., т. 6. М., 1981, с. 104.

См.: Вацуро В. Э. Литературно-философская проблематика повести Карамзина «Остров Борнгольм». – В кн.: Державин и Карамзин в литературном движении XVIII – начала XIX века. Л., 1969.

Герцен А. И. Собр. соч. в 30-ти т., т. 6. М., 1955, с. 12, 10.

См.: Сиповский В. В. Н. М. Карамзин, автор «Писем русского путешественника».

Московские ведомости, 1790, № 89, 6 ноября.

Московский журнал, 1791, ч. 3, сентябрь, с. 298.

См. специально посвященный этой проблеме сборник статей: XVIII век. 13. Проблемы историзма в русской литературе. Конец XVIII – начало XIX в. Л., 1981.

Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч. в 15-ти т., т. 4. М., 1948, с. 222.

Белинский В. Г. Собр. соч. в 9-ти т., т. 6. с. 95.

Неизданные сочинения и переписка Н. М. Карамзина, ч. I. СПб., 1862, с. 9. (Слова эти были сказаны по-французски.)

Неизданные сочинения и переписка Н. М. Карамзина, ч. I, с. 11–12.

Герцен А. И. Собр. соч. в 30-ти т., т. 7, с. 190–192.

Подробнее об историзме «Истории государства Российского» см. в главе: «Карамзин и Просвещение. Формирование исторического мышления. „История государства Российского“. Карамзин и Вальтер Скотт». – В кн.: Купреянова Е. Н., Макогоненко Г. П. Национальное своеобразие русской литературы. Очерки и характеристики. Л., 1976, с. 169–195.

Пушкин А. С. Полн. собр. соч. в 10-ти т., т. 8. Л.—М., 1949, с. 67–68.

Вестник Европы, 1803, № 18, с. 120.

Карамзин Н. М. Соч., т. 8. М., 1820, с. 51.

История государства Российского, т. 12. СПб., 1829, с. 94.

Неизданные сочинения и переписка Н. М. Карамзина, ч. I, с. 206.

Русская старина, 1890, № 9, с. 453.

Маркс К., Энгельс Ф. Соч., изд. 2-е, т. 20, с. 23.

Си...нова... – Симонова монастыря.

Там часто тихая луна, сквозь зеленые ветви, посребряла лучами своими светлые Лизины волосы, которыми играли зефиры и рука милого друга; часто лучи сии освещали в глазах нежной Лизы блестящую слезу любви, осушаемую всегда Эрастовым поцелуем. Они обнимались – но целомудренная, стыдливая Цинтия не скрывалась от них за облако: чисты и непорочны были их объятия. – Цинтия (рим. миф.) – одно из имен Артемиды. Артемида (греч. миф.) – дочь Зевса, сестра бога света Аполлона, вечно юная, прекрасная богиня Луны, благословляющая и дающая счастье в браке.

Впервые – альманах «Аглая», 1794, ч. 1.

Во время древности странники, возвращаясь в отечество, посвящали жезлы свои Меркурию.

...приятель мой доктор NN... – Речь идет о Готфриде Беккере, датском химике, который вместе с Карамзиным путешествовал по Швейцарии.

В самом деле, пена волн часто орошала меня, лежащего почти без памяти на палубе.

Впервые – альманах «Аглая», 1795, ч. 2. Под заглавием «Элегический отрывок из бумаг N» указана дата написания – 1793. В последующих публикациях это заглавие было снято.

То есть Черная гора.

...не переменил почти ничего... – Эти слова, как и утверждение, что текст представляет собой подлинные письма друзьям, являются литературной мистификацией: вплоть до последнего издания Карамзин не прекращал работы над «Письмами».

...сидящего на больших ученых креслах... – В XVIII в. профессора читали лекции, сидя в кресле на высоких ножках, которое водружалось на кафедре.

...советую читать Бишингову «Географию». – Ср. скрытую цитату: «Читай Бишинга – от скуки» (Радищев А. Н. Полн. собр. соч., т. 1. М.—Л., 1938, с. 33).

...Тверь, 18 мая 1789. – До переезда границы Карамзин указывает даты по старому стилю, в пограничной области дает двойные даты, а затем переходит на европейскую датировку. Разница между русским и европейским календарем XVIII в. – одиннадцать суток.

Готический дом – так называлась «Меншикова башня» в Москве у Мясницких (ныне Кировских) ворот, построенная архитектором И. П. Зарудным, вид на которую открывался из окон «Дружеского ученого общества», или «енгалычского дома» – масонского «общезития», в котором жил Карамзин в Москве в 1786–1789 гг. Готический – здесь: старинный.

...Прв. – А. А. Петров.

...выплакать сердце свое... – Слова Кассия из трагедии «Юлий Цезарь» (д. IV, сц. 3). В 1787 г. трагедия эта была издана в Москве в переводе Карамзина.

*Д** – Александр Иванович Дмитриев. В 1789 г. А. И. Дмитриев переживал душевную депрессию (см.: Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву. СПб., 1866, с. 14).

Его уже нет в здешнем свете.

...Поеду искать смерти... – В 1790 г. шла война со Швецией, на которую отправлялся Дмитриев как подполковник Суздальского мушкетерского полка.

Один из моих приятелей, будучи в Нарве, читал Крамеру сие письмо – он был доволен – я еще больше!

Языки их сходны... – Лифляндия включала в себя Южную Эстонию с г. Тарту (Дерптом), к Эстляндской губернии принадлежала лишь Северная Эстония. Говоря о языке эстляндцев и лифляндцев, Карамзин с большим лингвистическим чутьем сопоставил североэстонский (таллинский) и южноэстонский (тартуский) диалекты, которые в конце XVIII в. существовали как равноправные, претендуя на то, чтобы сделаться основой литературного письменного языка. Указание, что языки эти «имеют в себе... много немецких и даже несколько славянских слов», свидетельствует, что Карамзина интересовала в первую очередь абстрактная, а не бытовая лексика.

...они все немецкие слова смягчают в произношении... —Карамзин проявляет хорошую осведомленность в фонетике эстонского языка, в частности имея в виду отсутствие в нем шипящих и замену их в заимствованных словах свистящими. В сознании Карамзина это могло ассоциироваться с «нежным» произношением парижских петиметров и русских щеголей, также заменявших в своей речи «грубые» шипящие «мягкими» свистящими звуками. Источником сведений Карамзина об эстонском языке мог быть брат Якоба Ленца (см. ниже), дерптский пастор, бывший также лингвистом и первым преподавателем эстонского языка в Дерптском университете.

...работающие господа со страхом и трепетом... – неточная цитата из псалтыри (2, 11). Карамзин недвусмысленно выразил здесь отрицательное отношение к крепостническим порядкам в Прибалтике. Такое же отношение было свойственно А. Р. Воронцову и Радищеву (см. его «Памятник дактило-хореическому витязю»). Посещение Карамзиным в Петербурге перед началом путешествия А. Р. Воронцова представляется весьма вероятным.

...напоминать о падении апостола Петра... – Согласно евангелию, апостол Петр в ночь ареста Христа трижды от него отрекся, а когда пропел петух, вспомнил, что падение было ему заранее предсказано Учителем, и заплакал от раскаяния.

Проповеди говорятся на их языке... – Для формирования лингвистической позиции Карамзина и его отношения к церковно-славянскому языку характерно внимание писателя к тому, что лютеранские пасторы в Прибалтике проповедают на том же языке, на котором говорит народ.

Ленца, немецкого автора, который несколько времени жил со мною в одном доме. Глубокая меланхолия, следствие многих несчастий, свела его с ума; но в самом сумасшествии он удивлял нас иногда своими пиитическими идеями, а всего чаще трогал добродушием и терпением.

...поэму шестнадцатилетнего Л... – «Народные бедствия, стихотворение в 6 частях». Л. – Якоб Ленц – «бурный гений», друг Гете и Шиллера, жил последние двенадцать лет в Москве, был близок к кружку Новикова – Кутузова и оказал большое влияние на литературные вкусы Карамзина; сошел с ума и умер в крайней нищете. Осведомленность Карамзина в раннем, мало кому известном творчестве Ленца говорит о большой степени близости. Ленц в 1770 г. написал восторженное стихотворение в честь Канта. Решение Карамзина начать свое путешествие с посещения Канта – возможное свидетельство того, что планы путешествия обсуждались в Москве не только с масонскими наставниками, с одной стороны, и дружеским кругом Плещеевых – с другой, но и с Ленцем.

Благочиние – разговорное название управы благочиния, то есть полицейского управления.

Илью отправлю... – Крепостные слуги сопровождали господ, как правило, до границы, после чего нанимались «вольные». Право собственности русского дворянина на своего крепостного в Европе автоматически уничтожалось.

Аптекарский счет – счет, в котором оплата ведется на унции; здесь: мелочный, скрупулезный счет.

...вне отечества... – Курляндия входила в XVIII в. в Российскую империю не как губерния, а в качестве полусамостоятельного герцогства со столицей в Митаве (теперь Елгава).

...Готшедову «Граматику»... – «Основания грамматического искусства немецкого языка» И. Х. Готшеда (1700–1766).

...гуляя с Пт... – с А. А. Петровым.

Некогда начал было я писать роман... – Следов этого замысла не сохранилось.

Ваш покорный слуга! (фр.) – Ред.

...взять ее в 57 году. – Мемель был взят русскими войсками под командованием генерала Фермера 18 июня 1757 г. во время войны с Пруссией.

...рыцарем веселого образа... – по контрасту с рыцарем печального образа, Дон Кихотом.

Какая красивая местность! (фр.) – Ред.

Кто вы такие? (нем.) – Ред.

«*Wer seid ihr?*» имеет то же значение, что и «*Wer sind Sie?*», но звучало в языке XVIII в. значительно более фамильярно. Грубость обращения Карамзин подчеркнул тем, что написал «*ihr*», вопреки правилам, со строчной буквы, жертвуя грамматикой ради передачи интонации.

О чем он спрашивает, мосье Никола? (фр.) – Ред.

Можно ли ему курить. (фр.) – Ред.

Скажите, что можно (фр.). – Ред.

Что слышно о шведах, о турках? – В 1789 г. Россия воевала с Турцией и Швецией.

Все свои замечания писал я в дороге серебряным пером.

...дело постороннее. – Карамзин выделил это выражение курсивом как неологизм (калька с нем. – Nebensache), в современном значении – второстепенное.

Он знает Лафатера... – Критике физиогномического учения Лафатера Кант посвятил несколько строк в «Антропологии», назвав его «дешевым товаром» (см.: Кант И. Соч. в 6-ти т., т. 6. М., 1966, с. 546).

«Критика практического разума» и «Метафизика нравов» (нем.) – Ред.

*И** – Иван Исаков, русский консул в Кенигсберге в 1789 г.

Пойдемте к нему! (фр.) – Ред.

Прощайте! (фр.) – Ред.

...без ремней... – В XVIII в. стальные рессоры в колясках считались дорогостоящим новшеством; чаще карета подвешивалась на ремнях, которые крепились к выступам ходовой части.

...к секте перекрестителей... – то есть анабаптистов.

...видеть славную Эйхелеву картину... – Имеется в виду «Страшный суд» Х. Мемлинга, в XVIII в. приписывавшийся А. Ван Дейку.

Автор начинал тогда учиться греческому языку; но после уже не имел времени думать о нем.

Аль-Коран. – Имеется в виду первое в России издание корана на арабском языке (СПб., 1787).

После читал я о магистере Ринге в прибавлении к «Йенским литературным ведомостям». Он известен в Германии по своей учености.

Место – здесь: площадь.

Тут пропасть – я выкинул штуку – я меняю это (нем., фр.). – Ред.

Империя – Австрия.

Брат Рамзей... – *Брат* – общепринятое обращение масона к масону.
Рамзей – прозвище Карамзина в дружеском кругу.

...к нашему королю пожаловала гостья, его сестрица. – Фридерика София Вильгельмина (1751–1820), жена Вильгельма V, штатгальтера нидерландского.

...Николаева описание Берлина... – Николаи Х.-Ф. Описание королевских резиденций Берлина и Потсдама (1769).

Ораниенбург – северо-восточное предместье Берлина.

...водил меня в зверинец... – Тиргартен, парк в Берлине.

...тайные иезуиты... – В то время как в католических княжествах Германии (прежде всего в Баварии) преследование иллюминатов (сторонников А. Вейсгаупта) приняло характер охоты за ведьмами, в лютеранских областях, главным образом в Пруссии, с не меньшей нетерпимостью развернулась кампания поисков «скрытых иезуитов». В ходе ее был высказан ряд безответственных личных обвинений.

«*Берлинский журнал*» – «*Берлинский ежемесячник*» (1783–1796), на страницах которого развернулись «разоблачения» скрытых иезуитов. Карамзин использовал эту полемику для того, чтобы высказать программную для всей книги идею: требование терпимости к чужой точке зрения в мире, раздираемом идейными конфликтами.

Придворный дармштатский проповедник, которого берлинцы объявили тайным католиком, иезуитом, мечтателем; который судился с издателем «Берлинского журнала» гражданским судом и писал целые книги против своих обвинителей.

...певец Весны... – Эвальд Клейст, автор поэмы «Весна» (1749).

...Коцебу, ревельским жителем... – Август Коцебу имел поместье под Ревелем (Таллином), подаренное ему Павлом I.

«*Медея*» – опера (1775) чешского композитора Йиржи (Георга) Бенды (1722–1795).

Я слышал эту славную певицу... – М.-Л. Тоди пела в Москве с 1784 по 1787 г.

...подарил мне оду... – Имеется в виду «Dankopfer für den Landsvater eine Davidische Cantate dem Könige Friedrich Wilhelm II gewidmet» – «Дань благодарности отцу отечества, кантата из псалмов Давида, посвященная королю Фридриху Вильгельму II» (Ramlers K. W. Poetische Werke, II Theil. Berlin, 1801, s. 43–48).

«Антон Райзер» (нем.). – Ред.

«Исповедь Ж.-Ж. Руссо» (фр.). – Ред.

«История моей молодости» Штиллинга (нем.). – Ред.

«Путешествие немца по Англии» (нем.). – Ред.

«О языке в психологическом отношении» (нем.). – Ред.

«Картины семейной жизни» (нем.). – Ред.

То есть падучая болезнь.

Человек предполагает, а бог располагает (фр.). – Ред.

...тросью своею провел на песке длинную змейку... – Здесь Карамзин, видимо по памяти, цитирует Стерна. Это место из романа «Жизнь и мнения Тристрама Шенди» (т. IX, гл. 4) звучит так: «Ничего не может быть грустнее пожизненного заключения, – продолжал капрал, – и слаще свободы, ваша милость». – «Ничего, Трим», – повторил мой дядя Тоби в раздумьи. «Пока человек свободен, – воскликнул капрал и кончил свою мысль, описав палкой по воздуху такую линию». Далее в романе следует змееобразная прихотливая черта, которая должна иллюстрировать мысль Стерна о связи свободы и игры.

То есть ничего не может быть приятнее свободы.

...не последнюю пиесю между гогардскими карикатурами. – Бытовые зарисовки и карикатуры У. Хогарда пользовались популярностью в «предромантической» среде. В них усматривали проявление стернианской иронии в живописи.

...пошел я в славную картинную галерею... – Искусствоведческий экскурс, включенный здесь Карамзиным в текст «Писем», создал традицию оценки западноевропейских художников в русской литературе. Рассказ о том, что Микеланджело «умертвил человека», вспоминает Сальери в драме Пушкина «Моцарт и Сальери».

Юлий Роман, лучший Рафаэлев ученик, имел плодотворное воображение и был весьма искусен в рисовке. Все фигуры его вообще очень хороши. Только жаль, что он следовал антикам более, нежели натуре! Можно сказать, что рисунки его слишком правильны и оттого все его лица слишком единообразны. Тело он писал кирпичного цвета, так, как Микель-Анджело, и краски его вообще темны. Он родился в 1492, а умер в 1546 году.

Немногие из живописцев имели такое плодотворное воображение, как Аннибал Караччи, и немногие превзошли его в рисовке; а в последних его картинах, писанных в Риме, и самые краски очень хороши. Лучшее произведение его кисти есть Фарнезская галерея в Риме, над которою он восемь лет трудился и за которую заплатили ему весьма худо, для того что у него было много завистников и неприятелей. Он родился в 1560, а умер в 1609 году. Его погребли подле Рафаэля, которого он любил более всех живописцев.

Тинторет, венецианский живописец, старался в своих картинах соединить вкус Микель-Анджело с Тициановым, то есть первому подражал он в рисунках, а второму в красках. (Тициан считается первым колористом в свете.) Картины его весьма неравной цены, и потому говорили о нем, что он пишет иногда золотою, иногда серебряною, а иногда железною кистию. Он родился в 1512, а умер в 1594 году.

В Бассановых картинах надобно удивляться живописи красок, а в рисовке был он не весьма искусен, подобно всем венецианским живописцам. Тело писал очень живо, а платье нехорошо. Ландшафты его прекрасны. – Он родился в 1570, а умер в 1592 году.

Во всех Джиордановых картинах видна отменная легкость кисти; но как он писал слишком много, то почти все картины его недоделаны, и вообще рисовка не очень правильна. Главною его моделью был Павел Веронез; но он умел подражать всем лучшим живописцам, так что самые знатоки иногда обманывались и принимали его подражание за оригинал. – Он родился в Неаполе в 1632, а умер в 1705 году.

Салватор Роза, неаполитанский живописец, писал лучше ландшафты, нежели исторические картины. Фигуры его по большей части неправильны, однако ж в них видна смелая кисть и отменная живость. Деревья, горы и вообще всякие виды писал он прекрасно. Родился в 1615, а умер в 1675 году.

В картинах Николая Пуссеня, славного французского живописца, видны высокие мысли и живое выражение страстей; рисовка его правильна, но краски не очень хороши. В сем подобен он римским живописцам, которые вообще не уважают колорита. Ландшафты его прекрасны. Он родился в 1594, а умер в 1663 году.

Рубенс по справедливости называется фландрским Рафаэлем. Какой пиитический дух виден в его картинах! Какие богатые мысли! Какое согласие в целом! Какие живые краски, лица, платья! Он никак не хотел подражать антикам и писал все с натуры. К совершенству его картин недостает той правильности в рисовке, которою славится римская школа. – Рубенс способен был не только к живописи, но и к важным государственным делам и, будучи посланником в Англии, умел согласить Карла I на мир с Испанией. Возвратясь во Фландрию, женился он на Елене Форман, славной красавице, которая часто служила ему моделью. Он родился в 1577, а умер в 1640 году.

Фан Дик, Рубенсов ученик, есть, конечно, первый портретный живописец в свете. Колорит его не уступает Рубенсову: головы и руки писал он прекрасно. Но для исторической живописи был уже не так способен, для того что не имел Рубенсова политического духа. Король Карл I призвал его в Англию, где он мог бы обогатиться от своей работы, если бы жил умереннее и не прилепился к алхимии. Он родился в 1599, а умер в 1641 году.

...где г. Маттей достал сии рукописи? – Как выяснилось впоследствии, Маттей похитил эти рукописи в Московском университете.

Сад при Цвингере (нем.). – Ред.

Секретарь министра – секретарь посла. Русским посланником в Саксонии в эти годы был кн. А. М. Белосельский-Белозерский, секретарем его в 1789 г. был Г. П. Смирнов.

Молодая крестьянка с посошком была для меня аркадскою пастушкою. – Отрывок этот пародировался И. А. Крыловым в повести «Кайб».

«*О государь мой! – возразил студент...*» – Карамзин вкладывает в уста «прагского студента» возражения Канта Мендельсону, предлагая читателю три точки зрения: Мендельсона, Канта и Лафатера. Обрывая с помощью стернианского приема спор, он уклоняется от навязывания читателю своего решения проблемы.

Один древний поэт сказал... – Источник цитаты неизвестен.

Там, где Мейсен орошается волнами Эльбы, – плодородная и во всех отношениях благодаря зеленеющей почве приятная местность (лат.). – Ред.

...сообразно с Боннетовой гипотезой... – Карамзин имеет в виду изложение Ш. Бонне сенсуалистической концепции сознания, согласно которой чувства, воспринимая импульсы из внешнего мира, запечатлевают их в фибрах мозга. Свой перевод этого отрывка из Бонне Карамзин в 1797 г. опубликовал в «Пантеоне иностранной словесности».

*Профессор **** – Шаден, в пансионе которого в Москве обучался Карамзин в 1779–1783 гг.

...читать Вейсееву «Элегию на смерть Геллерта»... – «Elegie bey dem Grabe Gellerts» (Weisse Ch. F. Kleine lyrische Gedichte, 3 Band. Lpz., 1772, s. 135–156).

...Иерусалемовой книги «О религии»... – Имеется в виду «Betrachtungen über vornehmster Wahrheiten der Religion» (1768) – «Размышления о важнейших истинах религии».

Он помнит К и Р*...* – Имеются в виду А. М. Кутузов и А. Н. Радищев, которые обучались в Лейпциге и слушали лекции Платнера в 1766–1772 гг. Упоминание осужденного Радищева и находящегося в опале Кутузова, хотя и прикрытое прозрачными инициалами, представляло в 1791 г. акт гражданского мужества со стороны Карамзина.

«...ваши „Афоризмы“ еще не были изданы...» – «Философские афоризмы», один из главных трудов Платнера, были изданы впервые в 1776 г.

...ужин – самый афинский... – Афинский ужин, симпозиум – пир мудрецов. Ср. повесть Карамзина «Афинская жизнь».

...десять песен «Мессиады» переведены на русский язык. – «Мессия, в десяти песнях, сочинения Клопштока», перевод А. М. Кутузова (Москва, 1785–1787).

...наименовал я две Эпические поэмы, «Россияду» и «Владимира»... – Отбор произведений, которыми представляет русскую литературу своей лейпцигской аудитории Карамзин, продиктован вкусами его московского окружения. Автор «Россияды» и «Владимира» М. М. Херасков признавался в новиковском кругу первым русским поэтом.

... в напудренном парике с кошельком. – Кошелек – сетка, в которую укладывалась коса парика.

...разные пьесы из его «Друга детей» переведены на русский, и некоторые мною. – Карамзин переводил педагогические рассказы Вейсе для «Детского чтения», журнала Новикова.

У него есть рукописная история нашего театра... – Текст ее до нас не дошел.

Его конец – вечер прекрасного дня (фр.). – Ред.

«Векфилдского священника» (англ.). – Ред.

...купил себе на дорогу Оссианова «Фингала» и «*Vicar of Wakefield*». – «Оссианов „Фингал“» (1762) – литературная подделка Дж. Макферсона (1738–1796), приписанная им кельтскому барду III в.; «Векфилдский священник» (1766) – повесть О. Голдсмита.

Так студенты называют граждан, и господину Аделунгу угодно почитать это слово за испорченное, вышедшее из латинского слова *Balistarum*. Сим именем назывались городские солдаты и простые граждане.

...обманщик Шрепфер... – Весь этот эпизод направлен против берлинского масонского центра, с руководителями которого Вельнером и Бишофсвердером Шрепфер находился в самой тесной связи и которые отказывались признать его шарлатаном. Эпизод призван был также воздействовать на новиковский кружок, подталкивая его по пути перемены ориентации.

«Документы рода человеческого» (нем.). – Ред.

Я читал его «Бога»... – Имеется в виду сочинение И. Г. Гердера «Бог. Несколько бесед о системе Спинозы». Этим сообщением Карамзин подчеркивает знакомство как с ранними произведениями Гердера, так и с новыми: «Бог» вышел из печати в 1787 г.

То есть отдохновения. Сим именем называют еще и нынешние греки свои забавные краткие повести.

...новое издание его сочинений... – Имеется в виду восьмитомное издание сочинений Гете, которое начало выходить в Лейпциге в 1787 г. («гешеновское»).

Моя богиня (нем.). – Ред.

Какую бессмертную Венчать предпочтительно Пред всеми богинями Олимпа надзвездного? Не спорю с питомцами Разборчивой мудрости, Учеными строгими;

Но свежей гирляндю Венчаю веселую, Крылатую, милую, Всегда разнообразную, Всегда животворную, Любимицу Зевсову, Богиню Фантазию.

(Перевод с немецкого В. А. Жуковского. – Ред.)

Герцогиня Веймарская, мать владеющего герцога.

*Л**** – Якоб Ленц.

«*Печальная весна*»... – Имеется в виду стихотворение Карамзина «Весенняя песнь меланхолика».

«Опыт новой теории человеческой способности представлений»
(нем.). – Ред.

...выдавал «Магазин гишпанской и португальской литературы»... –
Отсюда Карамзин перевел балладу «Граф Гваринос».

Йорик – герой романов Л. Стерна «Жизнь и мнения Тристрама Шенди» (1760–1767) и «Сентиментальное путешествие» (1768).

«Монах и монахиня» (нем.). – Ред.

Вчера я брал... «Фиеско»... – Соединение в одном письме первого известия о революции в Париже и чтения «Фиеско» не случайно: пьеса Шиллера трактует о нравственных аспектах политической революции – вопросе, глубоко волновавшем и Карамзина.

...читал... Ифландовы драмы... – Трудно сказать, какие именно драмы А. В. Ифланда читал Карамзин. Ифланд был чрезвычайно плодовит (автор шестидесяти пяти оригинальных пьес и множества переводов и инсценировок). Писал в жанре мещанской драмы, чувствительный морализм которой импонировал Карамзину.

Это слово сделалось ныне обыкновенным: автор употребил его первый.

Они разрушили ратушу; они сожгли документы: они хотели повесить служащих магистрата (искажен. фр.). – Ред.

О Шекспир, Шекспир! – За этими словами следует цитата из «Отелло» Шекспира (акт III, сц. 1). Карамзин противопоставляет слова Шекспира как основание всеобщей этики «Золотым стихам пифагорейцев» – изложению нравственных начал учения Пифагора. (Ср.: Античные философы. (Свидетельства, фрагменты и тексты.) Сост. А. А. Аветисян. Киев, 1955, с. 38–40.)

То есть «Доброе имя есть первая драгоценность души нашей. Кто крадет у меня кошелек – крадет безделку; он был мой, теперь стал его и прежде служил тысяче других людей. Но кто похищает у меня доброе имя, тот сам не обогащается, а меня делает беднейшим человеком в свете».

...копии славных бельведерских антиков. – В Бельведерском дворце в Риме хранились многие памятники античной скульптуры (в том числе Аполлон), в настоящее время находящиеся в Ватикане.

*М**** – вероятно, Михаил Никитич Муравьев.

Лаокоон, брат Анхизов, не хотел допустить, чтобы трояне приняли в город деревянную лошадь, в которой скрывались греческие воины; боги, определившие гибель Трои, наказали его за сие сопротивление.

Вы уже во Франции, господа, с чем вас и поздравляю (фр.). – Ред.

Друзья мои! Друзья мои! – Да, мы ваши друзья! (фр.) – Ред.

Пусть ничто не сохранится от меня в мире, лишь бы остаться в памяти моих друзей! (фр.) – Ред.

Гольбеин писал левою рукою.

Лаиса – др. – греч. гетера, в переносном смысле – куртизанка.

Отец! Мать! Сын мой! Моя дочь! (фр.) – Ред.

Слово в слово с французского, но галлицизмы такого рода простительны.

Ночь представлена была в виде молодой женщины, держащей в своих объятиях двух мальчиков, белого и черного; один спал, а другой казался спящим: один означал сон, а другой – смерть.

Пишут, что он часто лекции свои начинал так: «Знайте, о медики! что колпак мой учение всех вас и что борода моя опытнее ваших академий! Греки, римляне, французы, итальянцы! я буду вашим царем».

Читатель, может быть, вспомнит о стрелах Аполлоновых, которые кротко умерщвляли смертных. Греки в мифах своих предали нам памятники нежного своего чувства. Что может быть, в самом деле, нежнее сего вымысла, приписывающего разрушение наше действию вечно юного Аполлона, в котором древние воображали себе совершенство красоты и стройности?

То есть немцев. – Штолберг перевел «Илиаду».

...похож на С. И. Г. – Имеется в виду масонский наставник Карамзина – Семен Иванович Гамалея.

Метопоскопия, хиромантия, подоскопия – псевдоучения о распознавании характеров по морщинам лба, линиям ладоней в формах ступни.

*T** – швейцарский священник Тоблер. Он, как и Лафатер, бывал в Москве. Был знаком с И. П. Тургеневым.

Подобно как в лоне гор Апеннинских, под кровом холмов, восходит мирт, удаленный от глаз человеческих, и бальзамическое свое благоухание разливает в пустыне, так цвела в уединении любезная Лавиния.

Одной из них нет уже на свете! Горы швейцарские! Вы не защитили ее от безвременной, жестокой смерти!

Желание автора исполнилось: некоторые из наших дам полюбили играть в вопросы и ответы.

«Статьи по философии» (нем.). – Ред.

...готов был на коленях извиняться перед Рейном... – Эпизод этот вызвал отклик Достоевского в «Зимних заметках о летних впечатлениях» (Полн. собр. соч. в 30-ти т., т. 5. Л., 1978, с. 48).

Не смейся над бедностью и над путями ее облегчения (нем.). – Ред.

Лафатер в печатном своем «Физиогномическом сочинении» бережется показывать в лицах те черты, которые означают худое: в сем письменном (которое, по его словам, никогда не должно быть напечатано) говорит вольнее. – «Памятник для путешественников» есть для меня одно из лучших его творений: он напечатан в «Hand-Bibliothek für Freunde» («Подручной библиотеке для друзей» (нем.). – Ред.).

«Цюрихское озеро» (нем.) – Ред.

«Кларисса» – роман (1747–1748) Сэмюэла Ричардсона.

То есть до которой достигнуть можно. Я осмелился по аналогии употребить это слово.

«Маленькие путешествия» (нем.). – Ред.

«Характеристика немецких поэтов» (нем.). – Ред.

*Граф М** – Адам Готтлоб Мольтке; господин Баг* – датский писатель Йенс Баггесен (Багезен).

На монументе Геснеровом изображены Поэзия и Натура в виде двух прекрасных женщин, плачущих над урной.

Англичане набросали ему целую тарелку серебряных денег... – Эпизод этот получил отклик в повести Л. Толстого «Из записок князя Д. Нехлюдова. Люцерн».

Песню пел он на италиянском языке.

Всякое лето тает на горах снег, и всякую зиму прибавляются на них новые снежные слои. Если бы можно было перечесть сии последние, то мы узнали бы тогда древность мира или по крайней мере древность сих гор.

Когда же?

*...наш доктор Оз** – известный русский естествоиспытатель Николай Яковлевич Озерцовский (1750–1827).

Посредством сигналов.

Остановись, сын Гельвеции! Здесь лежит дерзостное воинство, пред которым пал Литтих и трепетал престол Франции. Не число наших предков, не искуснейшее оружие, но согласие, оживлявшее руку их, победило врага. Познайте, братья, силу свою: она состоит в нашей верности. – Ах! Да обновится и ныне верность сия в сердцах ваших!

«У короны» (фр.). – Ред.

В «Литературном кафе» (фр.). – Ред.

Основание романа то же, и многие положения (situations) в «Вертере» взяты из «Элоизы», но в нем более натуры.

*П** – Платон Левшин, митрополит московский, церковный оратор и писатель конца XVIII в.

Здесь выпущено несколько строк, писанных не для публики.

Я жил тогда в деревне.

Подарено Вольтеру автором (фр.). – Ред.

Но я не могу одобрить Вольтера, когда он от суеверия не отличал истинной христианской религии, которая, по словам одного из его соотечественников, находится к первому в таком же отношении, в каком находится правосудие к ябеде.

Тогда я так думал.

Известно, что Вольтер принял к себе в Ферней многих художников, которые принуждены были оставить Женеву.

Строгий, любезный Руссо! – Имеется в виду «Письмо к Д'Аламберу», в котором Руссо предостерегал женеvцев от развращающего действия театра.

Руссо с великим жаром утверждал, что театр вреден для нравов.

«*Эдин*» – Вероятно, имеется в виду «Эдип» Вольтера; такое же название носили трагедии Корнеля и Ламотта.

«*Кузнец*» – малозначительная комическая опера Филидора.

Лесбийская песнопевица – древнегреческая поэтесса Сапфо (Сафо).

220

Титул одного из его сочинений.

Я возношусь к вечной причине (фр.). – Ред.

Я возношусь к вечному разуму (нем.). – Ред.

В «Письмах, написанных на горе» (фр.). – Ред.

Мартенева друга... – то есть друга Луи-Клода Сен Мартена, прозванного «неизвестным философом», мистика и мыслителя-утописта XVIII в.

По французскому переводу.

Филемон и Бавкида – персонажи «Метаморфоз» Овидия и «Фауста» Гете, счастливая супружеская чета, сохранившая взаимную любовь до глубокой старости.

«Lettres sur l'Italie» («Письма об Италии» (фр.). – Ред.).

«Essai analytique sur l'ame» («Аналитический опыт о душе» (фр.). – Ред.).

«Чувствительный путешественник» (фр.). – Ред.

Мегадидактос – многоученый, микрологос – изучающий пустыни (греч.).

...сентиментальные, или чувствительные, здоровья – тосты.

Притель мой говаривал всегда с восхищением о будущих своих химических лекциях, которыми он хотел удивить всю ученую Данию.

Их называли всегда *magnifiques* (великолепными (фр.). – Ред.).

Он сочинил «Les Intérêts des Princes», «Le parfait Capitaine» («Интересы государей», «Образцовый полководец» (фр.). – Ред.) и другие книги.

Небо одарило его всеми талантами: он сражался, как герой; он писал, как мудрец*; он был велик, борясь со своим государем, и еще более велик, когда служил ему (фр.). – Ред.

От одного из тех, которые отвезли его в Голландию.

«История Танкреда» (фр.). – Ред.

Сей стих можно поставить в примере слабых и непиитических стихов.

Олимпия, могу ли я сказать это, не возбуждая вашего гнева? Великое сердце, которым восхищается Франция, по-видимому, свидетельствует против вас. Непобедимый Роган, которого боялись больше, чем грома, кончил свои дни на войне, и такова же была участь Танкреда. Это сходство, снискавшее ему славу, заставляет почти каждого верить, что прекрасная Олимпия ошибалась и что у этого юного Марса, столь достойного вечной памяти, было такое же блистательное рождение, как и смерть (фр.). – Ред.

...величайший из писателей осьмого-надесять века... – Ж.-Ж. Руссо.

...в азиатской одежде. – Руссо носил длинный халат, называя свою одежду «армянской».

В «Promenades solitaires» («*Promenades solitaires*» («Уединенные прогулки»)) – сочинение Руссо «Прогулки уединенного мечтателя» (1776–1778).).

Они ездили на несколько дней в Париж. – Длительное пребывание Путешественника в Женеве плохо мотивировано. Действительно ли Карамзин пробыл в этом городе со 2 октября 1789-го по 1 марта 1790 г. и чем он был занят все это время, по существу, неизвестно. Однако случайно оброненная фраза свидетельствует, что отлучки из Женевы в Париж были делом вполне обыкновенным и спутники Карамзина не упускали этой возможности.

Граф с восхищением говорит о своем путешествии, о Париже, Лионе... – Мольтке был в 1789–1790 гг. страстным поклонником французской революции и называл себя «гражданин Мольтке». Сочувственное отношение к ней Баггсена также документально засвидетельствовано.

Однако ж недавно выдал он многие пиесы в стихах.

«Отец наш!.. Отец наш!.. Мы...» (фр.). – Ред.

«Опыт о человеке» (англ.). – Ред.

«Quelques Notes additionnelles pour la Traduction en Langue Russe de la Contemplation de la Nature, par M...» («Несколько дополнительных примечаний к русскому переводу „Созерцания природы“» (фр.). Ред.).

В память этой ночной сцены храню я несколько блестящих камешков, находимых близ того места, где скрывается Рона.

...сказать им: *«И я живу на свете!»* – Карамзин пересказывает мысль Канта из «Предполагаемого начала человеческой истории»: «Склонность общаться должна была вначале побудить человека, пребывающего в одиночестве, сделать известным свое существование другим живым тварям [...] и широко вокруг себя дать знать о своем существовании». Эта работа Канта была опубликована в 1786 г. в «Берлинском ежемесячнике», чтение которого Карамзин засвидетельствовал в «Письмах».

«Миланской гостинице» (фр.). – Ред.

«Сутяги» (фр.). – Ред.

«*Les Plaideurs*» – комедия в стихах в трех актах Ж. Расина (премьера в «Комеди Франсез», 1668).

Душа сидит у него в ногах вопреки всем теориям [...], которые ищут ее в мозговых фибрах... – ироническая отсылка к рассуждению Стерна в «Тристраме Шенди» о местопребывании души (Стерн Л. Жизнь и мнения Тристрама Шенди. СПб., 1890, с. 147).

Граф Мирабо имел дело... – «Имел дело» – то есть имел дуэль (галлицизм). Беглый театральный разговор, который Карамзин специально приводит в виде невразумительного отрывка, должен намекнуть на одно из важнейших политических обстоятельств 1790 г. – вражду между Лафайетом и Мирабо. Несмотря на попытки скрыть от публики подлинную суть их отношений и образовать блок в борьбе за власть, в публике ходили многочисленные слухи об их взаимной враждебности. Сведений о дуэли между Мирабо и Лафайетом не имеется.

Да, да, конечно! (фр.) – Ред.

Да, сударь (датск.). – Ред.

Тем лучше! (фр.) – Ред.

Дикий камень – необтесанный, необработанный камень. Фальконе поставил статую Петра Великого не на пьедестал, а на имеющую символическое значение скалу. Выражение Карамзина имеет и другой смысл: в масонской терминологии «дикий камень» означает профана, человека, не приступившего еще к «работе каменщика» – самовоспитанию и усовершенствованию своей души.

Играли Руссова «Деревенского колдуна»... – Опера Ж.-Ж. Руссо, впервые была поставлена в 1752 г.

Я воображал его, как он, в бороде и в непричесанном парике... – Карамзин имеет в виду один из наиболее патетических и гражданственных эпизодов «Исповеди» Руссо: «В этот день я был в своем обычном небрежном виде: длинная борода и довольно плохо причесанный парик. Принимая этот недостаток благопристойности за проявление мужества, я вошел в таком виде в ту самую залу, куда должны были прибыть немного спустя король, королева, королевская семья и весь двор» (Руссо Ж.-Ж. Избр. соч. в 3-х т., т. 3. М., 1961, с. 328).

«...будучи принужден [...] часто вооружаться и ходить на караул, так, как и все прочие граждане». – Карамзин, по данным «Писем», прибыл в Лион в начале марта 1790 г. Город в это время был в состоянии крайнего возбуждения: в феврале – марте в Лионе произошли кровавые столкновения между буржуазной национальной гвардией и народом, захватившим арсенал. Олигархическая власть трех консулов была свергнута и создан на конституционной основе магистрат.

Женский монашеский орден.

... в огромной картезианской церкви... – Картезианский орден, основанный св. Бруно Кёльнским (между 1030/ 1040–1101), предписывал строгое уединение (монахам запрещались совместная жизнь, общие трапезы) и молчание. В литературе XVIII в. тема «картезианцев» имела двойной смысл. С одной стороны, к ней прибегали как к поэтическому образу одиночества, блаженного уединения от суеты. С другой – в образе жизни «молчаливых братьев» видели предельное искажение природы человека, «рожденного для общежития». На русской почве эта тема осложнилась созданием условной сатирической пары: молчащий картезианец и болтающий щеголь.

Мефитический – зловонный.

Басня Алфея и Аретузы... – Имеется в виду античный миф о нимфе Аретузе, которая, спасаясь от преследований Алфея, бросилась в море. Превратившись в реку, Алфей настиг ее.

...*Синав видит умерщвленного Трувора...* – Имеется в виду трагедия А. П. Сумарокова «Синав и Трувор» (1750). Карамзин отождествляет трагедии французского классицизма с художественно несовершенной, с его точки зрения, пьесой Сумарокова.

В Немецкой земле носят кортики на ремне через плечо.

Вы читали «Тристрама»... помните Амандуса... – Имеются в виду 132-я и 141-я главы «Тристрама Шенди» Стерна. Описание истории двух влюбленных – Амандуса и Аманды – имеет у Стерна иронический характер.

Кто хочет, рассмеется.

В двенадцати верстах от Авиньона.

В Неме много римских древностей.

Город Вьень.

Так говорит предание. Сию башню и сию пропасть показывают близ
Вьеня.

Индейская книга.

...напоминает мне духов в «Багват-Тете»... – Бхагаватгита – др. – инд. (на санскрите) поэма, входящая в эпос «Махабхарата». Интерес Карамзина к этому памятнику пробудился под влиянием А. А. Петрова, который был переводчиком книги: «Багуат-гета, или Беседы Кришны с Аржуном с примечаниями, переведенными с подлинника на древнем браминском языке, называемом Санскрита, на английский, а с сего на российский язык». М., В университетской типографии у Н. Новикова, 1788.

...поезжайте в Сирию, в Египет... – Рассуждение навеяно книгой Вольнея «Руины, или Размышления о революциях империй», которую Карамзин рецензировал в «Московском журнале» (1792, август, с. 150–151).

По «Тревуским памятным запискам» (фр.). – Ред.

«*Mémoires de Trevoux*» – издание (1701–1775) иезуитов, созданное для борьбы с философами-просветителями. Карамзин относился к иезуитам отрицательно и как адепт масонов, и как последователь философов-просветителей. Борьба с предрассудками и фанатизмом была для него одной из наиболее привлекательных сторон революции. В этом он видел реализацию идей века Разума. Вспышки религиозного фанатизма и резня между католиками и гугенотами, с которыми он столкнулся на юге Франции, усилили его неприязнь к иезуитам, питавшуюся еще немецкими впечатлениями (встреча с Николаи и др.).

Фонтенебло... – Описание Фонтенбло воспроизводит соответствующее место из книги Дюлора (Dulore J.-A. Nouvelle description des curiosite de Paris. Paris, 1786, p. 161).

Королевский Дом инвалидов (фр.). – Ред.

Берегись! Берегись! (фр.) – Ред.

«Британской гостиницы» (фр.). – Ред.

Брегет (Бреге) – прославленный часовой мастер в Париже, поддерживавший регулярные торговые связи с Россией. В XVIII в. путешественниками было принято отправлять свою корреспонденцию на адрес банкирских контор или известных торговых домов. Друзья Карамзина отправляли ему письма на адрес Бреге в Париже.

В саду Пале-Рояля (фр.). – Ред.

Система Декартовых вихрей... – Теория происхождения вселенной из вихреобразных потоков материи изложена Декартом в его «Началах философии» (ч. III, 1647).

... с яиц Леды... – перевод латинской поговорки «ab ovo», то есть с самого начала.

...сей город назывался некогда Лютециею... – Весь отрывок заимствован, как установил В. В. Сиповский, из кн.: Sainfoix. Essai historique Paris, 4 éd. t. I–V. Paris, 1768 (см.: Сиповский В. В. Н. М. Карамзин, автор «Писем русского путешественника», СПб., 1899, с. 287–288). Заимствуя у Сенфуа исторические сведения и цитаты, Карамзин, однако, обращался и к первоисточникам; слова Юлиана приведены им в более обширном объеме, чем у Сенфуа.

«Записки» Юлия Цезаря – «Комментарии на войну с галлами».

«*Мизопогона*» – сочинение императора Юлиана «Ненавистник бороды, или Антиохиец».

«Я провел зиму в моей любезной Лютеции, – говорит он, – она построена на острове и окружена стенами, которые омываются водами реки, приятными для глаз и вкуса. Зима бывает там обыкновенно не очень холодна, но в мое время морозы были так жестоки, что река покрылась льдом. Жители нагревают свои жилища посредством печей, но я не позволил развести огня в моей горнице, а велел только принести к себе несколько горящих угольев. Пар, который от них распространился по всей комнате, едва было не задушил меня, и я упал без чувства».

Окружить ли мне себя... – Карамзин перечисляет ряд трудов по истории Парижа. Некоторые фамилии авторов приводятся искаженно, а книги двух авторов вообще опознать не удалось.

...когда не Лаис, не Рено пленяли слух людей... – Когда «Письма» вышли в свет, Карамзину, конечно, было известно, что в годы революции Лаис сделался убежденным якобинцем и прославился исполнением «Марсельезы» со сцены, участием в патриотических спектаклях и выступлениями перед отбывающими на фронт войсками.

Братья Оссиановы – жрецы-друиды.

Обожатели дубового леса – друиды, исполнявшие обряды и жертвоприношения перед дубом, священным деревом галлов.

«Очерки Парижа» (фр.). – Ред.

Потому что нигде не продают столько ароматических духов, как в Париже.

Мостовая делается в Париже скатом с обеих сторон улицы, отчего в середине бывает всегда страшная грязь.

За порядочную наемную карету надобно заплатить в день рубли четыре. Можно ездить в фиакрах, то есть извозчичьих каретах, которые стоят на каждом перекрестке; правда, что они очень нехороши как снаружи, так и внутри; кучер сидит на козлах в худом камзоле или в ветхой епанче и беспрестанно погоняет двух – не лошадей, а лошадиных скелетов, которые то дернут, то станут – побегут, и опять ни с места. В сем экипаже можно за 24 су проехать город из конца в конец.

Тут молодой растрепанный франт встречается с пожилым, нежно напудренным петиметром... – Точное воспроизведение сцены с сатирической гравюры тех лет. Франт и петиметр выступают здесь как люди двух эпох: пожилой петиметр представляет XVIII в., молодой франт – эпоху предромантизма.

Между великолепными домами, к ним примыкающими, заметил я дом известного Бомарше. Сей человек умел не только странною комедиею вскружить голову парижской публике, но и разбогатеть удивительным образом; умел не только изображать живописным пером слабые стороны человеческого сердца, но и пользоваться ими для наполнения кошелька своего; он вместе и остроумный автор, и тонкий светский человек, и хитрый придворный, и расчетистый купец. Теперь имеет Бомарше все средства и способы наслаждаться жизнью. Дом его смотрят любопытные как диковинку богатства и вкуса: один барельеф над воротами стоит тридцать или сорок тысяч ливров.

Мармонтелева «Поэтика» – «Poétique française» («Французская поэтика») – дополнение и расширение статей Мармонтеля из «Энциклопедии». Об отношении Карамзина к Мармонтелю.

Я хвалил дю Пати... – Шарль Дюпати – президент парламента в Бордо, писатель, автор «Писем об Италии», сочинения его пользовались популярностью в России.

...наполнилась горница... кавалерами св. Людовика. – Орден св. Людовика (1693) давался за личные военные заслуги.

...один адвокат, который хотел быть министром... – Эпизод, видимо, является пересказом анекдотического выступления в печати некоего шевалье д'Арлаша. В газете «PetitsAffiches» 7 июля 1789 г. он писал: «Я намерен доказать самым ясным образом: 1) что за год, считая со дня, когда мой план будет принят и утвержден, существующий дефицит будет восполнен; 2) что расходы будут приведены в соответствие с доходами и что избыток в 200 миллионов ежегодных будет использован на оплату национального долга».

«Здесь, – сказал аббат Н*...» – Улица Сен-Онорэ – место расположения знаменитых литературных салонов XVIII в.: маркизы дю Деффан, г-жи Жоффрен и ее дочери маркизы Ферте-Эмбо.

У маркизы Д* – то есть в салоне дю Деффан Мари де ВишиШамрон (1697–1780), в котором собирались и философы-энциклопедисты, и светские люди.

*У графини А** – то есть в салоне герцогини д'Эгийон, известной своим умом и безобразием, чей салон был и местом встреч философов-энциклопедистов, и прибежищем гонимых правительством писателей.

...истинная французская веселость была уже с того времени редким явлением... – Карамзин строит следующую картину развития французской культуры: Золотой век – эпоха прециозных салонов, торжества вкуса, главенства женщин в культуре (характерно, что и признанные авторитеты классицизма, и придворно-государственное влияние на культуру обходятся молчанием); время распада – регентство, рост культурной и финансовой разрухи; итог всего – революционный кризис.

Потом вошли в моду попугаи и экономисты... – Попугаи вошли в моду в эпоху рококо и как деталь интерьера, и в качестве занятия светской дамы (в антитезе «простой» канарейке как детали третьесословного быта). Экономисты – название, распространявшееся на школу физиократов (Кене, Тюрго и др.), предшественников, а затем – оппонентов энциклопедистов.

Академические интриги и энциклопедисты... – Интриги вокруг выборов во Французскую академию, участие в выборах таких деятелей, как Д'Аламбер и Кондорсе, мода на философпросветителей; разговоры о противоречиях и интригах в их лагере давали обильную пищу беседам в парижских салонах.

Магнетизм – учение о притяжении и взаимном влиянии душ, получившее большую популярность в конце XVIII в. Ср.: «Разные дамские игрушки, изобретенные в конце минувшего столетия вместе с Монгольфьеровым шаром и Месмеровым магнетизмом» (Пушкин. Полн. собр. соч., т. 8, кн. 1, с. 240).

...прекрасная нежная Ланбаль... – Принцесса Ламбаль, друг и наперсница Марии-Антуанетты, была убита во время сентябрьских событий 1792 г. Описание королевской семьи дано от лица Путешественника в 1790 г., еще ничего не знающего о будущих событиях. Фактически глава писалась (и дошла до читателя), когда судьба описанных здесь лиц уже определилась. Карамзин сознательно рассчитывает на двойной эффект переживания этого отрывка.

...с голубою лентою через плечо... – Лента ордена св. Духа, которым награждались все члены королевского семейства.

С 14 июля... (1789 г.) – день взятия Бастилии, явившийся началом Великой французской революции.

Или «Царство счастья», сочинения Моруса.

Новые республиканцы с порочными сердцами!.. – Отрывок, видимо, представляет позднейшую интерполяцию и соответствует политическим настроениям Карамзина 1800–1810-х гг. Ср.: «Республика без добродетели и геройской любви к отечеству есть недушевленный труп» – в «Историческом похвальном слове Екатерине II» (Карамзин Н. М. Соч., т. 1. СПб., 1848, с. 297); «Без высокой добродетели республика стоять не может» («Вестник Европы», 1802, № 20, с. 319–320).

Разверните Плутарха... – Карамзин имеет в виду слова Катона Утического, сказавшего, что он предпочитает любую власть безначалию, приведенные Плутархом в очерке, посвященном Помпею (см.: Плутарх. Сравнительные жизнеописания в трех томах, т. 2. М., 1963, с. 372).

Это гулянье напомнило мне наше, московское, 1 мая. – Гулянье 1 мая в Москве происходило в Сокольниках: медленно двигался длинный кортеж карет, в которых сидело нарядное общество.

Ну, ну, друзья! Больше остроумия, больше остроумия! Прекрасно! Вот это настоящая парижская веселость! (фр.) – Ред.

... с длинными деревянными саблями... – Ношение деревянных сабель вместо тростей стало модой щеголей эпохи революции. Ср. в карикатурном образе модника конца XVIII в. Слюня из шутотрагедии И. А. Крылова «Триумф, или Подщипа»:

Да, да! подсунься-ка к его ты паясу:

Ведь деевянную я спагу-то носу!

(Крылов И. А. Полн. собр. соч., т. 2. М., 1946, с. 348).

Чтобы смешаться с народом (фр.). – Ред.

Фремен! Ты заставил судьбу трепетать, и имя твое живет, хоть ты и умер (фр.). – Ред.

Кто прожил на земле восемьдесят лет жизнью Франциска Серафического, тот на небесах живет как ангел (фр.). – Ред.

Так называемый Новый мост, близ которого я жил.

...вот первые певцы оперы... – В известном конфликте между французской и итальянской музыкальными школами Карамзин, вслед за Руссо, пропагандирует французскую оперу.

Я лишился Эвридики: с горем что сравнить моим! (фр.) – Ред.

Италиянский получеловек – кастрат.

Пылаю страстью! Клянусь честью! (фр.) – Ред.

На французский манер (фр.). – Ред.

<Стихов>, которые запоминаются (фр.). – Ред.

...снова явился на сцене в роли Эдипа... – Имеется в виду трагедия Вольтера «Эдип». В отличие от античной традиции и «Эдипа» Корнеля, Эдип у Вольтера появляется лишь в 3-й сцене, после длинных монологов Филоктета и Димаса, рассказывающих зрителю о предшествующих событиях. Слова Димаса: «Эдип здесь появился» – в конце 1-й сцены. Монолог, который (не с первых стихов) цитирует Карамзин, занимает полностью 4-ю сцену V акта трагедии. В первом стихе цитаты у Карамзина – неточность. Карамзин цитирует место, в котором Эдип обвиняет богов за зло, творимое людьми на земле. Естественно, что этот монолог Карамзин дал, в отличие от других цитат, без перевода.

Эдип появился в этих местах (фр.). – Ред.

Преступницею стать – сей жребий пал Медее, но к добродетели
рвалась она душой (фр.). – Ред.

«Монастырь» (фр.). – Ред.

Места сии любить велит невинности очарованье (фр.). – Ред.

...в Мольеровом и Фибровом «Мизантропе»... – Имеются в виду комедии Мольера «Мизантроп» (1666) и Фабра д'Эглантина «Филинт, или Продолжение „Мизантропа“» (1790).

То есть в сей драме Моле представляет благотельного Монтескье.

Так называемый Итальянский театр... есть мой любимый... – Итальянские актеры были изгнаны указом короля в 1779 г., и театр состоял только из французских актеров, хотя и сохранил свое название. Театр специализировался на комической опере и музыкальной мелодраме. Симпатии Карамзина вызваны тем, что именно в „Итальянском театре“ в наибольшей мере проявился отказ от классицистической традиции.

Ах, какой жребий готовит мне этот варвар! Меня ждет смерть! Меня ждет смерть! (фр.) – Ред.

Феникс – здесь: чудо.

Кузнецом становишься, когда занимаешься кузнечным делом (фр.). –
Ред.

«Матерь божия стояла» (лат.). – Ред.

„*Stabat mater*“ – католический гимн на слова средневекового поэта-монаха Якопоне да Тоди (ок. 1300).

«Господи помилуй!» (лат.) – Ред.

Сей замок построен Франциском I по возвращении его из Гишпани.

Hôtel есть наемный дом, где вы, кроме комнаты и услуги, ничего не имеете. Кофе и чай приносят вам из ближайшего кофейного дома, а обед – из трактира.

Ресторатёрами называются в Париже лучшие трактирщики, у которых можно обедать. Вам подадут роспись всем блюдам, с означением их цены; выбрав что угодно, обедаете на маленьком особливом столике.

«Кафе Валуа» (фр.). – Ред.

В «Погребке» (фр.). – Ред.

351

Ароматический сироп с чаем.

В описании Лувра Карамзин следует за книгой: Dulore. Nouvelle description des curiosités de Paris, pp. 170–171.

...Перро, обеславленный, разруганный насмешливым Буало... – Полемика Буало с Клодом Перро приходится на 1674 г. Упоминание об этом в тексте „Писем“ интересно как свидетельство внимания Карамзина к „спору древних и новых“ во французской литературе XVII в., в ходе которого были высказаны тезисы, существенные для полемики по вопросам языка и литературы и в России XVIII – нач. XIX в.

Там, в зале Академии художеств, видел я четыре славные Лебрюневы картины: сражения Александра Великого.

Кор де ложи – крытая галерея, соединяющая части здания или отдельные павильоны.

День святого духа – второй день троицы (51-й день после пасхи). Духов день в 1790 г. приходился на 25 мая н. ст. Так как Карамзин 4 июня уже написал Дмитриеву письмо из Лондона (см.: Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву. СПб., 1866, с. 13–14), крайне сомнительно, чтобы он мог в этот день еще быть в Париже. Существует предположение, что праздника Ордена св. духа в тот год, когда его описывает Карамзин, вообще не было.

...следственно, непохожа на душу отца его... – Луи-Филипп-Жозеф Орлеанский, который принял в годы революции имя Филипп Эгалите, вел сложные политические интриги. Погиб на эшафоте в 1793 г. Отношение Карамзина к нему было резко отрицательным.

Ксантинна – жена Сократа, здесь: сварливая и вздорная жена великого человека.

Кардинальский дворец. Непереводимая игра слов: cardinal означает и «кардинальский», и «основной», «главный» (фр.). – Ред.

Королева Анна – Анна Австрийская, жена Людовика XIII, мать Людовика XIV.

Диким американцем... – Так называли в XVIII в. американского индейца.

Краковское дерево – развесистый каштан в Пале-Рояле, посаженный, согласно легенде, в XVIII в. Ришелье; назван так в знак симпатии парижан Польше во время первого ее раздела. Обмен политическими новостями в тени Краковского дерева привел к рождению идиома „une nouvelles de l'arbre de Cracovie“ (новость Краковского дерева) в значении: „бабья сплетня“ – и арготического „cracovie“ – „вранье“.

Сирк – цирк, помещение, расположенное в центре ПалеРояля и занятое увеселительными заведениями.

Сады вавилонские – висячие сады легендарной царицы Семирамиды (IX в. до н. э.), одно из семи чудес света.

Реверберы – фонари с отражателями.

*Молодой скиф К** – Карамзин. Вся сцена свидания автора и Бартеlemi написана с проекцией на сюжет романа Бартеlemi „Путешествие юного Анахарсиса“, в котором ищущий мудрости молодой скиф посещает Афины и беседует с греческими мудрецами.

Анахарсис, приехав в Афины, нашел Платона в Академии. «Il me reçut, – говорит молодой скиф, – avec autant de politesse que de simplicité, et me fit un si bel éloge du Philosophe Anacharsis, dont je descends, que je rougissois de porter le même nom». – «Anach.», vol. 2, ch. VII. (Он принял меня, в равной мере вежливо и просто и так отменно похвалил моего предка философа Анахарсиса, что я покраснел, оттого что ношу то же имя («Путешествие молодого Анахарсиса», т. II, гл. 7 (фр.). – Ред.).

О самаританских медалях и легендах... – Речь идет о монетах из Самарии IX–I вв. до н. э.

Легенда – пояснительная надпись; здесь: надпись на монете.

Как и следовало ожидать (фр.). – Ред.

О медалях Ионафановых, Антигоновых, Симеоновых... – Речь идет о иудейских монетах (XI–I вв. до н. э.).

Левек [...]соображает – здесь: сопоставляет.

«Его, может быть, по справедливости не хотят назвать великим умом, ибо он, желая образовать народ свой, только что подражал другим народам» (фр.). – Ред.

Иеремиады – здесь: жалобы (от имени библейского пророка Иеремии). Карамзин выделил слово курсивом как не принятый в русском языке галлицизм. Слово это во французском языке имеет фамильярный стилистический оттенок, что придает русскому тексту характер иронии.

Несомненно, русские стали бы такими, какими мы видим их сейчас, даже если бы Петр не царствовал (фр.). – Ред.

...в доме г-жи Неккер, барона Ольбаха... – В 1789 г. в канун революции первым салоном Парижа был салон г-жи Неккер. Сийес, Парни, Кондорсе, Талейран собирались на ее среды.

Господин П...* – Имеется в виду Павлов, второй секретарь русского посольства в Париже.

Кривлянье, кривлянье, мадемуазель Дервье! (фр.) – Ред.

Их всегда сорок, ни более ни менее.

Это все же кое-что значит (фр.). – Ред.

„Лексикон французского языка“ – работа Французской академии над словарем началась в 1638 г. и продолжалась крайне медленно.

Лексикон Джонсонов – „Dictionary of the English language“ (1747–1755). Карамзин имеет в виду также словарь: Adelung J. K. Versuch eines vollständigen grammatisch-kritischen Wörterbuches der Hochdeutschen Mundart, Th. I–IV. Leipzig, 1774–1786.

Остроумный Ривароль давно обещает новый философический словарь языка своего, но чрезмерная лень, как сказывают, мешает ему исполнить обещание.

Ума этих сорока господ хватает только на четверых (фр.). – Ред.

Здесь погребен Пирон; он был ничем, он не был даже академиком (фр.). – Ред.

Открыл и усовершенствовал (лат.). – Ред.

Немецкий ученый снимает колпак, говоря о Лalande... – Открытия в области астрономии и космогонии могли быть одной из тем в беседе Карамзина и Канта.

См. Диогена Лаэртца в жизни Талеса.

Урания – муза астрономии.

Бальи – писатель и астроном; после взятия Бастилии – мэр Парижа; погиб на гильотине. Слова Карамзина: «тишину кабинета променял, может быть, на эшафот» – пример «предсказания» задним числом – характерного приема псевдописьма в художественной структуре «Писем».

Лавуазье и Бальи умерщвлены Робеспьером.

«Ну, тогда вези меня на улицу Трюандери!» – «В добрый час! Вы, иностранцы, говорите то, что нужно, лишь в самом конце фразы» (фр.). – Ред.

Любви (фр.). – Ред.

Я победила победителя всех.

Единственный король, о котором народ хранит память (фр.).-Ред.

Спрашивается, как она узнала его? Может быть, имея тонкое обоняние, почувствовала на нем кровь господина своего.

...Если бы он только не ездил воевать в Азию и Африку... – Людовик IX предпринял два неудачных похода против «неверных». Карамзин как пацифист и просветитель относился к крестовым походам отрицательно.

Бруно основал картезианский орден.

Дворец бань (фр.). – Ред.

...при королях второго поколения... – Имеется в виду династия Каролингов, основанная в 751 г. Пипином Коротким.

Миньо – этим сказано все: в целом мире ни один отравитель никогда лучше не знал своего ремесла (фр.). – Ред.

Пройдите в эту ложу, господа (фр.). – Ред.

Я путешествовал по северу и понимаю оттенки произношения; я вам сразу сказал (фр.). – Ред.

Я без ума от этой нации (фр.). – Ред.

Хорошо вам сейчас, сударь? (фр.) – Ред.

Превосходно, сударыня, рядом с вами (фр.). – Ред.

Всего доброго, сударь! (фр.) – Ред.

...Прокоп Сицилианец открыл новый кофейный дом... – «Кафе Прокоп», посещавшееся в предреволюционные годы литераторами, в годы революции было излюбленным местом встреч якобинцев. «Café de Foi» – место встреч «бешеных» – было закрыто в период преследований эберитистов; два других кафе, названных Карамзиным: «Café de Valois» и «Café de Chartres», были роялистскими, а «Café du Caveau» не имело определенного политического лица. Таким образом, за внешне небрежным перечислением Карамзина скрывается продуманная система пропорций: два революционных кафе, два контрреволюционных и одно нейтральное.

Да здравствует Паскаль! Слава Прокопу! Да здравствует Солиман Ага!
(фр.) – Ред.

«Кафе веры», «Погребок», «Валуа», «Шартрское» (фр.). – Ред.

За этим столом были открыты две подписки: первая – 28 июля 1783 года, чтобы повторить опыт Аннонэ (...*опыт Аннонэ...* – Аннонэ – месторождения братьев Монгольфье, где был совершен ими первый опыт подъема на воздушном шаре (1783).), вторая – 29 августа 1783 года, чтобы почтить медалью открытие братьев Монгольфье (фр.). – Ред.

Кафе «Регентство» (фр.). – Ред.

Дьявол! Чума! (фр.) – Ред.

414

Une piece de 6 sous (одна монета в 6 су (фр.). – Ред.).

*Барон В** – Вильгельм Вольцоген (1762–1809), парижский приятель Карамзина, один из школьных друзей Шиллера. Он был, бесспорно, одним из источников сведений и интереса Карамзина к Шиллеру и его творчеству. Дружеское общение Карамзина и Вольцогена в Париже продолжалось около трех месяцев и, видимо, было близким: уезжая из Парижа, Карамзин посвятил Вольцогену прочувствованные строки.

Русские бани, паровые или с окуриванием, простые и смешанные (фр.). – Ред.

417

Доказывается надписью.

Стернов капрал Трим... – Персонаж из романа «Жизнь и мнения Тристрама Шенди».

Петр Великий, осматривая парижский Инвалидный дом... – Петр I прибыл в Париж в апреле 1717 г. Пребывание Петра I в Париже описано Вольтером в его «Истории Российской империи при Петре Великом» (1759).

Праздник королевы Роз (фр.). – Ред.

Ей непременно надлежало быть осьмнадцать лет.

Описанной Жан-Жаком в письме к д'Аланберту.

Фамилия князя Г...* – Борис Владимирович Голицын (1769–1813) – писатель, сочинявший как на русском, так и на французском языке (псевдоним Дм. Пименов), генераллейтенант, умер от ран, полученных в Бородинской битве.

*Секретарь М** – Машков (или Мошков) – первый секретарь русского посольства в Париже.

Железная маска – секретный узник, содержащийся в Пиньерольской крепости и умерший в Бастилии в 1703 г. Вольтер писал о Железной маске («Век Людовика XIV», а также «Философский словарь», т. 1). Это место «Писем» заинтересовало Пушкина, написавшего заметку «О железной маске» (Полн. собр. соч., т. 12. М.—Л., 1949, с. 28). Пушкин, как и Карамзин, приводит цитату из «Века Людовика XIV» Вольтера, но в несколько другом переводе.

426

То есть чердаке.

427

Писарем.

Porte-faix.

*Химист Л** – Лавуазье.

Новая Артемиза – Артемиза – карийская царица, воздвигшая в память своего мужа царя Мавзола усыпальницу («мавзолей»), считавшуюся в древности одним из семи чудес света (Галикарнас, Малая Азия, IV в. до н. э.).

Целестины – монашеский орден (с 1221 г.), основанный будущим папой Целестином V.

432

Он представлен на гробнице молящимся.

Новая церковь св. Женеьевы... – Построенная архитектором Суффло церковь св. Женеьевы была превращена в годы французской революции в Пантеон и украшена надписью: «Великим людям благодарное Отечество».

...*Смелость готическая*... – Карамзин употребляет слово «готическое» не как термин из истории архитектуры, а в значении «средние века», «грандиозность замысла при отсутствии гармонии».

Здесь погребен Иаков II, король Великобритании (фр.). – Ред.

Неумолимость смерти нельзя сравнить ни с чем. Напрасно ее умолять. Жестокая, она затыкает себе уши, не слушая наших воплей. Бедняк в хижине, где его покрывает солома, подчиняется ее законам, и стража на заставе Лувра не может защитить от нее наших королей (фр.). – Ред.

Прохожий! Не полагаешь ли ты, что тебе придется перейти этот порог, через который я в размышлении переступил? Если ты об этом не подумаешь, прохожий, это не умно, так как, даже не помышляя об этом, ты поймешь, что переходишь через этот порог (фр.). – Ред.

Говорят, что это глубокомысленное произведение (фр.). – Ред.

Прекрасно, остроумно, возвышенно (фр.). – Ред.

...Наш посольский священник... – Священником русской посольской церкви в 1783–1791 гг. был Павел Васильевич Криницкий (? – 1828). Общение Карамзина с ним представляет интерес для исследователя, поскольку в 1790–1791 гг. Криницкий был захвачен либеральными настроениями.

*К** – Михаил Иванович Козловский (1753–1802), известный скульптор.

Так что по сие время, в память ему, на всякого новопринятого доктора в Монпелье надевают Раблееву мантию, которая нередко напоминает басню «Осла во львиной коже».

Я отправляюсь на поиски великого «быть может» (фр.). – Ред.

Темпейские долины – долины в Фессалии (в восточной Греции), воспетые Вергилием.

В нем нет пышных недостатков версальской часовни, этой роскошной безделушки, которая ослепляет глаза людям и над которой издевается знаток (фр.). – Ред.

Я вспомнил 4 октября... – Карамзин имеет в виду поход парижских женщин на Версаль (с ошибкой на день – фактически поход состоялся 5–6 октября 1789 г.), повлекший капитуляцию королевской власти и переселение короля и Национального собрания в Париж. Перепуганная Мария-Антуанетта, не успев одеться, бросилась в комнаты короля, чтобы спастись от толпы, проникшей утром 6 октября во дворец. Вмешательство Лафайета спасло жизнь королевы. Отрывок этот свидетельствует об использовании Карамзиным устных источников во время его пребывания в Париже: он, видимо, расспрашивал о событиях, свидетелем которых не был.

Версалия без двора... – Намек на события 5–6 октября 1789 г.

О Версаль, о жалость, о прелестные рощицы, шедевр великого короля,
Ленотра и времени! Топор у ваших корней, и ваш час настал! (фр.) – Ред.

Подобный своему царственному и юному божеству, Трианон сочетает прелесть и величие (фр.). – Ред.

Вальян (Вайан)... – Книга Вайана называлась: *Voyage de Mr. le Vaillant dans l'interieur de l'Afrique par le Cap de Bonne Espérance dans les années 1780, 1781, 1782, 1783 et 1785. Paris, 1790.*

Он отважен, этот господин де Вайян! (фр.) Игра слов: Vaillant (Вайян) по-французски значит «отважный». – Ред.

Здесь истинный Парнас истинных детей Аполлона. Под именем Буало здешние места видели Горация, Эскулап являлся здесь под именем Жандрона (фр.). – Ред.

В этом нет ничего удивительного: труден лишь первый шаг (фр.). –
Ред.

Безделка (фр.). – Ред.

О ты, надежное убежище любезного владельца! Твое слишком скромное имя недостойно тебя! Очаровательная местность и т. д.
(фр.). – Ред.

Солнце, как известно, было девизом Лудовика XIV. Королевский павильон, построенный среди двенадцати других, называется солнечным.

Я удержал в этом славном стихе меру оригинала.

Бельвю значит «прекрасный вид».

Место Лудовика XV – площадь (галлицизм).

Ему сказали, что Лудовик не считает его опасным своим неприятелем, полагая, что у него нет пушек.

По рисунку Юлия Романа... – Джулио Романо, итальянский художник, ученик Рафаэля.

Хорошо, сударь, хорошо! Что скажете вы об этом? (фр.) – Ред.

Бидер по-немецки значит «добрый» или «честный».

Я и должен, сударь, быть таким, чтобы не противоречить своему имени (фр.). – Ред.

Сударь, подобные вещи не говорят на хорошем французском языке. Я слишком чувствителен, чтобы терпеть это (фр.). – Ред.

Смейтесь, сударь; я посмеюсь вместе с вами, но не грубите, пожалуйста! (фр.) – Ред.

Когда ты – ничто и у тебя нет надежды, тогда жизнь – позор, а смерть – долг (фр.). – Ред.

Сегодня мой черед, завтра – твой (фр.). – Ред.

469

Как дар патриота (фр.). – Ред.

Ищи в других местах искусства красоты... – Стих был перефразирован Пушкиным в послании Н. Д. Киселеву: «Ищи в чужом краю здоровья и свободы» (Полн. собр. соч., т. 3, с. 111).

...другие надеются, что разум в школе веков возмужает... – Слова выражают мнение самого Карамзина.

Короче: «кто не имеет нужды в чужих руках», но не так живописно.

Вероятно, что последние два стиха не Генриховы. Музыка сей старинной песни очень приятна.

Прелестная Габриель! Пронзенный тысячью копий, я лечу на поле брани, когда слава меня зовет. Жестокое расставанье! Несчастный день! Слишком мало одной жизни для такой любви! (фр.) – Ред.

474

Как прекрасна природа! (фр.) – Ред.

Острове тополей (фр.). – Ред.

476

Школьный мастер – учитель (галлицизм).

477

Перевод одной из надписей.

Восхищайтесь Шантильи в его изящной пышности, он становится прекраснее с каждым новым героем, с каждым новым веком (фр.). – Ред.

Мысль, что хозяин его скитается... – Принц Конде Луи-Жозеф де Бурбон эмигрировал в 1792 г. и встал в Кобленце во главе армии эмигрантов.

Женщина, в которую Милон был влюблен, по словам г-жи Н*, сама любила его, но имела твердость отказать ему от дому, для того что он был женат.

Церковь, в которой они застрелились, построена на развалинах древнего храма, как сказывают. Все, что здесь говорит или мыслит Алина, взято из ее журнала, в котором она почти с самого детства записывала свои мысли и который хотела сжечь, умирая, но не успела. За день до смерти несчастная ходила на то место, где Фальдони и Тереза утертвили себя.

Пойдемте, сударь, пойдемте (фр.). – Ред.

Это был Рабо Сент-Этьен. Рабо – депутат-жирондист, гильотирован во время якобинской диктатуры. Трудно допустить, чтобы Рабо провел Карамзина в зал Национального собрания, если бы они не были предварительно знакомы или не имели общих знакомых.

... в другой раз высидел в ложе пять или шесть часов... – Речь идет о заседании 13 апреля 1790 г. Таким образом устанавливается, что Карамзин направился в Национальное собрание тотчас же, как прибыл в Париж. Между тем место этого эпизода в «Письмах» должно создать у читателя впечатление случайного и позднего посещения Национального собрания.

А-ля аббат Мори (фр.). – Ред.

Спрятанные деньги появятся в виде ассигнаций (фр.). – Ред.

...Йорик сказал министру Б... – Имеется в виду цитата: «Однако французы, господин граф... обладают таким множеством достоинств... Если у них есть недостаток, так только тот, что они – слишком серьезны» (Стерн Л. Сентиментальное путешествие. М., 1939, с. 101).*

Слова Йориковы, сказанные им в другом месте.

...которые, в силу того, что шлифуются, не сохраняют больше отпечатка (фр.). – Ред.

«...огонь, воздух...» – Слова из монолога Клеопатры в «Антонии и Клеопатре»: «Я – воздух и огонь» (Шекспир У. Полн. собр. соч. в 7-ми т., т. 7. М., 1960, с. 251; перевод М. Донского).

Qui tiennent à ce même défaut.

В Булонском лесу читал я Маблиеву «Историю французского правления». (...читал я Маблиеву «Историю...» – Имеется в виду книга Мабли «Размышления о французской истории». То, что Карамзин закончил описание Парижа упоминанием двух глубоко значимых для него имен – Шиллера и Мабли, знаменательно с точки зрения его убеждения, что «разум в школе веков возмужает, победит все затруднения, dokonчит свое дело и воцарит истину на земном шаре».)

*Любезный В** – Вольцоген.

См. «Sentimental Journey» («Сентиментальное путешествие» (англ.). – Ред.) – Стерново «Путешествие». Оно переведено на русский и напечатано.

Все сие памятно тому, кто хотя один раз читал Стерново или Йориково «Путешествие»; но можно ли читать его только один раз?

Великий боже! (фр.) – Ред.

См. «Одиссею».

Самого лучшего! (фр.) – Ред.

Так говорит мифология.

Правда, сударь, вы чертовски образованный человек! (фр.) – Ред.

«Год дем» – проклятье (англ.). Междометие это неизменно включалось в тривиальный литературный портрет англичанина. Ср. рассуждение в «Женитьбе Фигаро» Бомарше (акт III, сц. 5).

Прощайте! (фр.) – Ред.

...я в Англии – в той земле, которую в ребячестве своем любил я с таким жаром... – В московских планах путешествия Карамзина Англия фигурировала как одна из основных целей вояжа. Однако в реальности пребывание Карамзина в Англии было, видимо, непродолжительным.

...опаснее нимф Калипсиных... – Имеется в виду эпизод из «Одиссеи» Гомера, повествующий об острове волшебницы Калипсо, которая вместе со своими нимфами привлекала и очаровывала путешественников. Мудрый наставник Ментор спас от чар Калипсо юного Телемака, столкнув его в воду.

Известно, что Телемак, влюбленный в Калипсину нимфу Эвхарису, не тужил о сгоревшем корабле своем.

...море, в которое погружалось солнце... – Характерный пример литературного пейзажа, выдаваемого за личное впечатление: со скал Дувра Карамзин не мог видеть закат солнца, погружающегося в море, так как Ламанш простирается на восток от Дувра, на запад от него расположена зеленая равнина юго-восточной Англии, а не море.

Земляные яблоки – картофель (галлицизм).

Жареная и битая говядина.

То есть меланхолии.

Подобно факелам, этим мрачным огням, горящим над мертвецами и не согревающим их праха (фр.). – Ред.

Фарос – здесь: путеводный маяк.

С которыми отправился Йорик во Францию, как известно.
Пары черных шелковых брюк (англ.). – Ред.

Имя моего парижского парикмахера.

В лунные ночи Париж не освещается; из остатков суммы, определенной на освещение города, давались пенсии.

...успел слышать... Генделеву ораторию «Мессию»... – Исполнение оратории Генделя в Вестминстерском аббатстве в присутствии короля на самом деле состоялось 24 июня, а не в июле, как указывается в «Письмах».

Кто устоит перед лицом его, и проч.

Восстань и сияй, ибо явился свет твой.

Он испытал горечь, узнал печаль.

Семи-хоры – полухоры.

Кто царь славы? Господь небесных воинств.

Жив, жив спаситель мой!.. О смерть! Где твое жало? Могила! Где победа твоя?

...Наш добрый Джордж... – английский король Георг III.

Ловелас – образ соблазнителя; *Грандисон* – образ идеального героя добродетели; *Клементина*, *девица Байрон* – герои романа Ричардсона «Кларисса».

Клариссу называет умною дурую... – Слова эти нашли отражение в письме Пушкина брату из Михайловского (конец ноября 1824 г.): «читаю „Клариссу“, мочи нет какая скучная дура!»

Гостиная (англ.). – Ред.

Эстампные кабинеты – магазины эстампов.

Нутка-Соунд – залив и порт в Южной Америке; принадлежал Англии; захват его испанцами создал между этими странами конфликт. Поскольку королевская Франция была связана с Испанией договорными обязательствами, в Национальном собрании обсуждался вопрос о войне. После горячих речей Мирабо собрание признало Францию свободной от старых договоров. Карамзин, видимо, присутствовал при этих прениях.

Да (фр.). – Ред.

Нет (фр.). – Ред.

Как поживаете? (фр.) – Ред.

Зачем быть попугаями и обезьянами вместе? – Весь отрывок – полемический ответ на обвинения Карамзина в галломании, раздававшиеся в первую очередь из рядов вчерашних братьев-масонов. Ср. памфлет А. М. Кутузова против Карамзина, написанный как бы от лица последнего и подписанный: «Попугай Обезьяний».

Для иностранца вы, сударь, пишете недурно! (фр.) – Ред.

Земляные яблоки.

533

Кларет, мадера – сорта вина.

То есть: «Нет на свете хороших темниц».

...славную темницу, которой имя прежде всего узнал я из английских романов. – Вероятно, имеются в виду «Том Джонс» Г. Филдинга, «Моль Флендерс» и «Жизнь полковника Джэка» Д. Дефо.

Злодеев казнят перед самым Невгатом.

Выгода сидеть в Кингс-Бенче, а не в другой тюрьме покупается деньгами: кто не может ничего дать, того отправляют в Невгат.

...Кодры и Деции давали убивать себя... – Имеются в виду герои Древней Греции и Рима, служившие примером патриотического самопожертвования.

...Курции бросались в пропасть... – Марк Курций, римский юноша, принесший себя, согласно легенде, в жертву отечеству: он бросился на римском Форуме в пропасть, которая после этого тотчас же закрылась.

О рыцарстве средних веков можно сказать то же.

...называются диссентерами... – то есть инакомыслящими.

Сверчок был гербом архитектора биржи.

...Карл II любил любить... – Карл II был известен любовными похождениями и считался отцом 14 незаконнорожденных детей.

*Господин Пар** – Джон Парадаиз (1743–1795).

*Барон Сил** – Геран Ульрих Сильверхельм (1762–1819) – шведский ученый.

Тогда у нас была война со Швецией.

В молодости своей оба они влюбились в одну девицу: Лафатер пожертвовал ему своей любовью. Фисли, уехав в Италию и посвятив себя искусству, перестал отвечать на письма своего друга, но Лафатер всегда говорит об нем с чувством и с жаром.

Орфордско собрание... – Картины коллекции Дж. Уолпола-Орфорда, приобретенные Екатериной II, легли в основу эрмитажного собрания.

...Нежная филомела – здесь: соловей.

Крайний предел! (лат.) – Ред.

Comme notre bon et pauvre Louis XVI... – Анахронизм, лишний раз свидетельствующий о позднем и литературном происхождении «Писем»: письмо датировано июлем 1790 г., а Людовик XVI был свергнут 21 сентября 1792 г.

«Не оступитесь, сударыня!» – «Ах, женщины так часто делают это». – «Падение женщин порою бывает очаровательно!» – «Да, потому что мужчины от этого выигрывают». – «Они после этого грациозно поднимаются». – «Но не без того, чтобы до конца дней своих не чувствовать печали». – «Что может быть прелестнее печали очаровательной женщины?» – «И это все лишь для того, чтобы служить его величеству мужчине». – «Этого владыку часто свергают с престола, сударыня». – «Как нашего доброго, бедного Лудовика Шестнадцатого, не так ли?» – «Почти так, сударыня» (фр.). – Ред.

Это напомнило мне парижскую Salle du secret (Тайный зал – (фр.). – Ред.).

...спасся от эшафота своею поэмою... – Имеются в виду поэмы Мильтона «Потерянный рай» и «Возвращенный рай».

Черный принц – Эдуард Уэльский (1330–1376), сын английского короля Эдуарда III.

Букингемском дворце (англ.). – Ред.

Я видел и статую Карла I, любопытную по следующему анекдоту. После его бедственной кончины она была снята и куплена медником, который продал бесчисленное множество шандалов, уверяя, что они вылиты из металла статуи, но в самом деле он спрятал ее и подарил Карлу II при его восшествии на престол, за что был награжден весьма щедро.

...по обещанию... – то есть паломники.

Твои леса, Виндзор, и твои зеленые убежища – обители
одновременно и короля, и муз. Поп (англ.). – Ред.

Из юных нимф ее дочь Тамеса, Лодона... – Перевод Карамзина
отрывка из стихотворения А. Попа «Виндзорский лес» (1713).

Легкие копья, с которыми изображаются Дианины нимфы, были бросаемы в зверей.

С Темзою, которая в поэзии называется богом Тамесом.

«Виндзорского леса» (англ.). – Ред.

Сестрица! Сестрица! (фр.) – Ред.

Г-жи Ноф, Лоусон, леди Сэндерленд, Рочестер, Дэнхем, Мидлтон, Байрон, Ричмонд, Кливленд, Сомерсет, Нортемберленд, Грэммонт, Оссори (англ.). – Ред.

Марс в Преображенском мундире. – Портрет Петра I, написанный Готфридом Кнеллером в 1697 г. во время пребывания царя в Лондоне, изображает его не в Преображенском мундире, а в фантастических латах. Возможно, что Карамзин портрета не видел и все описание сделал на основании книжных источников.

Да будет стыдно тому, кто дурно подумает об этом! (фр.) – Ред.

Трое русских, М, Д* и я – М** – Василий Федорович Малиновский (1765–1814), дипломат, литератор, первый директор Царскосельского лицея. Д* – лицо неустановленное (возможно, Джунковский).

Великая надежда англичан – народное благо – общественная
безопасность (лат.). – Ред.

570

Имя аллеи.

Выбор в парламент – Выборы состоялись 14 июня, а не в июле, как это утверждается в «Письмах». В описании выборов Карамзиным использованы книжные источники.

Фокс значит «лисица».

Да здравствует Гуд! Да здравствует Фокс! (англ.) – Ред.

...люди в голубых лентах... – кавалеры высшего ордена Англии – ордена Подвязки. Основным знаком его была голубая лента, носимая под коленом левой ноги и снабженная надписью: «Nonni soil qui mal y pense» («Да будет стыдно тому, кто дурно об этом подумает»).

«*Юниевы письма*» – литературные памфлеты пестрого содержания, в политической своей части затрагивали короля Георга III. Анонимный автор до сих пор не раскрыт. Среди сорока возможных кандидатов на авторство еще в XVIII в. называли и Горна Тука.

Курьер из П... – То есть из Петербурга.*

Два главные лондонские театра.

...видел я Шекспирова «Гамлета»... – В июле и августе 1790 г. в Лондоне действительно работал только Гемеркетский (Hay-Market) театр. Однако «Гамлет» в нем не шел ни разу. «Гамлета» давали в театре «Ковент-Гарден» единственный за лето раз – 2 июня. Так как первое документальное свидетельство о пребывании Карамзина в Лондоне (письмо Дмитриеву) относится к 4 июня, то сказать, был ли Карамзин действительно на этом спектакле или пользовался книжными источниками, невозможно.

Он первый носил ручное оружие (англ.). – Ред.

Биллингтон, если не ошибаюсь.

Жестокие светила, когда же окончатся наши горести? Когда же вы насытите свою жестокость? (ит.). – Ред.

...подвергнулись судьбе Семелеиной... – Семела, возлюбленная Зевса, мать Геракла, захотела видеть бога-громовержца во всем блеске его славы и сгорела от молний.

Магна Харта – основа английской конституции, подписанная Иоанном Безземельным в 1215 г.

Вид прекрасный. Ветви с цветами, нарочно поднятые вверх, переплетаются и достигают до кровли низеньких домиков.

Чичисбей – В Италии XVI–XVIII вв. мужу считалось неприличным сопровождать жену во время прогулок, выполнявшее эту роль лицо называлось чичисбеем.

«Кандида».

...имеет много особенности... – здесь: самобытности.

Бомбаст – трескучая напыщенность.

Славная Аддисонова трагедия... – «Катон» (1713). Карамзин сочувственно выделяет те же места трагедии, что и Радищев.

«Дочь Греции», «Кающаяся красавица», «Джин Шор» (англ.) – Ред.

«*Grecian daughter*» – «Дочь Греции» (1772), пьеса Артура Мерфи;
«*Fair penitent*» – «Кающаяся красавица» (1703) и «*Jean Shore*» – «Джин Шор» (1713) – пьесы Николаса Роу.

То есть с Робертсоном, Юмом и Гиббоном.

Суд Гастингса... – Уоррен Хастингс, первый генерал-губернатор Британской Индии. Обвиненный в злоупотреблениях, был отдан под суд, который, после семилетнего процесса (1788–1795), оправдал его. Судебные прения между обвинителем Фоксом и защитником Шериданом привлекали внимание всей европейской общественности.

Англичанин человеколюбив у себя... – Ср.: «Англичанин в Бенгале забыл великую хартию и habeas corpus; он паче всякого Индейского Набоба» (Радищев А. Н. Полн. собр. соч., т. 2. М. —Л., 1941, с. 64). Оба высказывания восходят к «Истории обеих Индий» Рейналя.

Едва ли в каком-нибудь городе было столько пожаров, как в Лондоне.

...неблагопристойные сказки... – Имеются в виду «Кентерберийские рассказы» Чосера (2-я пол. XIV в.).

«Буря» (англ.). – Ред.

Самое остроумнейшее произведение английской литературы... и самое противное человеку с нежным нравственным чувством.

Чистой красотой (англ.). – Ред.

Новый парк (англ.). – Ред.

Прочь, цари и герои! Дайте покойно спать бедному поэту, который вам никогда не ласкал, к стыду Горация и Вергилия!

Великая хартия (лат). – Ред.

603

*III** – Шаден.

Ж* – Степан Семенович Джунковский (1762–1839), экономист и агроном, проживал в Англии с 1784 г.

Не помню, кто в шутку сказал мне: «Англичане слишком влажны, итальянцы слишком сухи, а французы только сочны».

Самый этот перевод был напечатан после в «Московском журнале».

607

Откуда плывете? (англ.) – Ред.

Комментарии

Написана Карамзиным в 1805 или 1806 г. для словаря с российских писателях, который готовил Евгений Болховитинов.

В 1841 г. в первом номере журнала «Москвитянин» была напечатана заметка М. П. Погодина: «Благодаря известному собирателю и знатоку наших древностей и достопримечательностей, И. М. Снегиреву, издатель может предложить это биографическое известие о Карамзине собственноручною его запискою...» Но обещанного воспроизведения автографа в журнале не оказалось. По прошествии многих лет Бартенева при составлении указателя к «Москвитянину» писал, что Погодин обещал приложить снимок с автобиографической записки Карамзина (с автографа), но не исполнил обещания.

Академик Я. К. Грот обнаружил в экземпляре «Москвитянина» (1841, № 1), принадлежавшем Академии наук, снимок с автографа Карамзина и опубликовал текст (см.: Записки имп. Акад. наук, т. 8, кн. 2, СПб., 1866, с. 97).

В экземпляре «Москвитянина» (1841, № 1), находящемся в библиотеке Института русской литературы АН СССР (ИРЛИ), тоже оказался снимок с автографа автобиографической записки Карамзина. С нее и воспроизводится этот автограф в нашем издании сочинений Карамзина.

Впервые – «Московский журнал», 1792, июнь.

Повесть была принята читателями с восторгом не только в год ее публикации – она пользовалась необыкновенной популярностью на протяжении более десяти лет. За этот срок она печаталась шесть раз: три раза в составе сборника «Мои безделки» и три раза издавалась отдельно. Психологически тонкий анализ нравственной жизни простой девушки, трагизм человеческой жизни, лиризм повествования, исполненного авторского сочувствия к страданиям Лизы, – все это было ново для читателей, увлекало и очаровывало их. Пожалуй, никогда до «Бедной Лизы» русское художественное произведение не оказывало такого влияния на читающую публику, на формирование ее нравственных представлений.

Читательский энтузиазм выразился и в таком факте – пруд у Симонова монастыря в Москве, в котором утопилась Лиза, стал местом паломничества почитателей Карамзина. Молодые читатели не просто приходили к месту гибели бедной девушки, но свои чувства выражали в стихах, которые вырезывали на деревьях. Художник Н. Соколов увековечил это поклонение Карамзину в рисунке и гравюре, которая была приложена к первому отдельному изданию повести в 1796 г. В центре гравюры – пруд, в отдалении Симонов монастырь, а под рисунком подпись: «В нескольких саженях от стен Симонова монастыря по Кожуховской дороге есть старинный пруд, окруженный деревьями. Пылкое воображение читателей видит утопающую в нем бедную Лизу и на каждом почти из оных дерев любопытные посетители, на разных языках, изобразили чувства сострадания к несчастной красавице и уважения к сочинителю повести. Напр.: на одном дереве вырезано:

В струях сих бедная скончала Лиза дни,
 Коль ты чувствительный, прохожий, воздохни.
 На другом нежная, может быть, рука начертала:
 Любезному Карамзину!
 В изгибах сердца сокровенных
 Я соплету тебе венец:
 Нежнейши чувства души тобой плененных
 Многова нельзя разобрать, стерлось.

Сей памятник чувствительности московских читателей и нежного их вкуса в литературе, здесь изображается, иждивением и вымыслом одного ее любителя. 1796 г.».

Популярность повести породила слухи, что в пруду у Симонова монастыря, по примеру Лизы, топились несчастные, обманутые девушки. Появилась даже ироническая эпиграмма:

Здесь бросилась в пруд Эрстова невеста.

Топитесь, девушки: в пруду довольно места.

Повести Карамзина, и прежде всего «Бедная Лиза», оказали огромное влияние на формирование русской прозы в начале XIX в. Популярность «Бедной Лизы» определила и появление откровенных подражаний. В 1801 г. А. Е. Измайлов напечатал повесть «Бедная Маша», И. Свечинский – «Обольщенная Генриетта», в 1803 г. вышла анонимная повесть «Несчастливая Маргарита», потом вышли «История бедной Марии» (Н. Брусилова), «Бедная Лилия» (А. Попова), «Несчастливая Лиза» (кн. Долгорукова) и др.

Важное значение для дальнейшего развития прозы имело художественное открытие Карамзина – создание особой атмосферы настроения в произведении. Справедливо писал об этом Г. А. Гуковский: «Ведь это было действительно значительное открытие, открытие индивидуального душевного состояния, чрезвычайно важного для творческого метода не только лирики, но и прозы XIX столетия, сначала романтической, а потом и реалистической. Лиризм тургеневского повествования и тургеневского пейзажа и, еще раньше, лиризм и пафос гоголевских повестей определены традицией, начатой Карамзиным» (История русской литературы, т. 5. М. —Л., 1941, с. 80).

«Письма русского путешественника» были преподнесены читателю автором как собрание реальных писем. Карамзин старался внушить мысль, что «Письма русского путешественника» – не литературное произведение, обдуманное и построенное по законам художественного текста, а «жизненный документ». Изучение текста убеждает, однако, в противоположном: «Письма русского путешественника» (в дальнейшем: «Письма») никогда не были реальными письмами, создавались они не в дороге, а после возвращения в Москву, что прежде всего вытекает из анализа дат, проставленных автором в «Письмах».

Если судить по датам «Писем», Карамзин отправился из Москвы 18 мая 1789 г. В начале сентября 1790 г. выехав из Лондона, он прибыл в том же месяце в Петербург. Однако, по неоспоримым данным, Карамзин возвратился в Петербург еще 15 июля 1790 г. (См.: Штурм Г. П. Новое о Пушкине и Карамзине – Изв. АН СССР. Отделение литературы и языка, т. 19, вып. 2, 1960, с. 150), то есть на полтора месяца раньше «литературного» срока своего возвращения. По «Письмам» (если произвести соответствующий расчет – в последней части своей книги Карамзин вообще избегает называть даты), он прибыл в Лондон в конце июля и оставался там до сентября. Однако в действительности он уже 4 июля писал письма Дмитриеву из Лондона. Если считать, что 15(26) июля он был в Петербурге, а морской путь от столицы Англии до столицы России занимал десять-пятнадцать дней, то выходит, что реально в Англии Карамзин был лишь около недели. Это вызывает удивление, особенно если учесть, что в Москве Карамзин представлял себе Англию как одну из главных целей путешествия. Близкий его друг А. А. Плещеев писал А. М. Кутузову 7(18) июля: «Любезный наш Николай Михайлович должен уже месяц назад быть в любезном своем Лондоне» (см.: Барсков Я. Л. Переписка московских масонов XVIII-го века. Пг., 1915, с. 1). Конечно, возможно, он написал письмо Дмитриеву не в первые дни своего пребывания в Лондоне, но тогда дата отъезда из Франции в «Письмах» значительно отстает от реальной. Не совпадают и даты отъезда из Женевы во Францию по «Письмам» и реальному биографическому источнику – письму Карамзина к Лафатеру. Можно было бы указать и на другие факты. Однако и сказанного достаточно для того, чтобы с большим, чем это обычно делается, сомнением отнестись к возможности рассматривать

«Письма» как непосредственный биографический источник. Однако не только сопоставление дат подводит нас к этому выводу. Выявляется ряд существенных различий между Карамзиным и его Путешественником: Путешественник хотел встретиться за границей с «любезным своим другом А**» (А. М. Кутузовым), но встреча эта не состоялась, а Карамзин с ним встречался. Путешественник относительно равномерно распределил свое время между Германией, Швейцарией, Францией и Англией, а Карамзин значительную часть своего «вояжа» провел в Париже, побывав там, вероятно, не один, а два раза, въехав в столицу мятежной Франции раз по страсбургской, а в другой – по лионской дороге.

Создавая «Письма» как литературное произведение, Карамзин, конечно, опирался на свои впечатления от европейской поездки. Однако опубликованный им текст – сложное художественное целое, а не непосредственные записи наивного наблюдателя, маску которого надевает автор. В. В. Сиповский предположил, что в основу текста положен путевой дневник Карамзина. Последнее весьма вероятно: ведение дневников путешествий было бытовой нормой, распространявшейся даже на людей, далеких от литературы. Тем более знаменательно, что никто из лиц, близких к Карамзину, никогда не видал и нигде не упоминал этого дневника. Дело не в том, вел Карамзин дневник или нет, а в том, как он его использовал, в характере его работы над этими заготовками. К сожалению, это нам не известно.

Предположение же, что в текст «Писем» вошли и реальные письма Карамзина из-за границы, приходится решительно отвергнуть. Прежде всего об этом говорит отсутствие этих писем в собраниях тех лиц, которым они могли направляться. Из собрания писем Карамзина к Дмитриеву мы знаем, что Карамзин написал ему из-за границы лишь одно письмо и не использовал его в «Письмах». Сохранившиеся письма Петрова к Карамзину свидетельствуют, что и этому своему ближайшему другу Карамзин из-за границы почти не писал. Письма Карамзина к А. И. Плещеевой перлюстрировались на почте. Перлюстрация эта сохранилась и была опубликована Я. Л. Барсковым. Из нее мы точно узнаем, что Карамзин писал Плещеевой и ее мужу (а ведь именно они выступают наиболее вероятными адресатами – «друзьями» автора «Писем русского путешественника») очень редко и – как и Дмитриеву – только перед самым возвращением. Очень важно для истории возникновения «Писем» письмо Плещеевой А. М. Кутузову от 20(31) июля 1790 г., то есть уже после возвращения Карамзина в Россию и перед самым появлением его в Москве. Она пишет: «Увидав Рамзея, я не стану с ним говорить о его

вояжах. Вот моя сатисфакция за его редкие письма; и ежели он начнет, то я слушать не стану. Ежели будет писать – читать не стану, и первое мое требование, дабы он не отдавал никак в печать своих описаний» (Барсков Я. Л. Переписка..., с. 6).

Смысл этих слов можно понять, только предположив, что в не дошедшем до нас письме к Плещеевой Карамзин, извиняясь за то, что не писал из-за границы писем, описывающих его «вояж», обещал написать и издать их по приезде, представив Плещеевой полное печатное описание своего путешествия. Таким образом Карамзин приглашал Плещееву принять участие в литературной игре. То, что было вполне серьезным текстом, обращенным к русскому читателю, по отношению к тем, к кому он задним числом, сидя в Москве или в их поместье Знаменском в соседней комнате, писал из Берлина, Дрездена, Женевы и Парижа, было игрой-мистификацией. Плещеева рассердилась (или сделала вид, что рассердилась), но это не изменило литературных планов Карамзина.

Анализ писем Плещеевой дает исключительно много для интересующего нас вопроса. Из них мы узнаем, что Карамзин «запретил» (!) своим друзьям писать ему (там же, с. 2). Запрещение это можно понять лишь в том смысле, что писатель хотел максимально использовать заграничное время для новых впечатлений, встреч и обучения, отложив общение с друзьями до возвращения. 7(18) июля 1790 г., то есть в то время, когда Карамзин уже заканчивал свой «вояж», Плещеева сообщает Кутузову о получении какого-то письма от Карамзина и, одновременно, пишет самому Карамзину: до сих пор «не имела удовольствия получить ни единого ответа ни на какое мое письмо». 20(31) июля она жалуется на «редкие письма» Карамзина (там же, с. 3, 5). Можно сделать вывод: Карамзин писал друзьям изза границы редко, кратко и лишь деловые письма (Петрову, Дмитриеву). Но и эта переписка падает на последние недели заграничного путешествия, и нет никаких оснований идентифицировать ее с известным нам текстом «Писем». Таким образом, с точки зрения жанра, «Письма» представляют собой не собрание реальных писем, а литературную имитацию такого собрания. Есть основания полагать, что реальное путешествие Карамзина и по маршруту, и по характеру встреч и интересов существенно отличалось от литературного «вояжа» «русского путешественника».

Относительно того, почему Карамзин вынужден был быть весьма осторожным в изложении реальных впечатлений своего заграничного путешествия, существуют следующие соображения: поездка Карамзина осуществлялась в весьма сложных условиях – революция в Париже,

процесс Радищева, непосредственно затронувший ближайшего друга Карамзина и его масонского наставника А. М. Кутузова, встреча с которым за границей была одной из целей поездки Карамзина (Радищев, ближайшим другом которого был Кутузов, посвятил ему «Путешествие из Петербурга в Москву»); существовал приказ о немедленном аресте Кутузова при возвращении его в Россию, и московские друзья прозрачно предупреждали его относительно несовместимости его «слабого здоровья» с суровым русским климатом), начавшиеся преследования кружка Новикова, с которым Карамзин был тесно связан. Все это делало ряд тем абсолютно запретными.

Карамзин, придерживаясь в этот период воззрений просветителей XVIII в., не одобрял насильственных действий, но считал французскую революцию одним из величайших событий европейской истории. Лишенный возможности высказывать свои суждения по этому поводу прямо, он сумел системой намеков и недомолвок сказать внимательному читателю очень многое о парижских событиях. Иной была его тактика в отношении масонских связей, которые в это время привлекали самое пристальное внимание политической полиции Екатерины II. Этот аспект реального путешествия был полностью изъят.

Напуганные преследованиями члены новиковского кружка крайне опасались публикации подлинного описания заграничных путешествий Карамзина, боясь, что они могут дать властям основания для еще больших подозрений. Первые же слухи о публикации Карамзиным своих заграничных впечатлений вызвали настоящую панику в их среде. В. В. Виноградов имел все основания утверждать, что «более всего масоны боялись появления „Писем русского путешественника“» (Виноградов В. В. Проблема авторства и теория стилей. М., 1961, с. 255). Таким образом, и чувство собственной безопасности, и обязательства перед уже покинутым им кругом Новикова диктовали сугубую осторожность в описании некоторых сторон его путешествия. Реконструировать по тексту «Писем» факты реального путешествия Карамзина можно лишь с большой осторожностью. Характерен следующий пример: сразу же по прибытии в Москву, сориентировавшись в положении дел на родине, Карамзин счел необходимым дать Кутузову понять, что их заграничные свидания должны оставаться в тайне и что сам он будет соблюдать в этом отношении безусловную скромность. К письму А. А. Плещеева Кутузову он сделал приписку: «О себе могу сказать только то, что мне скоро минет уже двадцать пять лет, ивтовремя, как мы с вами расстались, не было мне и двадцати двух» (Барсков Я. Л. Переписка..., с. 30). Сообщение это было бы

совершенно бессмысленно по своей тривиальности, если бы соответствовало истине. Но Кутузов должен был понять, что их заграничные встречи объявляются «несуществующими». Пребывание в безопасности делает людей недогадливыми, и Кутузов ничего не понял и даже обиделся: «Признаюсь, что восемь начертанных тобою строк суть для меня истинная загадка. Сколько ни ломаю голову, не могу добраться до истинного смысла» (там же, с. 55). Карамзин мог на это ответить только: «В речах моих, любезнейший брат, не умышленная неясность» (там же, с. 110). Все письма между членами новиковского кружка, особенно идущие за границу к Кутузову, писались с расчетом на перлюстрацию. Даже простодушная Плещеева писала Кутузову: «...вы пишете, что письмо наше нашли вы распечатанное, то и я вам скажу то же, что и ваше письмо получили мы распечатанное. Но что до этого дела? Пусть все люди видят, что мы друг друга любим, и для этого не намерена ни крошечки себя женировать» (там же, с. 28).

В том же духе писал Н. Н. Трубецкой Кутузову: «Сие меня чрезвычайно тревожит, не для того, чтобы я боялся чтения нашей переписки, чистота оной нас охраняет от всякой опасности... пусть нашу переписку читают...» (там же, с. 127).

Создавая «Письма», Карамзин использовал и личные впечатления, и книжные источники. Но все это были материалы, из которых Карамзин черпал новое единство идейно-художественного замысла. Однако прямолинейное противопоставление Путешественника и Карамзина было бы упрощением. Лицо Карамзина все время выглядывает из-под маски Путешественника. Невнимательный или неосведомленный читатель видит чувствительного вояжера, легко скользящего по поверхности трагических европейских событий 1789–1790 гг. Более внимательному наблюдателю раскрывается образ «любопытного скифа», «юного Анахарсиса» – представителя молодой цивилизации, наблюдающего «минуты роковые» старого мира. Но при еще более внимательном отношении к разбросанным в тексте намекам, упоминаниям, цитатам, отсылкам и репликам выясняется, что «юный скиф» уже освоил богатство европейской культуры, что философские и политические идеи века ему так же «внятны», как и вздохи «нимф» Пале-Рояля. Все эти пласты смыслов не существуют отдельно: они взаимно проникают друг в друга. При поверхностном чтении «Письма» – легкая и занимательная книга, в развлекательной форме знакомящая читателя с тем миром, в котором он живет. При углубленном чтении раскрывается вековая проблема русской литературы, поставленная еще в XI в. митрополитом Иларионом: отношение молодой цивилизации –

Руси – к предшествующей многовековой культурной традиции. Но для того чтобы понять этот второй план, необходимо расшифровать смысл многочисленных упоминаний и намеков, содержащихся в тексте, понять их связь.

Это делает комментирование «Писем» задачей особой историко-культурной важности. Приведем пример. В Лозанне Путешественник видел надгробный памятник кн. Орловой, умершей в Швейцарии «в объятиях нежного, неутешного супруга». Короткая реплика: «Сказывают, что она была прекрасна – прекрасна и чувствительна!.. Я благословил память ее» – дает возможность непосвященному читателю истолковать этот эпизод как деталь «чувствительного путешествия». Однако осведомленные читатели видели здесь нечто большее.

Графиня Орлова, урожденная Зиновьева (родная сестра того Зиновьева, с которым Карамзин «случайно» встретился между Дерптом и Ригой), была двоюродной сестрой Григория Орлова. Брак их вызвал многочисленные сплетни (Щербатов сообщает слух, что Орлов сначала изнасиловал еще не достигшую совершеннолетия Зиновьеву, а затем уж женился на ней). Скандализованная императрица изгнала Зиновьеву из Царского Села (Зиновьева была ее фрейлиной), после чего имела бурное объяснение с Орловым, который во всеуслышание назвал царицу дурой. Весь этот эпизод развивался на фоне падения положения Орлова и торжества Потемкина при дворе. Синод опротестовал брак как неканонический (православная церковь не считает законным супружество между двоюродными братом и сестрой). Государственный совет постановил супругов развести и подвергнуть церковному покаянию, однако Екатерина решила иначе, предписав Орлову с женой навсегда покинуть Россию (официально он был «отпущен на воды»). Это было торжество и месть Потемкина падшему временщику. В этом контексте упоминание смерти Орловой на чужбине, того, что она была «прекрасна и чувствительна», и заключительная фраза: «Я благословил память ее», – были далеки от политической нейтральности. Эпизод имел и другой смысл: графиня Орлова воспринималась Карамзиным как героиня любви и жертва церковного фанатизма. Тема запретной любви и ее столкновения с предрассудками проходит через все «Письма»: от эпизода с графом Глейхеном (любовь втроем) до проходящего через всю швейцарскую часть писем мотива свободной любви «пастухов» и «пастушек». В «Острове Борнгольм» тема запретной любви получит еще более острое решение: чувство это соединит не двоюродных, как в эпизоде Орлов – Зиновьева, а родных брата и сестру. Имея в виду современного нам читателя,

необходимо отметить, что с просветительских и предромантических позиций авторы, которые вслед за «Новой Элоизой» Руссо начали ставить эти «опасные» темы, были моралистами, а не «певцами слепого упоенья», пользуясь выражением Пушкина, и проповедовали не распущенность, а высокую нравственность. Однако нравственность они видели не в следовании условностям предрассудков. Современному им обществу, прикрывающему разврат приличием, превращающему брак в куплю-продажу и узаконенную проституцию, они противопоставляли нравственную чистоту неиспорченного сердечного влечения. Так появлялись сюжеты, повествующие о том, как любовник превращался в целомудренного друга дома, охраняющего святость семейного очага («Новая Элоиза» Руссо), об искренней дружбе двух любовников («Исповедь» Руссо), о том, как престарелый муж, узнав, что сердце его жены отдано другому, сам передает ее в руки счастливого соперника и предлагает им тройственный союз дружбы (Ф. Э м и н. Игра судьбы). Проблемы эти будут волновать Н. Г. Чернышевского и отразятся не только в «Что делать?», но и в импровизированном им в Сибири устном романе («Другим нельзя»), а также в «Живом трупе» Толстого. Именно в такой исторической перспективе следует рассматривать развитие этой темы у Карамзина, хотя, конечно, надо учитывать и воздействие на него «штюрмерских» идей своеволия гения, разрушающего преграды мещанской морали. Эту вторую – романтическую – перспективу данной темы пародировал Гоголь в «Ревизоре», вложив в уста Хлестакова, предлагающего руку и сердце замужней городничихе, цитату из «Острова Борнгольма»: «Сударыня, Карамзин сказал: „Законы осуждают“».

Публикация «Писем» началась с первого номера «Московского журнала» Карамзина (январь 1791 г.) и продолжалась в течение всего времени его издания (до декабря 1792 г.). «Письма» печатались ежемесячно за исключением февральского и апрельского номеров 1792 г. За это время Карамзин успел опубликовать части, посвященные Германии, Швейцарии и лионскому периоду путешествия по Франции. В альманахе «Аглая» (ч. 1, 1794; ч. 2, 1795) он поместил еще два отрывка «Писем», но пропустил всю парижскую часть и дал отрывки английских впечатлений. В 1797 г. Карамзин предпринял отдельное издание «Писем». Однако, столкнувшись с цензурными трудностями, он смог издать лишь четыре из обещанных в «Северном зрителе» пяти частей. После перемены власти ему удалось в 1801 г. издать полностью текст «Писем» (в шести частях). Парижская часть при этом была, видимо, сильно переработана в соответствии с изменением политических взглядов автора и учетом исторического опыта, бросившего

свет на события во Франции 1789–1790 гг. Первоначальный текст до нас не дошел (весь личный архив Карамзина сгорел в московском пожаре 1812 г.) и до настоящего времени остается неизвестным. В дальнейшем Карамзин включал «Письма» в свои собрания сочинений (1803, 1814 и 1820 гг.), не прекращая творческой работы над текстом. В настоящем издании они публикуются по тексту 1820 г. с учетом общепринятых правил орфографии.

Стоя перед карикатурами королевы французской и римского императора... – То есть Марии-Антуанетты и Иосифа II. Упоминание Марии-Антуанетты, которую парижские карикатуристы тех дней изображали как «австриячку», «австрийскую пантеру», вместе с ее братом, австрийским императором, вдохновителем антифранцузской коалиции 1790-х гг., позволяет предположить, что речь идет о парижской лубочной карикатуре, попавшей на стену тверского трактира. Парижские сатирические картинки в 1789–1790 гг. продавались в России «у братьев Ге, торговавших одновременно в Петербурге и Москве» (см.: Штранге М. М. Русское общество и французская революция 1789–1794 гг. М., 1956, с. 55). Упоминание исторических лиц в «Письмах» привлекало внимание читателей к событиям в Париже. Особенно это должно было бросаться в глаза читателю первого полного издания «Писем», который уже знал о казни Марии-Антуанетты.

...2. 3... – Василий Николаевич Зиновьев – дипломат, масон. Возвращался в Россию после путешествия по Италии с Сен-Мартеном, близким другом которого он был, и пребывания в Лондоне у своего родственника и друга С. Р. Воронцова. Встреча Карамзина и Зиновьева не была случайной, и обстоятельства ее рассказаны в «Письмах» не совсем точно: в то время Зиновьев не находился в дороге, а остановился недалеко от Риги, сопровождая больную жену масона Кошелева. Как и Кошелев, Зиновьев был связующим звеном между русским масонством и наиболее либеральными кругами французского масонства. Враг крепостного права, сторонник английского парламентаризма, знакомый Радищева, друг братьев Воронцовых, отлично ориентирующийся в идеологической жизни Запада, Зиновьев вряд ли беседовал с Карамзиным лишь о состоянии дорог в Пруссии. Совет Зиновьева Карамзину не ехать через Берлин, а отправляться в Вену, видимо, связан с его отрицательным отношением к односторонне берлинской ориентации московских масонов.

Доктор Фауст, по суеверному народному преданию, есть великий колдун и по сие время бывает обыкновенно героем глупых пьес, играемых в деревнях или в городах на площадных театрах странствующими актерами. В самом же деле Иоанн Фауст жил как честный гражданин во Франкфурте-на-Майне около середины пятого-надесять века; и когда Гутенберг, майнцский уроженец, изобрел печатание книг, Фауст вместе с ним пользовался выгодами сего изобретения. По смерти Гутенберговой Фауст взял себе в помощники своего писаря, Петра Шопффера, который искусство книгопечатания довел до такого совершенства, что первые вышедшие книги привели людей в изумление; и как простолюдины того века приписывали действию сверхъестественных сил все то, чего они изъяснить не умели, то Фауст провозглашен был сообщником дьявольским, которым он слывет и поныне между чернию и в сказках. – А Ганс Вурст значит на площадных немецких театрах то же, что у италиянцев Арлекин.

Потом я... обратил разговор на природу и нравственность человека... – Характер разговора, а также умение, с которым Карамзин побеждает трудности передачи на русском языке своего времени метафизических идей Канта, убеждают, что еще в Москве Карамзин познакомился с основами его системы. То, что в числе произведений Канта, которых он еще не читал, Карамзин называет лишь «Критику практического разума» и «Метафизику нравов» («Основы метафизики нравов», вышедшие в Риге в 1785 г.; работа под заглавием «Метафизика нравов» была опубликована Кантом лишь в 1797 г.), можно рассматривать как указание на знакомство с «Наблюдением над чувством прекрасного и возвышенного» (1764), «Критикой чистого разума» (1781) и «Пролегоменами ко всякой будущей метафизике» (1783). «Обратив разговор на природу и нравственность человека», Карамзин проявил большое понимание внутренней логики философских интересов Канта, которого именно в этот период глубоко занимали вопросы антропологии. На эту тему он прочел осенью 1772 г. специальный курс лекций и потом обращался к нему в ряде работ. В период разговора с Карамзиным Кант уже работал над «Антропологией с прагматической точки зрения», которую он издал в 1798 г.

...верит магнетизму... – Агностик Кант интересовался возможностями критического объяснения мистических явлений. См. его письма г-же Кноблех (10 августа 1763 г.) и философу Мендельсону (8 апреля 1766 г.) Вопрос этот, также живо интересовавший Карамзина, был одной из вероятных тем беседы. То, что первым мыслителем Запада, которого посетил Карамзин, стремящийся выйти из-под опеки московских мистиков, был Кант, не случайно, а, с точки зрения композиции книги, – весьма знаменательно. Сочетание скептицизма и гуманизма, утверждений об ограниченности возможностей человеческого разума и веры в нравственный закон, врожденный человеку, свойственное системе Канта, как бы задает философскую направленность странствований русского путешественника по миру европейских идей. Этому соответствует и облик Канта, нарисованный Карамзиным: сочетание терпимости к противникам, глубокомыслия и житейской простоты.

Алексея Михайловича Кутузова, добродушного и любезного человека, который через несколько лет после того умер в Берлине, был жертвою несчастных обстоятельств. *Алексея Михайловича Кутузова... умер в Берлине, был жертвою несчастных обстоятельств...* – Писатель, переводчик, друг Радищева и один из масонских наставников Карамзина. Как философ и литератор сыграл значительную роль в формировании идейно-художественной позиции автора «Писем». В 1789 г. находился в Берлине как представитель восьмой масонской провинции, какой была признана Россия на Вильгельмсбаденском конгрессе 1782 г. при европейском центре, которым тогда же был признан Берлин. После того как стало известно, что Радищев посвятил Кутузову «Путешествие из Петербурга в Москву», въезд в Россию для Кутузова оказался закрытым. Разгром новиковского кружка лишил Кутузова всяких материальных средств. Он скончался в 1797 г. в Берлине в страшной нужде – умер в долгой тюрьме от голода, – но сохранил доверенные ему орденские ценности.

...А* не хотел меня дожидаться в Берлине! – Поездка А. М. Кутузова в Париж в начале лета 1789 г. до сих пор остается загадочной. Вероятнее всего, она была вызвана желанием московских «мартинистов» (масонов) выйти из-под одностороннего подчинения берлинскому центру, который возбуждал недовольство своим деспотизмом, проникновением в него очевидных шарлатанов, а также смыканием с правительственными кругами Пруссии, враждебной в эти годы России. Последнее обстоятельство весьма тревожило правительство Екатерины II и создавало для новиковского окружения дополнительные опасности. Это, видимо, обусловило маршрут Кутузова – Франкфурт-на-Майне был местом нахождения ложи «Единение», связанной с антиберлинским «Эклектическим союзом» лож. Однако главная дорога вела в Париж. Французское масонство было разделено на две провинции: Лион был центром сторонников Вильгельмсбаденского конгресса и диктатуры Берлина, а Париж занимал антиберлинскую позицию. Среди парижского масонства быстро зрели социально-реформаторские настроения, вылившиеся позже в деятельность революционно-утопического «Социального кружка». Поездка двух полномочных представителей новиковской группы – Кутузова и Багрянского – в эти дни в Париж вряд ли не была связана с поисками новой европейской ориентации для русских «мартинистов» (сам Сен-Мартен, по имени которого кружок Новикова получил прозвание, в это время порвал с лионскими масонами и, увлекшись предреволюционными настроениями, превратился в мыслителя социально-утопической ориентации).

Вопреки утверждениям в «Письмах», есть серьезные основания полагать, что Карамзин откликнулся на зов Кутузова и последовал за ним из Франкфурта через Страсбург в Париж. Эту поездку он, естественно, вынужден был в условиях гонений на масонов (в конце царствования Екатерины II) тщательно скрывать.

Видимо, в Париже произошел разрыв Карамзина и Кутузова, вероятно, вызванный разницей в отношении к политическим событиям Франции 1789 г. Иначе непонятно, почему очень дружеские отношения их в начале карамзинского «вояжа», нашедшие, в частности, отражение в комментируемом письме, сменились в конце, еще до выхода первых номеров «Московского журнала», враждебными.

Ныне был я у старика Рамлера... – Карамзин дает широкий обзор интеллектуальной жизни Берлина: Путешественник посещает Николаи, Формея, Рамлера, Морица, упоминает Кампе, Энгеля, проявляя полную осведомленность как в творчестве, так и в литературных отношениях этих писателей. Он не скрывает устарелости их воззрений и подчеркивает их взаимную нетерпимость. Со своей стороны Путешественник демонстративно уклоняется от осуждения тех или иных литераторов, выражая неодобрение формулой умолчания. Такая позиция требовала и от него, и от читателя большой культуры – понимания не только того, что сказано, но и того, что обойдено молчанием. Так, говоря о Формее, он умалчивает, что тот был автором нашумевшей реакционной и грубо бестактной книги против «Эмиля» Руссо, но через несколько страниц дает от своего лица исключительно высокую оценку Руссо. Карамзин рассчитывает на читателя, который поймет и оценит смысл его умолчаний, собственную позицию и терпимость «русского путешественника».

Рафаэль, глава римской школы, признан единогласно первым в своем искусстве. Никто из живописцев не вникал столько в красоты антиков, никто не учился анатомии с такою прилежностью, как Рафаэль, – и потому никто не мог превзойти его в рисовке. Но знания, которые сим средством приобрел он в форме человеческой, не сделали бы его таким великим живописцем, если бы натура не одарила его творческим духом, без которого живописец есть не что иное, как бедный копист. Небесный огонь оживляет черты кисти его, когда он изображает божество; в чертах героев его видно непобедимое мужество: в образе Венеры или Роксаны умел он соединить все женские прелести, а в образе Марии – красоту, невинность и святость. Лица тиранов, им изображенные, приводят в ужас: в лицах мучеников его надобно удивляться живым чертам небесного терпения. – Правда, что картины его неравной цены; последние несравненно превосходнее первых. Преображение Христово считается лучшим его произведением. – Сей великий художник скончал жизнь свою преждевременно, от чрезмерной склонности к женскому полу, склонности, которая вовлекла его в распутство. Он родился в Урбино в 1483, а умер в Риме в 1520 году.

Корреджио, первый ломбардский живописец, почти без всякого руководства достиг до высочайшей степени совершенства в своем искусстве, не выезжав никогда из своего отечества и не выдав почти никаких хороших картин, ни антиков. Кисть его ставится в пример нежности и приятности. Рисовка не совсем правильна, однако ж искусна; головы прекрасны, а краски несравненны. Нагое тело писал он весьма живо, а лица его говорят. Одним словом, картины его отменно милы даже и для незнатков: и если бы Корреджио видел все прекрасные творения искусства в Риме и в Венеции, то превзошел бы, может быть, самого Рафаэля. – Всю жизнь свою провел он в бедности, был скромн, доволен малым и человеколюбив. Причина его смерти достойна замечания. Продав в Парме одну картину свою, взял за нее мешок медных денег и пошел с ним пешком в Корреджио. День был жарок, и ему надлежало перейти четыре мили. Радуюсь тому, что полученными деньгами может на некоторое время вывести из нужды семейство свое, не чувствовал он усталости; но пришедши домой, занемог горячкою, которая через несколько дней прекратила жизнь его. Он родился в 1532, а умер в 1588 году.

Микель-Анджело был великий архитектор, живописец и резчик. Построенный им купол церкви св. Петра служит доказательством искусства его в архитектуре. Что принадлежит до картин его, то они не столько приятны, сколько удивительны, для того что он всегда хотел представлять трудное и чрезвычайное. Зная хорошо анатомию, старался он слишком сильно означать мускулы в своих фигурах; а тело писал всегда кирпичного цвета. Но если Микель-Анджело не первый живописец по своей кисти, то едва ли кто-нибудь превзошел его в рисовке. – В скульптуре был он, кажется, еще искуснее. Его «Купидон», «Бахус» и «Молодой сатир» считаются лучшими творениями сего художества. – Микель-Анджело был остроумен. Когда папа Юлий спросил у него с неудовольствием, для чего он в писанных им картинах из Ветхого завета не употребил золота, по примеру старинных живописцев, то он с покорным видом отвечал, что святые мужи, им изображенные, считали блеск одежды за ложное украшение человека. Желая дать знать Рафаэлю, что он видел в Фарнезских палатах картину его, «Галатею», начертил он углем на стене Фаунову голову, которую и ныне там показывают. Рафаэль, увидев ее, сказал, что никто, кроме Микеля-Анджело, не мог начертить такой головы. – Показывая Микель-Анджелову картину распятия Христова, рассказывают всегда, будто бы он, желая естественнее представить умирающего Спасителя, умертвил человека, который служил ему моделью; но анекдот сей совсем невероятен. – Он родился в 1474, а умер в 1564 году.

Картины Павла Веронеза превосходны по живости и приятности фигур и по свежести красок. Натура была образцом его; однако ж, как великий художник, умел он исправлять ее недостатки. – Между прочим, рассказывают об нем следующий анекдот. Однажды в окрестностях Венеции застала его на дороге буря с дождем, и он принужден был требовать убежища в загородном доме прокуратора Пизани, который принял его так ласково и дружелюбно, что живописец не мог выехать от него несколько дней. В то время написал он тихонько Дариеву фамилию (картину, на которой изображено двадцать фигур во весь рост) и спрятал ее под кровать; а прощаясь с хозяином, сказал ему, что он оставил там нечто в знак своей благодарности за его угощение. – Он родился в 1532, а умер в 1588 году.

...О Мендельзоновом «Федоне»... – Трактат М. Мендельсона «Федон, или О бессмертии души» высоко ценился в новиковском окружении. Перевод его, видимо выполненный А. М. Кутузовым, печатался в ряде номеров «Утреннего света» (1777–1778). Отклики на «Федона» звучат в трактате Радищева «О человеке, его смертности и бессмертии». Карамзина в этом трактате особенно волновал вопрос о связи «бессмертной и бесконечной Души» со смертным и пространственно ограниченным телом. С этим вопросом он обращался в письме к Лафатеру и неоднократно возвращался к нему в своих сочинениях. С аналогичными вопросами обратился к Мендельсону Кант, писавший: «По моему мнению, вся задача заключается в том, чтобы найти данные для решения проблемы: каким образом душа может находиться в мире, присутствуя в существах материальной природы» (Кант И. Трактаты и письма. М., 1980, с. 516).

...мне никак нельзя исполнить его желания. – Место это носит характер вставки, имеющей целью замаскировать подлинный маршрут. Во-первых, сообщив, что ему «никак нельзя» было дожидаться Кутузова в Страсбурге, Путешественник все же немедленно отправился именно в Страсбург, хотя дорога туда из Берлина совсем не шла через Дрезден: то, что Карамзин направился в столицу Саксонии, могло свидетельствовать лишь об одном – намерении далее следовать в Вену (вспомним, что именно в Вену ехать советовал Карамзину Зиновьев). Остается также неясным, каким образом Кутузов, не встретившись с Карамзиным в Берлине, узнал, что он направляется в Лейпциг, и прислал ему туда письмо. Во-вторых, в письме из Мангейма Путешественник пишет: «Если бы я не торопился в Швейцарию, то остался бы здесь на несколько недель: так полюбился мне Мангейм». Далее он отправляется в Швейцарию (не совсем обычным в то время путем) через Страсбург. Однако в статье, опубликованной в «Spectateur du Nord», в которой Карамзин реферировал не дошедший до нас ранний вариант «Писем», он изложил другую версию: из Франкфурта-на-Майне он собирался ехать не в Швейцарию, а во Францию, но, якобы испугавшись в Эльзасе мятежных толп, повернул на Базель. Все это носит следы искусственности: исторические документы не сообщают о каких-либо серьезных беспорядках на севере Франции в 1789 г. Даже полтора года спустя русские студенты М. И. Невзоров и В. Я. Колокольников писали из Страсбурга И. В. Лопухину, не советувавшему им ехать в Париж «в рассуждении царствующей там ныне мятежности»: «Нам будет там в теперешних обстоятельствах Франции безопасно. Чужестранцы все, как в здешнем городе (Страсбурге. – Ю. Л.), так и во всей Франции, не только никакой, как сказывают, не имеют опасности, но еще особенно обезопасиваются, и от двора нашего повеления нет выезжать из Франции, ибо здесь (в Страсбурге. – Ю. Л.), кроме помянутых двух студентов петербургских, живут многие из России дворянские дети, как-то: сын графа Разумовского, г-н Новосильцов и проч. Много равным образом, как мы теперь слышали, находится Русских и в Париже» (Барсков Я. Л. Переписка московских масонов XVIII-го века. Пг., 1915, с. 87–88). Благополучное пребывание Невзорова и Колокольникова в Страсбурге было Карамзину, их московскому собрату, прекрасно известно. Пугаться и поворачивать из Франции причин не было, тем более что Карамзин был совсем не робкого

десятка; в Лионе он попал в ситуацию действительной гражданской войны: кровь лилась на улицах, но он не испугался и не прервал своего путешествия, лишь изменил маршрут и направился в Париж. Именно с этого момента начинается расхождение на полмесяца между «Письмами» и реальным путешествием. Можно предположить, что это время Карамзин провел в Париже в обществе Кутузова.

«Здесь ли Виланд? Здесь ли Гердер? Здесь ли Гете?» – Веймарский эпизод является, в литературном отношении, центром книги и демонстрирует предромантическую ориентацию Карамзина. Сюда сходятся все нити: если, с одной стороны, Карамзин одним из первых указал на зависимость «Вертера» от «Новой Элоизы», то, с другой – именно в Веймаре он перечитывает Оссиана. Столь же закономерно в Веймаре он вспомнил Ленца. Вместе с тем Карамзину ближе предромантизм в его просветительском варианте. Не случайно Виланд и Гердер стоят у него на первом месте, их он торопится посетить. При этом знаменательна чуткость писателя в оценке литературной позиции Гете: Карамзин сразу же почувствовал едва наметившийся в 1789 г. поворот автора «Вертера» к винкельмановскому классицизму. Обойдя молчанием «Вертера», он отметил, что Гете присвоил «себе дух древних греков», и даже о внешности поэта заметил: «Важное греческое лицо!» (Показательно, что, когда в 1788 г. в Риме скульптор Триппель изваял Гете с явной стилизацией под античность, сам поэт удовлетворенно писал, что желал бы, чтобы потомство видело его именно таким.) Даже в мелочах проявлялась способность Карамзина поразительно улавливать культурные веяния в их оттенках. Карамзин иронически противопоставляет здесь независимую позицию писателя – частного лица, «русского путешественника» – придворной службе веймарских корифеев.

...Сделал... великую нравственную революцию в свете... – С Франкфурта, где Путешественник получил известие о взятии Бастилии, начинается новый этап путешествия. Новая часть книги начинается двумя внешне незначительными, но исполненными глубокого смысла эпизодами. Вид кельи Лютера заставляет Путешественника вспомнить Реформацию и назвать ее «великой нравственной революцией», а через несколько страниц автор вводит явно вымышленный эпизод встречи с неким врачом, которого он заставляет излагать мысли Гельвеция (и отчасти Ламеттри) о человеке как машине, управляемой материальными факторами. Эти карикатурно изложенные идеи, по мнению их адепта, врача, «сделают революцию в философии». Создается историческая перспектива: «великая нравственная революция» Реформации – «революция в философии» XVIII в. – и, как их итог, французская революция.

...сухой, высокий, бледный человек... – Имеется в виду Лафатер. Он пользовался большим влиянием в охваченной предромантическими настроениями Европе. Очень высок был его авторитет в кругу московских масонских учителей Карамзина. Об этом свидетельствует сохранившееся письмо И. П. Тургенева Лафатеру. В 1786 г. молодой Карамзин вступил в переписку с Лафатером, обратившись к нему с рядом философских вопросов. Карамзина с самого начала его писательской деятельности интересовали психологические проблемы, в особенности связь внутренних душевных движений и внешних их проявлений. С этим было связано его внимание к «физиогномике» – созданной Лафатером науке о соотношении внешности человека и его характера.

Где он теперь провождает тихие дни свои; но может ли единообразная, непрерывная, праздная тишина быть счастьем для того, кто привык уже к деятельной жизни государственного человека? Сия жизнь, при всех своих беспокойствах, имеет в себе нечто весьма приятное, и Неккер, при шуме горных ветров, потрясающих уединенное жилище его, томится в унынии. Размышляя о протекших часах, посвященных им благу французов, он внутренне укоряет сей народ неблагодарностию и взывает с царем Леаром: «Blow, winds, rage, blow! I tax not you, you elements, with unkindness; I called not you my children; I never gave you kingdom!» («Шумите, свирепые ветры, шумите! Я не жалуясь на свирепость вашу, раздраженные стихии! Вы не дети мои; вам не отдавал я царства».) Читая сие место в новой книге его «Sur l'Administration de M. Nekker, par lui-même» («О правлении г. Неккера, описанном им самим» (фр.). – Ред.), я готов был заплакать. Французы! Вы кричали некогда: «Да здравствует нация, король и Неккер!», а теперь кто из вас думает о Неккере?

Я угадал, и первая пьеса, напечатанная в сем ежемесячном сочинении, есть ответ на мой вопрос о цели бытия. Берлинским рецензентам показалось забавно: «Die constante, solideste, sutenabelste Existenz» («Постоянное, прочнейшее, терпимое существование» (нем.). – Ред.) – или: «Daseyn ist der Zweck des Daseyns» («Бытие есть цель бытия» (нем.). – Ред.) и проч. «Господин К*, – говорит рецензент во „Всеобщей немецкой библиотеке“, – конечно, больше нашего знаком с игрою Лафатеровых мыслей; ему оставляем мы разуместь сие изъяснение цели бытия нашего». – Мне кажется, что мысли Лафатеровы (несмотря на насмешки остроумных берлинцев) и понятны, и справедливы, и даже весьма обыкновенны; здесь можно назвать новыми только одни выражения. Но г. Аделунг, конечно, имеет причину жаловаться, что Лафатер не всегда думает о чистоте немецкого слога.

Сие... цветущее состояние швейцарских земледельцев... – Отрывок подводит итог важнейшей для швейцарской части книги темы – свободного труда крестьянина. Свобода швейцарских крестьян, гарантируемая патриархальностью жизни, законами против роскоши и твердой нравственностью, порождает высокий патриотизм граждан, по мнению Карамзина. С иных идеологических позиций связь рабства с отсутствием патриотизма волновала Радищева («Беседа о том, что есть сын отечества», 1789). Недошедшее произведение на ту же тему писал в эти же месяцы общавшийся с Карамзиным и находившийся в оживленной «философической переписке» с Радищевым А. М. Кутузов. Очевидно, что рассуждения Карамзина о положении швейцарских крестьян не могли не вызвать размышлений о русских их собратьях. Однако у этой темы был и другой поворот: в самом начале швейцарского раздела (в Базеле) Карамзин поместил чувствительный эпизод встречи француза-эмигранта со своими детьми. Писатель вводил тему «великого страха» перед аграрной революцией во Франции 1789 г.: «бунтующие поселяне хотели убить» своего господина, и он вынужден был бежать, «оставив замок свой в огне и пламени». Изображение положения крестьян в Швейцарии создавало контрастный фон пониманию положения крестьян в России и во Франции.

Здесь любовь пылает свободно, никакой грозы не страшась; здесь любят для себя, а не для отцов своих. Когда молодой пастух почувствует нежную страсть, которую прекрасные глаза легко воспаляют в веселом сердце, то уста его не таят ее. Пастушка внимает ему, сказывает свои чувства и следует движению своей склонности, если он достоин ее сердца; ибо сие движение, рождаемое приятностию и питаемое добродетелию, не постыдно для красавицы. Суетная пышность не тяготит страстных желаний; он любит ее, она его любит – сим заключается брак, который часто одною взаимною верностию утверждается; согласие служит вместо клятв, поцелуй – вместо печати. Любезный соловей поздравляет их с ближних ветвей; мягкая трава есть брачное ложе их, дерево – занавес, уединение – свидетель, и любовь приводит невесту в объятия молодого пастуха. Блаженная чета! Цари должны завидовать вам.

Тогда я не читал еще продолжения Руссовых «Признаний», или «Confessions», которое вышло в свет в бытность мою в Женеве и в котором описано происхождение всех его сочинений по порядку. Я приведу здесь места, касающиеся до «Элоизы». Руссо, прославясь в Париже своею оперою «Devin du village» («Деревенский колдун» (фр.). – Ред.) и другими сочинениями, приехал в Женеву и был принят там отменно ласково; все уверяли его в своей любви, в почтении к его дарованиям, и чувствительный, растроганный Руссо обещал своим согражданам навсегда к ним переселиться и только на короткое время съездить в Париж, чтобы учредить там дела свои. «После того, – говорит он, – я оставил все важные упражнения, чтобы веселиться с друзьями до моего отъезда. Всего более полюбилась мне тогда прогулка с семейством доброго Делюка. В самое прекрасное время наняли мы лодку и в семь дней объехали кругом Женевского озера. Места на другом конце его впечатлелись в моей памяти, и через несколько лет после того я описал их в „Новой Элоизе“». – Господин де Л* сказал мне правду: Руссо сочинял свою «Элоизу» в то время, когда жил в Эрмитаже подле Парижа. Вот что говорит он о происхождении своего романа: «Я представлял себе любовь и дружбу (двух идолов моего сердца) в самых восхитительнейших образах, украсил их всеми прелестями нежного пола, всегда мною любимого, воображал себе сих друзей не мужчинами, а женщинами (если такой пример и реже, то по крайней мере он еще любезнее). Я дал им два характера сходные, но не одинакие; два образа, не совершенные, но по моему вкусу; доброта и чувствительность одушевляли их. Одна была черноволосая, другая белокурая; одна рассудительна, другая слаба, но в самой слабости своей любезная и добродетельная. Одна из них имела любовника, которому другая была нежным другом, и еще более, нежели другом; но только без всякого совместничества, без ревности и ссоры, ибо душе моей трудно воображать противные чувства, и притом мне не хотелось помрачить сей картины ничем, унижающим натуру. Будучи восхищен сими двумя прекрасными образцами, я всячески сближал себя с любовником и другом; однако ж представил его молодым и прекрасным, дав ему мои добродетели и пороки. Чтобы поселить моих любовников в пристойной для них стране, я проходил в памяти своей все лучшие места, виденные мною в путешествиях, но не мог найти ни одного совершенно хорошего. Долины

Фессалийские могли бы меня удовлетворить, если бы я видел их, но воображение мое, утомленное выдумками, хотело какого-нибудь существенного места, которое могло бы служить ему основанием. Наконец я выбрал берега того озера, вокруг которого сердце мое не переставало носиться», – и проч. С неописуемым удовольствием читал я в Женеве сии «Confessions», в которых так живо изображается душа и сердце Руссо. Несколько времени после того воображение мое только им занималось, и даже во сне. Дух его парил надо мною. – Один молодой знакомый мне живописец, прочитав «Confessions», так полюбил Руссо, что несколько раз принимался писать его в разных положениях, хотя (сколько мне известно) не кончил ни одной из сих картин. Я помню, что он, между прочим, изобразил его, целующего фланелевую юбку, присланную ему на жилет от госпожи Депине. Молодому живописцу казалось это очень трогательным. Люди имеют разные глаза и разные чувства!

...труп несчастного дю Фулона... – Самосуд над суперинтендантом (министром финансов) Фулоном, которого обвинили в установлении дороговизны и больших налогов, был заметным эпизодом первых дней французской революции. Однако включение этого эпизода в записки Путешественника, находящегося в конце сентября в Лозанне, представляется искусственным. К этому времени самосуд над Фулоном был уже плотно заслонен многими другими драматическими событиями. Да и само описание приезда маркизов, явившихся в Лозанну рассказать Карамзину о парижских разговорах июля 1789 г., более всего похоже на литературный прием. Если верна гипотеза, что Карамзин сам побывал летом 1789 г. в Париже, то можно предположить, что разговоры эти он слышал там и в то время, когда, с одной стороны, эти события были злостью дня, а с другой – аристократам все еще казалось, что в Париже происходит малозначительный мятеж.

«Я осмеливаюсь писать к Вам, думая, что письмо мое беспокоит Вас менее, нежели посещение, которое могло бы на несколько минут перервать Ваши упражнения.

С величайшим вниманием читал я снова Ваше „Созерцание природы“ и могу сказать без тщеславия, что надеюсь перевести его с довольною точностью; надеюсь, что не совсем ослаблю слог Ваш. Но для того чтобы сохранить всю свежесть красот, находящихся в подлиннике, мне надлежало бы иметь Боннетов дух. Сверх того, язык наш хотя и богат, однако ж не так обработан, как другие, и по сие время еще весьма немногие философические и физические книги переведены на русский. Надобно будет составлять или выдумывать новые слова, подобно как составляли и выдумывали их немцы, начав писать на собственном языке своем; но, отдавая всю справедливость сему последнему, которого богатство и сила мне известны, скажу, что наш язык сам по себе гораздо приятнее. Перевод мой может быть полезен – и сия мысль послужит мне ободрением к преодолению всех трудностей.

Вы пишете так ясно, что на сей раз я должен только благодарить Вас за данное мне позволение требовать у Вас изъяснения в таком случае, если бы что-нибудь показалось для меня непонятным в „Созерцании“. Может быть, трудно будет мне выражать ясно на русском языке то, что на французском весьма понятно для всякого, кто хотя немного знает сей язык.

Я намерен переводить и Вашу „Палингенезию“. Один приятель мой, живущий в Москве (*Один приятель мой, живущий в Москве...* — А. А. Петров.), так же, как и я, любит читать Ваши сочинения и будет моим сотрудником; может быть, в самую сию минуту, когда имею честь писать к Вам, он переводит главу из „Созерцания“ или „Палингенезии“.

Предлагая публике перевод мой, скажу: „Я видел его самого“, и читатель позавидует мне в сердце своем.

Изъявляя признательность мою за благосклонный прием, с глубочайшим почтением имею честь быть» – и проч.

Начало письма есть не что иное, как одна французская учтивость. – «Я радуюсь, нашедши такого переводчика: Вы, конечно, хорошо переведете и „Палингенезию“, и „Созерцание“. Автор будет Вам весьма благодарен за то, что Вы познакомите с его сочинениями такую нацию, которую он уважает.

Не можно ли Вам в понедельник, то есть 25 числа сего месяца, отобедать со мною по-философски в сельском моем уединении? Если можно, то около двенадцати часов буду ожидать Вас, и мы поговорим о том труде, которым Вы намерены обязать меня. Прошу об ответе.

Мне приятно слышать, что у Вас есть приятель, который вместе с Вами любит просвещение и находит удовольствие в чтении моих сочинений. Уверяю Вас в моем уважении, имею честь быть,

государь мой,

Ваш покорный слуга,

Созерцатель Природы».

«Мы, синдики и совет города и республики Женевы, сим свидетельствуем всем, до кого сие имеет касательство, что, поелику господин К., двадцати четырех лет от роду, русский дворянин, намерен путешествовать во Франции, то, чтобы в его путешествии ему не было учинено никакого неудовольствия, ниже досаждения, мы всепокорнейше просим всех, до кого сие касается, и тех, к кому он станет обращаться, давать ему свободный и охранный проезд по местам, находящимся в их подчинении, не чиня ему и не дозволяя причинять ему никаких тревог, ниже помех, но оказывать ему всяческую помощь и споспешествование, каковые бы они желали получить от нас в отношении тех, за кого бы со своей стороны они перед нами поручительствовали. Мы обещаем делать то же самое всякий раз, как нас будут об этом просить. В каковой надежде выдано нами настоящее за нашей печатью и за подписью нашего секретаря сего 1 марта 1790 г. От имени вышеназванных господ синдиков и совета Пюэрари» (фр.). – Ред.

Вестрис... – Описанный Карамзиным эпизод триумфа Вестриса в Лионе имел подтекст, понятный читателям тех лет: популярность Вестриса сына у зрителей была связана с тем, что он первый открыто порвал с традицией восприятия балета как «королевского зрелища». Осенью 1788 г. он демонстративно отказался танцевать для гостившего в Париже шведского короля, несмотря сначала на приказ, а затем и просьбу Марии-Антуанетты танцевать для короля в Версале. За это он был заключен в тюрьму по приказу короля на полгода. Однако бурные протесты парижан заставили освободить его через полтора месяца. Последующие выступления Вестриса неизменно превращались в триумф. Карамзин не говорит прямо о политической подоплеке описываемой им сцены, однако намеком на это обстоятельство служит указание на демократический состав публики: «Необыкновенная вольность удивила меня. Если в ложе или в паркете какая-нибудь дама вставала с своего места, то из партера кричали в несколько голосов: „Садись! Прочь! À bas! À bas!“» Когда Карамзин издавал полный текст «Писем», он знал уже, что в дальнейшем Вестрис сделался кумиром революционного Парижа (*Карамзин подчеркнул это, введя фигуры двух аристократов, для которых Вестрис «превеликая скотина». Иронические слова о том, что «в сию минуту легкие французы могли бы, думаю, провозгласить Вестриса диктатором», также приобретают в этом контексте особый смысл.*), танцевал Карманьолу не только на балетных подмостках, но и под окнами заключенной в Тампль Марии-Антуанетты. Однако писатель не вычеркнул этой сцены, воссоздающей атмосферу начала революции.

Может быть, не все читатели знают те стихи, в которых английский поэт Томсон прославил нашего незабвенного императора Вот они:

What cannot active government perform.
New moulding Man? Wide stretching from these shores,
People savage from remotest time,
A huge neglected empire one vast Mind.
By Heaven inspir'd, from Gothic darkness cali'd.
Immortal Peter! first of monarchs' He
His stubborn country tam'd, her rocks, her fens,
Her floods her seas, her ill-submitting sons,
And while the fierce Barbarian he subdu'd,
To more exalted soul he rais'd the Man.
Ye shades of ancient heroes, ye who toil'd
Thro'long successive ages to build up
A labouring plan of state! behold at once
The wonder done! behold the matchless prince.
Who left his native throne, where reign'd till then
A mighty shadow of unreal power;
Who greatly spurn'd the slothful pomp of courts;
And roaming every land, in every port
His sceptre laid aside, with glorious hand
Unwearied plying the mechanic tool,
Gather'd the seeds of trade, of useful arts
Of civil wisdom and of martial skille,
Charg'd with the stores Europe home he goes!
Then cities rise amid th'illumin'd waste;
O'er Joyless deserts smiles the rural ring;
Far-distant flood to flood is social join'd;
Th'astonish'd Euxine hears the Baltick roar,
Proud navies ride on seas that never foam'd
With daring keel before; and armies stretch
Each way their dazzling files, repressing here
The frantic Alexander of the north,
And awing there stern Othman's shrinking sons.

Sloth files the land, and Ignorance, and Vice,
Of old dishonour proud; it glows around,
Taught by the Royal Hand that rous'd the whole,
One scene of arts, of arms, of rising trade:
For what his wisdom plann'd, and power enforc'd,
More potent still his great example shew'd.

То есть: «Чего не может произвести деятельное правительство, преобразуя человека? Одна великая душа, вдохновенная небом, извлекла из готического мрака обширную империю, народ издревле дикий и грубый. Бессмертный Петр! Первый из монархов, укротивший суровую Россию с ее грозными скалами, блатами, шумными реками, озерами и непокорными жителями! Смирив жестокого варвара, возвысил он нравственность человека. О вы, тени древних героев, устроявших веками порядок гражданских обществ! Воззрите на сие вдруг совершившееся чудо! Воззрите на беспримерного государя, оставившего наследственный престол, на коем дотоле царствовала могущественная тень неутвержденной власти, – презревшего пышность и негу, проходящего все земли, отлагающего свой скипетр в каждом корабельном пристанище, неутомимо работающего с искусными механиками и собирающего семена торговли, полезных художеств, общественной мудрости и воинской науки! Обремененный сокровищами Европы, он возвращается в свое отечество, и вдруг среди степей возносятся грады, в печальных пустынях улыбаются красоты сельские, отдаленные реки соединяют свое течение, изумленный Евксин слышит шум Балтийских волн, гордые флоты преплывают моря, которые дотоле не пенились еще под дерзостными рулями, и многочисленные воинства в блестящих рядах на врагов устремляются, поражают неистового северного Александра и ужасают свирепых сынов Оттомана. Удаляются леность, невежество и пороки, коими прежнее варварство гордилось. Везде является картина искусств, военных действий, цветущей торговли: мудрость его вымышляет, власть повелевает, пример показывает – и государство благополучно!»

Вид недоделанных статуй приводит меня в уныние. – Эпизод беседы со скульптором, которого отвлекает от работы необходимость принимать участие в национальной гвардии, видимо, отражает не реальную встречу в Лионе, а беседы с русским скульптором М. И. Козловским, с которым Карамзин общался в Париже. После взятия Бастилии Козловский доносил Совету Академии художеств: «Имею честь доложить Почтенному Собранию, что здесь воспоследовала перемена большая, граждане взяли оружие и содержат сами караул, и нас к тому принуждают, не принимая никаких наших отговорок, на что пенсионеры императорской Академии крайне ропщут, ибо стоит им каждая неделя 6 франков, а самим ходить казалось бы непристойно с ружьем в чужом отечестве. Для сей причины был я у нашего посланника, сказывал ему, что нас императорская Академия не с тем сюда прислала, чтоб нам ружье здесь носить, и просил его, чтобы нас защитил, на что его превосходительство не дал никакого решения, и мы теперь все должны исполнять, что нам прикажут» (см.: Петров В. П. Михаил Иванович Козловский. Л., 1976, с. 29).

Представляли новую трагедию, «Карла IX», сочиненную г. Шенье. – Пьеса М.-Ж. Шенье «Карл IX, или Урок королям» была одним из крупнейших не только театральных, но и политических событий 1789 г. Посвященная обличению деспотизма, церковного фанатизма, политических и церковных злоупотреблений «старого режима», она была запрещена королевской театральной цензурой и подверглась бойкоту со стороны монархически настроенной труппы «Комеди Франсез». Бурные эксцессы, среди которых были демонстрации и драки в театральном зале, вмешательство мэра Парижа Бальи, специальное решение Национального собрания о постановке пьесы, интерполяции Мирабо от имени марсельцев, листовки в театральном зале, волна памфлетов, газетных статей и брошюр и даже дуэль между сторонником пьесы, исполнителем роли короля, Тальма, и противником ее, актером Нодэ, – таков был ореол событий вокруг описанной Карамзиным пьесы. История этой театральной постановки, о которой Дантон сказал: «Если „Фигаро“ убил дворянство, то „Карл IX“ убьет королевскую власть», возможно, была в России хорошо известна и с этим, вероятно, связано то, что Карамзин перенес (в «Письмах») свое посещение спектакля из опасной атмосферы Парижа в более нейтральный Лион. Однако знакомство с методами конструирования эпизодов в «Письмах» убеждает, что литературные соображения всегда доминируют над эмпирическим материалом и что Карамзин исключительно свободно создавал, комбинировал, заимствовал из различных источников то, что он предлагал читателям как «встречи» и «личные впечатления». Трудно себе представить, чтобы Карамзин не был на спектакле 12 апреля (открытие «Комеди Франсез» после пасхальных каникул), когда произошел знаменитый скандал: Тальма должен был читать речь, специально написанную М.-Ж. Шенье, но королевская труппа не допустила этого выступления. В театре произошел скандал, Шенье опубликовал запрещенную речь в печати (см.: Державин К. Театр Французской революции. 1789–1799. М. —Л., 1937, с. 66–73). Если даты пребывания Карамзина в Париже, выставленные в «Письмах», реальны, то он действительно не мог видеть «Карла IX» на столичной сцене: с 20 марта по 12 апреля театр был закрыт на пасхальные каникулы, а потом пьеса долгое время не возобновлялась из-за сопротивления труппы. Однако есть основания полагать, что Карамзин приехал в Париж раньше.

Я не увижу плодоносных стран Южной Франции... – Отказ от путешествия по югу Франции, видимо, на самом деле был вызван исключительно беспокойной обстановкой в этом районе. В это время аграрные беспорядки на юге страны, вызвавшие опасность путешествий по дорогам, дополнились кровавыми религиозными распрями. В Авиньоне революция – новый муниципалитет отменил инквизицию и попытался рассматривать город как часть Франции, что встретило сопротивление папы римского. В городе вспыхнули сопровождавшиеся актами насилия столкновения. «Ним и Марсель также были захвачены кровавыми беспорядками» (см.: Morin J. Histoire de Lyon depuis la Révolution de 1789, 1.1. Paris, 1845, p. 147). Естественно, Карамзину пришлось отказаться от планов посетить Авиньон и Ним.

Кофейные дома... – Посещение кафе входило в норму дня обеспеченного человека в Париже: утром, во время завтрака, и после обеда перед театром. Е. Ф. Комаровский, попавший в Париж перед самой революцией как дипломатический курьер русского двора, вспоминал: «Поутру ходил я завтракать в Café de Foi, бывшем тогда в большой моде, или в другой кофейный дом... После обеда кофе пить я ходил au Café mécanique, где из-под полу, посредством машин, доставлялось все, чего пожелаешь» (Записки гр. Е. Ф. Комаровского. СПб., 1914, с. 9–10). Свидетельство Комаровского указывает, что даже вполне благонамеренные русские молодые офицеры посещали «Cafe de Foi». Между тем Карамзин обошел молчанием вопрос о том, какие «кофейные дома» он посещает, и лишь упомянул о возможности «с томною, но приятных чувств исполненною душою отдыхать в Пале-Рояль, в „Café de Valois“, de „Caveau“». Для людей, владевших ключами к тексту, смысл был ясен: назывались лишь монархические или нейтральные кафе, хотя трудно предположить, чтобы хотя бы любопытство не привлекло Карамзина туда, где обычно бывал даже недалекий Комаровский. Смысл этих упоминаний раскрывается из следующих сопоставлений: «...Период... от 1789 до 1799 года, – писал французский историк XIX в. Анри д'Альмера, – был золотым веком кафе. Во многих из этих кафе, которые преобразились в политические клубы, можно было прочесть вечерние газеты, в них спорили, произносили речи, судили правительство и подготовляли мятежи [ср. у Карамзина: „где также все людьми наполнено, где читают вслух газеты и журналы, шумят, спорят, говорят речи и проч.“]. В Пале-Рояле „Café de Foi“ было гнездом демагогов. Их постоянные призывы к гражданской войне заставили власти его закрыть [так вот куда ходил по утрам будущий любимец Павла I, Константина и Александра Павловичей и начальник корпуса внутренней стражи, то есть военной полиции! – Ю. Л.] ... Роялисты встречались в „Café de Valois“, прозванном „неизлечимые“, и „Café de Chartres“. Среди нейтральных (с монархическим оттенком) названо Le café du Caveau, где на галерее были выставлены бюсты Филидора, Глюка и Пиччини, пивших там кофе» (D'Alméra Henri. La vie parisienne sous la Révolution et le Directoire. Paris, 1909, pp. 67–68).

Худо не знать обычаев... – Порядок дня в Москве и Париже, в кругу доступном наблюдениям Карамзина, различно распределялся по часам суток. Французская аристократия рассматривала позднее вставание как сословную привилегию. Так, в комедии Сорена на слова добродетельного буржуа, восхваляющего удовольствия солнечного дня, героиня-аристократка отвечает: «Фи, сударь, это неблагородное удовольствие: солнце – это для простонародья» (С о р е н. Нравы нашего времени, сц. XII). В России даже в конце XVIII в. день начинался и кончался раньше. Следующие строки у Карамзина посвящены характеристике салона. Литературные салоны были одной из наиболее ярких черт культурной жизни Парижа XVIII в. Значение их в период пребывания там Карамзина еще не было нарушено. Хозяйка литературного салона Ж. де Сталь так характеризовала положение в начале 1791 г.: «Я был поражен (текст написан от лица героя. – Ю. Л.) простотой и свободой, царившими в парижских салонах. Самые важные вопросы обсуждались без тени легкомыслия, но и без малейшего педанства: самые глубокие мысли высказывались в непринужденной беседе, и, казалось, величайшая в мире революция совершилась лишь затем, чтобы придать еще больше приятности парижскому обществу. Я знал высокообразованных и чрезвычайно одаренных людей, скорее одушевленных желанием нравиться, чем приносить пользу: они искали аплодисментов в салоне после того, как срывали их на трибуне» (Сталь де. Ж. Коринна, или Италия М, 1969, с 199) Судя по автореферату «Писем» в «Spectateur du Nord», Карамзин был посетителем нескольких салонов, но предпочел им политические разговоры в кафе, а также театры и Национальное собрание. Расшифровать, какой салон скрыл Карамзин под обозначением «Гло*», не удастся: хозяйки салона, чья фамилия начиналась бы подобным образом, не обнаруживается. Из сопоставления следующих данных: 1) Карамзин был принят в этом салоне по рекомендации из Женевы; 2) в салоне находился брат Неккера; 3) хозяйка салона, «ученая дама лет в тридцать», которая «говорит по-английски, итальянски», сопоставляется с госпожой Неккер, – можно сделать вывод, что госпоже Гло* приданы некоторые черты самой Неккер – хозяйки известного литературно-политического салона, постоянными посетителями которого были Сийес, Кондорсе, Талейран, дочь ее – де Сталь и др. В этом случае салон, описанный в «Коринне», мог быть тем

самым, который посетил Карамзин, спор его с хозяйкой – фиксировал разницу мнений автора «Писем» и г-жи Неккер.

У баронессы Ф* – то есть в салоне маркизы Ферте-Эмбо Марии-Терезы (1715–1791), в котором собиралось общество «Ордена Лантюрлелю», имевшее одновременно антипросветительский, ортодоксально-католический, с одной стороны, и щегольской, прециозный характер – с другой. Маркиза Ферте-Эмбо, чей салон открыто враждовал с салоном ее матери (в котором царили Д'Аламбер, Тома, Морелли, Монтескье, Мармонтель, Станислав Понятовский), носила в «Ордене» титул «ее экстравагантнейшего величества лантюрлелийского, основательницы Ордена и самодержицы всех Глупостей». Салон посещался такими деятелями, как кардинал Берни. Салон г-жи Жоффрен поддерживал, несмотря на некоторые размолвки, связи с Екатериной II. Павел во время своего пребывания в Париже (1781 г.) под именем графа Северного посещал салон Ферте-Эмбо и вместе с Марией Федоровной вступил в «Орден Лантюрлелю».

*Читал М** – Видимо, имеется в виду известный проповедник, виднейший оратор Жан-Батист Массильон (1663–1742). Подчеркивая впечатление, которое производили речи католических проповедников в антипросветительских салонах, Карамзин знал об ироническом отношении к ним в противоположном лагере. Описывая свое посещение монастыря Сен-Дени и рассказав о чуде св. Дионисия, который «после казни стал на ноги, взял в руки отрубленную голову свою и шел с нею версты четыре», Карамзин цитирует известные слова маркизы дю Деффан: «...Стоит сделать лишь первый шаг» (см.: Bellessort André. Le salon de M-me du Deffand. – В кн.: «Les grands salons littéraires (XVII-eme et XVIII-eme siecle). Conférence du musée Carnavalet» (1927). Paris, 1928, p. 154). Стремясь к художественной обобщенности, а не к документальной точности создаваемой им картины, Карамзин заменяет исторические имена инициалами, что дает ему большую свободу сдвигать и комбинировать факты. Так, Массильон проповедовал не в салоне у г-жи Ферте-Эмбо, а в более ранних обществах, однако соединение их имен, скрытых под прозрачными инициалами, создавало картину мощного католического центра и придавало законченность созданной Карамзиным гамме: светский салон маркизы Д*, философский – графини А* и религиозный – баронессы Ф*. Ради законченности композиционного ряда «маркиза – графиня – баронесса», который был устойчивым элементом комедий и сатир той эпохи, превратившись в сжатый образ дореволюционной аристократии Парижа, Карамзин сдвинул реальную картину, сделав ее «более типической»: г-жа Эгийон была герцогиня, а не графиня, Ферте-Эмбо – маркиза, а не баронесса. Желая подчеркнуть, что мир салонов – черта аристократической культуры, Карамзин вообще не упомянул о «средах» у г-жи Жоффрен, матери Ферте-Эмбо, которая не была знатного происхождения, хотя ум, остроумие обеспечили ей роль хозяйки самого блестящего салона Парижа. Художественно обобщил Карамзин и картину конца «века салонов», связав его с революцией. Столь же свободно обращается Карамзин и с датами. Революция разрушила мир салонной культуры. Широкая картина исторического движения от эпохи Людовика XIV к концу XVIII в. представляет и гибель салонной культуры, и смену «забав и вкуса» «страшными играми» в карты, спекуляциями, завершившимися тем, что «грянул над ними гром революции».

На короле был фиолетовый кафтан... – Французские короли и принцы крови носили фиолетовый цвет в знак траура. Деталь эта намекает на многозначительные обстоятельства, современникам Карамзина понятные: королевская семья носит траур по маркизу Фаврасу, повешенному на Гревской площади в конце февраля 1790 г. по обвинению в заговоре, имевшем целью похищение короля. На самом деле имела место конспирация с участием королевы, графа Прованского, а возможно, и Мирабо. Фаврас взял всю вину на себя, и заговор остался нераскрытым. Однако в Париже циркулировали слухи, возможно, известные Карамзину, что Фаврас был обманут своими высокими покровителями и до последней минуты надеялся, что приговор не будет приведен в исполнение. Уже на эшафоте он хотел сделать важные признания, но ослепленный ненавистью народ (первый случай повешенья аристократа!) не дал ему говорить. В этих условиях, когда говорили, что казнь Фавраса вызвала вздох облегчения у его друзей в большей мере, чем у врагов, траур короля и королевы получал несколько двусмысленное значение.

Один маркиз... – П. Н. Берков предположил, что имеется в виду маркиз Лафайет (см.: Карамзин Н. М. Избр. соч., т. 1. М. —Л., 1964, с. 798). Однако более вероятным представляется предположение, что имеется в виду маркиз Антуан Никола де Кондорсе (1743–1794) – известный ученый, математик и философ, неприменный секретарь Французской академии, примкнувший к революции и сделавшийся в 1791–1792 гг. одним из ее лидеров; в эпоху якобинской диктатуры пал вместе с жирондистами. Выражение «был некогда осыпан королевскими милостями» не подкрепляется биографией Лафайета, между тем как не располагавший никаким состоянием Кондорсе в молодости получал королевскую пенсию. Лафайет не был заикой, о Кондорсе же известно, что «застенчивость и крайняя слабость легких, неумение сохранять хладнокровие и быстроту соображения посреди шума, волнения и смуты... заставляли его держаться вдалеке от трибуны» (Arago Fr. Biographie de Condorset. Paris, 1849, p. 121). В незнакомом обществе он производил впечатление заики. Предположение о том, что речь идет о Кондорсе, проясняет еще одну деталь текста: говоря об опасностях революции, Карамзин строкой ниже использует выражение Мирабо (см. след. коммент.), однако вставляет в него упоминание о цикуте, в речи Мирабо отсутствовавшее. Последнее может быть истолковано как прямой намек на судьбу Кондорсе: преследуемый Робеспьером, Кондорсе принял яд, чтобы избежать эшафота, – перед нами лишнее свидетельство осведомленности Карамзина в деталях парижских событий.

Помнит ли цикуту и скалу Тарпейскую? – Слова представляют собой перефразировку изречения Мирабо, произнесенного, видимо, в присутствии Карамзина. В конце мая 1790 г. в Национальном собрании обсуждался вопрос о праве короля на ведение тайной дипломатии и объявление состояния войны. 20 мая Мирабо в обширной речи доказывал, что «право войны» принадлежит в равной мере и королю, и Национальному собранию, право на заключение договоров принадлежит королю с последующей санкцией Собрания. 21 мая Барнав произнес речь, опровергавшую тезисы Мирабо. Одновременно на улицах Парижа стали продавать памфлет: «Великое предательство графа Мирабо». 22 мая Национальное собрание было окружено толпой в 50 000 человек. Мирабо долгое время не давали начать ответной речи, заглушая его голос криками, а когда он направился к трибуне, Вольней крикнул ему: «Мирабо, вчера в Капитолии – сегодня на Тарпейской скале». Мирабо в патетической речи ответил: «Мне не надо этих уроков, чтобы помнить, что от Капитолия близко до Тарпейской скалы!»

В Париже пять главных театров... – В Париже в 1790 г. насчитывалось 16 театров (см.: Державин К. Н. Театр Французской революции, с. 50–52). «Большая опера» – театр, основанный в 1671 г. под названием «Королевская академия музыки», в 1791–1793 гг. назывался «Театр оперы», в 1793–1794 – «Национальная опера»; «Французский театр», или «Комеди Франсез» (Французская комедия), помещался у Люксембургского дворца; «Итальянский театр», или «Итальянская комедия», основан в 1716 г., в 1792 г. переименован в «Национальную комическую оперу» («Опера-комик»), помещался на площади Фавара; «Театр графа Прованского» – театр младшего брата короля открыт в 1789 г. в Тюильрийском дворце, в 1790 г. был переведен на Сен-Жерменскую ярмарку, а в 1791 г. – в театр на улице Фейдо; «Variete» – в Париже в 1790 г. существовало два театра с подобным названием: театр «Варьете», открытый г-жой Монтансье в Пале-Рояле в зале «Театра Божоле» в 1790 г., и театр «Веселое варьете», открытый в 1779 г. и находившийся с 1784 г. в Пале-Рояле, называвшийся также «Театр Пале-Рояля», или «Пале-Эгалите». Е. Ф. Комаровский вспоминал: «Должен признаться, что любимый мой театр был тогда Les Variétés amusantes, зала была в самом Palais Royal» (Записки гр. Е. Ф. Комаровского, с. 9).

Я прошу знатоков французского театра найти мне в Корнеле или в Расине что-нибудь подобное – например, сим Шекспировым стихам, в устах старца Леара, изгнанного собственными детьми его, которым отдал он свое царство, свою корону, свое величие, – скитающегося в бурную ночь по лесам и пустыням:

Blow, winds... rage, blow!
 You sulph'rous and thought executing fires,
 Vount couriers oak-cleaving thunder-bolts,
 Singe my white head! And thou allshaking thunder,
 Strike flat the thick rotundity o'th'world;
 Crack nature's mould, all germins spill at once,
 That make ungrateful man!!!
 I tax not you, you elements, with unkindness!
 I never gave you kingdom, cali'd you children;
 ...Then let fall
 Your horrible pleasure!.. Here I stand, your slave,
 A poor, infirm, weak and despis'd old man!

(«Шумите, ветры, свирепствуй, буря! Серные быстрые огни, предтечи разрушительных ударов! Лейте пламя на белую главу мою!.. Громы, громы! Сокрушите здание мира; сокрушите образ природы и человека, неблагодарного человека!.. Не жалуясь на вашу свирепость, разъяренные стихии! Я не отдавал вам царства, не именовал вас милыми детьми своими! Итак, свирепствуйте по воле! Разите – се я, раб ваш, бедный, слабый, изнуренный старец, отверженный от человечества!»)

Они раздирают душу; они гремят, подобно тому грому, который в них описывается, и потрясают сердце читателя. Но что же дает им сию ужасную силу? Чрезвычайное положение царственного изгнанника, живая картина бедственной судьбы его. И кто после того спросит еще: «Какой характер, какую душу имел Леар?»

В следующих стихах:

Un Dieu plus fort que moi m'entraînait vers le crime;
Sous mes pas fugitifs il creusait un abîme,
Et j'étais, malgré moi, dans mon aveuglement,
D'un pouvoir inconnu l'esclave et l'instrument,
Voilà tous mes forfaits; je n'en connais point d'autres,
Impitoyables Dieux, mes crimes sont les vôtres,
Et vous m'en punissez?.. Ou suis je? quelle nuit
Couvre d'un voile affreux la clarté qui nous luit?
Ces murs sont tints de sang; je vois les Euménides
Secouer leurs flambeaux, vengeurs des patricides.
Le tonnerre en éclats semble fondre sur moi:
L'enfer s'ouvre...

(Некий бог, более могущественный, чем я, увлек меня к преступлению; под моими скорыми стопами он разверз бездну, и в своем ослеплении поневоле стал рабом и орудием неведомой силы. Вот все мои проступки, никаких других я не знаю. Неумолимые боги, мои вины – ваши, и вы меня за них наказываете? Где я? Какая ночь своим страшным покрывалом скрывает от меня свет, который нам сияет? Эти стены запятнаны кровью; я вижу Эвменид, потрясающих своими факелами, мстителями отцеубийц. Вспышки молний словно обрушиваются на меня, бездна разверзается (фр.). – Ред.)

„Рауль, Синяя Борода“ и „Петр Великий“... – „Рауль, Синяя Борода“ – опера А.-Э.-М. Гретри по комедии Седана; „Петр Великий“ – опера Гретри на сюжет комедии Бульи. Обе оперы поставлены в 1790 г. „Петр Великий“ представлял в контексте 1790 г. революционную антидеспотическую пьесу, прославляющую союз короля и нации. „Популярными героями драматургии становятся такие короли, как Генрих IV, Людовик XII и даже Петр Великий, которых окружает демократическая легенда“ (Державин К. Н. Театр Французской революции, с. 177). Сопоставление текста песни с французским оригиналом убеждает, что Карамзин перевел ее весьма вольно: программная предпоследняя строфа полностью принадлежит Карамзину.

...есть в Париже множество других в *Palais Royal*, на бульварах... – В Пале-Рояле находились театры „Варьете“ и „Веселое варьете“, известные как место сбора случайной публики и публичных женщин, а с 1790 г. – „Театр цирка Пале-Рояля“; театры на бульварах – небольшие и более демократические по составу труппы и репертуару театры, являвшиеся конкурентами „королевских“. До революции „королевские“ театры с помощью монополий жестко ограничивали возможности „бульварных“ театров. Основное место сосредоточения этих театров – бульвар Тампль. Здесь располагались: „Театр Веселья“ (до 1790 г. именовался „Театром великих танцоров короля“); „Театр товарищества на бульваре Тампль“ (с 1790 г.); „Театр комического двусмыслия“ – в основном мимический театр (с 1769 г.); „Театр комического отдохновения“ (с 1785 г.). Во время пребывания в Париже Карамзина на бульвар Тампль переехал из ПалеРояля „Театр Божоле“. В годы революции на бульваре Тампль открылся еще ряд театров. Имелись „бульварные“ театры и в других частях города. Так, с 1790 по 1794 гг. существовал Французский комический и лирический театр на бульваре СенМартен. Поскольку метафора: „жизнь – китайские тени моего воображения“ – сделалась одной из любимейших в сознании и языке Карамзина, то следует предположить посещение им „Театра Серафена“, или „Театра китайских теней“, который с 1784 г. находился в Пале-Рояле, а позже переехал на бульвар Тампль.

Тут живет ныне королевская фамилия. – Упоминание это имеет в тексте несколько значений. Прежде всего здесь содержится намек на события 5–6 октября 1789 г. – самый острый момент в политической хронике революции до отъезда Карамзина из Парижа. Тюильри в XVIII в. не был официальной резиденцией французских королей. После того как толпа парижских женщин заставила короля и Национальное собрание переехать из Версаля в Париж в знак разрыва с прошлым, король с семьей был помещен не в свою обычную парижскую резиденцию, а в Тюильри. В этом значение „ныне“ во фразе Карамзина. Однако когда текст этот сделался доступен русскому читателю (а возможно, и когда он писался), Людовик XVI и МарияАнтуанетта давно уже были гильотинированы, а предсмертным местом пребывания их был не Тюильри, а замок Тампль. Позиция, при которой писатель как бы не знает того, что известно читателю, придает тексту особый смысл.

Что ни говорят мизософы, а науки – святое дело! – Отрывок явно представляет собою позднюю вставку (по крайней мере после 1794 г.), поскольку в нем – в подстрочном примечании, очевидно входящем в самую суть эпизода, – говорится о казни Лавуазье и Бальи.

Мизософы – враги науки, здесь имеется в виду Ж.-Ж. Руссо. Ср.: „Спартанцы не знали ни наук, ни искусств, – говорит наш мизософ, – и были добродетельнее прочих греков“ (Карамзин Н. М. Нечто о науках, искусствах и просвещении). Карамзин, в соответствии со своими воззрениями, противопоставляет науку политической деятельности, утверждает, что среди ученых царит дух международного братства („берлинец Боде“ говорит, что „Лавуазье есть гений химии“, Лавуазье „обласкал“ датчанина Беккера, узнав, что он „ученик берлинского химика Клапрота“). Судьба Лавуазье – свидетельство, по мнению Карамзина, гибельности вторжения политики в область мирного прогресса культуры. Упоминание Карамзиным Гельвеция как добродетельного человека (хотя и сопровождаемое сдержанной оценкой его философии) в контексте осуждения „мизософии“ Руссо и указания, что Лавуазье был „умерщвлен Робеспьером“, заставляет видеть здесь отклик на противопоставление Руссо Гельвецию в речи Робеспьера (5 декабря 1792 г.), содержавшей требование удалить бюст Гельвеция из Якобинского клуба: „Лишь двое, на мой взгляд, достойны здесь нашего признания – Брут и Руссо“. Гельвеций, по мнению Робеспьера, был одним из самых жестоких гонителей славного Ж.-Ж. Руссо, того, кто более всех достоин наших почестей. Если бы Гельвеций жил в наши дни, не думайте, что он бы примкнул к тем, кто защищает свободу. Он пополнил бы собой толпу интриганов-остроумцев, от которых страдает ныне наше отечество» (Р о беспьерМ.Избр. произведения в 3-х т., т. 2. М., 1965, с. 141–142). Слова об «интриганах-остроумцах» относились к людям типа Шамфора, о котором Карамзин упоминал уже ранее и о гибели которого в эпоху якобинской диктатуры он, конечно, знал, когда описывал свою с ним встречу в стенах Французской академии. Это лишнее свидетельство того, в какой мере чтение «Писем» Карамзина подразумевает знание не упоминаемых в тексте прямо обстоятельств эпохи: рассказывается о встрече с Лавуазье в 1790 г., однако подразумевается знакомство с обстоятельствами его гибели в 1794 г. Брошенное вскользь при этом противопоставление Руссо и Гельвеция (в

контексте с упоминанием Робеспьера) отсылает читателя к речи последнего, а речь эта проясняет смысл ассоциаций, возникавших у читателей 1804 г. в связи с упоминанием, в частности, имени известного парижского остроумца Шамфора. Отметим, что в 1799 г. в журнале «Иппокрена, или Утехи любословия» (ч. III, с. 289–295) появились «Отборные анекдоты и острые мысли Шамфоровы», – таким образом, имена, упоминаемые Карамзиным, были читателю знакомы (см.: Козьмин Н. К. Пушкин-прозаики французские острословы XVIII в. (Шамфор, Ривароль, Рюльер). – Изв. ОРЯС, кн. 2, 1928, с. 548–551).

Г. У* – Петр Петрович Дубровский (1754–1816), во время французской революции исполнял должности советника и секретаря русского посольства. Был знаком с Карамзиным. Лично знал Руссо, многих деятелей французской культуры. Известен факт сношений Дубровского с Радищевым. Владелец уникальной коллекции исторических документов. Положение Дубровского и его собрания до возвращения в 1800 г. в Россию было весьма деликатным, и Карамзин, видимо, имел основания тщательно замаскировать его имя. (Каталог писем и других материалов западноевропейских ученых и писателей XVI–XVIII вв. Из собрания П. П. Дубровского. Л., 1963, с. 5–15.)

Однажды Бидер пришел ко мне весь в слезах... – Отрывок имеет литературное происхождение. Сюжет его Карамзин заимствовал из газеты «Journal des Révolutions de l'Europe en 1789–1790», t. VIII. A. Neuwied sur le Rhin et à Strasbourg, 1790. Здесь на с. 50–52 читаем следующее сообщение: «30 марта на улице Сен-Мерри было совершено одно из тех обдуманных самоубийств, примеры которых мы находим только в Англии...» Далее идет рассказ о самоубийстве, совпадающий с текстом Карамзина.

Газетный текст датируется концом марта, когда Карамзина, по хронологии «Писем», в Париже не было. Поэтому он перенес действие на два месяца вперед, пометив его 28 мая. Установление источника исключительно важно для определения творческого метода Карамзина – переплетения газетной фактологии и вымысла. Этим же путем устанавливается по крайней мере одна газета, которую, бесспорно, читал Карамзин в Париже. Из этого издания Карамзин мог черпать обильную и объективную информацию о революционных событиях, особенно о заседаниях Национального собрания, исключительно подробные отчеты о которых газета систематически публиковала. Видимо, по старым газетам Карамзин восстанавливал события, произошедшие за то время, когда его в Париже не было. Однако Карамзин, видимо, искал в газетах не только политических известий: он сам сообщал, что регулярно поутру читает газеты, «где всегда найдешь что-нибудь занимательное, жалкое, смешное». Тема самоубийства, активно обсуждавшаяся в философских сочинениях моралистов XVIII в., весьма интересовала Карамзина.

Через десять лет после нашей разлуки, не имев во все это время никакого об нем известия, вдруг получаю от него письмо из Петербурга, куда он прислан с важною комиссиею (*...прислан с важною комиссиею...* – Через Вольцогена осуществлялось сватовство наследного принца Веймарского к вел. кн. Марии Павловне. Приехав в Петербург, Вольцоген возобновил дружеские отношения с Карамзиным.) от двора своего, – письмо дружеское и любезное. Мне приятно напечатать здесь некоторые его строки: «*Je vous supplie, mon cher ami, de me repondre le plutot possible, pour que je sache que vous vous portez bien et que je peux toujours me compter parmi vos amis. Vous n'avez pas l'idee, combien le souvenir de notre sejour de Paris a de charmes pour moi. Tout a change depuis; mais l'amitie, que je vous ai vouee alors, est toujours la meme. Je me flatte aussi, que vous ne m'avez pas entierement oublie. J'aime a croire que nous nous entendonstoujours a demimot*», и проч. (Умоляю Вас, дорогой друг, ответить мне как можно скорее, чтобы я знал, что Вы чувствуете себя хорошо и что я еще могу считать себя в числе Ваших друзей. Вы не представляете себе, как приятно мне вспоминать о нашем пребывании в Париже. Все с тех пор изменилось, но те дружеские чувства, которые я питал к Вам, остались прежними. Лыщу себя также надеждой, что Вы не совсем забыли меня. Мне хочется верить, что мы всегда понимаем друг друга с полуслова (фр.). – Ред.) Он женился на молодой, любезной женщине (*...женился на молодой, любезной женщине...* – Имеется в виду Каролина Вольцоген, писательница, автор романов, свояченица и биограф Шиллера.), которая известна в Германии по уму и талантам своим. Она написала роман, который долго считался творением славного Гете, потому что скромная муза не хотела наименовать себя.

...всего чаще обедаю у нашего посла, г. С. Р. В.... – Многократное приглашение на обед означает, что у Карамзина были существенные для Семена Романовича Воронцова рекомендательные письма, ибо вряд ли знакомство с ним было длительным, ввиду того что посол постоянно жил в Лондоне. Письма Карамзин мог получить в Петербурге от Зиновьева – родственника, друга и политического единомышленника Воронцова, или от его брата – Александра Романовича Воронцова, С. Р. Воронцов (как и его брат) был противником самодержавного деспотизма вообще и правления временщика Потемкина в частности и сторонником английских конституционных порядков; он соединял в себе политический практицизм с интересом к утопическим учениям. Вряд ли будет ошибкою предположить, что беседы Карамзина и Воронцова вращались вокруг событий во Франции. Частые посещения Воронцова Карамзиным тем более бросаются в глаза, что ни в одной из столиц европейских государств, кроме Лондона, он не наносил таких высоких визитов, ибо ни служебное положение, ни родственные связи не давали ему на это права.*